



ВЛАДИМИР МАКАНИН

Отдушина

Отдушина

В.МАКАНИН

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

ВЛАДИМИР
МАКАНИН

Отдушина

ПОВЕСТИ. РОМАН

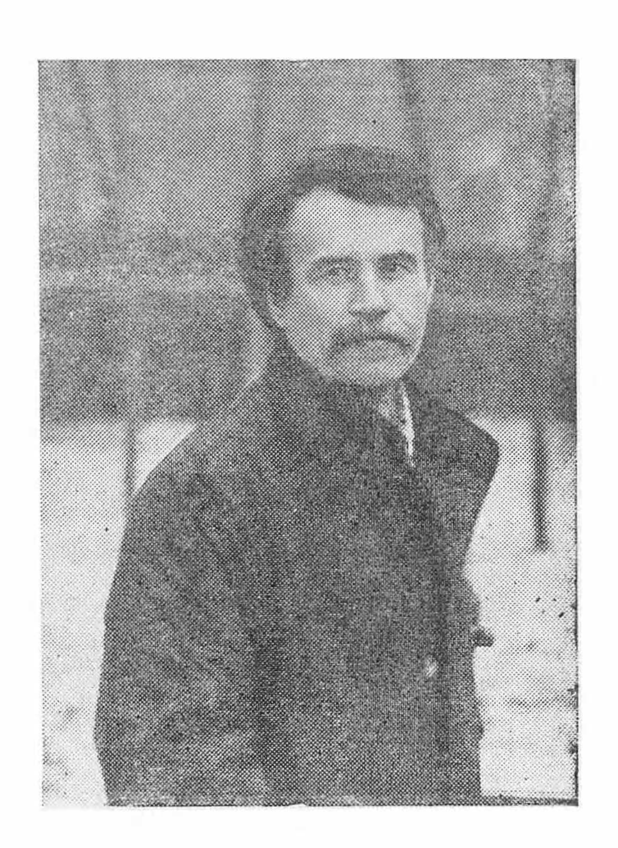
МОСКВА
"Известия"

1990

ББК 84 Р7
М 15

М $\frac{4702010200—019}{074(02)—90}$ — 57—90 подписное ББК 84Р7

ISBN 5-206-00065-5



Художник А. ЯЦКЕВИЧ

ОТДУШИНА

Нет особенного и в том, что Алевтину любит некто Михайлов, и что зовут его Павел Васильевич, и что лет ему вот-вот сорок. Пожалуй, тяжеловесен он для амурных дел и неискушен, но, с другой стороны, принимая в расчет стабильность жизненного течения, для Михайлова сейчас самое время любить — у него жена, у него квартира, у него приличный заработок, а два сына уже заканчивают школу: один в десятом классе, другой в девятом. «Сыны у меня погодки», — любит повторять Михайлов, слыша в слове «погодки» некую значительность и опять же стабильность. Каким образом Михайлов изворачивается между семьей и любовью, неясно, и даже не верится, так как заметно — и это с первой же минуты,— что человек он во лжи несильный, из лгущих тяжело и, как правило, нескладно. «Михайлов!» — зовут его к телефону, а кругом, как всегда, истеричный визг пил, заказчики, суета рабочих, и вот Михайлов замирает в испуге: дети?.. или «она»? — и спешит в свой закуток к телефону, и тут важно отметить, что внешне-то он идет спокойно, тяжеловесно, а по сути своей спешит, торопится и даже подрагивает, как подрагивают люди, лгущие неумело и нескладно, а главное, не по летам редко. Алевтина и дети — только это волнует Михайлова в миг резкого телефонного оклика, хотя в другие минуты его заботят и дела, и жена, и старушка мать, еще, в общем, живая.

Михайлов человек загруженный, занятой, что тоже кладет на любовь свою окраску — *любовь занятого человека.* Он вкалывает (его обычное словцо) на мебельной фабрике, официально называющейся «Ателье по изготовлению мебели — заказы от организаций и населения». Михайлов приходит туда минута в минуту рано утром, и уже с самого утра от его одежды разит политурой и лаком. Пить ни то ни другое он не пьет. Он инженер. Степенность и живой вес Михайлова, а он весит чуть больше центнера, вызывают уважение, и вот

заказчик, или молодой столяр, или просто работяга из цеха иногда интересуется:

— Хоккеисту Михайлову никем случайно не приходитесь?

— Прихожусь, — негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда его (еще более уважительно и с проникновенностью в голосе) спрашивают — кем же именно? — он отвечает все так же негромко и скромно: — Мы однофамильцы. — Это, конечно, такая шутка, и успеха, конечно, она не имеет, однако Михайлов время от времени повторяет ее с постоянством мужчины, который, может, и думал о славе и подвигах в молодости, но теперь уже нет: теперь он вполне смирился, и конец свой, и итог жизни в общих чертах знает. Впрочем, у него есть закуток-кабинет, где он может посидеть один на один с телефонным аппаратом веселенького желтого цвета — предшественник Михайлова, смело глядевший в лицо опасностям и житейским бурям, засиживался здесь с толстухами из ОТК, и Михайлову иной раз кажется, что стены и обои с павлинами и сам желтенький телефон смотрят на него выжидающе, хотя и не торопя, как смотрят умные, готовые к услугам подхалимы, смотрят и ждут, но конечно же ничего смелого они от Михайлова не дождутся. Он инженер. Он не засиживается: он выполняет, разумеется несложные, чертежи по желанию заказчика, но в основном следит, как воплощаются эти чертежи в дереве, и вот он бродит по цеху, высокий и грузный мужчина, иногда отпускающий тихие шуточки, которые не имеют успеха.

О том, что у Михайлова не было или почти не было претензий к судьбе и спроса к собственной личности, свидетельствует и его юность: кончал он строительный вуз, но вместо того, чтобы возводить какие-то там мосты на Волге или какие-то там ансамбли санаториев в Пятигорске, Михайлов вдруг оказывается здесь же, в Москве, на мебельной фабричонке — и это именно *вдруг*... Некоторым мебельная фабрика казалась удручающей прозой. Другим, которые побойчее, она казалась исключительно тонким замыслом («Московская прописка и теплое место! Да это же ход конем!»), и только самому Михайлову фабрика не казалась ничем, разве что фабрикой. Он инертен. Он из тихих. Он, пожалуй, слишком медлителен душой, как бывают медлительны телом — такие люди не успевают уклониться ни от плохого, ни от хорошего, и если им как говорят —

мебельная фабрика, значит, так тому и быть. Михайлову предлагают, он соглашается. Ему обещают жилье в течение ближайших трех лет и обманывают; он опять же соглашается. Он живет, молчит и, в общем, верит, что у фабрики в этом году были с жильем какие-то особенные перерасходы, и что директор фабрики и без того вконец замотан, и что у него, у директора, от забот ночами болит сердце и как бы не микроинфаркт... А время идет.

Время идет; бог, как известно, оберегает нехитрые души. И вот вдруг оказывается, что мебель — это модно и ценно, и тут слово *вдруг* становится вновь нужным и, стало быть, характерным для Михайлова, в том смысле, что только это слово и может что-то в его жизни переменить. Большой город вдруг словно приходит в движение после спячки, и они, люди, со всех концов спешат теперь к Михайлову. Они хотят под старину. Они хотят под модерн. Они хотят просто под уют, они всё хотят — один, помнится, хотел стеллажи и чтоб линии там «пересекались, и разбегались, и вновь сбегались», и чтоб сверкало, и чтоб в целом напоминало аэропорт («Что-что?» — «Аэропорт, ну вы меня понимаете!»). Теснота квартир диктует свои законы, подчас приходится бороться за каждый квадратный полуметр, и, пожалуй, в этой-то борьбе Михайлов себя обрел. К работе возник интерес. Ну и деньги, они тоже возникли, и однажды Михайлов замечает, что живет, и ест, и пьет он теперь куда лучше, чем раньше. И квартира у него лучше, чем раньше, и жена (нет, это удивительно!) становится лучше и красивее. Дама. Со вкусом одета. Скромна. И тут можно отметить, что сорок лет это не двадцать, если о жене, о женщине, но двадцать — это ведь уже не для нас, и Михайлов это помнит. Михайлов и сам выглядит лучше, и дело не только в одежде. Он переживает и испытывает чувство сродни запоздалой славе, а это на время молодит и на время же способствует всяким таким зигзагам. Когда идет дождь или просто сырая погода, голос у Михайлова садится и рокочет: приятный голос. Когда они знакомятся, Алевтина — она поэтесса — спрашивает:

— Вы известному басу Михайлову никем случайно не приходитесь?

— Прихожусь, — негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда Алевтина (уже с некоторым уважением в голосе) спрашивает — кем же именно? — он опять же

негромко и скромно поясняет: — Мы однофамильцы, — и *вдруг* в первый раз — и, забегая вперед, можно сказать, в последний — его шутка имеет успех, впрочем, малый и относительный, так как поэтессы к юмору не склонны, скорее снисходительны.

Алевтине Нестеровой не двадцать, а тридцать, даже тридцать один год; впрочем, она моложава, с большой грудью и более или менее милым лицом — она молодая поэтесса, и если о хлебе, то хлеб это нелегкий и не самый белый. За десять примерно лет у нее вышли три тоненькие книжицы стихов, и теперь, ожидая четвертую, она рецензирует или же подрабатывает, выступая со своей лирикой в заводских и районных Домах культуры и в студенческих аудиториях на всякого рода торжествах. Ее миловидность тут кстати и к месту, хотя бывают издержки: однажды, например, на Новый год ей предложили в каком-то клубе заодно со стихами, а точнее, после чтения стихов нарядиться Снегурочкой, так как та легла в эти дни на аборт, а заменить ее было некем; в таких случаях звонят срочно в бюро, где Снегурочек не так чтоб очень много, но имеются, однако в тот вечер и телефон почему-то отключили. «Снегурочкой?» — «Ну да... Я вас очень прошу, девушка, вы почитаете стихи, поскачете заодно возле елки. Это ж нетрудно!» И Алевтине сказали, что заплатят за хоровод особо, и этим, конечно, обидели. Алевтина позже разобралась, что тут не обида в замысле, а случайное и даже водевильное стечение обстоятельств и что надо бы на это смотреть с юмором; к этому она и пришла, что поэтессе к юмору надо быть склонной. Однако и в праздники и еще неделю спустя душа ныла, и Алевтине хотелось какого-нибудь отвлекающего события — например, пойти в гости — или вдруг виделась накатанная лыжня, снег и гогочущие лыжники в свитерах. Алевтина даже заспешила приткнуться в этакую гогочущую бездумность, названивая по телефону тем и этим, потому что под Новый год — свойство зимнего праздника — одиночество может совершенно внезапно высунуть серенькое свое личико, и Алевтина это хорошо знает. Мужа у нее нет. Детей нет. Есть квартира.

Муж у нее был, он был тоже поэт, но поэт-неудачник — он как-то не сумел выпустить трех тоненьких книжиц стихов, он не сумел выпустить даже одну; он час-

то плакал и жаловался, а потом стал считать, что выпуску книжиц мешает движение в небе некой планеты, населенной инопланетянами и нами пока не знаемой. Алевтина считала, что причина в другом: вместо того чтобы брать трудом, где не взял талантом, он пристрастился к дешевому портвейну — плюс к тому он был смазливенький, и это его окончательно определило. Он исчезал на год-полтора, где-то там жил и пил и являлся в дом лишь тогда, когда доползали верные слухи о том, что у Алевтины выходит или только что вышла очередная тоненькая книжица, — он являлся к деньгам. Он рассказывал Алевтине, что любит ее, и что одумался, и что устал, и что начинает новую жизнь, но, едва кончались деньги, кончался и он как муж. Он проваливался в щель меж этими деньгами и теми. А можно сказать, что он проваливался в щель меж этой тоненькой книжицей и следующей, и это уже в самом деле напоминало космическую щель, или, как говорят теперь, космическую дыру, в которую то появляются, изучая нас, то исчезают инопланетные существа далеких цивилизаций. Характерно, что он даже не затевал ссоры, и это тоже походило на инопланетян, — он просто исчезал. Ни слуху ни духу. И лишь одна-единственная открытка под Новый год, тот самый, когда Алевтина едва не примерила кокошник Снегурочки. Открытка была почему-то из Ялты. «Алиночка. Жизнь прожить не поле перейти. Желаю хорошего праздника». Детей у них не было. Они развелись, и теперь Алевтина Нестерова, поэтесса и привлекательная женщина, живет одна, живет собственной жизнью и в собственной квартире, и надо ли говорить, что она счастлива и что ее старуха мать, в одной из курских деревень подающая по темности своей каждый раз у алтаря батюшке записочку, глубоко не права.

Гордость зачастую является своеобразной и даже необходимой компенсацией; тут-то особенно кстати и милое лицо, и большая грудь, однако более всего — и это важно — Алевтина горда тем, что зарабатывает на жизнь сама и ни от кого не зависит: тот случай, мой милый, когда баба, притом одинокая, а вот ведь живет и не плачется встречным. Достоинство, как и положено всякому достоинству, имеет свою тень: та же внутренняя гордость, по-человечески симпатичная, делает Алевтину иногда вдруг манерной и бесцеремонной. Она как бы в роли.

— Хочешь хороших стихов? — спрашивает она, а в общем и не спрашивает, потому что с ходу начинает читать. Голос, к счастью, у нее теплый, с той самой хрипотцой, читает она прекрасно. Она разделяет стих от стиха небольшой, и легкой, и домашней, что ли, паузой, ни названия не сообщая, ни автора, — и это трогает. В этом вновь всплывает свой плюс и такт, потому что тебя отнюдь не втягивают в беседу эрудитов, не спрашивают, хочешь ли «из последнего сборника Анны Андреевны» (а ты и не знал, что сборник вышел), — тебя не теребят, в тебе не сомневаются, ты просто слушатель — ручей просто и покойно льется в шаге от тебя, хочешь — пей, а не хочешь, как хочешь.

Если опять же о внешнем, гравюры повешены наспех там и сям или же просто стоят, прислоненные к стене, — не пни ногой, милый, — а пришпиленные черно-белые фотографии поэтесс давнего и недавнего прошлого нашептывают и являют урок того, что любовь границ не знает или, во всяком случае, знать не хочет. «Отобью себе стоящего мужика, — любит повторять Алевтина под грохот, например, стиральной машины, если подруга пришла и, скажем, помогает ей, направляя в раковину шланг и струю с бьющей мутной водой, — отобью стоящего мужика и, глядишь, замуж выйду», — однако слова тут больше для слов, для публики и опять же для роли и игры... Именно из-за манерности и устоявшейся роли, из-за длящейся до поры внутренней неясности Алевтина Нестерова многим кажется странной; инженеру Михайлову, пропахшему политурой и день за днем живущему жизнью мебельного цеха, гордая Алевтина поначалу кажется попросту чокнутой. Он, в свой черед, кажется ей молчуном и дебилом, и это, конечно, ничуть не мешает их сближению: это взаимно любопытно для них и похоже на постепенное узнавание, на снятие шелухи и на постепенное появление белого тела луковицы.

2

То, что он «мебельщик», поэтессу как раз не отпугивает: у нее вообще есть тяга к простоте, и ей нравится, если человек знает некое свое дело и в этом своем деле неслучаен и ценим. С охотой, а иногда и без — то есть с усилиями — она старается, чтобы Михайлову было у нее приятно. Есть и понимание своих усилий: она

старается быть «просто доброй бабой», и чтобы он отдыхал здесь от суеты и тщеты, и чтобы не мучился своей, скажем, судьбой, или женой, или чем там еще мучаются мужчины, не понимающие простой истины, что выше головы не прыгнешь и что в конце концов игра с жизнью, как и игра с женщиной, идет не на обман и не на итог, — мужчины этого знать не желают, но пусть хотя бы, бедняги, почувствуют. Она старается, чтобы Михайлов был ее другом, и тут не нужно делать это слово чуть хуже, чем оно есть: иногда — например, в тряском автобусе, когда в тряский автобус вдруг ворвется закат, а на заднем сиденье зачуханная старушонка с кошелками и с закрытыми и почерневшими глазами предстанет в розовых лучах, как ангелок или как воплощение покойной старости, — иногда Алевтина думает, что она его любит.

Но в другой раз он слишком тяжел: Алевтина, скажем, думает о тихом вечере, о том, какая у Михайлова славная морда, и о своей любви, налетевшей вдруг в тряском автобусе; мысль, уже истончаясь, разрешается в длительное настроение, в нежность ко всем и всему, и вот тут-то Михайлов вразрез начинает говорить (ворчать), что Алевтина Алевтиной, а семья семьей. Алевтина фыркает: не то обижает, что семья у него на самом первом месте (да бог с ним, с местом!), а именно эти подчеркивания, зачем они. Оберегая настроение, Алевтина говорит — смотри, какой снег за окном, — а он словно не слышит (иногда он туповат) и вновь талдычит свое:

— Любовь бывает часто, а семья редко.

— Вот заладил... Семья, я слышала, тоже бывает не один раз, — пробует шутить Алевтина.

— Это у кого как.

Михайлов произносит тупо и тяжело, даже как-то зловеще и час еще после нажимных этих слов способен сидеть букой. Бедняга страдает: с тех пор как у Алевтины объявился новый знакомец — блистательный, и красивый, и несколько скучающий математик Юрий Стрепетов, — Михайлов стал как-то особенно угрюмо поговаривать о своей семье, вроде как грозился или демонстрировал Алевтине, что у него, мол, в жизни как никак есть главное и вроде как он больше к Алевтине ходить не будет и совсем исчезнет. Однако он не исчезает. Старая песня: мужик способен, пожалуй, потерять или даже выбросить, но никак не отдать другому.

А Стрепетов тоже не исчезает. А Стрепетов и красив, и умен, и в общем он нравится Алевтине, что там скрывать. И однажды Алевтина уже понимает, что определился треугольник и что тяга и взаимная напряженность от угла к углу проглядываются чуть ли не по забытым классическим образцам — о господи, почто искушаешь? — и вот, понервничав вечер-другой, Алевтина чувствует, что пора ей развести в стороны этих милых идиотов: пора ей тянуть, и вытягивать, и вправлять личную жизнь в какое-то русло. И именно ей, так как от мужиков не дождешься, мужики в наш век ничего не могут.

«Надо решать», — говорит она себе. И отчасти ей нравится, конечно, что надо решать, не без того.

И вот колебания: если рассуждать вообще и отстраненно, то конечно же ей ближе Стрепетов, он и физически приятнее ей, и в стихах разбирается куда тоньше — математики те же поэты, — однако старый друг ценнее двух, и Алевтина повторяет себе эту вековую мудрость все чаще. Ей жаль Михайлова. Михайлов добр и чуток и немало для нее сделал, в частности кое-что из мебели, и дать ему отставку только потому, что на горизонте появился красавчик, жестоко. Красавчики появляются и исчезают, так уж они задуманы, а старый друг — это старый друг: и уж кто-кто, а женщины это ценить умеют... Но, с другой стороны, если Алевтина пересилит, скажем, голос и зов сердца, и, стало быть, Стрепетов исчезнет, а Михайлов останется, благодарности от него все равно не жди; однажды — и это легко себе можно представить — Алевтина пожалеет и горько вздохнет: исчез, мол, Юрочка...

— Все исчезнем, — угрюмо и мрачно проворчит в ответ Михайлов, он даже оценить благородство Алевтины окажется не очень-то способен: медведь, он ведь и *за медом* медведь.

А это уже колебания Михайлова: мебельный цех опустел, конец дня, но Михайлов все еще не знает, ехать ли сегодня вечером домой или же к Алевтине. Он что-то складывает, что-то запирает в ящик и слышит наконец внутренний голос: домой... а мысль об Алевтине делается мыслью маленькой и незначительной, и если даже желанной, то с оттенком некоторой собственной прочности.

— Ухожу, — говорит он приемщице,

— До свиданья, Павел Васильевич.

— До свиданья. — Михайлов идет улицей и, довольный, убеждает себя в правильности принятого решения. Однако, окончательно себя убедив, он вдруг понимает и постигает неожиданное: он вовсе не идет улицей, он едет к Алевтине. Он даже не уловил момент и миг, когда же он решился к ней, да и решался ли, — он только обнаруживает, что он в метро и что сидит он в голове вагона, покачивается в такт ходу поезда и, вот так покачиваясь, едет к ней... Он спохватывается, вспоминает, что с утра температурила жена, больна вроде бы, — и на весах эта гирька, малая в общем, однако упавшая неожиданно, оказывается вдруг весомой — Михайлов, чертыхаясь в адрес собственного безволия, тряпка и есть тряпка, выскакивает из вагона и трусцой, прижимая к боку раздутый портфель, перебегает на противоположную сторону платформы — к обратному поезду.

И вот он дома.

— Ну как? — спрашивает он, кося глаза в сторону. Он запыхался.

— Ничего, — отвечает больная жена, и это «ничего» придавливает Михайлова: некоторые переносят чувство раздвоенности легко или, может быть, попросту ловко, живут себе и живут — и молодцы, а вот о его великих страданиях уже, кажется, все догадываются. Рабочие, к примеру, отвозили Алевтине столик и тахту с фабрики (он шел при погрузке с другой стороны машины и слышал их треп собственными ушами): «У Михайлова в Химках баба есть — сосет из него соки». — «Аппетитная?» — «Ничего себе. Я бы не отказался». И этот парнишка, сопляк, отпустил такое с забора, что Михайлов уже хотел было рявкнуть и дать нагоняй, и плевать, что пойдут разговоры.

А жена готовит ужин, руки у нее немеют, но она добросовестно и не без скрытого упрека делает свое повседневное женское дело. Больная жена — это совсем новый человек, тихий и слезливый. И мнительная: ей кажется, что она умрет. Склонившись к плите и скребя ножом в сковородке, она плачет:

— Павел, у меня ведь ничего в жизни нет — только наши мальчики... — А час спустя температура подскакивает до сорока. Жена ложится в постель и опять мнительно плачет, и слова ее опять впопад: — Павел... Прошу тебя — не женись больше.

Лицо у нее пылающее, красное.

— Если умру, береги мальчиков... — Жена лежит лицом к белому потолку; как все больные, она не целит словами в конкретность, она сейчас отделена и отчуждена и ушла в свои долины. Михайлов несильно сжимает ей руку. Он понимает, что жена не умрет, но испуг уже коснулся его и задел — оттиск какого-то страха, затаенного и угнездившегося в каждом человеке с детства.

И вот тут она звонит. Из другой комнаты (прикрыв плотнее дверь) приглушенным голосом Михайлов объясняет, что приехать сейчас не может — больна жена.

— Да, да, — шепчет Алевтина, с сочувствием шепчет, — когда мне тебя не хватает, когда ты мне нужен, у тебя больна жена...

И, вздохнув, кладет трубку.

Михайлов выкуривает сигарету на кухне, потом тяжело топает к детям. Они отрываются от уроков, выходят из комнаты и стоят, стройные и тоненькие сыны. Лица их с оттиском того самого страха: мать больна. Они стоят, подняв лица к отцу, как бы вынув и выложив свои детские души, — ждут.

— Ребятки... — он откашливается. — Бросьте на время уроки.

Они молчат. Уже девятый час вечера.

— Бросьте на время уроки и идите к маме. Я должен уехать.

Он не объясняет. Они привыкли понимать его, и верить ему, и слушаться с полуслова. До запанибратства и смешочков еще не доросли. Молчат. Кивают: да... да... Сначала младший кивнул и шагнул в комнату матери. Затем старший.

— Я только закончу задачу, папа. Мне две строки.

— Закончи.

Ну и конечно, Алевтины дома нет.

А он отпустил таксиста. И теперь, запыхавшись, Михайлов то поднимается к ней на этаж и сильно, нервно жмет кнопку звонка — не спит ли? — то вновь спускается вниз и всматривается с улицы в темные ее окна, окна он знает. Алевтина не спит. Ее просто нет. Михайлов понимает это, однако не может избежать острого, хотя и короткого, приступа ревности — ему неловко, ему совестно, но большой и солидный, и рыхлый мужчина, он приникает лицом к замочной скважине, а потом, воровато оглянувшись, становится удобства ради на колени, стоит на грязном полу лестничной клетки,

прижимается ухом к замочной скважине и вбирает в себя ту задверную пустоту, ожидая хоть какого-нибудь оттуда звука или скрипа.

Он ловит такси, он пыхтит на каждом шагу, бежит поперек улицы, а потом назад суетливым и жалким бегом сорокалетнего толстого человека, которому по внешнему виду всегда дают пятьдесят, — он спешит, он мог бы обойтись без такси, но он хочет курить в машине (совсем недавно сознанное и найденное жизненное удовольствие) — курить и, будто бы всматриваясь в окна летящей машины, всматриваться в некую томительную и сладкую пустоту внутри себя, — и вот он едет и курит, а едет он в дешевенькое кафе-столовую, что возле одного издательства. Он приехал (он выкурил даже две) — он бродит меж столиков и подвыпивших людей, выглядывая и выискивая глазами знакомую темненькую головку с коротко остриженными волосами: нервную и как бы пугливую женскую головку. Но Алевтины нет. Он едет в Дом литераторов, это недалеко (два места, где она чаще всего бывает: «Должна же я общаться. Должна же я делать дела!»). Но там не пускают. У дверей стоит исполненный внутреннего достоинства администратор, и Михайлову приходится выждать, пока тот с остервенелым криком куда-то умчится, и только теперь — вымученно, жалко, с постыдным хихиканьем совать рублевку сменившей администратора тетеньке с усами. Алевтины нет...

Есть еще знакомый баскетболист, у которого они были недавно (единственный случай, когда Михайлов и Алевтина пошли на люди — Михайлов вообще не любит никуда ходить, он любит сидеть у Алевтины в ее милой квартирке в Химках, сидеть долго, тихо и безвылазно), и вот он тащится теперь к баскетболисту, и это уже как отчаяние и как последняя попытка, лишь бы поставить точку, однако Алевтина действительно там. Накурено. Дым пластами — и темненькая головка резко и энергично поворачивается и с кем-то спорит в сизом и красном (от настольной лампы) дыму. Компания теплая и небольшая, баскетболист с женой и другие, а в общем, тридцатилетние и даже моложе, худые, рослые, сомкнутые своим застольем и своей молодостью. Балагурят. Посматривают на притащившегося сюда Михайлова (а он входит с виноватой улыбкой незваного), как всегда посматривают в таких случаях на потертого жизнью пятидесятилетнего хмыря, уже с жи-

вотиком, уже со взрослыми детьми, которому «все же хочется» и который все же притащился, и сидит теперь, и поддакивает, и сносит насмешки, и все это даже не ради бабы, а ради того, чтобы именно посидеть и погреться возле их молодости, чтобы похихикать над анекдотами и, может быть, только под самый занавес попробовать что-то такое себе урвать. У них как раз кончилось спиртное. Кого-то гонят в дежурный магазин. «Погодите, погодите, — спешно и с народившейся детской улыбкой всовывается Михайлов. — С меня как-никак причитается... Пожалуйста...» Он теребит в руках бумажник, не зная сколько, и не умея дать, и чувствуя на себе взгляды.

— Да, да, он богатый! Бери больше! — кричит Алевтина, выявляя для народа хоть некое его достоинство. Какой-то щенок ловко выхватывает у него десятку (выхватывает, некоторое время легко вертит бумажку в руках — не будет ли сверх? — и берет еще) и летит в дежурный. Все смеются. У всех возникает одинаковость ощущения, что вечер продолжается и что конец вечера вновь отдален и отодвинут на неопределенный срок с той минуты, как хлопнула дверь и Витька запрограммированно и нацеленно погрузился в московские сумерки и суету, а смятый из ловко выхваченных двух бумажек красный комок уже превратился в пламя и жжет Витьке ладонь и гонит его вперед. Витька сумеет... Улучив минуту, Михайлов шепчет Алевтине («Не поедем ли к тебе?»), она качает коротко остриженной головкой — нет, не поедем («Здесь совсем неплохо, давай посидим здесь»). Но шум и застолье Михайлову не по нутру. Им хочется потанцевать и попрыгать — это понятно, а ему хочется быть у нее, у Алевтины, и это тоже понятно. Уяснив, что она собирается сидеть здесь допоздна, он встает и потихоньку, безоглядно уходит, не прощаясь и понимая, что его не хватятся ни сейчас, ни когда придет Витька, и что в лучшем случае кто-то спросит у Али: «А где твой тип, а где этот недобравший в молодости — ушел к своей старой, но верной жене?»

Он возвращается домой смирившийся, но с осадком — вечер, настроенный на Алевтину, потерян: а у него их и есть вечер-два в месяц. Завтра после работы ехать к заказчикам и послезавтра ехать, и значит, к Алевтине не поспеть. А там суббота и воскресенье, жена больна, и, стало быть, хотя бы несколько вечеров

кряду надо выложить и отдать семье. Такая жизнь... Он уже дома. Намаявшийся и прихваченный на лестнице одышкой, слыша, как стискивается от виноватости сердце, он садится возле жены. Она без перемен, как лежала, так и лежит. Стараясь не дыхнуть на нее случайной рюмкой водки, Михайлов целует ее в лоб и шепотом говорит:

— Я здесь... вернулся. Видишь, я сделал все дела и уже вернулся.

Дети укладываются спать. Старший лег. Младший в одних трусах (какой худой) стоит в дверях и, зевая (долго ждал), смотрит, как отец сидит подле матери.

Но даже если день из удачных и он застает Алевтину дома, *вечер* возникает у них не сразу и не из ничего. Поначалу Алевтину бесит его молчание или его правильные и тупо положительные рассуждения.

— Михайлов, хороший ты мужик, но какой-то скучный.

Он молчит.

— Скучный ты, — Алевтина сказала с вызовом и ждет ответа.

— Я не скучный. Я старый.

— Наплевать мне на причину, из-за чего ты скучный — я знаю все это наизусть: ты стар, ты глуховат, у тебя семья, у тебя одышка, ты загнанная мебельная кляча... Кстати, вчера Дужкин (художник) вдрызг раскритиковал твою мебель...

Речь о мебели, которую Михайлов сделал для Алевтины.

— ...Сказал, что ты в своем роде гений: гений воинствующего, но *осторожного* мещанства.

— Это моя работа.

— Ну-ну. Не обижайся.

Он не обижается: самолюбивы те, у кого есть свободное время; у Михайлова свободного времени нет. По-вечернему зевнув, он с прохладцей выслушивает, как все эти Дужкины и Коноплевы, мнением которых она дорожит, хают его изделия.

Но постепенно вечер свое берет — разговор мужчины и женщины делается мягче и ближе и как бы сумеречнее: общение... Иногда, правда, свое берет постель— Алевтина говорит: «Ну ладно. Я сегодня настроена побоевому» — и, улыбаясь, бросается к нему и виснет, а

Михайлов несколько теряется; смысл-то ясен, однако преодоление пространства от кресла к постели каждый раз кажется ему задачей — дело в том, что он боится грубоватых своих движений. Как правило, они долго разговаривают, как бы раскачиваются: двое взрослых людей. Алевтина варит кофе. Она рассказывает о детстве или о матери, продолжающей доить коров в курской деревне. Есть тема из любимых — о том, как в школе ее долго считали некрасивой. Или вдруг она спрашивает, не хочет ли Михайлов послушать стихи, иногда это *свежие*. «Ты не понимаешь, Михайлов, как важен даже самому маленькому поэту слушатель. Маленькому — слушатель даже нужнее». — «Почему же я не понимаю?» — по-доброму улыбается Михайлов. «Понимаешь или не понимаешь, а слушать тебе сегодня придется», — смеется она. И читает:

Люблю! И больше нет потерь.
Люблю! И все на свете в силах,
Скажи, мой друг, скажи, мой милый... —

в стихах она всегда кого-то любит, и Михайлов уже, слава богу, вырос до знания, что этот ее любимый — не Михайлов, и не другой, и не третий, это *некто* и это вообще как бы неживой человек. Иногда у него тонкие руки. Иногда голубые глаза. Иногда он, по-видимому, здорово смугл («Ты цыган мой, моя кудряшечка»), но главное конечно же тут напев:

Ты был печален, я лукава,
А осень радовала нас...

В такой вот вечер, а точнее, в самом только разбеге такого вечера и появляется блондинистый, с точеным красивым лицом Юрий Стрепетов — появляется Стрепетов, вообще говоря, еще с одним знакомым, но при всей новизне их обоих он появляется уже как бы из них двоих отмеченным и своим, — Стрепетов сидит весь вечер до упора, говорит он умно и нервно. Бледен. Истощен. Красив. «Что за падший ангел слетел к нам?» — осторожно и негромко и с некоторой боязнью спрашивает Михайлов. Михайлов вышел к ней на кухню, где Алевтина варит кофе на всю компанию. Она не рассердилась. Она смеется. Она даже хвалит его:

— А ты наблюдателен, Михайлов. Каким тонким репликам ты у меня в доме научился — чувствуешь?



— Стараюсь.
— И немножко ревнуешь?
— Ну что ты...

И как раз на кухню входит Стрепетов (скучает — смотреть развешанные гравюры ему надоело) — он улыбается. И говорит:

— Уединились?

И начинает с улыбчивым лицом ходить по кухоньке (небольшой, 4×2) из угла в угол, этой вот вышагиваемой диагональю отрезая Михайлова и Алевтину друг от друга. Они в разных углах. Они переглядываются. А Стрепетов говорит:

— Кофе вкусно пахнет. Люблю подышать. И свежим сеном люблю подышать. — И продолжает ходить, не поднимая головы и не глядя на них. Выглядит это довольно нелепо на тесной и маленькой кухне: такая вот самоуглубленность. «Пижон, — спокойно и с холодком оценивает его Михайлов. И тут же оценивает еще: — Но красив, зараза». И хотя Алевтина — глазами — с ним, с Михайловым, а не с пришельцем, Михайлов чувствует, что в эти минуты возникает нечто новое и новизну эту ему, Михайлову, увы, не обойти и разве что приспособиться.

А возникает вот что. Возникает более-менее постоянное сидение втроем — прочие гости редки и, в общем, не отмечены глазом хозяйки, придут и уйдут,—а эти сидят: Михайлов и Стрепетов или, может, Стрепетов и Михайлов, кто кого высидит, точнее, кто кого пересидит, и всего тягостнее Михайлову, что высиживание или пересиживание попадает на его настроенные вечера, и неслучайность этого налицо. Он ей звонит, он договаривается и передоговаривается (иногда с умыслом), он откладывает поездки к заказчикам, лжет дома, наконец приезжает — и тут же, как по часам, приезжает Стрепетов. А иногда Стрепетов уже сидит здесь и как бы ждет заранее. Они сидят втроем, пьют винцо, чаще кофе — рассеянно полистывают сборнички стихов и безлико тянут разговор. Игра в третьего лишнего проста, но требует известной осторожности. А потому Алевтина меняет стиль. Она навязывает и чуть ли не принуждает их выслушивать магнитофонные записи каких-то знаменитых концертов, ей хоть бы что, и Стрепетову хоть бы что — сидят, слушают, — а Михайлов не любит ни фортепьяно, ни клавесин, в особенности клавесин. Он не пытается лукавить или скры-

зать свою нелюбовь, чего нет, того нет. А его словно берут измором. Он чувствует, как необратимо тупеет его мозг при этих однообразных, хотя и мелодичных, звуках. От досады и потягивания в скулах у Михайлова невыносимо искажается лицо, и в зеркале — если зеркало напротив — он видит, что лицо теряет человеческий облик. Уходят они вместе. Идут до метро, оба заторможенные, оба с портфелями. Как после дежурства. Или, если Стрепетов на моторе, он даже подвозит Михайлова столько, сколько позволяет путь, а путь обычно позволяет ему подвезти до Белорусского. Иногда Михайлов все же бывает у нее один, и из этих нескольких «иногда» — иногда остается у Алевтины до утра. Но у него нет ни малейшей уверенности, что такое же не выпадает Стрепетову. Игра, если это игра, тянется. Алевтина прихотлива, капризна, своевольна в лучшем смысле этих слов, а он есть у этих слов, лучший смысл, а именно — оттенок самостоятельности в жизни: «Хочу и люблю, мое дело».

— ...Не приставай, Михайлов, хватит расспросов, ты что-то стал говорлив — ревнуй молча.

— Хочется все же знать.

— Зачем?

— Так... Знать всегда лучше, чем не знать.

— Не уверена в этом. А чем ты со мной расплатишься за это знание — а? — представь, если взамен я попрошу и тебя вывернуться наизнанку. Представь, если я в твою душу запущу руки по локоть?

В другой раз она говорит со слезами на глазах и с неподдельной болью. Плачет:

— Оставь меня в покое — слышишь, оставь... Если баба, так сразу ее ногами топтать — да?

Глаза ее просыхают; потом она плачет вновь, и вторые слезы делают ее некрасивой и совсем жалкой:

— Оставь в покое... Не хочу я свою жизнь держать у тебя на виду... не хочу... не хочу!

И однажды Михайлов совсем перестает ее расспрашивать; он только весь внутреннее ссыхается и тускнеет, как ссыхается и тускнеет внешне от бесконечных магнитофонных записей клавесина — одно к одному. И теперь он куда тише и куда смиреннее сидит напротив Стрепетова — оба сидят, оба сохраняют спокойствие интеллигентных, и неназойливых, и вполне умеренных

самцов, для которых слова женщины закон, а слова ее к концу вечера обычно такие:

— Ну, мальчики, все. Пора закрывать на ночь глазки.

И сорокалетние мальчики встают. Одеваются, если это не летом, и мирно, не толкаясь, забирают свои портфели. Алевтина — в прихожей — целует обоих в щеку, откровенно и с удовольствием, и щедро прижимаясь на прощание высокой и пышной грудью, грудь так и ходит под свитером, когда она вскидывает руки для прощального объятия. Она искренне желает им «спокойной сегодня ночи». Она искренне улыбается. Она лукаво и ласково говорит им на дорожку еще два слова:

— Смотрите не подеритесь.

И конечно, в Михайлове нарастает неприязнь к математику: и машина своя, и красив пес, и времени свободного хоть засыпься, и конечно же баб хватает, — а он, Михайлов, для которого Алевтина редкость, подарок свалившийся, ходит теперь к ней как в самое ненадежное место, откуда могут выбить одним щелчком, если не сегодня, то завтра, — могут, конечно, и не выбить, могут даже приласкать, но... Домой Михайлов возвращается неудовлетворенный и ничего наперед не знающий. Молчит. «Что с тобой», — спрашивает жена, а уже поздний час, и дети спят, и зевающая жена смотрит по телевизору документальный фильм о красотах Сибири. Зевая, она сообщает — звонил заказчик из Орехова-Борисова.

— Что? — уточняет Михайлов.

— Просит сделать кухонные шкафы.

Михайлов думает — да, надо бы сделать, давно просит.

— Они хотят в финском стиле.

— Мало ли чего хотят, — Михайлов не потакает хозяйским вкусам, он навязывает свой. И чем меньше он им потакает, тем больше они его превозносят и тем ощутимее приплачивают, люди как люди... Жена (не отрываясь от телевизора) вновь о заказчиках. Михайлов не отвечает. Михайлов весь *там,* с ней. И даже не с ней, не с Алевтиной, — он сейчас сам по себе, и отдален, и в той высокой степени одиночества, которую только и может дать любимая женщина, когда ее нет рядом.

Мысль об университете для сынов приходит к Михайлову случайно — как раз в тот день, когда они с Алевтиной едут в Загорск (она обожает осматривать церкви) и когда бродят там по улицам и улочкам. Они присутствуют на вечерней службе, поют там и впрямь неплохо, во всяком случае это не так мучительно, как клавесин; они ходят, смотрят, слушают, а в Михайлове крепнет и крепнет случайная мысль. К ночи они уже валятся с ног и пытаются заночевать здесь же, в Загорске, напросившись в какую-то убогую и жуткую гостиницу. Стены серые. Номер тусклый. Еда плохонькая, и единственная радость — горячий и вкусный чай. Алевтина уже сильно не в духе: был бы математик, он бы отвез их на машине домой — надо было, конечно, поехать втроем, — в тридцать лет хорошо спать дома, какая, к черту, романтика... К тому же мокрый снег. Снег идет вполовину с дождем и бьет по подоконнику, дряблым кашеобразным стуком.

— Чего бы я не хотела в старости,—мрачно сообщает Алевтина, — так это помереть в такой вот гостинице.

И еще ворчит:

— Ну и дыра.

И еще:

— До чего же скучные стены.

Стены и впрямь обшарпаны. Обои висят клочками. Постель чистая, но от кровати веет убогостью, одинокими стариками и нищетой, а чистота белья только подчеркивает убогость. Михайлов же ничего не замечает или почти не замечает. Он весь в своей мысли, он наполнен ею по самые края — он видит обоих своих сынов в яркий день (какое солнце!), они поднимаются по ступенькам к высокому, со шпилем зданию университета — у младшего под мышкой зажаты тетради, они приостановились; нет, они встретились на этих ступеньках в перерыв занятий, и старший втолковывает («...У меня лекция кончается в два. Пообедаем вместе?» — «Идет». — «Смотри не опаздывай!» — и оба смеются), — не в силах противиться счастливой картинке, Михайлов неожиданно говорит, у него словно вырывается вздох:

— Хорошо!.. — Он спохватывается, он видит тусклый гостиничный номер и Алевтину, которая раздевается и с гримасой брезгливости кладет юбку на стул. Михайлов прячет и маскирует вырвавшееся восторженное слово. Он говорит:

— А мне здесь ничего... Мне нравится...

Алевтина фыркает:

— Знаешь, Михайлов, а ведь ты счастливый человек.

— Что? — Он не чувствует иронии.

— Счастливый — тебе что ни положи в рот, все мед.

Она прикидывает, не раздеться ли полностью, любит спать голенькая, — она колеблется, борется с искушением, еще раз приглядываясь к белизне простынь, — и все же ложится в постель в комбинации. Михайлов тоже ложится. Стены гостиницы вновь и очень легко вытеснены в его сознании сверкающими ступеньками к университету — бок о бок стоят там его сыны, разговаривают, а сверху косо и сильно легли желтые солнечные лучи. Михайлов думает, что после этой картинки ему уже больше ничего не надо — семья есть, дети на ногах, и, в сущности, Михайлов прожил и отстучал свою жизнь (у него даже любовь была на вечер глядя, чего же еще).

И, наконец, колебания Стрепетова: он тщеславен, горд, заносчив и конечно же с таким вот букетом внутри, болезненно от всякой мелочи страдает... Тот удивительный факт, что Алевтина не предпочитает его сразу (а нужно сразу, именно сразу!) какому-то вонючему (пропахшему лаком) Михайлову, конечно же задевает больно, и понять или постичь раздвоенность Алевтины математик Стрепетов никак не может: какой тут выбор? О чем тут речь, дорогая?.. Михайлов для него туповатый и медлительный «мебельщик», деляга, начальничек с пузом; пожалуй, он даже с душой и даже с глубиной души, но это уже так, это уже от природы, от оврагов, от деда-крестьянина, а не от собственной глубины. И конечно же прежде всего Михайлов раздражает его своей манерой устало и по-хозяйски садиться, выкладывать локти на стол, как будто все вокруг пили чай, он же от зари до зари пахал, а теперь, стало быть, подайте ему щи со свининой. Дуб.

Они сидят на стульях, разделенные столом. Стрепетов прихлебывает кофе из хорошо знакомой ему чашки с красным аистом на боку и видит перед собой Михайлова, который тоже пьет кофе (и эту чашку с голубым аистом Стрепетов знает отлично — подчас

из нее пил он, а из этой, что в его руках, медленно цедил «мебельщик»). Стрепетов остроумен, находчив, он постоянно держит в разговоре верх, вызывая и высекая от раза к разу звонкий смех Алевтины и отчасти признающую чужой юмор улыбку Михайлова; однако победу эти победоносные разговоры не дают. И для Стрепетова не секрет и не загадка, остается или не остается иногда на ночь у Алевтины этот пузатый Михайлов, — остается.

— Ты стал часто задерживаться, — спокойно и холодно выговаривает Стрепетову дома жена: жена у Стрепетова третья и, надо думать, последняя. — Стал часто задерживаться...

— Но я аккуратно прихожу обедать.

Она смеется глазами, ее не проведешь. Она смотрит на Стрепетова, как смотрит опытный санаторный врач на слабовольного и избалованного своей болезнью курортника.

— Вечерами задерживаешься, родной мой.

Он слабо брыкается:

— Но в постель-то я ложусь в назначенный час.

— Только потому, что у тебя с утра лекции. И только потому, что у тебя такая жена, как я.

Она смеется холодными своими глазами. Она ставит перед ним на ночной столик смрадную жидкость в пузырьке. Ее голос сдержан. Ее тон непререкаем:

— Пора, Юра, провести курс бромидов. Твоя нервная система уже больше месяца взывает к помощи.

— Ничего она не взывает.

— Не пугайся, родной, лечение не будет длительным...

По профессии жена врач, притом психиатр, и Стрепетову никак не понять, в какой мере она подсмеивается и в какой хочет его вылечить, да он и не пытается понять. Он о другом. Он о своем. Он думает о том, что одолеть «мебельщика» никак не удается — а почему? — Стрепетов пьет смрадные капли и в который раз обдумывает положение и выпавшую ему роль: похоже, что этот тупица Михайлов и Алевтина (надо сказать, тоже умом не блещет) ждут или выжидают, не предложит ли он, Стрепетов, обаятельной поэтессе руку и сердце и оставшееся в паспорте местечко для штампа — делал же он это трижды, а для людей, где три, там четыре. Пожалуй, оженят. С них станет. Стрепетов ворочается в постели и чертыхается. «Не спится! —

Он берет пузырек с каплями и начинает его зачем-то встряхивать. — По-моему, ты дала мне возбуждающее». — «Это по-твоему», — сквозь сон сурово отвечает жена. «Но почему же я не сплю?» — «А ты спи. И не капризничай».

Одно время, дней пять, что ли, это тянулось, ему до такой степени осточертевает Михайлов (сидеть с туповатым типом нос к носу и ждать, пока туповатая поэтесса оценит, кто из вас лучше, — о господи!), что Стрепетов и впрямь думает — а не жениться ли? — в конце концов, он делал и делает со своей жизнью что хочет; куда хочет, туда себя и швыряет, а здоровья смрадными каплями все равно сбережешь немного. В конце концов, жизнь — это жизнь: Стрепетов в свое время болел рожей, лежал с переломом бедра, сидел пятнадцать суток, был искусан взбесившимся ньюфаундлендом; после всего этого он вполне может позволить себе еще род удовольствия — пожить с женой-поэтессой. Он будет обладать поэтессой ночью, а также поутру, а также, если очень захочет, в середине дня, и уж во всяком случае из ее квартиры «мебельщика» как ветром сдует. Но Стрепетов остановился, и вовремя. Хватит с него жен; этак и имена не упомнишь. Помрачение длилось недолго, да и можно ли долго — пять дней, что ли, и на шестой стало ясно, что и Алевтина и *вечера* у нее после женитьбы немедленно и необратимо потеряют свою прелесть и свою магию. Приятно же (именно иногда) прийти к ней издерганному, исколотому недругами и с натянутым, как барабан, самолюбием, в котором еще ухают и отзываются чьи-то глухие злобные окрики, — прийти и выпить кофе, и вытянуть ноги, и медленно, медленно, медленно расслабляться. Жизнь перенасыщена. Дел не переделать. Жене сказать, что идешь на заседание матобщества, в обществе — что читаешь сегодня спецкурс, студентов спецкурса, не говоря лишнего, разогнать, распустить с задачками на дом, остается в долговом списке кто? — первая жена — ей позвонить, сказать, что навестишь не сейчас, а после поездки за рубеж. Это ее вполне устроит — костюмчик для сына, авторучку для сына, набор слайдов для сына, а ей какую-нибудь броскую тряпку и, как только она метнется к зеркалу, потихоньку сунуть пацану жвачку... Сказав и позвонив по всем этим направлениям, исчезнуть. Пропасть. Раствориться. Нет такого человека,

понимаете, нет. Уехать к Алевтине и сидеть там, вытянув и расслабив ноги, и ни о чем не думать и слушать.

Уходят в море корабли,
Зовет их вдаль дорога белая, —

завывает она, конечно, как при луне волчица, но при всем том какой голос, какое чувство стиха. Даже сейчас, вдалеке от Алевтины, отгороженный от нее ночью и пространством в полгорода, Стрепетов вдруг слышит звучание стиха и ощущает подобие той самой расслабленности, и этого хватает — звучание завораживает, действуя в параллель с изысканной смесью бромидов и валерьяны, — и Стрепетов наконец засыпает.

Соперничества, тем паче унизительного, Стрепетов вообще не выносит: он знает, что женщинам он нравится, и это знание либо немедленно приводит к цели, либо вызывает легкое и столь же немедленное отвращение к «борьбе за бабу»... Разумеется, можно начать играть и сорить по-крупному, можно ввести Алевтину в круг математиков, она будет без ума, давно рвется. Можно завлечь или просто притащить Алевтину в университет на свою лекцию, можно даже прихватить ее с собой в Париж на очередной симпозиум, в качестве секретаря, есть такая возможность — какая женщина устоит против двухнедельного пребывания на Монмартре?.. Стрепетов колеблется: все это, разумеется, можно сделать, но есть тут некая постыдность и жалкость, есть явное и ясное признание того, что он не может справиться с «мебельщиком» сам по себе и вынужден спекулировать на атрибутах мирской суеты и славы. Стыдно. И плюс — тут уж Стрепетов признается себе до конца — нет уверенности, что вся эта тяжелая артиллерия поможет и пересилит и что после, скажем, осеннего в дымках Парижа Стрепетов не обнаружит у Алевтины «мебельщика», который вновь объявится зимой, в первый же снегопад, тут как тут. А похоже, так оно и произойдет. И это уже будет совершенно непереносимо, и какой же останется шрам.

«Да и чего ради?» — Стрепетов кривит губы. В ко-

торый раз он повторяет себе, что Алевтина глупа, и взбалмошна, и неразборчива в людях, и вообще млеет от высоких слов, как млеет дикий и неотцеженный человек, который жизнь целую был диким и неотцеженным и только-только вчера услышал и почувствовал, что есть небо, и красота, и бог. Она именно из них. Из тех, кто только-только слез с дерева и теперь шумит и кричит, думая и полагая, что никто о небе, и красоте, и боге до них не догадывался.

Неожиданно он чувствует, что ревнует, — ну да, он едет в машине, он за рулем, он оставил их там вдвоем, — и вот он едет домой и ревнует Алевтину самым элементарным образом, ревнует и исподволь злится...

3

Михайлов и Алевтина сошлись разом и как-то стремительно, хотя, пожалуй, именно для Михайлова это было стремительно, а в общем, время у них отсчитывалось и время шло. И, быть может догадываясь, что для него это стремительно, и стремительность оправдывая, Алевтина тогда же (в первый их вечер) говорит:

— У меня бывает такое. Вдруг понравится очень мужик — и я уже не стараюсь себя сдерживать.

Поясняет:

— Свободная и одинокая женщина. Незамужняя — и ведь тоже хочется ласки, верно? — И опять же по ее глазам видно, что ничего дурного за сказанным не стоит, разве что ее особенный, и личный, и женский, и оправданный одиночеством поиск.

— Конечно, хочется, — тут же кивает Михайлов. — Конечно.

Приходить к Алевтине удобно: метро, разумеется, и время, но метро и время не в счет. Михайлов сказал, что женат и что дети, и тут уже есть доверие, поскольку вообразить, что у Алевтины цель и что она из тебя хочет что-то выудить или чем-то заарканить, невозможно — хочешь, приди, не хочешь, как хочешь.

— Замечательно у тебя, — говорит он ей как-то, прикладываясь губами к чашечке с кофе. — Даже не представлял себе, что может быть так замечательно. Знаешь, я ведь тебя боялся сначала: я вообще баб боюсь.

— Знаю, — смеется Алевтина. — Все знаю.

А его чуть ли не восхищает открытость и ясность Алевтины. Есть у нее подруга, тоже симпатичная, но та куда больше смахивает на ловительницу мужика или мужа — слишком уж прикипают к тебе ее глаза, слишком женщина, слишком мать-одиночка. Есть и друзья. Алевтина разговаривает с Михайловым лицом к лицу и прерывается, и вот она уже говорит *тому* по телефону, не уходя даже в другую комнату, все на виду («Я не смогла. Я была занята. Я женщина, милый, прости меня»), и все это ничуть не убыстряя и не замедляя своего естественного ритма жизни и уж конечно не суетясь и не краснея. Именно эта ее способность не обидеть тебя и не спугнуть его чуть ли не восхищает Михайлова.

— А красиво ты с нами управляешься, — говорит он как-то Алевтине, когда получается совпадение и кто-то к Алевтине приходит, — приходит, сидит, пьет кофе и потом, окрыленный, уходит, уверенный, что Михайлов это просто какой-то толстый дядька, в деле не участвующий. Чудак с тем и уходит, ликуя, хотя Алевтина вела себя с ним ровно, ни одним словом присутствующего здесь Михайлова не задев и не принизив. И уж конечно не сказав, что Михайлов родственник из Ленинграда и что ему, увы, негде переночевать.

— Управляюсь? — ей не нравится грубоватое слово.

— Ну это я так. Прости, ради бога. — Михайлов тут же идет на попятную. Но в то же время он хитро ей улыбается — есть, мол, люди наивные, чудаки, а мы, мол, с тобой люди умные, и тем более нам с тобой стоит общаться и дружить. Михайлов посмеивается.

Он посмеивается теперь довольно часто, он смотрит на ее жизнь как бы сверху вниз, как бы шутя, как бы взрослый на играющую девчурку, — он посмеивается и не замечает, как втягивается сам в эту ее жизнь.

Однажды Михайлов едет к Алевтине исключительно из-за того, чтобы узнать, чем и как у нее кончилось с пьянчужкой мужем (она в тот раз не дорассказала — прервали, а ведь любопытно), в другой раз ему любопытно послушать и узнать, например, о ее подруге с прикипающими глазами, в третий раз и вовсе без причины — попросту выпадает тоскливый вечер, а деться

вроде некуда, а домой можно, конечно, и попозже.

Раз в месяц, — это, разумеется, редко, это даже дико; раз в неделю — это, пожалуй, часто; Михайлов прикидывает, и это он уже ограничивает себя — два раза в месяц, а самое большее три — времени у Михайлова в обрез, человек занятой, семейный, к тому же буквально разрываемый на части заказчиками («Уж пожалуйста, шкафчик и стенку. Уж пожалуйста, ждем в восемь, а днем не можете?» — а днем он не может, днем он в цеху), и потому два раза в месяц кажется Михайлову и солидным, и достаточно частым, пока однажды Алевтина не говорит ему:

— Значит, в апреле милого больше не ждать. Значит, в мае теперь? — и смотрит с улыбкой, и обиды нет, а если обида, то запрятанная. И то, что он угадан и как бы даже с равнодушием угадан, задевает Михайлова. Алевтина смотрит на него с улыбкой и с некоторым сожалением, что он так же занят и замотан, как все обычные люди, и даже эту обычность она ему прощает. Михайлов задет. Он появляется у нее на этой же неделе, и еще раз, и еще, и вновь обнаруживает, что здесь замечательно. А когда однажды у Алевтины в гостях появляется незнакомый мужчина, явно новенький, Михайлов вдруг с удовольствием чувствует себя старожилом этого уюта. Широкое чувство: Михайлов и ведет себя как старожил — просит кофе, прохаживается, привычно и со знанием роется на книжной полке. Тут он впервые понимает, что в известной мере живет в этой квартире: зачастил, браток, — у него любимые *свои* книжечки стихов, *своя* чашка, из которой он пьет кофе, и кресло, на которое он садится чаще, чем на другое, вроде бы тоже *свое*. Кресло это кажется Михайлову сравнительно с двумя другими куда более уютным и расположенным заведомо лучше — из зеркала выглядывает часть прихожей: видно, например, кто придет и как придет. И даже само чувство к Алевтине, а оно поначалу было средненькое, перестает быть сгустком тепла или, скажем, частицей жизни, потому что сгустком тепла и частицей жизни становится само ее жилье, и пространственное расположение вещей, и кресло, и книги, и чашка для кофе. А появившийся новенький — это Стрепетов. Нет, новенький был, и мелькнул, и как-то мгновенно исчез, а второй новенький — вот это уже математик.

Михайлов видит вдруг, что теперь не его черед и

час и что теперь в эту ее жизнь втягивается Стрепетов, приходит Стрепетов, звонит Стрепетов. И, по-видимому, математик тоже привыкает незаметно и тоже поначалу смотрит на жизнь Алевтины свысока и посмеиваясь и, быть может, ограничивая себя, уже тоже думает про два раза в месяц. В общности и схожести чувства тут можно не сомневаться. Алевтина читала стихи в поездке по Крыму — там их трудилась целая рота: певцы, поэты, рассказчики-юмористы. А математик в Крыму отдыхал. Остальное Михайлов и сам может дорисовать. И первый их вечер тоже. Дорисовав, Михайлов находит даже, что математик это неплохо и это много лучше, чем рассказчик-юморист из той же бригады или, скажем, конферансье (нечто навязчивое и постоянно раздражающее — он занимал бы у Михайлова трояки и непринужденно распивал бутылец: «А мы, брат, по-быстрому!» — утверждая при этом, что у него широкая душа, а у Михайлова нет). Математик не худшее, без драк хотя бы.

Алевтина в новом теперь и в не лучшем свете, как всякий человек, делающий выбор. Она на виду. Она не только знакомится, не только влюбляется и потом разочаровывается и дает отставку — она режиссирует весь процесс, она тянет нить, она мелькает спицами, она вяжет, как вязала ее прабабка теплые носки внуку. «Нет, Михайлов. Сегодня я утомлена». — «Я приду посидеть», — уверяет Михайлов. «Нет-нет. Сегодня у меня гость. Тот математик», — откровенно и просто объясняет в телефонную трубку она, уверенно и легко отодвигая вечер с Михайловым по меньшей мере на неделю. А что поделаешь. Его вытесняют просто и, чтобы не болело, без церемоний. Алевтина сама вяжет роман, сама ставит точку и сама доставляет тебе горечь, не дожидаясь, пока ты вдруг уйдешь и доставишь горечь ей.

Михайлов пытается что-то переменить, звонит чаще или приходит к ней без звонка и внезапно («Случайно шел мимо — дай, думаю, зайду»), но тем бесцеремоннее его вытесняют. Алевтина сердита: «Знаешь, Михайлов, ты что-то зачастил, помни свое место».

— Я же проходил случайно — дай, думаю...

— Брось.

— Не веришь, а я расскажу — я ехал от Павелецкого к одному заказчику, он живет...

— Михайлов. Мы же взрослые люди! — Алевтина раздражена. Она всегда его хорошо принимала. Она читала ему стихи. Она варила ему вкусный кофе. Она честно и искренне любила его, она отпустила ему этой нелегкой, надо сказать, эмоции — полную меру. А больше не надо — не она его, так он ее завтра бросит, разве не так?.. Оба обостренно молчат и, может быть, впервые видят и понимают друг друга — понимание, в сущности, и начинается с той минуты и с того изгиба отношений, когда одному нет, а другому больно.

— Такие вот дела, — без всякого смысла произносит Михайлов и повторяет, сколько можно прячась в себя и в свою медлительность. — Такие вот дела...

Алевтина треплет его по плечу. Но голос отнюдь не мягок:

— Выше голову, Михайлов. Ничего из ряда вон не случилось, пока нам больно — это еще жизнь,

— Шибко мудро, — ворчит Михайлов.

— Что да, то да. Стихи я пишу не шибко мудрые, но сама я ничего!

Она целует его в щеку и прибавляет мягче:

— Ладно, Михайлов, иди домой.

— Ждешь гостя?

— Жду я или не жду — путь тебе это будет все равно.

— Пусть, — кивает он.

— Вот и умница.

Он уходит. Он вытеснен — это ясно, и еще одно ему более-менее ясно — он получил по морде и крепко получил, и теперь должен быть благодарен за урок и уйти как бы с заданием на дом, исчезнуть. Так оно и бывает, не он первый. Извлекут опыт, и бегут дальше по жизни, и торопятся, и ищут, где бы этот опыт теперь использовать, называя свою боль и все, что с ними было, прошлым. Но в том и суть, что для Михайлова это не просто Алевтина, и не просто опыт, и никак не прошлое — это любовь или почти любовь, да еще под занавес жизни (ему сорок, и Михайлов из тех, кто считает, что сорок — это уже под занавес). И потому Михайлов уйдет, но не совсем.

Сначала он исчезает. Его нет. Но недели две спустя (Алевтина его когда-то об этом просила) он отправляет ей с рабочими изящный шкафчик, счет, ко-

нечно, приложен — никаких, извините, даров. И записка приложена — так, мол, и так сделали, как ты просила, извини, что дороговато (на самом же деле цена занижена, выгодная и видная вещь). Следует звонок Алевтины. Спасибо, и не больше. Но и не меньше. Михайлов же деловит, сух и говорит ей (хотя она вовсе его к себе не зовет), что в эти дни он, Михайлов, очень, очень занят.

— Зайти не смогу.

— Вот и умница, — говорит Алевтина не без иронии. И опять же к себе не зовет. И ждет, что же он теперь, загнанный в тупик, скажет.

А вот что:

— Слушай-ка, нужен тебе кухонный шкафчик? У нас как раз начали изготовлять: емкие и современные.

И еще неделю и другую он не является и не звонит. Получив кухонный шкафчик, звонит она:

— Михайлов, ты меня уже давишь своей мебелью. Почему так дешево?

— Такая цена. Нестандартное дерево.

— Не дури мне голову.

— Как хочешь, — смеется он. — Можешь заказывать мебель в другом месте.

О чем-то надо бы теперь о постороннем. И Михайлов говорит:

— Вчера по телевидению гнали старый фильм «Стройка» — не видела? Там актер, на меня похожий.

— Наверное, он покрасивее? — не церемонится с ним Алевтина.

— Покрасивее. — Михайлов охотно соглашается и охотно смеется.

— И тоже, как ты, молчит часами?

— Молчит. Все время молчит. — Михайлов смеется. — Да и фильм, если правду сказать, немой...

И опять он не ходит и не звонит. Однажды он все-таки приходит, но это как бы не он, а как бы просто знакомый, в меру нужный хозяйке мебельщик. Стрепетов конечно же здесь. Но Михайлова Стрепетов не заботит — Михайлов спокоен, деловит, и видно, что он ни на что не претендует. Он спрашивает о здоровье, без суеты осматривает, так ли вписалась новая мебель — а она вписалась так, она отлично вписалась, ему ли не знать интерьер этой квартиры, — и уходит, оставляя их вдвоем и не пробыв там десяти минут.

Потом Алевтина ложится в больницу с аппендицитом. Михайлов ходит к ней, носит какие-то там яблоки и апельсины, однако не больше, чем другие (а другие тоже ходят и носят), — единственное, что он делает,— идет на прием к заведующему отделением, после чего завотделением сам оперирует Алевтину, так как она из боязливых и не хочет, чтобы ее оперировали милые студенты-практиканты. Михайлов не простаивает под больничными окнами. Михайлов не пробирается мимо шоколадниц-сестер, чтобы поболтать с Алевтиной в больничной палате. Он не лезет в душу. Он делает не больше, чем хороший с нами человек. Но и не меньше. И когда Алевтина наконец выписывается из больницы, она зовет его в гости — она полулежит, она еще не вполне оправилась. Они вдвоем. Михайлов сам варит кофе и себе и ей, и вот он разливает в чашки горячую и пряную жидкость, а Алевтина следит за его медлительными движениями и, чуть откинув голову на подушку, произносит вроде бы переломную фразу:

— А ведь ты настоящий друг, Михайлов. — Они получаются слишком нагие, эти слова, и нагота лишает их убедительности, но суть остается, а ведь ты настоящий друг, Михайлов. Без восклицания.

Он молчит. Алевтина разглядывает его, как разглядывают человека, вернувшегося после долгого отсутствия, — ей доставляет удовольствие взглянуть на людей как бы заново и как бы заново им, людям, удивиться. После болезни человека многое радует. Они выпивают по капле вина. Алевтина раскраснелась.

— По-человечески я тебя очень люблю, Михайлов, и знаешь, совсем не так, как раньше тебя любила. — Алевтина немного смущается. Она, в общем, уже проговорилась, но проговорчивость видна ей — ему еше нет.

— Я рад, — говорит он.

А она ищет слова:

— ...Люблю, но мне, допустим, совсем-совсем не хочется постели. Ничего не хочется. — Теперь улыбка у Алевтины извиняющаяся и робкая. И слова точнее. — Тебя это не обижает?

— Нет.

— Честно?

— Честно.

— Ты, Михайлов, просто золото.

Он молча варит еще раз кофе — они пьют, Потом

Михайлов уходит. Алевтина останавливает его окликом — она хочет *хотя бы* почитать ему стихи.

— Я ведь еще очень слаба. Много я не прочту, а все же это стихи.

Она читает то, что он когда-то хвалил. И он опять хвалит. И уходит. Он уходит и как бы уносит наконец с собой то, что хотел унести. Стихами можно отблагодарить на слишком короткое время, и, когда стихи раз от разу потеряют смысл и значение отдарка, она попадет в некое подобие зависимости от Михайлова. Алевтина этого не знает пока. Но зато Михайлов знает отлично. Что касается щекотливого оттенка в деловых отношениях, он даст сто очков и математикам, и физикам, и лирикам, и кому угодно. Михайлова подчас даже поражает, как они легко идут на поводу и не пугаются, не боятся изысканных этих отношений, неужели наивные: он ведь ведет игру на виду и, в общем, в открытую и хоть завтра может прекратить и прислать счет, а они не пугаются и не боятся.

Теперь вот (именно теперь) начинается то самое просиживанье друг против друга с чашечками кофе в руках — и оба, и Стрепетов и Михайлов, так сказать, признаны и приняты, и это, вероятно, несколько нарушает обычную спланированность жизни Алевтины, но Алевтина неспланированность эту терпит. А время идет. Стрепетов все еще посмеивается, как посмеивается *старожил,* но и тут эволюция, математик заметно нервничает. Михайлов же продолжает свое — тихое и скромное, ненавязчивое вползание: состояние «я тебе, ты мне» не так уж и сложно, однако только до той поры, пока оно не переходит в состояние незаметной зависимости. Кто-то из гостей, вот паразит, испортил у Алевтины магнитофон — мелочь, совсем мелочь! — Михайлов в телефонном разговоре об этой мелочи кстати вспоминает. И говорит ей:

— Слушай — как раз сейчас у меня заказчик один есть, он инженер по телевизорам и прочей технике — прислать?

— Ой, Михайлов, это неудобно.

— Алечка, не волнуйся: он у меня по уши в долгах. Он будет счастлив хоть чем-то отблагодарить.

— Спасибо, Михайлов...

— Только не вздумай дать ему рубль за труды.—

Михайлов смеется. У него нет как раз сейчас такого заказчика, это он солгал, но он смеется. Он роется в своей записной и находит, правда, не инженера, а техника (все одно) и действительно по телевизорам и прочим домашним агрегатам, и действительно у Михайлова он в долгах — короче, через три дня магнитофон Алевтины в лучшем виде. Заодно сменены старые блоки. Заодно почищен и смазан мотор. Заодно принесены в дар две пленки с современными записями. Алевтина как-то охает — нет у нее подписного издания Мопассана, она бы заплатила и выложила втрое, но где его найти (она охает между прочим и без прицела, как охают часто женщины, — и при Стрепетове, и при Михайлове, и при прочих знакомых тоже). Михайлов роется (на другой же день, не проронив вперед ни слова) в засаленной записной, отыскивает книжника, и через неделю Мопассан на столе у Алевтины. Разумеется, за деньги; разумеется, без нажима и тяжести дорогого подарка, однако ведь Алевтине не бегать, не искать, не поднимать пыли — человек сам к ней приезжает и сам недорого продает. Михайлову совсем нетрудно было перекупить и, скажем, подарить ей, но он чтит ненавязчивость. Он ткет, конечно, но он ткет легко и вдали и раскидывает в самых высоких углах, понимая и чутко предвидя, что дары угнетают, и задариваемый или задариваемая чувствуют себя не лучшим образом и рано ли, поздно ли будут жаждать из паутины освобождения. И Алевтина его ненавязчивость ценит. И вытканной паутины не видит. И не жаждет освобождения. Как-то в постели после близости и в состоянии утомления (она только что переболела гриппом) Алевтина говорит:

— Ты потрясающе милый, Михайлов.

А он смущается. Он всегда смущается ее похвал, понимая, что он не острослов и не красавец и что он далеко не Стрепетов, а лишь обычный человечек с деловой сметкой, выработанной в мебельном ателье и в мебельное время. Он натягивает простыню (стесняется своего большого и жирного тела), а Алевтина тут же замечает и засекает движение и, оттягивая угол простыни на себя, смеется:

— Ну чего ты стесняешься — ты милый, милый, милый, я люблю тебя. — И добавляет: — У тебя приятное тело.

— Это у тебя приятное тело.

— Что, что?

— Ты же слышала...

— Нет, повтори. Выжать из молчуна такой комплиментище — да после этого не страшно всю жизнь числиться в дурнушках! — Она смеется. Она встает и голая, счастливая идет на кухню, чтобы заварить им обоим крепкого чая и чтобы он видел, как и каким шагом она чай сейчас сюда принесет.

И возвращается чувство; удивительно, но еще удивительнее, как оно возвращается; сначала скрытые подарки и ненавязчивые услуги — это только ход, довольно точный и продуманный ход, из тех рычагов, какими Михайлов поднимает себя в глазах Алевтины. Но очень скоро Михайлов отмечает, что дарить радостно. Это любовь. Из давних и чуть ли не пещерных времен всплывает оно, сродни поклонению женщине, и загнанный, обычный человек по фамилии Михайлов вдруг узнает и угадывает это чувство, хотя не знал его никогда. Он знал, конечно, из кинофильмов, но считал такие вот подарки и подношения лишь разновидностью мужского ума, умением привлечь женщину или умением ее удержать. Михайлов удивлен. Он прислушивается к самому себе — так ли торжественно чувство, как ему кажется, так ли чисто. В эти дни он и делает Алевтине тот удивительный столик об одной ножке (сам придумывает, сам рисует наброски и модель и тщательнейше следит за исполнением), в эти дни и начинается та полоса, когда рабочие на фабрике болтают там и сям, что из Михайлова сосет соки баба. Михайлову плевать. Он не замечает пыли. Зато он замечает другое — Стрепетов проиграл.

И вот вечер, и Стрепетов сидит в последний раз, а вот и минута из последних — математик поднимается и сообщает, что ему пора домой.

— Я выпью, пожалуй, еще кофе, — это Михайлов.

— И я! — подхватывает Алевтина.

А Стрепетов, такой умный и такой неоцененный, поднимается и уходит. Он спускается по лестнице и в сердцах повторяет:

— Тупица выиграл... Тупица выиграл, а как?

Михайлов это слышит. Математик забыл шарф, он слишком быстро и взвинченно ушел и, конечно, забыл, и Алевтина посылает вслед Михайлова — догони, мол, и отдай. Михайлов берет шарф (а Алевтина ему улыбается: «Жду, милый, возвращайся, милый») и,

трясясь грузным телом, вприпрыжку нагоняет по ступенькам Стрепетова и вот тут слышит про «тупицу»— слова неразборчивы, но смысл ясен, и горечь мужчины ясна тоже. Он нагоняет, отдает ему шарф — это уже у выхода:

— А, — говорит тот. — Спасибо. — И уходит. А Михайлов поднимается наверх.

4

— ...Таким вот образом вычисляются коэффициенты Лагранжа. Все ли ясно? — Молчание. — Все ли ясно? — повторяет Стрепетов ровным голосом, и это он читает лекцию, отмечая и отчеркивая смысловую паузу в данный момент. — Студентка! Вы... Нет, вот вы! — указывает пальцем и зовет он, не помня фамилий. — Идите к доске и помогите-ка мне посчитать. Идите, идите. Бояться не надо. — Легкий гул. Студенты оживились. Выбранная жертва подходит к доске, и Стрепетов вручает ей мел. Она слушала лекцию. Она внимательно записывала, однако неожиданность приводит ее в известное состояние подавленности и полной немоты.

— Ну?

Она молчит. Он не смотрит на ее лицо — он берет ее руку в свою и, водя по доске ее рукой с зажатым в ней мелом, начинает писать формулу. Потом улыбается и отпускает руку, как отпускают ребенка, чтобы он сделал несколько шагов самостоятельно. Ребенок делает два-три шага и, как и положено ребенку, падает. Стрепетов вновь берет ее руку в руку и вновь пишет. И наконец отпускает ее тихую душу с миром.

— Продолжаем... — говорит Стрепетов. И студенты (каждый из них пережил эти минуты у доски применительно к себе), стряхнув оцепенение и некоторую сонливость второго часа, тут же прикипают к тетрадкам. Они боготворят Стрепетова. Моложав. Красив. Много ли надо, чтобы стать идолом. Ну и утонченные насмешки, конечно, — относиться насмешливо к их молодому и сырому уму для Стрепетова привычно, но это не значит, что в глубине души он с ними не считается. Он считается. Он попросту издерган. Он не знает отчего, но знает, что издерган.



А дома, вечером, его уже будет ждать жена, очень продуманно и мило создавшая помесь семьи и санатория на дому. Врач-психиатр, шутка ли. Сухая, скупая на слова и рубли — и любящая, конечно, — она лечит его прежде всего отборнейшей медицинской терминологией, вскользь и исподволь сообщая о человечьих недугах. Стрепетов уже мог бы, пожалуй, и сам читать лекции о том, как зачинается и возникает (а у него уже возник) гастритик, как образуются на этих же тканях язвы и полипы и как чуть позднее вся эта радость двадцатого столетия переходит в неудержимо растущие клетки. Стрепетов пуглив (она это знает и с любовью этим пользуется), при мысли о смерти он делается трепетной ланью, олененком, хотя и умеет над страхами своими смеяться. Дома он лечится. Дома он живет. Дома он вручает свою психику жене с великим доверием. Но именно поэтому возвращаться домой после трудового дня он иногда не торопится. Не так все просто. Не так все однозначно. Стрепетов дорожит домом, очень даже дорожит, но возвращаться туда не торопится и оттягивает минуту, слишком хорошо зная, что его там ждет. Этот промежуток меж рабочим днем и домом он старается использовать так, чтобы хорошенько расслабиться и забыться — хотя бы раз в неделю, хотя бы редко, хотя бы иногда. Этот-то временной промежуток он и называет отдушиной.

А отдушины нет — он проиграл «мебельщику», и уже три или четыре месяца он не видел Алевтину. И даже не звонил. С трехмесячного расстояния Алевтина уже как бы не Алевтина; чем далее, тем сильнее она смыкается и сращивается с этим словом. Жизнь слишком насыщена, чтобы держать в голове и конкретно помнить вздорную, и шумливую, и грудастую, и завывающую при чтении стихов поэтессу. Зато взамен ее, взамен живой женщины в памяти возникает и идет в рост слово «отдушина», оно пускает корни, оно растет и раскидывает крону, и объем, и свою даже тень, как раскидывает объем, и крону, и тень большое дерево. Оно становится понятием, оно становится звучащим и грандиозным *словом* и заполняет сознание Стрепетова, требуя там, в сознании, своего места и своей доли. Алевтина или не Алевтина, неважно; важ-

но, что была отдушина, теперь ее нет, — вот что точит Стрепетова...

А любимый профессор (то есть тот, у кого Стрепетов в любимцах, это точнее) говорит ему:

— Плохо выглядите, Юрий. (Нездоровы?)

— Да нет, я в общем здоров. Разве что нервы...

— Что, что?

— Нервы.

— А гимнастика?

— Ненавижу гимнастику.

— Напрасно. — Они встретились в коридоре. Они прогуливаются — преподаватель старый и преподаватель молодой. Студенты в одиночку, и стайками, и целыми косяками огибают их и дают зеленый путь. Любимый профессор тем временем рассказывает о гимнастике йогов. О том, как полезно пить кипяток поутру. О том, как важно отлаживать глубокое дыхание в позе лотоса. А поза змеи гарантирует интенсивную и бесперебойную работу пищеварительного тракта. Стрепетов слушает и дается диву: что за поколение, они умеют увлекаться чем угодно. Веры в старом смысле нет, однако способность верить еще не кончилась и не сошла на нет, отсюда и чудаковатые... Стрепетов продолжает беседовать, а в параллель чувствует, что те незабвенные два-три часа отдушины неумолимо приближаются — промежуток меж работой и домом все ближе, — а вот пойти ему, Стрепетову, некуда.

Некуда — и Стрепетов перебирает в памяти заменители, но они, как и положено заменителям, малопригодны. Есть, к примеру, молоденькая аспирантка, Варей зовут; и влюблена, и мила, и с квартирой, однако отдушины там не получается. Звонит часто. Дергает. Расспрашивает о жене. Главное же, что все или почти все ее разговоры о науке, о диссертациях, об оппонентах — и этим немедленно подстегивается недремлющее тщеславие Стрепетова, а тщеславию тоже нужен отдых: лошадку, которая тебя везет, нельзя гнать и днем и вечером. Есть еще вариант: маникюрша, тридцатилетняя, умненькая, дает все, что нужно, и не спрашивает, что не нужно. Однако у нее братец — шумливый, обидчивый, вдруг приводит всякую братающуюся полупьянь, и уже через десять минут нет тишины, нет кайфа, нет отдушины. Не то.

Пожалуй, суть даже не в маникюрше, не в аспи-

рантке и не в их разбитных братцах и сестрах — суть в том, что его, сорокалетнего преподавателя, с детства помешавшегося на стихах Лермонтова, тянет к Алевтине, и именно к ней. Это как любовь, а может быть, это и есть любовь или вид любви. Отдушина — это отдушина, и никак не меньше; это, пожалуй, индивидуально и избирательно, и не всякая женщина годится в отдушины, как не всякая женщина годится в жены. А уж если тянет к стихам, не такое уж оно мелкое чувство, не прихоть и не блажь; тут своя боль, отдушина как никак от слова «душа», и некоторые, например, старики на последнем своем больничном матрасе ни о чем более не думают, кроме как о той или иной отдушине; детство, между прочим, тоже отдушина.

И совсем не случайно в некоторые минуты туповатый или, скажем, хитроватый Михайлов делался ему даже симпатичен. Тоже ведь человек и тоже собачится. И уж во всяком случае у Стрепетова нет и не было к Михайлову той неприязни, которая нет-нет и полоснет (могла бы полоснуть) по сердцу, когда подумаешь, что он с той же женщиной, с твоей женщиной, знаешь, и он тоже про тебя знает, и оба знаете, и все трое, пожалуй, знаете или догадываетесь.

— У тебя, чувствую, тоже жизнь замотанная, — сказал Стрепетов как-то Михайлову (Алевтина печатала на машинке свои творения).

— Замотанная...

— И тоже только тут можешь расслабить ноги?

Михайлов усмехнулся, не ответил и словно что-то свое спрятал.

— О чем это вы? — спросила Алевтина, на миг отвлекаясь.

— О ком, — засмеялся Стрепетов. Он невольно сказал тогда мирные слова Михайлову — сказал и тут же дал тормоз, не переходя слишком границу. Минутная симпатия — это минутная симпатия, не больше, а взаимное высиживание продолжалось и даже усиливалось в те дни, пока хитроватый Михайлов каким-то образом не высидел Стрепетова окончательно.

Странное все же чувство, если это, конечно, чувство, и странная любовь, если это любовь, продолжает размышлять Стрепетов. Он (после лекций) торо-

пится в НИИ, где ежедневно проводит консультации. Он спешит. Он гонит машину, и времени у него в обрез — потом часа на полтора в Вычислительный центр, потом вновь в университет, и только потом он сможет поехать... куда он сможет поехать? В том и беда, что какой-нибудь кабак для Стрепетова не отдушина, и не только потому, что скучно и что за столиком в соседстве обязательно окажется бывалый и шумный командированный, знаток жизни и цен. И не потому, что вдруг подсядет, что еще утомительнее, навязчивый сноб-интеллигент петербургского разлива, которого можно вынести, только если пить как лошадь, а здоровья, как у лошади, нет. Стрепетов вообще не любит компанию. Он не ходил бы и к Алевтине, будь там народ, пусть даже в виде вполне мирной плотской гулянки — для кого-то отдых, для него нет. Отдушина — это когда ты сам по себе. Отдушина — это в одиночку. Но не в одиночестве, для этого именно и Алевтина, и чтение стихов, и кофе, и род любви...

В нескольких метрах от перекрестка Стрепетов едва не совершает наезд. Впереди, кажется, столкнулись грузовики, но заурядность улицы и негромкий, в общем, скрежет распадающихся где-то там стекол не дают Стрепетову осознать случившегося, однако люди, заслышав там и сям скрип тормозов, вдруг бросаются с проезжей части кто куда, лишь бы поскорее достичь тротуара и не пропустить зрелища. Они спешат. На пути к тротуару и к зрелищу один из бегущих, не глядя, или плохо глядя, или просто в малой панике, оказывается под самым носом Стрепетова — Стрепетов тормозит, но все же задевает. После удара правой фарой человек подпрыгивает, однако не падает, а, на счастье, взлетает — на миг он зависает в воздухе — и выскакивает наконец за пределы опасности, грозя оттуда Стрепетову кулаком и ругая, конечно, его мать. Стрепетов застыл. Он не в состоянии двинуться. Он у самого тротуара. Он сидит, обхватив руль, и старательно дышит, сгоняя волнение и перемогая стресс.

В такой вот примерно день — а дни схожи — Стрепетов оказывается у Алевтины; он именно оказывается, он даже не успевает подумать: зайду, мол, на ми-

нутку и погляжу, как там *они,* и, может быть, кофе выпью — даже скромной и загодя капитулянтской этой мысли не успело возникнуть. Как бы по привычке Стрепетов прячет ключи от машины и устало поднимается к ней. Вечер как вечер. Время отдушины. Хитроватый Михайлов, разумеется, здесь и, разумеется, любим и выкупан в ласке.

— Смотри, кто у нас появился, — я уж и забыла, как его зовут! — кричит Алевтина.

И только тут Стрепетов понимает вполне, куда он приехал и к кому пришел.

— Н-да... Можно знакомиться заново. Срок огромный, — медлительно и тяжело шутит «мебельщик».

— Кофе хочешь? — Алевтина отыскивает Стрепетову чашку с аистом, наливает и смеется: — Долгонько тебя не было — месяца четыре, а?

Стрепетов подавлен собственным здесь появлением. «Зря пришел», — думает он. Досада и самолюбие обычно не дают ему возможности вернуться — он возвращался и к болтливым женщинам, и к дурнушкам, и к «изменщицам», и даже к корыстным, но никогда к тем, где он в собственных и чужих глазах оказался несостоявшимся и проигравшим. А здесь он именно такой. Это для него внове. Он вяло прокручивает в мыслях несколько давным-давно заготовленных фраз для перехвата инициативы: придуманные в одиночестве фразы казались острыми, а здесь они слишком общи и нежизненны и напоминают удивительно яркие находки во сне, которые утром, когда проснешься, даже ошарашивают своей безликостью и заурядностью. А тут еще Алевтина подначивает, спрашивает не церемонясь:

— Как твоя жена, Юрочка, ладишь с нею?

— Стараюсь, — отвечает Стрепетов.

— Она по-прежнему тебя пугает и лечит?

— Да, — холодно отвечает он, — пугает и лечит. У меня давно уже возникла потребность, чтобы меня пугали и лечили.

— Не за это ли ее любишь?

Он молчит.

— А значит, ты большой эгоист, Юрочка!

— Значит или не значит, — резко говорит Стрепетов (он заметил, что они мило перемигнулись), — но мне моя жена нравится.

Разговор сбит. Стрепетов слишком завысил голос. Михайлов откашлялся и медленно начинает о своем:

— А мне хлопоты предстоят — мой старший в этом году поступает.

Алевтина оставляет (давно пора) Стрепетова в покое и теперь подтрунивает над Михайловым:

— В университет, конечно?

— Да...

— Ты, Михайлов, все-таки ужасно спесив — если сын поступает, то обязательно в университет.

— Сам хочет.

— Уж будто бы?

— Сам выбрал. Математиком хочет стать. — И Михайлов кивает на Стрепетова и улыбается: по твоей, мол, стезе.

— Прекрасная профессия, — сухо и коротко откликается Стрепетов.

— Да. Пацан влюблен в формулы.

— Математика — это, к счастью, не формулы, — так же сухо говорит Стрепетов. Ему надоела досужая болтовня, точнее, он сам себе надоел посреди этой досужей болтовни. Он сейчас уйдет. Встать и уйти — и хватит с него. Однако он не уходит. Более того: уходят они в другую комнату, а он сидит совсем уже без смысла и будто бы чего-то ждет. Алевтина в той комнате клеит какие-то строчки (готовит новый сборник) — она подзывает ближе Михайлова, чтобы помог, а Михайлов, видимо, опрокидывает клей, потому что Алевтина смеется: «Ну-у, медведь в помощь пришел!» Они выклеивают строчки и воркуют: «Михайлов, это безобразие, а не работа — немедленно переклей строку!» — слышится сердитый ее голос. А Стрепетов сидит и сидит и униженно держится за чашку с кончающимся кофе, как держатся за последнюю возможность.

— Я пошел, пожалуй, — говорит Стрепетов, заглядывая к ним в комнату.

— Еще по чашке кофе — и отчалим вместе, — предлагает Михайлов.

«Отчалим», — морщится Стрепетов. Ждать ему «мебельщика» не нужно, и глупо, и постыдно даже, однако всплеска воли хватило только, чтобы сказать: «Я пошел, пожалуй», — спокойно и с достоинством даже сказать. Но при возникшей малейшей новой воз-

можности он опять садится и сидит, и зад его словно пристал к стулу.

Нет особенного и в том, что после кофе они вместе спускаются вниз. Идет Стрепетов — за ним спускается Михайлов.

— Садись, — Стрепетов сажает его в машину; он, пожалуй, подвезет «мебельщика» до метро, как подвозил когда-то.

Долгое время они едут молча. На душе у Стрепетова устоявшаяся приниженность, и тут он отдает должное такту Михайлова, который ни словцом не прицелился в это его постыдное возвращение к женщине.

— Зря я приехал, — вырывается у Стрепетова.

Пауза. Михайлов некоторое время молчит, потом говорит:

— Почему же зря — может быть, как раз вовремя.

Здесь (в этот первый раз) Стрепетов еще не обращает внимания на скользящее «может быть»: оно вроде как вводный оборот и довесок речи для смягчения. Но тут же след в след Михайлов допускает повтор и говорит нечто никак не ожидавшееся:

— Я, может быть, расстаюсь с Алевтиной. Совсем расстаюсь.

— Разлюбил?

— Нет. Но хватит...

— Почему же?

— О детях думать надо... У меня сложные времена начинаются. Хлопотливые времена. Я теперь только о детях буду думать.

Что-то он еще хочет сказать, но молчит или же *пока* молчит. Но и Стрепетов молчит. У метро «Белорусская» (здесь он, как и в былые времена, вылезает, а Стрепетов поедет дальше) Михайлов вновь начинает говорить:

— Поступить в университет на математический непросто, я это знаю, — не можешь ли посоветовать, порекомендовать кого-нибудь, кто позанимался бы с сыном?

Доверие за доверие. Стрепетов отвечает:

— Я подумаю.

— Сын у меня не темная лошадка, — с расстановкой сообщает Михайлов. — Учится отлично. Но все же надо подстраховаться.

— Разумеется, надо — я подумаю.

Михайлов уже вылез из машины. Стоит, наклонясь большим телом; благодарит, что его подвезли.

— Давай, Юрий, встретимся и обговорим — ты когда будешь у Али?

Стрепетов в некоторой растерянности, однако он не хочет, чтобы растерянность была заметна:

— Не знаю. Возможно, в четверг... Но, возможно, я вообще у нее больше не буду.

Если Михайлов уходит — значит, уходит; этот тяжелодум пустых слов не говорит, и если слова его не совсем ясны, то, значит, они попросту промежуточны и недоговорены, но не пусты. По едва уловимым оттенкам Стрепетов догадывается, что Алевтина не знает сказанных в машине слов и, стало быть, Алевтина не знает, что Михайлов от нее уходит: созрело за ее спиной... Однако игра, если это игра, совершенно незнакомая, и Стрепетов не хотел бы сделать неверного хода и шага. Четверг. Он приехал, но он будет сдержан. Он приехал, но будет молчалив.

Стрепетову становится много легче и проще, когда оказывается, что Алевтины дома нет. Дверь ему открывает Михайлов и говорит: «Проходи», — а Алевтины нет.

Она поехала на телевидение: пригласили читать стихи, и конечно же для нее и внезапно, и радостно, и, конечно, большая честь — она вернется часа через три, говорит Михайлов, она только-только уехала. По четвертой программе. В девять тридцать. «Так что послушаем сегодня Алечку на голубом экране». Михайлов сияет огромным лицом, он откровенно рад за нее.

— Как-никак для Али это реклама. Это признание. Это поможет ей быстрее издать книжку!

— Еще бы! — откликается Стрепетов. — Я тоже за нее рад...

Стрепетов, может быть, и рад, но, скорее всего, растерян. Он думает: а был ли тот разговор в машине, не померещилось ли, то есть не сам разговор, а смысл и значение его — были ли? Или же это какая-то психологическая накладка и самообман?.. Стрепетов спешно закуривает. Сдерживая голос в сердце, он хочет выждать, сойти в сторону, но почти тут же не выдерживает и пускает пробный шар:

— Мы ведь хотели поговорить о твоем деле.

— Да, — кивает Михайлов. — Сейчас...

Молчание нарастает чуть быстрее и тяжелее, чем хотелось бы Стрепетову.

— Аля сварила кофе. Пей, он еще горячий, — говорит Михайлов. — Она только что уехала.

И вновь молчание. Теперь они пьют кофе.

— Юрий.

Стрепетов чувствует, что Михайлов поднял на него глаза.

— Да.

— У тебя много работы?

— Хватает. — Стрепетов осторожничает и дает себе воможность обратного хода. — Но если очень надо, время как-то выкраивается — верно?

Михайлов молчит, — вероятно, Стрепетов, нервничая, слишком быстро двинулся навстречу, а такое тоже настораживает и заставляет лишний раз присмотреться. Стрепетов подносит чашку ко рту и чувствует, что Михайлов его рассматривает.

— Значит, есть время?

— Отыщем. (Да есть же. есть время, сукин ты сын, желание есть, все есть — не тяни же!)

Тогда Михайлов решается, тянуть и впрямь нечего:

— Я хотел бы, чтобы с сыном моим занимался ты сам, — ты, Юрий, это понял?

— Конечно.

— И чтобы как надо подготовил его в университет.

— Если он действительно учится отлично, я это сделаю.

— Он учится отлично.

Теперь им обоим и легче и труднее — главное названо и угадано, но впереди еще подробности и просто какие-то людские и скрепляющие слова, и их не обойдешь, и уже их черед. Потoропленный Михайлов сказал свое и как-то вдруг отяжелел — Стрепетов чувствует, что Михайлову сейчас несладко. Теперь Стрепетов рассматривает его.

— Давай я сварю кофе — хочешь? — начинает Стрепетов. Но спохватывается и тянет из портфеля за горлышко французский коньяк. — Давай лучше пить. Французы подарили; раз уж хозяйки нет, давай пить с тобой.

— Давай. И ей оставим.

— Разумеется, — улыбается Стрепетов. — А надо

ли? (Разговор кончен, и можно чуточку посмеяться.)

— Что?

— Надо ли оставлять — бутылка любит двоих.

Михайлов не улыбается.

— Надо, надо. Оставим и ей. Ей будет приятно.— И это означает не только избыточную прочность медлительного Михайлова, и не только его недоверие к шуточкам и ерничеству, которые могут подточить любое верное дело (и ведь верно — могут!), и не только его профессиональную серьезность в деловом разговоре — это означает еще что-то, но что? И тут же Стрепетов догадывается: разговор деловой не кончен; не точка.

Стрепетов спешит, шутка ему не удалась, но близость пусть даже неудавшейся шутки, соседство с ней облегчают речь, и Стрепетов (иначе он никогда не спросит) спрашивает:

— Ты, стало быть, уходишь от Алевтины? — И Стрепетов добавляет к выражению своего лица запрашивающую и прощупывающую собеседника условную улыбку, двоякость которой обезопасит его от всяких неожиданностей. Но неожиданностей нет. Михайлов говорит:

— Ухожу.

Коньяк разлит. Они пьют по рюмке, потом по второй, они не чокаются — некоторая осторожность присутствует, — один раз Стрепетов было потянулся с рюмкой, но Михайлов свою не поднял и уж точно не поспешил поднять.

Михайлов выпивает. Потом отдыхивается. Потом говорит:

— У меня еще сын.

— Тоже будет поступать в университет?

— Да... Но не сейчас. Он в девятом. Через год.

И тут Стрепетов уже не может не поглядеть глаза в глаза Михайлову: каков мужик... Стрепетов секунду-две прикидывает, как прикидывает цену: одно лето на приемных экзаменах так уж и быть, но на следующее лето он хотел бы в запас свободы и покоя, хотел бы куда-нибудь удрать, уехать. Два лета кряду в городской жаре не сахар, но именно эта несахарность (и Стрепетов это теперь понимает) придает устойчивость и прочность их сговору.

— Не много ли хочешь? — смеется вдруг он.

— Немного. — Михайлов серьезен. — Тебе будет не так уж трудно: второй сын тоже хорошо учится.

— Надеюсь, у тебя только два сына?

— Два. — На лице Михайлова наконец-то если не улыбка, то пол-улыбки: впервые за весь разговор. Стрепетов разливает коньяк, Стрепетов берет рюмку, а Михайлов смотрит и видит, как его тонкие, изящные руки словно напоказ замирают на секунду на темно-вишневой поверхности стола. «У моих такие же руки», — отмечает Михайлов. И вдруг говорит: — Я хотел бы, чтобы мои дети были хорошие математики. И чтобы вообще они были похожи на тебя.

— Ты это без иронии?

— Без. Даю слово.

— Мужчины такими комплиментами редко разбрасываются.

Они замолкают, и на этот раз молчание как итоговая черта, как точка в долгом их торге.

— Ладно, — говорит Михайлов (и вдруг вздыхает). — Давай допьем. Аля все равно не любит крепкое.

— Ну, разумеется, не любит — я же тебе сразу сказал.

— Давай.

— Давай.

Михайлов спохватывается:

— Время!

— Что?

Михайлов поднимает со стула свое тяжелое тело и, сделав два звучных шага, от которых запели стекла в книжном шкафу, включает. По четвертой программе уже читают стихи: сначала это делает молоденький длинноволосый поэт. Потом выступает поэт военного поколения. Потом объявляют Алевтину — она на экране, она читает: «Люблю! И небо стало звездно. Люблю! И больше нет судьбы...» Дождавшаяся своей минуты, она немедленно начинает завывать, а глаза ее привычно увлажняются. Но вот и ее голос уже не режет слух, завывание становится нормой и как бы обязательной условностью, а еще чуть позднее Алевтина полностью отдается стиху и чтению, и теперь голос завораживает. Она хорошо читает. Она читает о любви — о том, что любовь сильнее жизни и даже *вперед* жизни, такой образ: когда-то не было на земле живых, не было растений и одноклеточных, только камни, но уже тогда в неоплодотворенном и безликом кислородном пространстве жила любовь — такой образ, — прыгала зайчиком среди первородных скал и голых глыб. Алевтина

понимает, что сейчас ее видят. Она понимает, что сейчас ее слушают. Она понимает, что сейчас ее любят. Это приводит к новому выбросу и выхлопу энергии, и Алевтина с мокрыми глазами, ликуя, приступает к едва ли не лучшему своему стиху — он тоже о любви.

Сообщить ей эту хронологическую подробность («Сегодня последний вечер, любимая!») Михайлов никак не может. Слова, конечно, подготовлены; язык, конечно, не поворачивается. Однако деться ему некуда, и сейчас он эти слова скажет.

— Михайлов. Ну, Михайлов! Ну чего ты такой скучный!

Она теребит:

— Ну не будь скучным. Не будь старым. Не будь занудой. Ну выпьешь, может быть, рюмочку?..

Алевтина взахлеб рассказывает — неделя прошла, только неделя, а уже отклики на ее выступление по телевидению, письма пишут («И какие письма. Какой наив, но, однако, какая, Михайлов, чистота — знаешь ли, что такое письма простых людей!») — она взахлеб радуется, а Михайлов вставляет незначащие слова и думает, что надо бы этот ее бурный восторг пресечь, хотя бы в качестве *первого* жесткого хода.

Но тут звонит телефон, и почти с той же пылкостью и страстью (обожает телефон) Алевтина бросается к аппарату, и у Михайлова нет теперь жесткого первого хода, однако есть миг подумать. Не больше чем миг, но Михайлов успевает. И когда Алевтина от аппарата (прикрыв трубку) сообщает полушепотом:

— Баскетболист звонит. С женой. Напрашиваются в гости.

Он кивает:

— Зови.

— Зачем?..

Алевтина продолжает говорить в трубку, а Михайлов погружается в не слишком блещущую новизной мысль о том, что уйти — это уйти, а уйти вместе с кем-то или с помощью кого-то во всех случаях жизни легче и проще. И очень может быть, что удастся обидеться на этого болтуна баскетболиста: тот обязательно пройдется раз-другой, например, насчет его, михайловской, мебели. Изобразить, сочинить обиду и уйти и, может быть,

хлопнуть, и это бы совсем хорошо, то есть хлопнуть дверью, а дальше уже по телефону и с расстояния; дальше уже проще. Или сама же Алевтина подставится под удар, не такое или не так ввернет словцо (на людях она не прочь подтрунить над Михайловым), или же жена баскетболиста, тоже баба языкастая и тоже с прицелом, Михайлов не знает, как случится его обида и его уход, но он точно знает, что в одиночестве ему проделать все это тяжелей.

— ...Чего же ты молчишь?

— А? — он откликается; он словно из другой комнаты.

— Ты, милый, сегодня на редкость говорлив.

— Угу.

Вот так он и молчит. Нервничает.

— Когда они придут? — спрашивает он.

— А они не придут, — смеется Алевтина. — Ну их. Зануды они. Я сказала, что занята.

Она смеется, у нас, дескать, теперь весь вечер и ночь: мы, дескать, вдвоем, милый, и ждать некого, и можно посидеть вразвалочку. Михайлов спешно кивает — да, дескать, вечер; да, ночь; да, вдвоем. Он боится ее интуиции, боится женской и тонкой ощупи, если она угадает прежде, чем он скажет, тогда ему уже не сказать, не суметь.

— Да, вдвоем будет лучше, — подхватывает он. — Конечно, лучше.

Поощряемая мягкими его словами, Алевтина не угадывает. Более того, она начинает вдруг спешить — она запускает (как всегда) негромкую музыку, гасит лампы, кроме одной, все это стремительно, быстро, и, хохотнув, скрывается в ванной, оставляя Михайлова один на один с надвигающимся фактом. Он слышит плеск воды. Даже этот плеск сегодня напорист и тороплив. Михайлов сидит в полумраке и в приглушенной музыке, совершенно одетый и совершенно неспособный сдвинуться с мертвой точки. Алевтина сидит уже рядом с ним, она в ночной рубашке, возбуждена, глаза как большие черные вишни.

— Ты что? Решил спать в пиджаке? Может, у тебя фурункулы? — Она смеется.

Он молчит.

— А ну марш в ванную!.. Михайлов!

Она не понимает и вновь не угадывает — да и как угадать? — она целует его; груди под рубашкой ходят;

с головы, с коротко остриженных волос каплет вода, Алевтина шепчет:

— Знаешь, а я сегодня очень настроена. Мне кажется, у меня с юности такого не было — ужасно тебя люблю...

И еще шепчет:

— А ты не настроен? Не очень?

Лукавить Михайлову не приходится, тут уж совершеннейшее совпадение того, что думает, и того, что говорит, — да, сообщает он ровным голосом, не очень. Может быть, устал. Может быть, измотан.

— Старенький становишься? — ласково подсмеивается она.

— Может быть, старенький.

Алевтина легко стаскивает с него пиджак, отпустила ему и его усталости ровно одну тихую минуту и опять торопится («А славные я получила сегодня письма — правда?»), распахивает ворот, стаскивает ему рубашку рывком через голову («Ну милый, ну не снимать же мне с тебя брюки — для этого, как я догадываюсь, придется содрать с тебя ботинки»), и вот Михайлов, не то подталкиваемый, не то упрашиваемый, уже стоит в ванной, под душем, и сверху льется вода, пожалуй, даже холодная. Ладно. Последняя ночь. И Михайлов ловит себя на том, что не станет он сейчас регулировать воду, какая есть.

Они лежат в постели, и она шепчет:

— Только не сразу, ладно? Хочется поболтать. — И Михайлов тоже, в согласии с ней, испытывает после душа желание не двигаться, и отяжелеть, и застыть в недвижности.

Она продолжает. Она шепчет:

— ...Только не думай, что я спятила от стихов и от писем на телевидение — есть немножко, не без того — но в общем плевать, главное, мне с тобой хорошо.

Она вдруг плачет:

— У меня никого нет, кроме тебя.

Михайлов привык к ее преувеличениям, и все же его мало-помалу забирает и греет. Однако, уравновешивая ее красивые слова, он видит себя сейчас со стороны в этой любовной полутьме. Большой и грузный и вмявшийся телом в постель человек; руки этого человека лежат (покоятся) на вместительном животе; лицо с жесткими, практическими, интендантскими складками; и завершают вид свалявшиеся от шапки и дневного го-

на волосы. Это сделалось и произошло с когда-то худеньким и малокровным мальчуганом, который скудно ел и мечтой которого было иметь салазки на железной основе. Детство всколыхнуло. Михайлов вдруг пугается мысли, что любит Алевтину и что никого, пожалуй, кроме нее, не любил, а жизнь была долгой.

— Не плачь, — говорит он.

— Нельзя и поплакать? — откликается Алевтина неожиданно весело и откуда-то сбоку; и только теперь оно начинается, и тянется, и продолжается; потом Алевтина ставит обязательную точку: целует его. Благодарность. Она садится. Она привычно попадает ногами в шлепанцы и расслабленно, как бы неторопливо гуляя по лесу, идет на кухню и ставит там кофе. Шумит газ. Голос Алевтины доносится, слегка искаженный ночью, и расстоянием, и долгим до этого шептаньем: «Есть еще яблоки — захватить?» — «Ага». Он лежит и обводит глазами темные стены. Ночничок давно погашен. Он обводит глазами и умышленно, пробуя, как это будет звучать в прошедшем времени, произносит: «Здесь жила моя баба», — он хочет зачерпнуть в этих жестких словах смелости, но тут же и разом немеет и отступает перед надвигающейся болью и правдой.

Они осторожно двигают чашками в темноте, отстраняя и вновь поднося ко рту.

— Замечательно, что мы вместе (она делает глоток), мне кажется, что мы уже сто лет вместе.

И еще говорит (глоток, глоток, глоток):

— Сначала думала: ну мужик, ну симпатичный, однако пора ему в отставку.

И еще:

— ...Потому что не люблю привязанности — муженек мой из меня столько выцедил крови, что я уже не способна жить бок о бок и вот хотела тебя в отставку, помнишь?

— Помню.

— Совсем было решилась. А потом как-то вдруг оказалось, что ты вернулся. Смешно?

Она говорит. Она не умолкает. Ласковая:

— Мне ведь много не нужно. Мне ведь больше никто не нужен.

— Да, — говорит он.

— Будут идти годы, зима за зимой, лето за летом — мы будем потихоньку стареть, верно?

Отчетливо понимая, что здесь некстати, и грубо, и отчасти даже неправда, он говорит:

— Очень уж со многими ты спала.

— Я?

— Не я же. — Он говорит и удивляется своим словам: заготовленные, они все же нашли себе место и высунулись. Очередным словам он уже не удивляется, тоже запрограммированные, слова идут вслед: — Где у тебя валяются мои бумажки? С утра могу их забыть...

— Что?

— Бумаги.

Он встает. Он босо, и решительно, и *значаще* шлепает к ее столику. И задевает в темноте стул. И чертыхается. И топчется у столика (ищет квитанции и накладные заказчиков — однажды он случайно оставил их у Алевтины, и, конечно, надо взять их сейчас). Он находит. Он знает квартиру наизусть. Он прячет бумаги в пасть портфеля, достаточно долго и грубо гремя ими в ночной тиши, как гремят жестью.

Он ложится. Он готов к объяснению и ждет, что теперь будет, а не будет ничего.

— Ты что, спятил? — спрашивает она. И тут же приглаживает ему волосы на голове, как приглаживают бесценному и любимому. Так и именно так, и непеременившееся время продолжает вязать на своих вечных спицах. Михайлов сник. И постепенно уже входит в сонный ритм сердце, а Алевтина наклонилась над ним. И шепчет:

— Милый ты мой. Ревнуешь? Вот глупенький...

Он прикрывает глаза, ее не проймешь. Она как бы нависла над ним — гладит ему виски и откуда-то сверху шепчет: «Будут идти годы, зима за зимой — особенно я рада тебе зимой, почему бы это, будут идти годы, а мы будем стареть».

Он не знал, спал ли, — надо полагать, час-полтора спал. За окном серенькая рань. Зари нет.

Он встает. «Спи», — говорит он Алевтине, когда она некоторым движением тела и еле уловимым беспокойством спящего человека, не открывая глаз, спрашивает, как и что теперь, когда придешь, милый?.. Он не отвечает на это. Он говорит:

— Спи. Я себе сам все сделаю. Тебе-то чего вставать.

Он вяло завтракает. Он сонный, он разбитый, и он ничего не сказал Алевтине.

Он возвращается в комнату, чтобы взять портфель и прихватить сигареты, — закуривает, однако не уходит сразу (зов комнаты) и задерживается у окна. Спиной он чувствует, что Алевтина смотрит на него: одеяло натянуто до подбородка, до самых губ, но глаза ее, хотя и сонно, смотрят. Что-то ее, видимо, кольнуло; что-то докатилось до нее и доползло, как исподволь докатывается и доползает до спящего человека итог прошедших полутора лет... Смотрит. И пусть.

Михайлов тоже смотрит — в окно. Докуривает. Он смотрит с некой внезапностью чувства — поле, и овраг, и два журавля строительных кранов, и незаконченный фундамент дома, — он смотрит сейчас, как смотрят в день скорого отъезда, стараясь вобрать в себя и втиснуть эту землю, на которую едва ли когда-нибудь ступишь и вернешься, потому что жизнь коротка, а заботы, и поток жизни, и вагоны метро покачивают и несут тебя, как щепку. Михайлов оделся. Вышел. Ровное гудение лифта (он утопил кнопку, и потекло, поехало) напоминает Михайлову, что, так ли, не так ли, жизнь продолжается.

5

Раза три или четыре телефонный звонок, но это уже как бы не Алевтина, а некое промежуточное звено для стирания в памяти:

— Не могу, занят, очень занят.

— Не можешь или не хочешь? — плачет и, конечно, устраивает ему телефонную истерику или вдруг называет его старым жирным боровом, который ей осточертел. Уколоть и задеть: иногда такое помогает, и человек в ярости или в обиде является к бывшей подруге, чтобы ответить или оправдаться, не сознавая, что, если он пришел, значит, пришел. Но Михайлов не приходит. Пауза. Затем новые три или четыре звонка, но он начеку — трубку берет Вера Емельяновна и с полупрофессиональной ядовитостью отвечает товарищу Алевтине Нестеровой, что Михайлова нет (первый звонок), что Михайлов на выезде (второй звонок) и что Михайлов



в цехе — не передать ли чего, *если это по делу?..* Звонки прекращаются. Это конец. Михайлов знает или догадывается, что Аля отступилась, привыкая и привязываясь сейчас к Стрепетову, как привыкала и привязывалась когда-то к нему. Конец. Алевтина еще некоторое время возникает в его ежедневных мыслях (по инерции и по необходимости быть начеку), а затем ее лицо, и ее облик, и образ в целом передвигаются за линию горизонта и уходят в то, что называется по-разному, но чаще всего прошлым. И уже там, в прошлом, занимают свое уяснившееся место.

В один из тех дней происходит ожидаемый и потому краткий телефонный разговор со Стрепетовым — они согласовывают, когда и где: уроки со старшим сыном начнутся на этой неделе, да, Юрий?

— Я, Юрий, справки навел. Поскольку ты доктор наук, буду платить тебе пять рублей в час. Стало быть, десять за занятие...

— Как — ты собираешься еще и деньги платить? — В голосе Стрепетова и улыбка, и ирония.

— Конечно, Юрий. Обязательно.

— Ну-ну.

Переговорив, Михайлов кладет трубку и закуривает — он думает о том, что доктору наук Стрепетову надо будет платить аккуратнейшим образом. У отношений должен быть свой четкий стиль. Время (а оно будет идти и идти) размывает слова; время размывает и слова и разговоры, как и положено их размывать, но не размывает лишние сто или почти сто рублей в месяц.

— До свиданья, — говорит Михайлов приемщице.

— До свиданья, Павел Васильевич.

Михайлов возвращается домой.

— Иди-ка сюда, — зовет он. И вот обычным и ровным голосом он объясняет старшему сыну, что начиная с завтра старший будет заниматься с известным математиком Стрепетовым; если же сын не будет валять дурака и окажется не тупицей, то, поступив в университет, он, возможно, станет на долгие даже годы учеником этого блестящего ученого.

Семнадцатилетний мальчик смотрит робко и, пожалуй, напуганно.

— Ты будешь приезжать к нему домой по вторникам и четвергам к шести вечера.

— Ехать далеко, папа?

— Тебя это не должно волновать. Выучишь в метро лишнюю теорему.

Младший похрабрее. Он спрашивает:

— А я?

— С тобой он начнет заниматься через год. В десятом классе.

В конце разговора присутствует жена; она только что пришла из магазина.

— Математик он, возможно, хороший, а хороший ли он учитель?

— Что?

— Хороший ли он учитель?

— Можешь не сомневаться.

Жена кивает:

— Раз ты говоришь, я, конечно, не против... В неделю двадцать рублей. Это, стало быть, восемьдесят рублей в месяц.

— Это девяносто рублей в месяц.

Жена вновь согласно кивает. В месяце конечно же четыре с половиной недели. Жена относится к Михайлову чаше всего спокойно и согласно, с тем спокойствием и согласием, какое испытывают не слишком уверенные в себе женщины при виде (изо дня в день) мужа, поступки которого медлительно точны, и верны, и отцежены опытом, и хорошо оплачиваемы.

Этим же летом старший сын Михайлова легко и даже блестяще сдает вступительные в университет.

Самое неприятное для Михайлова в его работе — это ползать; вес и большой живот не дают ему присесть на корточки и тем более на корточках передвигаться. В ход идут коленки (годы, разумеется, уводят нас от детства, но незримыми и изощренными ходами опять же ведут к нему). А для того чтобы передвигаться на четвереньках спокойно и не слишком униженно, Михайлов изгоняет из комнаты хозяев. Тут он принципиален и неумолим. («Люблю, извините, побыть один. Люблю обдумать. Вы мне мешаете». — «Нам уйти?» — «Да».) Клеенчатый сантиметр болтается у него на шее. Михайлов перемеривает углы, нишу, расстояние до радиатора отопления и толщь плинтусов. Время от времени Михайлов распрямляется и, стоя на коленях, записывает в книжицу цифры. Теперь черед объемов. Ми-

хайлов взмок, но не прерывается. Чтобы учесть высоту, он лезет на шаткую стремянку, стремянка скрипит под ним и попискивает...

— На минутку! — Михайлов зовет хозяев. Он отирает пот.

Хозяева входят. Они возбуждены ожиданием и этим непереносимым состоянием вне игры (они-то предполагали, что будут всласть обсуждать и всласть советовать), и вот они входят. Отирая платком шею, Михайлов начинает излагать им свое — если они хотят белую стенку-шкаф *вплоть до балкона,* комната волей-неволей приобретает лицо, — значит, сюда же и белый столик, и хотя бы два светлых стула.

— Если вы так считаете... — Хозяйка доверительно улыбается.

Михайлов записывает.

Хозяйка льстит. Она в ярком добротном халате. Причесана. И брови подведены.

— Мы ведь как рассуждали: если уж Михайлов *сам* придет и *сам* посмотрит, все будет сделано и красиво и быстро.

— И дешево? — грозно улыбается он.

— Нет-нет, мы понимаем, что недешево.

Хозяин тут же. Он басит:

— Нам так сказали — главное, положитесь на вкус и руки Михайлова.

Хозяйка с улыбкой подтверждает:

— Нам именно так и сказали.

Как правило и как это водится, следом за лестью единая, сбалансированная душа хозяина и хозяйки жаждет усладиться собственной своей добротой. И чужим унижением. Они это умеют. Они это считают обязательным — значит, на *кухню,* — и чем дольше и упорнее ты сопротивляешься, тем усиленнее и, как им думается, искреннее становится их нажим. Михайлов давно привык и потому не отказывается. Он уже много лет не морщится и не считает это за унижение, как не считает человек за унижение то, чего не миновать.

— Передохните, Павел Васильевич...

И опять наседают:

— Нет, нет. Нужно прерваться. Вам просто необходимо прерваться. — Хозяин и хозяйка с улыбками обступают его. Хозяйка касается его пышным бюстом: шалунья.

Однако, чтобы поставить точку, Михайлову нужно еще спросить и записать:

— Вы не собираетесь в одно из гнезд стенки вмонтировать телевизор? (Они потом могут поднять вой, что у них не все как у Заруцких.)

— А вы как считаете?

— Если здесь детская, то не надо. Вы же захотите смотреть фигурное катание вечером.

— Да, да. Вы правы.

— Значит, решено — здесь детская? .

— Да.

Михайлов записывает еще три-четыре конкретности, и они оба вновь обступают его и теперь уже прямым ходом волокут туда. На кухню. Хозяин незамедлительно впадает в стереотип рубахи-парня (интеллигент, отнюдь не чурающийся и демократичный), и широким вольным жестом обезглавливает беленькую. Закуска на месте. Михайлов тоже. Можно приступать. Михайлов несколько смущен: смешно сказать, но ему каждый раз кажется, что отказом он их не шутя обидит. Он бы давно спился, но более или менее следит за этим, и потому как закон — две-три рюмки, не больше. Сегодня еще один заказчик в Сокольниках и еще один возле вокзалов: Михайлов это помнит.

— А это правда — говорят, вы с высшим образованием? — интересуется хозяйка.

Кусок колбасы зависает у него во рту. Михайлов кое-как сглатывает и кивает — правда. Теперь они, разумеется, спрашивают, какой вуз. Он отвечает коротко и однословно. Хозяин тем временем — а время движется как надо, и рюмки тоже — расслабляется и начинает немного хамить, впрочем, неосознанно; сам он этого не понимает и полагает, что хвалит Михайлова.

— Вот как, — косит он глазом на жену, — надо работать. У человека есть профессия, *нужная* людям. А что твой муж — двести двадцать в месяц, и точка...

Он рассуждает. Он сидит холеный, и сытый, и ублаженный рюмкой, неторопящийся, а напротив — в потертом пиджаке, в грязных брюках, потный, невыспавшийся, с серым и полумертвым лицом Михайлов, у которого конечно же, как им думается, куча шальных и легких денег. Ладно...

Возле дома, и это уже после Сокольников и после трех вокзалов, Михайлову делается плохо. Не в пер-

вый раз, а все же пугает. Почему возле дома, почему всегда *они* кончаются возле дома — расслабленность, что ли, после пути, спад? — Михайлов медлительно обдумывает это и облизывает губы. Плохо, братец. Не дойдем, братец. Ну так доползем... Он сидит на ступеньках лестницы в подъезде своего дома, сползший вдруг вдоль стены и обмякший. Перила близко, а не дотянешься. Вот так... Он начинает медленно ползти по ступенькам. Он думает, не позвать ли кого, но вспоминает, что от него непременно пахнёт водкой, а это уже лишнее. Такие подробности дом-пятиэтажка узнаёт слишком быстро и необратимо: до детей тоже доходит. Ладно. Всего-то на третий этаж... Коленями и руками, работая поочередно, Михайлов перебирается еще на четыре ступеньки вверх. Самое неприятное для Михайлова — это ползать. Лестница. Еще малость, еще немного, говаривала безмужняя мать, когда она и маленький мальчик тянули в гору салазки на деревянном ходу с полмешком муки, и он ни разу не вспомнил матери, как она эту муку зарабатывала, выводя Пашеньку в люди. Ладно... Ну а теперь встать. Теперь отряхнуться. Он жмет кнопку звонка.

— Опять от тебя несет, Павел, — жена шепчет, она упрекает еле слышно, потому что поздно и дети уже легли.

— Тсс! — Михайлов протискивается в дверь, продолжая это обычное перешептыванье в прихожей.

1977

ГОЛОСА

Начинаясь в полутора километрах от поселка, как и положено Уральским горам, они набирали высоту постепенно — они не торопились, забирая у неба еще и еще понемногу. В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались *Желтыми горами.* Пройдя долинами пять или шесть, иногда восемь гор, пацаны обычно успокаивались на достигнутом и дальше не шли. Тут случался известный парадокс. Желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где разжигали дневной костер, а дальше — горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, *желтые* вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя — а видеть их было можно. Это относилось не только к горам. Это относилось к чему угодно. Рукой не взять, а видеть можно — формулировка включала в себя огромный, часто болезненный опыт прославленной уральской широты и терпимости. Рождается ли человек с терпимостью, а если нет, с чего она начинается, — поди знай.

В поселке жили две американские семьи: инженеры. Они жили в хорошеньких по тем временам, специально выстроенных коттеджах на отмеренном расстоянии от наших бараков. Часто в нашу сторону дул ветер, и мы слышали запахи обеда, — точно так же, словно разносимые ветром, в поселке застревали американские словечки. И самое ходовое из них, прозвище Мистер, прицепилось к Кольке. Колька был из тех мальчиков, что ходят степенно и спокойно. Вздувшаяся селезенка определяла его силуэт, казалось, что у него солидный и небольшой инженерский животик. К тому же он был худ и тощ. Из левого бока у него торчала отводная трубка, через которую он мочился. Жить ему оставалось около года, ему было двенадцать лет, а в тринадцать он умер.

Долинами мы прошли, по-видимому, большее число

гор, чем обычно, и я вдруг произнес с ощущением достигнутости: «Ну вот, Мистер, — мы пришли. Тут уже Желтые», — не знаю, почему я тогда так решил и так уверенно поставил точку. Я и Колька лежали возле костра, глядели на небо и грызли травинки. Это было примерно в половине четвертого и при ярком, но уже не палящем солнце. Помню, я поднялся с земли и в остолбенении смотрел перед собой — горы кругом лежали разбросанные, как шапки.

— Желтые... — повторил я робко. А благостная минута вдруг истаяла. Высвобожденная энергия моих клеток хлынула наружу. Я завертелся волчком — я носился с камня на камень и дико вскрикивал. «Ос-споди! — произнес Колька Мистер своим скрипучим, серым голосом. — И чего скачет?» — а по лицу нет-нет и пробегала жесткая нехорошая его улыбочка. Улыбочка всегда была при нем. Он относился ко мне (и к другим пацанам тоже), как к маленьким. Мы были одногодки, но он был много старше меня: мне было двенадцать, а ему шестьдесят два или около того. Он был худой, чуть прихрамывающий мальчишка, одна нога у него была сухая, как сухая ветка.

— Желтые-е-е! — выкрикивал я, захлебываясь минутой. Вершина была плоская. Можно было скакать туда-сюда и все еще сомневаться — на вершине ли ты? — плоскость увеличивала желтизну вершины до ослепительности. Я скакал, а Мистер сидел на небольшом камне. Он сидел согнувшись и, как и положено старичку, вбирал истощенной спиной солнце. Но вот он убрал свою улыбочку. Он посерьезнел: «А ты расскажи, что мы до самых Желтых гор дошли, матери и тетке».

— Зачем? — я насторожился.

— Порадуй. И что-нибудь пожрать выпроси. — Он уже умел оценивать и отделять испытываемое чувство. Моя мать горы любила, Колька это знал, — вот именно, рассказать матери и теткам, какие нынче были красивые горы, и что-то у них, женщин, за это получить. Что-нибудь, хоть малость. Что удастся. В Кольке жила откровенная ранняя практичность, и это не было чертой характера — это было сильно выраженным признаком постарения, признаком приближающегося конца. И лишь отчасти признаком его полной заброшенности и одиночества.

Так и было: ему казалось, что я не умею получать

радость от жизни, во всяком случае, *зарабатывать* эту радость, и что он, как старик, мне в этом поможет и меня научит. Он старался свой практицизм употребить кому-нибудь на пользу. Он делал это своенравно и даже назойливо: он считал нас маленькими. В школе он не учился, потому что часто болел, потому что от него пахло и потому что бывали случаи с непроизвольным опорожнением мочевого пузыря. Родные велели ему работать. Они думали, что он будет жить вечно. Они говорили: «Ты должен приспосабливаться к жизни. Ты должен плохо ли, хорошо ли трудиться — как же ты будешь жить дальше?» — и Мистер, чтобы знать, как жить дальше, работал в артели инвалидов. В поселке пятидесятилетние инвалиды днем прикладывались потихоньку к рюмке и сидели с малыми детьми, — к семи часам вечера дети под их наблюдением начинали реветь в голос. В семь с работы возвращались отцы и матери; кроя инвалидов последними словами, они хватали детей на руки и кормили их кашей, — инвалиды, в свою очередь, гневно, с обидой хлопали дверью и (из разных концов поселка) ручейками стекались в артель — в небольшое подвальное помещение, где начинался с семи вечера лязг и скрежет металла. Они делали там пряжки, замки, ключи, дверные ручки, а также подшивали на зиму валенки. Колька Мистер работал у них только с семи до десяти вечера, три часа — а потом он сбегáл, чтобы бродяжить. Впереди у него была ночь. Цели у него не было — он ездил в разбросанные вокруг поселка деревни, иногда хитренько заискивал, а иногда врал шоферам, что разносит ночные телеграммы. Он стоял, ожидая попутку на дороге, в затрепанном ватнике; ватник доходил ему до колен — в одном кармане две-три картофелины, в другом хлеб. Шоферы его знали. Когда фары выхватывали из темноты маленькую тщедушную фигурку, стоящую на обочине с поднятой кверху ладонью, машина останавливалась. Иногда, если шофер хотел поболтать, Мистера сажали в кабину; это случалось редко.

— Ос-споди, — рассказывал он. — Да в кузове мне куда лучше. Если что, я там могу помочиться в сено или на доски.

И вот: первый рассказ, который я в юности написал, был о Желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, а во мне возникло ли-

кующее освобождение и чувство достигнутости, — о той минуте, когда я скакал с камня на камень. Рассказ не получился. Восторг и умелой-то руке передать трудно или даже невозможно. Восторг чаще всего сфера устной речи, автор этого не знал: я попросту начал с изображения одной из ярчайших минут своей жизни, это казалось естественным. После недолгой шлифовки я поволок рассказ в редакцию журнала; я спешил, я приближался к дверям — потный, трепещущий, и характерно, что это была мелкая и даже пошленькая по внутреннему состоянию минута жизни. Полная противоположность минуте, о которой писал в рассказе. Все, что было во мне тщеславного и суетного, я нес тогда в себе, и с каждым шагом, приближающим к редакционным дверям, оно во мне набухало, как набухает нарыв. А рассказ назывался — «Желтые горы»... «Зайдите через месяц». — «А?» — «Через месяц», — и конечно же через месяц мне сказали все, что должны были сказать. Автор унес рассказ с собой, истекая раненым самолюбием. С этой минуты я стал пишущим — и, не смешиваясь, как белок и желток в яйце, во мне жили теперь две эти противоположные по сути и знаку минуты. Минута Желтых гор. И минута приближения к редакции... Дверь была как дверь, и прямая связь этих противоположных минут обнаружилась незамедлительно — автор поверил, что Желтые горы — это слишком пышно, и что это слишком громко, и что это звучит музыкой лишь для него одного. Увидеть, мол, можно, а рукой не взять.

Следующий рассказ был тем не менее тоже о Желтых горах. Но, как водится, он сменил одежду. Вторая попытка всегда немного маскарад. Рассказ был облачен в новую и соответствующую форму — в форму повести о страданиях молодого человека. Штука вот в чем: к ощущению Желтых гор прибавилось ощущение, довольно болезненное, что эти самые Желтые горы не приняли и не признали, а более общо — не приняли и не признали их автора. Автор изводил бумагу, автор старался, автор шел к НИМ с лучшим, что у него есть, — и вот на́ тебе. Так и получилось: обида за себя вела в прорыв, тылы прикрывала обида за горы. Страдания молодого — это не только целый жанр, но и путь всякого или почти всякого пишущего. Он пишет, а его

не печатают — это как долгая дорога. В то время на редакции накатывалась огромная волна подобных рассказов, повестей и романов. Огромное море личных обид и досад шумело и плескалось, как и положено шуметь и плескаться морю. Времена меняются, и позже в моде стал стиль, еще позже экзотика притчи, но в то время, и это точно, в моде пишущих была именно она — личная обида и непризнанность. Стержнем повестей было непризнание. И, скажем, начало повести было как бы даже узаконенное: ОН приходит к НИМ; а то, что, по сути, это был приход автора в литературу, оставалось в скобках.

ОН приходит к НИМ, неповторимый и особенный, милый, наивный, готовый любить и объять весь мир, — он приходит на завод или в лабораторию, геоэкспедицию, на рыболовецкий сейнер или просто на чужую вечеринку. Его замечают. Его любят. Его даже немножко балуют. В пестрой игре взаимопритяжений и отталкиваний у него появляется *друг*. На него обращает свое львиное внимание *сам* начальник, начальник назывался по-разному:

Директор завода.
Шеф.
А. Б.
Капитан сейнера.
Хозяин вечеринки, который может любого из гостей выставить за дверь.

И, как бы закрывая список, на него, юного и наивного, обращает внимание, выделяет его и отмечает *красавица женщина* с удивительно грустными глазами, увы, замужняя. Она, разумеется, стройная, но полненькая, полногрудая, и, конечно, она постарше нашего героя. Комплекс Бальзака. Скрытая и тщательно припрятанная за гибкими фразами смена времен: пишущий юн, он уже знает тягу к женщине, но еще помнит материнскую ласку. Облик этой красавицы женщины, появляющейся на страницах первой повести, почти вычисляем наперед. Оттенки, впрочем, и тут могут быть,— у нее, например:

Маленький ребенок.
Маленький ребенок; плюс болезненный муж,
Нет детей; и потому особенная. изящная,
женская тоска, —

и, разумеется, при всем том она верна мужу и как

женщина стабильна, иначе для молодого это не искушение и не любовь — иначе это не литература, как он ее пока понимает.

Но вот что-то случилось, стряслось на этом самом заводе или сейнере, например беда. Или несчастье. Или даже катастрофа, для отыскания причин которой люди должны оглядеть самих себя и указать виновного. Нашего героя, такого неповторимого и особенного и уже было любимого всеми, неожиданно бранит *сам* начальник. Отворачивается в трудную минуту *друг*. Перестают любить и прочие. Лишь красавица женщина с грустными глазами не может его предать, как предают все, — она колеблется. Она непременно колеблется. Она мучается. Однако с той стороны на чаше весов болезненный муж, маленький ребенок, работа, и вот, кинув юнцу ту или иную подачку:

Поцелуй.
Вечер вдвоем.
Печальный разговор по телефону, —

она тоже уходит в тень.

Точнее сказать, наоборот: она покидает нашего юного героя, как покидают его все, и уходит туда, где свет. А он — в тень. Он один, как и был, когда только появился на первой странице повести. Теперь он совсем один и подчеркнуто один, — он испытал людей и их чувства на прочность и, израненный, ушел от них. Уход совершается по-разному. Вернулся в свою родную деревню. Уехал в тайгу. Умер. И так далее.

При общности схемы у каждого пишущего было, конечно, и своеобразие. Мол, к примеру, юный герой, оставшись один и во тьме, — случайно, нечаянно, уже уходя от людей, — вдруг увидел Желтые горы. То есть шел он и шел, гонимый и бедный, и вот увидел их желтые вершины. Это и было сутью, это меня и вело. Но Желтым горам не повезло и здесь, и, забегая много вперед, скажу, что им не повезло ни разу, можно сказать, что это был голос, так и не прозвучавший, — случайно или нет, но Желтые горы постепенно оттеснялись в сторону, их вычеркивали, как сговорившись. Некоторое время они норовили пролезть обходным путем, но я был начеку, я теперь сам вытравливал их. И они отступили. В тот раз мне сказали, и я услышал, что в повести кое-что сделано выразительно, а места-

ми — даже тонко. Мне сказали, что мой молодой человек просто прелесть, да и начальник, пожалуй, удался. И в придачу, когда я уже слегка млел от негромких их слов, сказали, что единственное, что в повести откровенно лишнее, слабое и некстати, — это горы.

Был в повести и двенадцатилетний мальчик, тот самый Колька, по прозвищу Мистер. Он был, как и в жизни,—болезненный, нежалующийся и со стариковскими замашками. Он был с ногой сухой, как сухая ветка. Роль в повести была у него малая, эпизодическая, с птичьими правами, тем удивительнее, что он был замечен, — все до единого, читавшие повесть, хаяли мальчишку, сокращали его реплики и вообще истребляли его, как могли и умели, а больше всех я сам, вдруг заметивший этот хитрый подвох и подлог со стороны уже как бы навсегда вычеркнутых из сознания Желтых гор. В итоге я его вычеркнул напрочь, и получилось так, что с этого дня и часа Мистер сросся навсегда с Желтыми горами; отвергнутое объединилось с отвергнутым. С той поры длится моя вина перед ним, всегдашняя вина выжившего и живущего, а дорогу в горы стало привычкой вспоминать с того поворота — и с той обочины, поросшей высокой полынью. Мы там стояли. Фары грузовика сначала лениво ползли по ночному косогору, высветили копну сена — а потом, полоснув, выхватили из ночи нас. Кверху взлетала жидкая дорожная грязь. Шофер посадил меня в кабину, а Мистер полез в кузов, — они его всегда сажали в кузов.

Машина гудела. Шофер, покручивая баранкой, спросил:

— А ты тоже болел?

Он спросил и дал понять голосом — обычный ночной шоферюга, — что он мне сочувствует и, даже если я признаюсь, он не станет гнать меня в кузов. Он просто хотел поговорить, вот и все. Он был молод и добродушен. Тем не менее я промолчал. От неожиданности вопроса в груди что-то стиснулось, и я онемел.

Когда мы вылезли на перекрестке и уже шагали проселочной дорогой, Колька Мистер мне втолковывал:

— Ос-споди! — Он усмехнулся своей усмешечкой.— Ты бы сказал ему — болел, мол, корью, гриппом, ветрянкой, а триппером, мол, пока не болел, потому что маленький. — Обстоятельность и злая точность его от-

ветов являлись для меня тогда неслыханной мудростью. Он был и в ответах практичен. Он глядел на земные дела цепко, горько и без мало-мальской фантазии. Он шел по проселочной дороге, чуть припадая на сухую ногу. Я шагал рядом с ним, вонь машины забылась, и уже наполняло ощущение огромности ночного пространства, — деревня была близко, залаяли собаки.

Мать относилась к разряду литературных «табу»: она могла быть: мелочной, крикливой, она могла быть, скажем, строгой, она могла поведением своим неосознанно портить дитя, но в критический момент — она *мать,* и этим все сказано, и я уже знал и помнил, что читатель тоже про это знает и помнит. Потери в образе шли не только от этой оглядки, но и от самой выучки тоже. Реальная мать Кольки Мистера не была, однако, ни крикливой, ни мелочной, она отнюдь не была лишена доброты, а вот жизнь у нее была как бы своя, самостоятельная, и Мистер ее не волновал.

Особенно же кичилась она высокой своей нравственностью. Она работала бригадиром маляров — в бригаде были только женщины, и всех их она держала в кулаке. Она умела влиять, умела убеждать. Бригада часто перевыполняла план, получая всяческие поощрения и награды. Я повторяю: мать была несомненно одаренная женщина. И энергичная. Мужу она устраивала истерики, и это не были истерики плачущей женщины — это были скандалы гневливой барыни. Она называла его неудачником, а считала, конечно, ничтожеством. Кольку Мистера, вид которого причинял ее самолюбию боль и досаду, она тоже старалась не видеть и, если можно, не слышать. Она чуть не лбом билась о стену, чтобы его взяли летом в пионерлагерь, но устроить в пионерлагерь мальчишку, неучащегося и с патологией, было даже для нее сложно. Однажды она (уже почти добившись своего) в окружении баб победоносно восклицала:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь? Признавайся — ну?

Сын молчал.

— Вы не представляете, каково мне было этого добиться! — говорила она бабам.

— Ну ясно. — Бабы кивали. Бабы соглашались.

— Вы не представляете, сколько я сил на это угробила. Сколько нервов!

— Ну ясно... Само собой! — И бабы дружно стали ей говорить, какая она молодец, и как ей тяжело с Колькой, и какая вообще жизнь тяжкая. Они любили ее — и, конечно, побаивались. Они стояли кружком и грызли семечки после бани. Они были красные и распарившиеся. Они сжимали в багровых бабьих руках узелки и узлы, в бане они не только мылись, но и устраивали стирку. Мать Кольки тоже с ними стирала и тоже мылась, — и вот теперь, бросив узел на скамью, она вновь радостно и возбужденно спросила:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь?

Совершенно спокойно, притушив умненькую и злую улыбочку, Мистер негромко ответил:

— Ос-споди, да спихни меня куда хочешь.

Женщины, встрепенувшись, оглянулись на него — маленький и мудрый старичок смотрел и не смотрел на них, сплевывая семечную шелуху. Он отвечал матери всегда негромко, его послушание было всегда стопроцентным и всегда внутренне ядовитым. Не способные уловить оттенок — после паузы — мать и за ней остальные женщины отвернулись и опять заговорили о бараке, о комнатушках, в которых ютились. Мать Кольки в то время хотела (и позже она пошла по этой лестнице вверх) проникнуть в завком и распределять там скудно строившееся в поселке жилье. Она спала и видела, как во всеоружии своей справедливости она делит комнаты, а может быть, распределяет квартиры; квартиры тогда были неслыханной роскошью. Она грозилась:

— Вот погодите. Вот я влезу *туда* — и покажу им, как надо делить.

Отец Кольки был человек, травмированный войной, слабовольный, придавленный женой и тихий, точнее сказать, *смирный,* однако с внутренней и тщательно скрываемой жаждой — дожить жизнь как жизнь. Сам с собой отец Кольки вел такие, неслышные другим разговоры:

— За плечами вся жизнь — а я еще не отдохнул.

Или:

— Прожита жизнь, а я ничего не видел...

Или:

— Жизнь прожил, а еще и не любил никого *по-настоящему...*

Был он преподавателем техникума; рассказывая об изоляционных материалах, он время от времени платонически влюблялся то в одну, то в другую студенточку,

подолгу раздумывая и колеблясь, стоит она или не стоит его любви — отдать ей или не отдать остаток своей жизни. Он их разглядывал, перебирал, одну за другой браковал и боязливо играл глазами, — студенточки считали его чудаком. Они считали его контуженым. Занятия он вел замедленно-замогильным голосом. Сына своего он воспринимал как очередную неудачу в жизни. Отец считал, что он стоил лучшей доли, он считал, что он стоил лучшего сына.

— Вот и здесь мне не повезло... Горе ты мое, — начинал он вдруг со вздохом. И тихо (и не без опаски) пытался положить руку на голову сына.

Иногда среди ночи отец свешивал ноги с кровати, выходил в коридор барака и курил — думал о тяжелой своей жизни. Жизнь проходила, а отец, как ему казалось, очень мало узнал и очень мало увидел.

— Я *никогда,* — тихим и укоряющим себя самого голосом начинал он, — не ловил сетями рыбу. Никогда...

Или:

— Я *никогда* не видел города Гурьева.

И он уезжал с кем-нибудь в недалекий Гурьев. Или на озерную рыбалку. Он возвращался и тихо оправдывался, тихо и прибито сносил крики жены, — тихо и потаенно он тоже хотел прожить *собственную* жизнь. Он только об этом и думал и был похож на человека, который мучительно не понимает, почему из отдельных капель никак не соберется в целое дождь.

Сестра — а она была старше Кольки Мистера на три года — была прежде всего отличница. Это верно, что она была человечек глубоко порядочный; ни артистически-энергичная деловитость матери, ни скрытая и тихая фальшь отца не передались ей ни граммом. Но именно поэтому ее душа сформировалась и съежилась в сторону сухости. Она была тихоня в школе. Тихоня на улице. Тихоня дома. Напряженно следящая за своими оценками отличница, она, затаившись, ждала дня и часа, чтобы побыстрее получить свою золотую медаль и уехать в какой-нибудь университет — Свердловский или Саратовский, — уехать, уйти, убежать и, вынырнув где-то, начать жить снова и заново. Сестра Кольки была непоколебима в своем и ничуть не боялась, скажем, упреков от своих подружек и одноклассниц в том, что она, мол, льнет к учителям, — она была выше упре-

ков. Она приходила вечером к той или иной учительнице, сидела у нее, беседовала, пила чай и выбирала себе книги, — учительницы ее не любили, но уважали и честно делали свое учительское дело, держа свои двери для нее открытыми и свой чай горячим.

— ...Позоришь нашу семью — вор! Мелкий воришка! — громоподобно кричала мать, когда Кольку Мистера и меня поймали с картошкой, которую мы надергали, чтобы нести в горы. Не проронив ни слова, потемнев лицом, сестра тут же собирала тетрадки и уходила к учительнице. Звали сестру Олей, Оля-отличница. Она шла к учительнице, чтобы поупражняться в решении логарифмических уравнений, — она шла по улице поселка, зажав тетрадки, и повторяла бескровными губами (чтобы время, пока она идет, не пропало зря) выученное наизусть:

Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей... —

а мать ее в тот день специально отпросилась с работы — она пришла, чтобы пороть Мистера за мелкое воровство и чтобы порок этот в нем не угнездился на будущее. Мать пришла не одна, а с подругой — и вот две сорокалетние женщины с суровой решительностью принялись за дело. Дело предстояло, в общем, нетрудное и обычное. Меня они не тронули: пусть его дома свои порют. Но и не выпустили — пусть смотрит. Они схватили меня, когда я хотел выскочить в окно.

— Э, нет. — И окно заперли. Я стоял, озираясь волчонком, пока до меня доходил их сложный замысел. Мать закричала на Кольку, она должна была себя взвинтить — она кричала, что семья их была и будет, пока она жива, достойной семьей и честной. Как раз в эти дни ее бригада вновь выдвинулась, и мать находилась как бы на взлете, — и потому, быть может, она и вторая женщина-маляр кричали, хорошо слыша собственные правильные слова: «Честным становятся с детства!», «Все начинается с пустяков — с картошки!..» Они перебивали и взвинчивали друг друга — он же стоял напротив, маленький старичок, спокойный и проницательный, и только нависшая конкретная опасность не давала ему улыбнуться нехорошей своей улыбочкой.

Наконец они схватили его за плечи, как куклу, но

кукла была, в общем, начеку и успела произнести — как всегда негромко:

— Ну вы, поосторожнее. Не сломайте мою пипиську.

Они на миг приостановились, на миг попридержали свои большие руки — и теперь Мистер, уже успокоившись, что сгоряча они его не изуродуют, сам пошел к кровати. Он лег лицом в подушку. Лицо было вполоборота к стене. Женщины вновь закричали, набирая из недр инерцию движения и расправы — неужели он хочет всю жизнь быть воришкой? Неужели он не поймет раз и навсегда?.. Появился ремень, и мать била Мистера по тощему заду — не так чтобы сильно и зло, однако постепенно входя в ритм и в азарт. А женщина-маляр выкрикивала, как бы сопровождая педагогикой эти удары. Она выкрикивала громко. Потом тише. Потом еще тише. И вот — в голосе ее появились первые нотки подведения итогов:

— ...Теперь он поймет... Теперь он умнее будет.

И обернувшись ко мне:

— А ты смотри и думай. Тебе это на пользу.

Мистер поднялся. Он был бледен, но не озлен. Губы прыгали. Но он довольно спокойно сидел на кровати — он смотрел то ли на меня, то ли куда-то в пространство и словно вот-вот хотел произнести одну из расхожих своих фраз: не могли обойтись без цирка, ос-споди...

Мать заговорила:

— ...Хотим, чтобы ты был хорошим мальчиком и честным. Я ведь тебя люблю — как ты думаешь, кого я люблю больше всех на свете?

— Меня, — согласно и негромко поддакнул Мистер. Он заправлял в штаны рубашку. Она выбилась.

— Ну вот... Ты же мой любимый, сам знаешь. Ты же мой любимый, мой больной — как ты думаешь, почему больного ребенка мать всегда любит больше?

— Ну не надо, мам, не надо, — сказал он сдержанно и терпеливо и вновь очень негромко. Он заправлял рубашку и отряхивался, словно порка его запылила и теперь необходимо было почиститься. Губы уже не дрожали, но руки его все время делали какие-то мелкие движения.

Вскоре он начал копить и откладывать рубли про черный день, как это делают в старости; время, как известно, относительно, — жизнь Кольки Мистера кон-

чалась, и потому в двенадцать лет он уже был и находился в *своей* старости. Отец, заметив отложенные деньги, сказал ему как-то с укоризной:

— Если ты такой сейчас — каким ты вырастешь? — Колька смолчал, он не ответил ему, каким он вырастет, — он уже вырос. Он работал в артели, а ночами бродяжил, он был человеком вполне самостоятельным и вполне подневольным, короче — взрослым. Жизнь уместилась для него в крайне короткий промежуток, и одиннадцать-двенадцать лет были для него, как шестьдесят для всех прочих, а перевалив шестьдесят, откладывать деньги про запас вполне естественно. Но меня в то время больше поражали мелочи — как он ловил сусликов. Или как научился сосать козу, пасущуюся меж поселком и горами; мы приходили к ней с крошками хлеба, мы подлазили к ней осторожно и с уговорами, пока она не стала покладистой. Колька Мистер был изобретателен как в поиске, так и в самозащите. Он уже глядел вперед. Однажды мы высосали присмиревшую козу до дна, и он вздохнул, как вздыхают умудренные опытом старички:

— Вот увидишь — хозяева ее скоро прирежут.

Испугавшись, я забормотал:

— Давай сосать ее редко, тогда не прирежут.

— Да черт с ней, — сказал Мистер. И добавил, еще раз вздохнув, как старичок: — Другого опасаюсь.

— Чего?

— Как бы они не стали ее лечить.

И точно. Очень скоро козу накормили каким-то лечебным домашним зе́льем, глаза ее потухли, она стояла без движения, как стоял столбик, к которому она была привязана, а у нас начались рези и жесточайший понос. В первый день мы еле выжили, мы хватались за животы и ползали по горам на четвереньках,— а коза стояла за ручьем в кустах шиповника. От столбика в полдень падала короткая тень, коза стояла в двух шагах от колючек шиповника и жевала траву. Она и сейчас там стоит для меня как живая. Из деревни приехал мой дед, увидел ее и сказал коротко: «Это не коза», — мы шли с дедом по поселку, я показывал ему свои владения: школу, пустырь, горы — и хорошо помню, как он оглядел худое, несчастное существо, привязанное к колышку, и упрямо повторил: «Это не коза». Деду было семьдесят лет, он был громадный деревенский неряшливый мужик с седой бородой. На

другой день я поехал с дедом в деревню. Зачем меня отправили с ним, уже не помню, — зато я помню, как мы вылезли из грузовика и по дороге дед заглянул в стоявшую на въезде в Ново-Покровку старенькую церковь, — он вошел туда и час-полтора слушал спевку, а я сидел возле церкви, ковыряя в носу, и томился от жары и безделья.

Наконец дед вышел — он появился на паперти и за ним несколько мальчиков унылого вида.

Дед сказал им сурово:

— Нечего было и приходить... Ступайте себе.

Это были забракованные мальчики, — помявшись, они двинулись по дороге, и некоторое время я видел в мареве их ситцевые рубашки. Они были моего примерно возраста, даже помладше, и все из разных деревень: на перекрестке они пошли кто куда, и пыльные дороги и белое марево поглощали их теперь каждого в отдельности. Это были голоса, не попавшие в хор.

Когда я вернулся, мне сказали, что Колька слег; он лежал в постели — я обошел кровать, глаза его были открыты, и вот я попал в поле его зрения. «Колька, — позвал я. — Мистер...» — мне было жутко. Лицо у него было вздувшееся: опухшая и черная лепешка. Он не ответил, он только зло и неприязненно шевельнул губами.

В комнате был полумрак. Доносился густой запах — в бараке кто-то варил фасоль. Отец и мать Кольки были на работе, Оли-отличницы тоже не было.

— Ктой-то пришел? — в другой их комнатушке за перегородкой послышалось движение и слабые шаги. Появилась их бабка — мать матери, худая и вечно несытая, потому что ее забывали кормить, а готовить себе она тоже забывала. Она появилась, посмотрела на мои руки — нет ли там, в руках, какой еды, — еды не было — и прошла мимо.

Мать его была по самые края переполнена надрывом и бешеной взрывной энергией; она устроила сцену поселковому врачу, который дал ей понять, что Мистер обречен и что можно считать дни, — как это так?! врач, если он настоящий врач, не имеет права так говорить! — мать взвинтилась, она вынесла сцену с врачом и свою боль на люди, там и здесь, у школы, и даже под окнами барака она неутомимо кричала и яри-

лась, так что и барак и весь поселок уже знали, что Колька обречен. Потом мать красила забор — полутораметровый, которым только-только обнесли котельную, — мать быстро и ритмично, с профессиональной «маслянистостью» руки водила кистью сверху вниз. Она умела работать. Она стиснула зубы: если бригада отстанет, ее не осудят слишком — у нее мальчик умер, любимый больной сын, кто этого не знает и кто этого не поймет. И чтоб не так болело и кололо в сердце, она стала думать о надвигающейся смерти *с той стороны* времени — она будет ходить к нему на могилку, она будет сидеть возле сыночка часами, нет, плакать она не будет, не дождетесь, недруги. У нее вдруг брызнули перестоявшие слезы, сквозь толщу бытовых мыслей она увидела лицо Кольки, нет, не лицо — личико, когда ей принесли и сунули его к груди в роддоме, — розовая, безликая, пустенько-радостная лепешечка — мой мальчик.

— Подтянись, девки! — крикнула она. — Обед скоро... Выполним, а? Мы ведь еще никого не подводили! — и энергично, властно, с покоряющей остальных пластичностью и мягкостью она заспешила кистью по горизонтальной кладке каменного забора, — и, как встрепенувшиеся, за ней заспешили все в бригаде.

Запуганный и подавленный матерью (она умела подавить кого угодно), врач вдруг впал в оптимизм. Он улыбался и размахивал руками. Он объявил теперь, что Колька не умрет; более того — вот-вот и начнется перелом в болезни, говорил он матери.

Мать кивала:

— ...Да... Коля в нашу породу, Коля из крепких... Мы и не из таких ям выкарабкивались.

Забыв, что она сама все эти слова внушила врачу, мать спрашивала у него, как бы даже заискивая:

— Стало быть, перелом в болезни — стало быть, еще неделя, да?

— Да, — подтвердил тот, — примерно неделя.

Барак притих. В бараке года два уже никто не умирал, и приближающаяся минута давила и угнетала. Через открытые окна барака доносилось дыхание Кольки Мистера:

— Си-си-си-си. — Посвистывание в его горле было слышно теперь с улицы.

Бабка ворчала, кивая на открытые окна:

— Отворено все в доме, куда это годится.

— Воздух нужен.—Мать говорила с бабкой властно.

Мать и Оля-отличница каждый час открывали окна, которые каждый час потихоньку плотно прикрывала старуха. Старуха ворчала:

— Какой еще воздух. Выдумали тоже. Умирает мальчишка — дайте ему в тепле умереть.

— Помолчите, мама! — одергивала мать.

Старуха поджимала в обиде губы. На улице было жарко. Солнце до черноты сжигало траву, но старуха все равно боялась простудиться. У нее мерзли и ныли кости. «И млеють мои косточки и млеють», — жаловалась она на улице прохожим. Или вдруг разевала беззубую и пугающую, как пустая церковь, пасть:

— Глянь-ка — не набухло у меня там?

Ей отвечали спешно, торопливо, — нет, не набухло, Но она вновь спрашивала:

— Как думаешь, милый, не просквозило меня?

Занятий в школе не было, и Оля старалась теперь уйти с утра в маленькую поселковую библиотеку — она просиживала в одиночестве до самого закрытия. Никого. кроме нее, там не было. Оля не могла бы объяснить словами, почему она не выносит затаившийся мирок своей семьи, — она и не искала сейчас слов, она сидела за шатким столиком, напротив полусонной старушки библиотекарши и трудилась. Ее ждала где-то далеко отсюда (достаточно далеко) новая жизнь, и Оля это знала, и сердце свое держала пока глубоко в резерве, собираясь пустить его в рост никак не раньше, чем она переберется отсюда в Свердловск или в Саратов.

Отец выпивал: он навещал знакомых фронтовиков или же просто соседей. Потом, когда его выпроваживали в поздний час, он сидел сиднем на ночном опустевшем небольшом рынке (несколько грязных прилавков, обнесенных забором), — на одном из прилавков он сидел, полчаса дремал, а полчаса разговаривал сам с собой. Он говорил себе все о том же — жизнь проходит, прошла уже, а счастья все нет. Не успел увидеть мир. Не успел пожить. Не был в городе Киеве — праматери наших городов. На курорте никогда не был. Даже на фронте мало чего видел. Даже жену выбрал себе несоответствующую, шумную и слишком заносящуюся. И вот еще ко всему — сын умирает...

Ночью, чтобы сыну было больше воздуха, все они спали в другой комнатушке, за перегородкой. И мать.

И Оля. И старуха. Позже всех явившийся в дом отец — была уже глубокая ночь — включил свет, но за перегородку идти никак не хотел, чтобы, не дай бог, не получить от жены ночную выволочку. Он покачивался. Он оглядел пространство пола и придумал: лягу, пожалуй, тут на полу, с сыном рядом... Уже стянув сапоги, он обнаружил, что глаза у умирающего сына открыты. «Не спишь?» — спросил робко отец. Старичок не ответил. Звуки его затрудненного дыхания стали тоном ниже — с этой ночи он уже похрипывал.

Отец, не дождавшись ответа, произнес неуверенно и пьяненько:

— Я спою тебе песню, сынок... Сейчас — только сапоги куда-нибудь пристрою. — Он покачнулся, но не упал. Он сел возле сына и запел тихую, протяжную песню, восполняя пеньем самому себе то, что не досказал себе, когда сидел в одиночестве на ночном рынке.

Колька, не желавший ни видеть, ни слышать, перебил его — захрипел громче, плечи его передернулись. Выговорить он не мог.

— Я спою, — попросил опять отец неуверенно. — Я спою... Сынок, это очень хорошая песня.

И тогда умирающий захрипел так, что отец тут же смолк и испуганно забормотал:

— Ладно, не буду, не буду... Я понимаю: ночь... люди спят... Я понимаю. — Он лег возле сына, свернувшись калачиком. Свет погасить он забыл, свет погасила вставшая среди ночи бабка. При этом она пнула спящего зятька ногой. И тщательно закрыла все окна.

На другой день Колька как-то вдруг похудел, отекшее лицо ссохлось, черты измельчились — голова теперь походила на маленький кулачок. Мать сидела с ним рядом — в нем была перемена, и в ней была перемена. Как это и бывает у богатых и одаренных натур, мать не видела ни малейшего противоречия в том, что обычно она говорила: «Бога нет. Есть материя», — и в том, что теперь она нашептывала умирающему сыну о боге: «Не плачь, моя сыночка, — она всхлипывала жалко и тихо.— Не плачь, мое родное. Божинька добр. Он тебя встретит, сынок...»

В горле ее стоял ком. Она хватала ртом воздух. Она шептала:

— Боженька добрый... Боженька добрый — ты его не бойся.

Умирающий мальчик хотел что-то сказать, но хрипы ему не дали.

Мать торопилась сказать:

— Он ведь понимает — все понимает — ты ведь ангел мой — ты ведь безгрешен — он не припомнит тебе, что баловался ты или воровал — это ж ребенок — и к тому же время какое трудное...

Глаза у Мистера были ввалившиеся, в глазницу можно было положить небольшое яблоко, — и вот там (голова была наклонена вбок) на правые полукружья глаз выкатилось по худосочной слезинке. Колька не был растроган, не был умилен. Ему было жаль мать — но жаль не слишком; он смотрел на нее, как смотрят умудренные, умирающие старики — знающие, что так или не так, а жизнь кончена и к берегу надо плыть.

Теперь со сдержанной и как бы даже загадочной медлительностью сюда устремился весь барак, — всем было уже сказано и все знали, что он умирает; они заходили, вытирая ноги у порога, дети и женщины.

— Ссохся весь, — вздыхали старухи.

— Комочек, а не человек...

А к вечеру этот ссохшийся комочек, в котором не было, казалось, уже ни пылинки жизни, стал кричать пронзительным человечьим криком. Сознание он потерял, но боль была, а может быть, и не боль — он кричал бессвязно, без слов, без оттенков. Это был непрекращающийся сплошной стон, который постепенно и самым естественным образом вырастал в звериный смертельный вопль. Казалось, притих не только барак, но и весь поселок. Пять часов кряду кричал этот комочек, то, что было и называлось его жизнью, выходило теперь наружу и растворялось в пространстве. На пустыре, за сараями — там, где привязывали коз и выбрасывали худые ведра, — в бурьяне, на двух составленных кирпичах сидел его отец. Он был пьян и расслаблен. Скрывшись от криков сына и от глаз жены, он вновь думал о своей неудавшейся жизни, а когда с ветром все же доносился крик умирающего, отец в свой черед вспоминал и просил боженьку, в которого не верил ни на полкопейки, принять душу его сына с любовью и миром. Это напоминало сговор. «Как бы та хреновина ни обозначалась: материя или не материя, — бормотал отец, — ты понимаешь... ну, ты в общем и целом меня

понимаешь, божинька. — Отец сплевывал в бурьян. — Короче: чтоб ты встретил его хорошо. Ясно?.. Ты понял?» — и отец пьяно грозил пальцем кому-то в бурьяне.

А тот, за кого он просил, продолжал кричать. Крик прекратился только к самой ночи — и с этой минуты тело Мистера уже не боролось, только в самой глубине тела что-то, казалось, еле слышно булькало.

Два пацана постояли у барака, переминаясь с ноги на ногу, — крики уже кончились, — и пацаны пошли к горам, чтобы поболтаться там ночью и посидеть у костра. О Кольке Мистере они больше не думали. Эмоция жалости перешла за грань их понимания, и небольшие детские души не могли выдать и выжать из себя больше, чем они уже выдали и выжали.

— Жалко вообще-то, — сказал один.

— Еще как...

И они пошли.

Я тоже собирался в ту ночь уйти на Желтые горы, но дома не пускали. «Почему в ночь? Почему тебе обязательно в ночь?» — «Ну, надо. Ну, на-а-адо», — канючил я и нетерпеливо перебирал ногами; я знал что те двое уже ушли... На мое счастье, в многочисленной барачьей семье что-то произошло меж соседями, — обо мне вдруг забыли, — и в разгар вспыхнувшей и громкой ночной ссоры я слабенько пискнул: «Ну ладно, мам, я пошел», — и опрометью кинулся вон. Сначала я бежал. Потом шел быстрым шагом. Тропа была хоженая и всем нам хорошо известная, а пацаны скоро разведут костер, и не на той горе, так на этой я костер, конечно, замечу. Была луна. И мне привиделось, что надо мной в лунных бликах — может быть, следом за мной — летит душа Кольки Мистера. Прежде чем взмыть окончательно в небо, душа некоторое время летела параллельно земле, сопровождая нас к Желтым горам, — почему бы некоторое время душе не полетать над землей, подумалось пацану. И вот я бежал и оглядывался на лунный нимб.

Была глубокая ночь, все спали; только старуха бабка (она опять была голодна) бродила по комнате, — она и услышала его последний хрип.

— Детонька моя. — Старуха подошла и увидела в полосах лунного света, как он дернулся. Она припала к нему, обняв его холодные высохшие ноги. — Детонька... — И словно почувствовав, что его здесь удержи-

вают, он выдал этот последний хрип, дернулся тельцем и перешел черту. Старуха бормотала, припав лицом к его ногам, это был комочек ее плоти, и она словно старалась не упустить, не выпустить.

2

Если же говорить о днях за днями и представить себе, кто же они такие и как они выглядят — *любящие нас,* — то каждый может нарисовать себе картинку с сюжетом. Картинка совсем несложная. Нужно только на время уподобиться, например, жар-птице: не сказочной, конечно, жар-птице, а обычной и простенькой жар-птичке из покупных, у которой родичи и любящие нас люди выдергивают яркие перья. Они стоят вокруг тебя и выдергивают. Ты топчешься на асфальте, на серой и ровной площадке, а они топчутся тоже и проделывают свое не спеша, — они дергают с некоторым перерывом во времени, как и положено, впрочем, дергать.

По ощущению это напоминает укол, — но не острый, не сильный, потому что кожа не протыкается и болевое ощущение возникает вроде бы вовне. Однако прежде чем выдернуть перо, они тянут его, и это больно, и ты весь напрягаешься и даже делаешь уступчивые шаг-два в их сторону, и перо удерживается на миг, но они тянут и тянут, — и вот пера нет. Они его как-то очень ловко выдергивают. Ты важно поворачиваешь жар-птичью голову, попросту говоря маленькую, птичью, куриную свою головку, чтобы осердиться, а в эту минуту сзади вновь болевой укол и вновь нет пера, — и теперь ты понимаешь, что любящие стоят вокруг тебя, а ты вроде как топчешься в серединке, и вот они тебя общипывают.

— Вы спятили, что ли! — сердито говоришь ты и хочешь возмутиться, как же так — вот, мол, перья были; живые, мол, перья, немного даже красивые, — но штука в том, что к тому времени, когда ты надумал возмущаться, перьев уже маловато, сквозь редкое оперенье дует и чувствуется ветерок, холодит кожу, и оставшиеся перья колышутся на тебе уже как случайные. «Да что же делаете?» — озленно выкрикиваешь ты, потому что сзади вновь кто-то выдернул перышки, сестра или мать. Они не молчат. Они тебе говорят, они объясняют: это перо тебе мешало, пойми, родной, и поверь,

оно тебе здорово мешало. А сзади теперь подбираются к твоему хвосту товарищи по работе и верные друзья. Они пристраиваются, прицеливаются, и каждый выжидает свою минуту... Тебе вдруг становится холодно. Достаточно холодно, чтобы оглянуться на этот раз повнимательнее, но когда ты поворачиваешь птичью свою головку, ты видишь свою спину и видишь, что на этот раз ты уже мог бы не оглядываться: ты гол. Ты стоишь, посиневшая птица в пупырышках, жалкая и нагая, как сама нагота, а они топчутся вокруг и недоуменно переглядываются: экий он голый и как же, мол, это у него в жизни так вышло.

Впрочем, они начинают сочувствовать и даже соревнуются в сочувствии — кто получше, а кто поплоше, они уже вроде как выдергивают собственные перья, по одному, по два и бросают на тебя, как бросают на бедность. Некоторые в азарте пытаются их даже воткнуть тебе в кожу, врастить, но дарованное перо повисает боком, криво, оно кренится, оно топорщится, и в итоге не торчит, а кое-как лежит на тебе... Они набрасывают на тебя перья, как набрасывают от щедрот, и тебе теперь вроде бы не голо и вроде бы удобно и тепло — все же это лучше, чем ничего, все же сегодня ветрено, а завтра дождь; так и живешь, так и идет время.

Но вот некая глупость ударяет тебя в голову, и ты, издав птичий крик, начинаешь судорожно выбираться из-под этой горы перьев, как выбираются из-под соломы. Ты хочешь быть, как есть, и не понимаешь, почему бы тебе не быть голым, если ты гол. Ты отбегаешь чуть в сторону и, голый, в пупырях, поеживаясь, топчешься, дрожа лапками, — а гора перьев, играющая красками и огнями, лежит сама по себе,— ты суетишься поодаль, и вот тут они бросаются все на тебя и душат, как душат птицу в пупырях, голую и посиневшую,— душат своими руками, не передоверяя этот труд никому; руки их любящие и теплые; ты чувствуешь тепло птичьей своей шеей, и потому у тебя возникает надежда, что душат не всерьез, — можно и потерпеть. Конечно, дышать трудно. Конечно, воздуха не хватает. Тебе непременно необходимо вздохнуть. Твоя куриная башка дергается, глаза таращатся, ты делаешь натужное усилие и еще усилие, — вот наконец воздух все же попадает в глотку. Но, увы, с другой стороны горла: они, оказывается, оторвали тебе голову.

3

Был у Шустикова портфель; был рабочий стол, точнее, угол стола, потому что стол был на двоих, и бумаги у него лежали в некотором беспорядке, впрочем, как у всех. По вторым и семнадцатым он стоял в очереди в кассу, при этом он улыбался уже издали, как бы делясь удачей и давая возможность кому-нибудь из сослуживцев втиснуться перед ним и получить деньги без очереди. В контору он приходил всегда вовремя, а уйти старался минут на десять пораньше, опять же как все. Всех вроде бы и удивляло в Шустикове только то, что он *разговорчивый.* Со стороны сослуживцев тут вроде бы было простое и даже простейшее участие, потому что как же участию не быть и не возникнуть, если молодой сравнительно человек рассказывает о своих неудачах. И, разумеется, когда Шустиков стал рассказывать о женщине, которая его любила и, повозившись с ним год-два, вышла замуж за другого типа, — тут уж все, особенно дамы, стали брошенного и одинокого Шустикова жалеть. Дальше — больше; выяснилось, что Шустиков виновной считает вовсе не ту женщину, а себя и свою с детства возникшую мягкотелость, однажды он даже сказал — женоподобность; выяснилось, что он почти согласен с той женщиной, которая после года жизни сочла его в итоге слабым и никчемным.

— ...Да, — в пятый раз тихо пояснял Шусгиков, — и тогда она бросила меня. Ушла. Сказала, что я никудышный.

— Как-как?

— Никудышный...

Отчасти в этом и состояла его разговорчивость, он слишком откровенно рассказывал, не понимая, что он рассказывает слишком откровенно. И его, конечно, расспрашивали. И хотя в конторе, куда он пришел работать, не впервой велись разговоры о жалких мужчинах нашего века, — а две трети конторы составляли зрелые, знающие, что к чему, дамы, — все равно этот Шустиков стал вдруг всем в диковинку. Тут было что-то от сбывшихся предположений: много раз слышали, много раз смеялись, а тут вот увидели вроде бы воочию, в живом виде, а не в анекдоте. «А что еще она тебе сказала, когда уходила?» — рассказывать и обстоятельно отвечать было для Шустикова естественным, как

пить воду, если протягивают кружку. «Понятно... Ну а что еще она сказала?» — нет, они, группа женщин, так уж в лоб его не спрашивали, но ведь они не заговаривали ни о чем ином, они упорно не слезали с темы, они мягко, даже деликатно плели кружево слов вокруг и около, — они вроде бы просто томились у окна в обеденный перерыв, а на самом деле не отходили от разговорчивого Шустикова. Валентина Сергеевна даже одергивала себя и других тоже: «Хватит трепаться, бабоньки, пошли!» — и будто бы спешила на обед. Шустиков же продолжал отвечать и на ходу, раз уж спросили:

— А еще она дала мне понять, что у меня нет денег.

— Так и сказала?

— Да... Сказала, у тебя их нет и никогда не будет. — Все на миг умолкли, вздохнули, как бы оценивая некоей необычной меркой этого тридцатилетнего маленького мужчину, бог знает как попавшего в их контору. Всем сделалось немного неловко. Если бы он хотя бы подсмеивался над собой, если бы подшучивал или ерничал на скользких местах, как ерничают другие. Шустиков же над собой не подшучивал. Шустиков был серьезен и как-то даже бездарно серьезен в своих рассказах, в том смысле, что напрочь был лишен и фантазии, и хоть мало-мальского актерства. Он был из тех, кто не слышит, как его слова звучат со стороны, — его спрашивали, он отвечал, вот и все.

«Ну что, Шустиков, скажешь — все еще переживаешь свою драму? Или проходит понемногу?» — начинал сослуживец, завидев этого странного новичка, стоящего с подносом в очереди в столовой, — завидев и ценя обеденное время, он хватал поднос и энергично втискивался перед Шустиковым. Он молол языком для вида. Но, с другой стороны, он вроде бы спрашивал, и потому Шустиков отвечал. Разговор заносило, и, как правило, сослуживец тут же начинал внутренне ерзать — простые и обнаженные ответы Шустикова могли теперь внушить неловкость стоящим по соседству людям в очереди, знакомым, например, — и сослуживец, смутившись, уже спешно направо и налево подмигивал: вот, мол, чудака нашего расспрашиваю... не обращайте, мол, внимания (и уж, конечно, не подумайте, что я из того же теста, что и он). Женщины смотрели на жизнь шире, и в основном бедняга Шустиков выкладывал подробности и откровения им, словно не ведая и не пони-

мая, что кое о чем человеку можно и умолчать. Да, рассказывал он, — живу в комнатушке, в коммунальной квартире, денег мало, углы ей не понравились: она думала, что если он мужчина и с образованием, то из него что-то выйдет.

— ...Ты бы ей, милый, прилгнул: сказал бы, что обещают повысить. Бабе надежда нужна. Глядишь, и не бросила бы тебя. Глядишь, и женился бы! — уже сердясь на него, учила сослуживица.

Шустиков же совершенно спокойно говорил:

— А как бы я потом эту ложь поддерживал?

— Как-нибудь!.. Потом — суп с котом.

Голос у Шустикова ровный и негромкий:

— Рано или поздно она бы поняла, что я заурядный человек и что звезд с неба не хватаю.

Он произносил это, как произносят самые рядовые слова, например о погоде.

— О, господи, да все мы заурядные люди. А ты бы лучше говорил ей, что любишь ее, — увлекалась темой сослуживица, — надо было ее любовью взять, любовью!

— В любви я ей мало нравился...

— Но хоть сколько-то нравился? — спрашивала женщина со жгучим любопытством.

— Не знаю, — задумчиво отвечал Шустиков. — Наверное, нет. — И теперь он вздохнул. Сослуживица или сослуживец жили в общем обычной жизнью служащих, семейной или бессемейной, они что-то делали и что-то не делали, а жизнь текла, — однако после такой вот мелочи, как разговор с Шустиковым, в сослуживцах что-то на минуту нарушалось, сбивалось с колеи; подчас, усмехнувшись в душе, они тем не менее отходили к своим рабочим столам с ощущением озадаченности, с ощущением, когда хочется отряхнуться, может быть, даже слегка брезгливо и с долей, конечно, жалости. «Евнух, — думалось. — Неполноценный...»

Мужчинам, впрочем, он надоел и осточертел куда быстрее, — они, оберегая здоровое в себе начало, уже не могли и не умели вспомнить о нем, не фыркая и не смеясь меж собой втихую. «Тут все ясно», — заключили они. Некоторые даже разложили бедного Шустикова на полочки с ярлыками, то есть не его самого, а его, шустиковскую, психику, а еще точнее, его наперед вычисляемую неполноценность. Но в основном мужчины уже с ним не церемонились. Тем более что однажды, рассказывая о себе, Шустиков сам дал им повод:

ничтоже сумняшеся, как и во всяком своем разговоре, он согласился с такой вот мыслью — да, дескать, трудный у меня сейчас период в жизни, надо бы жениться, избежать одиночества, а вот не получается...

— Не любят тебя, что ли? — спросил кто-то. Разговор, как обычно, происходил у окна в обед.

— Не любят, — вздохнул он. И добавил, что дружба с женщиной у него, видно, не получается и, поскольку он одинок, не поискать ли ему дружбу с мужчиной. Шустиков всегда говорил самые правильные слова — о том, что человек не может быть один, о том, что люди должны общаться, и так далее. — Но мне, видно, не дается общение. И я бы, конечно, хотел подружиться с мужчиной, — вновь вздохнул он.

А когда ему напомнили довольно трезво и здраво, что есть же у тебя соседи в коммуналке, живые как-никак люди, он кивнул — да, есть, и тут же объяснил просто и негромко и спокойно:

— Они меня не уважают...

— Почему?

— Не знаю... Не уважают.

Но дамам, женщинам в конторе он еще не надоел. Во-первых, женщины превосходили мужчин в интуиции — жизнь они видели в большей полноте, и предчувствие, что за сюжетом следует сюжет, их не обманывало. Они ждали. А во-вторых, они знали о Шустикове много, даже слишком много, однако не все: они не знали, какое у него было начало с той женщиной, — это был единственный вопрос, который Шустиков обходил, и не по причине умолчания, а просто по неспособности выразить: он только пожимал плечами, вроде как случилось само собой. И не представляли себе женщины, как это Шустиков может, например, знакомиться, искать, добиваться, — они знали концы и развязки, они хорошо знали, как он оказывается у разбитого корыта, но как он к этому корыту подходит или как протискивается, пока оно еще цело, — вот чего они пока не знали. И однажды — интуиция их не подвела — Шустиков, проработавший в их конторе уже около года, на вопрос: «Ну, Шустиков, как жизнь?» — ответил:

— Спасибо... Живу... Вот... женюсь скоро... — Сказанное с запинкой «женюсь скоро», разумеется, удовлетворило не всех: в расспросы вновь включились не

только женщины, но и некоторые мужчины — то есть они опять же не выпытывали, они стояли у окна, разговорчивый выкладывал сам. Рассказ был короток. *Она* подцепила, как выразились в конторе, Шустикова в театре, в фойе: сначала *она* заговорила о спектакле и о декорациях к первому акту, а потом — когда Шустиков ее провожал или, быть может, *она* его провожала — она сказала, что ей нравится, как Шустиков толкует об изяществе арбузовских пьес, и что вообще ей нравится его тонкий ум, то есть Шустикова, а не Арбузова.

— Да, да, — повторил Шустиков женщинам в ответ, — она так и сказала: мне нравится ваша манера рассуждать.

— И вы долго бродили по улицам?

Щеки его вспыхнули, а лоб стал белым как мел:

— Долго... Почти до утра.

День приближался; появилось некоторое любопытство и некоторое ожидание; на свадьбу каждый из деликатности напрашивался отдельно и каждому Шустиков обещал, так что вскоре ожидание стало коллективным — все знали, что придут все. Приближалась зима, время было тихое и для совместной выпивки подходящее. На подарки тоже не скупились, тем более что в конторе скупых было лишь двое, да и те объяснимо скупые, в силу обстоятельств. Кое-кто уже видел Шустикова с невестой — то в автобусе, то у входа в кинотеатр. Но когда все уже слегка томились от волнения и любопытства, Шустиков все так же спокойно и негромко объяснил, что свадьбы с гостями не будет: *она* сказала, что у них нет таких денег и что вообще она шумных сборищ не любит и, стало быть, сборища не надо.

— ...Она сказала, что хочет потихоньку и просто, — пояснил Шустиков.

А то, что он добавил вслед, было по степени откровенности совершенно в его стиле:

— Она сказала, что в жизни все бывает, и что, может быть, мы скоро с ней разведемся, и ни к чему тогда вовлекать в это дело большое количество людей.

— Но зачем же разводиться так скоро? — чуть ли не выкрикнула одна из сослуживиц. Тут уже обида была не только за себя — за человека была обида, за своего как-никак.

— Я не знаю зачем, — Шустиков поморщил лоб.
— Как так не знаешь?
— Не знаю... Она сказала, что я ей не слишком нравлюсь. — Это «не слишком нравлюсь» вызвало еще большие толки. Многие почувствовали себя не только обобранными — в плане свадьбы и зрелища, — но и обиженными за Шустикова: хороший же парень, добряк, не лгун... Было тут и соучастие, столь свойственное женщинам вообще, точнее, потеря этого соучастия, — они ведь собирались пожарить, сварить, посуетиться на кухне и в комнате. Тогда же Валентина Сергеевна произнесла свою провидческую фразу: «Замуж эта женщина хочет. Хочет, чтоб штамп был, — а больше, вы уж меня извините, она ничего не хочет»,— и постепенно мнение выкрепло: девка, мол, хочет прикрыть грехи, а сколько их, грехов, надо полагать, было! — потом разойдется и будет говорить вновь встречаемым в жизни людям: была, мол, замужем, но оставила его, — не могла, мол, жить с пьяницей или с шизофреником, там уж она сумеет придумать... Однако факт это факт, он двусторонен, и потому Шустикова тоже осуждали; пеняли ему и в открытую: неопытный, мол, ты, дружок, глупенький! бабу, мол, надо поначалу раззадорить, раздразнить, завлечь, а еще лучше обмануть и на крючке некоторое время поводить — а ты небось сразу руку и сердце. В юности она, конечно, ждала таких слов, ну а теперь-то, может, и пугается: она, может, даже растерялась от такой твоей скорости и такой готовности.

Свадьба была и впрямь тихая, были он и она, никого более, как сообщил Шустиков, — впрочем, отстраненные от дела женщины потеряли к Шустикову интерес и охладели. Теперь он был вполне понятен. Некоторое время они еще чутко советовали ему, говорили тихо, почти шепотом: ты, мол, ребенка давай, ребенка и поскорее, — а когда Шустиков на чуткие их шепотки ответил, что *она,* мол, не хочет ребенка, женщины в конторе и вовсе поутихли, все стало ясно — все стало на свои места. Одна сослуживица все-таки поинтересовалась: «Как это так — не хочет?»

— Она сказала — рано. — Шустиков ответил, как всегда, охотно, негромко, клоня голову набок и словно рассматривая что-то вдалеке.

Прошел месяц. Прошел другой. И поскольку время не стояло на месте, однажды выяснилось, что *она* уже

живет с другим человеком. Шустиков рассказал об этом, по обыкновению склонив голову набок. Женщин в конторе это уже мало интересовало, ими это уже просматривалось наперед и души не задевало. Валентина Сергеевна, правда, спросила сурово:

— Куда же ты смотрел? Как же это *она* стала жить с другим — изменяет, что ли?

И Шустиков разъяснил все так же просто и спокойно:

— Она, оказывается, его раньше любила. До меня.

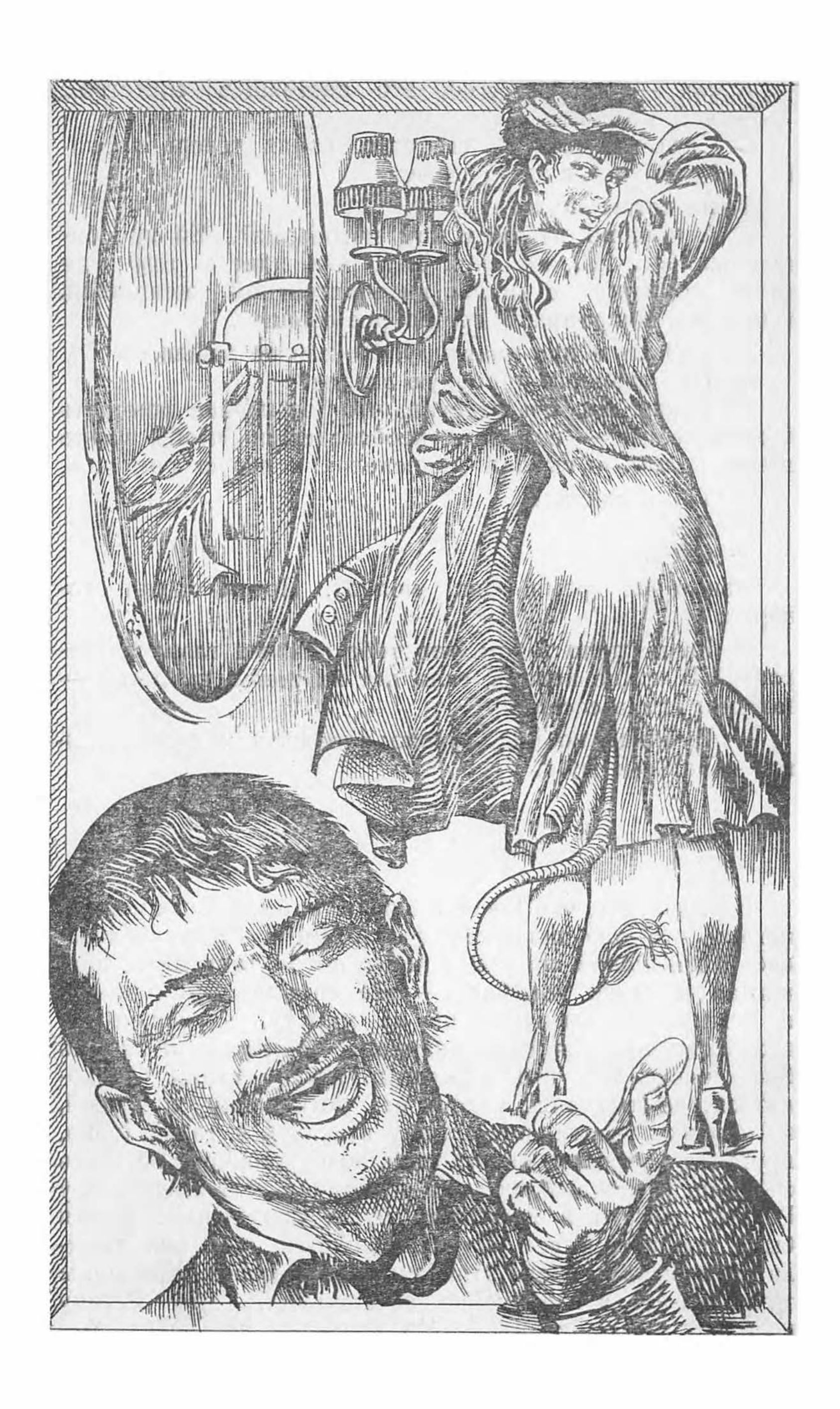
— Зачем же замуж шла?

— Она, — терпеливо разъяснял Шустиков, — не думала тогда, что любовь к нему осталась. Она думала, что та любовь кончилась.

Он, как обычно, говорил правильные и разумные слова. Кажется, он все на свете умел правильно и понятно объяснить. Вскоре *она* подала на развод и, вероятно, уже ушла от Шустикова и жила где-то сама по себе, а может, и с новым мужем, но этого уже никто не знал и не спрашивал, потому что подоспело сокращение штатов, Шустиков перешел в другую контору, и спрашивать попросту было некого. О нем очень быстро забыли — мелькнул и нет — и только Валентина Сергеевна некоторое время переживала его уход: оказывается, накануне сокращения штатов, взволнованная, она зашла в кабинет к начальнику и что-то там говорила, жаловалась на свою жизнь, а потом — случайно — как-то вдруг заговорила о Шустикове. И поскольку говорить о нем особо было нечего, у нее и сорвалось: малый, мол, без царя в голове. Кто знает, может быть, именно это повлияло на решение начальника, когда встал вопрос, кого сократить. Валентина Сергеевна переживала и даже кое-кому покаялась — зря, мол, и не вовремя, дурацкий, мол, бабий язык. Валентина Сергеевна не знала, что в те же горячие дни к начальнику заходила и Виктория Петровна и тоже как-то вдруг заговорила о Шустикове. И Семен Семеныч заходил тоже.

4

— Он скот. И все вы скоты. — Жена вспыхивает.— Я целый день ухлопала, чтобы свести их в тот вечер, а он уже на другое утро не хочет ее видеть, хоть бы



позвонил, — это скотство, это настоящее скотство...

Муж повторяет:

— Скотство или не скотство, какая теперь разница — Козолупов с ней не хочет.

Жена встрепенулась:

— А хорошо ли ты с ним поговорил?.. Ей не обязательно замуж... Втолкуй ему: речь идет о том или ином общении с милой интеллигентной женщиной. У нее ведь квартира. У нее доброе сердце...

— Сказал и про квартиру. Ничего не забыл.

— Про старость одинокую сказал?

— А как же. Он ответил, что уж лучше помереть в одиночестве — ему, мол, необязательно, чтобы кто-то сидел рядом и вызвал напоследок «скорую помощь».

— Так и сказал?

— Да.

— Скот.

Некоторое время они молчат. Потом жена говорит:

— Разве дело в том, кто тебе закроет глаза в старости? В конце концов, если нет ни жены, ни детей — закроют глаза соседи.

— В конце концов, можно полежать и с открытыми, — говорит муж.

5

Не заметить, что Регина перепила, было невозможно, потому что она швыряла фужерами в стену, целовалась с хозяйской кошкой и долго потом танцевала, прижимая к груди телефон, — все спотыкались о шнур, а Регина, не замолкая ни на минуту, глупенько и несвойственно для себя хихикала. Заметно и зримо было настолько, что мужчины, когда стали расходиться, не пытались увлечь ее потихоньку с собой, потихоньку увести, потихоньку втиснуть в такси (гони, друг!), а напротив: они громко, возбужденно и не таясь спорили, и каждый чуть ли не кричал, что именно ему Регину отвезти и проводить будет сподручнее. Время было позднее, и все уже предвкушали, как они вывалятся и выйдут после этой духоты на мороз. Женщины тоже нет-нет и озабоченно выкрикивали, что Регину необходимо проводить: «Мальчики — не оставляйте

ее!» — и эта фраза особенно помнилась и переповторялась на следующий день в их говорливой конторе. В общем гаме больше всех в ту возбужденную вечернюю минуту шумел и вздымался сорокалетний мальчик Коля Крымов: «Имей совесть! — кричал он то одному, то другому. — Куда ты ее повезешь, ну куда?.. Ишь, умник. Легкой добычи захотелось?!» — так и возникло выражение, типичное для всякой компании, расходящейся далеко за полночь, когда шумят, целуются на прощанье с хозяйкой и путают свой портфель с чужим: *легкая добыча*, и мужчин как бы даже в дрожь бросало от этого пьянящего словосочетания. Высокая, стройная Регина тем временем подходила к спорящим мужчинам, хихикала и обрывала пуговицы пиджака то у одного, то у другого... В женщинах наметилось некоторое недовольство: как водится, гулянка сослуживцев была без мужей и жен, и кто-то был или старался быть с кем-то или хотя бы с кем-то числился; мужчины танцевали, чокались полными рюмками, нашептывали — а тут вдруг обнаружилось, что нашептыванья забыты и что все они рвутся провожать одинокую Регину. Они словно с ума сошли. Они спятили, они делали вид, что всех остальных женщин они не замечают и даже плохо узнают в лицо.

Аня Авдеева, скривив тонкие губы, подошла к Володику, а Володик, конечно же, звонил спешно жене, нервничая и поглядывая на окруженную мужиками хихикающую Регину: Володик выпрашивал у своей жены время, а может быть, если удастся, и всю ночь. Он торопился. Он говорил с женой бодро. Аня Авдеева послушала немного и с насмешкой сказала:

— Передай привет.

— Да погоди...

— Привет передай. И *детям* тоже.

— Дети уже давно спят... Заткнись, ради бога, — и Володик, приоткрыв трубку, которую он до времени зажимал ладонью, осаживая Аню и шипя на нее, отвернулся, — теперь он вновь говорил с женой. Он говорил бодро, улыбался:

— Ты слушаешь, маленькая, я, может статься, до утра погуляю. Гуляем замечательно — так хорошо началось, надо развеяться как следует. Сидим и пьем, как в раю. Как на облаке...

И тут же, ценя золотое время — звонок в звонок,— он уже звонил приятелю:

— Слушай, родной, я, может статься, к тебе сейчас нагряну. С выпивкой... Тут миленькое лирическое недоразумение: надо нашу сослуживицу на ночь устроить, я вроде как ее опекаю — устроишь нас на ночь?

— ?

— Да ладно, ладно. Объясню, когда приеду...

Бросив трубку и опять же не оглянувшись на Аню Авдееву, Володик заспешил в угол, где обступили Регину и где говорили ей наперебой:

— ...Пора домой, Регина... Нет, Региночка, тебе пора домой... Пора ехать. Поверь мне... Я тебя довезу...

Так или примерно так говорил каждый, оттесняя легонько плечом соседа и норовя вырвать инициативу; говорили все разом, а Регина пьяненько хихикала, глупо улыбалась и глупо отвечала:

— Н-не хочу домой, н-не желаю... У меня настроение — н-не хочу!

У Володика был приятель с квартирой. Зато Герман Сергеев был холостяк, а это всегда серьезный соперник, квартира которого, быть может, и неуютна, однако пуста и пребывает в постоянной и ежеминутной боевой готовности. Да и у Толи Тольцева жена и дети были в отъезде по случаю зимних каникул, — выяснилось вдруг, что большой город не так уж плотно заселен и набит людьми и что в тяжелую минуту найдутся комнаты и даже квартиры, разбросанные там и сям и ожидающие среди ночи неустроенных и бедных. Так что было совершенно непонятно и даже необъяснимо, как это Регина исчезла без провожатого; спорили, суетились и даже ссорились, а хватились — ее нет. Это было просто невероятно. Ее хватились, когда уже рассаживались по такси. Замначотдела сел в такси с Лелей и с Вероникой Андреевной, зам поддерживал свою сложную репутацию «человека с деньгами» и потому привычно развозил всех самых далеких — наиболее далеко живущих.

— Вас же только трое! — говорили ему.

— Ну и что?

— Толик! Да вон еще машина... Хватай ее!

Люди объединялись, а потом, на морозе не мешкая, перегруппировывались, — вновь спорили, уточняли район поездки, рассаживались, — и вот тут Валентина Сергеевна, научный сотрудник и хозяйка квартиры, в которой происходило веселое сборище, спросила:

— А с кем же Регина? — Только тут спохватились;

половина народу уже разъехалась — и теперь стали, перебивая друг друга, припоминать: кто-то уверял, что Регина уехала с Володиком, но Герман Сергеев возразил: он видел своими глазами, что Володик уехал с Аней Авдеевой, ей-ей, он, мол, Герман, сам хотел с Аней и потому не упускал ее из виду. Они припоминали и спорили, пока не замерзли; стоял мороз, снег падал крупными легкими хлопьями.

— Кто ж уволок Регинку? — шумел неуемный и всегда порядочный Коля Крымов, изо рта у него валил пар. — Вот подлец!.. Я узнаю и завтра же на работе ему морду набью. Нет совести у людей!

Отъехала еще машина. Оставшиеся вновь ждали такси и вновь припоминали уже от нечего делать, кто с кем уехал, — час и даже больше не было ни единой машины, теперь они шли редко. Поодаль стоял инвалид, прихрамывающий жилец с третьего этажа, выползший на ночной воздух, потому что его замучила бессонница — этот тихий человек сказал, покуривая, что высокая девушка в меховой шапке (как же они этого не видели!) в полном одиночестве пошла вон туда. И инвалид указал пальцем — она пошла туда, к низенькому зданию детского сада и дальше к той скамейке, а потом по улице вон к тем далеким фонарям. «Одна пошла?» — «Одна». И действительно, на легком снегу, на целине царски-белого снега виднелись следы шагов, неровные и зыбкие; и все вдруг мигом представили, как шла тут легкой и покачивающейся походкой Регина, счастливая и хихикающая, стройная и пьяненькая. Казалось, что, невидимая, она все еще идет по этому белому снегу. У неуспевших уехать мужчин возникло необратимое чувство потери и досады, а хозяйка, Валентина Сергеевна, еще и подсмеялась над ними:

— Эх, мужики, мужики...

Только на следующий день выяснилось, что Регина довольно удачно и в нужном направлении выбралась дворами из группы домов и пыталась проникнуть в закрывшийся уже метрополитен, она хохотала, стучала кулачком, выкрикивала глупости, потом ее след, увы, потерялся. Она исчезла, словно ушла на луну своей легкой, покачивающейся и пьяненькой походкой. Месяц или два, или даже три ее активно искали, и долго еще на милицейском щите возле этой станции метро, рядом с будкой «Союзпечати», висела ее фото-

графия с текстом: «Исчезла девушка... 26-ти лет, высокая, миловидная, в меховой шапке, на руке часы желтого металла...»

6

Не литература выдумала стереотип. Стереотип был всегда, до литературы — тоже. И более того: литература отчасти и возникла, чтобы работать с существовавшими уже стереотипами, либо разрушая их, либо создавая новые. Можно не сомневаться, что убийца, плут, любовник, приход гостя в дом или ссора мужчины и женщины продолжаемы и переносимы во все времена — и в каменный век тоже. Надо думать, пишущий человек внутренне всегда соглашался:

— Ладно. Литература занимается стереотипами...

И уже в некотором испуге и в нехорошем предчувствии сам себя спрашивал:

— ...а как же живой человек? Как с ним-то быть? — И очень скоро выяснялось, что живого письмом на бумаге не передать, как не передать его речью. Всякое высказанное о человеке живом есть как бы односторонний оттиск его, та или иная приблизительная маска, опять же тот или иной стереотип. И за границей этого оттиска всегда остается нечто, художником не реализованное и не воплощенное. Разумеется, метод давно выверен: берут известные, узнаваемые черточки характера, штрихи или более общеизвестные крупноблочные стереотипные оттиски, — и предполагают, как само собой разумеющееся, что читающий, или, как теперь говорят, читатель, обопрется об известное, знакомое, понятное, а все остальное, быть может, додумает или угадает. Однако *живого* человека все же на бумаге нет. И это, пожалуй, первое, что поражает и удивляет пишущего в пути его, так как, что там ни говори, он полагал поначалу, что будет писать живого.

Возникает понимание дела, *не более того.*

Возникает мнение, что если своеобразно и тонко дать эти самые пять или восемь черточек характера, то за ними встанет некий образ, домысливаемый чуть ли не до человеческой полноты, и соответственно в *деле,* то есть, например, в повести, возникает сопереживание или, напротив, неприятие данного типажа, — стало быть, ум и чувства читателя от этих пяти чер-

точек уже напряжены, обострились, и теперь, по ходу дела (по ходу повести), читатель уже надолго останется включенным, как бывает включен мотор. Именно так. И теперь пишущий может доехать на своем топливе до любого и даже самого далекого пункта назначения и в итоге, выгрузив пассажира или даже неожиданно сбросив его, оставить его в раздумье с любой эмоцией или даже с той самой эмоцией, какую поставил себе за цель этот пишущий... Однако едва метод обнажился до последней этой наготы, становится еще более ясно, что тот изображенный на бумаге человек, который как *живой* ходил по комнатам, смеялся, болел, кашлял, —вовсе не живой.

И это одна из самых первых потерь пишущего, вдруг понимаешь, что не человек ходит по твоей повести, а расхаживают там пять-шесть его черточек, не более того. Именно так: одно из первых отрезвлений пишущего и одна из первых его утрат — это горестное осознание, что живой в нашем *деле* не участвует. И горестно, и в достаточной мере обидно, как же, мол, так и чего же тогда ради?.. Возникает ощущение неслышимых голосов или, скажем, огоньков — ощущение, что тебе по силам, быть может, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек и штрихов характера, но сами-то *живые* в стороне, они живут и живут, а потом они умирают, гаснут, как гаснут огоньки ночью, а ты, сколь яростно ни спеши, ничего не успеешь.

«Я отправлял письма!» — огрызается старик, а ему кричат: «Иди, иди!» — вокруг Курский вокзал. И смотрят люди на этого странного гонимого человечка (и ты тоже смотришь): старику лет шестьдесят пять, с виду странный, возможно больной, скорее всего опустившийся. «Я отправлял письма!» — огрызается он. «Иди, иди. Знаем мы эти письма!» — вновь кричит кто-то. И старик, озираясь, уходит. Он в каких-то обносках и отрепьях. Забрызганные грязью брюки. Всклоченная голова. И безумные, красные, как у кролика, глаза. «А вот не крал я чемодана!» — злобно, на грани истерики кричит он, уже удаляясь, — и тут происходит чудо запоминания: ты вдруг понимаешь, что минуту эту запомнишь. Не старика даже. Не крики его. Сама минута для тебя вдруг распирается, становится

выпуклой, и ты понимаешь, что вот сейчас ты навсегда вбираешь походку этого старика, его щетину, его красные глазки, — и без черточек и штрихов характера, без знания, как он и где живет, человечек этот вопреки логике входит в тебя сейчас *целиком*. И что бы ты там дальше ни навыдумывал и ни наврал в деталях, он перейдет, он втиснется на бумагу, и, быть может, это и есть тот единственный способ присутствия *живого* на твоих страницах, — старик и знание о нем успели и, сумев, уже втиснулись через узкий тоннель времени в эту вдруг расширившуюся для тебя минуту. А сам *живой* в это время еще удаляется. Он долго удаляется. Он несколько часов удаляется. «А вот не крал я кожимитового чемодана!» — кричит он уже издали, больной старик, и две бабуси в углу, в помятых заношенных кофтах, в повязанных грубых платках, однако вполне добропорядочные транзитные бабуси (одна из них жует всухомятку булку), глядят ему вслед и покачивают головами. И ты глядишь. А минута все еще длится, все еще выпуклая, набухшая, едва не лопающаяся, оттого что вместила в себя *живого*. «Иди, иди!» — «А я письма писал... А я отправлял письма!»

Суть не в людской толчее на вокзале (могло быть иное место и иной человек): был внешний, был грубый толчок, который лишь спровоцировал выброс и выхлоп из твоего нутра; выброс произошел, состоялся, и именно в эту минуту живые стали чуть ли не живее, чем они есть; и если это не выход из тупика, то, во всяком случае, серьезная компенсация за невозможность вместить на страницы человека живого.

И вот уже не без важности пишущий иногда говорит:

— Не знаю, как это я написал повесть, — сначала сам ничего не понимал, но потом вдруг услышал голос.

— Что, что?

— Голос. — Пишущий отвечает негромко, но твердо.

— Свыше, что ли? (Ирония.)

— Ну уж свыше или сниже — не знаю. Но только это был голос.

Если расширяющиеся минуты и впрямь компенсация, то почему бы не счесть такие вот выхлопы и выбросы души голосами людей, давно, быть может, умерших, которые, петляя по родовым цепочкам — прапрадед — прабабка — дед — мать — сын, — дошли нако-

нец до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя генетической недоговоренностью. Можно представить и вообразить пожарную кишку, длинную, наглухо закупоренную брезентовую трубу, которая в одном-единственном месте — в тебе — имеет случайную трещину, дыру небольшую и, стало быть, выход. И вот, передавая давление всей бесконечной водяной массы в трубе, через крохотное отверстие — через тебя, — уже бьет тонкой струей вода, уже фонтанирует, и иногда это довольно сильно, и можно подставить рот и напиться. Картинка не без красивости: целая вереница безъязыких или недоговоривших прадедов подсказывает тебе что-то, нашептывает, сокрушаясь и сетуя, что ты такой глухой и что ты так мало можешь расслышать.

До ребенка дошла мысль о смертности живых — об этом он уже много раз слышал от взрослых, но теперь эта мысль дошла, или, может быть, лучше сказать, достучалась. Огромный и затхлый барак сотрясался всеми своими фанерными перегородками от храпа спящих. Мальчику было пять-шесть лет, — на кровати напротив посапывали мать и тетка Маруся. Он сел на постели. Была луна. И вот маленький мальчик встал и босо, тихо бродил по половицам. Стены останутся, а он умрет — это было теперь совершенно ясно. И половицы останутся. Стол и стулья (так ему казалось при луне) тоже останутся, а вот он, и мамка, и тетка Маруська умрут. Мальчик стоял, залитый лунным светом, у стены, касался стены рукой и бормотал:

— Стены, прощайте.

Потом дошел черед и до других предметов:

— Стол, прощай... Стул, прощай... Этажерка (так тогда говорили), прощай...

Волнение наконец улеглось. Ногам стало холодно, минута сомкнулась, съежилась в обыкновенную — послышался стрекот припозднившейся швейной машинки в дальнем конце барака, а за перегородкой бухала (кашляла) бабка Кольки Мистера. С просыхающими слезами он лег в постель и даже не заметил, как уснул. Позже он понял, что это была, пожалуй, не страшная минута: это была добрая минута; еще позже он назовет такую или подобную ей яркую минуту из детства —

голосом, или первым услышанным голосом, или даже первым *словом,* и поймет, что минута вовсе не обязательно связана с осознанием смерти. Она связана с осознанием самого себя. Это сродни, может быть, возникновению внутреннего духовного поля, — оно ведь тоже возникает, как возникают в природе поле, скажем, магнитное и поле электрическое. И понятно, что этот первый голос случается в детстве, чаще в отрочестве, а всего чаще на стыке детства и уже не детства — пространство там очищенное и голоса слышнее. В давние времена говорили: человек услышал бога. Или услышал свыше. Или так, утешая взволновавшегося, в слезах ребенка: «Знаешь, малыш, — это пролетел твой ангел». Отсюда и всевозможные видения отроков.

В переводе на наши дни это звучит, по-видимому, так: первое движение интеллекта. Первое и как бы пробное включение разума. Как ночью в очищенности бытия слышнее всякая боль (слышимость ее и не дает уснуть), так в детстве слышнее вот эти движения, вспышки, выхлопы интеллекта, — и, казалось бы, самоочевидно, что и в зрелом возрасте к таким вот выпуклым, емким минутам, крайне редким, когда пространство вдруг расширяется и какая-нибудь опушка леса или толчея Курского вокзала навсегда входят в твое зрение, — казалось бы, к таким минутам надо особо прислушиваться и особой ценой их ценить. Но тут есть необязательность: даже если не заметишь и не оценишь ее, расширившаяся минута еще долго будет двигаться в тебе сама собой: это движение напоминает внешне движение и протискивание крупной заглотанной пищи по телу удава.

Противодействием являются всем известные суета днем и озабоченность вечером, подменивающие друг друга, как подменивают птицы — птица дневная и птица ночная; в суете и озабоченности голоса́ почти неразличимы; голоса слышатся все реже и реже. А тут еще здравый смысл — любимое дитяти опыта, выжимка и сок бытовых передряг. Здравый смысл (Панса всегда рядом с Кихотом) всегда старается и жаждет — в этом его призвание — обескрылить любую идею, приземлить, упростить, свести к уже известному, а при случае высмеять, чуть ли не в минуту скликая полки единомышленников, потому что смех заразителен и беспроигрышен. Есть анекдот о том, как человек услышал

внутренний голос, советовавший пойти к соседу, — человек пошел, и его *покормили;* во второй раз голос посоветовал пойти к соседке — человек пошел, и его *полюбили*; однако в третий раз голос посоветовал *прыгнуть* из окна на мостовую — человек прыгнул и, конечно же, разбился всмятку; в последний миг, через боль и через смерть, он успел крикнуть своему внутреннему голосу: «Я же разбился!» — на что голос, прокашлявшись, ответил:

— Разбился?.. Гм-м. Ну и хрен с тобой. — С каждым годом взрослеющий человек все с большим удовольствием рассказывает этот анекдот, или другой, или третий, подобных анекдотов всегда в достатке.

Если человек из породы пишущих, голоса имеют к нему особое отношение, и не только потому, что голоса прямо противоположны стереотипам, которые в отличие от голосов всегдашни и даже вечны. Пошлость бессмертна, это было точно подмечено. Пишущий ходит по редакциям, как тупой, как неумный среди умных, со своей первой повестью, — он носит ее, как носят мешок за плечами, в котором есть, к примеру, валенки на продажу; он носит именно эти валенки, какие есть, — одну пару. Валенки на одного человека, а не десять пар на выбор, и именно поэтому книга удается. Как правило, первая книга удается. Пишущего ведут голоса детства и отрочества, которые он слышит настолько сильно, что интеллект, играющий со стереотипами в свои игры, еще не в состоянии подправить наивного творца, — в первой книге всегда есть новизна в истинном смысле этого затертого слова, и *всякая* первая книга, не неся бог знает каких дум или раздумий нынешнего дня, несет все же в себе нынешнюю новизну и, уж если считать, заведомо окупает своим появлением и бумагу, и типографские расходы, чего нельзя наперед сказать о других книгах, пусть даже того же самого автора.

Я бы издавал только первые книги авторов.

Так рассуждает пишущий, который уже заметно постарел и у которого около пятнадцати или двадцати книг, — тоскует, и в тоске хочется разогнать домашних и родных по делам, запереться в квартире, открыть бутылку с «изготовленной из отборного зерна» и теперь

уже в полном и обеспеченном одиночестве тосковать, напевая самому себе на музыку Яковлева:

Я горы, долы и леса
И милый взгляд забыл,
Зачем же ваши *голоса*
Мне слух мой сохранил... —

на самом же деле поет он уже, как говорится, от обратного. В утрате своей поет. То есть с возрастом он именно леса, и горы, и милые взгляды научился ценить и знать, и узнавать вполне, а вот голоса свои он уже не слышит; отрочество далеко, в суете голоса неразличимы. Их трудно выделить и вычленить, как трудно высвободить понравившуюся вдруг мелодию в сработавшемся от времени транзисторном приемнике, — и собрать воедино хотя бы обрывки своих голосов, хотя бы отголоски их, кажется сложным и тяжким не по летам.

Умирают, как известно, по-разному, — говорят, молодые умирают легко. Можно предположить, что умирающий в молодости слышит разом все свои голоса, которые, не умри он, будоражили бы исподволь в течение долгой или даже затянувшейся жизни. Все отпущенные ему голоса умирающий молодым слышит разом, и тогда, надо думать, это действительно сладчайший миг. И если отвлечься от романтической подосновы, можно, пожалуй, согласиться, что умирающий до времени имеет свою определенную компенсацию: как-никак, он слышит все свои голоса и с ними же уходит, не растеряв их и держа при себе и уж, во всяком случае, зная, зачем и с чем он приходил на землю. Голос требует импровизации, притом мгновенной. Но где же ее взять, если ты человек, обкатанный бытом и возрастом, а не летящий по небу и без передышки поющий ангел и если импровизация — это не заранее и втихую накопленный запас слов, которые ты можешь вынуть из кармана, а можешь и не вынуть.

7

Чувство вины было явным — я был по какой-то причине виноват, я понимал, и я как бы даже знал это, а три плосколицых человека сопровождали меня: мы шли степью; мы шли неторопливо; они меня конво-

ировали. Земля была потрескавшаяся от сухости, с полынью, и когда я приостанавливался (а я делал вид, что я беззаботен, что я уверен в справедливом их отношении ко мне), когда я нагибался, чтобы сорвать кустик полыни, все трое сдерживали шаг и вроде бы тоже приостанавливались. Я насвистывал. Вверху вдруг мелькал жаворонок, и, если бы он пел, мы с ним составили бы пару; я насвистывал, а сопровождавшие меня молчали.

— Свищу, — сказал я, перехватив взгляд узких глаз-щелочек того человека, что шагал справа возле меня, он шагал почти рядом.

— А?

— Свищу, — повторил я с улыбкой. Из троих сопровождавших он мне казался более симпатичным. лицо у него было не столь обветренное; лицо было с юношеским, даже слегка женским, мягким очерком линий. Мне казалось, что если он мне симпатичен, то не исключено, что и я ему симпатичен, а в этом уже могла таиться да и таилась некая моя надежда. Он не ответил. Он ударил плетью по своему мягкому гофрированному, старому, как старая гармошка, сапогу и обил от скуки пыль. Кузнечик на сапоге был прихвачен ударом и вмиг размазан в пятно.

Перед нашими глазами появилось небольшое восточное глинобитное строение. Среди белесой полыни строение возникло вдруг — одно-одинехонько посреди голой и нежилой степи. Я хотел пить, но воды не было. Точнее сказать, воды было мало. Старик с реденькой узкой бородкой вынес им плоскую чашку воды — все трое сделали по нескольку глотков, передавая чашку друг другу. Последний (это был тот, что с моложавым лицом), посмотрев на остатки воды, хотел протянуть чашку мне — но, словно спохватившись, сделал еще глоток, допил, — потом, вновь оглянувшись на других (не осудят ли его за доброту), все же протянул к моему лицу. Руки у меня были голые и сухие от ветра, я схватил чашку — там, на дне, с темными соринками и с желтоватыми зернышками полыни, колыхалась капля воды. Я пил до самого дна. Я пил долго, ожидая стекавшие капли. И вот тут, поводя глазом по-над краем чашки, закрывавшей мне лицо, — я увидел мертвого. Я его как-то не заметил, когда мы подошли к строению. Он лежал на песке; старик, присев возле него на кор-

точки, теперь причитал и смотрел мертвому в лицо, а трое моих провожатых лениво готовили умершему могилу. Старик просил их помочь, поторапливал. «Надо хоронить», — говорил старик. И повторял:

— Надо хоронить. — Те трое рыли яму и укладывали вокруг сухие кирпичи-кубики: они делали что-то вроде надгробья, напоминавшего видом большую игрушечную пирамиду, какую от нечего делать строят дети.

Старик вымыл мертвому лицо, пригладил ему виски, — теперь в руках старика появилась бритва. Старик вертел ее в руках (она посверкивала на солнце) и громко жаловался копающим, что надо побрить мертвого, но ведь лежачего брить не с руки, неудобно. «Я не умею брить лежачего», — говорил старик.

И спрашивал:

— Может, вы кто умеете?

Он спрашивал их, он приставал к ним; меня он не замечал. Ну что ж, похороны как похороны — я сделал вид, что все идет как идет, и даже попытался дать совет: я, мол, слышал, что у них на Востоке волосы не обязательно брить бритвой, можно выдергивать, и делают, мол, это суровой ниткой: плотно прижимают нитку к лицу и ведут вдоль щеки книзу, накручивая и вырывая волос за волосом. Они как бы не слышали моих слов; они не ответили.

Они велели мне сесть на землю, вытянув ноги, — спина к спине они посадили со мной умершего; его голова разместилась у меня сзади, на шее, безвольная голова, мягкая и одновременно жесткая. Поскольку мы сидели спина к спине, я ничего не видел (я видел только степь), но понимал, что старик будет его в таком сидячем положении брить, — я слышал, как он шуршит помазком в мыльной пене, жалуясь, что воды совсем мало. Потом послышалось, как он скребет по щетине мертвого. И почти тут же я почувствовал холод — холод входил в меня импульсами, он шел от спины мертвого. Если бы не этот холод, сидеть спина к спине мне было бы даже удобно, потому что после долгой дороги я устал и ноги ныли. Но теперь я быстро охлаждался. Волна озноба вошла вдруг в меня в область правой лопатки так сильно, что я затрясся, и старик строго сказал мне, чтобы я не дергался, иначе он порежет щеку мертвого. Теперь он устроил голову

мертвого у меня на плече с левой стороны и, вероятно, закинул ему голову кверху, как это делают все парикмахеры, чтобы добраться до шеи и трудных мест подбородка; теперь я чувствовал левым ухом холодное ухо моего напарника. И тут же раздался первый пробный скрежет в этом новом положении.

Старик брил, а я остывал все больше — сначала остыли плечи, потом вся спина, холод полз по рукам, и только пальцы рук, которые я держал у живота, да выставленные вперед ноги были еще теплыми; вся надежда теперь была на ноги, все еще мои. Но холод входил теперь и в низ позвоночника с особой, необратимой силой, и когда медленный скрежет кончился и они оттащили своего мертвеца, — я, остывший, остался сидеть в том же положении, как будто я стал фигуркой из чугуна, холодной и недвижной. Встать я не мог. Я как бы прирос в сидячем положении к земле, как прирастает к ней все неживое. Они спели короткую молитву. Только старик не пел: он напоследок прихорашивал мертвого, стряхивал пыль с его одежды и обирал траву.

Не прерывая тихого пения, они отволокли мертвого в приготовленный ему закуток из кубиков-кирпичей, пристроили его там и пошли дальше степью, старик и трое, — а я сидел как сидел.

Они были шагах в двадцати уже, когда старик спросил у них *про меня,* и один из троих ответил:

— На семь восьмых славянин... И на осьмушку, возможно, скиф.

— На осьмушку?

— А может быть, и осьмушки не наберется.

— Маловато, — сказал старик.

И тогда тот, с моложавым лицом, обернулся на ходу, словно хотел мне, оставшемуся сидеть, крикнуть: «Пока!» — но не крикнул; не сбавляя шага и не останавливаясь, он легко и небрежно швырнул или метнул небольшое копье в мою сторону с двадцати или двадцати пяти шагов, и мое тело издало звук, какой издает раздувшаяся от жары рыба, когда в нее на пробу втыкают нож: попал.

Я, сидевший, стал медленно заваливаться, а засевшее во мне копье, в то время как я заваливался, постепенно распрямлялось, пока не встало торчком, — копье стояло почти вертикально, а я теперь лежал на земле, придавив полынь. Я был все еще холодный и

словно неживой, и, может быть, поэтому я чувствовал, что боль была тупая, и чувствовал все, что со мной происходит. Копье вошло с правой стороны под ребром — пробило кожную ткань, проскочив эпителий, протиснулось острием в густую кашеобразную массу печени, а затем, раздирая и легко рвя, отодвинуло витки кишок и вышло вон, насквозь.

На месте разрыва печени чужеродные вещества проникли в кровь и вызвали сепсис, — свертывание крови распространялось теперь по сосудам все дальше (напоминая скисание молока, но только ускоренное, вместо суток двадцать минут), и, когда отключилась вегетатика, легкие застыли в спазме. С этой минуты клетки уже задыхались без углеродистого обмена: они жили уже сами по себе, на внутреннем запасе. Но запас быстро истощался. Процессы прекратились — стоп — и теперь колесики вновь стронулись с места, но уже в обратном направлении: начался встречный процесс, распад. Аминокислоты перестраивали ряды. Началось дыхание непосредственно воздухом. Клетка вбирала чистый кислород напрямую, шло сгорание, которое почему-то называется гниением, какая глупость. Всякая борьба это борьба. Надо же было как-то уцелеть и выжить, то есть остаться среди живых, живущих, и потому — и именно потому — аминокислоты торопились перейти, перевоплотиться в траву, в землю, в микроорганизмы, в воздух. Опытные бойцы. Они не упускали и не упустили своего шанса.

Мое лицо утратило тем временем мягкость: рука затяжелела, как полено, в судороге я прижал ее к лицу, словно закрывал светлые материны глаза от ястребов, — а степняки уже кружились. Мое «я» разваливалось. В конце концов приходилось выбирать из того, что есть, — мое «я» металось по разлагающемуся телу, норовя хоть куда-нибудь приткнуться, впрочем, выбор был невелик: я почувствовал, что обрел гибкое длинное тело, и если новое мое тело было теперь скользкое и холодное, то не беда, и ведь, повторяю, приходилось выбирать из того, что есть. Я прополз меж ребер того остова, которым я сам был когда-то, мимо развороченной печени и мимо отполированной поверхности древка копья, — я уже обрел некоторую ловкость и вскоре даже привык, как привыкает, скажем, человек, потерявший ногу, привыкает и не скорбит всю дальнейшую жизнь, что ноги у него нет и что она уже

не вырастет. Я потерял куда больше, но теперь это не имело значения. Я был червь, я был живое существо, а это уже немало. Я полз лишь для того, чтобы выползти, я обвился вокруг ребра — и раскачивался, слыша запахи травы и земли. Только недоумки говорят, что червь любит жить в трупе, — он там рождается подчас, это верно, но вскоре он уходит, как всегда и все взрослеющие уходят от того места, где родились. Качнувшись на ребре всем телом, я совершил сброс и упал — и вот уже совсем ловко и упруго заскользил по земле: я хотел пить, потому что червь любит влажность.

Солнце было высоко; червь не человек — и потому я сразу же нутром почуял, где тут в степи может быть вода. Я услышал ее, как слышат звук самолета, и двинулся на этот звук. Я полз не слишком долго, потому что я полз правильно. Вода была недалеко: уже за первым же пригорком земля запахла свежо и страстно: вода хотела меня так же, как хотел ее я. Я полз: я вытягивал шею, потом тянул середину и только затем подтягивал низ тела. После полыни и песка вдруг появились первые зеленые проблески травы. Вода была близко. И тут я увидел человека — в нескольких сантиметрах от меня стоял старик, которого я недавно видел в бытность свою человеком, жалкий и оборванный старик, но только теперь, хотя и в лохмотьях, он не был жалким. Он был огромен. Он перекрыл собою путь к воде. Он спросил:

— Ползешь? — и рядом я увидел подошвы его ног, его старые стоптанные сапоги. Они были как огромные столбы. Он ступил, и как глыбой придавило сапогом половину моего тела, и, конечно же, вмиг расплющило бы меня, если б он захотел. Я извивался — сапог, чуть придавливая, увеличивал боль, и я уже боялся разорваться от переполняющего меня давления моей же внутренней жидкости.

— Ну? — был его первый вопрос. — Грешил?

Я хотел ответить: «Сам, мол, все знаешь — зачем же спрашиваешь?» — но голоса у меня не было, я даже пискнуть не мог; я только заизвивался сильнее и подобострастнее.

Он (там, наверху), вероятно, покачал головой.

— Грешите, — проговорил он с упреком, — землю всю поганите.

Я вновь заизвивался, телодвижениями отвечая — я, мол, как все. Я как все, и какой же с меня спрос.

— А почему же жить хочешь?

— Все ведь хотят.

— Опять *все...* Мало ли чего хотят все. — Старик передразнил, повторил мою (в переводе на язык) извивающуюся интонацию. — Ты-то почему хочешь жить?

Он прижал меня жестче и грубее; я совсем помутился, вздулся и вот-вот мог, разорвавшись, растечься.

— Что в своей жизни ты делал — рассказывай.

Как ни стыдно сознаться, я стал лепетать (извивами вздувшегося тела), лепетать о каких-то своих достоинствах. Тут обнаружилось удивительное: так легко говорить о своих прорехах, так просто перечислять скользкие или поганенькие поступки, сделанные хоть год, хоть десять лет назад (в припоминании есть даже своя покаянная сладость), однако, когда я попытался сказать, *чем я хорош*, это оказалось непосильно, это звучало жалко, даже, пожалуй, нелепо и уж точно неуместно.

Я заизвивался вновь, — не зная, что вспомнить и что сказать, я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие.

— Другие?

— Да.

— И как же они хвалят?

— Ну как. Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе — он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное.

— Хорошо живете, — фыркнул старик.

Сапог, придавливавший меня, ослабел. Все тело мое заныло; я пополз, волоча за собой нижнюю половину, которая была все еще в шоке и тянулась за мной как неживая. Старик произнес сверху:

— Ладно, поживи, *даю отсрочку.*

Солнце грело, вода была недалеко; я настолько обрадовался возможности жить дальше, что осмелел. Я спросил, за что он дает мне отсрочку, хотелось бы знать. Я повторил движением тела:

— За что?

И он сказал, за что. Он и без меня все знал; сразу и легко прочитав мою жизнь, он назвал некую, на мой взгляд, безделицу, пустяк — и я замер в шоке, как и мое тело; я никак не мог осмыслить: то, что он назвал,

не было ни достоинством, ни хорошим поступком, скорее всего, это было, пожалуй, моей слабостью.

— Но ведь это есть у многих, — обескураженно пискнул мой голосок.

Он сказал:

— А я многим даю отсрочку.

И тут он добавил еще три слова:

— Много извиваешься, червь, — и пнул меня ногой, чтобы больше не видеть. Удар был сильный, но, по-видимому, достаточно рассчитанный и не без крохи гуманности: тело не лопнуло, оно спружинило, я взлетел в воздух, — и вот, перелетя через пригорок, шлепнулся в какую-то канаву с водой, к которой я давно и долго полз, алчный, по запаху.

8

Голоса не надо путать с вдохновением; вдохновение — это состояние пишущего, голос же, говоря грубо, материален — он несет в себе, например, желтые вершины гор, или степь, или Курский вокзал, он несет в себе ту или иную боль, то или иное поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо, конкретно улицу или конкретно поселок. Голос существует и тогда, когда он не слышен: он притих, не более того. С точки зрения вбирания в себя голос достаточно широк и несет в себе все и всякое; и если кто-то захочет найти в нем свою исключительность или даже свою болезнь, он ее там найдет.

Голоса имеют свою жизнь во времени: от и до. Голоса возникают, то есть однажды рождаются, — некоторое время они будоражат тебя, напоминают, подначивают, тревожат, достигают наибольшей силы, это пора их зрелости — потом они гаснут, слабеют. А затем, как и положено живым, голос умирает, он смертен. Прожив отпущенный ему природой век, месяц или год, или, скажем, три года, голос умирает в тебе, оставшись чаще всего нереализованным. И однажды тебя начинает будоражить другой голос — следующий.

В каждом человеке в этом смысле есть свое и особое кладбище голосов. Они погибли. О них можно помнить, но поправить уже ничего нельзя, потому что их звучание в тебе кончилось; они мертвы.

Бывает, что голос в тебе еще достаточно силен, он напоминает о себе на ночь глядя, однако ты уже бессилен каким бы то ни было образом на него откликнуться или хотя бы, удерживая при себе, осмыслить; время этого голоса позади, момент упущен. Тем не менее голоса эти долго еще слышатся и напоминают, как правило, они звучат с укором, нет-нет и вынырнут ближе к ночи, щемя сердце.

Напрашивается сравнение этих тихо звучащих голосов с опавшими листьями; образ старый, сработанный и затертый, но его можно в меру модернизировать. Изощряясь, можно представить себе листья или ворох листьев, лежащих под деревом, под осиной, да и осина сама — не обязательно осина, а некое деревце на киноэкране; время, конечно, осеннее, листопад. И вот кинолента прокручивается обратным ходом (у режиссера есть такой прием), лист отделяется от вороха, отделяется от массы ржавых и старых и кучно лежащих собратьев, — с земли лист начинает медленно подниматься кверху. Он переворачивается в воздухе. Он кувыркается. Переворачиваясь и неспешно кувыркаясь, лист ползет все выше, и вот, замедленно поплавав в воздухе, среди незнакомых веток, словно выбрав и отыскав маму, он приклеивается к своей ветке, к своему маленькому черенку. И живет. Некоторое время он вновь живет и даже трепещет, подрагивая мелкой дрожью, как и положено подрагивать на ветру осиновому листу. А снизу уже поднимается следующий лист. Тоже неспешно кувыркается. Тоже ищет ветку.

Усиливая сравнение, можно вновь представить себе эту киноэкранную осину и под ней ворохи опавших листьев, но только листьев *не этого* года, а прошлого или позапрошлого. Они из уцелевших случайно; они пролежали зиму или две, случайно не сопрели, не сгнили, хотя и пожухли, почернели и ослабели своей лиственной тканью, едва не рассыпающейся в труху, — но некоторые все же сохранили и форму, и отчасти красноватый остаточный цвет. И вот режиссер вновь крутит ленту назад, допустим, он это в силах: лист за листом отрываются от поверхности земли и — медленно, неспешно — поднимаются кверху. Лист кувыркается, переворачивается. Он приближается к массиву кроны, втискивается, кружится, залетая то справа, то слева, но там-то другие листья, там другие ветки — нынешнего года, — и листья не находят своего былого места,

им негде приткнуться, негде пристроиться. Так они и плавают в воздухе.

Некоторые голоса в нас не исчезли, не сопрели, как преют листья, — нет-нет и голоса напоминают нам о себе, заглядывают в нашу душу и с той стороны, и с этой, но им не найти своего места, их время прошло. Иногда их время совсем далекое, и тогда мы говорим, что нас тревожат голоса предков — печальные голоса. И мы впадаем в беспросветный пессимизм и не понимаем, что же это нас окликает и что не дает покоя.

Меня долго преследовала сцена, где три физически сильных и хладнокровных человека убивают или насилуют некую жертву, а я вижу, но стою в стороне, — и оттого, что я в стороне, мне стыдно и скверно. «Тебя-то мы не тронем, не бойсь!» — кричат мне трое, и я только жалко улыбаюсь и переминаюсь с ноги на ногу, как бы парализованный страхом и жутью. Со мной никогда не было ничего подобного, и вины этой тоже не было.

Однако с постоянностью мстящего духа вновь и вновь, примерно раз в полгода-год, с тем расчетом, чтобы я успел забыть и чтобы вновь было напоминание *внезапно* и остро, — на меня накатывала тревога. Иногда в виде сцены. Иногда в виде смутного переживания. Иногда с подробностями. И всегда с чувством покаянности и вины за свое постыдное бессилие и невмешательство. Было похоже, что кто-то из моих предков когда-то не вступился в такой вот ситуации, не вмешался, жалко улыбаясь и стоя в стороне, но с кем из них это было? и когда?.. поди знай. Голос, вероятно, преследовал моего предка до самого смертного его часа. Слабее, а потом еще слабее он преследовал моего деда и моего отца; голос преследовал мужчин, это понятно. Теперь же совсем слабо и лишь иногда он преследует меня, даже не преследует, а лишь напоминает: мститель на излете.

В одной из не самых больших стран Востока два брата-буддиста отрезали голову своей матери. Они отрезали ей голову с ее полного согласия; это было в 1962 году.

Замысел там был таков — у братьев-буддистов во время богослужения украли сто, допустим, рупий. Вора

они не знали, вор скрылся. Дух их умершей матери должен был теперь преследовать вора в течение всей его нечестивой жизни. Дух должен был мешать вору красть, должен был помогать его преследователям и врагам, дух должен был терзать его еженощно во сне кошмарами.

Когда трагизм случившегося события — я имею в виду отсечение головы, а не кражу ста рупий — уже прошел сквозь мое нутро и когда я, попривыкнув к факту, уже смотрел на случившееся (довольно далекое с точки зрения географии и в общем чужое) спокойно и обыденно, тут только до меня дошло, и тут только я оценил всю мощь замысла. Я понял, насколько легче было теперь братьям-буддистам жить. Насколько торжественнее и честивее стали их службы и молитвы богу. Я понял и как бы увидел их, сидящих на молельных ковриках и прикрывших лицо ладонями. Признаться, я увидел и саму старуху; часа за два до отсечения головы (я увидел и представил ее в этот самый момент) старуха злобно смеялась, она потирала руки, предвкушая, как ей отсекут голову и как она будет в скором, в самом скором времени мучить жертву. Известно, что она специально отрастила и не стригла ногти. Старуха была счастлива; старуха рвалась в бой.

9

Кто и когда изобрел барабан, историей не зафиксировано — это столь же в прошлом, как и, к примеру, колесо. Колесо мерит расстояние и пространство, барабан мерит секунды и время.

Имя не сохранилось, однако все же известно, что жил в палеолитные времена некий дикарь, обыкновенный, косматый, кутавшийся, как и прочие, в звериную шкуру, — был он даже для тех времен отъявленный бездельник; был он, впрочем, смышлен и ловок. Кругом громоздились, как и положено им громоздиться, голые камни, а вокруг пещер в неисчислимом количестве бродили звери; от голода звери выли ночи и дни напролет. Это было суровое время, звери тогда размножались бурно, и еды им не хватало. Людей звери тогда, в общем, жалели и старались не есть, потому что людей было мало и истребить их ничего не стоило. Люди могли попросту сойти на нет.

«Разве это жизнь?.. О, господи! — вздыхали там и тут люди в своих жутких пещерах. — Разве это

жизнь?» Люди, как и всегда, считали, что жить тяжело, что жизнь—это сплошное страдание, и без конца жаловались друг другу; они очень любили жаловаться. Тем более бывало муторно и тяжело на душе, если среди племени оказывался вдруг бездельник, или, как они говорили, тунеядец, человек, евший втуне. Он был ленив, он был откровенно ленив; бездельник даже жен своих не кормил или почти не кормил, хотя был молод и крепок, — от жен он избавлялся. Он заставлял жен плясать напоказ голыми в будние дни, после чего обменивал их на оружие или на филейную часть мамонта. В конце концов он обменял их всех; он остался с одной-единственной женой. Он жил с ней в пещере, сплошь заваленной красивыми копьями и мечами. Он был первый, кто стал открыто жить с одной женщиной. Все племя ему втайне завидовало. И конечно же, вслух все его осуждали, и не только потому, что прокормить одну жену легче легкого: дело было еще и в принципе, человеком он считался нехорошим и аморальным. Плюс к этому всему он был болтлив и, как всякий бездельник, нет-нет и проговаривался, что он-де умен и что он-де много умнее даже старых своих сородичей. Его предупреждали и по-доброму, и более круто, однако унять не могли. Его, в общем, оберегали из гуманности: некоторые его любили и жалели. Но однажды он произнес неслыханное, и тут уже ничего нельзя было поделать: он сказал, что умрет *достойнее* их всех, достойнее старых родичей, достойнее даже вождя племени.

Смерть в те времена считалась событием ответственным, смерти придавалось значение и придавался смысл, и было, например, необыкновенно важно, кто и как умер. Смеялся ли человек умирая, важничал ли. Или же плакал, как плачут женщины. Тут были важны сказанные перед смертью слова и даже их оттенки: событие есть событие. И потому стало и нехорошо, и неловко, и даже жутко, когда бездельник произнес вслух:

— Я умру достойнее вождя племени.

Племя было шокировано. Вождь на эти его слова ответил кратко:

— Ты умрешь завтра.

Бездельник схватился за губы, зажал себе рот, но было поздно. За шалопая вступились дядьки, братья, отцы; отцов в те времена было несколько, — однако вождь был тверд и неумолим. Авторитет всегда автори-

тет, и порядок всегда порядок: не наказывая человека за безответственные штуки и выходки, ты в первую очередь развращаешь и портишь его самого. И других тоже. И себя, кстати, тоже портишь. К тому же, вождь племени слегка опасался, что шалопай после своих слов и впрямь как-нибудь случайно умрет с достоинством — кто его знает! — людишки же прибавят, приврут, вот тебе и легенда.

— Он умрет завтра, — подтвердил вождь племени родичам, пришедшим просить о помиловании. И добавил: — На закате.

Приговоренные к смерти в те времена прыгали с обрыва на камни. Разбившись, они лежали там с множественными переломами и в течение двух-трех суток кончались, исходя криками, и ни о каком достоинстве, разумеется, речи там быть не могло. Кара была суровая именно потому, что смерть страшна не сама по себе: смерти дикари в общем не боялись, они боялись предсмертных мук и страданий.

Выхода не было — шалопай сидел ночь напролет, не спал и старался придумать последнюю штуку в своей жизни и последнюю уловку, чтобы как-то облегчить конец. Он бы, возможно, ничего не придумал, если бы не услышал голос свыше; ему повезло. Была луна. Воздушное пространство вдруг как бы расширилось, минута сделалась огромной, значительной, и на душе приговоренного стало легко и освобожденно. «Бог, ты услышал меня. Бог, ты услышал меня!» — со слезами на глазах, ликуя, закричал суеверный дикарь, простирая руки к луне и к застывшим вокруг луны небольшим облакам. Он придумал.

Мысль внешне была проста.

Среди ночи он повел свою единственную жену под обрыв и указал ей место, куда он будет прыгать. Стояла полная луна, небо было высокое. На земле были различимы отдельные камешки. «Сюда, милая, — он указал на бугорок земли, поросший высоким папоротником, — укрепи обломок копья на закате». — «Но меня заметят и прогонят». — «Не заметят», — и он улыбнулся.

Весь следующий день приговоренный бегал по своим дядькам, братьям и отцам с последней просьбой — он просил, чтобы родичи к закату явились на обрыв с плоскими дощечками и тазами и чтобы колотили

в них мерно и ровно, когда он будет идти на смерть. Родичи не отказали. Родичи обещали выполнить. Они немного погоревали и немного посочувствовали, как-никак у человека не каждый день смерть. Они спросили: «Для чего эти дощечки?» — и он, забывшись и, как всегда, немножко важничая, ответил: «Это я придумал, чтобы умирать было не больно». — «Помогает разве?»— «Конечно!» — а день уже клонился к закату.

Закат; это был ярко-алый, а потом багровый закат. Племя разбросанными группами собралось вблизи обрыва, они сидели на корточках на земле, они смотрели, они колотили в дощечки, — дикарь шел своими последними шагами к краю обрыва, и впервые в истории человечества гремел барабанный бой. Дикарь не спешил. Дикарь шел медленно. Барабанный бой был, разумеется, как все оригинальное, несовершенен — родичи колотили кто во что, сбиваясь с ритма и мешая друг другу: начало как начало. Уши и глаза всех собравшихся были отвлечены или, правильнее сказать, привлечены этим дурацким грохотом и этим нелепо горделивым шагом выдумщика. Жена тем временем под обрывом укрепила среди папоротников небольшой обломок копья. Дикарь прыгнул точно. Умер быстро. Он едва успел выкрикнуть с ликованием: «Совсем не больно!» — а солнце уже село за горизонт, для того он и шел к обрыву столь медленно. Стемнело. Стихли крикливые птицы. Жена, теперь уже вдова, извлекла копье и незаметно, вернулась в пещеру, чтобы обман не раскрылся и чтобы ее не наказали, — так у них было условлено.

Все удивлялись, племя было не на шутку взволновано: обычно крики умирающих слышались ночь и день и еще ночь. Утром вождь племени преодолел одышку и самолично спустился под обрыв посмотреть, так как в племени от мала до велика уже шептались, что смерть была легка, мужественна и что на лице умершего улыбка, а оскала зубов нет.

Через год, а может быть, через три (число лет история тут тоже не зафиксировала), а может быть, через десять, пришел час умирать вождю племени, — в этот час, лежа в постели и тяжко страдая, он объявил, чтобы люди племени вновь собрались с плоскими дощечками и натянутыми для просушки шкурами животных. И чтобы, как и в тот раз, колотили в них палками. А он, умирающий от старых ран вождь племени, будет лежать и слушать их и испускать дух. Такова его воля.

«О вождь, — сказали ему старейшины, — ты тем самым напомнишь людям племени о том шалопае. Получится, что ты его почтил».

— Ну так что же. Он был неглуп. Все это знают.

— Но ведь плагиат. Получится, что он действительно умер достойнее тебя.

— Я не тщеславен, — сурово ответил вождь племени, — я могу быть и вторым. — Он стиснул зубы от боли и на миг прикрыл тяжелые веки. — Я не тщеславен. А рокот ударов так ласкает ухо. В рокоте есть что-то сладостное...

Вождь племени был человеком мужественным, однако и он хотел умереть легко; он не хотел страданий и боли, и это не осталось секретом; люди припомнили это и оценили, как и положено им припоминать и оценивать. Следующий вождь тоже пожелал умирать под барабан. Потом — этого захотели видные старики. Потом, как всякое благо, это вошло и распространилось вширь: одними из первых этого захотели осужденные на смерть, в последней просьбе которым племя отказать никак не могло, — умирание под барабанный бой становилось привычным. Все шло своим путем: умирал человек, рождалась традиция.

У мусульман барабан заимствовали рыцари во времена крестовых походов — он проник в Европу с Востока. В России барабан появился при Иване III, накануне Ивана Грозного.

Со временем барабан терял и продолжает терять сейчас свою трагическую окраску, почти повсеместно осужденные на смерть уже перестали слышать его. Идущие в атаку некоторое время еще поддерживали свой дух рокотом последних и тревожных минут. Но и это постепенно сошло на нет.

Барабан вписался в состав оркестра, он так и звался — турецким барабаном, впрочем, роль его всегда была незначительна и строго определенна. Сейчас барабан процветает в ансамблях в совершенно новом качестве — в разболтанных кистях молодцеватого ударника.

Ну и у детей, конечно. Дети любят барабан.

Лето было жаркое, мальчишка пребывал в пионерском лагере, — и однажды неясным каким-то образом

он отстал от растянувшейся по лесу цепочки детей. И заблудился. При этом он унес единственный барабан пионерской дружины.

Он бродил по лесу — пацан как пацан, — шел себе и шел по узкой и смутной лесной тропинке. Лес был замечательный, в таком огромном лесу да еще и в одиночестве мальчишка был впервые. Он испытал восторг среди этих огромных деревьев, он даже несколько раз вскрикнул; с ним случилось что-то вроде видения отрока, хотя самого видения не было.

— Я как бы услышал голос природы, голос леса, — рассказывал он после, уже будучи взрослым.

У этой истории был свой забавный финал.

Барабанщик как-никак фигура в отряде заметная,— отбившийся и отставший, он блуждал по лесу часа два и еле-еле наконец добрался до своих, когда детвора уже вовсю резвилась на пляже. Солнце пекло. После пляжа был немедленно созван совет дружины. Вожатые, перенервничав, были настроены неумолимо — они не верили, что он заблудился: они сочли, что это неудавшийся побег домой. И лишили его звания барабанщика.

Характерно, что в этом же отряде был некий мальчик, по имени Толик,—мальчик с обостренным чувством справедливости. Он уже в детстве различал ту или иную степень проступка; более того, он уже тогда умел дифференцировать промахи и уже тогда догадывался, какая мера наказания в том или ином случае проступку соответствует. Не всякий вожатый знал такое.

Он поднял руку и выступил так:

— Из пионеров его исключать, пожалуй, не надо. — И добавил: — Но из барабанщиков его исключить необходимо. Он не имеет права носить наш барабан.

10

Севка Серый, поселковый бездельник и почти дурачок, был заподозрен в воровстве; в карманах у него были найдены светлые овальные листочки, два платиновых и два серебряных. Севка ходил по поселку и болтал, что видел ночью русалку: русалка шлепала по отмели и была совершенно голая. Севки она не стеснялась. Грудь у нее была высокая, и соски торчали в разные стороны. Дурачок рассказывал, что вскоре они с русалкой поладили и живут теперь душа в душу.

Женщина она милая и приветливая. Не без причуд. Но нежная. Когда Севка рассказывал, глаза у него горели — вот тут ему и вывернули карманы.

— А это что?

— Это — ее. — Севка самодовольно хмыкал.

— Что ее?

— Чешуя. Ночью был с ней, и дала мне своей чешуи немного. Сама дала.

— А не отщипнул ли у нее потихоньку?

— Не-е-ет!

Тарас Михайлович, управляющий, смотрел в глаза этому дураку и слушал его без улыбки, с терпеньем. Может, и не он крал, может, он подобрал где-то, а крали другие — кто знает. «Выпороть», — велел Тарас Михайлович. Вокруг Рудничного были еще четыре поселка, и воровство нужно было пресекать во всех видах. Казачки постарались на славу. А как только зад и спина пришли в норму, Севка сразу же сбежал в горы и там отныне шлялся — то в одиночку, то с друзьями. Говорили, что у него появился мрачный приятель, и Серый во всем его слушает. Жили они будто бы в далеком хуторке, у вдовы, — приятель был мрачен, а Серый день и ночь орал забубенные песни; кто из них жил с вдовой, было неизвестно, кажется, оба. Вспоминая про Серого, Тарас Михайлович каждый раз усмехался. На другой же день после порки Тарас Михайлович был в пути и спустился к реке, чтобы напоить лошадь; была ночь; луна. Тарас Михайлович увидел русалку как раз тогда, когда увидеть было проще всего, — лошадь пила. Лошадь даже не покосилась на голую бабу, не фыркнула. Луна стояла полная и рассекала Урал белой тропой поперек. Русалка плыла на боку, она плыла куда легче, чем люди. На отмели она встала, опираясь на широкий подвернутый хвост, — и поманила Тараса Михайловича пальцем, теперь он ее видел вблизи. Ростом она была с мелкую женщину. «Не холодно?» — спросил он и засмеялся. Она не ответила, она уплыла. А он поднялся с лошадью к дороге. Спутники зевали. Покачиваясь в седле, Тарас Михайлович возвращался домой и нет-нет вспоминал ее тело.

Они попались только через год: они пытались ограбить церковь и попусту убили звонаря Тимофея. Они говорили ему: «Иди отсюда!» — а звонарь им мешал.

«Что делаете, люди?» — спрашивал звонарь и суетился, мешал им. «Уходи отсюда!» — Серый тюкнул его крестом среднего веса, не тяжело тюкнул, но в темя, и этого хватило. Старый звонарь ткнулся лысиной в угол, затих. Он даже ножками не подергал. Он уже много лет был глух. Когда ему говорили: «Иди отсюда!» — он не понимал. Мужики прибежали на шум вовремя. Серый выскочил в высокое окно, удачно выпрыгнул, он даже не прихрамывал, когда бежал, — лошадь была рядом. Приятель Серого уйти не сумел. Это был высокий, как стебель, светловолосый малый — с виду мрачный, хотя мрачным он не был. Звали его Афонькой. Тарас Михайлович и полицейский чин Дуда прибыли не спеша, оба зевали, хотелось спать.

Дуда сидел на корточках — он разглядывал ободранное золото, развязал узел: в узле были кресты и оклады. Мужики стояли кружком возле церкви, курили, суровые, злые и на расправу скорые — и потому Афонька тоже спешил. Афонька рассказывал. Он торопился. Он раскачивал головой, и чуб хлестался туда-сюда: «Не я убил... Мужики, поверьте... Не убивал я», — руки у Афоньки были скручены. Старик звонарь лежал рядом, теплый. Мужики слушали и плевались. Уже светало. Было ясно, что поймали поганца, который не умеет принять ни побоев, ни смерть. Мужики глядели заспанно и зло. Афонька понимал, что ему конец, но переиначить ничего не мог — и хотя бы криком и метаньями пытался что-то поправить: «Он вор! Он подговаривал меня церковь ограбить, мыслимое ли дело — храм божий!» — Афонька лепетал и сам не слышал, что он лепечет.

Но Дуда слышал:

— Надо еще доказать, что не ты убил.

— Богом клянусь! — Афонька рухнул на колени.

На маковку церкви брызнуло солнце. Дуда размышлял: он ждал казаков, чтобы отправить Афоньку в арестантскую, но колебался — нужно ли это? Серого теперь не поймать. Поэтому просто и правильно будет, не дожидаясь казаков, объявить сейчас же, что убил звонаря Афонька, и отдать его мужикам — делу точка.

— Каков подлюга, — шепнул Дуда Тарасу Михайловичу.

И еще шепнул:

— Пусть кончат его... А того поймаем в свое время.

— Вам виднее.

Афонька не слышал их шепот, Афонька и не пытался догадываться, о чем они шепчутся, — он знал о чем. Он закричал в голос. Он распрямился. Он стал красив в эту минуту. «Суки, вам кого бы ни убить, лишь бы убить. Звери! Вам лишь бы отделаться. А он... — Афонька глотнул воздух, как глотают в последний раз. — А он *заступницу топтал*. Он икону топтал. Ногами!» — Афонька нашел гениальный ход себе во спасение. Мужики, и сбежавшиеся рабочие по камню, и Дуда, и сам Тарас Михайлович не отрывали глаз от Афоньки, от белозубого его рта, надеясь, что это неправда и что это никак не может быть правдой, что лжет поганец, наговаривает.

И в то же время смутно и неодолимо до них доходило, что Афонька не лжет. Минуты тянулись медленно. Солнце там и сям заиграло на окнах. Мужики стояли, молчали и еще не до конца поняли, что Афонька вырвал свое горло из их рук. А он уже понял. Он понял это раньше их. Он стоял и плакал, опустив голову; руки у него были скручены за спиной.

Следы подковок, которые оставил сапог дурачка Севки Серого, были как прерывистые черточки. Кап. Кап. Кап. Как слезы. К вечеру стали приходить и рабочие с рудника и бабы; они снимали шапки при входе; они входили в церковь и крестились. Заступница лежала на виду, на полу — второпях брошенная — и поп не поднял ее, не поставил на место, потому что все хотели видеть, *как* она брошена: увидеть, а не услышать со слов. На лике ее и на правой половине оклада виднелись эти жесткие царапины, кап, кап, кап, — заступница как бы роняла слезы.

— ...Тут он пробежал до угла.

— До которого угла?

— До этого. Сорвал ее и на пол. И стал топтать. — Афонька рассказывал с жаром, с каким рассказывают все раскаявшиеся. — И мою душу едва-едва не погубил. Мне вдруг тоже захотелось ее топтать. — Афонька припадал к лику. Ползал губами по следам подковок. — Однако уберег бог. Охранил...

Мужики крестились и кивали головами. Было слышно, как потрескивают свечи. Лица были суровы. Афонька отрывался от иконы, выбегал на паперть и созывал

новых. И опять рассказывал. Руки его были развязаны; о нем уже никто не думал.

А на базаре спьяну или просто по глупости кто-то из мужиков, продававших сено, плохо сказал о богородице: люди его схватили. Толпа набегала и напирала. «Поймали. Только что поймали!» — говорили вокруг, а если не говорили, то думали так, толкаясь и вытягивая шею, чтобы увидеть. В тот день на базаре было много драк и пропало двое детей. Базар гудел и волновался от края до края. Схваченного за плохие слова едва не убили; полдня его отливали водой; он трудно дышал и повторял: «Родные... Родные мои. О ком угодно. О себе. О жене. О детях... Но никогда о божьей матушке».

Он хрипел:

— Никогда не топтал... и не сказал о ней плохо — простите, люди.

К вечеру он стал заговариваться:

— Сенца моего? Сенца хотите?.. За рубль сорок. Гуляй, ребята, на все.

Лежал он возле своего воза с сеном, с которым приехал на базар. Жена хлопотала около, а потом уже не хлопотала — сидела и держала в протянутой руке кружку с водой: пей, родимый. Сено она так и не продала. Всю ночь он лежал там же, в базарном ряду, и пялил глаза на мелкие звезды, бубнил: «Копеечка к копеечке. Рубль сорок», — к утру он умер; жена все сидела и держала кружку с водой. Утром она повезла его в деревню, домой, чтобы похоронить; сюда живой, а отсюда мертвый — так он и ехал на своем возу с сеном. В деревне жена не обмолвилась ни словом. Она понимала, что голосить можно, плакать можно, убиваться можно, но ни о божьей матушке, ни о том, что с кем-то спутали, лучше не заикаться, — убили и убили, земля ему пухом.

Афоня появлялся на людях там и здесь, он рассказывал — пришло время подробностей: «...Он и меня уговаривал — попрыгай на ней, на божьей-то матушке. Потопчи, говорит, ногами». — «А ты?» — «Подошел я ближе, а она на меня смотрит. Меня словно водой окатило. Не буду, говорю, и конец!» — с воспаленными глазами, простуженный, Афоня прибежал в управление к Тарасу Михайловичу:

— Афоня я. Здравствуйте. Это же я—Афоня... Пусть казаки меня поспрашивают: я все его теплые местечки знаю.

Управляющий сказал:

— Разволновался ты.

— Упустят ведь, Тарас Михайлович. — Он хлопал себя по коленям («Упустят!»), он страдальчески кривил лицо («Упустят, упустят!») — и Тарас Михайлович не мог не знать, как слушают сейчас Афоню люди, как ловят они каждое Афонино слово. Время для человека, а не человек для времени: пришел и Афонин час.

Тарас Михайлович поинтересовался:

— А не боишься, что в тот самый день, когда разорвут его, разорвут и тебя?

Афоня засмеялся:

— Мы с ним не в один день родились.

— И не в один день умрете?

— Не в один.

Под окнами раздались гул и вой; там собралась толпа — в основном бабы, старухи и дети. «Афоня-я-я... Афоня-я-я!» — они кликали своего любимца, они звали, они не могли так долго быть без него. Две истошноголосые кликуши резали воздух протяжными стонами. «Поди к ним, поганец», — но тут же Тарас Михайлович спохватился, он тут же подыскал другие слова. Он велел поднести Афоне стопку. Афоня покачал головой:

— Не пью. Не такое время, Тарас Михайлович, чтобы пить.

Севка Серый просился переночевать у кабатчицы. Он говорил: «Денег, тетя, при мне нет. Но я отдам после — ты же меня знаешь». Кабатчица тряслась от страха, но виду не подавала. Она ответила — пей, сочтемся после. Кабатчица была лет тридцати, вся в теле, белая, как белая сметана. Мужа у нее задавило в руднике; второй муж сгорел от водки. И вот Серый стал поглядывать на нее и маслить глаза:

— Детишек уложила?

— Спят. — Она еле выговаривала слова.

— Хорошо живешь!

— Пей, милый...

— А не холодно одной ночью?

Она была старше его лет на десять, и потому смущаться должен был он — а смущалась она. Тут только он заметил, что она дрожит.

— Оставишь на ночь меня или нет?

— Нельзя мне, милый.

Они пошли на жилую половину—теперь она дрожала всем телом.

— Почему же нельзя?

— Нельзя, милый. На сеновал иди.

Он облизнул губы, он был как рыба на крючке; у дверей он попытался ее потискать. За перегородкой спали дети. Где-то в далеком углу горела маленькая свечечка.

— Слушай, кума, — зашептал Серый, — я ведь с Петухом водился, в шайке его был — мы там кой-чего пособирали, золотишко, камушки. Я тебе привезу.

Она молчала и тряслась.

— У меня там сережки имеются, глаз не оторвешь. Платиновые. Моя доля лежит...

Он загибал пальцы:

— Значит, серьги. Брошка есть. Браслетка есть. Ну и монеты золотые — много не дам, но что-то подарю.

Он еще раз спросил:

— Поладим?

— Нет...

— Чего? Я не обманщик.

— Нельзя, милый.

И тогда Серый взмолился: «Тетенька, ну чего тебе стоит. Томлюсь я, одиноко мне!» — он потянулся к ней, но она отодвинула его рукой. Севка пошел на сеновал и все пожимал плечами — чудная какая баба, дрожит всем телом, а непонятная, может, больна чем?.. Только утром он узнал, что имя его разнеслось широко, и узнал, *за что* его ловят. Пахнущий сеновалом, поевший, Севка Серый оглаживал коня, а мимо с заутрени тащились старухи; они не знали его в лицо, они злобно шептались:

— Богохульник топчет икону для своего же горя.

— А батюшка наш медлит.

Севка стоял в пяти шагах от старух, заслоненный лошадью.

— В Троицкой его уже сегодня проклинать будут. А когда же мы?

— В Троицкой мужики умелые. Изловят Серого — и на дереве кончат.

Севка похолодел, потом затрясся самой мелкой дрожью. Кончить на дереве — вид казни за святотатство, взятый у старообрядцев и встречавшийся крайне редко. Серый сразу же вспомнил, как в ту ночь в суете ограбления поскользнулся он на иконе: икона валя-

лась, он поскользнулся и в ярости дважды топнул сапогом. Старухи прошли мимо. Его била дрожь. Он и думать не думал, что до такой степени боится смерти. Весь день он гнал и гнал лошадь. Он попытался добыть ружье, но не вышло: не повезло самую малость. Один казак спал в седле, другой на траве. Их было двое посреди ровного поля—Серый крался, подползал к ним, травинка не шелохнулась. Тихо было. И без луны. Но казак не спал. Когда Серый потянулся к стволу, казак вдруг ударил его в лицо — резко и сильно. Серый побежал, постанывая, а казак смеялся. «Чего ты?» — спросил тот, что спал в седле. «А тут бродяжка подполз. За хлебом к сумке тянулся. Ох и засветил я ему!»

Они прислушались к топоту уезжавшего прочь Севки Серого.

— На коне... Значит, не бродяжка. Пастух.

— Пастухи сейчас голодные.

И опять Серый гнал лошадь всю ночь, он забирался подальше в горы: он замыслил отсидеться в маленькой и жалкой шайке атамана Петуха, в которой он нет-нет и объявлялся. Навстречу Серому кинулась одна из бабенок — Нюрка, совсем молоденькая. «Женишок мой явился — гляньте!» — Нюрка всплеснула руками и полезла целоваться. Она была навеселе. Она называла женишком каждого. Вся шайка была навеселе, про икону они не знали. Севка Серый сразу же стал подбивать их идти к киргизам — в степи. «Поехали на всю осень — погуляем!» — то одному, то другому Серый говорил, что доподлинно знает о степных дорогах, на которых можно разжиться. И ковры добыть можно, и золотишко, наше же, уральское, вывозное, и лошадей каких!.. Однако атаман был в этот раз необычный — и мягкий, и ласковый. Атаман сидел в шалаше, он усадил Севку рядом и спросил, не видел ли Серый свою мать.

— Не видел. Через болота ехал, — Серому не нравился разговор.

— Лицом ты плох.

— Я не девица.

— А все же отдохни. Не помылся. Не поспал, — очень был ласковый у атамана голос.

Серый помылся. Поспал. Лег он тут же у шалаша, взял чей-то полушубок и завернулся.

В ночь атаман отправил Серого и совсем молодень-

кого Ваню Зубкова к пастухам — чтобы прихватили овцу-две. Серый не почуял подвоха: подумал, что атаман приучает к послушанию и дает урок. А когда вернулись, ни ребят, ни атамана не было. С добром, с лошадьми шайка снялась с места тогда же, в ночь. Зола в костре была совсем холодная. Серый и Ваня Зубков перекурили, оглядывая пустое, брошенное место. «Запросто так не бросают, — хмыкнул Ваня Зубков. — Чего-то ты ему сделал».

— Ничего не сделал.

— Наступил ты ему когда-то на ногу, Серый.

Серый скривил рот:

— Может, ты наступил — вспомни.

Под сосной они увидели еше человека, которого бросили.

— Эй, красота писаная! — крикнул Ваня Зубков.

Нюрка проснулась — ее не бросили, пьяненькую, ее попросту забыли. Голова у нее разламывалась. Нюрка долго и скучно смотрела, как смотрит сова, и не понимала, что произошло: «Чаю бы попить, а?» Днем все трое спали — и Ване Зубкову приснился вещий сон: приснилось, что конь под ним заиграл ни с того ни с сего, Ваня спрыгнул наземь и превратился в ужа и долго полз, пока не заполз в темный и чистый колодец. «Коня убьют, — растолковала Нюрка, — а потом тебя тоже убьют».

— Колодец-то был чистый...

— Это все равно. Это ничего не меняет, колодец был темный.

Они помолчали. Ваня Зубков спросил:

— Почему же про Серого во сне ничего нет?

Нюрка пожала плечами:

— Нет, стало быть, нет.

Был им еще знак. К ночи на Севку Серого напали гулики — они нападают на человека, если ему грозит смерть, притом мучительная. Они нападают, как нападает озноб, маленькие, мохнатенькие и ласковые: их нельзя ни схватить, ни пощупать. Серый сидел возле ямы с водой и смотрел на плавающие листья. Нюрка сразу догадалась и подсела к нему: «Что, Серенький, плохо?» — а он дрожал и бил зубами. Она спросила, не лихорадка ли, хотя знала, что это гулики. Севка выговорил еле-еле: «Когда маленький был... маленький, в церковь ходил». — «Молился?» — «Каждый день», — и тут он откинулся на землю, на траву и стал мотать головой из стороны в сторону, как мотают во сне боль-

ные люди. Нюрка позвала Ваню Зубкова, и оба смотрели, что с ним делается.

Казаки уже было проехали мимо, но один из них приостановил коня: «Тимка. Бабой пахнет. Ей-богу». — «Дурной. Тебе везде бабой пахнет». — «Ей-богу, чую... Молодая!» — голоса их были хорошо слышны. И тут казак наехал на яму с водой: там сохла стираная косынка Нюрки, алая. Казак зыркнул глазом, разглядел, молча прицелился и первой же пулей уложил коня Вани Зубкова. Лошадь Серого рванулась, но в нее тоже попали. Серый побежал, пригнувшись и припадая под выстрелами, — на его счастье, на пути оказался низкорослый ельник. Серый кинулся туда; на четвереньках он вынырнул на той стороне ельника и побежал под гору. Там были дубы, и ничего уже не оставалось, кроме как залезть в дупло. Ружье он бросил еще в ельнике. В дупле пахло прелью, под ногами что-то пискнуло, белка или крыса. «Убег?» — голоса послышались совсем близко: «Не убег... Вот и дупло!» — казаки были рядом. По телу Серого — от ног к спине — прокатился нервный когтистый комочек: животное загодя почуяло опасность.

— Глянь. Белка, — засмеялся один из казаков, он как раз навел ружье на ствол дуба.

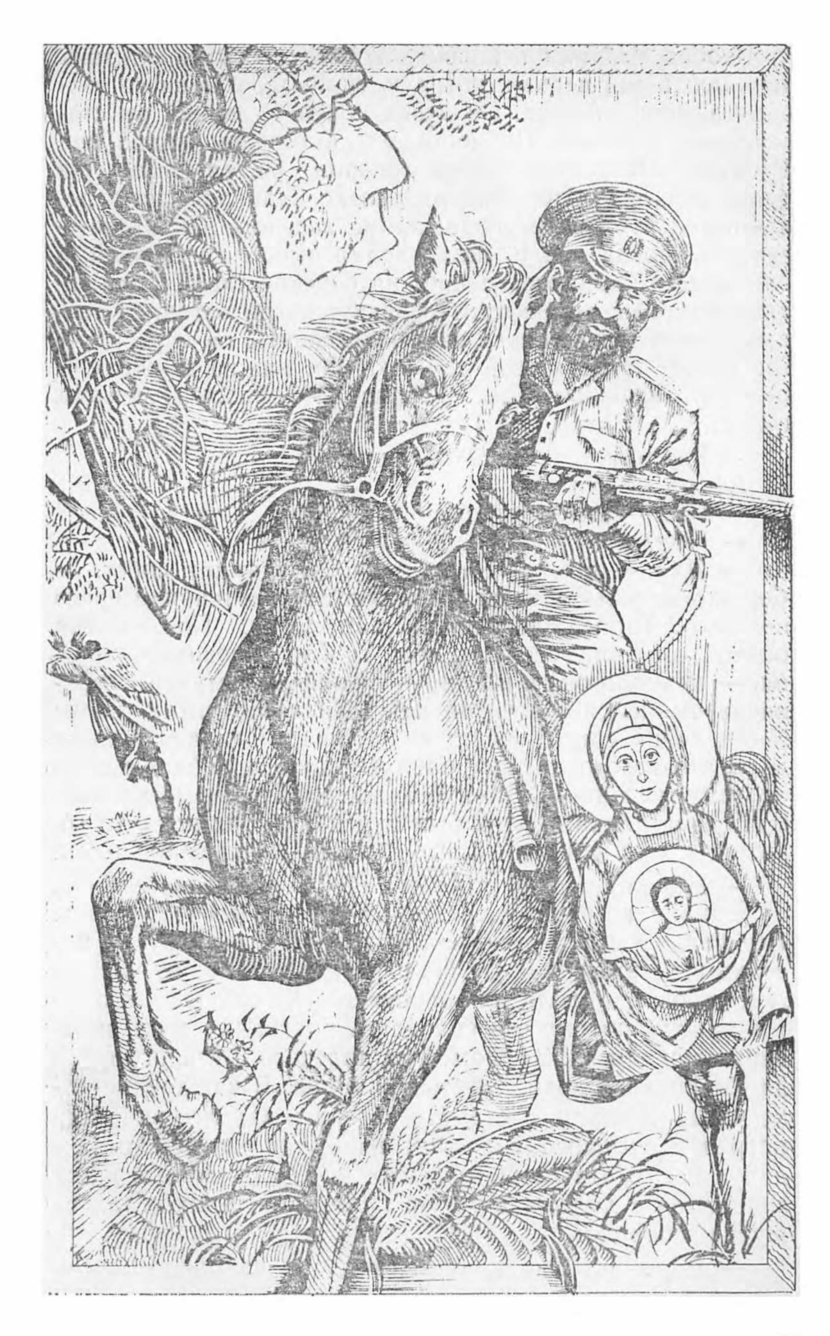
С коней они слезать не стали. Бахнул выстрел, свинец задел плечо, Серый негромко охнул. Дуб загудел там и здесь: свинец распарывал кору и влетал в дупло. «Мамынька, — повторял шепотом Севка Серый и при новом выстреле опять: — Мамынька... Мамынька... Мамынька». Он не смел пошевельнуться, дышал трухой и прелью и ждал пулю в грудь.

— Хватит заряды тратить,—крикнул казак постарше.

— Глянуть, что ли?

Третий сказал:

— Незачем и с седла слезать. Если он там, завтра учуем; на весь лес смердить будет. Они лениво повернули коней и поскакали. Один из казаков сунул в сумку двух белок; пока остальные палили по дубу, он времени не терял. Серый ждал. Стихло. Кое-как он ухватился за край дупла, подтянулся, потом рухнул на траву и истошно заорал от боли. Плечо, щека, ноги были в крови, он орал, ему было все равно, слышат его или не слышат.



В обед ударили в колокол во всех четырех близких церквах; в той церкви, которую грабили, убиенного звонаря заменил Афоня. Он очень похудел, звонил он старательно, яростно. По дорогам самолично ходил поп Василий, отступнику Севке, говорил он, ни крова, ни воды, ни хлеба. Поп Василий низко кланялся на перекрестках: «Помните, люди, кроме вас, ему некуда деться», — иногда поп Василий ходил вместе с Афоней, и они вместе кланялись людям на перекрестке. Тарас Михайлович велел привести Афоньку; когда остались наедине, он велел Афоньке не юродствовать, он спросил — где может таиться твой дружок. «Он мне не дружок»,— ответил Афонька. Тогда Тарас Михайлович повысил голос:

— Где может таиться твой дружок?

Афоня ответил:

— Раз — это у матери.

— Еще?

— Два — это, может статься, к атаману побег. — Однако ни у матери, ни в той полудохлой шайке Серого не было: Тарас Михайлович задумался. Под окнами опять гомонили старухи, они трясли клюками. «Афоня, — кричали они и звали, — Афоня-милостивец!» Афоня переминался с ноги на ногу. Он хотел уйти. Тарас Михайлович еще спросил: не объявить ли для пользы дела, что золото, которое найдут у Серого, пойдет в шапку тому, кто поймал или больше других помогал поймать отступника. Афоня был против; Афоня покачал головой, глаза у Афони стали лошадиными, печальными:

— Народ не за золото ловит его, Тарас Михайлович...

Однако всераскаявшегося из Афони не получалось. Все больше и больше бегал он от двора к двору, от поселка к поселку: «Люди! Не упустите его, прошу вас!»— Афоня был в мыле, он осунулся. Но слушали его не так охотно, потому что появились праведные люди и теперь слушали их. За Фомой из далекого и старого города Гориславля ходила большая толпа. В каждом поселке Фому кормили, и старухи загодя и задолго забегали вперед и отыскивали почише двор, где его накормят и дадут ногам отдых. Фома носил на груди медный крест величиной с ладонь. Если он проклинал, всем делалось жутко и сладко:

— Воры вы. Скоты вы. Потому и не можете отыскать богохульника.

И еще выкрикивал он:

— Как можно отыскать каплю среди капель?.. Как можно отыскать грешника среди грешных? — Мужики замирали. Иногда Фому слушали на коленях; старухи просили его: «Праведный. Слепцы мы. Укажи нам ты, где богохульник Севка». — «А я вам говорю, что он под крышей», — ответил Фома, и ранним утром толпа разворотила все сеновалы, все чердаки, обшарила дом за домом, и всем сделалось легче, когда стало ясно, что Серый скрывается, стало быть, не в их поселке.

С воспалившимися ранами, в полубредовом состоянии Севка Серый шел по лесу, шел и падал. Он ковырял пулю в плече со стоном и тихим воем. Потом он ел траву — он рвал ее пучками и ел, потом перебирался на другое место и опять ел, как это делают больные собаки. Он брел всю ночь и — при луне — наткнулся на полуобвалившуюся землянку, ту самую землянку, где их настигли казаки. Оказывается, он кружил по лесу. «Эй, кто там?» — окликнул его бабий заспанный голос, и он увидел Нюрку. С трудом поворачивая язык, он спросил:

— Чего ты здесь?

— Ничего... Бросили они меня. А Ваню убили.

— Здесь же убили?

— Ага. Зарыла его.

У Серого кружилась голова — он сел, он не хотел больше двигаться.

— А казаки?

Она рассказала — казаки, конечно, схватили ее. Бить не били. Казаки баб не бьют.

— Накормили на год вперед? — спросил он вяло.

— Еще бы. Кто им мешал. — Нюрка погладила свои плечи, скользнула руками по груди; огладилась, словно отряхнулась. Они поели остатками казачьей еды, погрызли зайца. — Светать скоро будет.

— Ага.

Он лег подремать, а она все горбилась над котелком, чистила. Серый влез в землянку и зарылся в солому на час-два, как-никак, а под крышей. На Нюрку напали благочестивые мысли: она всплакнула, она думала, что с утра обязательно попросит Серого больше не воровать, попросит полюбить бога и жениться на ней, на Нюрке, а иначе как ей вернуться в поселок. «Что?» — Серый не понимал, а Нюрка уже жарко шеп-

тала ему на ухо, прилезла к нему в солому, уговаривала. Тело Серого болело, горело, особенно ноги. А Нюрка ластилась и уговаривала: «Поженимся... Женой буду... верной», — он начал стонать: оставь же ты меня в покое. Он думал, что надо бы встать и, пока свежо, уйти подальше в горы, но тут Нюрка неосторожно придавила ему плечо, и он потерял сознание. Увидев, что он недвижим, Нюрка заревела и стала его проклинать:

— Сволочуга ты серая. Будь ты проклят, и ты, и род твой, и твое потомство...

Она билась головой о низкие бревна землянки:

— ...И чтоб не спалось тебе отныне нигде! И чтоб покоя ты ночами не находил! И чтоб смерть стерегла тебя страшная! — потом она вытерла слезы и осторожно вытащила Серого из землянки. Она подняла его, он не понимал в короткие просветы сознания, что с ним происходит, — она вела его к дороге, бережно и крепко прихватив руками, она чуть ли не на себе тащила его. Ей вновь думалось, что главное добраться до дороги и что в первом же поселке с церковью батюшка пожурит ее, заставит покаяться, простит воровство Серому и обвенчает их. Потом они сядут на телегу и приедут в дом, где мать и где сестренка; и тетка Луша, поздравляя, принесет давно обещанные красные и белые ленты.

...Первое, что, очнувшись, увидел Севка Серый, это колесо; из втулки жирно выступал деготь, колесо было запыленное. Он понял, что они оба стоят у дороги — Нюрка и Серый — и Нюрка его поддерживает. Сам стоять он не мог. Он пошатывался. «Эй! — кричала Нюрка. Она остановила проезжающую телегу и уговаривала: — Эй, подвези-ка нас... Нам недалеко. А это — мой мужик».

— Чего он у тебя на ровном месте колышется?

— Да побили.

— Вижу... Кто же это?

— Нашлись люди добрые. Мне бы с ним до церкви доехать — обвенчаться нам надо.

— Невтерпеж? — Возница, молодой, и смешливый, и белолицый, и хваткий, подошел ближе. Но Серый мутным взглядом только и видел колесо да его сапоги, деготь на колесе и на сапогах деготь; головы поднять он не мог.

— На погост его, а не в церкву... Нет, что ли, вокруг людей поздоровее? Хотя бы и я!

Парень шлепнул Нюрку по заду, она взвизгнула. Осторожно клоня, они вдвоем положили Серого на телегу — тронулись. Сначала Нюрка сидела рядом с Серым. Он процедил сквозь зубы: «Тряско мне...» — «Потерпи», — потом Нюрка пересела ближе к вознице. Одной рукой он правил лошадьми, другую смело пустил по бедрам Нюрки. Она била его ладонью. Оба смеялись.

Дорога пошла сильно вниз — к ручью. Парень сдерживал лошадей как мог потом пустил. Когда телега с лету загрохотала по гальке, тело Серого сместилось, голова перевесила, и он вывалился, больно вскрикнув и не понимая, что случилось. «Э-гей!» — кричал молодой возница, и лошади, не теряя разбега, тем же лётом взбирались теперь в гору. Оба не заметили. Нюрка оглянулась уже на самой горе — Серый мертво лежал в ручье. Она что-то сказала вознице.

— А пусть попьет, — громко и лихо ответил тот. И хлестнул лошадей. Пара пошла резвее, прибавила, запылила. Слышно было, как Нюрка смеялась: «Ух ты какой!» — говорила она вознице. «А вот такой!» — отвечал он и одной рукой правил, а другой, отложив кнут, опять взялся за Нюрку, молодой был и смешливый, и белолицый, и хваткий.

«Серый, Серый!» — кричали пацаны, и, поднявшийся, Севка шатался из стороны в сторону. Он подошел к пацанам ближе и, мыкая словами, попросил хлеба. Кто-то из пацанов узнал его, или же пацан попросту испугался и уже от испуга решил, что перед ним тот самый, кого ловят. «Серый, Серый!» — пацаны кричали, и тогда он побежал. Они бросали в него камни. Он бежал, тяжело шатаясь, как набухшая колода. Пацаны не отставали. Он замахнулся, но еще больше раздразнил их. Тогда он свернул с тропы и влез в кусты шиповника, — а они побежали к взрослым: «Серый!.. Нашелся Серый!»

Он слышал, как ударил колокол в церкви. Тело горело огнем. Тошнило, и жевать траву он не мог... Сквозь шиповник он видел, как шли мужики с вилами. Колокол бил не переставая. Серый поднялся и медленно вышел им навстречу — на дорогу. Мужиков было трое. «Хлебца мне», — попросил он.

— Иди, иди!.. Иди, не мешай нам! — сказали они.

Он стоял и пошатывался.

— Бродяг в этом году развелось, — сказал мужик и сплюнул в дорожную пыль.

Второй вновь прикрикнул на Серого:

— Иди, говорят тебе — хлеба нет, хлеба мы сами на раз взяли. А нам, может, до ночи тут караулить.

Двое мужиков были с вилами, третий с топором — тот, что с топором, имел при себе крепкую и большую веревку. Серый, шатаясь, поплелся в лес, потому что они его согнали с дороги; они были совершенно трезвы, они попросту не знали его в лицо. Они предполагали, что богохульник, которого ловят, человек особенный. А тот, что держал веревку, был втайне уверен, что у богохульника есть рога и хвост, хотя бы небольшой.

К вечеру, ковыляющий и тяжело дышащий, Серый через овраг выбрался к реке и упал там в кустах. Он увидел в реке — на лунной дорожке — русалку, он вгляделся и узнал ее. Она была далеко. Она плавала; он видел, как она заиграла казака из тех, что сторожили на лодке. Казак был пьян и хотел речной свежести. Он плавал под луной возле лодки, фыркал, смеялся и кричал на всю реку: «Ого-го-го-го!» — она заиграла его на самой середине Урала, поманила, потом высунулась из воды по грудь, отжала волосы, — казак кинулся за ней, глубоко нырнул и был готов. Вода серебрилась; была луна.

Нежась, она плыла вдоль берега и увидела Серого — она подплыла поближе, теперь она стояла на отмели. Севка лежал у куста, в десяти шагах от нее. «Здравствуй, — сказала она и улыбнулась. — Здравствуй... Это я ворожила. Это я, милый, эти дни оберегала тебя». — Она засмеялась своим холодным смехом:

— Это я ворожила, чтобы ты им не попался.

— Спасибо тебе.

— Идем, — поманила она. — Поиграем...

— Не. Больной я. Не подняться мне.

— Спустись хотя бы ближе к воде. Я тебя немножко потрогаю. Поцелую. — До воды было шагов пять, не больше. Но ползти он не смог — он тяжело дышал и, как рыба, хватал ртом воздух. Песок был мокрый, и Севка смог продвинуться только на шаг... Плечи ее замерзли. Она окунулась в воду. Она долго ждала его на мелководье, потом уплыла.

Боль поутихла, однако вылезти утром из оврага самостоятельно Серый не мог, вновь упал — вверху над

оврагом он увидел вдруг человека и узнал его. Старик Федосеич, известный мастер по камню, стоял там и неторопливо мочился сверху вниз. «Серый, — крикнул Федосеич, не прерывая дела. — Ты, что ль?.. Левее бери. Там тропа», — он вскарабкался вверх, а Федосеич ему говорил:

— Ты уж, малый, не прячься более — поймали богохульника. Вчера еще мужики схватили его. Хитер был бес, да не спрятался.

— Поймали? — тупо переспросил Серый. Он был слишком слаб, чтобы расспрашивать или удивляться.

— А, конечно!.. Поехали — сейчас и посмотришь.

Федосеич вез битый малахит. Камень громоздился большими зеленоватыми глыбами.

— Садись, — Федосеич отгреб камень, давая на телеге место, и крикнул лошади: — Нно-о! Трогай, клятая.

Телега мягко катилась в пыли. Серый сидел, лишившись последних сил; он вяло глядел по сторонам — там медленно проплывали кустарники и деревья. И совсем вдали медленно ползли горы. Севке казалось, что сто лет он не ездил на телеге, сто лет не слезал он с седла. И земля, и кусты, и деревья были совсем другими, если глядеть с телеги. «Поймали, — рассказывал монотонно Федосеич. — Поймали... Правду, брат, не утаишь. Грянул суд божий».

С телеги слева открывался пустырь — с полынью и с кучами отработанного камня. Толпа была немалая. «Ой, лишенько наше! Ой, горе!» — повизгивали бабы в белых платках, возбужденно прижав руки к груди. Рядами стояли женщины. Рядами стояли мужики. Чтобы увидеть и протиснуться, надо было поработать локтями и протолкаться к одинокому дереву — там, на дереве, кончали Афоню. Сыромятными жилками бедняга был прикручен к стволу старой березы; руки тоже были прикручены. Кнутами били двое — один справа, другой левша. Оба заплечника стояли не рядом, чтобы не тесниться, чтобы метить и чтобы кнут не мешал кнуту. «Не топтал я божьей матушки! Слепые! Глупые!» — кричал казнимый. Один глаз у него был выбит. Щека с этой же стороны превратилась в рвань; ребра и грудь кровавились полосами. Заплечники не били по животу и не били по паху, чтобы Афоня не кончился быстро. Кто-то из толпы крикнул:

— Топтал! Топтал!.. Кто же, как не ты!

И высокий, мстительный молодой голос какого-то парнишки добавил:

— Узнали. Мы, брат, все узнали.

Афоня исходил криком: «Люди!.. Воровал, грабил, но не топтал я заступницу, люди!» — бабы заголосили. Заплечник, что справа, нечаянно взял кнутом ниже и тут же распорол живот. И тогда тот, что слева, профессионально глянул на правого — пора, что ли? — и тоже ударил ниже. И в перестук они в три минуты доделали дело. Голова Афони свесилась вниз; светлые и наполовину белые волосы закрыли лицо. Подскочил Дуда на вороном коне.

— Это что за самосуд? — заорал он. — Запорю мерзавцев! — Люди стали тесниться. Заплечники тут же нырнули в толпу и исчезли. Возле Афони валялся брошенный кнут. Кто-то крикнул: «А все же поймали!» Дуда наехал на него конем:

— Что-о?.. Расходись!

Толпа уже разбегалась. Дуда криком кричал:

— Расходись! Р-расходись, болотные!

К Севке Серому стали приходить все те, кто еще вчера его ловил... *Одним же из первых пришел к Серому родич его Петр. И громадный же был человек родич Петр, и руки сильные, и лучший мукомол в округе. И еще как Серого вылавливали, сторожил же его родич этот Петр на определенном месте Урала, и большая ж была в те времена река Урал, и мальчиками играли там в детстве — и была там потаенная пещера, и думал Петр, что израненный Севка Серый туда непременно придет, и куда ж ему деться. И появись Серый там раненый и стони громко и больно, — и все равно скрутил бы его немедля родич Петр. И помощи никакой звать не стал бы, один бы скрутил, и громадный же был человек, и сильные руки, и в округе же лучший мукомол.* Теперь этот родич и лучший мукомол пришел каяться:

— Прости, Северьян, — сказал родич Петр с порога. Он комкал в руках шапку и не знал, дадут ли ему хоть чаю. — Плохо я о тебе думал тогда. Прости.

— Проходи, Петр.

— Прости сначала...

Мать дала чаю и по стопке им дала, и Серый охотно отвечал родичу, что все случившееся не беда и что

бог простит. Серый был спокоен и как-то даже необычно спокоен. Он целыми днями ничего не делал. Он целыми днями распивал чаи. Он каждый вечер мылся в бане и попивал водочку. И опять к нему приходили. Опять стояли на пороге знакомые или родные. «Прости, — говорили они. — Плохо о тебе думал. Винюсь», — они приносили подарки, приносили выпить. Недели через две все так же тихо и спокойно Серый стал собираться в горы. Он отыскал себе хорошие рукавицы, потом нож; готовил помаленьку одежду.

— Да куда ж ты, поганец? — выговаривала мать.

Он отмалчивался. Он пил чай. Он мылся в баньке. А однажды ответил ей со смехом:

— Надо, мамынька, вот и ухожу.

— Афонькиным путем пойдешь!

— А что ж такого, мамынька, Афоня у меня друг был один-единственный. Смерть за меня принял. Может, ждет он.

— Тьфу! Где он тебя ждет?

— Там, мамынька.

Мать связала ему теплую рубашку из чистой шерсти и носки; в горах холодно.

— Спасибо... Это сгодится.

— Какой он тебе друг!.. Собака. Ты и знать не знаешь, что он на тебя наговаривал.

— А он не наговаривал. Он правду сказал.

— Тс-с, сынок. Тс-с-с...

Тарас Михайлович тоже приехал на час в гости, сидел, стопку выпил, привел коня в подарок. «Спасибо за коня, спасибо вам, Тарас Михайлович...» — и было непонятно и даже как-то неожиданно, когда на другой же день Серый отбыл в горы. Мать провожала его далеко, до крутого подъема — шла рядом, держалась рукой за стремя. Людям отъезд Севки Серого не понравился. Еще больше им не понравилось, когда через несколько дней он ограбил мещанина на дороге, отнял коня себе в запас и ружье. И скоро люди стали поговаривать, что это неспроста и что Серый, видно, тоже топтал в тот раз икону, «хотя бы немного, а все же топтал»... С этих слов начинаются, как правило, все рассказы о Северьяне Сером, знаменитом уральском разбойнике; топтание иконы засчитывалось ему как первый по порядку грех, а вся история, рассказанная выше, так обычно и называлась — *первый грех Серого*.

11

Есть такая картинка в книге греческой мифологии — борьба богов и титанов: они там бросаются огромными скалами, душат друг друга и всячески сводят сами себя на нет. Есть свой гигантизм и у голосов. Почему бы голосу и не поселиться в твоем нутре, как поселяются там паразиты, почему бы и не высасывать, не вычерпывать тебя до немоты, если ты сам вроде бы этого хочешь. Исход же неясен. Голоса подчас проникают в человека до той глубины, когда вопрос, кто сильнее — человек или голос? — становится вопросом первостепенным или даже больше, чем первостепенным; вопрос силы здесь почти всегда вопрос равновесия. Одержимый идеей или фанатик, или даже маньяк, или просто пенсионер, круглый год смирно и тихо играющий в домино, однако каждую весну добровольно отправляющийся в клинику, так как вновь, едва зазеленеет трава, он считает себя маршалом Коневым, — все это можно увидеть (при желании) огромным полем борьбы, развернувшейся меж людьми и голосами. Иногда психика сламывается, иногда она сплавляется с голосом воедино; исход неясен. Иногда появляются провидцы, подверженные болезням, иногда больные, подверженные прозрениям; возникают пророки и, деловое их дополнение, герои («Вы уверены, что слышали голоса, Жанна?» — «Да, монсеньор». — «Их было несколько?» — «Это был один голос, монсеньор»), — и можно легко представить, что пропусков и пробелов тут нет и что по всей ширине фронта, где сражаются (сопрягаются) люди с голосами, на каждом погонном сантиметре топорщатся судьбы, судьбы, судьбы, и, если они не отмечены летописцем, это еще не значит, что их не было, напротив, — это-то и значит, что они были. За вычетом гигантизма остается еще коечто. И, может быть, главное сосредоточено как раз вне страницы с той картинкой, где боги душат титанов, а те хватаются за каменные глыбы.

Впрочем, люди любят *присочинять,* и истины ходят парами, как ходят голуби, забывшие про зерно и про хлебные крошки. Я вовсе не хочу противопоставлять литературу живым людям, не хочу ни делать выбор, ни предпочитать, — не хочу их даже отделять сколь угодно тонкой чертой.

Когда издали — из окна, например, вагона — смотришь на горы, на лес, на опушку леса, это уже сродни искусству: охаешь и ахаешь, как, мол, чудесно. Но вот ты влез на эту именно гору, и красоты поубавилось; гора как гора. Приятно, что костер развели, и картошка молодая, и сели в кружок, но не ахаешь: реальность вроде как в чем-то малом тебя разочаровала и даже надула, не полностью, а все же.

Зато теперь ты можешь смотреть с этой горы — на другие, соседние горы, и вот они вроде как действительно прекрасны. И дело не только в том, что хорошо там, где нас нет. И не только в том, что в твоем взгляде на соседние горы есть, пусть в малой мере, искусство, а в твоем присутствии на горе его нет. Тут есть нечто третье, чему нет названия, даже если это название давно придумано, и хорошо придумано. Чувство и обратимость его, вероятно, едины. И потому еще занятнее, если с этой горы, на которую влез, можно смотреть вниз, в долину, и увидеть там нитку железной дороги и последний вагон тянущегося поезда, — увидеть и думать, что гора это гора, а вот хорошо бы сейчас пересекать пространство, колеса постукивают, ты с книжечкой лежишь на верхней, и, может быть, в соседнем купе поют женщины, проводница опрятна и несет чай.

А рассказ начинался так — две девчонки, молодые женщины, шли, как они говорили, на хату к парням; вечер намечался в узком и как бы классическом плане: два на два в отдельной квартире. В повестях тех лет такая сцена бывала вроде как обязательной; такая сцена манила. Такую сцену ждали заранее и провидели ее издали и загодя, как провидят приближение поезда, который появился и мелькнул внизу, в долине, и вот-вот возникнет вновь из-за горы. Была и причина ожидания: в те времена свободные отдельные квартиры появлялись на страницах повестей, как и в быту, впервые, и, скажем, Бахтин назвал бы это изменением хронотопа прозы. Пустовавшая по той или иной причине чья-то квартира стала доступным и вполне возможным местом действия; это не пришло вдруг, и тут была своя постепенность. Квартира появлялась и оправданно и случайно: родители, к примеру, уехали в отпуск. Потом свободнее и шире: к примеру, квартира приятеля или старшего брата, который, швырнув звонкую связку ключей, уехал

на год-два тянуть газопровод в Индии. Потом пояснений уже не требовалось: просто квартира без хозяина, зато с холодильником и с магнитофоном, а каким образом она опустела и стала местом действия, оправдывать уже не приходилось — мало ли как. Читатель уже верил. Дело стало обычным.

В общем, они ехали «на хату»; звали их Женька и Валька, а ехали они к Сережке и Кольке. Более миловидная Женька ехала к ним впервые и потому интересовалась:

— ...Значит, Сережка кто — студент? А Колька постарше?

Валька отвечала, что нет — все, мол, мы примерно одногодки.

— А то я раз была в стариковской компании, — ничего были, вежливые, лет под пятьдесят. Но на морду, конечно, крокодилы... Я так испугалась, что не стала вторую рюмку пить, — и тут Женька захихикала, — а то, бывает, какой-то допинг в вино незаметно вливают.

— Допинг? Что это?

— Не знаю. Что-то такое.

— А-а...

В троллейбусе, в тесноте и давке, к ним пристал пьяный. Гордая Женька выставила локти вперед и молчала, смотрела уничтожающе, а Валька, понимавшая мир проще, замахнулась на него сумочкой и крикнула: «Ну ты!.. Подрасти сначала. Метр с кепкой!» — из троллейбуса они выскочили повеселевшие и смутно приготовившиеся к началу начал.

Они пришли. Они познакомились. Девушек ждали. Музыка ревела вовсю.

Они сели за стол, и Валька сказала:

— Да сделай же потише. Ни слова не слышно!

Далее рассказ двигался по канонам жанра: деться тут было некуда, фабульный костерок поддерживался тем, что девчонкам Сережка показался и нравился куда больше, чем Колька. Или наоборот, разность имен неважна, да я и не помню. Словом, обе нацелились на одного и даже слегка поссорились. А время шло к ночи: они танцевали то так, то этак попарно, томясь и нервничая и никак не желая в итоге оказаться с малосимпатичным внешне Колькой.

Однако смирились. Страсти выбора поулеглись; в

рамках квартиры и всего лишь двух парней девицам некуда было деться, как и мне в рамках рассказа: они поладили. Валька, как более знакомая и более здесь своя, выбрала Сережку; Женька ограничилась Колькой. Женька решила, что лето длинное и как-нибудь на химкинском пляже она еще отвоюет себе смазливого мальчика — переиграет; а пока пусть идет как идет. Она тут же эту свою мысль забыла: дело шло к ночи, музыка и вино расслабляли, и мысль была из разряда самоутешающих: самообман на время. Диалогов и всей психологической игры уже не помню и потому сразу перескочу к той минуте, когда парочки разбрелись по разным комнатам и погасили свет. Впрочем, небольшая сценка колорита ради: Женька, считавшая, что заслуживает лучшей участи, чем ушастый Колька, дулась, а парни как раз плохо отозвались о ее любимом актере Баталове.

— ...Что вы смыслите в мужчинах? — заорала она вдруг на них. — Он интеллигент. А вы хамы!

— Тише, тише!

— Вы тупицы и хамы. Слюнтяи... Чего посмеиваетесь — чего? — она вышибла из рук предназначавшегося ей ушастого Кольки сигарету: — Хамы... А ты, Валька, не подруга, а сводня!

Она вырвалась из объятий Кольки — легко вскочила на подоконник, сначала на стул, потом на подоконник. Они и глазом не успели моргнуть. Она прыгнула в темноту распахнутого окна, локтем она задела створку, стекло с грохотом посыпалось, частью сюда, а крупными осколками за окно. Все кинулись следом — к окну. В кустах, в темноте она что-то выкрикивала гневное. «Перепила», — сказал Сережка.

— Совсем спятила. Хорошо, что первый этаж, — заметил ушастый Колька.

— Дура, дура! — кричала Валька. А Сережка-студент отер со лба пот: он вспомнил, что квартира чужая и что на шум могут запросто примчаться соседи, никого из ночных пришельцев не знающие. Тем не менее Сережка вместе со всеми продолжал хохотать — сели за стол, смеялись и опорожняли рюмки; рюмки, конечно, тоже были чужие, об этом тоже Сережка на миг вспомнил. Вскоре Женька явилась. Она была слегка оцарапана и слегка все еще дулась; ей дали штрафную рюмку. Теперь «вечерушка на хате» потекла ровнее, как выравнивается всякий процесс после некоторого необяза-

тельного всплеска; в конце самоопределившиеся парочки оказались в разных комнатах. И свет был погашен. Только на кухне горел свет.

Валька и Сережка вдвоем.

— Но-но, хватит! — отталкивала его Валька. Они устроились на тахте. Сережка (если я правильно помню) упрекал Вальку, что она, стало быть, его не любит или же недостаточно любит. Он выдавал потоком этакое юношески-напористое, чистое, наивное блеяние, он не закрывал рта. Валька высвободилась. Валька оттолкнула его решительнее; ощущение ночи и темноты придало отталкиванию подчеркнутый смысл не отсрочки, а отказа; Сережка набрался смелости и спросил: «Ты что — девушка?» Валька заплакала. Она всхлипывала и теперь рассказывала, какая у нее в жизни была любовь. Большая любовь. Необыкновенная. Она и тот человек любили друг друга; они жили, как живут муж и жена, потому что подали уже заявление. И за неделю до свадьбы он погиб. Он был летчик-испытатель.

— Не плачь, — со вздохом произнес Сережка и погладил ее; рука его теперь была мягкая, он ее успокаивал. Они опять лежали рядом, опять прижавшись, и Сережка опять склонял ее к мысли полюбить его, возник новый оттенок: он советовал постараться забыть того, первого — что поделаешь, погиб, значит, погиб.

Женька и Колька были в другой комнате; тоже в темноте; тоже на каком-то ложе. Там, разумеется, происходило нечто похожее — но было и свое: ночь неожиданно пробудила в Женьке нежность. «Зацелую тебя», — говорила, шептала она и предпочитала сама целовать ушастого Кольку. Колька был полон агрессивных намерений, но Женька своими поцелуями его сковывала и держала слишком лирическую и на его, Колькин, взгляд слишком затянувшуюся ноту. Сердце Женьки (она много дней скучала) исходило нежностью, она никак не могла нацеловаться досыта. «Да дай же я поцелую тебя!» — чуть не вскрикнул Колька и потянулся к ней, тут произошла короткая бессловесная стычка — и вот Женька уже строгим и холодноватым голосом отчитывала его и объясняла, что она не хочет так быстро, что девушку надо уважать и не надо торопить и что они оба будут после стыдиться, если сейчас поспешат. Колька тер зацелованный лоб и никак не мог уразуметь, чего он будет после стыдиться. Он попросту не поверил Женьке. Он подумал и спросил: «Ты девушка, да?» Женька не-

много помолчала, коснулась его щеки пальцами и тихо заговорила:

— У меня была большая любовь, Коля. Мы должны были пожениться. Но он вдруг погиб за неделю до свадьбы — он был летчик-испытатель, ты же слышал, что это за профессия.

Колька молчал. Она продолжала касаться его щеки пальцами.

— ...Теперь ты понимаешь, Коля, почему я не могу спешить. Я обожглась один раз в жизни. Я теперь всего боюсь.

— Понимаю. Я очень понимаю. — Колька опять приник к ней и опять стал уговаривать: в конце концов, погиб это погиб, это случайность, и нельзя же останавливаться на полпути. Оттуда возврата, насколько он, Николай, понимает, нет...

Ночь шла. Рассказ все более наполнялся ночными негромкими разговорами двух парочек. Собственно, эти разговоры и составляли суть рассказа: я метил в сторону незлобивого подтруниванья над юностью и любовной игрой, имея в виду определенный перекликающийся параллелизм их ночного шепота — обе пары нет-нет и вновь шептались о летчике-испытателе, который с некоего момента стал незримо здесь, в темных комнатах, присутствовать. Молодые женщины рассказывали, *как* каждая из них познакомилась с летчиком. И как он провожал, и как первое время она считала, что это очередное знакомство, не более того. И как он сразу же (или не сразу), придя в дом, понравился маме.

— Он пришел с цветами и с шампанским, — говорила Валька.

— Он пришел усталый-усталый. Только что из полета, — говорила Женька.

Перенося на отдельных ударных репликах читателя из одной темной комнаты в другую — и, не затягивая, вскоре же назад, — я добивался посильного эффекта, однако повествование вдруг двинулось в иную и неожиданную для меня сторону. Дело в том, что у каждой из двух молодых женщин рассказ о летчике обрастал глубоко личными подробностями: началось с простенькой лжи, но теперь уже была не ложь или не только ложь. Каждая из них вполне независимо от другой рисовала свой образ любви, свой отход и свое отшатывание от киношного стереотипа, короче: свою любовь, какую она *хотела бы*. У одной летчик был высокий, смешливый и,

пожалуй, драчун на улицах. Он не мог пить спиртное, как профессионал летчик, и очень мило врал: «Нет-нет. Не могу... Я вчера дико напился. Не уговаривайте меня, ребята, — ВВС свою норму знает». У другой летчик был интеллигентен, насмешлив, беспечен и пил, если хотелось. Он был испытатель, а не пассажирский летчик, в конце концов, если считать головы, он рисковал только собой.

Парни вышли на кухню перекурить: они оставили дам в темноте в полуразобранном состоянии, они вежливо позвали их выпить и подкрепиться, но те отказались. И вот парни стояли на кухне, щурясь от света. Покурили. Нет, сначала выпили, потом закурили, и Сережка негромко спросил — ну как?

— Никак, — ответил Колька.

— Но все-таки получается, как думаешь?

— Думаю — да. Дело нескорое... А у тебя?

— То же самое.

Помолчали. Сережка, словно извиняя подругу за нерешительность и некоторую несовременность, сказал — оно бы и просто, да вот память ей мешает, память о первом мужике: он кратенько выложил приятелю рассказ о летчике-испытателе. Колька присвистнул:

— Ну дает летчик! И когда это он успел обеих?

— И у твоей летчик?

— Сказать по совести, это у меня уже шестая девчонка, которая оставляет меня с носом, — и все из-за летчика-испытателя. По-моему, он пол-Москвы обработал, и ведь какой шустрик — со всеми подавал заявления в загс.

— Да врут они обе. Хоть бы меж собой заранее договаривались...

— Может, и не врут; может, это твоя врет — моя очень даже похоже рассказывает.

— Моя тоже. Как книжку читает! — Убыли не случилось: покурив, парни вновь разошлись по комнатам, и вновь рассказы, в глазах у рассказчиц были слезы и в словах их огня не убавилось. Речь не о шуточном — речь шла о жизни, какую молодые женщины для себя хотели и какую они, наметчав, вдруг кинулись рисовать; они творили; повесть о первой любви, быть может, технически и несложна, однако это жанр, требующий большой отдачи. Женька вдруг разрыдалась, поясняя, как летчик-испытатель первый раз взял ее на руки и понес сначала к окну, за которым падал пух снега. Она

рыдала, она взяла у Кольки сигарету и жгла себе ладонь. Колька онемел. Он не знал, что говорить и что делать, — он только машинально стискивал ей плечо и просил: успокойся, да ладно тебе об этом, погиб и погиб... В другой темной комнате Валька тоже всхлипывала. Она повторяла:

— Он был такой... такой... — Она хотела сказать «такой прекрасный», но книжное слово не шло, не втискивалось в прозу обычной и честной пьянки два на два в чужой отдельной квартире с чужими даже рюмками.

Рассказ этим был, в сущности, вычерпан, виднелось дно, и забота была теперь лишь о том, чем кончить и завершить; именно в силу полной высказанности и вычерпанности конец мог быть более-менее произвольным. Проще всего было дать финал, не выходящий из скромной объемности «вечерушки» как жанра, — ребята взяли свое, разошлись; утром усталые, подурневшие Валька и Женька торопливо пудрятся, подкрашиваются и бегут на службу в контору, где трудятся бок о бок; в самом же конце рабочего дня Валька говорит:

— Позвонил только что Андрей Шумилкин — помнишь его? — в гости зовет. — Они не знали, пойдут ли, но уже начали подкрашиваться к вечеру: наводили теперь уже вечернюю красоту. И даже слышался голос критика К.: «Среди этих, казалось бы, несчастливых, не самой высокой морали молодых женщин, автор сумел найти живинку, сумел отделить золотые крупицы их сердца — и это заставляет нас, читателей, поверить в Вальку и Женьку, в дальнейшую их судьбу». Однако если уж о торных путях, то можно было дать финал пообрызистее и посовременнее. Является, к примеру, среди ночи хозяин квартиры, и вся четверка вынуждена спешно уйти, недовыяснив отношений. Они уходят, идут по пустой улице, — и фонари на пустых ночных улицах стоят, как стоят они на краю земли. Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний выхлоп элегической ноты — рассказ готов.

Старуха, убившая во мне этот рассказ, жила в нашем доме, более того — в нашем подъезде. Удивительно горделивая была и надменная старуха, держалась она заносчиво — сын ее «как-никак работал у Туполева, как-никак имел черную «Волгу». Бывают же такие сыны и такие дождавшиеся сыновнего счастья старухи.

Брат старухи, насколько я помню, был фигурой поскромнее, но тоже птица и тоже по заграницам торчал. Престижным с пеленок было и младшее поколение: однажды старуха велела всем нам — соседям — смотреть в девять тридцать по четвертой программе телевизор: в известном московском детском ансамбле выступал ее внук, примета была простая: внучек танцевал в паре с самой высокой девочкой. Это было во вторник. Внучек действительно танцевал неплохо, а вместе с высокой девочкой они составили лучшую пару; впрочем, пара в украинских костюмах тоже была на высоте, а многим из нас понравилась даже больше.

В среду — на другой день после выступления ансамбля — старухе сделалось плохо. Разом и вдруг произошло расслабление ее горделивого мозга, и в первые часы всполошившиеся соседи не знали, что и подумать. Расслабление мозга болезнь из заметных, у людей горделивых она заметна вдвойне: после выступления внука старуха сама стала плясать. Она выходила на лестничную клетку, пела фальцетом: «А я красоточка. Т-танцую т-только вальс...» — и притопывала разношенными, но все еще красивыми шлепанцами. Потом всю ночь она кричала и стонала. К утру стало ясно, что плясунью совершенно необходимо поместить в больницу, желательно в хорошую, желательно поближе к березам и соснам,— тут-то и выяснилось, что старуха одинока как перст указующий. И всю жизнь была одинока. Ни брата, ни сына-туполевца, ни тем более внуков у нее никогда не было и нет. Через две недели в некоей больнице на окраине города, куда ее отвезла «скорая», старуха отправилась в лучший мир в полном одиночестве, как и жила. Совпадение уничтожило рассказ. Вдруг выпятившаяся для меня человечья черта присочинения теперь проломилась, как проламывается под ногами прорубь, — на миг я увидел под ногами глубину, если не бездну, и невозможно стало и совестно рассуждать о девицах, сочиняющих про первую любовь: старуха сочиняла лучше. До сих пор мне слышится ее голос, голос вполне земной:

— Да-а, — говорила старуха манерно и жестко, — сынок мой, конечно, человек занятой, но уж этим летом я к нему на дачу нагряну. Ничего-ничего. Пусть невестушка потерпит старую свекруху. — И добавляла: — Не такая уж я стерва.

Маленький — это было условно; и придумано это было позднее; Акакий Акакиевич отнюдь не трусил перед начальством и, уж конечно, не робел перед начальством холопски. Разумеется, он не умел разговаривать с «значительным лицом» на равных — но именно не умел, не имел опыта, не случалось и не приходилось ему, но никак не более того. Для выражения этого состояния и этой ситуации *несумения* Гоголь находит своеобразное и емкое слово, находит сразу и не колеблясь; он берет его легко и просто, как берут верную ноту.

Акакий Акакиевич, как известно, пришел жаловаться — так, мол, и так, украли шинель, только что пошитую и за немалые деньги. Однако «писаря в прихожей никак не хотели пустить и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность». Акакий Акакиевич рассердился. Вот именно; как ни странно для нас это звучит, Акакий Акакиевич рассердился и никак не меньше. Он решил, что раз в жизни «надо показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого... что они не смеют его не допустить... и что вот как он на них пожалуется, так тогда они увидят». Тут все знакомо и узнаваемо: голоса бедовых писарей можно услышать, а размахивающего руками Акакия Акакиевича можно даже увидеть; и далее — лестница как лестница — следующий шаг. Его допустили. Его приняли. И вот, допустив и приняв, Акакия Акакиевича на новой и более высокой ступеньке стали расспрашивать о потере шинели, «да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич *сконфузился* совершенно»... Тут это слово Гоголем и названо. Контекст дает продлить слово и в обратном времени: Акакий Акакиевич и раньше, едва пришел, был сконфужен, и у писарей был сконфужен, и вот теперь он сконфузился совершенно.

В чем суть конфуза? — а вот в чем. Гоголь не скрывает и не прячет: у Гоголя это на самом что ни на есть виду.

Произошел случай, особый, отдельный, твой или мой, однако *не общий,* — к примеру, у Акакия Акакиевича Башмачкина украли шинель, а что касается всей остальной жизни, то она идет своим путем. Шинель украли, а жизнь идет: молочники приносят молоко, чиновники идут в департамент, а с утра приезжает по-прежнему ге-

нерал и с утра восходит по-прежнему солнце, — потом, слава богу, обед, потом ужин. Жизнь идет, фабрики дымят. А тебе, Акакию Акакиевичу или Ивану Ивановичу, надо с отдельной, личностной своей просьбой соваться в эту налаженную и полноводную реку общей жизни — тебе надо приходить, стучать в дверь, отвлекать занятых людей и чуть ли не мешать всему ходу и налаженному порядку вещей. В этом и конфуз. Как же, мол, так получается, что я, сирый и малый, или даже не очень сирый и не слишком малый, приду в приемную и явлюсь к генералу в департамент, к занятому делами серьезному человеку, приду и явлюсь с личностной и даже вроде бы глупой своей пропажей.

А идти тем не менее Акакию Акакиевичу надо; и он идет. Именно, именно так. Тебе с самого утра уже както не по себе, ты смущен и сконфужен (гениальное по уместности слово), но ты идешь в приемную к занятому делами человеку и жалуешься — извиняешься, конфузишься и робеешь, однако говоришь свое. Шинель-то украли. Тут полезно еще лишний раз обратить внимание на эти, вовсе не характерные в приемных для маленького человека слова — «Акакий Акакиевич рассердился» — «Акакий Акакиевич захотел показать характер» — «Акакий Акакиевич сказал им наотрез». А лестница, конечно, шла опять вверх, как и положено идти лестнице.

Подобное повторилось и еще одним кабинетом выше, в знаменитой сцене у «значительного лица». Забудем на время о «значительном лице», а припомним, что Акакий Акакиевич вошел ведь к нему — всякий ли войдет? — вошел ведь, сказал свое, стал даже перечить; вот только изнутри он был уж подточен конфузом, он с ним пришел; и когда генерал заорал, конфуз мгновенно разросся, как разрастается вытекший из бутылочного горла восточный джин, и именно конфуз этот и непривычка к грозному окрику, а отнюдь не малость человеческая, сразили чиновника Башмачкина.

Конечно, повлияли звезды генерала; повлияло и то, что генерал был как бы занят в минуту прихода Акакия Акакиевича, в минуту его великой тяжбы; все так: влияет большой кабинет, влияет и не может не влиять обстановка кабинета, даже ковер на полу влияет — и кресло, конечно, в котором ты сядешь, если предложат, и телефон, и зуммер, и бумаги, которые тот, к кому ты сунулся со своей тяжбой, как раз в эту минуту

надписывает в верхнем углу спокойным властным почерком... Не мешаю ли я?—вот в чем суть и смысл конфуза. — Не мешаю ли я *важному* какому делу своей мелкой просьбой, своей пропавшей шинелью? — Как бы заранее решенный вопрос о том, что ты и твое дело мельче и много мельче, чем кабинетное, подтачивает тебя; в этом и глубина *конфузной ситуации*. И тут многое в тебе поднимается вдруг из той глубины, всплывает наверх, и ты сам об этом смутном и всплывшем не все знаешь. Тут открытие Гоголя. Он назвал это словом «сконфузиться», он не захотел других слов.

Ситуация возникает не обязательно извне, — у Чертокуцкого не украли некие люди шинель, он сам спьяну присочинил свою шикарную коляску. И этот небольшой и обычный и простительный человечий грех вдруг пришел в столкновение опять же с реальным ходом общей жизни, — вырвавшиеся слова не вернуть, и конфуз возник немедленно, как только генерал и господа офицеры, воспринимающие жизнь как дело, приехали поутру не болтать и не пить шампанское, а *покупать*.

Летом на отдыхе мой приятель сказал грубое словцо некоему мужчине в разгаре обычной и мелкой, даже микроскопически мелкой стычки. Перепалка произошла в шумной и людной столовке, где мы питались. Мужчина только что поел и уже поднимался со стула, а мой приятель искал, где сесть, — или же они оба искали? — суть в том, что нужно было успеть занять стул; стульев в столовке не хватало.

Пообедав, мы пошли к реке; тут я вспомнил, что этот толстый мужчина, кажется, сам Колобов: директор крупного НИИ, человек, в орбите которого в числе нескольких не сотен, а тысяч других мелких мошек вращался и кружил мой приятель, сам по себе тоже человек не самый маленький. «Да? — сказал мой приятель.— Это Колобов? Это Колобову я сказанул словцо — неужели?» — и приятель этак хмыкнул и победоносно улыбнулся: так, мол, ему, толстому, и надо.

Тем не менее в приятеле моем конфуз возник, и сидел в нем этот конфуз куда глубже, чем он сам мог предположить, таился на такой глубине, на какой только и может таиться забытое. Начались кое-какие перемены. Виктор, так звали моего приятеля, невольно и даже как бы нехотя стал поглядывать на сановного чело-

века. Он вроде бы отмечал каждый раз, *каким* шагом Колобов входит в столовую, как садится за стол и как ест. Дальше — больше. Поев, мы обычно шли к реке: у всех там были ежедневные и нехитрые маршруты: либо в сторону столовой, либо к реке. И вот, завидя впереди теперь уже хорошо знакомую нам полную фигуру, мой Виктор прибавлял шагу. Я тоже прибавлял. Колобов прогуливался с какой-то некрасивой, сердитой женщиной, Колобов был недалеко — он был уже в пределах негромкого голоса, и тогда Виктор довольно громко и звучно говорил мне:

— Все это глупости, дружок. В нашей жизни есть, конечно, мистика, но только совсем иная! — Или что-то вроде говорил он. Такая вот многозначительность. И под такие вот отточенные не нашим веком его реплики мы мало-помалу обгоняли впереди идущих. Мне делалось неловко: отраженный конфуз. Иногда я даже раздражался: пусть бы он меня предупредил или разъяснил, что хоть за пьесу мы разыгрываем и зачем, — пусть бы без неожиданностей.

Но штука была в том, что Виктор сам не знал, что за пьеса в нем разыгрывается и зачем она; повторяю, это происходило в нем невольно. Это как бы высвобождалось в нем и всплывало наверх.

В другой раз Колобов попался нам навстречу; он шел с мужчиной. Они приближались. Виктор опять же грубо, с хрипотцой, опять же с некоторой наглинкой его вдруг окликнул; в искусном сплаве с наглостью сосуществовала, однако, и иная нота — мягенькая — и вот он окликнул грубовато, дружески и как бы даже молодо:

— Привет, Виталий Сергеевич, погодка-то, а? — Директор слегка растерялся от оклика, почти окрика, — уступая нам с Виктором куда большее пространство на асфальтовой дорожке, чем себе и спутнику, он пожал плечами и улыбнулся. Он забыл стычку, он не совсем понимал, кто это его окликнул и зачем. Но, конечно, ответил.

— Н-да, — сказал он, поспешно соглашаясь, — погодка!

И они прошли мимо нас.

За завтраком Виктор выбирал теперь место и поодаль и одновременно близко от Колобова, есть такие скромные стулья и есть такие выигрышные столы. Он садился (и меня тянул за собой) таким образом, чтобы его видели. И чтобы при случае негромко сказать и

быть услышанным. Вероятно, он выбирал и вычислял не только место, но и время еды — я за этим не следил, но что-то часто мы стали «совпадать». Отдых вдвоем, пусть даже случайный, не лишен некоторых правил и полуразмытых условностей. Чуя голод, я иногда торопил его, звал в столовую, и Виктор в рамках тех же условностей отвечал: «Давай еще раз пройдемся по тропке. Подышим. Не спеши, надо же дышать воздухом...» Бывало, правда, что я кислил или же кривил морду на эти его фокусы, но он меня как бы не брал в расчет: *меня* он не конфузился. И не потому, что считал меня за глупенького или за ненаблюдательного, — нет, просто он был вне меня теперь. Вне людей как бы. Он пребывал наедине с тем, что теперь всплывало из его взбаламученного нутра наверх, высвобождалось из глубины, как высвобождается и всплывает огромная и сырая, разбухшая колода.

Пожалуй, это его состояние было сродни состоянию некоей влюбленности и шире — сродни тяготению человека к человеку. По глазам Виктора, по голубым его глазам (он смотрел то на толстяка Колобова, жующего курицу, то на голубизну неба — мы завтракали на веранде) я догадывался, что мой приятель мечтает. В мыслях своих Виктор уже вернулся домой и уже рассказывал о... Сначала он рассказывал жене, для обкатки, что ли, для домашней выработки и выверки точных словосочетаний, а уже потом на работе, в этом самом НИИ — был, мол, я нынешним летом в захудалом пансионатике без икры и без люкс-номеров со своим входом и познакомился, мол, там с дядькой... Тут бы Виктор обязательно сделал паузу. Не рисовки и не игры ради, а чтобы самому себе отчеркнуть от рядовых нерядовую минуту. Познакомился, мол, с довольно толковым дядькой — болтали о том и о сем, дядька у меня сигареты стрелял, на реке плавали — и угадайте, кто это был? — Колобов. Да, он самый. С размахом, надо сказать, мужичок. Умница. Демократичный и без ихнего чванства. Сначала, между прочим, я ему нахамил, послал в одно место, ей-ей, так и было — с этого наше знакомство и началось...

— Эй, — толкал я его в бок, — о чем задумался?

— Да так... — Виктор отрывал глаза от Колобова, уже доедавшего курицу.

Толстячок, разумеется, не реагировал никак. Он нас попросту не замечал, он даже не догадывался.

В столовой устроили вечером маленький банкетик, проводы: Колобов и его компания уезжали. Этот банкетик определил занятость столовой на весь вечер, и нам, не входившим в окружение Колобова (а оно оказалось к концу его срока немалым и шумным), пришлось поужинать в другом месте, чужие столы, чужие стулья, яичница с ветчиной тоже как бы с чужим привкусом, да и бросили нам на стол ее, яичницу, небрежно, как и бросают пришлым. После ужина мы вернулись, и вот Виктор, воздуха ради, водил и водил меня кругами возле нашей, такой оживленной сегодняшним вечером столовки — он нет-нет и поглядывал в окна. Стеклянные окна веранды к вечеру уже закрывались.

— Чего мы тут ходим? — поинтересовался я опять же с кислой улыбкой.

А Виктор опять же ответил, неловко засмеявшись:

— Дышим воздухом...

Мы дышали воздухом довольно долго; ноги устали. «Еще круг, а?» — спросил Виктор. Тут я (время моих кривых усмешек и улыбок кончилось вдруг само собой) спросил с некоторой тоже неловкостью, но в открытую:

— Скажи, зачем он тебе нужен, этот толстяк, не могу я никак понять?

Виктор, кажется, только тут сообразил, что я не вполне слеп и глух и что как-никак все эти дни я «дышал воздухом» с ним бок о бок.

— Этот толстый баран? — переспросил он небрежно. Он пересаливал мою соль.

— Ну, да — этот толстый баран, — повторил вопрос я.

Виктор опять засмеялся. В третий раз:

— Видишь ли, в чем дело — утром, когда ты ходил к реке, я случайно столкнулся с этим Колобовым и разговорился. Он, между прочим, дядька интересный. И демократичный...

В паузу я спросил:

— И умница — да?

— Умница. И работяга настоящий. Мы было разговорились, а тут набежали его друзья и, конечно, быстренько отпихнули меня в сторону.

— И разговор не закончили?

— Вот именно. А завтра он уезжает...

Сочинил ли он сценку тут же на ходу, выдавая наружу свое желаемое и потаенное, или же действительно

перекинулся поутру с Колобовым двумя словами об устоявшейся хорошей погоде, — не знаю.

— Ого. Как быстро темнеет...

А я сказал:

— Домой пойду. Ноги уже гудят.

Я отправился в корпус и поднялся в комнату, которую делили мы с Виктором, — и тут, собственно, можно ставить точку. Продолжения их отношений (речь об отношениях и волнениях односторонних: Колобов тут никакой) не было ни здесь на отдыхе, ни тем более в Москве, домысливать их обоих я тоже не собирался, как не собирался тогда и не собираюсь сейчас делать из этого повесть или рассказ. Тут важна сама по себе *конфузная ситуация,* тут она в чистом виде, обнажена, и, к счастью, для этой обнаженности нет ни дальнейшей драматургии, ни типажей, — люди как люди.

Поскучав в комнате, я вновь потащился на улицу и на воздух. Возле фанерной палатки, что у реки (палатка вот-вот закрывалась), я спешно выпил пива и с легким пивным хмелем в голове прошел вдоль реки. Я свернул к столовке, подумывая про себя, что если Виктор все еще бродит там кругами, то я, пожалуй, подсмеюсь... Но я не подсмеялся. В кафе шел банкетик, проводы как проводы — там уже горел свет, — а у окна, прильнув, прилипнув к стеклу, приложив обе ладони к лицу, чтобы лучше видеть, стоял и вглядывался внутрь Виктор. Я быстро шагнул в тень с асфальтовой тропы с безотчетным желанием не быть человеком, на которого он вдруг оглянется. Он не оглянулся. Он жадно вглядывался. Он стоял и вытягивал шею. На другой же день, едва Колобов уехал, Виктор сделался нормальным и обычным, каким он был всегда. Мы пили пиво, играли в шахматы, плавали и загорали; ни словом, ни тогда, ни после, он не вспомнил и не заикнулся о Колобове, — он его попросту забыл; да он и не был ему нужен; это было похоже на болезнь, пришла и ушла.

Создав или, лучше сказать его же словами, «породив» конфузную ситуацию в «Коляске» и в «Шинели», Гоголь хотя и не убивает ее, но отходит от нее в сторону, отдаляется и как бы забрасывает — оставляя ее полностью на откуп двадцатому столетию.

Что, казалось бы, проще: помещик Чертокуцкий, будучи навеселе, прилгнул его превосходительству и дру-

гим чинам, что у него есть необыкновенно легкая и «укладистая» коляска в четыре тысячи ценой. А утром, когда к нему нагрянули высокие гости, чтобы посмотреть и, возможно, купить четырехтысячное диво, Чертокуцкий не знал, что сказать и что делать. Говоря общо: некий человек солгал безмотивно, прихвастнул, язык его сам собой ляпнул — и вот, стало быть, простенькая незамедлительная расплата. Но простоты тут нет. Двадцатый век будет использовать эту и подобные ситуации бесконечно. Заметим, что никакого бы конфуза не случилось, если бы солгал или ляпнул словцо человек, удерживающийся в рамках литературного типа; напротив, вместо конфуза была бы очередная типологическая забавность. Плут, в плутовском романе, без труда вывернется и выйдет сухим. Это понятно. Но даже если не плут, а просто тип — Ноздрев или, скажем, Хлестаков — трудностей тоже ни малейших и конфуза как конфуза нет. Сквозь типаж просматривается арматура крепкой конструкции. Ноздрев стал бы и дальше врать и хамить, и лезть, к примеру, в драку, а Хлестаков бы, соответственно, стал нести еще большую околесицу, присочиняя к чепухе чепуху и поминутно вводя в бой и тем более в образовавшийся конфузный прорыв верные ему тридцать пять тысяч курьеров. В итоге *тип* не только не разрушился бы, а напротив: Ноздрев еще больше сделался бы Ноздревым, а Иван Александрович Иваном Александровичем. Сомнений это не вызывает, а искусству подобный эффект приумножения типической черты во благо образу и характеру известен был задолго до Гоголя. Фальстаф, например.

В Чертокуцком же, создавая его и лепя, как лепят из глины, Гоголь вдруг резко обрывает игру в типаж: сейчас, в двадцатом веке, уже можно заметить, какая нужна была смелость и какой полет, чтобы выйти или, лучше сказать, выскочить из системы типажей к системе обыкновенного человека. Обыкновенность не замкнута на самое себя. В том и суть, что солгал или просто «ляпнул» некое слово не типаж, устойчивый в себе, который своей же устойчивостью и вывернется, а просто человек — обыкновенный помещик Чертокуцкий. Ничего не произошло, и по-прежнему дымят фабрики. А человек уже сделал некое, несвойственное и необязательное движение, человек не типаж и готов на попятную — внутренне он теперь едва ли не вскрикивает: ах, господи! — но не поправить, потому, например, что

не все же поправимо. Человек начинает отчасти суетиться, отчасти мучиться: на этих вот сбалансированных «отчасти» и возникает конфузная ситуация. Тут именно нарушение равновесия. А финал? — а намечающийся впереди неуклюжий и неприятный финал, этакая горькая очная ставка с общим потоком жизни, может, разумеется, произойти завтра или послезавтра, а может и не произойти, но существовать существует в сознании читателя, как и в сознании самого человека, нарушившего равновесие. Завтрашний разоблачительный день во времени растяжим. Необязательно, разумеется, прятаться одетым в халат в старой дешевой коляске, сидеть там скорчившись и согнувшись в трех шагах от господ офицеров, которые — разоблачители! — беспечно разговаривают и подходят все ближе и сейчас приоткроют, скрипнув петлями, ветхую дверцу.

Таков бедняга Чертокуцкий, и таково его похмелье; человека, который не испытал, хотя бы единожды, подобного похмелья, нет. И тут особенно понимаешь, что Чертокуцкий не Ноздрев. Он обыкновенный человек. Он наш человек. Он нашего века, он не типаж, — он из банально честных, если хотите, и понятных людей. Потому-то ему и похмельно и стыдно, как бывает похмельно и стыдно банально честному; Ноздреву стыдно бы не было.

Блистательно мелькнув в «Скверном анекдоте» и как бы с аккуратностью отметившись в нескольких рассказах Чехова, конфузная ситуация полностью перешла на откуп в двадцатый век; девятнадцатый все еще держался за типажи.

В рассказах, в психологических повестях и романах конфузная ситуация возникала отныне в самых разных обличьях и проявлениях; понадобился даже специальный термин, и вот ввели его — остранение; в параллель возникли термины и пожестче. Суть стала прозрачной. Прием стал расхожим. Даже ремесленник стал понимать, что отнюдь не обязательно создавать, как в девятнадцатом и раньше, литературный тип, крепящийся на определенном человеческом качестве, как на стержне. Человека стало возможным выявить, не обобщая, — достаточно было стронуть этого человека с места, заставить его невольно или вольно нарушить житейское равновесие, все равно где — в отношениях с женой, на службе или в захудалом пансионатике без икры и без номеров-люкс со своим входом. Потеряв на миг равно-

весие, человек *обнаруживался,* выявлялся, очерчивался индивидуально, тут же и мигом выделяясь из массы, казалось бы, точно таких же, как он. Голос выбивался из хора, или, точнее сказать, отбивался от остальных голосов и — пусть даже слабый — был слышен в ста и более шагах, а сам хор, мощный и правильно расставленный, делался рядом с ним как бы фоном, как бы тишиной или молчанием.

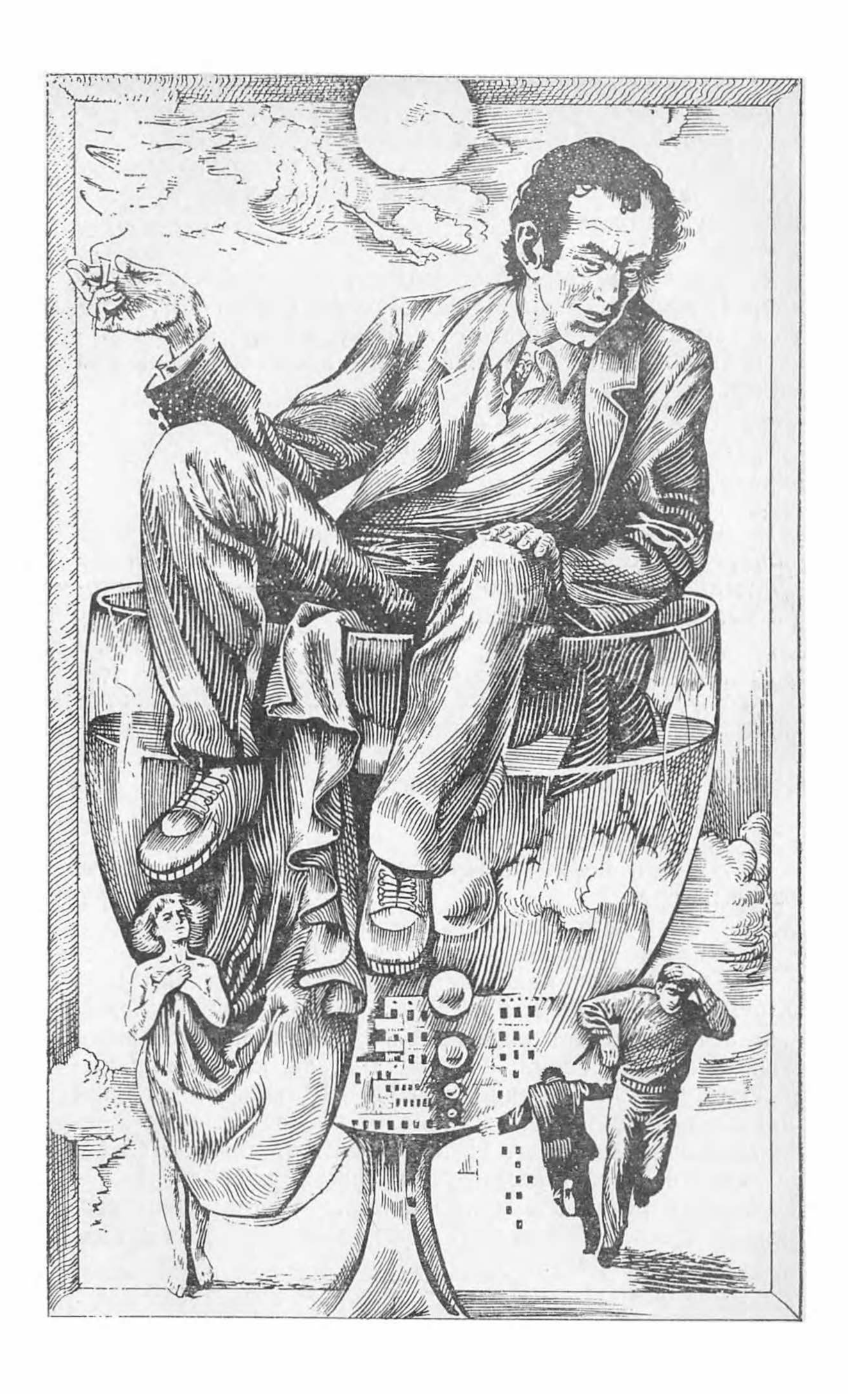
И как понять Гоголя — изобрел, открыл, породил и свернул в сторону: чем далее, в направлении «Мертвых душ», тем более занимался он типажами. Он тщательно и с любовью вылепил Коробочку, Ноздрева, лепил и других, — «Выбранные места» сквозят желанием: присылайте, собирайте и присылайте мне черточки людские, штрихи, факты их жизни, а я буду лепить типажи, типажи, типажи, — он только об этом и думал. Значительно опередив время в «Коляске» и в «Шинели», он вдруг вернулся в свой век и в свои дни. Урок в этом? или же просчет?.. Он словно забыл о своем открытии. Или на него давила тогдашняя традиция, считавшая, что лепи, мол, образы, как у Мольера и Шекспира, и ни о чем ином не помышляй. Или же у Гоголя была особая, хитрая и пронзительная мысль о верности своему веку — как понять его?

13

О Сереге можно только упомянуть вскользь, что я и сделаю; чтобы написать о нем всерьез, нужен дар какого-то неслыханного по нашим временам размаха. Тут не человек, тут прежде всего спрессованная энергия, и не понять этого — не понять Сереги. Из него *прет,* и здесь уже сразу необходимо перечисление — из него прет хамство, дикость, бесшабашность, дурь, он большой, разумеется, мастер выпить, мастер подраться, мастер нести чушь. И еще в плюс — мастер ремонтировать телевизоры, это его работа.

Как-то к нему в ателье пришел сосед, тихий и застенчивый человек, и принес испортившийся телевизор; по профессии сосед был столяр. Серега открыл лихим движением заднюю стенку, поковырялся: «Значит, так, — требовательно и весело сказал он столяру, — ты сделаешь мне раздвижной модный столик».

— Ладно...



— Я тебе ремонтирую телевизор — ты мне делаешь столик. И квиты.

— Ладно, — тихий сосед вздохнул.

— Вот и поладили... А то я было хотел твою жену в гости зазвать, — хотел зазвать ее, завлечь, и пусть, мол, натурой оплатит...

— А?

— Зазову, думаю, ее посмотреть, как работает телевизор (у нас тут в ателье есть уголок укромный), зазову, а там дальше винца по глоточку, музыку можно завести негромко. И прочее. А там — посмотрим, как оно пойдет.

— Что? Мою? — сосед в ужасе.

— А что такого? Ты думаешь она — *нет?* Чудак... Все они одинаковы.

— Моя?

— Моя, моя, моя, — что ты заладил как попугай. — Твоя такая же, как и все прочие... Да не робей. Я же раздумал. Мы ведь с тобой договорились — ты мне столик раздвижной сделаешь.

Две молодые женщины (девушки, как к ним обращаются на улице и в троллейбусах — девушка, оторвите билетик) сидят и обсуждают грядущий вечер. Они обсуждают, кого позвать. И кого не позвать.

— Петю?.. Зачем тебе Петя? Зануда твой Петя.

— Не хочу Петю.

— Да и я не хочу. Просто так сказала. А может, позовем Серегу?

— Серегу само собой. А Петю?

— Петя не человек, а вот Серега человек.

— Серега — ох, какой человек! — Они хихикают. Они подружки, им надо все обсудить. Вечер приближается, а за вечером будет ночь. Серега, конечно, груб, непостоянен и переменчив — неизвестно, на кого набросится. Но мужик. Это точно, мужик. «А ты помнишь, как плакала в прошлый раз Валька?» — и две молодые женщины вновь хихикают. И шепчутся: «Бедная Валька. Он заперся с ней в комнате, шкафом припер дверь». — «И Валька ревела, и муж плакал...» — они шепчутся, посмеиваются, после чего следует вывод на вечер глядя:

— Зовем Серегу!

— Звони ему!

— Звони ты!

Серега, конечно, приходит, когда все уже собрались; его уже и не ждут, но он приходит и сразу же — едва вошел и сел — рассказывает о расчлененке на Боровском шоссе. Врет, конечно. Втискивается в застолье, как всегда, шумно городит чушь и дико при этом хохочет. Женщину-кассира будто бы везли в двух чемоданах и в авоське — в авоське были ее коленки, а все остальное в чемоданах; толстая была женщина, кассирши все толстухи. А коленки, мол, повторяет он, в чемодан не помещались... Девицы да и мужчины тоже смеются несколько нездоровым смехом. Им жутковато. Серега смеется смехом вполне здоровым. Ему хорошо. И стакан в руке:

— Первый мой тост!.. Выпьем за... — Другие званые гости рядом с Серегой, гогочущим и хлобыстающим водку стаканами, потускнели и съежились. Но это их не уберегло: один ушел с поврежденным глазным яблоком, другой с переломанной ключицей. Чтобы рассказать, что натворил Серега за вечер и за ночь, опять же понадобился бы перечень, отчасти даже неприличный. Жильцы снизу и жильцы сверху не спали всю ночь. Рита и Рая после этой ночи стыдились всех там присутствовавших — и даже меж собой Рита и Рая не разговаривали два дня; они не могли смотреть друг другу в глаза. Началось, конечно, с того, что он их обеих споил. О Сереге теперь они вспоминали только с ужасом. Втихую друг от друга они плакали ночами, уткнувшись в подушку. Они жили в этой квартире давно и дружно — у них был общий хлеб, общая заварка к чаю и общий сахар.

Есть гипотеза, подкрепленная фактами и историческими сопоставлениями, предполагающая, что древний грек Ахиллес был изначально тавро-скифского происхождения. Он жил где-то на юге; пусть не без колебаний, но я в эту гипотезу верю. И в поддержку ее мог бы выстроить свой ряд доказательств и рассуждений.

Серега тоже тавро-скифского происхождения, и тут сомнений нет. Миловидные и с добрым нравом славяне подмешались в его кровь гораздо позднее и исправить его (лично его) уже не смогли. Давным-давно в незапамятные времена в тех же южных краях жил предок Сереги, лучше сказать, праотец его, и именно он споил Ахиллеса. Таковы факты.

Известно, что праотец Сереги по-приятельски приходил к Ахиллесу в жилище, пил с ним, спаивал его; Ахиллес вскоре падал под стол, а праотец Сереги скорее всего от скуки — делать-то нечего — уводил одну из его жен к себе. Или даже не уводил; если от выпитого тяжело было идти, он располагался с нею здесь же. Выражаясь языком современным, в жилище Ахиллеса тоже имелись все удобства. Это была повседневная картинка: утро, похмелье, Ахиллес кое-как протрезвеет, увидит происходящее на постелях и горько заплачет; именно от общения с праотцем Сереги Ахиллес стал слезливым. Это подтверждает Буало:

Он плачет от обид. Не лишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность.

Буало. «Поэтическое мастерство»

Праотец приходил вновь и вновь — войдя к Ахиллесу, он отшвыривал ногой его любимую черепаху, а рукой похлопывал плачущего Ахиллеса по плечу: «Не кисни... Это, брат, все хреновина. Пойдем-ка лучше со мной». — «Опять пить?» — «Гулять. Сначала погуляем...»

— Я не могу больше гулять, — всхлипывал Ахиллес. — Я не могу больше пить. И, кстати, имей совесть: все мои дети на тебя похожи.

Праотец Сереги только смеялся:

— Ты же пить не умеешь!

— Ну и что?

— А то, что с моей помощью хотя бы дети твои пить научатся. Если они похожи на меня лицом, то будут похожи и сутью — резонно?.. Не плачь, Ахилл. Им это пригодится в жизни.

И они начинали сызнова; праотец споил Ахиллеса вусмерть, и уже очень скоро молодого юношу отправили на принудительное лечение. Праотец как истинный друг навещал его почти ежедневно в больнице. И изумлялся: «Совсем, что ли, нельзя пить?» — «Ни капли». — «Ну ты даешь!»—и вскоре он стал незаметно приносить Ахиллесу водку. Он приносил ее в грелке; именно тогда утвердилась эта практика, дошедшая отчасти и до наших дней.

Лечение не продвигалось. Врач нервничал. Врач сказал Ахиллесу:

— Меняйте место проживания. Я бессилен,

— Уехать?.. А как же мои жены, дети — жаль их терять.

— А здоровье? А жизнь молодую — не жаль терять? — После долгих колебаний и уговоров Ахиллес уехал — это и спасло. Отбыв в далекую Грецию, он совсем бросил пить, после чего и стал там известным героем. Именно оптимистический финал и вывод, какой может извлечь отсюда молодежь, дают мне моральное право присоединиться к тавро-скифской гипотезе.

Известно, что пять или шесть столетий спустя — это была уже эпоха Рима — один из последующих праотцев Сереги был взят в плен легионерами Квинтилия Вара. Это было, разумеется, до печальной истории в Товтебургском лесу. Римляне с интересом присматривались к захваченным пленникам. Люди им были незнакомы. Нравы непонятны. Именно о следующем праотце, взятом в плен, после тщательного наблюдения за ним Тацит писал, как о самом непонятном и самом счастливом человеке:

«...Он достиг высшего счастья на земле — отсутствия всяких желаний».

Тацит. «О германцах»

В Институте травматологии Серега лежал в больничной палате напротив меня, койка против койки, и я не покривлю душой и не скажу о нем хуже, чем есть. Что да, то да: он был мужественный человек. Мы все валялись там с переломами позвоночника, особых пояснений тут не нужно: травма широко и печально известна.

— ...Едва ли он будет жить, — сказал профессор о Сереге; он сказал это после двух кряду сложнейших операций в поясничном отделе травмированного, после воспалительного процесса вдоль позвоночного столба и после чудовищных пролежней.

Серега стал жить.

— ...Жить будет, но не будет мочиться. Паралич тазовых органов. Тяжелейший случай, — сказал профессор месяц спустя.

Во вторник утром Серега выдал фонтан.

Серега был лежачий, неподвижный, прикованный к постели собственной спиной, — и вот все забегали, заметушились от случившегося события, а он лежал на спине, смотрел на свой великолепный фонтан и смеялся. Обычно в таких случаях плачут от радости.

Фонтан бил. Прибежал профессор и пожал лежачему Сереге руку. Это напоминало открытие нефти в Тюменской области. Скважина работала бесперебойно в течение десяти минут; случай с Серегой, или, как они выражались письменно, — с больным Б., стал научной сенсацией и обошел мировую медицинскую прессу.

— Выжил, — радовались медицинские сестреночки.

А лечащий врач вздыхал:

— Выжить-то выжил... Но ходить не будет. Инвалидная коляска до конца дней.

Ровно неделей позже Серега почувствовал прилив сил и потребовал, чтобы его поставили на ноги. «Ну живей, живей! — покрикивал он на сестреночек. — Шевелись, команда!»... Они поднимали его и ставили, как поднимают и ставят упавший столб. Серега был несгибаемый, он был загипсован от шеи и до колен. Когда его подняли, он стоял и шатался на месте, а сестреночки его страховали. Сестреночки любили дежурить возле него и ночью: он знал тьму анекдотов. Одна из сестреночек забеременела и позже родила. В то время он мог только лежать на спине или же стоять, держась руками за спинку кровати. Он еще не ходил. Но не прошло и месяца, а он уже стал передвигаться на костылях, выходить из палаты, бродить по этажу и таскать у сестреночек спирт, отливая его из большого сосуда. К морфину он относился с здоровым презрением.

— Плевать мне на ваши уколы — я люблю хмель живой.

Он шастал по мужским и женским палатам бесконечно, орал на врачей и устраивал веселые перебранки с няньками. По вечерам, когда врачи уходили домой, он, раздобыв ключ, по-тихому забирался к ним в ординаторскую и приглашал к себе травмированных спортсменок, чтобы без волнений и окриков спокойно играть там в карты. Спортсмены и спортсменки лежали этажом ниже. У них были сравнительно легкие травмы. Они много смеялись и много ели, и Сереге они пришлись по душе. Именно Серега устроил у них на этаже вечером соревнование — кто первый пробежит весь коридор туда и обратно на костылях. Те, кто был с одним костылем, к соревнованию не допускались.

Однажды вечером после ужина Серега, как обычно, пошел в ординаторскую. Кто-то из лежачих больных хотел глянуть свои рентгеновские снимки хотя бы мельком, и Серега пообещал помочь, — Серега долго рылся

в шкафах, но не находил. Он попытался посмотреть и в верхнем отделении шкафа. Он влез на стремянку и грохнулся оттуда наотмашь. Гипс треснул. Серега нет. Но встать самостоятельно он не мог и всю ночь провалялся там на полу, а утром Серегу вышибли из травматического царства за нарушение дисциплины. «У, зануда, — замахнулся он костылем на лечащего врача. — Выписывай быстрее. Надоела ваша каша...»

14

А жизнь идет. Минуты яркие, а затем, наоборот, минуты пообычнее, потусклее.

И этих-то, которые потусклее, больше; переливающиеся одна в одну, цепко тянутся они, обычные и ординарные: эпический век, за минутой минута. И нет-нет замечаешь за собой связанную со всей этой эпичностью черточку характера. Черту.

Дома, скажем. Вечером. Пришли друзья. И рассказывает кто-то о ком-то. «Мерзавец, — говорит он о ком-то. — Нет, ты только послушай, каков мерзавец!» И рассказывает каков. А ты его слушаешь, конечно, киваешь, но почему-то вдруг начинаешь того человека защищать: «А может, он не мерзавец, может, он не умышленно?» — «Как то есть не умышленно?»

— А так, — поясняешь и возражаешь ты уже громче, — может, этот человек хотел как лучше, однако его *обстоятельства*... — За нажимным словом следует еще слово, тоже нажимное, и уже оказывается, что, сидя за столом, мы спорим. И глаза у обоих горят, и выражение лиц какое-то странное. Не праздничное. И жена, постукивающим шагом спешно входя, интересуется, чего это вы друг друга дерьмом зовете, — и ведь дети слышат.

— Дети — это конечно. Тут уж чего, закуриваем и примолкаем оба — сидим и молчим; друг на друга некоторое время не смотрим... Собеседник скис и, по-видимому, слегка раскаивается: думает, что вот ведь придирчив и резок и даже, пожалуй, груб с ним был, со мной то есть. У меня тоже отлив. Вижу, что тоже был и придирчив и резок. Более того: вспоминаю, что ведь и правда, о чем бы мой приятель ни рассказывал, я вроде как корректировал его и непременно подправлял, нет-нет и подправлял ему кисточкой, как бы добавляя

некий мазок. Оно, может быть, и жизненней и достоверней становилось от этого мазка, как от всякого дополнительного мнения, но ведь приятель-то мой не эскизик и не картинку рисовать хотел, а хотел свое что-то высказать. Свое и наболевшее. А теперь оба сидим и покуриваем: оба не настаиваем. И разговор продолжаем уже ровный и чисто дружеский: зарплата, женщины, дела.

Но вот через неделю или две мы уже сидим дома у него. У приятеля. И тоже повод какой-то был, межсемейный, — сидим мы, разговор туда-сюда, однако же я чувствую (да и по глазам вижу), что сейчас он преподнесет мне некую заготовку в продолжение прошлого разговора, который остался и дозревал в наших головах сам собой. А вокруг застолье... И он, более или менее со мной уединившись или просто придвинувшись за общим столом, начинает: «Я, — говорит (и смеется), — ошибочку в твоих извилинах нашел». — «Ну?»— «Человек ведь как-никак должен отражать цельность мира. Пусть в какой-то мере. Верно?» — «Допустим».— «А ты, — говорит, — не отражаешь цельность. Изъян я в тебе нашел». — «Обидеть меня хочешь?» — «Не отшучивайся, — говорит он. — В мире, как ни верти, есть ведь и обвинитель, и судья, и защита. Так?» — «Ну допустим». — «Ага! Значит, и в каждом человеке должно быть то же самое. А вот в тебе этого триединства нет!»

Он мало-помалу горячится и уже настаивает, что слишком я защитничек и слишком уж охотно оправдываю — нет во мне триединства. И все, кто меж рюмками слушал, улыбаются. Вон, мол, с каким грешком, триединства не имеет. А ведь взрослый человек. Ай-ай-ай. Шутят они, конечно, а все же. И сижу я почесываю затылок: да, мол, таким вот, увы, оказался, — и вроде бы думаю, что и как на сказанное ответить.

На самом же деле никакого обдумывания во мне нет, никакого экспромта не будет, — потому что я ведь тоже заранее думал. Тоже, как выражаются шахматисты, домашняя заготовка. «Верно, — говорю я, в меру почесав затылок. — Но вот ведь мы с тобой сидим и болтаем. Так?» — «Так». — «Вдвоем болтаем?» — «Вдвоем». — «И, болтая, мы ведь тоже в эту минуту *вдвоем* отражаем цельность мира и это самое триединство, так?» — «Ну пусть». — «И значит, когда ты кого-то выставляешь подонком, я соответственно выдаю слова в

его защиту, — именно в силу триединства...» — Ответ состоялся. Однако же мой приятель тоже не лыком шит и тут же находит ответ ответу. А затем я, так сказать, ответ ответу ответа. И начинается чистейшая схоластика. Это как у ребенка, кубик на кубик и еще на кубик.

Гости — все прочие — посматривают на меня с невыразимой тоской. На меня, а не на моего приятеля: он-то хозяин, простительно, а чего этот-то, защитничек, на себя много берет? Тоже ведь гость. Наконец все кричат, чтоб мы замолчали, а жены, чтоб мы заткнулись. А тут, кстати, и кубики наши уже рушатся сами собой, как и положено им рушиться.

Или вот, казалось бы, другой случай: встретил я человека — встретил случайно на пустой автобусной остановке. Он мой знакомый. Более того: когда-то начальником моим был и давил меня безбожно, давил тяжко и не без некоторой даже фантазии. Не важно в эту минуту, где, не важно, как и почему, а важно, что давил, — на автобусной остановке спустя много лет вспоминается лишь это, остальное побоку. И вот он уже не начальник мне: «Здрасьте»: — «Здрасьте», — вырвавшееся и обоюдное. И стоим, ждем, и не уйти, не разойтись нам в разные, к примеру, стороны, потому что разойтись — это уж очень нелогично и смешно и нелепо; а автобуса все нет и нет... И вижу: испуган он, побаивается. Вспомнил, конечно, и ведь тоже человек. И я уже как бы спешу навстречу ему на помощь: «Лето, говорю, какое жаркое. Вы заметили, какое жаркое в этом году лето?» И он, конечно, тоже начинает словами и даже жестами рук спешить. Жене, говорит, путевку. И детям тоже путевки. Никак, говорит, достать не могу, а ведь жара, жара...

И так он опечален, и так он морщится, и так он убит, по той причине, что никак этих вот необходимых путевок достать не может, что тут уж все ясно и понятно. Заговорил он было, что еще и радикулит его мучает, — но осекся, замолк; радикулит уж как-то слишком нацелен на мое снисхождение и на мое сочувствие: слишком уж ясно, что весь он сейчас мягкий, бери его руками. И тогда он о путевках, опять о путевках. Ну никак он их достать не может, а ведь жена и дети...

И странная жалость постепенно проникает в меня. И ведь не прощаю я его, не христианничаю, — я точно знаю, что не прощаю его сейчас и не простил тогда, однако и жалость и прощение есть: жалость изнутри. Выглядит внешне она так: вроде как не ему я сейчас на автобусной остановке сочувствую, не ему конкретно... А всем нам. Такие, мол, вот мы люди, и что поделать... «Да, говорю, с путевками погано. Вот еще через объединенный профком попробуйте», — и вот ведь говорю и себя как бы слышу со стороны, и самое удивительное, что мне совестно это говорить *вслух ему,* и лоб мокрый, и весь я вдруг вспотел (он-то уж давно вспотел), и все же я эти слова говорю. Вслух. Ему. И наконец-то выполз из-за дома автобус, — подходит...

И это ж, конечно, смешно объявлять хотя бы и шепотом, хотя бы и самому себе, что ты не судья. Это ж декларация, а главное, неправда. Не вся правда. То есть за эту самую несудейскую черточку точишь ведь себя и точишь, а затем вдруг вновь думаешь: а может быть, прав я в своем... И вновь ломаешь голову, и вновь не знаешь, как оно будет жестче и как гуманнее, — вроде бы и понял и запомнил, но и сквозь суд свой, и сквозь недолгую агрессивность все-то слышишь эту трогательную и мягкую ноту. Вроде как в себе носишь: не судья.

Савелий Грушков, старея, стал неожиданно для многих злым: это злой, не озлобленный, а именно холодно и желчно злой старик. Такую вот шутку сыграла с ним старость. У него и причуды, вполне соответствующие его злобе и его желчи. Он, к примеру, толкует и разъясняет людям «Божественную комедию», и это в маленьком поселке, где одна-единственная библиотека (книги на дом не выдаются) и где считают, что Данте — это главный инженер соседней фабрики, смещенный с должности за постройку вне очереди кооперативной квартиры для своей рыженькой секретарши. «Что делаешь, Савелий?» А он листает Данте не спеша и не спеша поднимает на тебя злые глаза: «Я толкую» — так он заявляет. Это его собственное выражение. Оно бы и ничего и даже хорошо,— в конце концов, человек спину гнул, вкалывал, почему бы не заняться теперь, на пенсии, чем хочешь — человек ведь свободен в выборе. И если Савелий Грушков, старичок, выбрал

толковать не что-нибудь, а «Божественную комедию», в поселке, где козы чешутся о забор детского сада и где все еще не перестроена мрачная, уральская, заводских времен баня, то, стало быть, так надо. Превращения в стариков удивительны. Книгочием Савелий Грушков никогда не был, и вообще с книжкой в руках до этих — *стариковских* — дней его ни разу не видели.

Савелий сидит иногда на скамейке возле дома и, если спросить, охотно поясняет главную свою мысль: грехи в наши дни другие, а значит, нужно по-другому распределять и наказание. Не совсем, как у Данте. Сидит он на виду с толстым фолиантом юбилейного издания и, объясняя, непременно постукивает карандашиком по переплету... Однако куда чаще он сидит один на заднем дворе вдали от глаз; он сидит на солнышке в оберегаемом одиночестве, и это не поза. Он действительно углублен в свою мысль. Он судит. Он поглощен своей мыслью полностью, вплоть до некоторой потери рассудка, и, поглощенный, он издает вдруг громкие, каркающие (хотя и без «р») звуки; это очередной приговор:

— В ад!.. В ад!.. В ад! — Его рот при этом раскрывается не сильно, но страшно. Старик в страсти. Он только что обдумал, взвесил чьи-то грешки и осудил — и вот один из несчастных, один из жильцов барака (еще живой) уже закувыркался, визжа о милосердии, болтая руками и ногами, брошенный в только что заготовленную ему стариком «злую» щель с отмеченным номером. Выкрики старика раздаются неожиданно. Звуки сливаются воедино, женщины, развешивающие на заднем дворе белье, вздрагивают, и весь двор прорезывает это жуткослитное: *«В ад — в ад — в ад!»*

У всех жильцов и всех соседей была в будущем только одна эта дорога. Выбора не было. Он толковал «Ад», он думал только о наказаниях. Как он сам говорил, ядовитенько улыбаясь, раем он займется попозже. Гора-аздо позже... Он сидит, солнышко греет его старые кости — он в упор взглядывает на проходящих мимо и с самомнением бога-прокурора (а там тоже триединство) постукивает карандашиком по суровой книге. В его стариковском воображении мир погружается во мрак, единственный свет — это адский огонь, в котором плавают и пылают пьяницы-работяги с третьего стройучастка, истошно кричащие: «Пить! пить!» — но жаж-

да их отныне неутолима; в темноте ощупью бродят, выставив руки вперед, прачка Зина и невестка его Василиса с зашитыми глазами (он колебался, не выколоть ли) за то, что они любят подглядывать в окна. Для родичей Савелий особенно любит примеривать наказания. Это уж как водится.

Я же знаю и помню, что старик был когда-то совсем другим человеком; это как картинка из детства. Савелий Грушков был тогда молод, воскресным днем сидел он на крылечке барака, свесив босые ноги в горячую пыль, напевал глуповатую песню:

— Эх, была не была-а-а... —

и чистил картошку, орудуя ножом в такт. К картинке был еще и сюжет. Неподалеку строился цех, пацанов на стройку не пускали, а на страже манящих закоулков и высоких переходов и винтовых лестниц был поставлен поселковый дурачок Сеня. Другой сторож, как и положено сторожу, со временем ослабил бы бдительность. Но дурачок Сеня не расслаблялся, жил с ровностью мотора, не пускал — и хоть умри. Идеальный страж. Наконец однажды в великом своем рвении и с неосознаваемой самим собой жестокостью он стукнул мальчишку по голове куском доски, до плеши стесал ему волосы с затылка и рассек ухо. Работу ему пришлось тут же бросить. И к тому же он трясся, как лист, потому что отец мальчишки и два дяди были здоровенные мужики, рыскавшие в тот вечер по поселку с пеной на губах. И именно Савелий Грушков спрятал у себя и не дал Сеню в обиду.

Прошла неделя — страсти поулеглись. А Сеня все еще жил у Грушкова в его комнатушке. И все еще пугливо озирался, если на минуту выходил из барака в самой крайней нужде. Был вечер. И вот Петька Демин (его-то Сеня и треснул) и я подошли к бараку, а Грушков на крылечке напевал:

— Эх, была не была-а-а... —

и чистил картошку.

«Ну пойдите, посмотрите его», — разрешил Савелий Грушков. Мы прошли в комнату. Сеня, полуголый,

сидел на полу, подобрав по-восточному ноги (жена Грушкова, тетя Паша, как раз обстирывала его), и трясся то ли от озноба, то ли все еще от страха. Он тихо мяукал. Мы погладили его по голове, спросили у него, как жизнь, и ушли с не вполне насытившимся пацаньим любопытством, — опять вышли к Грушкову.

Помялись, постояли на крыльце и спросили:

— Дядь Савелий... Зачем Сеню дурачком зовут? Зачем смеются?

Не переставая чистить картошку, Грушков ответил:

— А чего ж — плакать, что ли?

— И ты тоже, бывает, над ним смеешься...

— И я тоже.

— А ведь это нехорошо над ним смеяться.

— Нехорошо.

И Грушков продолжал чистить картошку, теперь уже не напевая, а насвистывая песенку. Затем вдруг объяснил: и мы услышали поразившее нас тогда объяснение:

— Он ведь, если подумать, этим смехом кормится. Этим живет... Если б над дурачком не смеялись — не стали бы жалеть.

— Как же так?

— ...Если не будут знать, что он дурачок, побить могут. И даже убить. Нормальных же за всякие выходки бьют — понятно?

Грушков звучно бросил очищенную картофелину в воду и засмеялся:

— Я вот его на гармошке играть научу. Сто лет проживет!

Я был уже студентом, когда приехал к ним, — на улице по дороге с вокзала я встретил тетю Пашу, его жену. Она затараторила: «Ну пойдем, пойдем (будто вчера меня видела)... Приехал, ну и ладно. Пойдем. Савелий обрадуется».

Дорогой она рассказывала новости:

— Савелий по-прежнему никого не стесняется — а теперь совсем свихнулся, черт...

— Свистульки делает?

— Какие там свистульки!

Савелий Грушков любил всякую ручную работу; руки у него тряслись от водки, но казалось, что они трясутся, потому что ждут очередное дело. Он лепил кув-

шинчики, он продавал елочные игрушки, он делал пацанам свистульки, от которых дурел поселок; что нового он прибавил к своему творчеству, тетя Паша сказать постеснялась. Только фыркнула:

— Тьфу... Срам от соседей, и больше ничего!

Когда пришли, Савелий встретил меня с объятиями, — в голове седина:

— Привет, грешник. (Это было его любимое обращение, хотя в ту пору он Данте не читал, он даже слыхом о нем не слышал.)

Тетя Паша готовила и накрывала на стол.

Савелий расспрашивал меня о своем сыне; сын и дочь Грушковых, студенты, учились в Москве — я их редко видел, но все-таки видел.

— ...Ведь в Москве до чего ж трудно жить! — рассуждал Грушков, никогда там не бывавший. — Вот пишет мне сын, а ведь это не письмо — писулька. То да се. Жив да здоров. И чувствую: не выдерживает он там ихнего *ритма жизни.*

Савелий продолжал:

— А я ему в ответ на его писульку — р-раз! — и послал сотню деньжат. И представь себе, следующее письмо от него совсем уже другое — тоже короткое, но другое. Оно уже *с ритмом жизни.*

Голос его стал мечтателен:

— Вот представь себе: идет мой сын там по проспекту. Нервы. Работа. Отношения с начальством. А знакомств нет — знакомства надо делать, где с мужчиной знакомство, а где с женщиной...

— Молчал бы, хрыч, — сказала тетя Паша.

— А чего молчать? Все это надо, надо... А для всего этого в очередь первую что? — а конечно же, деньги. Если опоздает, на такси сядет. Проголодается—в ресторан сможет заглянуть...

Пришли соседи. И теперь — за столом, гоня рюмку за рюмкой, — стали говорить как бы хором: у того сын в Киеве, у другого в Москве; да, ритм жизни — штука серьезная; выдерживают *наши* этот ритм или не выдерживают?.. Явился сосед, который умел петь. Запели... Помню, что, сытый и под хмелем, я, отвыкший, не выдержал их ритма, отправился на поставленную мне раскладушку и быстро, легко уснул.

Проснулся я рано. Хозяева тоже уже встали — тетя Паша мыла посуду и прибирала вчерашнее. Из второй полуперегороженной барачной комнатушки до-

носилось: «Вж-жик». И уже ясно было, что это рубанок, и, напирая, лез в ноздри сильный запах свежеобрабатываемого дерева. Я — зевающий, в одних трусах — заглянул в приотворенную дверь. Савелий Грушков делал гробы. Вот именно, гробы, и притом с весьма яркими узорами. Их было штуки три в углу, а один перед Савелием как раз в работе. Савелий стоял спиной и не заметил меня. Вж-жик... Вж-жик...

Тетя Паша тронула меня за локоть:

— Ты уж никому об этом. Ладно?

— Ладно. (Я понял, она имела в виду детей, которые ходят по московским проспектам.)

— А то смеяться будут. Или еще хуже — стесняться. — И затем пояснила: — У нас в поселке с этим делом плохо. Контора в городе тоже на ремонте... А Савелий деньги-то по-маленькому берет.

— Почему?.. Работа есть работа.

— Брать-то берет, это уж я так. Но ведь неудобно, пойми: человек на стройке работает...

Савелий крикнул из комнаты:

— Чего там шепчетесь?.. Входите сюда.

— Дел хватает! — отрезала тетя Паша и опять направилась к вчерашней посуде.

Я вошел.

Савелий как раз кончил очередную штуку. В углу я увидел свистульки, знакомые с детства... Савелий закурил. Что бы он ни делал, он не мог подавить в себе довольства своей работой, если она сработана хорошо. Артист. Чувство легко достающегося ему профессионализма и умения в любом новом деле пьянило его. Он отошел чуть в сторону — так было лучше видно творение рук — и, оглядывая великолепный гроб и сладко затягиваясь папиросой, сказал с подъемом:

— Каков красавец!

А теперь было лишь каркающее *«В ад — в ад — в ад!»*, и была благообразность, и эти сухонькие пальцы, держащие карандашик, и многозначительное постукиванье карандашиком по томику Данте, бог знает как попавшему в этот поселок и на этот задний дворик с полощущимся бельем. Ничего больше в Савелии не осталось. Я любил этого старика долгой любовью, и мне было непонятно и больно его превращение. Подумать только, что именно этот старик прежде говорил кому-

то (он говорил, а я слышал и по сей день слышу его голос) — он говорил, и глаза его сияли торжеством и даже вызовом:

— Живи, грешник, — говорил он кому-то из соседей улыбаясь, — живи, милый, пока живой. Живи *дальше* и ничего не бойся! — Если бы не хмельное пошатыванье, он был бы похож в ту минуту на местного, провинциального пророка, как водится, среднего полета, но с неисчерпаемыми ресурсами; возможно, он тогда и был им, пророки встречаются чаще, чем принято думать.

Если старухи сопровождали меня в течение всей моей жизни, появляясь там и здесь в облике людей малоприятных, в облике морализирующих судей, то *старики* как-то все вроде прятались. Я их видел, встречал, конечно, но как-то стороной. Не на главной дороге. Рассеянные в мелких встречах по жизни, в автобусах и в очередях, старики не запомнились мне, как запомнились властные старые или пожилые женщины, каждая из которых словно бы пыталась наложить на меня матерый оттиск, как налагают оттиск опыт и быт. Жизнь шла, колея менялась, но на смену одной властной старухе тут же и немедля вставала другая. Они были похожи на окликающих часовых вдоль долгой дороги; так уж мне повезло. Стариков не было.

Но зато как бы в виде предварительной компенсации однажды я увидел и узнал целую группу стариков разом. Похоже было, что они, не попадавшиеся мне в дальнейшей жизни, собрались равновесия ради все заодно, чтобы я не почувствовал изъяна и ощутил цельность людскую, как она есть. Было это в бане. И старики, конечно же, меньше всего думали обо мне и о моем дальнейшем равновесии, потому что думали о себе, о мочалках, о шайках — и о пиве после. Мне было лет двадцать. Баня же была поселковская, древняя. Шагах в шести мылись, не больше, — и всю группу стариков, не выделяя поначалу никого, я воспринимал как одно целое. Я видел их одинаково обвисшие детородные органы, давно отслужившие; они обвисли и оттянулись *к земле* — в самом последнем и конечном нашем направлении, покачиваясь, как покачиваются кисеты с махоркой, бывшие тогда в поселке все еще в моде. Сочетание обвислости с улыбающимися лицами

стариков, с их выцветшими детскими глазами, которые уже не только не совестились какой-то там обвислости, но, вероятно, попросту забыли о ней, — было удивительно и отдавало великим, неслыханным счастьем: дожили наконец и ведь не умерли. «Туда не пойдем — там — скамьи стылые!» — засмеялся один из них.

Их было семь человек — как некая гроздь, они рассредоточились по краю одной и другой скамьи: трое и четверо напротив. Я не понимал, что меня волнует: старики, возможно, в своей совокупности представляли для меня варианты моей старости: буду ли я таким стариком или таким?— и в конце концов я остановился на двух, которые были примерно моего роста. Мне казалось, что рост — это важно для прикидки; нутро мое топорщилось и сопротивлялось, но хорошо помню, что на всякий случай я смирился — ладно, я буду вот таким... У нас говорили, что увидеть и поразиться группе стариков — это к долголетию. И с самым откровенным эгоизмом по отношению к прочим людям, меня, двадцатилетнего, вдруг обдало и обрадовало, что я буду долго жить; самосохранение в бане.

Эмоционально в моей памяти означился тогда и выделился лишь один старик. Благообразные, с детским пухом на голове старички еще только разделись и входили в банный зал, и вот когда они вяло шлепали по полу и посмеивались, один из них вдруг оглянулся на меня, что ли, или же на горбуна-гардеробщика, — и яростно проговорил: «Зар-разы!» — мрачный и озлобленный взгляд никак не увязывался с благостью и детскостью всей остальной группы. И сейчас еще вижу, как он идет, голый, свесивший вдоль тела руки, как вдруг оглядывается, как вдруг надуваются жилы на его шее и вырывается это жуткое и неожиданное «Зар-разы!»— он рявкнул, и один из пареньков, стоявших вблизи, выронил ком одежды, которую запихивал в маленький банный ящик.

В бане я к старику пригляделся — здесь он был таким же, как и все они, благообразным и безликим; он сидел ближе всех ко мне и степенно мылил голову, пах, худые руки и совсем уж худые, скелетообразные ноги. Он был росл, и я счел его за один из возможных вариантов моей будущей старости. И именно этот старик связался в моей памяти с другим человеком — с Савелием Грушковым, который перед самым отбыти-

ем на небо вдруг тоже озлобился и всем живым прочил ад. И каким же образом, почему в одном из ста случаев, в одном, может быть, из ста стариков вспыхивает перед концом злое и личностное, в то время как девяносто девять старцев аккуратно уходят в благость и в детство, и их уже не раздражают ни болезни, ни умершая плоть, ни суетливые родичи, достойные ада, ни вдруг пробудившееся желание много и впрок есть, жевать, набивать утробу, как это бывает у детей. Нет-нет, подумал я тогда же в бане, в инстинктивном и молодом страхе подбирая себе возможную старость, вид старости, — только не быть таким, как он, *таким быть, наверное, мучительно;* нет-нет, надо отходить *туда,* сращиваясь и сливаясь воедино со всеми стариками, надо с девяноста девятью отходить вместе и спокойно, надо отходить, как отходят в траву, в небо, в землю, медленно растворяясь и теряя свое «я» во всех и во всем.

Они стали разбиваться на пары, чтобы тереть спину, — и вдруг отдалились от меня на бесконечное расстояние, хотя были в тех же шести шагах. В бане становилось гулко. Гул в ушах где-то бегущей воды, а к вискам прилила кровь, глаза затмило, и я почувствовал свое распарившееся молодое тело, как чувствуют его перед близостью с женщиной. Тут старики и отдалились. Мигом и разом они улетели от меня на космическое расстояние, я был щедр, я был переполнен, я был живой, а они нет. Не шесть шагов в пространстве была дистанция и даже не шестьдесят лет во времени (мне было двадцать), расстояние было куда бóльшим, они были от меня за стертыми миллионами лет, в том времени, когда земля была из голого камня, кремнистая, без кислорода, без суеты множащихся клеток и уж, конечно, без единого на ветру листка.

А они уже разделились на пары, и старик старику кашлял: «Что? потереть тебе спину, как потерли тебе ноги?» — и засмеялись оба. У старика, которому это говорилось, на внутренних сторонах ног, начинаясь от колена и взбираясь все выше и выше и даже выбрасываясь и выползая на ягодицы, почти правильными полосами раскинулись чудовищные потертости, — был ли этот симметричный архипелаг от какой-то болезни, или от расправы, или же просто от седла, с которого он

годами не слезал в молодое время, определить сейчас было уже невозможно. Цветом и составом потертости напоминали серовато-черную плотность кирзового сапога. И далеко не сразу на спине, делаясь все краснее, стали проступать неправильные шрамы-рубцы, разбросанные алыми зигзагообразными нитками на белоснежном теле. Этот старик был совсем тихий, из тихих тихий, — и даже стариковская странность его тоже была тихой странностью: старик был шептун.

Он любил сидеть на солнышке, грея старые кости, и как только все умолкали — в паузу, — он начинал шептать, в какой год и с кем занималась тайно от мужа любовью его младшая, сорокалетняя дочь Клавдия. Сначала он шептал, вероятно, правду, потом, увлекшись, стал сочинять. Внимание он любил. Глаза у него были напрочь выцветшие и наивные, был и один зуб, — кстати, на всю группу стариков приходилось два зуба, все они обожали зевать, разводя пасть до немыслимых размеров и иногда ее крестя. Старик шептал, что дочка многих любила, «и Кошелева любила, и еще ентого». Я помню, как дочь свирепела. Я не видел, но я слышал крики, даже не крики, а писки младенца, не понимающего, за что бьют и чем, собственно, Клавдия опять недовольна, — именно не понимающего, потому что уже вечером он выполз на солнышко при закате, побитый, с полуоторванным ухом, и тут же зашептал:

— А самое интересное про нее я досказать не успел...

В каком бы виде и обличье ни встречались мне дальше в жизни старики, я их не пугался, даже не настораживался, и, если старик был начальником и если начинал, скажем, орать, — я только улыбался втихую, думая про себя, что это он еще не добрел до бани, не разделся, не взял мочалку и не стал тереть спину напарнику, потому и сердится, бедный, ну да отойдет скоро. Я их знал как бы наперед, сподобился в юности и помнил это; и удивительно, что старики, как бы грозны и сановиты они ни были, тоже вроде бы знали, что мы вместе когда-то мылись. Они тоже помнили. Иногда, впрочем, я натыкался все же на окрик: старик был узнаваем и угадываем мною не сразу — но незнание скоро и живо рассеивалось, он вспоминал меня, а я его; я просто доселял его в ту, моющуюся группу, но не

среди семи стариков, а чуть дальше вдоль по скамье, в клубах пара он тоже в тот раз терся мочалкой, тоже ловил выроненный обмылок, и я *тогда* попросту не разглядел его, потому что он сильнее других жался к теплу, а пар там был погуще.

Больше всего читались спины — спины стариков — это жизнеописания, их можно разглядывать часами, восстанавливая не только жизнь человека, но тип, вид этой жизни, даже ее ритм. Спина начинала разбег и рост вверх стремительной худобой, как молодое деревце, вклинивающееся в воздух, — говорила она о довольно вольготной, вероятно, сытой юности; потом шло округление, как окольцевание на дереве, на человека в середине жизни сваливались беды и тяготы, а развал лопаток подчеркивал боль дряхления и поздний, с пробужденным уже сознанием трагизм. Спина повествовала, как повествует старая книга. И невыразительность, по сравнению со спиной, детски-опростившегося лица была очевидным и обидным фактом. Другая спина сразу же была словно задавлена тяжестью; сантиметр за сантиметром, не любимая людьми и богом, она пробивалась кверху с невероятными усилиями и скрежетом; скисла, так и не пробившись, и лишь неожиданно легкий разлет плеч над этим бесформенным обрубком подсказывал, что и эта спина как-никак прожила жизнь долгую и, может быть, хотя бы потаенно прихватила кое-где свою малую долю солнца. Если хироманты не интересовались чтением спин, то, вероятно, только потому, что спина начинает читаться и говорить о жизни слишком поздно: в этом возрасте уже не гадают о будущем, будущее знает каждый.

Совпав со стариками однажды — допустим, во вторник, я попал в ритм и чуть ли не два месяца совпадал с ними, потому что баня в поселке была строго еженедельно. Какая-то домашняя случайность как свела, так затем и развела нас, и теперь мы мылись порознь, с разницей в день-два, и иногда, спеша в магазин, я вдруг натыкался на всю стайку, с свертками идущую к бане. Последним в группке стариков плелся по улице тот единственный из них мрачный и злобноватый старик, который в предбаннике оглянулся и крикнул: «Зар-разы!» — он всегда плелся последним, бурча что-то самому себе под нос,

— Кто это? — спросил я у матери и теток, и они сказали, что старик был в молодости и в зрелости и даже в первой старости необыкновенно веселым человеком. Мне это запомнилось: перемена под самый занавес. Одна из теток прямо сказала: «Таким забулдыгам нельзя доживать до глубокой старости... Он же, *дэмон*, всех ест поедом», — а другая тетка подхватила: «Письма пишет в газету, гадюка!» — и они стали вслух гадать, чего бы это человек переменился, притом без причины, на ровном месте переменился, и ведь веселым был, бесшабашным, каким был, и ведь как любили его все... надо ж так!

Я успел запомнить и то, как они трут спины друг другу. Стоя немного боком, не как женщина, старик упирался руками в скамью, а голову свешивал, расслабив шею полностью, как свешивают головы только старики, — напарник тер его мягко, даже нежно, ласкающими неторопливыми движениями. Он вовсе не драил, он словно тоже на спине видел и читал всю долгую жизнь склонившегося перед ним; а нацеливаясь и выходя мочалкой на ребра, трущий старик скашивал голову в освещенную сторону, вглядываясь и словно не вполне и не до конца доверяя рукам, которые грубы и которые могут проскочить по этой костно-реберной волнистости, как по стиральной доске. Сказывался и опыт. Напарник тер ровно, не убыстряя и не умедляя темпа, и вдруг останавливался, завершал банное дело, как завершает его человек, всегда и точно знающий, когда будет в самый раз. Они знали точно. Никто и ни разу не переспросил: «Еще?» — никто из трущих не предложил, как предлагают друг другу мужики: «Подраить по-второму, а?» — старики не спрашивали, они знали. Опыт сказывался и в самом начале: прежде, чем тереть спину, напарник некоторое время вертел в руках *чужую* мочалку, он как бы изучал ее и примеривался, словно сверялся со вкусом хозяина, словно и у мочалки была индивидуальность и параллельная жизнь, отражающие индивидуальность и жизнь хозяина. Повертев и порассмотрев, он опускал ее на спину — опускал не жестким и не самым мягким углом, а тем и только тем, каким надо. Ходовое сравнение стариков с детьми в бане нарушалось, — на улице, в магазине, в бараке старики и действительно были равнодушны, заняты собой и жестоки, как дети, но в бане старики были нежны.

Один из стариков заснул — он заснул сидя на банной скамье, в позе кучера, свесив руки меж расставленных колен и уложив подбородок на свою впалую грудь: за миг до засыпания он выронил шайку, и сейчас она медленно описывала круг за кругом по банному полу, покрытому текущей водой, — слой воды был тонок, расплющенный по полу, растекшийся вширь и распластавшийся ручей теплой воды, на которую гладко и так приятно было в юности ступать ступней. Мимо прошел другой старик. Он шел еще к одному старику, к третьему, собираясь тереть ему спину, — я думал, что, проходя мимо заснувшего, он непременно поднимет ему шайку, но он, видно, поторапливался, потому что тот, третий старик, уже стал на изготовку, выгнул спину и в сладостном предчувствии мочалки медлительно и зябко поводил лопатками. Поэтому проходивший, не прерывая осторожного шага, лишь тронул мягко ладонью лысую с белыми охвостинками голову заснувшего старика и качнул ее направо-налево, — заснувший старик встрепенулся, зевнул во всю пасть и пробормотал:

— Шаечка укатилась... — и опять заснул.

Шайка, уже заканчивая движение, исчерпывая до нуля выданную ей энергию падения, поворачивалась совсем медленно, останавливалась, а старик спал — это был тот, желчный старик, который днем шастал по бараку, клял, бранил, писал даже в газету. У памяти своя сила и своя лепка: она уплотняет не только время, но и образы людские, если они схожи. Желчный старик, выронивший шайку, навсегда слился для меня с мрачно-злобным Савелием Грушковым, толкователем «Ада», и подчас я почти с уверенностью думаю, что мылся в бане именно с Савелием. Не раз и не два подползала мысль, вкрадчивая: может быть, потому под самый занавес жизни они и переменились, что всю жизнь были веселы, озорны, добры и любимы?.. Может быть, жила в этом тайная и скрытая и даже неосознаваемая потуга на бессмертие: конечно, все люди смертны и умирают, но почему бы ему, которого все *так любили,* не быть исключением? Почему бы не выжить лучшему? Возможно, что в старину наши святые, канонизированные или полуканонизированные церковью или просто возведенные народом при жизни в легенду, все эти подвижники, страстотерпцы, голодари, отшельники и добрых дел мастера, — быть может,

ближе к часу, в поздней старости, они тоже начинали вдруг нервничать, волнуясь и тревожась, а ну как их кости по ту сторону смерти не превратятся в мощи, а сгниют и истлеют, как гниет и истлевает все. Едва ли это смешно и эгоистично: тут есть своя боль. Он заснул, его потрепали по голове — и, не просыпаясь, он пробормотал, как пробормотал бы о кончившейся жизни:

— Шаечка укатилась...

Покружив по влажному полу, шайка остановилась, — а здесь же двигался меж скамьями здоровенный, с выставленным вперед животом, работяга Куров. Куров держал в руках свою шайку, она-то и закрыла от его глаз ту, что кружила по полу, — Куров с маху и больно стукнулся о нее мословинкой левой ноги и даже вскрикнул, охнул. «Заснул, что ли, дед?» — рявкнул он так, что люди в бане на миг притихли и стал слышен шум воды. Старик, не очухавшийся вполне, протер глаза; он зевал и бормотал испуганной скороговоркой:

— Кто-ты-кто-ты-кто-ты?..

Куров, уже переборов остроту боли, вновь рявкнул: «Апостол Павел я — встречать тебя послан, мать твою в берег!» — и в бане засмеялись, загоготали, и вот тут, хотя, в сущности, ни намека, ни подсказки, ни тем более угрозы вовсе не было, — старики вдруг один за одним, как засидевшиеся гости, начали приподниматься со скамей, помогая друг другу в банной немощи; встали и один за одним потянулись к парилке. Они встали немо. Ни слова. Их никто не прогонял со скамей, их никто не прогонял из жизни. И медленно-медленно зашлепали, опасливо ставя ноги на скользкий ручьистый пол. Так же один за одним они входили в парилку — двери не было, из дверного проема оттуда валил пар, водяная пыль с жаром, все это поглощало и съедало старика за стариком; они шли туда, может быть, три, может быть, пять медленных минут, но для меня, отстранившегося, они шли сотни, если не тысячи лет,— студент и болтун, уже подпорченный игрой обобщений, я видел, что это уходят *люди вообще,* вышедшие когда-то из воды, поползшие, затем поднявшиеся на четвереньки, затем превратившиеся в млекопитающих, затем вставшие на ноги: люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие, — и опять уходили в воду, в пар. Я видел их спины: с каждым шагом

опасливо удаляющейся цепочки стариков их спины (их нынешние лица) уменьшались, как уменьшаются светлые пятна, и, совсём малые, наконец скрывались в проем парилки. Вода, пар и жаркая тьма дверного проема поглощали их одного за одним. Осталась видной единственная спина; погружаясь в проем, старик оглянулся — он и тут оглянулся, желчный и озлобившийся старик, он и тут шел последним в группке, — оглянувшийся, он уже в белесой тьме проема, словно вспомнив, что их прогнали и вытеснили, крикнул: «Зар-разы!..»

1977

ОТСТАВШИЙ

1

Сон мучит старика — моего отца (мама умерла, отец одинок, и, когда я приезжаю его проведать, он с подробностями рассказывает мне мучающий его сон. Если я не приезжаю, он звонит и рассказывает мне сон по телефону. То жалобно, то гневно).

Помочь ему в его снах я не могу — это ясно. Но ведь могу слушать.

Отец рассказывает, как он выбегает за ворота, натягивая на голову шапку, хотя сам он еще в нижней рубахе (и даже в брюки нижнюю рубаху не заправил), ремень еще не затянут, болтается туда-сюда на бегу. И, конечно, отец, едва только выбежал, уже знает, что улица пуста и что он отстал от своих. «Выбегая, я уже точно про все знал». «Почувствовал?» Да, да, он наперед почувствовал, знал: грузовая машина (гремящая бортами полуторка тех лет) уже уехала. Он один...

Ему снится, что грузовая уже далеко и что люди там, в машине, в кузове, тоже полуодетые, однако успевшие вскочить, влезть, что-то кричат ему, машут руками, а машина все прибавляет и прибавляет, и по какой-то важной причине, по неумолимости какой-то, приостановиться хотя бы на миг, притормозить и подхватить отца грузовая никак не может, и эта беда, эта неумолимость отставания и составляют, кажется, главное чувство его повторяющегося сна.

Мучительно ли, больно ли ему — вне сомнения. Но есть ли в придачу к боли хотя бы плавность сновидения, анестезия медлительного парения в воздухе и, стало быть, хоть какое-то, пусть мизерное, достоинство, раз уж ты отстал?.. Возможно, что нет. Совсем ничего нет, только страх. Опять и опять видит он свою картинку — грузовые машины одна за другой срываются с места, мчат, люди кричат, шоферы огрызаются и наддают и еще наддают, припав к рулю, колеса скрежещут, од-

на, другая, пятая; взревела уже и последняя машина, и вот только тут из избы, сонный, поскальзываясь на снегу, выбегает мой отец, выбегает в числе самых последних. «Братцы! — кричит он, обжигая горло морозным воздухом. — Братцы!..» Но машины уже какой взяли разбег; он видит последнюю и потому в незаправленной рубахе, с шапкой, сбившейся на ухо, бежит ей вслед. Он, конечно, не догонит. Он просто уже не может, не в состоянии догнать. По крайней мере, он уже понимает, что отстал; сонный, полураздетый, он понимает это все больше и больше. Но бежит, все подтыкивая рукой свою нижнюю белую рубаху, по сути, в белье, подтыкивает и бежит — не надеясь и все же надеясь. Но вот он отстал. Серое бессолнечное морозное утро. Машина далеко. Он один посреди дороги.

Жаловался, что сон мучителен именно однообразием, а ведь ни в коей мере не заслужил он такого сна в качестве наказания. «Я много и честно работал, честно воевал! не заслужил!» — кричит отец, задыхаясь уже и среди дня. Он жаловался, вновь хотел врачей. Ведь не просто скверное сновидение, ведь среди ночи он мучается, мучается всерьез, вдруг вскакивая с постели и ловя ртом воздух. Про сердцебиение и не говорю — какая боль, какой сжимающий страх! как оно, бедное, стучит в ребра!

(В Подмосковье отсутствие телефона — обычность. Чтобы мне позвонить, отец выходит из дома и идет шагов двести до почтового отделения, где стоит покосившаяся будка — телефон-автомат.

Он звонил в два часа ночи. Я еле его успокоил.)

Я бреюсь, посматривая в зеркало на свою полуседую щетину: когда я не брит, щетина меня старит. Звонит телефон, я знаю, что это отец, и не спешу, так как он звонит теперь каждый день. Трель звонка становится уже нервной, я откладываю бритву в сторону, отхожу от зеркала — но звонит не мой постаревший отец, звонит моя дочь: «Папа!.. Папа, да что ты не берешь трубку? Ты что — не слышишь, я вся изнервничалась!..» — оказывается, я нужен. Оказывается, ее школьный приятель, парнишка Витя, попал в бытовую неприятность (что-то там с получением паспорта), дело обострилось взаимно-грубым разговором в отделении милиции, так что необходимо теперь его, молодого и

горячего Витю, как-то выручать — паспорт — это паспорт.

— Папа, я жду — я вся на нерве! — в ее голосе слезы.

Я вновь бреюсь; притом что впускаю в себя появившуюся небольшую, а все же заботу. Звонок отца (из поколения до меня) и звонок дочери (из поколения после), накатываясь, встречными волнами они гасят друг друга. Но на какую-то секунду обе трели звучат в моих ушах одновременно, совпав и замкнувшись на моем «я», словно бы даты превыше заключенной меж ними жизни и потому затмевают, и словно бы «я» и есть простенькое замыкание двух взаимовстречных сигналов прошлого и будущего.

Представил себе, как он (встав с постели) идет звонить мне среди ночи, и раздражение мое сразу схлынуло. Телефон-автомат в двухстах шагах от дома — недалеко; но ведь надо одеться, надо соразмериться с погодой, надо решать, выпить ли чаю и после идти звонить или идти сразу, впопыхах, пока сон горяч и бьет, колотит в сердце, а сердце ухает, скачет, никак не попадает в норму, — после чаю, кто знает, идти расхочется и двести шагов уже покажутся долгими. Да, да, если идти сразу, то не надо преодолевать смущение и неловкость ночного звонка — впопыхах все можно.

Он берет спички, надо их не забыть. Номер он помнит, но ведь надо видеть, крутить диск, когда в телефонной будке темно. Немножко со спичками, немножко на ощупь, так он и набирает мой номер.

Старый уже, согнутый, вот он стоит в телефонной будке пригорода (в будке нечисто и запахи) — вот вспыхнула там и быстро прогорела спичка. Вокруг ночь. Человек стоит и, бросив пятнадцать копеек, тихо, внимательно крутит диск. Этот старый человек — мой отец.

Кто был Леша-маленький?.. Это был мальчик, сначала мальчик, а затем подросток и юноша, который таскался за артелью золотоискателей и жил их милостью. Время — давнее. Артельщики ходили помногу — горы, долины, опять горы. У Алеши скорые ноги и сердце крепкое, но он все отставал и отставал, он был вял и мал годами, и в глазах его временами становилась

необычная голубизна, детский голубой туман, про который говорили — тихая дурь. Парнишка как парнишка, но вдруг такое в глазах. Как пелена. Федяич, старший в артели, только отмахивался, когда обнаруживалось, что Леша-маленький опять где-то потерялся. Пропадет, мол, и ладно, не очень пожалеем!..

Оставшийся в одиночестве Леша-маленький непременно спохватывался где-нибудь в долине. Он тут же бежал за артелью, спешил, кричал:

— Эй!.. Эй-эээй!

И ему отвечали криком, если были недалеко.

Но чаще Леша спохватывался, когда отставал уже намного. Он тогда шел один. И ночевал один. Стемнело — он отыщет глазами, увидит вдалеке костер заночевавшей артели и в направлении того огонька шагает всю ночь. Но чаще он увидит с горы костер Федяича и его сотоварищей уже так далеко, что вдруг захнычет, ведь маленький! и какие ж стали люди — совсем не такие! — всхлипывая, он разведет свой костерок, чтобы не зябнуть, сидит. Немного подремлет у огня, а с первым ранним холодком надо идти.

К полудню, когда артельщики уже вовсю работают, он только-только появится. Сядет около них, смотрит. Если же, обессилевший, станет работать, валится с ног.

Артельщики — ребята крепкие, мужики, а ему было лет двенадцать-тринадцать. Артельщики не жили на одном месте, они шли и шли, оставляя там и тут на своем пути шалаши, избушки, землянки.

Случалось, что находили сколько-то золота (обычно мало, но находили), и вот, когда уже добирались в земле до пустоты, Егор Федяич взвешивал желтый песочек, завязывал в кисет и после скорого обеда говорил — собирайся, мужики! в путь!.. И кто-нибудь посылался вперед и отыскивал старую дорогу. Они шли туда следом и ждали мужика на телеге или обозе. Сидели у дороги в траве. Федяич курил. И так неспешно уплывали от них облака. И только тут Леша-маленький их отыскивал, нагонял.

— Смотри-ка, не потерялся! — смеялся Федяич.

А помощник Федяича, молодой и спорый мужик Шишов, весь запачканный желтой старательской глиной, вроде бы укорял:

— Что ж ты, Леша, по пути не сговорил для нас подводу-две — вот бы ко времени получилось!

Лера — так ее звали, девушку, которую я любил, когда был студентом.

Как-то артельщики велели Леше постеречь (побыть возле) необыкновенную глыбу малахита. Они хотели захватить камень на обратном пути и, разбив на куски поменьше, отвезти в поселок мастерам: заработать деньги.

Но когда возвратились от ручья, найти глыбу они никак не могли. Они орали Леше, кричали, свистели в два пальца — все без толку. Потратив впустую много времени, пошли наконец растянутой цепочкой, и один из них, самый в цепи крайний, каким-то образом набрел, наткнулся. Леша спал. В глыбе была большая изогнутая трещина, на дно трещины Леша мало-помалу сполз (видимо, от жары) и уснул. На крики и злую ругань он, конечно, ничего в оправдание сказать не мог. А артельщики уже вовсю наработались, устали, хотели есть.

Федяич так рассвирепел, что не велел его кормить: он и прежде не терпел тех, кто спит днем. К тому же он охрип, кликая Лешу (боясь потерять такую большую глыбку, да еще с одной-единой выигрышной трещиной, которая облегчала камню осмотр и вид изнутри, облегчала подход к рисунку: к естественной игре зеленых прожилок). Охрипший и злой, он не велел Лешу-маленького кормить, а после обеда прогнал совсем. Но Федяича упросили. Какой-то убогий попался им в тот день на пути: заросший, с седыми космами, с огромным нательным крестом, убогий человек посидел с ними на привале, от каши и кипятка отказался, съел сухой кусок хлеба и ушел. Но сначала просил за Лешу.

Федяич прогонял Лешу-маленького несколько раз.

Есть своеобразный соблазн: совмещать времена. Я, видно, искал в ту минуту утешающие слова. И не находил. И вот сказал по телефону моему постаревшему отцу, мучимому снами отставания: «А ты не помнишь

старую уральскую историю о Леше-маленьком? о золотоискателе? не помнишь?»

Вероятно, вопрос потребовал от отца слишком больших усилий памяти, отец не восхитился и не воскликнул, но наш привычный разговор все же сбился, а отец весь напрягся — какая тут связь меж отстававшим подростком (да, да, была какая-то история!) и его снами, в которых он так мучительно отстает от грузовой машины?.. Но никакой связи не было. Время лишь на миг сместилось, но ведь не совпало. И отец, справедливо недоумевая, спросил: «А что, собственно, мне там помнить?» — он даже переспросил меня, словно бы уточняя.

Но я тоже не знал — что там помнить, мало ли кто и когда отставал. Я неловко засмеялся в трубку.

— Да я просто так сказал, почему-то вспомнил.

Но отец уже заволновался — что за история? Какая тут связь?

— Да никакой связи нет. Никакой — просто вспомнил! Когда-то я хотел написать про это повесть. Когда студентом был.

— Повесть?..

Он наконец поверил, что мои слова и правда случайность, залетевшее в наш разговор случайное воспоминание, и посетовал: мол, стали мы часто отвлекаться от разговора в сторону, а зачем?.. Но странным образом это минутное переключение в прошлое его вдруг успокоило. Отец вздохнул и тихо сказал:

— Спать пойду. Спать хочется.

2

Шишов был спор, молод, толков, умел понять и умел скоро распорядиться — такого помощника, конечно, переманивали и завидовали Федяичу, подстерегали. Как-то раз здоровенные волгари несколько дней упорно шли по следу артели (их было четверо; говорили, что их наняли завистники за хорошие деньги) — в отсутствие болевшего в ту пору Федяича они напали на артельщиков, стреляли. Полусонные артельщики попрятались в кустах, а волгари таскали за волосы тех, кто не убежал далеко: Лешку-маленького и одного нового подручного.

В довершение они перебили обоим руки, угрожая тем самым помощнику Шишову и как бы намекая, чтобы не работал он так споро и хорошо. Мол, и тебе перебьем. В маленькое дельце они так много вместили своего волжского опыта. И ушли, посвистев разбежавшимся по кустам артельщикам, поулюлюкав, расколов один их промывочный ковш и забрав харчи.

Сойдясь вновь, артельщики бранились, винили друг друга и за спором не сразу сообразили наложить лубки — сделали подручному, который к вечеру стал громко стонать, а Леше-маленькому только на третий день наложил лубки Федяич, больной, у себя дома, когда артель возвратилась в поселок, когда к нему пришли и, рассказывая, сели вкруг ужинать. Руки у Леши срослись кривовато, криво. Таким он и остался.

И тогда Федяич снова прогнал Лешу-маленького, потому что с кривыми руками тот ничего почти работать и помогать не мог.

Какое-то время Леша-маленький слонялся возле поселковой церкви, мёл там и выносил мусор, прибирал, молился, потом полгода он таскался с лошадниками, потом вернулся и опять пристал к артели Федяича, а потом оказалось, что бог дал ему необыкновенный дар — умение находить золото.

Старательская артель двигалась через горы, от ручья к ручью, и день за днем за ними спешил отставший Леша. Обычно он их нагонял лишь в самом конце пути, у того ручья, где была последняя долгая промывка и был последний привал. Затем артель поворачивала к дому. А на обратной дороге они останавливались (ночевки все равно где-то делать) на тех самых местах, где ночевал отстававший от них Леша, и обычно находили там золото. Песок. Даже и самородки. Когда приметили, стали этим пользоваться. Раз от разу обратный путь уже и назывался *Лешкиным путем,* и когда шли обратно, золота и намывали примерно в четыре-пять раз больше, чем намывали, когда шли вперед, в поиск. Для верности они насыпали ему в карманы мелкой слюды, чтобы отставший Леша там и тут нечаянно сыпал, следил, когда ворочался во сне у своего небольшого ночного костра. По блесткам возле ручья артельщики

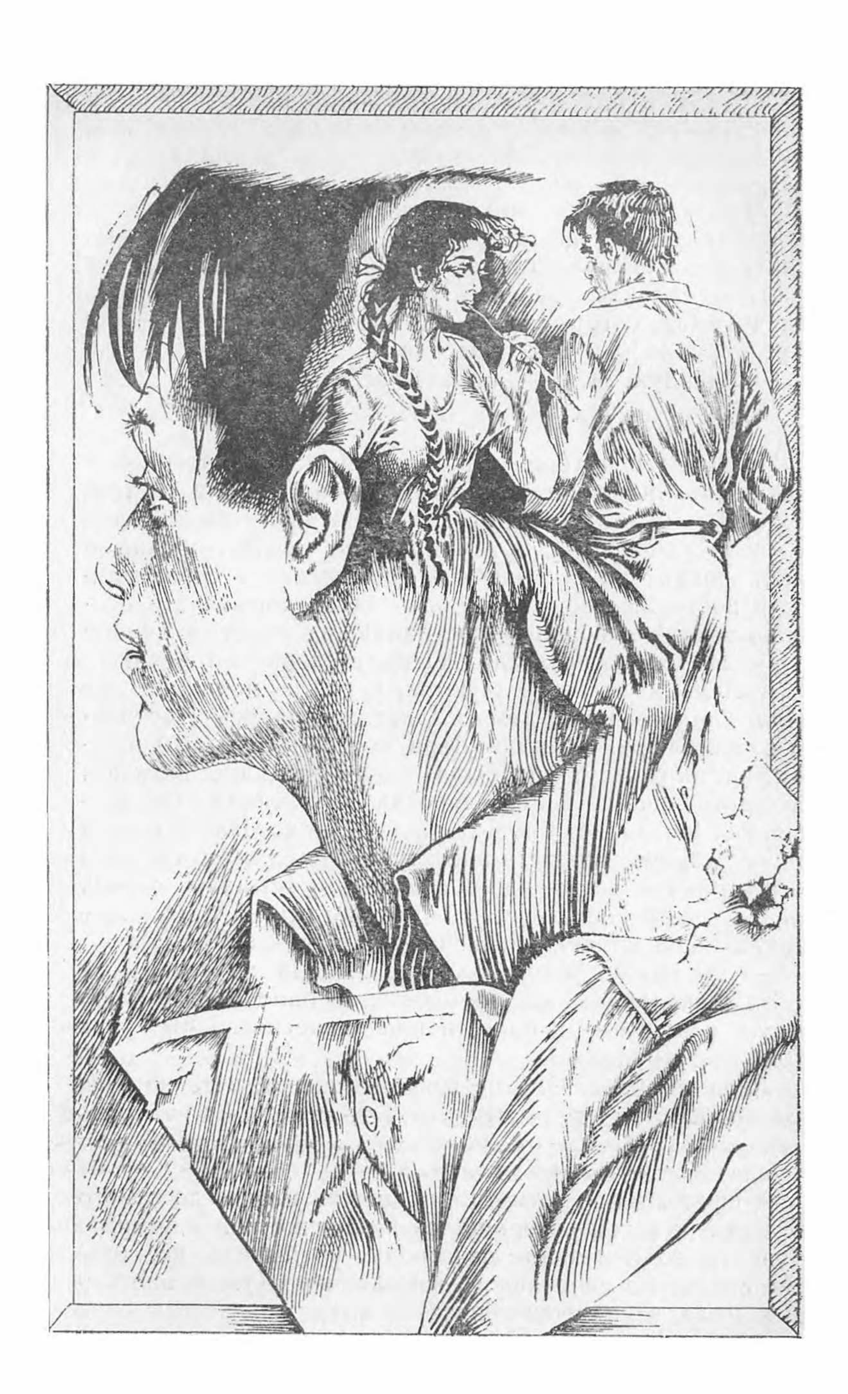
отыскивали место с большой надежностью. Обычно и сам Леша помнил неплохо места ночлегов, но иногда, припоминая, он подолгу топтался, ходил вдоль ручья и с сомнением почесывал в голове: «Тут?.. — и опять топтался: — Иль тут?»

Со временем им уже стало нужно, чтобы он отставал. Так что неудивительно, что шли они легко и скоро и что он никак не мог их догнать, зато уж на пути домой усталые артельщики не спеша шли, не спеша останавливались и намывали там сколько-то песку. Было почти наверняка.

Прошел слух, который, конечно, сильно преувеличивал, раздувал его золотоискательские способности. Возникла слава. За Лешей-маленьким тихо, а затем и в открытую стали следить другие артели. Он не догадывался. Он только заметил, что его стали получше кормить. Дело дошло до ссоры меж артелями, до столкновений. И пока плетущийся за своими по горам и долинам Леша все больше и больше отставал, старатели из разных артелей ссорились из-за него все больше. И однажды после ссоры одни, не желая другим уступить, как это бывает среди людей, убили его.

Я был студентом одного из технических московских вузов и как все, приехавшие с Урала, мучился ностальгией — неудивительно, что иногда хотелось, чтобы вокруг стали горы и подступающие к ним степи. Оказавшемуся в большом городе поначалу все как-то хочется себя (и своего героя) жалеть. Меня грело, что Леша был *маленький,* и что он бегал по горам, и что он не знал о своем даре. Особенно нравилась в тех старых рассказцах размытость финала. Там как бы совсем ничего не говорилось, что стало с убийцами Леши, но дети убийц были прокляты: превратились в камни. Сказочность не была ни вдруг уясненной, ни услужливо пришептанной. Уральские старухи могли бы и сейчас показать камни на склонах гор. Торчащие уродливые, гнутые каменюки, *а вот идем, я тебя им отдам, а вот сейчас тебя им насовсем отдам, уу-ууу, какие... А вот не станешь слушать бабушку?!*

В общежитии я делил комнату с тремя студентами-математиками и, уходя после занятий в публичную библиотеку, оправдывался перед ними, что там мне работается лучше, чем в нашей библиотеке, в студенческой.



Мол, там не отвлекают знакомые лица. Лера (она была москвичка) не жила в общежитии и тоже нет-нет приходила в публичную библиотеку — она появлялась в зале, и, едва ее завидев, я припрятывал свою тетрадку с повестью в ворохи книг и конспектов с лекциями.

Часто мы тут же шли гулять, и я (плавность перехода!) рассказывал ей о тех или иных своих родичах на Урале, о красивых зеленых камнях (валяются прямо под ногами), о горах, о запахах подступающей степи; Лере нравилось, и она вздыхала:

— Завидую тебе — как интересно!

Но чаще, в духе того времени, я, как и многие студенты, говорил о последствиях культа Сталина, о том, как много, оказывается, было злоупотреблений властью, что вот Тухачевский, вот Якир и вот прочие, прочие, и как хорошо, что все наконец раскрылось и справедливость восторжествовала. Я был горяч, порывист и особенно пылко говорил о пострадавших простых людях:

— Ты только представь, Лера, степень их горечи!

А Лера молчала. Я отметил, когда ее молчание уже было, длилось, но не заметил, когда началось. Насколько сочувственно слушала Лера мои рассказы об уральцах, настолько тут она была почему-то насторожена: словно бы еще не вполне доросла до смелости этих разговоров. Но, может быть, дорастать не хотела? Мы шли вокруг корпусов нашего института, где ели, выгнув свои симметричные ветви, вдруг с шорохом осыпали с них снег. Свежий снег хрустел и под ногами. А чуть далее стояла наша аллея заснеженных молодых топольков.

— Ты только подумай, Лера, сколько лет воевать за революцию, отдать ей молодость, лучшие годы, отдать мысли и душу — и понести наказание ни за что! вот боль, вот страдание!

Лера молчала. Она не возражала, нет, нет, но и не поддерживала.

Я провожал ее до метро, провожал иногда до самого их дома, а затем возвращался в общежитие. В комнате студенты вели поздние разговоры, но бывало, все трое уже спали. Из спортивного чемоданчика (тогда они были в моде, взамен портфелей) я выгружал в стол свои тетради, конспекты. А тетрадку с повестью, чтобы не

попалась случайно на глаза, тихо запрятывал на свою полку в шкафу, в тот угол, где стопкой были сложены три мои майки.

Безымянка-гора — это скорее небольшое плоскогорье, долго и плоско подымающееся взгорье, которое я помнил с детства. Гора-змея, и Заяц-гора, и просто гора Камень, и еще была известная гора Глинка, бок ее бело-желт, и после того как просыхал ливень, там без конца скребли и стесывали размягченную глину. Но из всех них только одна, тянущаяся и так долго подымающаяся гора, что и на гору не походила, осталась безымянной. И все же она была горой. И если кто шел по ней наверх, уже через полчаса пути очень хорошо чувствовал и слышал ногами, спиной, что это не взгорье и не склон — гора.

И однажды отставший Леша-маленький вдруг обрадовался, увидев на горе поднимающуюся группку людей, артель. И заспешил.

Но людей там не было. Обман этой горы известен — гора была не просто полога, но еще и волниста, в такой степени ровно волниста, что сразу и легко она напоминала наклоненную бесконечную стиральную доску. Меж гребней этой волнистости росли кой-какие кусты, шевелящиеся острые их верхушки и создавали эффект идущих людей. Казалось, люди идут и идут, подымаясь по Безымянке. От покачиваний при шаге верхушки далеких кустов также чуть выглядывали и, выглянув, немедленно смещались вперед, двигались. Человек останавливался, не веря глазам. И картина сразу замирала: никого. Но тогда срабатывало марево. Волнистость горы, вероятно, гнала неровно прогретый ток воздуха — теплый воздух изгибался, гнулся на живых верхушках кустов, и вновь казалось, что там люди, артель.

Леша спешил, но и артель уходила, они шли один за одним. Он стал. Артель тоже стояла. Он кричал им: «Э-эээй! Э-ээй!..» — и никто из них головы не повернул. Стояли. Но едва он шагнул, артель тут же двинулась вперед.

Я так тщательно описывал состояние, в котором Леша-маленький спешит за почудившейся ему артелью, а групповой мираж то замирает, то движется вновь, я так сопереживал, что это чувство человека, который отстал и догоняет, вошло в меня неприметно и вошло, по-видимому, глубоко и значаще. (И гораздо прежде, чем я его в себе осознал. Чувство пришло загодя. Такое бывает.)

Он не понимал, что он стал нужен. Он не видел себя ни из своего прошлого, ни из нынешнего, а замечательным даром своим он, конечно, не мог и не умел (по детскости своей, по малости ума) ни разбогатеть, ни определить жизнь. Но кормили его теперь лучше и неплохо одевали, дали сапоги; Егор Федяич охотно брал его в артель, и как только сходил снег и погода позволяла, они шли через горы и в обход по долинам, шли с ним бок о бок и даже помогали ему идти, если крутизна или брод реки. Но ранним утром сомлевшего в тепле (он очень в пути выматывался, уставал) они бросали его и уходили вперед. Он, бедный, ужасался, просыпаясь, ведь он им теперь свой, ведь они вроде бы ладят, говорят с ним теперь куда ласковее — да как же они снова его бросают? за что?! Уже было успокоившийся и уже поверивший, как все слабые духом, что отныне его любят и будут любить всегда, он вдруг просыпался, оглядывался поверх остывшего костра, и сердце ухало: опять бросили, опять один!

Он не знал, что они должны были его бросить, считалось, что его редкий (и пока еще несильный) дар пробуждается именно в одиночестве, в засыпающем, зябком теле. И вскочив с земли, испуганный, клянущий свою переменчивую судьбу, Леша вновь спешил за ними. Но и за весь следующий день догнать их не удавалось; тогда он где-то ночевал, разводил костер, не увязывая никак свой ночлег с тем, что на обратном пути именно здесь они остановятся и почти всегда найдут сколько-то золота. Золото тянуло его к себе, но он мог и не осознавать этого. Оно само его тянуло. А некоторые говорили, что он слышит золото своими кривыми руками. Шрамами своих криво сросшихся рук.

Хотя ночлег по его неумелому костровищу найти и отличить нетрудно, все же они говорили ему: когда ночуешь, Леша, замечай или, может, зарубку на кусте сделай, а то воткни ветку, колышек у ручья, чтобы виднее. «А зачем?» — спрашивал он, подымая свои глаза, полные голубого тумана. «Ты не спрашивай, Леша, ты делай!» Так и было: и они намывали себе золота с первым же легким песком. Изредка он слышал и самородки. В старухиных рассказах иной раз оспаривалось, во всяком случае, ставилось под сомнение, что он слышит разбитыми руками. И, скажем, известный уральский самородок О л е н ь (353 грамма; в виде оленя, как бы замершего в высоком прыжке и повернувшего голову

влево) найден был Лешей-маленьким еще до нападения тех волгарей, в возрасте одиннадцати лет, когда он выковырнул желтяк палкой на каком-то привале, вдруг заигравшись и уйдя от старателей по ручью ниже.

В других рассказах оспаривалось и то, что Лешу убили. Его подстерегли, но не убили, а только *вновь отбили* ему руки (уже ранее кривые?), чтобы были там новые шрамы и чтобы наново сросшимися руками он больше уже золота не слышал. Но он слышал. (Ему становились все понятнее поступки взрослых и все менее понятен он сам. Он слышал, вот и всё.) Кстати, и завершались рассказы более естественно -- финалом, в котором отстававший Леша однажды отстал совсем. Он заплутал ночью в горах и к артели не пристал. За перевалом, пройдя леса, будто бы вышел он к хутору староверов. Жил там год. Затем он вроде бы летом объявился с лесосплавщиками возле Листюган. А далее след его теряется.

Отбившийся, он мог попасть к людям, которые не знали ни о его чутких руках, ни о золотой охоте, и понятно, что слухи о нем сами собой кончились.

После его смерти (или после исчезновения?) стали мало-помалу разыскивать и заново проверять места, где когда-то он ночевал, а также те места, где еще совсем мальчонкой таскался за артелью Федяича. В золотоискательстве к тому времени появились новые приспособления, пришла техника грохотов, пришли и новые люди с размахом — эти без смущения перемывали мытый песок и рылись в копаном, дабы копнуть глубже. Были дотошны: расспрашивали бывалых артельщиков, ух, молчуны, сколько верст мог отмахать Леша за день и сколько за ночь и не помнят ли они, с какой стороны костра любил спать подросток. Вдруг стало известно, что на том месте, где взяли артельщики большую глыбу малахита (в трещине которой Леша когда-то уснул), в глубокой вмятине, оставшейся на земле после выкорчеванного камня, копнув, нашли самородки. И вот уже артельные «шлихи» (черный железистый песок после промыва) считались метой. Прошел слух, что этот юнец, этот Леша вовсе не был сонным, и вялым, и ленивым от природы и что отставал он от Федяича и артельщиков вовсе не от слабости и не от лени. Его звало золото, оно беспрерывно его звало, тянуло, манило, путало ему

мозги и клонило в сон. В горах он потому и засыпал на ходу, потому и отставал.

Годы шли, а дошлые купцы и старатели по-прежнему приманивали подарками, хорошей выпивкой или деньгами уже совсем состарившихся тех артельщиков: а вспомни-ка, мил друг, вспомни, дедушка, где и как в молодечестве своем ходили вы с покойным Егором Федяичем, когда был с вами и ночевал ваш младший артельщик Леша?.. Не места ночлегов, а хотя бы тропу указать — и то было много, и то сулило удачу и успех. И какой-нибудь старец лет под девяносто уже плохо видел и уже совсем ничего не соображал, но его водили, а даже и несли на руках или на грубо сколоченных носилках через какое-то труднопроходимое место, если отказывали ему его старые ноги, — более полувека спустя! Шумит ручей, идут через ручей человек десять-пятнадцать, и двое, обливаясь потом, несут полуслепого старца. Как вождь племени, старец поднимает руку и слабо иной раз шевелит пальцем: туда, мол, пойдем или вроде туда — сейчас припомню!..

Все стоят на месте и ждут. Шумит ручей. А старик лежит на жестко сбитых носилках и стонет. Забыл, кто он и зачем он здесь. Он думает о новой шапке-ушанке. Он не понимает, почему его все время куда-то несут, тащат, и просится домой: говорит «отпустите меня» — и плачет.

Я рассказывал Лере, что на Урале — в Рудянске, в Каймыке, на Еж-горе — живут такие замечательные люди, крепкие, грубоватые, сильные духом. Я переносил дела легенд в настоящее время и населял округу то лихими, отчаянными шоферами, то (еще лучше!) взрывниками, которые без раздумий жертвовали жизнью ради друга, гибли, горели, задыхались в забоях, и Лера, девушка того романтичного времени, тихим своим голосом восклицала:

— Как это хорошо, как чудесно!

Мы приходили иногда к ним домой, и Лера говорила: мама, мама, послушай, как он рассказывает; и Анна Романовна, обернувшись ко мне, строго смотрела, и я опять про Урал и опять с чувством. И словно бы синие контуры гор, словно бы рядом. Но оттого что меня слушает мама Леры, я волновался и, рассказывая, слова ставил как-то странно, не в порядок или же, излишне и

совсем не по поводу вспыхивая, впадал вдруг в чувствительность.

Анна Романовна уже тогда была седа, лет пятидесяти пяти. Она была немногословна. Иногда мы вместе ужинали; уют малой семьи, Анна Романовна накроет стол, около получаса сидит с нами — затем незаметно уходит.

Но в тот раз она еще не ушла, а я все говорил, какие замечательные люди (характеры!) у нас на Урале, какие они сильные, как они ищут золото и руды, — а какие там сосны, камни, изгибы рек!.. Цикорий с молоком, который так вкусно готовила Анна Романовна, остыл. И нетронутый сыр лежал передо мной — я говорил. И помимовольно уже сносило в незнаемое и немереное русло. Да, мол, там — люди, там — настоящие трудовые руки, а мы...

— А мы — всего лишь студентики, говоруны. Что можем мы? — И тут я чуть поднял свои руки, которые показались мне при вечернем освещении тонкими и слабыми, если не жалкими. — Что можем мы?!

Ностальгический ком подкатил вдруг к самому горлу, и я заплакал. Заплакал явно, со слезами, что было весьма неожиданно (для меня самого тоже). Я, конечно, не всхлипнул более двух раз, но для впечатления и двух вполне хватило. Возникла пауза. В наступившей тишине я сидел за столом и смотрел в свою чашку с остывающим молочным цикорием. Анна Романовна сказала:

— Странный вы мальчик, Гена...

Она понимала, что мне надо помочь как-то выйти из молчания.

— А сыр вы еще не ели. — Она подала, почти вложила мне в руку кусочек сыра и свежайший белый хлеб. Я жевал; от благодарности за сочувствие слезы, как водится, с новой силой подкатили к горлу, но теперь я уже сдержал, отпустило. Я вздохнул с облегчением. Наконец поднял лицо. И даже улыбнулся: вот, мол, как бывает!.. Анна Романовна уже с иной по оттенку (но тоже мягкой) интонацией повторила: — Вы странный, Гена. И вы такой еще смешной мальчик.

Она была сдержанна и была добра.

Однажды Лера поехала к подруге в Подмосковье и поздним вечером должна была вернуться домой, я зво-

нил раз, другой — Анна Романовна отвечала мне, что Леры еще нет. Я звонил и звонил каждый час.

В первом часу ночи, когда от волнения голос у меня уже срывался, Анна Романовна сказала:

— Гена, вы не волнуйтесь. Вероятно, Лера заночевала у тети Вероники.

— Как не волноваться?! Она же такая... она такая... — я не мог подобрать слова.

А Анна Романовна спокойно и по-матерински уверенно продолжила:

— Лера очень самостоятельна.

Я был поражен: я был уверен, что Лера хрупка, нежна, мягка, робеет в разговоре — я такой ее знал и видел, — но при всем том она, оказывается, *самостоятельна.* На следующее утро в институте, пробравшись через весь ряд студентов, как это обычно и бывало, я сел возле Леры. Лекция уже началась. Но студенты еше шумели, рассаживались. Лера коснулась меня плечом, шепнула — здравствуй, но мне ее шепота и прикосновения было мало, я строго спросил: что ж, мол, не позвонила и не успокоила, что заночуешь у тетки? Лера ответила:

— Не могла решиться: ехать домой или не ехать. Я позвонила маме, когда уже ушла последняя электричка.

— Да ты, оказывается, самостоятельна! — с иронией сказал я, после чего словцо у нас стало одним из любимых.

Словцо привилось и у сотоварищей-студентов, с которыми я вместе жил.

Если кто-то из нас вполне невинно говорил, что идет подышать воздухом или, к примеру, пообедать: «А ты, оказывается, самостоятелен!» — успевал сказать ему вслед я, или другой, или третий наш сотоварищ, и все четверо, включая и уходящего подышать, громко и неудержно смеялись, хотя что было в том смешного — не знаю.

В перерывах меж лекциями (и шепотом на лекциях) студенты обсуждали горькую публицистическую статью, вышедшую только что в «Новом мире». Я был как все — я невероятно в тот день разгорячился и даже к вечеру, когда пошел провожать Леру домой, не мог успокоиться. Сродни откровению: мы теперь знали прошлое, но

ведь и прошлое теперь знало нас — и словно бы ждало. (Нам воздается не за узнавание чего-то, а за запоздавшее знание нас самих.)

Мы шли каким-то длинным переулком. Темным. Я говорил о репрессированных и о продолжающейся до сей поры — все еще! — реабилитации. Я пересказывал Лере подробности возрожденных послелагерных судеб, передавал ходившие там и тут слухи, затем сердце мое забилось, защемило, и я заговорил о человеческих страданиях: о жестких нарах, о шмонах, о перекличке среди ночи, — я говорил, пылал, я хотел приобщить ее, втянуть в переживание, но Лера оставалась Лерой, молчаливой, какой была всегда.

В тот вечер я внезапно вспылил. И спросил прямо, требуя ответа:

— Почему ты молчишь?.. Одно из двух: или ты считаешь, что я неискренен, или тебя совсем не трогает то, что я говорю?.. Нет, нет, Лера, ты ответь: трогает тебя это или нет?

И она вдруг обняла меня, прижалась. В переулке было темно. Вот так стоя, прижавшись, — я не видел ее лица, но слышал — шепнула:

— Трогает.

И отстранилась.

И мы опять шли рядом. Я был потрясен этим первым нашим объятием, потерял способность говорить.

Чтение статьи в «Новом мире» продолжалось и на другой день, на лекциях. Помню, чуть опоздавший, я сидел в лекционной аудитории на самой верхотуре; вид оттуда был отличный — и уже на моих глазах голубая книжка журнала попала к Шитову, левая сторона аудитории, скорочтец Шитов минут за пять, если не за три, пробежал глазами и передал дальше, Козловой, она и Млынарова читали вместе, скосив глаза, плюс сверху, вытягивая длинную шею, читал Гаврилец. Передавали журнал вниз — и снова вверх. Иногда вдруг выхватывали из рук. Но лица внешне непроницаемы. Передали Тодольскому, затем Сергееву...

Второй экземпляр, что на правой стороне аудитории, я заметил не сразу, журнал был обернут в обычную разлинованную бумагу и передавался осторожно. Наконец я засек: это было прямо подо мной, через Раненскую, Кожина и Глуховцева журнал двигался строго по

диагонали. Я даже наметил его дальнейшее движение пунктиром: Рогов — Сычев — Оля Ставская. Взаимное их перемещение уже тогда подделывалось под некие две упрощенные судьбы. Левый экземпляр метался, как голубой мотылек, туда-сюда, в то время как правый, неприметный, словно бы замыслил пересечь тихо и без свидетелей все море студенческой аудитории, стремясь шаг за шагом, неуклонно к противоположному берегу. А лектор читал. Затем его сменил другой лектор, всего в тот день было шесть лекционных часов и четыре из них в той же аудитории, что считалось большим удобством.

Некоторые из наиболее старательных наших однокурсников — точнее, однокурсниц — вели дневник; и дневник этот сохранили. Так что сейчас, задним числом я мог бы попытаться более выразительно воспроизвести те дни (с точки зрения студента), если бы не опасался, что хроникальность и сам дух того знакового времени оттеснят Леру и мою любовь к ней. Было же как раз наоборот: любовь оттеснила.

Один лишь штрих.

Я видел, как Твардовский, выходя из редакции «Нового мира», садится в машину — мы пришли туда, к редакции, целой оравой студентов и видели: он вышел, сел в машину. И уехал. Нам, восторженным, ничего больше и не было нужно: только увидеть. Он сказал что-то шоферу — и тот вмиг сорвал машину с места. Мы стояли в пяти шагах. Твардовский и точно сел в машину озабоченно, несколько отрешенно, но, как я узнал уже после, его тяжеловатая посадка и словно бы маховое бросание своего полного тела на подушки сиденья обусловливались его больными ногами.

Он был тогда болен и, вероятно, бледен. Нам же, по молодости, он показался очень белолицым.

Это было у них за ужином. Лера, кажется, молчала. А Анна Романовна на минуту ушла в комнату, а затем вернулась к нам и подала мне фотографию мужчины, не слишком большую, в рамке из легкого белого дерева:

— Это наш Иннокентий Сергеевич — мой муж и Лерин папа. Он уже умер. Он умер *там.* И совсем недавно реабилитирован.

Помню, что я вспыхнул — так нехороши показались мне (рядом с достоинством их молчания) мои бесконечные и навязчивые разговоры о человеческих страданиях. Теперь я неловко вертел фотографию в руках. Растерявшийся, я, кажется, хотел положить ее на стол, на крошки хлеба и сыра, тогда Анна Романовна спокойно и просто вынула ее у меня из рук, унесла. Но сказать я все же успел, хотя и после того, как фотографию из рук забрали, хотя и вслед Анне Романовне, я все же сказал: «Простите меня...»

Муж Анны Романовны, а Лерин папа умер около года назад. После лагеря он бессрочно жил на поселении, жил в небольшом домике некоего железнодорожника (мне показали еще одно фото), там и умер. Лера его не помнила. Анна Романовна рассказывала, что процесс реабилитации непрост, архивы велики (и запущенны) — одно за одним дела тщательно разбирались, и так получилось, что как раз когда дело Иннокентия Сергеевича разобрали, он умер. Бумага о реабилитации пришла только-только. И хорошее письмо пришло от тех, у кого он жил, — мол, помним, за могилкой следим.

И вот предстоящим летом, как только наладится погода, а Лера сдаст сессию, Анна Романовна поедет в те края, она хочет побыть там, где жил и умер ее муж. Лера будет ее сопровождать.

Анна Романовна рассказывала...

Я был, вероятно, потрясен: в несколько минут за обычным тихим ужином материализовались и обрели вдруг конкретность все эмоциональное многословие, высокие слова и пылкие разговоры — мои и моих собратьев студентов. Набухавшая уже прежде виноватость — тоже моя и не моя, смутная, теперь уяснялась. Час был поздний. Я возвращался в общежитие, щеки мои горели.

Я был взволнован еще по одной причине, в сущности, маловажной. Место, где жил и был похоронен отец Леры, называлось Хоня-Десновая, по названию речки. А в рассказах и рассказцах древних старух о Леше, чующем золотой песок, упоминалась также среди разных прочих мест и речка Хоня. И пусть речек и речушек Хонь, тем более Десновых (то есть праворучных — по правую руку), существует немало, все-таки названия

совпадали, а места, где Западная Сибирь соприкасается с Зауральем, были так или иначе близки, совместимы.

Леша-маленький и Лера—*все мое* как-то вдруг сблизилось.

У них уже был назначен день отъезда.

Я тоже должен был на каникулы ехать к своим отцу-матери, я ехал на Урал, а они в Зауралье. В разные дни, но ведь мы ехали в одном направлении.

Отставший от всех прочих и в то же время ранее всех прочих почуявший и нашедший золото, он (Леша) совмещал эти крайние состояния. Он их путал, никак не осознавая. Он жил удивительной жизнью, не зная, что она удивительная, и завидуя обычным людям, шагающим в артели бок о бок и поедающим в срок свою заработанную кашу и свой хлеб.

Но сначала его сбивали запахи. В то утро (он все помнит!) ему шибануло в нос козьей тропой, усеянной темным горошком, глаза Леши еще ничего не различали, глаза не видели — а запах тропы уже давил, душил. Леша уклонился левее, но там сочился дух обломанных веток шиповника, а еще левее, через подступившую степь, бил в нос запах далекой сусличьей норы и первого там выводка, нежный новорожденный запах, с кислинкой сусличьего молока и обветренностью маткиных сосков.

Леша ослеп. Он видел и не видел, весь ушедши в запахи. Наконец, когда зрение стало проясняться, он различил вдали человечьи фигурки — семь подымающихся в гору артельщиков. И кто-то из них обернулся. И крикнул ему впервые это слово:

— Ну ты, отставший!

И даже не обругал его, замедлявшего общий ход. Только крикнул.

Однажды Лера меня пригласила. Она немного смутилась и сказала:

— Приходи к нам с мамой.

Обычно я провожал ее и так долго стоял с ней возле подъезда их дома, что оба мы замерзали и шли к ним

согреться, пить чай. Но тут она вдруг пригласила. Она не сказала «приходи ко мне» или «к нам домой», она именно так сказала, немножко неправильно и очень по-московски, — «к нам с мамой», и, конечно, стало понятно, что сколько я у них ни был, сколько ни пил чай, но вот впервые у них с мамой обо мне всерьез говорено. Готов к разговору я не был. Почти два года наших с Лерой вполне чистых отношений, вероятно, также вмещались в простенькое «к нам с мамой» — я взволновался; и когда шел к ним, без конца курил. Затем мы сидели за чаем, за вкусным чаем, и не на кухне, а в большой их комнате за круглым столом, покрытым нарядной скатертью, с заранее выставленными там тремя чашками на блюдцах и с вкусным сдобным домашним печеньем в вазе. Над столом — лампа с большим абажуром. Лампа нависала ниже, чем обычно, интимнее, что ли, и мягкость освещения была мне приятна. И вот Анна Романовна спросила за чаем: «Лера сказала, что вы уралец, Гена. Вы ведь уралец?» Я подтвердил, я вновь рассказал, откуда родом, кто мои отец и мать, я ведь часто говорил им про Урал — или она не вслушивалась в мои восторженные рассказы?..

— Вы, Гена, расскажите мне о ваших краях, — попросила Анна Романовна. — Мой муж, отец Леры, был в свое время репрессирован. Он жил и умер как раз на границе Западной Сибири и Зауралья. Я вчера нашла эти места на карте.

После некоторой паузы она сказала:

— Он реабилитирован. Но мы поздно узнали.

Она сказала просто, спокойно. Сказала так, как если бы она сказала о чае и о печенье на нашем столе. И тут я вспыхнул, почувствовав себя юнцом, который уже слишком много наговорил о человеческих страданиях (хорошо хоть не ей, а Лере, Лера простит). И тем же ровным голосом Анна Романовна сказала теперь о чае:

— Остыл?.. Не подлить ли горячего, Гена?

А потом она принесла фотографию мужа.

Дождавшись реабилитации и получив соответствующие документы — «Теперь у меня все права!» — Анна Романовна поехала в Западную Сибирь, в поселок Новостройный, от которого, как ей сказали знающие люди, рукой подать и до Хони-Десновой. Она поехала,

чтобы «поправить могилу и просто побыть там». С ней поехала Лера.

К этим отъездным дням Лера ничуть не переменилась: была по-прежнему милая, скромная, даже молчаливая девушка, с которой мы ходили вместе в театр и в кино и которую на обратном пути в темноте переулка я иногда обнимал. Я позволял себе обнять ее в полутьме кинотеатра, такое бывало совсем редко, и от редкости этой у нас обоих захватывало дух. Лера начинала тихо дрожать, дрожь передавалась мне. Мы были вместе, как спеленутые, — и вместе невидяще мы продолжали смотреть на экран.

Лере разрешили досрочно сдать сессию, и они уехали.

Они уехали на две недели, но прошел уже месяц, и пошел уже второй месяц (это был июнь, к этому времени уже и я сдал экзамены), а их все не было.

В дни их отъезда я так им сопереживал, что, едва проводив на вокзал Анну Романовну и Леру, заказал разговор с домом — явившись на переговорный пункт и дождавшись своих пяти минут, с первых же слов я сказал отцу, что маме, мол, пока не говори, маме после, а тебе я скажу сейчас, что я люблю. Я люблю милую и замечательную девушку Леру — Валерию, — я люблю и женюсь на ней, поскольку и она меня любит. Вот только когда защемило, заболело.

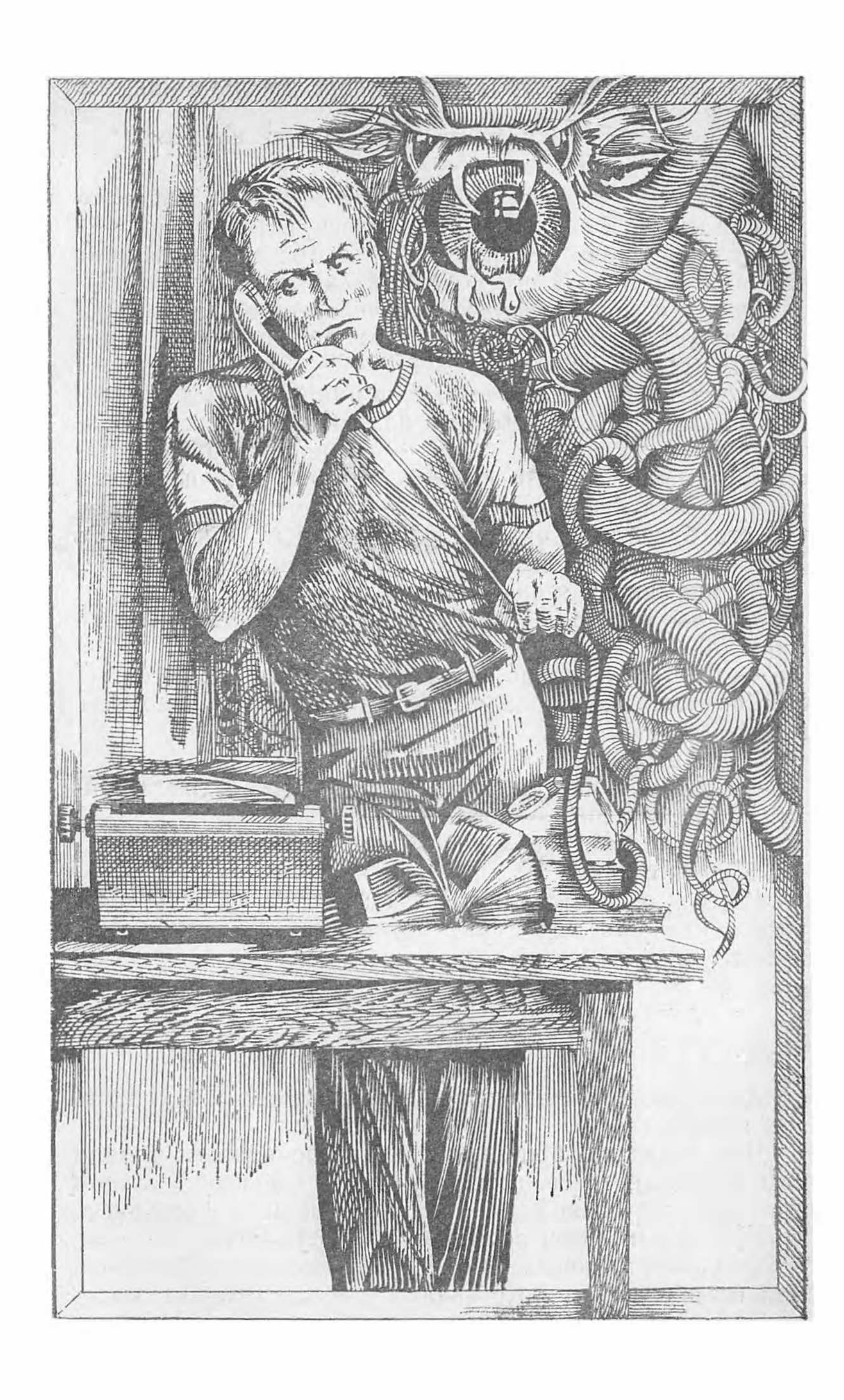
В ответ мой отец (ему было тогда тоже около 55 лет, но в отличие от Анны Романовны это был крепкий, сильный мужчина, уверенный в себе и в своей жизни) громко и весело захохотал. Я не понял. Я было решил, что это помехи на телефонной линии, но нет — он хохотал, и смех меня больно задел.

— Ладно, ладно, — сказал он. — Не обижайся. Просто ты еще мальчишка...

Смысл был простой — приезжай, мол, сын, и тогда поговорим, если только ты и твоя Лера сами к тому времени не передумаете.

Сдав сессию, я приехал.

Когда я, теперь уже глаза в глаза и не сгоряча, и вполне серьезно сообщил, что женюсь, отец промолчал



и ушел покурить. А мама только переспросила, как имя невесты.

Прошли годы, мама умерла; и прошли еще и еще годы. Оставшийся один отец перебрался в Подмосковье — живет он от меня недалеко, мы ладим; я езжу к нему время от времени и его подбадриваю. Когда я его подбадриваю и когда твержу, что человек не должен падать духом, он мне говорит: а ты знаешь, сколько мне лет? То-то!

Вчера вновь сказал ему: а помнишь, я был студентом, сопляком был и пытался написать повесть. Старинная уральская легенда была — помнишь? Там был такой мальчишка, золотоискатель, который в точности как ты просыпался среди ночи с сердцебиением и в ужасе, что его бросили и что он отстал... Но отец не помнит. Какая еще повесть? Какой такой мальчишка?

Я напоминаю: я еще хотел тогда жениться, я сказал тебе, а ты хохотал. Ты был горазд хохотать, батя, помнишь?..

— Да ты же давно женат, — говорит мой отец. — У тебя уже дети большие. У тебя давным-давно есть жена.

Он не помнит.

— Какая, к чертям, легенда, чуть что — уже легенда! Байка, что ли?! — сердится он.

— Ну да, да, это я так уважительно сказал, извини. Конечно, байка.

(Врачи посоветовали мне как можно больше говорить с ним про его сны, обговаривать их, лишать тайны.)

3

Днем он, в общем, держится. Ночами — вот когда ему плохо.

Что поделать! Мы вновь пошли по врачам: ходили там и ходили здесь, понанесли гору рецептов, следом принесли гору лекарств — успокаивающих, снотворных, жизнетворных. Отец засыпает, но среди ночи, в ту короткую минуту, когда снотворное перестает действовать или ослабевает, сон-отставание его подстерегает, нападает, наваливается, и тут же отец в страхе покрывается

потом, делается весь мокр, кричит, зовет. Вновь я предложил пожить у меня, но он вновь отказался: он не хочет кричать ночами среди спящей моей семьи.

Платный профессор, к которому отец ходил тайно, без меня, дал ему совет (тот же, что и мне): как можно больше рассказывать о сновидении близкому человеку и *выговорить* весь свой сон. В сущности, мы и раньше только этим и занимались. Но теперь по телефону мы говорим и полчаса, и час, и, если слушать со стороны, нас можно принять за сумасшедших.

Врач считает, что мы на верном пути.

Отец всегда жил, работал, строил (он строитель) вне снов, он жил той жизнью, что никак и никаким образом не соприкасалась со снами И когда жизнь стала кончаться, снам оказалось просто необходимо хоть как-то пометить его. И они пометили.

— Но я не заслужил таких мучений! — возмущается он.

Духовная природа всякого отставания, вероятно, предполагает норму; предполагает, что где-то означена и существует норма, которая не допускает сомнений, что в ней, и только в ней, суть и смысл. И столь неубедительна правота их частных случаев. Но быть в норме, быть как все — это, что ли, так зовет нас и так манит?

Он только и думает, отбиваясь от снов: отставший, отставший, отставший... Ему может не нравиться это ночное свойство, оно может казаться ему случайным или неслучайным, но оно уже с ним, и он уже навсегда с этими снами связан.

И объяви ему, что с нынешней ночи он опять как все люди, перестань его мучить и преследовать сны, он обрадуется, он на время поднимет голову, но вскоре заскорбит, притихнет, может быть, даже затоскует. Где мои сны, скажет.

Что же есть правда моей жизни — то, что я всю жизнь строил? или то, что меня со всеми моими стройками в конце концов одолели сны? — спрашивает отец уже горячо, категорично.

Но ведь тут нет вопроса.

Дом в Хоне-Десновой, где жила семья железнодорожника, муж, жена и взрослые дети, был добротный, большой; когда две недели гостеванья истекли, Анна Романовна вновь переговорила с хозяйкой: она, мол, с удовольствием поживет здесь еще, если они не против. Небольшая комнатка оказалась после смерти мужа Анны Романовны незанятой, опустевшей. В ней стал было жить второй сын железнодорожника, но как раз он уехал на стройку вслед за старшим — они так и уезжали, один за другим; и таким вот образом Анна Романовна поселилась там, где одиноко жил, а затем умер ее муж. В комнатке она постаралась не трогать с места предметы его обихода. Его пепельница. Его нож, чемодан, его книги. Она ходила на его могилу и подолгу, часами там сидела. Она стала молчалива. Об отъезде уже не думала. И получилось, что она прижилась.

Лера испугалась, что с матерью какая-то тихая беда. Она пробовала поговорить с ней так и этак, говорила с железнодорожником и с его женой, но вот, поохав и повздыхав, все вместе они решили, что пусть Анна Романовна живет как живет. Пенсия будет переводиться сюда, а уволится с работы она письмом. Больше того, железнодорожник в своих частых разъездах будет однажды в Москве и попытается оформить ей, хотя и небольшую, пенсию за мужа — ей было теперь положено, документы в порядке.

Единственное, что беспокоило, — это второй сын железнодорожника, малый с дурным, заметно захватническим характером, он как-то вдруг вернулся и весь вечер бушевал: мол, с какой стати заняли его комнату. Но, побушевав, скоро уехал. Он написал, правда, одно за одним два грозных письма, но затем где-то на стройке определился, увяз уже окончательно и затих.

Прошел месяц, другой. Лера не жила с матерью в Хоне-Десновой, она жила в поселке Новостройном, что примерно в сорока — пятидесяти километрах. Лера устраивалась там на работу и возвращаться в институт не собиралась. И, как оказалось, не только потому, что хотела быть возле одинокой и разом постаревшей матери.

Когда Лера не ответила на мое письмо, которое я послал в Новостройный «до востребования», я не встревожился. Я спокойно ждал начала занятий в институте,

чтобы прибыть в Москву и, как всегда пробравшись через ряды сокурсников, сесть возле Леры в лекционной аудитории, а уж там (шепотом) расспросить ее, как и что. После лекций, проводив Леру, я поднимусь к ним домой, и вот Лера и Анна Романовна за чаем с печеньем уже подробно расскажут об Иннокентии Сергеевиче — о том, что они там видели и что узнали. Кажется, я даже предчувствовал, как приятно будет в тот час пить у них чай — сидеть за круглым столом, под низко висящей неяркой лампой, протягивая раз за разом руку к печенью, что в расписной небольшой вазе.

Как вдруг я получил от Леры письмо, совсем краткое и показавшееся мне грубоватым. Лера писала, что наконец-то она «живет настоящей жизнью». И что я был совершенно прав, стократ прав, когда говорил ей о том, что мы слюнтяи и что живем жизнью наперед запрограммированных жалких специалистов, в то время как настоящая жизнь с запахами, звуками, красками проходит от нас вдали.

На том письмо и заканчивалось, как бы обрывалось, но в конце была еще более краткая приписка, которая меня больно ударила: я и влюбилась тут тоже по-настоящему! — приписала Лера, поставив восклицательный знак очень ясно и четко.

В тот же вечер я помчался на наш небольшой вокзал и отправился в Новостройный. По расстоянию да и по карте (поскольку ехать с Урала на Урал) было туда не слишком далеко, но, поскольку ехать в Зауралье приходилось местным поездом, с пересадкой и с дополнительным ожиданием, связанным с четными и нечетными днями, это оказалось вовсе не близко. Я добирался почти вдвое больше, чем до далекой Москвы.

Сердце мое ныло; я старался как-то отвлечься, не думать и через ноющую боль занимал себя (и словно бы уже утешал) мыслью о приобщенности; так или не так, но теперь я тоже, как и Лера, буду т а м и буду приобщен к тем людям, к той их страдальческой жизни. Старый вагон тяжело клацал, затем он так неохотно скрежетал при разгоне, а разогнавшись — чугунно, пугающе гудел. Так и было: я спешил к Лере, а выбранный мной в герои Леша-маленький спешил догнать ушедшую через горы старательскую артель. Каждый в своем времени, мы оба спешили.

Уже в первый день в Новостройном я мог бы понять, что для Леры выбор в любви был определен и в какой-то мере подготовлен моими же горячечными разговорами. Тот, кого Лера выбрала, был шумный мужчина лет тридцати, недавно отсидевший в лагере, а сейчас работавший на поселении шофером. Уже в том письме Лера словно бы переступила, словно бы самое себя. Буянистый молодой мужик, грубоватый и с обветренным медным лицом, он был даже красив. Нам (для наших студенческих лет и воззрений) он казался человеком пожившим, взрослым и, несомненно, пострадавшим. Для всех прочих, живущих в поселке, он был попросту бывший зек Вася.

Мы его, конечно, звали Василием.

Лера лишь чуть смутилась, когда я приехал, — она не таилась, она вся была в новом своем увлечении и восхищенно описывала мне Василия и его жизнь; конечно, Василий не был репрессирован — но все равно он был несколько лет в лагере, страдал — верно?.. Лера уверяла меня, что я пойму ее выбор, как только его увижу. Поклонение ее было самозабвенно, чувство — искренно, а с былым (с нашим былым) было покончено.

— А-а, это друг твой, — сказал Василий; он вылез из кабины и затопал к умывальнику мыть руки после того, как несколько часов крутил баранку.

И добавил (оттуда):

— Дружба — дело святое.

А мы, переминаясь с ноги на ногу, стояли возле его грузовика. И ведь точно! Я уже тоже смотрел на Василия ее глазами. Меня восхищали обветренное лицо, черная от загара шея и в особенности крепкие руки, здоровенные костяшки пальцев, мозоли, ухватистая кисть — весь его облик шоферюги, в сапогах и в ватнике, был прекрасен. Чуть-чуть подванивало не то перегаром, не то беспрерывным курением махры, но ведь мужчина, мужик, и это только усиливало колорит.

Лера пересказала мне свой первый разговор с Василием после того, как он случайно подвез ее на грузовике. Была ночь. Бывший зек, а уже полгода как поселенец без права дальнего выезда, Василий подвез Леру и высадил вблизи своего барака: тут он жил, тут

должен был отослаться после рейса. А она, восторженная и говорливая, в те минуты еще и не думала о ночлеге. Ночь. Затемненный барак. Двое стоят возле машины.

Лера:

— И вы спали на нарах?

— Когда отбывал?.. Ну ясно, на нарах. Где же там еще спать.

Лера:

— Боже мой! Как я сочувствую вам!.. Вы настоящий человек, Василий!

Он:

— Я Васька, я простой шоферюга.

Она:

— Не надо. Пожалуйста, не надо со мной так, Василий.

Он нет-нет позевывал, показывая ей, что груб, прост и что немыслимо утомлен (рейс и правда был долгим, трудным):

— Катились бы вы отсюда, милая девушка, в свои столицы. Нечего вам тут дурью маяться.

Василий говорил так, как говорит в кино положительный работяга, красивый, не ущербный, с молодой интеллигентной женщиной (с учительницей литературы или с корреспондентом газеты, решившей написать про него статью).

Он (повторяет с силой):

— Катитесь отсюда.

Лера (улыбается. Нежно повторяет его имя):

— Василий...

Он:

— Васька.

Она (еще мягче, нежнее):

— Василий.

Они стоят возле темного барака. Вверху — звезды, ночное небо. Она не хочет уходить. Она не хочет вот так расстаться. Но мотор выключен. Дверца машины захлопнута. Василий постучал сапогом по шинам, осмотрел и — не прощаясь с девицей, без всяких там «до свиданья» — пошел в барак. Плевать он на все хотел. Он и правда еле держался на ногах.

— Василий... Вы... вы куда?

— Спать.

Она так и осталась стоять возле машины одна. Он даже не спросил, где она заночует. А пусть, где хочет. Он ушел, глаза его совсем слипались.

Ночевала Лера той ночью в поселковской конторке. Она долго ходила кругами возле сторожа с берданкой, смотрела на него, смотрела — и жалобно наконец попросилась. Она спала там, сидя на стуле.

Лера рассказывала о себе, рассказывала восторженно о Василии, но что-то стояло за ней, за ее спиной, какие-то тени, и словно бы спохватившись, я спросил:

— А как Анна Романовна?

— Мама?.. Мама в Хоне-Десновой. — И Лера (голос ее упал) рассказала, что Анна Романовна поселилась в Хоне-Десновой сначала временно, а теперь вот прижилась, уезжать не хочет и никак ее не забрать — все ходит и ходит на могилу. Лера ее там навещает. Иногда Лера живет с ней день, и другой, и третий подряд, но, по сути, маме она там не нужна.

В тот же день Лера повезла меня в Хоню-Десновую. Сначала мы пришли в дом железнодорожника Храпова, но Анны Романовны там не было. Тогда Лера сразу и без колебаний, как в хорошо знакомое место, повела меня через мосток и в горы. Шли мы около получаса. Я увидел у начинающегося взгорья четыре огражденные могилы, и возле одной — старушку, сидящую на постеленной газете. Я увидел ее издалека. Потом ближе. Старушка сидела там и что-то шептала. (Анна Романовна очень постарела.) Когда мы приблизились и подошли, она кивнула — она узнала меня, поздоровалась. Но больше ни слова не сказала.

Потом мы с Лерой ушли, а старушка осталась возле могилы.

Они были с ввалившимися глазами, черные от усталости. Они мыли песок без удачи, мыли второй, третий, четвертый день — и все пусто, пусто — и потому, как только увидели приближающегося дурачка, который мычит и улыбается от радости, что отыскал их, они стали его гнать. Злость (как это бывает) нашла себе простой выход. Один — в спину, и другой — в спину, они гнали его ударами, пинками, от которых он увертывался и закрывал ладонями лицо, голову. «Дя-иньки! Дя-иньки! — уже не мычал, кричал он. — За что ж

такое, дя-иньки?» Они отогнали его за пригорок. Но он сел там, шагах в полста от них, и, сидя тихо, скулил:

«Дя-иньки, за что ж мне такое? я же ни в чем не виноватый, сирота я».

А они работали, мыли песок. Вечерело.

Был уже закат. А он там все сидел и выл (и сводил их с ума) — я же ни в чем не виноватый, я же ничего такого не сделал, я буду мыть песок, как все, Егор Федяич, ну прости-ни меня господа нашего ради-и... — выл, скулил несчастный мальчишка.

«Пш-шел отсюда!» — один из молодых артельщиков не вынес его причитаний и погнался, схватив палку. Леша видел, что тот приближается, и скулил, скулил, думал, пусть ударит, пусть прибьет, все равно ж один конец, волки сожрут. Но когда артельщик был шагах в десяти с занесенной на бегу палкой, Леша вскочил, взвизгнул в ужасе и кинулся бежать.

Он бежал, мотая сумкой, что через плечо; сумка мешала, но в ней сколько-то еды, не мог он ее бросить,— это он уже понимал. Преследователь с палкой отстал, но Леша бежал, все еще закрывая голову своими кривыми руками, бежал далеко, не сознавая куда, всхлипывал, плакал, мама моя, мама моя, повторял он, пусть так и будет, пусть ночь, пусть сожрут волки, не хочу я жить больше, мама моя, услышь ты меня с неба, ласковая, скажи мне хоть что-нибудь. Болело плечо, болел копчик, в который пнули сапогом из кирзы. Он знал, что боль пройдет. Он знал и то, что мама не услышит. Он не знал лишь своей вины, не понимал малым умом, что артельщикам он только и нужен, когда он отставший, когда он разведет где-то костерок, и заночует один, и поможет найти золото, которого им так не хватает в жизни.

Поздним вечером пастухи садились у только что разведенного костра. Пастухи потирали усталые ноги, раскладывали у огня еду и вдруг оборачивались на шорох в кустах, на отдаленный шум (словно бы на пробегающее там животное—кабан? волк?) — и вглядывались в густую темноту долины. Проследив, они наконец переводили глаза на взгорье за удаляющейся фигурой подростка.

— А-аа. Это тот, который из артели, чующий! Ишь, как опять от своих отбился! — говорили пастухи про него. Смотрели вслед. Сочувствовали. И еще удобнее усаживались у огня.

А он не отбился. Он шел за артельщиками уже три дня, упрямо и твердо шел со своей болтающейся на боку котомкой. Он уже был не мальчонка. Он уже не жил краткой обидой. Ночью он разводил костер, стелил лапник, ужинал — и непременно делал, как уговаривались, зарубку на кусте (или возле ручья вбивал колышек, или складывал три-четыре камня в линию на Полярную звезду) и лишь тогда валился спать. Устал. Но спал Леша неспокойно, нервно, со вскриками, с отчаянным мотаньем головой во сне, — и вдруг, проснувшийся среди ночи, он решал с внезапным страхом, что опять (опять, господи!) он один, опять отставший, да, да, он замерзнет, погибнет от голода. По какому-то особому сплетению своей психики он отбрасывался на несколько лет назад, превращался из подростка, из чующего юнца опять в отстающего мальчишку, который может погибнуть. И хотя в его котомке, в сумке обычно были хлеб, сало, огурцы, ему казалось среди ночи, что он голоден, очень голоден, он оказывался в детстве, в раннем своем детстве, и потому вскакивал, затаптывал костерок, подхватывал котомку и, умирая от голода, задыхаясь от ночного страха и одиночества, бежал, бежал, торопился нагнать — и вот в эту беспокойную ночь (в третью или в четвертую ночь!), взбежав на гору, он видел наконец их костер. Из последних сил он спускался с горы. Он подбегал к ним ближе — артельщики спали. Ночь как ночь. И только костровой, сидя у огня, чутко дремал.

И подойдя к спящим, Леша остывал от страха и соображал наконец, что он уже не мальчик, а подросток, юноша и что в котомке у него еда, и чего ж было ночью так бежать и нагонять, задыхаясь. Он сбавлял шаг, вроде как он просто отыскал своих. Подошел не спеша. Заговорил с тем, который дремал сидя:

— Костер я увидел — вот, думаю, наши. Теплая ночь какая!

— Есть будешь?

— Да, поем. Положи мне каши немного...

— Кулеш сегодня.

Он поел кулеша и вот уже совсем успокоился. Поискал место у костра, чтобы лечь. И правда, было нехолодно: теплая ночь. Огонь тлел. Костровой опять ссутулился. Артельщики похрапывали. В привычной повторяемости бытия Леша на миг завис, как в потоке воздуха. Леша соображал — не прилечь ли ему в сто-

ронке, здесь, что ли? — и сердце в ответ все слышнее постукивало: *здесь, здесь.*

По отношению к Леше в артели не было особенного там недовольства или особенной жестокости: они шли, они прежде всего шли в поиск, шли дальше и дальше, и в тяготах пути не очень-то помнили или думали они о его удачливости — они сами шли, они сами искали, сами рыли, сами выковыривали золотоносный кварц, дробили, промывали и на труд не жаловались, разве что ближе к закату, к концу дня чертыхались они, что дорога одна глина и что начались, мол, болезни и где, мол, тот сонливый, опять его нет, отстал, не сожрали ли его волки — жалко убогого!.. Обычно они вспоминали о его даре только на обратном пути, когда уже у всей артели ломило спину, когда болели сбитые ноги, руки, когда хотелось домой, к семье, и вдруг верилось в чистое нетронутое золото, что лежит у ручья и ждет. И кто-то говорил — а не попробуем ли помыть там, где Лешка спал? все одно идти обратной дорогой, и ведь говорят, он своими культяшками *слышит?*

Сонный, теплый клубок артельных тел завозился, заворочался, раздавались сердитые голоса и отдельные крики: «Да он слабоумный, он же простой дурень!.. Не понимает?.. А зато где тепло — он понимает?» — недовольные тем, что среди ночи разбудили, все они орали друг на друга и, конечно, на Лешу, давая ему тычки и подзатыльники. Но больше всех в ту ночь шумел сам Егор Федяич — а я-то думаю, кто это к моей бабе лезет? Нырск — и прямо к ней в душу, прямо головой туда лезет и лезет через тулупы. «Я искал, где теплее...» — оправдывался Леша. Он и не помышлял их будить, осень, ветер свистит, он лез и лез, зазябший, в гущу тел, пока не ткнулся куда-то, где было тепло. «Ну ясно: теплее, чем там у бабы, нигде не бывает!» — и захохотали артельщики, а он не понимал, хотел спать.

4

Анна Романовна спрашивала у хозяйки, толстой и малоподвижной железнодорожницы, не надо ли чего подшить, поштопать, а та, женщина сердобольная, на-

ходила ей и давала сначала что-то свое или мужнино, а затем рубашки и майки своих сыновей. Началось с того, что Анна Романовна поселилась в комнатке, ходила на могилу, дышала воздухом, каким дышал тут ее муж много лет, более или менее было понятно, но затем она стала шить (сначала и это было обычно, понятно), но оказалось, что Анна Романовна шьет беспрерывно: она штопала чулки, носки, пришивала какие-то карманы, потом, всплеснув руками, пришила-де плохо, отпарывала или распускала швы — и снова шила.

Лера тем временем влюбленно ходила за своим Василием. «Тебе-то что?» — спросила она меня. Но я и не упрекал, и характерно, что в полном согласии с той же любовью к пострадавшим я, как и Лера, не только не стал выискивать в Василии теневые стороны — я стал уважать его, даже восхищаться.

Между тем Вася был сам по себе не плох и не хорош. Зек как зек, который сначала искренне раскаялся, но затем на поселении очень скоро смекнул, что, в общем, он уже на свободе, что все позади, и распрямил плечи; ну и слегка обнаглел, не без того.

В поселке Новостройном, несмотря на романтику названия, строили совсем мало. Был там карьер, была работа на карьере, и было штук шесть бараков да полусотня частных домишек. Вот и все. Было, правда, кафе, где глуховато играла радиола тех времен, по сути — забегаловка с вывеской «Кафе», плохонькая и несытная, в которую, однако, жителей из частных домов пускали, а барачных, то есть бывших зеков, — нет. Но и, помимо кафе, Василий умел в те времена добыть выпивку, проскочив проверочный пункт где-то на въезде. Выпивший, он воевал с местными жителями, а также с милиционерами (их было здесь несколько — присмотр, так сказать), милиционеров Василий особенно не терпел и обзывал их, узнав это слово после знакомства с Лерой, интеллектуалами, что приводило и меня, и Леру в невыразимый восторг.

Он так и кричал им вместо приветствия:

— Ну, вы!.. Интеллектуалы!

И, конечно, Лера за него боялась, там и тут пытаясь смягчить его боевой характер. Сама дрожа зайчонком, она лезла в самую гущу свары. Висла на руках, оттаскивала его в сторону из барачной или из уличной перебранки, уговаривала: «Василий, но ты же совсем не такой. Ты *просто озлобился*. Перестань, Василий!» — или:

«Ты умный, ты чуткий, Василий. Но ты слишком озлобился, прекрати!» — на что он, как водится, кричал: «Да пошла бы ты в болото!»

Василий закапывался в скорый романчик с поварихой или вдруг куда-то исчезал с потребсоюзовской мясистой агентшей, Лера находила, вытаскивала его, пьяного, из прокуренной комнатушки, уводила от этих женщин с простецкой и неконкурентной внешностью, отпаивала чаем, приводила в себя и все повторяла: «Василий. Ты опять озлобился? Тебе надо стать добрее, Василий...» — Лера жила им, дышала им. Она сумела не только полюбить, но и перемениться.

По дороге клубилась пыль — это Вася! Несколько раз разбивавшийся, но не сбавлявший скорости на жутких дорогах, Василий словно бы метался в ограниченном пространстве без права выскочить хотя бы на десять минут за черту поселка Новостройный, за пределы карьера и обогатительной фабрики, что в ста километрах. Полустепная местность пылила на весь горизонт — это мчал бывший зек Вася. А Лера его ждала. Зачастую на овальном пригорке с кустами шиповника, рядом с Лерой, ждал его я.

— Эх, Гешка, — говорил Василий, выпрыгнув из машины. — Мать твою так, да разве ж ты знаешь, что такое субботний шмон!

Он пожимал мне руку своей промасленной правой. Левой рукой он обнимал Леру.

Особенно нравилось, когда Василий рассказывал про нары.

Про то, как медленно идут дни и человек, мол, на нарах невыносимо мучится — на нарах человек так ясно помнит свой далекий родной городишко, родные места, родные лица, пивную палатку и любимых друзей. А как быть?.. А никак — надо работать, вкалывать. Смотришь иной раз на конвоира, ветер воет, а конвоир с тоски поводит карабином туда-сюда и опять туда-сюда — тоже зябнет, ежится, снег да снег, да еще псы сторожевые вокруг зоны ходят и ходят...

Лера:

— Я еще в Москве предчувствовала, Василий. Я знала, что ты на нарах — и мне не нужен был вуз, не нужны слюнявые студенты, не нужны лекции, не нужны фестивальные итальянские фильмы. Я знала, что снег

и что в зоне ты сейчас выглянул из барака, глядишь на серое небо...

Он:

— Сползу, бывает, с нар. Вспомню вдруг песню про черного ворона. На душе тоска. И думаю: эх, ворон, ворон...

Василий был грабителем по пьянке — то есть скорее случайным, чем корыстным. Где-то там, в родном своем городке, изредка нападал он, будучи пьяным, на ночных прохожих, снимал часы и колечки. Ему дали восемь лет. Четыре он отбыл в лагере, а еще четыре отбывал на поселении, без права выезда из поселка Новостройный.

Он и здесь любил побуянить, поорать, помахать кулаками, что не выходило, впрочем, за рамки поселковского быта.

— Это мой друг, — так Лера назвала меня Василию, и мы пожали друг другу руки изо всех сил.

Василий сказал:

— Дружба — это хорошо. Дружба — дело святое.

Он открыл мотор и стал копаться в нутре своей жуткой, невыносимо грязной и разбитой грузовой машины. Он мечтал от нее избавиться. Он мечтал наткнуться со всего маху на придорожный столб, но так, чтоб самому успеть дверцу открыть и выпрыгнуть. «Дадут мне новую, как ты думаешь? в таком вот хитрованном случае, если совсем не пьяный и прямо в столб, — дадут?» — спрашивал Василий, и я в тон ему, баском отвечал: «Должны дать».

Я вообще жил тогда — в тон. Но не только потому, что подражал Василию, и не потому, что сама ситуация, если я по-прежнему хотел с ними обоими быть рядом, как бы обязывала меня не противостоять и с ними ладить. Я был молод, порывист. И почему не признаться? — меня, и точно, брали за сердце его рассказы со слезой о нарах и шмонах.

Был там пригорок, лысоватый, покрыт невысокими кустами шиповника (минутах в десяти ходу от бараков) — оттуда открывался вид, широкий и определяющий кругозор, так что Лера могла заметить мчащийся грузовик Василия уже издалека. Там мы его и ждали. Бродили по пригорку, возле кустов шиповника с мелкими плодами — и нет-нет поглядывали.

Я рассуждал:

— Конечно, здесь жизнь, здесь настоящие люди. И, конечно, нам надо постараться жить здесь. Но надо и подумать: не получить ли все-таки образование, раз уж кончили два курса?

Она фыркнула:

— Глупости не говори! Чтобы работать весовщицей, мне здесь вполне хватит этих двух курсов. Еще и лишнее — разве нет?

Ведь Лера уже подрабатывала весовщицей (пока сдельно), она получала деньги, гордилась ими, швыряла их, а как-то однажды всю до рубля отдала получку Василию, чтобы он «просадил с друзьями». Да, да, для начала неплохо. Однако постоянную работу ей пока только обещали.

— ...Не лучше ли все-таки получить образование, а потом сюда вернуться? — говорил я.

— Вот и езжай — получай.

— А ты?

— А я буду здесь, пока здесь Василий. Я дождусь его, и мы уедем вместе. В одном поезде — только так! А уж потом мы подумаем об учебниках, о лекциях — и о тебе, глядишь, к тому времени вспомним, доцент!

Слово «доцент» у нас было тогда как бы ругательством.

Я отвечал:

— Но ведь Василия, возможно, *отпустят* не скоро, — я имел в виду, что Васе за его неукротимый нрав, за смелые слова могут добавить срок, и Лера отлично поняла — о чем я. Тут поясню: Лере и мне тогдашние слова, поступки Василия казались неслыханно смелыми. Мы были в восторге, когда вслух произносилось «нары», «вертухай», «стукач», «зона», — мы упивались словами и как бы задыхались, как задыхаются не от недостатка кислорода, а от его избытка. (И от собственной, шаткой смелости — ведь переспрашивая, мы тоже произносили слова вслух! Сердце млело, сердце было на плаву. Весь вечер длилось однажды у нас с Лерой шептание на тему: «За Василием, конечно, следит стукач. Такой человек не может быть без стукача!» — и гадание: «Но кто же?.. Неужели старый Михеич?»)

И вот, оглянувшись на мелкоплодный шиповник и на всякий случай понизив голос, я повторил:

— Василия, возможно, отпустят отсюда не скоро.

— Что ж. Тогда мы оба приедем в Москву позже. Ты к тому времени уже точно станешь доцентом — и

примешь нас в вуз с облегченными вступительными. По знакомству примешь.

Повторенное слово «доцент» можно было считать уже умышленной обидой. Я смолчал. Я замкнулся.

На какое-то время мы оба замолчали; ни слова, тихо вокруг, кусты шиповника, и вот Лера попросила — тем ласковым, тем прежним, удивительным и ласковым голосом, который все реже был у нее в ходу, — тронула меня за рукав и попросила:

— Уезжай, а?

Звук чистый; после стольких лет сердце мое, по сути, уже мало что помнит, ни самой любви, ни ее утраты, но помнит этот чистый, галечный, звонкий звук голоса.

Пригорок порос с одной стороны небольшим кустарником, но был лыс и округл с трех других сторон, что давало обзор на уходящие обе дороги с захватом их перекрестка и петляющего отъезда вдаль. Мы ходили небольшими кругами, ожидая появления на дороге пыльной кометы — «Василий! Василий! это он — › чувствую, как он гонит, я не ошибаюсь!» — порой Лера все же ошибалась, мало ли было мчащихся пылящих машин, и тогда мы еще и еще кружили по пригорку, и при каждом новом обходе я примечал на пути (помимо основного кустарника — шиповника) кое-какую хвойную поросль и на отшибе необычайного вида мелкий орешник. Тот куст орешника был особенный: слева обломлен и смят, словно был ссечен, да и правой половиной рос он куда-то вбок, неуверенный в себе, покалеченный куст. И я все смотрел и смотрел на необычную его наклонность.

Сейчас думаю: не было ли то работой Василия, точнее, не было ли то работой его грузовика, — не влетел ли он однажды вместе с машиной (от радости — завидев дожидавшуюся его Леру) прямиком на пригорок, смяв, к счастью, лишь один куст? Он это лихо умел. Влетел. Остановил машину. Медленно и тяжело, *устало* ступал он кирзовыми сапогами по земле — шел к Лере. «Устало» — еще одно слово, которое я и Лера тогда боготворили. Лера шагнула навстречу. Но не обняла, а только спросила, строго заглядывая ему в глаза:

— Рейс был тяжелый? Намаялся, Василий?

На что, сплюнув в сторону жаркой слюной, Василий ответил, что да, нелегко, несладко, но, в общем, пустяки и уж, конечно, на нарах бывало потяжелее.

Сейчас понятно, что сострадание, сочувствие к пострадавшим, которым Лера и я были тогда захвачены, настолько нас переполняло, что подчас (и именно от полноты) чувство изливалось чрезмерно, заполняя и обволакивая вокруг все и вся, как заполняет и обволакивает воздух пространство и все его формы — плоскости, объемы, вагоны-теплушки, казалось, еще гудящие от переселений былых времен; оставшиеся решетки на окнах бараков, да и сами облупленные бараки и вокруг них холмы, леса, через которые не убежать. Желание прийти к пострадавшему человеку с повинной, неосознанное (и по нынешнему взгляду отчасти фарсовое) желание приехать из города и сострадать некоему зеку Василию было, что там ни говори, человечно.

Предмет чувства мог не стоить самого чувства, предмет чувства мог не соответствовать, но чувство было искренно.

Где жил Вася? (Или, выражаясь более примитивно, где Вася спал? — ибо жил он везде, в пределах, отведенных ему карьером и дорогами вокруг фабрики.) Спал Василий и числился проживающим в бараке номер «один», в комнате с тремя такими же, как и он, бывшими зеками, двое из них были мужики молодые (то есть им около тридцати или чуть за тридцать), третьим был казавшийся нам тогда глубоким стариком, а иногда стукачом пятидесятилетний мужик Петр Михеич.

Вчетвером они вполне ладили и любили помянуть былое, потихоньку добывали для такого случая водочку, потихоньку же пили. Запирались и долго дымили куревом.

Для них, отсидевших, минуты воспоминаний казались счастливейшими, и если Лера в такое время хотела побыть с Василием, он ее не пускал. «Нечего тебе тут делать», — он выпроваживал, плотно прикрывал дверь. Лера ходила вокруг барака, маялась. Было ему это лестно или казалось лишним — трудно сказать. Затем она снова скреблась в дверь, жалобно что-то выспрашивала, и тогда он выходил и пугал, прогоняя ее грубо: «Уходи, уходи, здесь мужики: а то, гляди, по

рукам пойдешь! мы народ скорый!..» — при этом Василий пьяно и многозначительно хмыкал, мол, не знаешь ты, ласточка, нашей черной жизни. Лера белела как мел. Сердчишко ее замирало, она и впрямь боялась, что попадет к ним туда, в пьяную их комнату. Она уже о таком слышала. В поселке было кафе, были поварихи, судомойки — женщин было немного, но были.

Пока бывшие зеки говорили за запертой дверью о жизни и потихоньку чокались гранеными стаканами, Лера где-нибудь поодаль терпеливо дожидалась Василия. Она старалась не плакать, но порой плакала; она старалась его понимать.

В том же бараке номер «один», в самом его конце, была торцовая комнатушка, забитая старыми чайниками (пять), панцирными сетками и спинками запасных кроватей (три), поломанными тумбочками (три) и всякими иными атрибутами общежития, вплоть до неговорящих старомодных репродукторов-тарелок черного цвета. В складской этой комнатушке чуть не до потолка громоздились сложенные один на один старые протершиеся матрасы, некоторые не с ватой, а с сеном, и вот на них-то, на матрасах, взобравшись (она использовала одну из старых тумбочек как стремянку), спала Лера. Василий к ней приходил. Но слишком ее не баловал, объясняя ей, что привык к общению с мужиками, к вонючему мужскому духу, к мату, к задушевной ругне — огрубел, мол, в лагере и покалечен душой, потерял трепет, и потому не может он с ней нежничать постоянно.

Лера сдерживала слезы:

— Я тебя понимаю, Василий. Я понимаю, что тебе еще долго отвыкать от тех *нар.*

Она в это верила. (Она очень старалась его понимать.) Возможно, он и сам в это верил.

А сейчас я думаю, что, может быть, так оно и было.

Где спал я?.. Но ведь я был никто, гость, только-только приехавший и притом незваный.

Места не было, но ведь была молодость и ведь был угольный ларь, этакая пристройка, казавшаяся продолжением их барака и примыкавшая как раз к тому барачному торцу, за которым на двадцати матрасах, прожухлых и провонявших от долгих лет, спала Лера. В пристройке были остатки угля с тех недавних времен, когда в бараках топили сами (лишь с прошлого года у

них в поселке дымила небольшая котельная), — на этом вот окаменевшем угле, на выданных мне Лерой трех соломенных матрасах я каждую ночь укладывался спать. Пристройка была невелика, мне по пояс. Так что входил я в нее почти по-собачьи. Вбирался. Влезал. Смешно вспомнить — однажды, замерзший, я вот так на четвереньках с разбега влез в пристройку и с ходу попал прямо в верхний разорвавшийся матрас, в его солому. Я дрожал от холода, не стал ни выбираться из матраса, ни менять положение тела, так и уснул. Какая разница!

Если войти в барак, слева были комнаты, а справа — стена с рядом крохотных окон. Первая комната, как водится, — общий рукомойник. Далее комната «семейного», то есть обзаведшегося здесь семьей, бывшего зека. Далее жил второй «семейный», затем инвалиды, затем комната двух уже сильно состарившихся, белоголовых бывших зеков, их звали «деды», и лишь затем следовала та шумная, где жили Василий и его трое сотоварищей, а уже за ними — последняя комната, бывшая складская, или кладовая, в которой поселили на матрасах Леру. А еще через полметра, но за стеной (и уже входить с другой стороны, с улицы) была пристройка к бараку — ларь, в котором спал я.

За нашим бараком стояли еще пять бараков с зеками, а за ними, охватывая их полукольцом, пять или шесть десятков домишек вольных. В центре полукольца — почта, кафе, киноклубик и отделение милиции. Вот весь поселок Новостройный. Поодаль — труба котельной. Еще поодаль тянулся большой навес, где временно стояли их грузовые машины — там застал меня однажды сильный летний дождь — грохочущий по жестяному навесу ливень.

Ночами я думал о Лере, а Лера — о Василии. Для упорядоченности (и некоторого упрощения) наших чувств можно считать, что среди ночи я мечтал прийти в комнату-кладовку Леры, Лера грезила, чтобы пойти к Василию, а Василий, как известно, сидел со своими дружками и тихо выпивал, вспоминая былые дни.

Я приходил к Лере лишь утром — я говорил с ней, стоя в самых дверях, так как войти в загроможденную тумбочками и прочим добром кладовку было невозможно. Сверху, с высоты двадцати умятых матрасов она

отвечала, что пришел рано и что нет, нет, она еще поспит, или же, напротив, — да, да, она как раз проснулась, сейчас она спустится, переоденется, и мы пойдем вместе побродить. «Жди меня на улице, Гена».

И затем мы часами ходили по пригорку у кустов шиповника.

Мне не на что было надеяться. Но если Лера работала (каждый день уезжала на весовую), для меня наступали и вовсе невыносимые часы. Лера приезжала затемно, сразу засыпала, а с раннего утра уезжала на весовую вновь. И бывшие зеки, недокурив и вдруг поважнев, куда-то все торопились. Я слонялся по поселку. Был один. Тоска ела поедом. Я пробовал играть в домино с дежурящими милиционерами, но у них находились дела, — и опять я слонялся. Тогда я и оказался однажды под навесом для машин, где меня застал крупнокапельный барабанный дождь, перешедший в ливень. Ливень быстро иссяк.

Тогда же я разговорился впервые с неким Костиком.

Этот Костик зазывал меня на приключение. От него я услышал, что километрах в двухстах от нас есть барак с женщинами-зеками, с поселенками. Костик расписывал их, поблескивая глазами, говорил, что они средних лет, бедовые, что есть и молодые. Костик был балагур, лодырь и день за днем шлялся по поселку, где ему всего-то было отработать год. Он звал поехать к тем женщинам с ним вместе, вдвоем, мол, веселее, а я смущался — юношеское (и такое мучительное!) колебание, в котором взвешивалось, должен ли я быть верен Лере н любви к ней, если она уже живет с Василием. Костик настаивал, и в конце концов я согласился. Но не успел. Пока я боролся с собой, разговорчивого и сующего всюду свой нос Костика убили.

Пьяненький, он хвастал: «С конца месяца я запрятался у н и х, с двадцать шестого и до первого! представляешь — аж до первого!»

Он уговаривал ехать попутной грузовой до каких-то выселков, а там, мол, ходит рейсовый автобусик до перекрестка, а там час пешком — и вот тебе одному целый барак — ух, и бабочки! А что? — сядем и поедем, чего скучать, верно?..

Меня мигом бросало в волнение, в пот, и я убеждал

себя, что Лера Лерой, но ведь жизнь надо узнавать, какой бы она ни была. И однажды я ответил Костику с важностью: «Ладно. Решено», — и даже усмехнулся, довольный. «Ну то-то!» — он тоже повеселел. (Но и согласившийся, я все еще убеждал себя, что всякий опыт непрост, однако же нужен!) Костик был молод, едва ли старше меня. Мы с ним нет-нет и останавливались меж бараками обговорить наше дело, покурить.

А потом подъехала машина. Милиционер, сидевший ко мне спиной, встал, оставил домино на столе, подошел к открытому (только что открытому, с треском) борту и крикнул. Мужчины подошли разом, расспрашивали: «Как?.. где случилось? где его нашли?» Двое через открытый борт сняли с машины, положили, и я увидел убитого, ему проломили череп, кровь уже запеклась; несколько человек стояли вкруговую, никто больше не вскрикнул — говорили мало. Костик лежал с очень испуганным выражением лица. И взгляд был вполне ясный, словно бы остановившийся только-только и тоже испуганный, не мертвый. Я отвернулся и пошел по поселку, а потом как-то сам собой вышел на тот пригорок с кустами, ходил, ждал там Леру и Василия. Две крохотные машины на самой линии горизонта — одна и еще одна — тянули за собой серые хвосты пыли. Я слышал голос убитого: «С конца месяца, Гена, и аж до первого!..»

Он говорил: «Там, Гена, главное — не спешить. Попомни. Важно сосредоточиться. Надо прийти и обязательно попить у кого-то чаек, чифирек, если добрая, и вести себя там спокойно. Приглядеться, но особенно не выбирать, не злить... Лучше всего прийти, когда они на работе и когда их в бараке две-три», — и он сладко жмурил глаза.

Я говорил Лере:

— ...Я так ясно вижу — вот Василий слезает с нар, запах всюду жуткий, зеки сбились в кучу, сгрудились. И крик: «Встать!» — и вот начинается шмон. Всех выстраивают. В кальсонах. Они стоят на ветру один за одним — ждут... Я только сейчас вдруг понял: у Василия потрясающее лицо: и страдальческое, и одновременно сильное, несломленное. Верно?

Лера (с ленцой):

— Настоящее усталое лицо. Он хлебнул жизни.

Я (восторженно):

— Да, да, он жизни хлебнул! Я порой думаю, что...

Лера (перебивая: ей не нравится, когда о Василии говорит кто-то, а не она):

— Что ты можешь думать, слюнявый студентик!

Я (растерянно):

— Но ты ведь не лучше.

— Заткнись!

Грубея, Лера менялась почти на глазах, все заметнее чувствуя себя женщиной, но еще более заметно изгоняя всяческую стеснительность, мягкость. Ей нравилось, когда о ней говорили — баба. Васькина баба. Ей нравилось, что она с ним живет открыто, не прячась. Следующий шаг — нравилось вразмах и враздрызг говорить о себе самой.

Она смеялась:

— А хочешь, расскажу о нашей с Васей любви.

Я молчал.

Она:

— Ах ты, мой юноша! А знаешь ли, как удивительно (и видя, что я густо краснею)... Ладно, ладно. Не буду!

Чувственность и без того была обострена, так как спал я от Леры через дощатую стену барака, довольно прочную, крепкую, а все же проницаемую для звуков. Первые ночи, когда Василий приходил к Лере, я совсем не мог спать. Я невольно прислушивался, и различить было нетрудно: однажды Василий простудился и гулко кашлял, в другой раз я хорошо расслышал его оправдания, а позже сердитый вскрик, возню и шум, когда Василий нечаянно упал с матрасов на репродукторы-тарелки. Но голос Леры я не слышал ни разу, даже когда их любовь набрала высоту и когда Василий уже оставался там ночью.

Я помню, как я вдруг понял, что он остался там на всю ночь — вероятно, и раньше он там оставался, но я вдруг осознал это впервые. Кровь прилила к щекам. Слух невольно обострился. Я пережил страшное сердцебиение и затем неожиданную долгую слабость.

Лера и тут проявляла свой становящийся сильным характер, молчание ее было словно бы подчеркнутым и тем более суровым, что иногда, хотя и нечасто, я слышал среди ночи тоненький взвизг Василия, не столько

мужской, сколько детски-жалобный, расслабленный. Я слышал затем его голос, слышал, как хлопала среди ночи дверь, и хорошо слышал шаги по коридору спящего барака. Но было ясно, что говорил Василий и хлопал дверью уходящий Василий, и шаги, удаляющиеся по коридору и гулкие, тоже были его, Василия, она же — ни звука.

Мне в моем собачьем закутке, пропитанном запахами окаменевшего угля и почти окаменевшего матрацного сена, молчание Леры помогало пережить ночь. Я мог думать, что Леры там нет. И слушал, как стороной возникали отдаленные барачные шумы и шумки неясного происхождения. Я только первые ночи так сильно и болезненно волновался, а после, успокаивая себя, я уже сознательно себе внушал, что Леры там нет — слышишь, мол, как там тихо, нет ее там, нет, нет, глаза у меня были мокры от слез, но все же я научился засыпать среди ночи.

А на изгибе речки Хони у начинающегося взгорья сидела возле могилы старушка. Мы с Лерой как-то вновь навестили Анну Романовну, и, помню, она Лере сетовала — словно бы жаловалась на саму себя, что здесь, на могиле, она иногда разговаривает с мужем, как с живым, ей это уже привычно, но вот нехорошо, если кто-то незнакомый подойдет и услышит голос и мало ли что подумает.

Лето пришло к концу, начались занятия в институте, но к этим дням я тоже мало-помалу увяз здесь. Мы, кажется, без конца ходили с Лерой вкруг шиповника, вели наши разговоры и, увязнувшие, словно бы ждали некоего поворота нашей общей судьбы, но никакого поворота уже не было. И событий не было. (Василий был ярым в своей шоферской жизни, но и он лишь однажды врезался, сбил вдоль дороги два столба и на неделю оставил весь поселок без света. Он оправдывался, что хотел, мол, перевыполнить норму поездок и *схватить премию.)*

Но именно бессобытийность и бессмысленность дальнейшего пребывания в поселке, мучительное безделье и даже однообразие наших с Лерой разговоров удерживали меня здесь. Я ведь не только мучился утратой люб-

ви. Да, да, я еще и завидовал Лере: я завидовал ей в обретении своей новой судьбы и нового характера, в обретении, как казалось, самой себя. Втайне я надеялся, что мне повезет и что, может быть, я встречу здесь вдруг, случайно какого-нибудь реабилитированного (пусть недавно, с запозданием реабилитированного — ну, какого-нибудь последнего, забытого, ну бывает же!) — истинный, настоящий человек, он будет куда более пострадавшим, чем этот в общем-то заурядный бывший зек Вася. Он будет, вероятно, старик, глубокий старик, я с ним сдружусь, не одни же тут бывшие грабители, жил здесь отец Леры, жили и другие! — восклицал я (молча) и никак не хотел верить, что я опоздал, отстал от времени.

Однажды Лера, словно бы разгадав мои тайные помыслы, сказала мне прямо и грубо:

— Убирайся отсюда, Генка. Уезжай...

И добавила:

— Я хочу здесь одна жить, хочу одна сострадать. Ты мне все портишь.

И я уехал.

Вот, собственно, все. Так все кончилось. Прошло много лет, и вот уже моя дочь будет скоро в возрасте Леры, и у нее будет муж, который будет ее любить и будет учиться с ней вместе в институте. (И я буду тихо, по-мещански радоваться, что у них все обыкновенно, хорошо, понятно и не так, скажем, как у Леры.)

...Оградок тогда еще не ставили. Тут важно, как смотреть: валы равномерно скатывались на тебя с горы или, может быть, наоборот — один за одним убегали от тебя вдаль, вверх, а за валами только редкие обманывающие взгляд кусты. Ни крестов, ни звезд, только холмики — и словно бы огромные артели оставляли здесь своих отставших на обратном пути с гор. Когда горы кончались, начиналось дыхание близких степей, и похоронившие своих, спускавшиеся с гор люди уже словно бы вернулись домой и торопились вступить в обычные отношения обмена и дележа; но год на год не приходился. Судьбы охраняемых и охранявших вновь сплетались и расплетались. Взгорье — но какой необыкно-

венный ровный наклон! А они относили своих только до взгорья, тут им казалось, что они уже ушли далеко и что можно похоронить спокойно. Крутизна валов уже не давала нести дальше. Здесь всюду — могилы. А левее — белые осыпи. Там тоже, конечно, наладились хоронить: валы, как могильные холмы, они все спрячут, и земля не такая железная, как в горах, долбить не надо, не камень. А там справа, видишь? — лысина, кусты расступились, и даже травы нет — это с нескольких валов (разрыхлили слишком) после дождя земля оползла, и все холмики потекли вниз, вниз, вниз, пока меж валами не соединились все вместе.

Говорили вчера с невропатологом. (Отец раздражителен. А я — меж ним и врачом — как переводчик, как посредник: налаживал поминутно контакт и смягчал их слова.)

Невропатолог несколько важничал:

— Какая разница, какой сон! Важно, что сон вас тяготит. И от снов, дорогой вы мой, люди избавляются не ночью, а днем.

А мой постаревший, весь поседевший отец возмущался:

— Как это неважно — какой сон?! (Ему казалось, что врач клонит к тому, чтобы запретить рассказывать сны!) Вот послушайте. Я лежу себе спокойно в своей квартире, да, я живу один, жена умерла... И вдруг — я уже словно бы не в квартире, а в какой-то избе. А на улице, за стеной, истошно сигналит уезжающая грузовая машина...

Психиатр в своем кабинете говорил ему обратное — очень, мол, важно, какой снится сон, и также важно, как часто он снится. Но психиатр нажимал на подсознательное и хотел каких-то особенных подробностей жизни отца, а у отца тайн не было, отец не понимал и запальчиво сердился — каких еще подробностей?!

Сегодня особенно плохая погода. Небо давит. Сны в такую погоду, вероятно, уже днем собирают силы, скапливаясь к ночи.

Звонил отец. Завидовал К. (своему бывшему сослуживцу).

Весной этого года отец взял садовый участок. Отец бы никогда себе не добыл, но там оказался *недомерный* участок, участок-огрызок в четыре (и одну десятую) сотки, и поскольку все остальные участки по полных шесть соток, этот забрать себе никто не хотел. Тем более что расшириться никакой перспективы нет — участок нарезан с самого краю, а за ним уже стоят заборами большие, богатые дачи, в полугектар и даже в гектар каждая.

Отец начал было с энтузиазмом ковырять землю, часть ее вскопал, посадил по краям кусты смородины, облепихи и... заскучал.

Однажды, когда он там скучал, он увидел, что напротив, в заборе большой (гектарной) дачи, кто-то, вероятно мальчишка, потихоньку отводит в сторону широкую доску дачного забора. Отец смотрел. Чирикали птицы. Отец сказал, что в ту минуту он думал как раз о детстве. Доска, удерживаясь на верхнем гвозде, тем временем качалась и качалась, затем наконец отъехала в сторону, и отец удивленно вскинул брови. Вместо мальчишки там был старик, чуть постарше отца.

Старичок этот осторожненько вылез через проделанную щель в заборе, огляделся. Сказал с милой улыбкой:

— Во какой здесь простор!

Это был К. Вглядевшись, отец узнал в старичке очень ловкого своего сослуживца, с которым они одно время вместе работали и который после очень высоко продвинулся. Сейчас К. тоже был, конечно, на пенсии: был в почете, был с дачей, с машиной и с иными благами. Он отца не узнал. Он, вероятно, уже никого не узнавал — такая у него была тихая и счастливая улыбка.

— Надо же так обмануть! — возмущался отец. — Я знаю, обмануть людей нетрудно. Но надо же так обмануть саму природу: дважды в жизни получить детство! — возмущался мой постаревший отец, после того как ночью его помучили и издергали сны.

Почему-де ловкому чиновнику и обаятельному интригану (претензии не к дачам и не к социуму, бог с ними! — претензии именно к природе, к лесам, к полям, к звездам) — почему ловкому чиновнику даже в конце жизни безмятежность и покой, а ему, честному строи-

телю, эти жуткие сны, эти сердцебиенья, этот ужас отставания, который пугает его намного больше, чем ужас телесного распада и смерти.

Что за ночь!.. Отец позвонил и в четыре, и в пять. Бедный старик. Сердце мое скрипит от боли, а что поделать. Уже седьмой час утра. Хоть бы он заснул.

К. улыбался. К. был весь чистенький, и беленькая головка его была покрыта нежными серебристыми волосиками. И глаза были чистые, чуть только выцветшие. И даже лицо было нежно обтянуто кожей, как бы и без морщин. Одет он был опрятно: он был в голубенькой рубашечке и в шортиках. Да, это было оно: счастливое детство.

— А вы заметили, что сегодня много ласточек? — спросил он моего отца с улыбкой.

Они строили и строили, потеряв уже, кажется, и цель, и соотнесенное значение строительства. Они готовы были все потерять, но не способность строить. Они только и держались за свои стройки — эта последовательность стала теперь и главной, и самой заметной чертой.

Они удивляли стойкостью и даже жертвенностью, держась за свое последнее уменье — строить. (Но почему же оно обернулось ощущением отставания? Но почему вообще что-то чем-то оборачивается?) Вспоминая юность, я ведь тоже вспоминаю, как обернулись мои юношеские разговоры о страдальцах и о простых людях, вдруг воплотившись (материализовавшись) в образ бывшего зека Васи. И когда, быть может, по профессиональной привычке я вникаю в анализ, в запоздалый и уже не вполне достоверный пересмотр наших с Лерой *обернувшихся* отношений, я тоже помню (с болью! и с остротой!) прежде всего то, как на меня обрушились мои же слова. Я помню, думаю — ищу не смысл, зачем мне теперь тот смысл, но ищу чувство тех дней — хотя зачем мне теперь и то чувство? Зачем — если урок не нужен, а переживаемое заново чувство лишь дразнит, манит своей удивительностью, когда я пытаюсь войти не только в то время, уже утекшее, сколько в мое отста-

вание от того времени. Я люблю не столько Леру, Василия и самого себя, тогдашнего (хотя всех *их троих люблю)*, сколько люблю само то время, от которого отстал.

Мысль, конечно, упрощена. Но именно так, поскальзываясь на моей юности, появился из ничего живой Вася — со своим грузовиком и со своими вечными нарами, и именно так Лера язвила меня моими же словами, и когда я стал нелюбим и хотел справедливости, справедливость-то, возможно, уже и торжествовала в высоком смысле обернувшихся бумерангом слов.

Помню, у Василия (уже в самом конце моего там пребывания) появилась как-то в руках гитара. Он запел. Ни слуха, ни голоса у него не было — и мне так остро стало жаль, что он не музыкален. Я был огорчен и сник. И даже отвернулся, помню, ушел. Ведь — образ: он был для меня человеком пострадавшим.

Лера (делясь со мной):

— ...Василий рассказывал о своей жизни. Руки — вот что там нужно человеку в первую очередь. Крепкие и хваткие руки.

Я:

— Труд — это труд. И пока пайки идут — человек вкалывает.

Лера:

— Пайки идут, но ведь не только посылки лагерное начальство зажиливало: особенно промежуточное начальство!

И вновь Лера (и почему-то уже в споре):

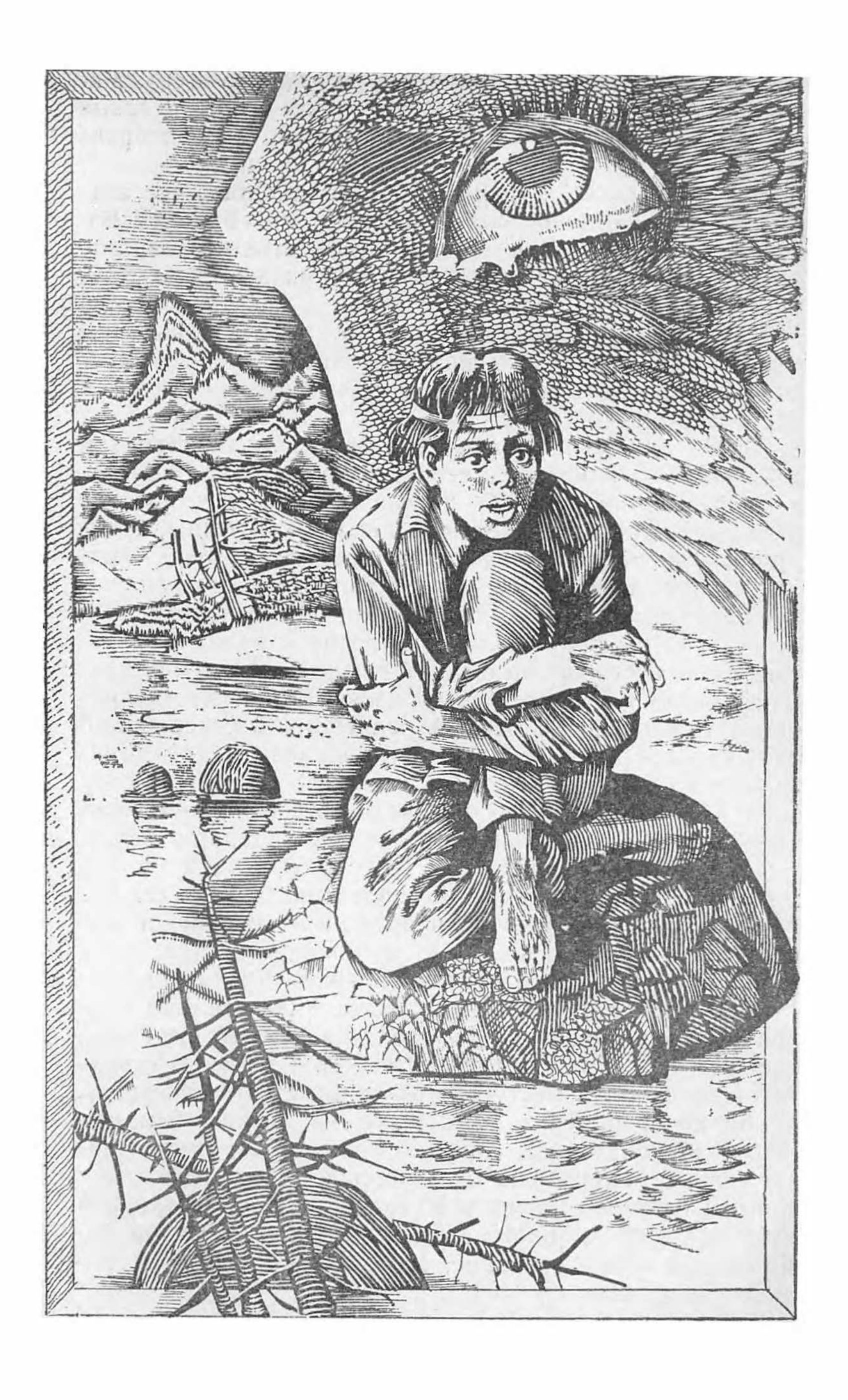
— Ты не прав: человек не мог там ходить один. Да, да, их водили группой. За группой легче и проще присмотр. Сортир?.. Но за зеками и там — глаз. Их обязательно организуют в группу по три-четыре человека, — так и ведут. Почему?.. А потому, что всегда и всюду присмотр.

— Но необязательно же хотеть одиночества.

— Ничего не хочется так, как одиночества! Именно одиночества хочется, хотя бы на пять минут. Не спорь... Спроси у Василия.

— И спрошу!

— Вот и спроси!



Словопрения подходили к самому напряженному и чуть ли не магическому моменту *«спроси у Василия»... —* и поскольку Василия с нами не было, мы вперяли глаза с нашего холма на вьющуюся вдали нитку дороги. Ах, как бела была та дорога. И нам казалось, что споры наши принципиальны, наивности их запоздалого звучания, пародийности мы, конечно, не слышали, вот только пусть приедет Василий, и мы разрешим — узнаем все или почти все из первых рук.

Но уже через минуту мы вновь разругались, насколько может выжить в лагере сильный человек. Обречена ли индивидуальность на нарах? Если да — то как себя сохранить?.. Да, он сильный, волевой — но он же вовлечен там в общую обезволенность. Остаться в одиночестве ему больно и страшно, но ведь и раствориться в общей покорности — страшно. К сожалению, не оставляют одного. Но человек даже и в колонне, находящийся среди всех, умеет быть один, сам по себе. Для чего, кстати, и курят. Да, да, курение без помех как особый интимный процесс. Это как книга. Ты знаешь, Лера, что, как бы триумфально ни распространялось кино (тогда еще не говорили о голубом экране!), чтение книги незаменимо именно потому, что интимно. Это и проповедь, и исповедь в едином процессе... Ах, перестань! Это для *вас* (Лера тут же отмежевалась!), для умников книга — и проповедь, и исповедь, а по существу книга — лишь суррогат исповеди, в то время как сама исповедь — это живой голос. Нет, Лера, и книги, и курение, и иные общности выдуманы совсем не для умников. Курение и книга — вовлечение в процесс. Курение -— личностно. Это ведь прежде всего твое и мое обособление. Представь себе: я в колонне. Нас ведут на работы. Пришли. Но ведь охранник (и тут промах в твоих рассуждениях, Лера) тоже личностен. И ведь охранник тоже человек. Да, злой. Да, добрых не берут, знаю. Да, из добрых делают злых — тоже знаю. Но ведь и злой, подойдя к месту работы, хватается за сигарету. Да, он хочет покурить. Да, тоже. И прежде, чем мне взяться за лопату или кирку, я тоже, *тоже,* Лера, хватаю цигарку, скручиваю плотнее, закуриваю, и вместе с первыми глотками дыма вся вселенная, все материки и миры, все небо и травы, Тютчев, Аввакум и Сартр разом входят в мое сознание. И никто — никто! — не помешает моей минуте.

Лера!

— Но ведь не толпа убивает. И опять ты забыл — *там* не просто так взять и закурить. У них нет курева.

— Как это нет: они курят!

— Но вдруг их именно до курения заставляют работать... а вдруг их ограничивают в махорке? давай-ка не гадать — *спросим лучше у Василия.*

И далее мы с Лерой уже более или менее спокойно доругивались, можно ли там всласть курить.

— Ты гнусный умник. Ты куришь сколько хочешь — и полагаешь, что Василию и другим зекам тоже можно было курить не считая... Представь-ка, что ты на нарах!

— Да.

— Вот ты слез с нар. Хочешь закурить — да?.. Нет, погоди, погоди! Но можно ли курить в бараке — вот первый вопрос?

Я не говорил Лере о любви, в нашей юности это не было принято, — мы смущались, стыдились слов, но я говорил ей вдруг о том, что мне сегодня тоскливо, что плохо на душе, что никак не хочется уезжать отсюда (люблю тебя!), а она отвечала, что Василий много перенес, что у него на спине шрамы и поломано ухо, что его ребра все еще не зарастают мясом, до такой степени побиты и пролежаны нарами (люблю его!) — и так мы говорили, говорили сколько хотелось и чуть дольше, чем обоим хотелось; говорили, а вокруг нас стрекотал по земле, по траве мелкий теплый дождичек. Мы двигались в сторону пригорка с шиповником. И затем как уход от больной темы, как смягчение — Лера рассказывала о своей работе в весовой на втором карьере, в семи километрах отсюда; она сидела там в маленькой будке с таким широким стеклянным окном, и под строгим ее взглядом на подвижной настил въезжали грузовики с карьера, — скользнув глазами по стрелке весов, Лера записывала столько-то тонн и столько-то сотен килограммов, а затем вычитала собственный вес порожней машины, чтобы получить нетто.

Слов недоставало, я не умел выразить, что, приехавший сюда, любящий ее и ежедневно, еженощно оскорбляемый ее близостью с Василием, я ведь тоже в беде и ведь тоже несчастлив всего лишь в шаге от нее, в своем закутке на отвердевших буграх угля. Я тоже хотел бы сострадания, и почему же она, Лера, не выручает меня, почему не помогает мне? Впрочем, чувства мои не были так уж внятны, и, более того, я уже понимал, что

моя любовь и любовь другая и третья — ничто рядом с нарами, от которых у Василия никак не нарастают мышцы и мясо.

В пристройку-ларь ко мне забежал пес; обнюхав, он принялся чихать от трухи пролежанного матраса, а затем с омерзением выскочил вон.

Мы как раз шли мимо.

— Чего это он? — спросила про пса Лера.

Я промолчал.

Но Лера сама что-то вдруг почувствовала, словно бы укор; она ведь хотела страдать одна. И сказала:

— Уезжай, Генка. Хватит...

5

Я уехал. Но прежде было чаепитие, так напоминавшее мне Москву и время нашей любви с Лерой.

Томясь, я как-то еще раз, уже в последний, съездил в тот домик, что на речке Хоне. Приехав рано, в первой половине дня, и узнав, что Анна Романовна уже ушла на могилу мужа, я пошел следом. Четыре могилы в оградках. Все как прежде. Внутри одной из оград сидела Анна Романовна — сидела на земле, на сложенной газете. Молчала. И вокруг такой благодатный теплый день!

Я не мешал. Я расположился поблизости, шагах в десяти. Сидел на камне и неспешно курил. Кусты давали тень. Неподалеку был родник с железной кружкой, всегда стоявшей на камне. Пролетали стрижи.

Прошло с полчаса. Мимо нас прошагала какая-то древняя бабуся, сгорбленная и столь старая и дряхлая, что Анна Романовна, так сильно по приезде сюда постаревшая, казалась, сравнительно с нею, еще достаточно крепкой, живой. И запомнилось — дряхлая бабуся, оглянувшись на нас, спросила: «Как на Безымянку-то пройти?» — на что я пожал плечами, а Анна Романовна, которая слышала вопрос не впервые, показала вдаль, поведя рукой вправо.

Я посмотрел туда и, как в моем детстве, увидел ровные холмы. За четырьмя культурного вида оградками (внутри одной — Анна Романовна), за кустом шиповника и далее, за родником, начиналось уже чем-то удив-

ляюще ровно возвышающееся и словно бы пустынное место. Я еще не понимал, что это гора.

Сливаясь верхушками, высокая трава и невысокий кустарник словно бы шевелились, и мне показалось, что там, меж холмиками, один за одним поднимается вверх группка людей — возможно, артель. Гора входила в меня своей образной понятностью (через детство), гора уже давила своей мало-помалу набираемой огромностью, тяжестью, гора дышала и входила в меня — я же этого не сознавал. Я только сидел и смотрел вслед сгорбленной древней бабусе.

Бабуся ушла далеко. Она двигалась меж ровными холмиками, как меж могилками, словно бы отыскивая среди холмиков родной себе, свой. Я так долго смотрел ей вслед, что плоское взгорье было уже не взгорье, а гора бесчисленной и неизвестно когда захороненной человеческой семьи — людей самих по себе, людей безвестно умерших, затерянных, забытых или полузабытых. Гора была общая, наша, и потому для людей необычных и для людей обычных равно тянулись сами собой длящиеся ряды бесконечных холмов. И там среди — шла древняя бабуся. Она искала свой холмик, чем далее, тем внимательней и замедленней, словно истомляя себя. Я видел вдруг ее головку, седенькую в темном платке, затем за валом показывалась вся ее щупленькая фигурка по пояс. То она совсем исчезала. То опять появлялась лишь ее головка. Она уже сильно уменьшилась. Пятнышко темного ее платка было уже едва различимо над волнистым маревом бесчисленных могильных холмов.

А за ней, казалось, пошли и пошли люди; некая сила вела их, как сила памяти, и вот они семьями, полусемьями, оставшейся горсткой родни, парами или в одиночку пришли сюда все почему-то в одно (словно бы поминальное) время. Они появились со стороны дороги и все прибывали и прибывали, числа им нет — их головы в шляпах, в кепках, в платках и непокрытые тоже, мужские, женские лица и мелкие издалека лица детей. Общий поток, но толчеи нет. Некоторые из них с палками, с клюками стариковскими, некоторые пытаются сесть и отдохнуть хоть на миг. Они рассредоточиваются по огромной плоскости горы, и вроде бы должно им стать просторнее, если одни идут влево, другие прямо и чуть влево, а третьи вправо меж холмиками — но в то же время люди прибывают и прибы-

вают вновь, так что они идут и теснятся, как прежде. Но только-только они посетили своих, посидели у холмика, помолчали и, дав отдых ногам, только хотели встать и двинуться в обратный путь, как гора сама вдруг накренилась, увеличила свой и без того заметный наклон и, не различая в прошлом времени их вины или их причастности, ссыпала людей со своих ровных валов, стряхнула с себя и выпихнула вновь в их настоящее, не приняв их заверений, их покаянных слов. Такая обман-гора. Глянул — и уже никого там, где были тыщи и тыщи.

Только бабуся. (Только одинокое пятнышко ее темного платка.)

И теплый день...

Я докурил очередную, а Анна Романовна как раз поднялась с земли. Она заметила меня, приветливо кивнула. Улыбка ее была осторожна, слепа: «Добрый день». И я ответил, уже поравнявшись с ней: «Добрый день, Анна Романовна!»

Вместе мы вернулись в поселок.

Дорогой хотелось что-то сказать, и я заговорил о Лере, что было для меня самого неожиданно; столько времени помалкивал, а тут перед самым отъездом вдруг сказал:

— Лере надо бы учиться, Анна Романовна. Что ж она здесь сидит — учебный год начался.

Я сказал просто, как сказал бы участливый родственник.

Анна Романовна тихо ответила:

— Да, да, надо бы ей учиться.

Когда пришли в дом, там была приехавшая Лера — она нас уже ждала, приготовила чай. К чаю сушки.

Мы сели. И опять все у них происходило тихо, приглушенно, и так много доброты было в их тишине. Лера налила нам в чашки. Сушки лежали на круглой плетенке в середине стола. Я молчал — я думал, вот-вот возникнет разговор. Но разговор не возник. Мы пили чай, а когда стемнело, Лера принесла от хозяев свечу с низеньким подсвечником. И словно бы повторилось чаепитие в их московской квартире, только вместо домашнего печенья были сушки, и я так же робко, осторожно протягивал руку к плетенке на середине стола.

Пламя свечи чуть колебалось. Лера негромко рассказывала Анне Романовне, что, пока нас не было, она помыла полы и что привезла Анне Романовне из Новостройного продукты, положила там-то и там-то. И вновь во мне шевельнулось желание хотя бы косвенно напомнить о начавшихся в Москве лекциях. Но я увидел Леру, величаво разливающую чай, ее спокойные руки, увидел спокойные сомкнутые губы Анны Романовны, тихое, умиротворенное ее лицо — и устыдился. Им было хорошо. И не нужно мне было вмешиваться. Я попросил еще чаю. Лера подлила и спросила у меня, есть ли уже билет и скоро ли еду, — я ответил: «Скоро».

Заглянула на миг хозяйка дома, железнодорожница, и сказала, что дали свет и что мы можем не сидеть при свече. И ушла. Но Лера свет не включила. И тут я вспомнил, чего еще не хватало в нашем общении — того портрета, который Анна Романовна однажды мне показала. Я шепнул Лере: «Хочешь, я привезу вам через какое-то время портрет отца?» — «Не надо. Мы сами».

Вероятно, сны уже давно (всегда, всю жизнь?) скромненько стояли на пороге его сознания, стояли там робко, не пытаясь войти. Иногда они заглядывали в дверь на миг, появлялись, но отец не придавал им значения, как не придают им значения все сильные люди («Приснится же чушь!..»), — отец смеялся, он был тогда полновластным хозяином этой большой квартиры.

И вдруг, едва он постарел, — они отыскали свой вход. И теперь ночь за ночью отец в муках.

Днем он, конечно, наводит в себе порядок. И более того, он уже сам призывает эти дурные мысли, хотел бы с ними разобраться, но они-то ни в какую не признают готовых дневных разговоров, им только и надо дождаться ночи, дождаться его слабости — и ворваться. Пусть притихнет. Пусть только склонит голову на подушку. И ворвавшись, они торжествуют, бесчинствуют и воют, кричат, носятся, свирепствуют, ликуют среди ночи, и он ничего не может с ними поделать.

И если он не считался со своими снами тогда, теперь сны не считаются с ним. Да, да, он уже размышляет о том, что это — некое отмщение, но ведь отмщение только и начинается с понимания, что *не задаром.*

Отец необязательно предвосхищает меня, мое будущее, мою старость — и все же я думаю об этом. В родственности есть тень, темная сторона: узнавание себя. Я бы намного больше жалел отца, я бы больше (и понятнее) ему сострадал бы, я бы и любил его яснее, не будь он мне родным человеком, слишком родным.

Но зато у моей любви к нему есть лицо, есть выражение лица, есть глаза на этом лице.

Сбившийся со следа артели Леша-маленький однажды ночью увязался за грабителями. Те уходили, а Леша всю ночь шел за ними, не зная, за кем он так спешит и кого догоняет. Он шел и шел. А они, обобравшие церковь грабители (их было двое), посчитали, что по пятам за ними стелется кто-то, их выследивший, погоня, а за выследившим, мол, как всегда, идут поселковые злые мужики с дубьем. Они уходили все быстрее. Но на вторую ночь их охватил жуткий страх: они не могли поверить, что кто-то с такой страстью, с такой яростной настойчивостью гонится за ними, за обычными ворами. На вторую и особенно на третью ночь преследования они решили, что это ангел-мститель. С развевающимися белыми волосами бежал отрок за ними с горы на гору, простирая к ним руки. Опытные, они сумели на какое-то время запутать следы. Они укрылись в потаенную сторожку, жили там в темноте, на сухарях, не жгли огня. А отроческого вида ангел-мститель все кружил и кружил около, чуя, что они близко. Притом он все звонче звал их: «Подождите меня! Подождите!» Мистический ужас одолел их, оба сошли с ума. Днем и ночью они слышали зовущий голос. А ночами то там, то здесь появлялся небольшой костер обогревающегося Леши-маленького: стерегущий их огонь.

Они и подумать не смели пройти с той стороны, где Леша, но с другой стороны вздымалась гора. Они рискнули: влезли — но дальше им надо было спускаться с отвесной скалы, и при спуске оба, конечно, разбились. Они упали, но и тут упали не на землю, а на другую (несколько ниже расположенную) скалу, на квадратный ее уступ — на такой вот они оказались крутизне, связанные одной веревкой в момент спуска, сошедшие оба с ума. Они погибли мучительной смертью, приняв ее как кару за осквернение церкви и крича от

боли переломанных ребер, переломанных рук, ног на той небольшой скальной площадке — на уступе. До наших дней на изрядной той высоте лежат два вымытых дождями скелета, так и застрявшие в расщелине.

Подобраться туда нельзя, но разглядеть их с верхней горы (она выше, но доступнее) можно, что мы часто и делали в детстве, пугая друг друга. И если в наши дни пролететь на рейсовом вертолете в направлении элеватора у речушки Араховки, вблизи перевала, где скалы становятся нагими, вертолетчик, если он в настроении, обязательно покажет на уступ скалы с правой стороны, обратит внимание на две горстки выбеленных ветрами костей. Вертолетчик охотно показывает достопримечательность. Но многие пассажиры уже и сами знают, когда выглянуть и посмотреть в окно. Возникла легенда, рассказец из присосавшихся, о том, что не все тут, мол, ясно и просто и что один, мол, из скелетов — женский. Легенды о любви самые живучие, хотя и не самые сильные. И уже досочинена кем-то душераздирающая история о двух любящих сердцах, бежавших то ли с сибирской каторги, то ли с хутора старообрядцев. Любовь перехватывает смерти, переосмысляет, приспосабливает под себя, наполняет чувственными подробностями (торжество жизни?!), и вот уже мало кому интересно слушать про какого-то Лешу-маленького, умевшего ладонями, локтями и особенно шрамами кривых своих рук находить золотоносный песок.

Вариант более прозаичен. Когда Леша-маленький по ошибке своей нагонял грабителя, тот был на лошади, но уйти далеко не мог, так как лошадь еле ступала, была вконец отощавшая, может быть, больная и при ней жеребенок. Куда спешил и что содеял грабитель — неизвестно, Леша-маленький нагнал его через два дня на третий и только теперь, нагнав, увидел, что ошибся и что это вовсе не артельщики шли по взгорью, шумно колыша кусты. Шел один человек, притом что человек злой. Он ведь по взгорью уходил от погони, он торопился. В злобе он вдруг накинулся на Лешу, хотел убить, но Леша ему сказал: не делай этого, меня бог любит, мучает меня, но любит. Так он сказал убийце. «Бог?» — тот с усмешкой взглянул Леше в глаза,

однако увидел там не жалостливую слезу (слезам он не верил), а тот голубой туман, стоячую в глазах белесоголубую муть, что так удивляла да и пугала людей. Он отвел свой удар. Но ведь заряд злости выйти из него так просто не мог. И тогда он подошел к своей плохонькой, загнанной лошади и ударил ее. Еще два раза ударил. И забил. Лошадь упала и встать уже не смогла. А он пошел куда-то дальше, своим путем. Сам понес свой мешок. Жеребенок остался при лошади. Лошадь уже хрипела и отбрыкивала жеребенка, потом после судороги затихла. А жеребенок лизал ей бока, потом стал облизывать ее морду, ее губы. И лизал ей мертвые глаза, отчего глаза приоткрывались, показывали на миг голубизну и опять закрывались.

Леша сидел возле них на корточках — смотрел на лошадь, на жеребенка. Он часто видел смерть и не боялся ее. Он только очень устал, потому что, отставший, бежал так долго, а оказалось, бежал не в ту сторону.

Леша-маленький был среднего роста. Даже чуть длинный (уже тянущийся подросток), худой, с красивым лицом, прямым носом, спадающими вперед светлыми волосами, с малым числом зубов и заикающийся, хотя и несильно. Первые, начальные слова он выговаривал с запинкой.

Есть известное самодовольство — считать себя принадлежащим к отряду, к колонне, к артели, которые, внутри себя притираясь, шагают правильно и в меру быстро. А вот этих, иных, считать отставшими.

«Донимает сон — потому что донимает память? Вы уверены? Но что же такое особенное было в его памяти, чего он не захотел бы мне рассказать?» — повторил я вопрос негромко.

«О! Вы не знаете стариков!» — ответил психиатр, шевельнул губами, шепнул мне, когда мы уже выходили из его кабинета.

А чуть впереди шагал мой отец, старый человек, ничего не таивший и не прятавший, но лишившийся чего-то очень важного, милосердного (лишившийся, быть может, давно, но только в стариковские в слабые свои дни ощутивший, чего он лишился).

И опять он звонил всю ночь. В два часа и в четыре. Потом в половине шестого. До конца дней своих будет он догонять эту переполненную людьми грузовую машину.

Замечательный вечер! Я приехал, когда отец чистил рыбу — это были две рыбешки, которые он «сам поймал», просидел все утро с удочкой и обловил соседа (тот зазвал его на рыбалку, похваливался дорогой, но сам-то поймал одну).

С этими двумя рыбешками, руки в чешуе, нож в чешуе, даже шея с прилипшими чешуйками, отец был замечателен, добр, человечен. Он сказал, что, поймав вторую рыбешку, уже не мог больше ловить и только вспоминал жену — мою мать. И над речкой туман, туман...

— Ты хоть понимаешь? Ты хоть меня понимаешь? — переспрашивал он, а я понимал его в эту минуту так ясно, чисто, так невыразимо (словами), что только молча кивал, кивал. Он в это время бросил на сковородку свои две рыбки. И дух горячего масла заполнил его кухоньку, мы молча улыбались, и все это вместе было счастьем, но почему-то казалось счастьем не про нас, не с нами — казалось, что это былые, счастливые наши дни.

Кусты отцовской смородины К. не замечает. Ему кажется, что здесь так много свободной земли. После своей дачи для него всюду здесь — пустота. (А там березы. Там целый гектар с обилием садовых цветов и угодий: овощи, клубника, десятки яблонь.)

— Какая здесь воля! — говорит К. отцу.

Перед отъездом из Новостройного последние ночи я спал чутко. За моей пристройкой негромко, но вполне слышно гудел и перемещался ветер, он тянул сквознячком по полу барака, огибал воздушной волной репродукторы-тарелки, да мышь там скреблась, да раз в ночь, иногда два, тоненько и чувственно вскрикивал Василий.

Я уезжал; из Новостройного я ехал долго на грузовой, потом поездом. У вагонного окна, присмиревший, я смотрел на мелькающие сосны и холмы; подперев голо-

ву рукой, я прихлебывал дорожный чай, пахнущий угольком, — а Леша-чующий (в своем времени) поспешал за бородатыми искателями золота. Поезд все прибавлял. И когда я, взобравшись, уже спал на верхней полке, Леша наконец тоже нагонял спящую артель и среди ночи, зазябший, не став даже есть, лез в тепло тел.

Так повелось, что Федяич привел и держал при себе бабу, которую как-то сговорил и таскал теперь за собой всюду, и кормил ее, конечно, на общие артельные деньги. Артельщики были недовольны, но вслух ему сказать не смели, кулачище-то — во!.. С тем большим удовольствием бородатые кряжистые мужики отыгрывались за свое подневольное молчание и мало-помалу потешались, когда стало ясно, что баба вдруг впала в жалость к этому убогому (бабу разве поймешь, баба жалела!), особенно же посмеивались, когда посреди ночи Федяич обнаружил, что в шаге от него она спит в обнимку с прибежавшим и замерзшим Лешей-маленьким, а маленькому-то уже семнадцатый шел годок. Федяич тогда сделался свиреп. Федяич так кричал на него среди ночи. Артельщики проснулись и со сна тоже кричали. А Леша только моргал глазами, не понимал. Но бить его, паренька убогого и для дела нужного, было, конечно, грешно, разве кровь пустить, и Федяич двинул его стылым кулаком легонько.

Он понимал, что малец лишь с холода, с полусна полез к ней и прижался, он бы и в хлев теплый полез, лишь бы в теплый. Федяич понимал, но артельщики посмеивались, и надо ж было сколько-то себя показать.

— Н-ны... Больно-оо, — утирал разбитый нос Леша.

Особенно много тех людей приходило откуда-то с Волги, рыжеволосых, широколицых и напористых. Они любили посмеяться, смех у них был раскатистый, громкий и искренний. «Ге-ге-ге-ге...» — а глаза при этом совсем не смеются, рот распахнут, лучи у глаз, а в их светлых глазах пусто. Они ходили с кирками, с лопатами, с промывочным ковшом и с одним-единственным вопросом:

— Где?

За ними шли местные, наши, худшие из наших, кто за самородное местечко продал бы кости своей старой матери.

Но всех их — как пришлых, так и непришлых — интересовал тот длинный подросток, бегавший за артелью, дурной, но чующий. Побаивались они его рук.

В горах к нему подошли трое, когда он сидел один, отставший. Вечер, но было еще светло, а он сидел на пригорке (устал он) и смотрел вниз — на петлявшую дорогу. Было тепло. Был закат. «Бог в помощь, Алексей». — «Здравствуйте». Они сели рядком ужинать, а он прилег, валялся на земле, потому что весь день на ногах, с горы на гору. Выпили. Вынимали снедь из мешков. «Как золотишко? — спрашивали они. — Ищут золотишко твои замечательные руки?» Еды у Леши было в обрез, так что они его покормили. Дали балыка и дали икорки. А потом вдруг появилась веревка — он вскочил; но тот, что справа, успел удержать его за ноги; когда его вязали, Леша изловчился, схватил камень, ударил камнем, бил, бил, ухо в кровь и затылок в кровь, но тот удержал его бьющиеся ноги, здоровенный был, обливался кровью и держал. «Нет у меня золота, ничего нету, братцы!» — кричал Леша. «А мы знаем, что нету». Они его связали, затем ломиком перебили ему чующие руки.

Они были деловиты, все трое. Для достоверности они помяли и пощупали, даже прощупали насквозь — перебиты ли кости? — те самые, криво сросшиеся и чующие кости — перебиты ли? — убедившись, они все же потыкали ножиком в мягкое, чтобы и жилки в том месте понадрезать. Он потерял сознание. Они развязали его и ушли. Они оставили еды. Балыка. И икорки. И воды тоже. Чтобы не умер.

Какая-то древняя старуха приютила его на время. И выходила. Те трое не хотели греха на душу: убить не хотели. Они только хотели, чтоб не искал он золота, хотели сами искать и сколько-то найти, — а как можно найти после него? как можно найти, когда идешь по той же тропе и когда впереди человек, который ч у е т? — они надеялись, может, кости его срастутся наново и, так сросшись, потеряют способность слышать. Им ведь тоже хотелось находить песок.

Станица на пути попалась Леше удачно. Он тогда слишком намучился — он еле добрел, станица была сов-

сем маленькая, где-то под Косыртью. Зато прямо у дороги стояла древняя старуха, знахарка. Когда Леша подходил к ее домику, старуха испугалась. Тогда он ей, как мог, заулыбался. Было раннее утро. И старуха увидела, что он совсем еще молодой и что глаза у него детские, голубые. Он еле шагал. Он шел, выставив вперед перебитые кости, чтобы не задевать ими о самого же себя при ходьбе. Она спросила:

— Кто ты?

И еще спросила, не разглядев:

— Что это несешь ты?

— Свои руки. — И улыбался, чтобы она перестала пугаться.

У Василия было в ходу презрительное выражение:

— Ну вы! — говорил он, браня любителей домино. Он как-то особенно вязался к игравшим, и одним из его удовольствий было идти вдоль барака к двум составленным столам и угрожающе кричать тем, кто в субботнее спокойное утро сидел, одеревенев, за этими столами и тихо дуплился: — Ну вы!..

Именно субботним утром, не в силах усидеть в четырех стенах, Василий выходил из барака и сразу же приставал: круговым движением руки он смешивал доминошные костяшки, и тогда кто-то на него замахивался (или материл), а Василий, в свою очередь, замахивался на того и показывал кулак (и тоже материл). Но драки не случалось. На поселении могли прибавить срок, и кто же захочет драться, когда осталось отбывать, или, как они говорили, *отживать*, год-два — и домой!

Так что Василий безнаказанно ходил вдоль столов и куражился, а если драка все же случалась, то случалась быстро, почти мгновенно и всегда вечером, в темноте (с той стороны, где барачные фонари — их было два — не светили), — тогда Василий возвращался с огромным синяком на физиономии и полночи в бараке буянил: «Г-гад! Он ведь по ребрам бил, подло бил!.. Но я ж завтра его по фингалу отыщу — я ж ему тоже врезал, у-уу, гад!»

И всю ночь с субботы на воскресенье побитый Василий не мог успокоиться, и тогда он еще больше хотел поговорить о жизни, повспоминать былое — всю ночь из приотворенного окна барака доносились его пьяные (подчас трогательные) разглагольствования, а то и пе-

ние с дружками по комнате, с простоватыми бывшими зеками, которые, возможно, сами его и побили. Жизнь как жизнь. Возможно, Василий растерялся, не зная, откуда и за что на него свалилось с неба такое чудо, как Лера. Он не знал, что делать с чудом. Разглагольствуя, он отнюдь не щадил и Леру: «Да что мне она — да отдам ее тебе, Серега, на раз, сам отдам, да запросто! да что ж бабешка значит против дружбы нашей и прожитых вместе лет! мы ж корки сухие глодали! полцигаркой делились! да что Лерка-Лерочка, да и поить ее не надо — скажу, что ты мне друг, кореш и что тоже много пострадал. Она хорошая, сама посочувствовать умеет. И жалостливая, ей-богу!..»

— У нас нет никакого права говорить о его прегрешениях в прошлом! — восклицал я.

— Ни малейшего! Он был на нарах, понимаешь, *на нарах!* — воскликнула Лера.

Набросив пиджак на плечи по моде тех лет, к играющим в домино приближался Василий и говорил:

— Ну вы!..

А наши (Леры и мое) сердца замирали. Мы следили за сильной мускулистой рукой Василия — он водил ею возле костяшек домино, неужели смешает?! ах, не надо бы ему! игроки всегда злы! — а он все водил и водил рукой по воздуху, кружил над костяшками домино, над примитивной игрой, честно выстроенной в линию, и один из бывших зеков (иногда это был скучавший за домино милиционер) говорил:

— Васька, не балуй!

Рука Василия не каждый раз смешивала их костяшки; покружив в воздухе, попугав играющих и заставив их несколько понервничать за момент игры, рука поднималась от стола кверху, однако не для того, чтобы оставить играющих наконец в покое, — Василий вдруг снимал, сдергивал (уже обеими своими руками) с голов играющих фуражки и менял их местами. Головы были разные, на здоровенную башку он напяливал маленькую пошлую кепочку, а мелкая головка зека, что сидел напротив, мгновенно тонула в огромной милицейской фуражке.

— Ну вы!.. — говорил Василий и уходил (к своему грузовику), это субботнее действо с фуражками было последним, что я там запомнил.

В субботу я и уехал.

Ранним утром я сел в кабину грузовика, за руль сел Василий, а с другой стороны от меня, придерживая на коленях мой чемоданчик, села Лера — втроем мы так и ехали, согласно подпрыгивая на ухабах и касаясь друг друга плечами. И всякий шедший навстречу по поселку бывший зек или местный житель мог видеть этот традиционно завершающий общий план — три лица за стеклом мчащегося грузовика. Машина прыгала по ухабам, и три лица за ветровым стеклом смещались вдруг в одну сторону, три головы вжимались одновременно в плечи, притом что один из троих (Василий) крутил руль.

Когда поезд тронулся, я видел из окна вагона, как они оба, Лера и Василий, остались на перроне («Не приезжай больше», — шепнула мне Лера). С ними вместе, вытянувшись вдоль железнодорожных путей, остались там и сосны, и пригорки, и замечательная плато-гора, которую я увидел из окна вагона получасом позже. По ощущению нельзя было сказать, что меня прогнали. Меня словно отправили в свой путь. И больше я не был в том времени — во времени Леры, Василия и Анны Романовны, склонившейся над могилой.

Возвратившийся в Москву, полный остаточной горечи и не знающий, с чего начинать жить, я снова взялся за повесть. Это понятно. Чувство потери (и своей потерянности) монотонно, тупо мучило меня день за днем. Леша-маленький сделался вдруг в моей тетрадке куда большим, чем просто отстававший подросток. Я жил им. Я писал, дело пошло; и вот я гнал страницу за страницей, как одержимый. Я так редко ходил на лекции; я не жил, я словно скользил со дня на день своим пока еще невесомым телом, я только и думал теперь о той минуте, как приношу повесть в «Новый мир» и как сам Твардовский ее одобряет.

Я кое-как сдал зимнюю сессию. (Да, да, я принесу повесть в отдел прозы и, будучи твердо, максималистски настроенным, скажу, что хочу, чтобы ее прочел Александр Трифонович, я слышал, что он сам читает начи-

нающих. Мол, знаю, что он очень занят, но готов сколько надо ждать.)

Как всякий начинающий литератор, торопящийся принести первую повесть в журнал, я полагал, что повесть моя непременно неплоха и что даже очень неплоха, и что ее поймут, оценят, напечатают — и вот уже я, имярек, буду причастен к сонму имен тогдашних авторов «Нового мира». Я не знал иерархии тех имен, не знал, кто побольше и кто поменьше, — сияние имен было равным, равно прекрасным! И потому без каких бы то ни было разделений и оговорок я представлял себе, что буду причастен к миру имен Яшина, Овечкина, Эренбурга, Семина, Шукшина, Тендрякова, Абрамова[1] и других, притом что неназванность других не является ничуть их умалением, а лишь известной невозможностью всех назвать. Мир имен был огромен; мир был един.

Но это же немыслимо, это же бред! — говорил себе я, совсем молодой человек, только-только начинающий, — это же немыслимо, это же какое счастье!.. Но почему же немыслимо, но почему же бред, говорил себе я, совсем молодой человек, написавший первую повесть; напротив, именно так и бывает, и судьба литературная — это судьба, и начинаются же с чего-то причастность и приход.

Именно в те дни я заказал как-то разговор с отцом и долго рассказывал по междугородному телефону о новомировской прозе и о смелом, бескомпромиссном искусстве вообще, так что отец, крепкий тогда, сильный, умеющий посмеяться, спросил: «Ты что, звонишь бесплатно?» И помню, как возмущенно я ему возразил: «Батя, неужели мы о деньгах?..»

Повесть завершалась, писались последние страницы. Ночью я уходил вон из общежития: не мог спать. Я бродил по аллее молодых топольков (сейчас это чудовищные деревья-шпили, прокалывающие небо и невыносимо забивающие шоссе и всю округу пухом) — я бродил усталый, переполненный и мысленно разговаривал с Лерой, жаловался, корил ее в неверности и тут же ей говорил, что это ты, ты, ты дала мне силы написать повесть, ведь я по-новому увидел свои горы, свою Безы-

---

[1] Многие писатели и блистательные критики того «Нового мира» продолжают и сейчас активно работать. Рассказчик называет лишь имена умерших, вероятно, чтобы сильнее ощутить и пережить вновь свое чувство отставания. *(Прим. автора.)*

мянку, свой шиповник — ведь теперь только я узнал, что я любил.

Я беседовал с ней, рассказывал о том, как помалу пишется повесть, как спешит с горы на гору за артелью старателей чующий подросток, и Лера мне отвечала, та Лера, прежняя, отвечала мне — да, милый, да, да.

Я спешил с повестью и словно бы предчувствовал, что журналу «Новый мир» в прежнем его качестве оставалось существовать совсем недолго. Не стану ни нагнетать, ни даже удваивать ощущение, рассказывая о тех событиях, моя задача проще, камернее, но все же скажу о том чувстве растерянности и подавленности (довольно типичном для восторженного молодого человека тех лет), которое я испытал, когда принес наконец повесть в «Новый мир» и узнал, что Твардовского там уже нет. «Как нет?.. Но он же был». — «Вот именно», — ответили мне. Объяснили — и тогда я ушел, держа папку с повестью в руках, я и не подумал ее там оставить. Ощущение потери мигом сомкнулось с потерей Леры, боль стала острой, личной — и вот я шел, шел, шел, а потом, пройдя переулок и повернув, возле какой-то урны стал рвать первую свою повесть; я был в возрасте, когда повести сжигают или когда их рвут прямо на улице, а она плохо рвалась — руки ли вдруг ослабели или бумага была жесткой, — и тогда я просто ее выбросил.

6

Набегавшийся по горам за день, он только-только прилег у ручья поспать. Он развел костер, прилег, он не успел даже сна увидеть, как из-за пригорка повыскакивали люди, какие-то чужие артельщики, — со сна он не разбирал, не различал их бородатых лиц, но только видел, что чужие. Леша испугался, но на этот раз его не покалечили и даже не побили, он был им не нужен — им было нужно место, на котором он спал. Схватили, отбросили его в сторону. И стали копать, копать, мыть, намывать песок. Развели большие костры, спешили. Леша сначала стоял в сторонке, дрожал от холода. А потом лег между двух их костров и заснул; спереди костер и со спины костер — было тепло. Тянуло его тут спать, не отпускало!

Они копали, дробили, мыли, а он спал. Скоро они сместились, и его вновь прогнали. Пошел! Пошел!.. Не мешай работать!

Баба сквозь сон расслышала, как он ткнулся туда-сюда, потом к ней прижался, такой зазябший, — она положила его голову себе на грудь, приласкивала рукой: «Спи, спи...» — он дрожал телом, бился, никак не утихал. Такой ведь глупый, убогий, так что, давая тепло ему и приласкивая, она, как бывало с ней ночью, хотела из жалости уж дать все, но он сторонился, не понимал, его продолжал бить озноб, на миг он размякал, теплел, но опять стыл, и тогда она уже крепче держала его за плечи, прижимая, и наконец почувствовала его, ну то-то, милый, получи удовольствие, жалкий мой и маленький, забитый всеми, гонимый, всегда полуголодный; она стала его подкачивать, прижимая к себе ладонями и придавая ему качем побольше силы, хотя глаза его были закрыты и сам он не понимал; однако от минуты к минуте удовольствие ее разрасталось, ей хотелось вскрикивать — она слабо ойкнула и тут же зажала себе рот, господи, прости, вокруг все спали, было тихо, не услышали ничего, но нечаянное удовольствие ее никак не кончалось, притом что сам Леша не просыпался. А ей сладко делалось и невыносимо, такой юненький, подросток, и надо ж, такой взрослый, она уж и не знала, что поделать, стала тихо хрипеть голосом, так и этак сдавливая себе горло (это было удобно, потому что ее размеренный хрип сливался более или менее с храпом окружающих), она еще и подумала, что как это удобно и как ловко она тем самым спряталась, замаскировалась, как вдруг помимо воли она закричала, вскрикнула, затрубила так, что все они, сонные, спящие, повскакивали с мест. К счастью, она успела Лешу оттолкнуть, во всяком случае, придать какой-то чуть иной смысл их ночному объятию. Но все равно пробужденные кричали: «Ополоумела, что ли, — орешь среди ночи!» И бородатый Егор Федяич, который спал в шаге от нее, стал кричать: «Ты что это к бабе лезешь?» — и ударил Лешу, а она уже вопила на Федяича:

— Да убогий он!.. Да зазяб он!

На Лешу, съежившегося и оказавшегося вне тепла, и точно нашла прежняя зябкая дрожь, он стучал зубами,

весь трясся. При этом глаза его были закрыты, он спал, он так и не проснулся.

Солнце уже припекало.

— Вот! — крикнул им Егор Федяич, главный человек в артели, которого все они, хочешь не хочешь, уважали.

Загалдели, обступили его возле ручья. Она (из шалаша) лишь на миг увидела еще раз его поседевшую голову. И кривую напряженную улыбку.

Подручный лил воду на промывочный ковш ведро за ведром.

— Еще вот! — выкрикнул Егор Федяич.

И все тут же зашумели, заговорили — да, убедил, да, да, такой уж, мол, ты удачливый, Федяич!

Она слышала, как Егор Федяич торжественно им сказал: «Ну — теперь работать!..» — и, смолкая, все стали расставляться по ручью по своим местам, кто к песку, кто к воде. Подручный споласкивал песок деревянной лопаточкой. Из образовавшейся ямы песок вычерпывали теперь бадьей, подтягивая ее на веревке. Егор Федяич подошел к первому, счастливому ковшу. Стоял с минуту и глядел на небо. А на поясе у него уже болтался кисет, похожий на махорочный, но только тяжело, богато покачивался — темный, влажный от старательского пота, большой такой кисет, полный мокрого желтого крупитчатого песка.

— Ух! — сказал Егор Федяич и вытер пот, а сам все глядел на небо, довольный и благодарный.

Покурил...

И опять они там неостановочно шумели песком — грохотали. Баба оглянулась на Лешу-маленького. Он так и спал возле шалаша. Набегавшийся ночью, он никак не просыпался, не мог подняться со своего золотого места. Угнездился прямо на земле, вот ведь убогий, без матери, без дома — как-то он кончит жизнь!.. Она позвала негромко: «Леш, может, поешь, а?» — но он не слышал.

У бабы было монастырское зелье, дававшее долгую жизнь и прогонявшее худобу. Она поколебалась: она как бы оторвала от себя и вот, пошептав, с молитвой влила ему в рот глотка на два, но сонный, он кашлянул, дорогая жидкость выскочила изо рта и текла ручейком, стекала по щеке во впадину на его груди. Еще попы-

талась — и опять никак. Ей стало жаль зелья, и, припав, она громко втянула ртом капли из впадинки на груди вместе с воздухом — сглотнула разом.

Когда она сварила к вечеру кашу, Леша еще не проснулся, но уже начал маяться своей каждодневной дурью: вдруг просыпался в испуге. А баба как раз подбросила в костер и вернулась к шалашу.

Леша вскочил весь встрепанный:

— Не ушли еще? не ушли?.. Не отстал я?

— Не отстал! — твердо сказала она.

— Ночь?.. Утро?.. Не отстал я?

— Да день, день еще. Спи... Да вон же мужики наши — золотишко моют. А ты спи.

И, покачав головой, баба вновь вздохнула: вот несчастный...

Но через какое-то время он опять вскочил:

— Не отстал?

— А ну, ляг! наказание чертово! я тебе сейчас как по башке дам!

Баба толкнула его. Уложила. Наконец он задышал ровнее. Заснул.

Ей вновь сделалось его жаль, она зачем-то взяла и подержала его перебитые, чующие руки — смотрела на них. Одна рука вдруг сонно развернулась, как бы раскрылась ладонью. Баба негромко вскрикнула: «Ой!..» — и выпустила. Его рука так странно лежала: лежала ровно вдоль тела, но перебитая кисть как-то нелепо выкручивалась, словно и тут во сне раскрытая рука то ли что-то искала, то ли робко просила у бога. Рука была как застывшая, как бы протянутая. Баба еще раз осторожно, опасливо потрогала ее.

Позвонил отец и сказал, что этой ночью было совсем плохо — он все бежал во сне, бежал, и проваливался, и оступался в снегу с ухающим сердцем. Он уверен, что в какую-то ночь сердце не выдержит, потому что нет больше сил, пусть наконец я совсем отстану, пусть я умру, но пусть мне это больше не снится.

Отец рассказал, что во сне были новые подробности: он бежал по медленно поднимающейся горе, всюду там заснеженные кусты, камни, машина грузовая была уже далеко, — и вот, задыхаясь, отец приостановился и уви-

дел вокруг еще несколько отставших. Да, увидел людей! Один отставший сидел возле камня. Другой валялся прямо у дороги. Они оба уже смирились и были спокойны — они уже не бежали.

— Во сне я подумал: если бы я мог, как они... — И голос отца дрогнул.

Он сказал:

— Я все про сны да про сны. И ничего не говорю о маме — как тебе такая забывчивость?

— Но ты говорил, что иногда плачешь о ней. По дороге, когда идешь в магазин.

Он кивнул (там, в Подмосковье, в телефонной будке он кивнул):

— Да, да...

— На нарах, — Лера пересказывала Василия, — жизнь совсем другая. Там особенно важно чувство товарищества. Вот надо втихую что-то пронести... или обойти шмон. Вскрик! — и люди собираются в одну секунду. Не базаря и не раздумывая (быстро, как перед побегом), каждый рассказывает, что знает и что умеет. Рассказывает кратко. Не хвастая, не преувеличивая. Но и не преуменьшая своих данных. Опыт — дело святое. Общее!

— Вчера Василий и его старый друг по нарам Эдуард решили пронести бутылец. Вот настоящие мужики: я слышала, как они говорили. Слова прямы, угрозы кровавы. Они решили пронести сразу четыре бутылки. Сказали, что спрячут сами и пронесут сами. А я буду только отвлекать. Сумку (пустую!) отдали мне. Пока, мол, на пропуске тебя, Лерка, проверят и общупают, мы бутылки пронесем — я даже струсила. А потом думаю — плевать, пусть щупают, надо — значит, надо. Но тот, который у проходных ворот, постеснялся меня щупать, представляешь! — у него оказались руки грязные. Он даже оглянулся на рукомойник, не сбегать ли помыть, а потом меня пощупать. Но постеснялся... Так что Василий и его друг по нарам Эдуард прошли легко. С бутылками мы после отправились на могилу какого-

то их третьего друга, который тоже был с ними на нарах, а потом уже здесь умер...

Когда в Москве мы ходили вдвоем по тоненькой тополиной аллее и когда я говорил о несломленных (и о сломленных) людях, говорил о воздухе, который при выстрелах ударяет по затылку, говорил о колючей проволоке, о нарах, о братстве, о песне в полуночный час, Лера шла рядом и тихо слушала. Молчала. Иногда она робко кивала, соглашаясь. И молодые топольки тоже тихо шелестели, их шелеста, впрочем, тогда еще не было, не существовало, они только шевелили беззвучно тощенькой листвой.

Чаще всего мы гуляли по той тополиной аллее, что возле общежития нашего вуза, пока не оказались в Новостройном и на Хоне-Десновой — там, где Урал, несколько разворачивая свой могучий кургузый хребет, начинает переходить в Сибирь и где среди других гор стояла удивительная гора, ровно возвышающаяся, с продольными холмами.

Лера говорила:

— Ну что?... ну что ты насупился, как ты мне (нам!) тут надоел! Твоя постная рожа портит пейзаж — а еще уралец!

И снова:

— Проваливал бы наконец отсюда — чего ты тут околачиваешься?!

И нарочито грубо:

— Ну чего, чего смотришь — уйди, мне пописать надо, пойду за горку, потому что не хочу дышать барачным сортиром. Да не провожай же меня! Ты что — оглох?!

А я действительно оглох, я не видел временами и не слышал. И больно было. И казалось, что мне было бы легче, поддаваясь жизни, видеть ее исказившиеся черты, ее болезнь и даже гибель, чем это ее преображение. Жесткость, грубость ее казались необъяснимыми. Я молчал, только цепенел. Только чувствовал вдруг уколы в груди, в сердце, и было так жаль ее, и было неменяющееся ощущение, что я ее теряю, теряю.

— ...Вертухай?! — рассказывала Лера. — А ты знаешь ли, как появился вертухай?

Тот спор, когда перебирают все возможные и невозможные толкования слова, уже возник, и сначала сама Лера утверждала, что смысл выражения очевиден — охранник, мол, на вышке своей, как и всякий охранник, вертится. Я согласился. Но я предположил — охранник, быть может, к тому же кричит зекам: не вертухайсь! — то есть не вертись и стой ровно, иди ровно, дыши ровно, не оглядывайся. И уже исходя из частого (поминутного?) окрика, словцо к надзирающему прилепилось навечно. Лера вдруг с пылом сказала, что у нее мысль и что, может быть, вертух — это карабин, удобный в руках в близкой стрельбе, короткий карабин, легко поворачивающийся в его руках (вертящийся), которым охранник вооружен! да, да, это фетишизирование предмета, фетиш оружия, культ выстрела!.. Мысль была как мысль, тоже умозрительная, домашняя, но Лера уже почему-то грозно на ней настаивала, не дай бог возразить, губы ее задрожали, она побледнела. А я, конечно, уже строил свою модель: мол, там, на вышке, был вертящийся прожектор, освещавший туда-сюда колючую проволоку...

— *Ну ты!* — Лера вдруг окончательно взорвалась. — Ты опять со своими прожекторами, умник несчастный. Ты еще про теорему скажи — мол, преломление света!

— Но ты не лучше со своим культом выстрела, Василий твой тоже не все знает о тюрьмах...

Тут она побелела:

— Как ты можешь? он не ты — он несколько лет спал на нарах!

— Ну и что?

— Ты!.. Ты!.. Убирайся!

Она задыхалась.

— Лера, — я спохватился. — Лера. Прости.

— Убирайся. Уезжай! Видеть тебя не хочу!

Весь день я пытался вернуть ее расположение, но Лера только мрачно качала головой: нет.

Я каялся, просил прощения. «Лера, так получилось, Лера, язык — враг мой. Прости...» — я оправдывался, напоминал о том, как долго и как хорошо мы дружили — ведь полтора года, почти два года, я ее любил, когда мы сидели рядом на лекциях и бродили по аллее

молоденьких тополей, и там никого не было, только птицы! Голос мой дрожал.

Лера была непреклонна:

— Ладно, ладно. Я не сержусь... Но уезжай.

(Барак и латунный рукомойник, и гору Безымянку, и двух милиционеров, играющих в домино на теневой стороне, и кусты шиповника — все надо было оставить. И после долго еще ощущать эту близкую слитность. И получал как чужое, и оставлял как свое.) Лера повторяла прямо и грубо:

— Когда же ты отвалишь?.. Уезжай. Надоел уже.

И еще:

— Я хочу здесь жить и сострадать Василию. Хочу, чтобы с ним была только я — понимаешь?

А я не понимал.

В таком вот состоянии болезненной друг от друга отчужденности мы поднимались на пригорок, в ту минуту я, кажется, ее попрекал, а Лера смотрела на небо, широкое, синее, долго смотрела, а потом сказала, ну что ты опять и опять ноешь? — ну, ладно, идем, идем... — и там же, на чудесной небольшой полянке, под молодой хвойной порослью с одной стороны и кустом шиповника — с другой я в десять минут получил то, чего так влюбленно и так пылко два года ждал (да полно — этого ли?) и на что потратил столько молодых сил, мыслей, нервов и бесконечное число слов. Потом мы опять шли по пригорку. Лера сказала:

— Ну?.. Теперь-то все в порядке?.. Теперь — проваливай.

Она невероятно скоро усвоила их речь. Более того, она стала много грубее Василия.

А я не понимал. И опять жил день за днем. Но что-то во мне все-таки перегибалось то так, то этак и вот совсем тихо сломалось, как мягкая проволока, и я как-то вдруг сказал: «Уезжаю», — и стал собираться. Они проводили меня спокойно, по-доброму, словно бы я их попросил. Сначала мы ехали на грузовике. Затем Лера несла мой нетяжелый спортивный чемоданчик, а мы с Василием пожали друг другу руки, и Василий нес несколько бутылок самодельной бражки мне в путь-дорогу — я шел меж ними налегке, сам по себе.

Поезд тронулся. Я стоял у окна. Я уезжал, а за окном на плохоньком перроне оставалось сдержанное, прекрасное лицо Леры и машущий рукой, подобревший Василий со своим грузовиком, и со своими нарами, и со своими ребрами, не обрастающими никак мясом. Здесь оставалась земля, пригорок с шиповником и бараки, и речка Хоня, полная водой.

И как всякому, кто выглядывает из вагонного окна, мне казалось, что это они — земля, речка, бараки и пригорок с шиповником — бегут все быстрее, убегают, а я отстаю от них, отстаю все больше.

Через полчаса на 39-м километре от Новостройного поезд пересек и проскочил речушку Хоню, где притихшая Анна Романовна и где могила ее мужа, где безымянные могилы вокруг.

Хоня — небольшая речка, но довольно глубокая и полная водой по самые края. Казалось, у нее и берегов нет: текла вровень с землей.

Я отставал от времени, а не от Леры, не от пригорка с шиповником, не от могил на Хоне-Десновой, не от журнала «Новый мир», не от признания первой повести.

Отставший, задыхающийся от ночных страхов бежит в темноте Леша. Он устал. Он не хочет больше жить. Вот он сделал несколько шагов и, обессилевший, сел и сидит на земле, обхватил голову, прижимая охолодевшие уши. Надо ли тут умирать? Сможет ли он, к примеру, захлебнуться, как тот пьяный старатель, в ручье насмерть и что будет после?.. Он зябнет, сидит у ручья. Приятно думать, что умрешь. За него там помолится мама. Конец всему. Никогда уж не надо просыпаться и вскакивать, прихватывая рукой полотняную сумку, и бежать, бежать. Он хочет хотя бы один раз уснуть и проснуться без страха. Он умрет — это будет его спокойный и непрерываемый сон, а дальше? — а дальше ангелы должны сами все знать и все для него там сделать.

Необъятно это огромное ночное небо. Немыслимое там количество звезд. Но вдруг и на том свете, на небе, где для всех рай и тишина, ему будут мешать эти звезды и сбивать с толку, потому что звезды так похожи издали на огни. Ему не будет покоя, он будет бегать и бегать от одной к другой и от другой к третьей, принимая их за костры. Господи, господи! как страшно!..

Он воочию видел себя, видел, как худой, голодный подросток бежит по звездному полю в страхе, что отстал. Станут ли и там на него кричать или не станут? «Господи, неужели же и умереть не выход и не отдых, я хочу отдохнуть, отдохнуть», — повторял Леша и бил маленьким кулаком по ручью, расплескивая воду.

Однажды Леша сидел у скалы и смотрел на свою тень. Потом он перевел глаза — и увидел еще одну тень. Никакого человека рядом с ним не было, и вообще ни души вокруг. Никого. А тень была. Он испугался и подумал: кто это? Не брат ли мой умерший, не Коля?

Они отставали когда-то вместе, и если бранят, то обоих, голодны, так тоже оба.

Стал чаще являться ему Коля, братик двоюродный. Появлялся он таким, каким был при жизни, только губы спекшиеся. Он подходил и вроде бы садился недалеко от Леши, и вроде бы все котомку его трогал. И упрекал:

— Не жалеешь меня, Леша, не плачешь по мне.

Леша оправдывался:

— Я не плачу, и ведь обо мне никто плакать не станет.

Братик Коля тяжело вздыхал. Трогал котомку. Сидел у костра и говорил о недолгой своей жизни — так, мол, и догонял я всю жизнь. Так и мучился. Так и не отдохнул ни одной ночи.

— А я? — спрашивал Леша. — А я отдохнул?

— Верно. И ты тоже, — печалился братик Коля и наконец таял, таял и исчезал.

Леша смотрел на огонь, глаза слипались. Но спать было нельзя, надо было уже идти; и он вставал.

У костра. Ночь. Сидят пастухи... Вдруг слышно, бежит кто-то. Пастух берет было ружье, но откладывает в сторону — шаги больно легки, нет, не жеребенок, еще легче, и не горная коза... Вдруг в свет огня вбегает худенький подросток Леша.

— А?.. — Он оглядывается, озирается, понимает свою ошибку. И вскрикнув — вновь убегает.

Пастухи переговариваются:

— Полоумный...

— Так и бегает ночами, бедный. Отстал, своих догоняет.

В это время Егор Федяич и другие артельщики подобрали какого-то иного убогого мальчишку: водили по берегам, поржавевшим от раскопок, по ручьям, по долинам, но только впустую. Убогий морщил лоб, изображал поиск, вдруг задумывался надолго: он очень похоже терял выражение лица, словно бы вступая в общение с высшими силами, все было так, все было похоже, но только не находил он золотого песка. О самородках и говорить нечего.

7

Каждый вечер я тогда бродил возле «Нового мира» и трепетно думал о том, как закончу свою замечательную повесть, и как ее принесу, и как Твардовский ее прочтет — вышагивая на изрядном отдалении от редакции журнала, одно название которого меня бросало в возвышенную дрожь, я все скруглял и скруглял незаметно для себя пространство площади: я приближался.

Для начала я сопричащался. (Причащался места.)

Первый раз я прошел вблизи здания редакции, не подымая лица и самым скорым шагом. В ту минуту я опасливо думал, что если кто увидит меня, кто-то из женщин-редакторов, что сравнительно скоро будут принимать у меня рукопись, то ведь в моем кружении здесь нет ничего страшного, — мог же я проходить здесь случайно. Да и не запомнят они моего лица. Здесь столько людей, булочная, магазины. И памятник Пушкину. Да, да, возможно, я просто-напросто иду в кино и свернул за угол. Смелея, я вновь приближался. (Ведь я приходил, уже потрудившись над повестью: передышка — род отдыха.)

В том хождении вокруг журнала, как можно догадаться, было еще много остаточной любви, любви, еще не ушедшей и не кончившейся. Леры не было — и все же Лера была. Произошла смена места, но вслед этой смене одно состояние души пока еще лишь пыталось смениться, обменяться на другое. И если в молоденькой тополиной аллее, когда мы с Лерой бродили вдвоем, окружала по большей части зелень, ветки, листва, а дома и строения лишь смутно угадывались, то здесь, у редакции, наоборот — дома, строения лепились стена к стене, а вот зелень, деревья Страстного бульвара еле замечались в просвете зданий.

Там было строение — сейчас его нет — и были продольные полосы на его стене, разводно-красноватые, если вблизи, и плотные, словно поросшие тянущейся темной травой, если издали. Я не поднимал глаз и не помню верха здания, не помню числа этажей, но сами полосы и лепнину, которая находилась на уровне моего лица, бугристость красноватой штукатурки хорошо помню. И каждый раз возле этого здания при виде встречного человека (со стороны редакции), который шел в моем направлении и хоть как-то, хоть вскользь поднимал на меня глаза, я взрывался изнутри мелким потом, был весь в капельках, в светлых и мелкобисерных, как в пузырьках воздуха только что откупоренная бутылка «Боржоми».

Вероятно, я не сознавал постепенную подмену чувства и мучился этим. Но, возможно, в наивности своей я отчасти даже надеялся, что публикация повести мало-помалу оттеснит Леру — каким образом? — а самым обычным и понятным. По причине моей причастности к прославленному журналу Леру оттеснят некие события и некие интересные люди и разговоры о высоком искусстве. Клин клином, и вот Лера отойдет сама собой, отлетит куда-то в далекую даль, в забвение, как та спугнутая птица (сойка?), что, вдруг попав в русло молодой тополиной аллеи, летела, срываясь, все назад и назад, то ли не умея, то ли не желая свернуть. Часто маша крыльями, птица летела, не поворачивая ни вправо, ни влево, летела как по воздушным рельсам — меж тополями, — и я сказал, оглянувшись, Лере: «Смотри!»

Лера, с которой я мысленно в те дни общался, была той Лерой, что училась со мной и шла по тополиной аллее, держа меня за руку, и была тиха, вдумчива. Она произносила слова, как прежде. И, как прежде, чутко молчала. Она была со мной, что, конечно, лучше всего свидетельствовало, что то время кончилось и что ее нет.

Не с площади, а с улицы Чехова, держась ближе к знаменитой церкви, что на левой стороне, я шаг за шагом приближался к зданию. В окнах было темно — и в первом этаже, и во втором. Я предположил, что Твардовский (его кабинет) находится на втором, и тут

же в одном-единственном окне второго этажа я увидел вдруг свет, слабый свет. Не знаю, в какой из комнат и почему в тот поздний час светилось. Возможно, ночной вахтер, уже подремывая, сидел где-то там, на втором, с окнами на другую сторону (а на мою сторону отслаивался лишь коридорный отсвет), тем не менее, как завороженный, я не мог оторваться от тусклой красноты ожившего окна. Я подошел совсем близко к входу, прочитал вывеску журнала, протянул руку и тронул ладонью. Я оглянулся по сторонам, не видит ли кто.

Не уверен, так ли уж страстно я хотел в те дни публикации своей повести — я хотел причастности. Как хотели ее сотни или даже тысячи молодых и начинающих тогда литераторов, тщетно соединявших, как в задаче, время и время — свое и общее. Но, конечно же, когда я вечерами кружил и кружил возле той группы домов, суть переживания, пусть даже незнаемая мной, не сводилась к тому только, что молодым свойственно тянуться туда, где пахнет дымком славы.

Я ведь совсем не знал последних событий: я отгородился. В среде студентов-математиков (моей тогдашней среде) мало что знали доподлинно, ходило много разных и достаточно противоречивых слухов, но все же они знали динамику процесса, уже знали, — и общайся я в те дни со своими собратьями, как общался с ними прежде, я хотя бы вовремя почувствовал, что идет к развязке. Во всяком случае, среди студентов уже тогда обсуждалось, что в газете, в одной из газет, хоть и не главных, а все же чуть ли не в «Социндустрии», было опубликовано обращение (письмо) к Твардовскому его бывшего верного читателя и поклонника. Такие письма не бывали случайны. Тон письма был настораживающим. Как же, мол, так, Александр Трифонович, и что же такое происходит? Я вас знал, и я вас всегда любил, было в письме, любил и чтил еще за «Теркина», а вот теперь журнал, которым вы руководите, темен для меня, простого человека, многое мне на страницах журнала непонятно и сложно, да и, простите уж за прямоту, порою кажется странным и чужим.

В один из поздних тех вечеров я наконец позволил себе подойти и подольше постоять возле уснувшего здания редакции, покурить у самых дверей, чтобы избавиться от комплекса переступающего впервые порог (и чтобы быть, как я считал, психологически более гото-

вым к первому разговору). Я боялся быть смешным и быть начинающим, хотя, конечно же, был и начинающим, и смешным. А на следующий день, осмелев, я подошел к редакции, когда там еще были люди: я застал как раз тот момент, какой бывает в конце рабочего дня в любом живом учреждении. Конец работы. Сотрудники и, возможно, члены редколлегии расходились в тот час или в те полчаса по домам. Но, может быть, они отправлялись на какое-то срочное обсуждение в в е р х а, куда их вызвали в предвечерний час по поводу разрешения (или неразрешения) острой публикации... мало ли что я тогда навоображал! Волнение меня захлестывало. Я смотрел на выходящих из редакции сотрудников с расстояния в пять шагов — я стоял спиной к Страстному. Слышал обрывки разговоров. В частности, меня словно ожег обрывок фразы, из которого я понял, что у Твардовского больные ноги и что как бы не пришлось ему лечь сейчас, в ближайшие неспокойные дни, в больницу. «Это опасно?» — тревожась, спросил один, а другой сотрудник что-то ответил о состоянии больных ног и больного сердца, какая-то взаимосвязь, но ветер отнес слова.

Несомненно не только то, что, бродя вокруг и возле редакции, я одновременно словно бы бродил, кружил возле утраченной своей любви. Несомненно, что я смягчал боль. Невольно, но я пытался поднять свое отставание в любви на высоту, которая теперь могла быть измерена заведомо более высокой меркой, более общей, что ли, общечеловеческой. В той попытке приподнять свое отчаяние таилась попытка (уже отчасти осознаваемая) приобщить свое чувство к чувствам других и тем себя обезболить, ибо общая боль, быть может, и более тяжела, но менее остра.

И, быть может, шаг, уводящий от Леры, то есть шаг от любви в направлении написания повести, был только методом, так хорошо известным людям с давних-давних пор.

А то, что ходил кругами и видел дома, булочную, деревья, маковки с крестами напротив здания журнала, и то, что я огибал их, булочную, дома, деревья и маковки, было тоже понятным; это мое кружение было кружением всякого влюбленного вокруг любимой, да, да, — оно как раз и входило в метод забвения, растворения боли во всеобщем, ибо влюбленный, придумав (найдя!) себе общественное дело, бродил вокруг места,

где любимой его, очевидно, не было, а он, как в гипнозе, внушал себе, что она здесь.

И, возможно, кружение как-то смыкалось с кружениями Леши-маленького, когда он догонял артель, когда он бродил у перелеска, а потом выбежал на бугор, где сперва блеснула слюдяная ленточка ручья, и Леша вдруг замер. Он приостановился. Он ойкнул. Стало понятно, что вовсе не обязательно спешить и догонять — можно на время остановиться, заночевать тут, где его кружит и томит и где так сладко будет опуститься на землю. Не станет он ни искать, ни тем более ковырять землю лопатой. Просто ляжет, будет спать, и золото изнутри, со стороны земли будет чуть слышно прогревать его бока, спину. А поломанные руки — ладонями книзу — он положит на траву. Под травой, под дерном желтый песок, теплый желтый песок, и руки тихонько заноют: здесь.

Однажды, от артели отстав, Леша и братик Коля видели волка совсем близко, на бугре. Широкогрудый, глаза сильные, не мигали. Стоял и смотрел. Оба мальчика прошли по горе мимо. И братик Коля несколько смешливо говорил волку: «Ты же хорошая собака. Ты нас не тронешь... Хорошие собаки мальцов не трогают», — он говорил «собака», словно бы не знал, кто это смотрит на них с бугра, он говорил «хорошая собака», обманывая и себя, и Лешу, и волка на бугре, и долину, и камни, что вокруг, и облака.

При переходе с Нарышкинского проезда на Страстной бульвар я бок о бок все же столкнулся раз с собратом-студентом, он шел в кино и, полагая, что на этих улицах и делать-то больше нечего, с ходу заорал: «Ты тоже на восемь тридцать?» — то есть на ближайший по времени сеанс, и я ответил: «Да, да», — и тут же замахал ему рукой, отдаляясь, словно бы отнесенный в сторону людской толпой, заметно уже напиравшей в тот пиковый час.

Мне было неинтересно примкнуть к сонму влюбленных, потерпевших поражение в любви: их число (огромное) не облегчало моего страдания — мое растворе-

ние в них, в огромной массе нелюбимых, не привлекало, а вот растворение даже среди отвергнутых с первой повестью меня куда больше манило и грело. Втайне я, вероятно, ждал, что если откажут, то приобщение одного отказа к другому поглотит меня в некоей убаюкивающей тоске всех начинающих авторов, этих перышек на ветру.

Неудивительно, что было и внешнее совмещение, когда, набродившись час за часом по Страстному бульвару до изнеможения и дрожи в ногах, я садился на скамейку, отдыхал — и вот, рассматривая поток московских машин, вдруг видел грузовую, и даже номер был схож с номером машины Василия, так что тут же, у чугунной ограды Страстного бульвара, Василий останавливал свой битый грузовик, выходил (я не мог спутать его походку) и объяснялся с милиционером: «Ну ты!..» — натягивал ему милицейскую фуражку на уши, а потом вразвалку шел к моей скамейке, ко мне и сердито говорил: «Ну что расселся. Поехали — Лерка в машине ждет!..»

И там и тут в редакциях толстых и тонких журналов редакторы отделов, как правило женщины средних лет, приветливо всем нам улыбались: они словно бы знали (и, может быть, правда знали) весь многовековой опыт того, как проходит отвергнутая любовь, как переходит и сущностно перерастает отвергнутое чувство в неотвергнутую (или отвергнутую лишь поначалу) рукопись начинающего поэта или прозаика. Ласковый и понимающий взгляд этих женщин, не перебивая, так мягко расслаблял, успокаивал: все пройдет, все в этой жизни проходит.

«Как нет?.. Но ведь он *был?*» — только и переспросил я о прежнем главном редакторе, а мне ответили: «Вот именно».

В какой-то улочке, после потрясения, хотел порвать, но не рвалась, плохо рвалась, и тогда я выбросил рукопись. Я еще не знал, что отставание многообразно, но уже предощущал, что оно всегда личное и что оно надолго, что будет мне досаднее и хуже на душе, если под самый занавес журнала еще не смененный, но уже потерявший значение зав. прозой (добродушный мужчи-

на или милая женщина средних лет) отклонит повесть.

Лишь три года спустя подошел я к тому дому, где жили Лера и ее мама, к дому, где я пил чай под низко висящим абажуром лампы, источавшей такой теплый домашний свет. Расспрашивать соседей я постеснялся. (Мне думалось, что все они отлично помнят, как я часами стоял с Лерой у подъезда дома.) Но все же, собравшись с духом, я взлетел на этаж и постучал в ту самую дверь.

Там жили другие люди. Лампа с абажуром в большой комнате осталась, и я, кажется, за все время своего неловкого топтания в прихожей не отрывал от нее глаз. Другие люди сказали, что Лера приезжала лишь однажды и, наскоро собрав вещи, вновь уехала. Мебель она раздала соседям. Она собрала только два чемодана и уехала. Зашла и попрощалась.

Изредка бывая в поселке (и как бы приостановившись посреди своего вечного бега), Леша не понимал происходящей там жизни. Особенно же Леша недоумевал, глядя на поселковских женщин: у них, несомненно, было что-то общее с той, жалевшей его бабой, она такая теплая и так ласкова с ним, когда согревает его, покачивает тихонько, а потом еще начинает чуть-чуть постанывать или вдруг смеется тихо и затыкает себе рот своей же рукой (однажды спутав, она заткнула рот его рукой, кистью его руки, и он понял, что она слабенько кусает, совсем не больно, то чуть сильнее, то слабее, и когда сдавливала послабее, сквозь зубы и губы ее вырывалось тихое: нн-нны-ны-ыы...).

Вчера отец сказал:

— Да я потому и кричу на тебя, что люблю!

За минувшие годы в каких только вариациях и с какими только оттенками не слышал я от людей этого знаменитого слова, однако же в телефонной будке Подмосковья с выбитыми стеклами, в темноте третьего часа ночи, в измученности бессонницей и притом сказанное собственному сыну это слово все еще значит.

Отец стал хромать. Так что ночью в мелкий дождь (уже осень) в плаще, развевающемся при шаге, он спе-

шит к телефонной будке, прихрамывает и потряхивает коробком спичек.

В телефонной будке он сначала закурит (недосягаемый для дождя), а потом позвонит.

Он уверен, что ему сейчас так хорошо, у сына в гостях, у сына в его большой квартире, что так тепло и что мягко сердцу. Вот и поужинали, побеседовали... сын, невестка, внучка. Перед сном ему еще сверх выпадает посмотреть по телевизору заключительные сцены неплохого старого фильма, который еще до войны, в молодости, они (с умершей женой) смотрели вместе и который их тогда сблизил. Он еще и еще удерживает в себе тот чуточек радости. Он был тогда контужен на стройке взрывом, был нервный, но все-таки они тогда поладили; жили вместе долго и хорошо. Жена умерла раньше, чем он. Так вышло.

— Да, ложусь. Спасибо, спасибо, — говорит он невестке.

И как сразу они все легли спать. Молодые! Он тоже лег в отведенной ему комнате — ему мягко, тепло. Он думает на ночь глядя о былом своем семейном счастье, а затем и о нынешнем житейском счастье сына.

В квартире уже темно, отец лежит и как бы отмечает для себя эту минуту, когда уж клонит в сон, — им всем завтра на службу и по делам, но все равно он-то проснется раньше всех. Какой вечер! Какой хороший покой... Он гасит ночник. Квартира погружается в полную тьму.

Ему хорошо. Но вдруг он слышит как бы толчок под сердце. Он немного (несильно) пугается; что это, что это его так встревожило?.. Сон вдруг пропал, отец глядит — глаза он открыл, глядит в темноту.

И тут его охватывает чудовищный, ни с чем не сравнимый страх: этот страх словно бы стирает, зачеркивает всю его жизнь. Вдруг разом становится все противно. Страх беспричинен. И давит бессмыслие жизни вообще перед лицом рано или поздно подступающей смерти — бессмыслие всякой, не только его жизни. Как трудно. Как нехорошо. Человек закаленный, он пробует отвлечь себя мыслями о сыновьях, о внуках, о проделанной работе, о былых там и тут стройках, даже о давнем своем чувстве к улыбающейся молоденькой девушке на почте, будущей его жене, которая еще не отя-

желела, не располнела и совсем без морщин; он успевает о ней вспомнить, используя ее как заслон, пододвигая ее молодость, ее свежий облик, губы и белокурые волосы к этой бездне, но нет, нет, ни его долгий строительский труд, ни вся былая радость и свежесть мира не имеют сейчас среди ночи никакого значения, то есть решительно никакого, даже отвлекающего значения: то, о чем он думает, перебивает все и всех.

Он попытается, дабы сбить наваждение, клин клином и в пику, думать о плохом, о черном, но и зло мира, криминальные случаи, всевозможные беды, тупики человеческие, тотальные катастрофы и несчастья не отвлекают от такой, в сущности, маленькой боли его души, не боли, а некоей праосновы всякой боли, праболи-ужаса, который сковывает и леденит, отчего жизнь не в жизнь.

Постель жестка. Он ворочается. Он слышит голос умершей жены: «Петруша, Петя, как там погода?» — слышит он неожиданно ласковый, участливый ее голос, и что-то еще спрашивает она, измученная неуверенностью, про дни и про ночи на земле, темный ее голос, темные слова. Отец включает ночник — разве уснешь? — он гасит вновь.

Стук в дверь. Это кто-то из родных: сын ли, внучка ли обеспокоились его возней, ворочаньем в постели и вот (не надо ли чего?) предупредительно стучат. Ладно, скажу им, что бессонница, да и воды холодной выпью. Он встает, включает ночник, уже чуть подразогнав ощущение страха, вот и хорошо!.. а стук уже не стук, кто-то тарабанит в дверь. Ну, это уже не по-родственному. Он идет к двери недовольный — что ж так стучать? — он включает верхний свет — и ничего не узнает. Чужая квартира, даже и не квартира — изба. Как это он здесь? почему? Сонный, он быстро натягивает брюки и в одной рубахе выходит, выбегает туда, где уже никто не стучит, не тарабанит, но вместо людей так гулко стучит мотор. Грузовая машина рванулась... Машина за машиной! Вот и последняя. (В кузове ее так много людей.) Он глотает морозный воздух, бежит за ней. Он заправляет рубаху. Дорога скользка, наст подмерз, и как трудно бежать, и как уж далека, не догнать, машина.

1987

УТРАТА

1

Все знали, что Пекалов пьянь и промотавшийся и что затея его, конечно же, была и есть дурацкая; и все же он, подлый, хватал всякого за рукав и вопил:

— Ну, ребята, кто со мной — ведь под Урал подкоп рою!

И опять вопил:

— Под самый Урал рою!..

В трактире нарастало недовольство, и, поскольку Пекалов продолжал вопить, подручный Пекалова, званный Ярыгой, сначала делал знаки, а потом просто прикрыл ему ладонью рот: помолчи, мол, и не гуди, не время. (Пекалов дергался, мычал, но Ярыга держал его крепко.) А уже и пальцем показывали — пошли бы вы отсюда вон!

Они пошли; и на выходе пьяный Пекалов врезался плечом в зеркало, оно не вывалилось, но трещина заземеилась, и все те, что в трактире ели и пили, заорали ему вслед, чтобы отныне Пекалов ел и пил исключительно в прихожей, а далее ни его, ни тем паче Ярыгу не пускать.

— И болтать тебе, Пекалов, сейчас совсем не время, — корил его Ярыга.

Они шли к реке. Пекалов все время оступался. («О-ёй, — вскрикивал он. — О-ёй!» Он падал на колени в песок, подымался и стенал, что ему тяжело. Пекалов нес водку, а Ярыга свежекопченый окорок.

День нагревался. Понизив голос, Ярыга говорил:

— Потому что опять, Пекалов, у нас новость: упокойничек.

— О господи.

Мертвый лежал возле самого подкопа, неровно рыжеволосый, в вихрах, с запекшейся на лице кровью.

Песок налип на щеки, на глаза. Даже и руки не сложили ему на груди, нехристи. Это уж был второй прибитый — не много ли? «Как же погиб?» — спросил Пекалов, и ему, как в тот раз, наспех и равнодушно объяснили, что в темноте кто-то ударил беднягу ломом, то ли нечаянно, то ли счеты свел. «Как это в темноте?.. Я же дал денег на смолье. Неужели все выгорело?» — и Пекалову они, конечно, ответили: да, выгорело все. А свечки? — а свечки роняли да и, конечно, затоптали, выронив, в тесноте и в неловкости. Да и что ж ты сегодня какой — не веришь, что ли?.. Они объясняли сбивчиво. Их колотила дрожь: они не отрывали глаз от водки. Они уже столпились не возле Пекалова, а возле Ярыги — Пекалов дал знак, и Ярыга наливал им по полному стакану, принявший клянчил, просил еще, но Ярыга отправлял его трудиться:

— А теперь, молодец, иди и долби землю.

Или проще:

— Иди и долби.

Или совсем просто:

— Ступай!

После чего они, люди беглые, скрывались в зеве норы и час-два, а реже три долбили землю с охотой. Они долбили неплохо. Но затем им становилось не по себе. Из двух десятков беглых, трудившихся в подкопе, только Ярыга и мог пойти показаться в поселке, остальным было лучше отсиживаться и пьянствовать именно здесь, поодаль; воры и насильники, они долбили землю исключительно от безнадежности. Долбили они выдвинутой вперед парой: один бил киркой справа, другой слева, — потом они менялись. В тесноте подкопа приходилось сильно гнуться, сутулиться. За забойщиками по одному, редко по двое — в цепочку — стояли отгребальщики, что перебрасывали землю от себя к следующему. Среди лязга ломов и скрежета лопат Пекалов приближался то к одному, то к другому, шепча: «Кто его убил? Как думаешь?..» — а тот пожимал плечами: не знаю. Работали при огарках свечей, было тускло, сыро, и Пекалова передернуло, когда он представил, как был здесь убит рыжеволосый. И что за злое баловство?.. Самое страшное состояло в том, что, если уж такой убивец завелся, он не остановится. Этот будет потихоньку убивать и убивать, пока народу в подкопе останется совсем мало и в оставшихся не вселится ужас, — вот тут ему, убийце, и сладость.

Согнувшийся Пекалов пролазил меж ними и, видно, мешал копать, а еще и затоптал нечаянно огарок.

— А что ж ты паскудишь?! — крикнул забойщик, будто бы во тьме Пекалова не узнавая, и пнул его ногой в сторону отгребальщиков. «Гы-гы-гы-гы!» — здоровенный отгребальщик загоготал и, прихватив за рубаху и за штаны, швырнул Пекалова дальше: забаву нашли. То пинаемый, то пихаемый, Пекалов выбрался из подкопа; он отряхнулся от земли и сел возле мертвого. Этому уже не больно. По лицу мертвого полз муравей, со щеки переполз на лоб, а потом на щеку, покрытую коркой подсохшей крови. Мертвый сам по себе Пекалова не очень заботил, но ведь на одного работягу стало меньше. Был живой, стал неживой, что поделаешь. Куда больше заботили деньги: Пекалов куражился, шумел, делал вид, что деньги еще есть, но это ж до поры.

В течение следующих двух дней он лишился Алешки. Кроме пришлого сброда и отпетых, нужен же был хоть мало-мальски знающий в работе человек, и потому Пекалов нанял и очень дорожил этим малорослым беловолосым мужичком, которого отовсюду гнали за свирепое пьянство. Но Алешка уже боялся обвала. Напивавшийся сильно и быстро, Алешка сразу же засыпал. Так получилось, что он лежал рядом с убитым, и они были похожи, спящий и мертвый. Один лежал и другой лежал. Выскочив из кустов, жена Алешки, баба из тех, от кого скрываются, даже и не поняла, что рядом мертвый, — она растолкала Алешку, ухватила за ворот и сразу в крик:

— Домой! Домой! Там отоспишься — у-у, пьянь!

Она была в добротной кофте и алой косынке. Пекалов сунулся было, но она зыркнула волчицей и замахнулась. Могла прибить: против нее Пекалов был хлипок. Прихватив Алешку, она толкала его, тыкала кулаком, дергала за уши. Она уводила его, крича:

— И надо ж было мне, бедной, за пьяницу выйти!

Алешка, уводимый, спотыкался. Наконец пришел он в себя — и вырвался, оставив в ее руках половину рубахи.

Уходя она кричала:

— Пьянь! Нашел бы себе стоящего купца да работал! И уж каким бы мастером стал! — И, конечно, тут

она стала честить Пекалова, крикнула: выродок, мол, погибели тебе мало!

На шум из подкопа повылазили пьяненькие работнички. Пекалов сказал им, чтобы зарыли мертвого, — они понесли его за руки, за ноги в дальние кусты, двое, а третий смотался в подкоп и выволок оттуда лопаты, чтоб зарыть. «Не забудь, малый, лопаты на место вернуть!» — крикнул им Пекалов, а они захохотали: для них замечания Пекалова всегда были слишком уж очевидные, лишние.

Ярыга стал загонять сброд в нору:

— Пора, ребятушки!.. — И крикнул Пекалову: прибери, мол, водку!

Солнце уже жгло. Четверть с остатками водки стояла в тени, покрытая мокрой тряпкой, и спохватившийся Пекалов, поставив бутыль в сундучок, тотчас запер: тут нужен был глаз и счет.

Спрятав ключ в карман, Пекалов убил на шее комара и предложил все еще сонному Алешке:

— Ты лезь в воду. Ты искупайся.

— А можно, — ответил Алешка.

Двое, они плавали, фыркали и нет-нет поглядывали на ту сторону. Берег был далек. Пекалов все спрашивал, когда, мол, настанет момент, чтобы нам больше в землю не углубляться, и правда ли, что, как только пройдем полреки, уже можно будет копать вровень.

Алешка важничал.

— Давай, Пекалов, сначала пройдем полреки. Тогда поговорим.

А когда пьянь и беглые, отработав три часа, вылезли на белый свет перекурить, Пекалов и Алешка остались под землей. В темноте, в самом нутре подкопа, Алешка тыкал острым ломиком-щупом под ногами, а Пекалов держал свечу. Алешка втыкал через каждые полшага.

— Слышишь, под нами камень какой — не пробиться нам глубже.

— А если выше идти?

— А выше — река на нас обвалится.

Пекалов стал смеяться: не бойся, мол, даже и ребенку ясно, что мы как раз и пройдем меж камнем и рекой. Но Алешка, настороженный, все тыкал ломиком-щупом. «Ясно то, что обвал будет, — я же говорю, тварь, что мы, как крысы, потопнем», — вот тут, нервничая, Пекалов и ударил его: он не любил, когда посел-

ковские, а за ними и всякий пьяндыга звали его тварью. Алешка схватил его за грудки:

— Купчонок недоношенный, еще руку подымешь — ножом припорю!

Свечка погасла, и Пекалов, торопливый, выкрикивал в темноте:

— Да ладно, ладно тебе! Большое ли дело! Ну ударь и ты меня в морду, ударь, и ладно, а то сразу ножо-ом, — передразнил он.

Когда выбрались, он закричал:

— Вали на работу! А если Алешка пугать будет — не верьте. У меня, рванины, все обдумано: прошмыгнем под рекой, как нитка в иголку!

Алешка смолчал.

Но тут начал вопить Тимка, которого за кражу и утайку водки Пекалов лишил выпивки на весь нынешний день:

— Дно проседает!..

От жгучей жажды Тимка купался беспрерывно. С камнем в руках он, задержав дыхание, опускался на дно над самым подкопом, оттолкнувшись от дна, он всплывал и опять опускался: он как бы плясал там с камнем в обнимку. Кричал Тимка сдуру, на дне была обычная тина, и, ясное дело, тина под ногами проседает, но когда Пекалов, ища поддержки, оглянулся на Алешку, тот промолчал, вроде бы дурака даже и поддерживая.

— Дно проседает! — орал Тимка.

И вот рассевшиеся на берегу там и тут пьяндыги заворчали:

— Это ж куда ты нас, Пекалов, гонишь, это ты что ж — на смерть гонишь?

Им вроде бы впервые пришла в головы мысль, что произойдет обвал и вода их в подкопе затопит. «Братцы, да что ж такое — неужто за шкуру трясетесь?» — лживо смеялся и подбадривал их Пекалов; он был перепуган; суетный, он не сразу понял, что хитрят, страх в них был невелик, зато же велико было давнее желание, чтобы он прибавил водки. Отчаянные людишки, они теперь кривлялись и выкобенивались. Улучили-таки свою минуту. И деться Пекалову было некуда: к вечеру он удвоил выдачу водки. На этот раз водку в бутылях и еду Пекалов и Ярыга из трактира еле приволокли.

Тогда же Пекалов отозвал Алешку в сторону и прямо спросил:

— Уйти надумал?

— Надумал.

— А ты, парень, слабак, — вдруг озлился Пекалов; от растерянности он сорвал голос, он шипел: — Иди, иди к своей лютой бабе, пусть утешит! Катись!

Он и расчета Алешке не дал, теперь он экономил вдвойне.

Неудачливый и пустой, застрявший в малом поселке, Пекалов был пьяница и больше ничего: без денег, без имени, без совести. Он и пил-то без особого разгула или там удали: во всем серенький. И солдатка Настя при нем была безликая, никакая.

— А вот я все думал, Настя... — разглагольствовал Пекалов. — А вот пройдет, Настя, много-много годов — а удивятся ли люди тому, что и в наше время было так сладко выпивать в постели, а?

Приподнявшийся на подушке Пекалов наливал себе водки, а ей красного; полулежа они выпивали, после чего он в охотку курил. Он посмеивался, а она стыдливо натягивала на себя одеяло.

— Чего ты прячешься в жару-то такую?

— Срамно, — сказала она тихо.

От болтовни Пекалов легко переходил к нытью. Он подумал о работягах, которых в подкопе все меньше.

И пьяно вдруг заплакал:

— Разбегутся они, Настя. Все сбегут... Ни черта не получится.

— Ну и ладно.

— Разбегутся...

— Ну и ладно, говорю. Давай поласкаемся.

Она и одеялко скинула, а он все плакал: на ребенка был похож, когда сильно пьяный.

Оставшийся без мало-мальски понимающего в деле человека, Пекалов хорохорился, бодрился, однако в конце дня из подкопа послышался гул голосов, шум, и когда Пекалов сунулся туда, навстречу бежали его пьяндыги. Обнаружилась течь: один из забойщиков почувствовал вдруг ожог — упавшая сверху капля была холодной, но показалась ему каплей кипятка. «Братцы!

Каплет!» — крикнул он, после чего и началась паника. Пекалов останавливал их, кричал, уверял, что выдумки, его сшибли, наступали на руки, он визжал, а из темноты оставшиеся там пьяндыги крикнули: «А ты ступай сюда, сам проверь!»; весь дрожа, Пекалов пролез вперед, просунулся, и ему тоже капнуло горячим на лоб. Капнуло еще. Капли падали там и здесь.

Теперь повалили к выходу все. Пекалов с ними — упускать их было сейчас никак нельзя. От реки веяло холодом, как и от земли. А на вечернем небе тучи натянулись к дождю. «Эка невидаль, — выкрикивал Пекалов, — ну каплет! С неба вон тоже каплет!» — но никто работать не хотел: дождемся, мол, утра, а там будет видно. Они и не посмотрели на небо. И конечно, они опять намекнули, чтобы Пекалов не жилил на водке: добавь, мол. Пекалов обещал все что угодно. Пекалов все еще дрожал. Ярыга тоже уговаривал: земля, мол, слоями идет, сейчас мягкая и потому сквозь нее каплет, а далее заново твердая, — давай, мужики!..

Но те стояли на своем:

— С утра посмотрим.

Накрапывающий дождик кончился — был мягкий закат; когда Пекалов прошел мимо той улочки, где жила солдатка, она уже была в огороде. Согнувшись, Настя ковырялась в размокших грядках. Пекалов легонько свистнул — она оглянулась, а он уже шел мимо. Увидела.

Он пришел в свой домишко, где и стены уже старели и где былую жизнь со всех сторон подтачивали ветхость, бедность, безденежье. И все же это был дом. Он глянул на портрет родителя: удачник! Да и брат, говорят, в Астрахани уж дела делает... А ему, пустельге, даже подкоп не дается. Ах, если б сделать, красивая могла бы выйти штука — на ту сторону Урала да и гуляй! Дальше этого «гуляй!» мысль Пекалова никак не шла: он и понятия не имел, зачем туда рыть подкоп, зачем там людям «гулять» да и где — на болотах?.. Оставив дверь открытой, чтобы в его отсутствие Настя могла войти, Пекалов отправился к богатому мужику Салкову. Тот жил близко.

— Меблишку мою не схочешь ли купить? — Пекалов как вошел, так и спросил.

— Нет.

Салков еще не знал что и как, но он очень хорошо знал, что Пекалов тварь маленькая, он знал, что он в

разоренье и что падает, а уж если человек падает, у него можно задешево купить не только мебель.

— И полдомишки моего, а? — спросил Пекалов, теперь и сам пробуя поддеть на крючок.

— Полдомишки?..

И с места стронулось, а как только речь зашла о цене, Пекалов сказал, оборачиваясь: никаких-де полдомишек, дом продаю целиком и сразу, так и покупай,— берешь, что ли?..

— А деньги?

— Деньги немедля, — раскрылся Пекалов. Деньги, мол, немедля, а купчую хоть и завтра.

— Покупаю.

Они поторговались, а потом и позвали человека быть свидетелем, после чего Салков сразу же нашел готовые и выложил: ах богат как! Передав деньги, Салков еще и спросил: уезжаешь разве? к отцу небось и к брату?

— Точно: к отцу и к брату. Дельце там есть.

— Ну и верно, милый, верно поступаешь. Там ты развернешься вовсю. Народец-то у нас дрянь, уж какая дрянь непонимающая, а там-то ты развернешься! — льстиво пел Салков, пока Пекалов не ушел. А едва хлопнула за ним дверь, Салков, конечно же, подумал, что этот недоумок, тварь эта развернется разве что в могиле, там все прямые лежат.

Пекалов послал какого-то мальчишку за выпивкой и закуской, сам пошел домой. Настя уже ждала. Сидела и покусывала уголок платка, толстоватая, скучная, но не без красоты. Стать в ней была. А как выпьешь, кроме стати, ничего и не надо, считал Пекалов, сам еще молодой.

— Ах ты, красавица моя! — стал восторгаться Пекалов, так как выпивку и еду уже принесли, и никто им не мешал, и предчувствие было хорошее. — Красавица моя! А ведь забудешь меня, как только деньги мои истают, а? — Он смеялся: мол, еще не завтра они истают, смотри — вытаскивал кипы бумажек и потрясал ими, хвастая.

Она молчала. Покусывала платок. Скромница. А, видно, понимала, что идет на убыль и что после сорения деньгами ему только и осталась она, Настя-солдатка, — он целовал ее, а она все скромничала, пока он не раздел силой, бубня о том, как, мол, нам хорошо и как замечательно, и неужели в будущем люди этого хорошего в нас не поймут...

В густых сумерках он стал собираться, выпроводил Настю и спешно вышел. Он шел, пьяненький, и пьяной памятью огибал дома. На окраине прибавил шагу. Чуть ли не побежал. Только выйдя к реке, он понял, что ночь, и что, конечно, никто в такой час не роет, и чего это он спешил — ах да, проверить!

Гремя под сапогами речной галькой, он раздвигал руками кусты, а едва вышел к зеву подкопа — наткнулся на Ярыгу.

— Ну?.. Не разбежались?

— Нет. Спят вон, в кустах.

— Слава богу!

Шагнув на бугор, Пекалов сел там на камень и закурил, расслабившийся после спешки.

Ярыга стоял рядом и смотрел на реку.

— Все думаю — не затопит ли нас завтра? А может, не завтра, так послезавтра?

— Вот еще! — сказал Пекалов. — Для того чтобы утопить таких дураков, как ты да я, зачем богу рвать реку, зачем, можно сказать, лоно портить?

— Это верно, — согласился Ярыга.

Теперь оба сидели рядом. Ярыга, завернувшийся в драный полушубок, тут же и заснул. Пекалову сделалось пьяно и радостно, он не отводил глаз от лунной дорожки: русалки, говорят, здесь водятся, пощупать бы одну. Покурив еще и полюбовавшись рекой, Пекалов полез в подкоп. Он несколько раз ронял свечку и вновь ее разжигал. Наконец он добрался до места, где вгрызались в землю, подошел: кап-кап-кап... — падало ему в протянутую руку. Сочится. Ах ты ж, речка-реченька.

На другой день стало страшно уже и не в шутку. Прорыли на пять шагов, только углубились, как вновь раздался крик: «Каплет!» — а в ответ: — «И тут каплет!» Стали как завороженные. Если в пройденном месте капало мерно, то тут была целая капель: как с крыши в дождь, полосой капли падали и падали, поблескивая в пламени свечей. Пекалов кинулся к забойщику. Забойщик бил; по голой его спине бежали ручейки.

— Ничего, братцы, проскочим — земля опять твердой будет, — уверял Пекалов.

Тот, у которого бежали по голой спине ручьи, опустил кирку, отер пот и спросил:

— Вверху-то твердо?

— А?

— Я говорю, лишь бы вверху твердо держалось. — Забойщик ткнул кулаком в свод над головой.

Он ткнул играючи, несильно, но рука чуть ли не по локоть погрузилась в мягкую грязь, а как только он кулак оттуда вырвал, вслед плюхнула вода, как из нескольких сразу прорвавшихся худых ведер. Шум падающей воды напугал: толкаясь и торопясь, работяги заспешили к выходу — они мчались, натыкаясь на падающих, на лопаты и кирки, наступая на свечки, давя их, гася и продолжая бег в совершеннейшей уже темноте.

У выхода они столпились — Пекалов, нагнавший, уговаривал их, выволок и выставил бутыль: мол, налью, мол, налью сейчас же.

— Братцы, братцы! — взывал он, но не помогло.

«Нам и в другом месте нальют!» — кричали уходящие, а Пекалов удерживал хотя бы тех, что пока колебались:

— Да что вы! Да я щас сам туда полезу! Пример подам! — Он зажег трясущейся рукой свечку и полез, пришлось полезть, а они там, у входа, ждали.

Сзади его нагонял Ярыга; оберегая рукой свечу, Пекалов плаксиво чертыхнулся:

— Зачем их оставил — уйдут.

— Не уйдут — я уж откупорил им, закусь выложил: пока все не выжрут, не уйдут.

— А ведь страшно, Ярыга...

Они подошли к месту, где хлынула вода: она текла ручейком, текла послабее. Забойщик кулаком пробил дыру, а вода, видно, там стояла, скопилась в земле, вот и вылилась как из кармана, — они совещались, а вода все текла. Когда Пекалов приблизил свечу, Ярыга подставил ладони — огромные ладони в один миг наполнились водой.

— Жуть какая, — сказал Пекалов. — А может, укрепить как-то можно?

Ярыга кивнул: еще пьянчуга Алешка говаривал, что землю в подкопе можно крепить, скажем, кровельным железом, а даже и трубу можно соорудить для оттока воды.

— Попробуем, — согласился Пекалов. — Конечно, реки это не удержит, но хоть страшно не так будет.

— То-то и оно.

Пекалов повесил свечу, воткнув острый крюк под-

свечника в боковой свод. Он взял кирку — давай, мол, Ярыга, прокопаем малость, пока ручей не останется за спиной. Ярыга взял другую кирку. Пекалов бил с правой, а Ярыга с левой, а через полчаса они поменялись. Они долбили не спеша — лучше уж они, осторожные, пройдут это опасное место, где пьяный сброд, нервничая, мог бы наделать дел. Они прошли шаг, оба были мокрые с головы до ног. Но впереди не капало. Осмелев, они расширили горловину, и как раз послышались шаги сзади: отпетые людишки все же спустились в подкоп, может, они думали посмотреть на уже затопленных, на мертвых. Ярыга и Пекалов, спокойные, постукивали кирками. Они работали не оборачиваясь. Людишки тем временем сами оценили через полосу капель, что впереди сухо и спокойно.

— Смените-ка нас, — сказал Ярыга.

Помолчали, потом кто-то из них подал согласный голос:

— Ага.

Пекалов и Ярыга вылезли, наказав, чтобы при работе в верхнем слое киркой не лупили, а стесывали понемногу глину лопатой. Мол, на глине-то вода и держится. не река, а вода. А река много выше.

На бугре Пекалов и Ярыга открыли бутыль, выпили. Медленно жевали.

Пекалов дал денег и отправил Ярыгу за листовым железом, горбылями и досками — он хотел послать кого-нибудь другого, а не Ярыгу, но была опасность, что тот, другой, с деньгами сбежит. Теперь на счету был каждый. Когда хлынула вода, ушли пятеро.

— Ничо, — вслух размышлял Ярыга. — Зато остались уже самые отпетые: по ним казаки, да каторга, да еще веревка давно скучают.

— Да и по тебе небось, но ты-то в поселок ходишь.

Ярыга не ответил, только усмехнулся.

С утра после очередной попойки стали сколачивать под землей стояки как для крепости, так и для спокойствия. Ярыга и Тимка рубили колы для подпор, остальные крепили и обшивали железом: в подкопе работали теперь веселее. В пугающих местах не только подперли, но и обшили досками верх, а также боковые своды.

В перерыв даже и песню запели — давно не пели. Обтесывая жердину, Ярыга поманил Пекалова к себе и, когда тот подошел, под общий шум пьющих и ору-

щих песню шепнул ему: мол, обнаружил убивца наконец, того, что двоих уже наших угробил.

— Лычов, — сказал шепотом Ярыга, — он, сука. Я видел, как он сейчас обратную сторону у ломика затачивал. Махнет рукой вроде как назад — а человека нет.

— Думаешь, счеты сводит? — шепнул Пекалов, разглядывая среди развалившихся на траве Лычова.

Ярыга хмыкнул: «Какие счеты. Просто любит это», — и оба задумались, как быть и как сделать, чтобы никто в пару с Лычовым долбить землю не лез.

И точно: после выпивки Лычов, играя глазами, по пояс голый, грязный, поднялся с травы первым и позвал: «Ну, кто со мной?.. Пошли!» — и тогда за ним не спеша, но и не мешкая, слова не сказав, пошел Ярыга. Он только мигнул Пекалову: придержи, мол, других — попьянствуй с ними еще. Придержать их было проще простого, никто в подкоп, или, как они говорили, в нору, не спешил. Пили и орали. Тимка с напарником даже и заснули, упившись. Ярыга через час появился и громко сказал:

— А Лычов-то, сука, видно, сбежал! Нигде нету!

— Да ну?

Кинулись туда-сюда, поорали, позвали — нету. Кто-то еще и бранил его со зла.

— А ведь был какой отчаянный, — разводил руками Ярыга. — Я-то думал, он дольше всех нас рыть будет.

— Да и мы так думали! — говорили другие.

Когда спустились в подкоп, Ярыга и Пекалов сначала отгребали, и Ярыга ему сказал: «Здесь» — и показал на боковой свод.

— Смердеть ли не будет?

— Не должен. Я его на шаг почти зарыл. Как в могиле. Еще и доска сверху.

— А что, Ярыга, много крови на тебе?

— Да разве ж то кровь...

На смену они оба протиснулись вперед и взялись за кирки. Ярыга долбил напористо, даже и весело. Долбить и копать стало неожиданно легко — пошел мелкий камень.

Мелкий камень не прекращался, копать было легче, но зато пошли осыпи, да и сам вид мелкого гравия, а то и гальки пугал: казалось, что над головой уже просту-

пает, обнажаясь, дно реки и что вот-вот все это рухнет и тысячи пудов речной воды хлынут такой лавой, что не только не убежать, но и не встать — убьет тяжестью. И каждый день случались сухие обвалы: земля глухо сотрясалась, ухала. Крепежный материал кончился. Пекалов подбадривал: купим, мол, купим еще, — пока Ярыга его не одернул:

— Не бреши. Я ж знаю, что денег нету.

Тех денег могло бы хватить, но после одного из глухих обвалов ушел Буров, а с ним еще один отпетый, с шрамами на голове и с нерастущим волосяным покровом; ушли ночью. Они сбили с сундучка замок, взяли початую бутыль, а больше не взяли, боясь озлить и вызвать погоню. Но в придачу к початой бутыли, вытянув из-под сонного Пекалова узелок, они взяли деньги. В норе их осталось теперь четверо, считая и Тимку, который спивался все больше. Работали в пары: пара долбила, другая отдыхала. После все четверо отгребали, растянувшись и отбрасывая землю один к другому. Пекалов совсем пал духом. Он лег на пригорке и завороженно смотрел на ту сторону, где болота.

— Молодой я. Неумелый, — говорил Пекалов, смаргивая слезы.

— То-то и оно, что молодой, — засмеялся Ярыга.

И вот тут Ярыга стал собираться: ухожу, мол, и я. Пекалов закричал: нет! Пекалов клял всех и вся. Лежа он бил кулаком по земле и ругал Ярыгу: не надо, мол, было обшивать подкоп досками и деньги тратить, не надо, мол, было убивать Лычова — из-за него и Буров с дружком сбежали. Ярыга засмеялся: дурак, они сбежали, потому что земля осыпается. Если уж ему, Ярыге, снится по ночам, как ухает земля, что ж о других говорить?

— А вот мне не снится! — выкрикнул с обидой Пекалов, на что Ярыга только повторил:

— То-то и оно, что молодой...

Ярыга бы ушел, но захотел покурить перед дорогой, медлил, а тут из подкопа выскочил перепачканный Кутырь, он тряс своими трясками черными руками и кричал:

— Половину прошли! Полреки прошли! — Он кричал: — Полреки!.. Полреки!

— Откуда ты знаешь?

Не сбавляя голоса, Кутырь вопил, что он только что смерил — двести шагов!.. Еще Алешка, выплыв на лод-

ке с тянувшейся веревкой, увидел на свой наметанный глаз, что в обе стороны реки равно далеко, а после-то и посчитали, сколько в веревке шагов: двести — это половина реки!.. Когда смысл дошел, Пекалов тоже вскрикнул. Пекалов побелел лицом, он весь дрожал.

— Ребятушки! Выпить! Давайте выпьем — полдела!

Пекалов суетился, открыл сундук, метнулся к подкопу и вопил: «Ребята! Эй!.. Бросай работу — выпьем!» — а там только и был Тимка. Тимка вылез, кинулся, конечно, к водке, а Пекалов все звал и кричал в зев подкопа: «Эй, эй, ребятушки!» — пока не подошел Ярыга и не цапнул его за плечо:

— Чего блажишь — нас всего и есть четверо, иль счет потерял! — Он оттащил купчика, а тот все подпрыгивал, кричал.

— Ребятушки! — дергался Пекалов. — Водка теперь ваша! Не запираю! Ребятушки! — Вывернув ломиком петли сундука и сам замок, недавно починенный, он с маху зашвырнул и замок и петли в реку, только булькнули.

А вечером Пекалов спешно отправился в поселок — *денег, денег достану*!.. Пекалова даже и в дрожь бросало при мысли, что *теперь* денег не хватит.

В доме было темно: богатый мужик Салков никого из своих еще не поселил тут, однако запоры уже поставил новые. Пекалов знал открывающееся снаружи окно — он влез, двигаясь во тьме ощупью. Про одежду в уговоре речи не велось, и потому Пекалов собрал в узел одежду, что попристойней, взял шкатулку личную, а также хорошее ружье. Он быстро все это продал — он ходил по дворам торопливый, возбужденный, и ладно, что вечер, вечером было не видно, какой он грязный. И все равно люди в глаза не глядели и цену давали быструю, как за краденое.

Он посвистел в темноте под окнами Настю, а когда выглянула ее мать, обносившийся и грязный, он спрятался за дерево. Он шумно дышал. Потом Настя вышла.

— Ой, какой ты... — сказала и все молчала, покусывая уголок платка.

Он позвал ее к реке. Он пояснил:

— Нет у меня теперь своего-то дома.

— Знаю.

Она прошла с ним по темноте совсем недалеко. Чуть только ушли к реке, она сказала — прощаться

будем; теперь, мол, водиться — лишнего стыда набирать. А мне, мол, жить, мне мужа ждать из солдатов... Он хотел приласкать ее, хоть обнять, но даже во тьме было заметно, что руки у него грязные, а если не руки — испачкает одежда, а ведь она, Настя, была чистенькая в сереньком своем платке. Она отстранила руки. Она сама протянула губы. Поцеловала. Сказала: прощай, милый, хорошо мы друг дружку любили, но, видно, пора. И улетела, серый чистый воробышек... А он все мял деньги — дать ей на последний подарок или не дать. И не дал. Денег было в обрез. Один, он постоял в темноте, первый раз в жизни уныло чувствуя себя скупым.

Слаженно продвигаясь и сменяя двоих двое, они шагов уже пятнадцать перевалили за полреки, когда вдруг случилась беда с Тимкой. Пекалов с Ярыгой отгребали, а Кутырь — из глубины забоя — закричал, звал их. Они заторопились. Протиснувшись в забой, они увидели при колеблющемся пламени свечки, что Тимка сидит задравши голову, смотрит и вдруг шарит руками по нависшей земле. Он трогал ладонями верхний свод и приговаривал: «Речка звенит... Слышите?» — и опять трогал там, вверху. Они прислушались: ничто, конечно, не звенело.

Они сказали Тимке, чтобы шел наверх и отдохнул, но он все повторял, что вода звенит и что речка звенит, — и тогда они вывели его из подкопа. Он сел на песок. Водка была от него неподалеку, и когда через час они выгребли наколотую землю и вышли передохнуть, оказалось, что Тимка выпил всю бутыль: он спятил тихо, без единого вскрика. Водку он даже и не выпил, было там два с половиной литра, — он вливал ее себе в рот, а она выливалась, он вливал, а она струями текла по горлу ему на грудь и на колени. «Ты что добро переводишь?» — зло крикнул Ярыга, еще издалека крикнул, а тот лил и улыбался. Когда отняли бутыль, Тимка стал набирать сыпучую землю в горсть и сыпал из руки в руку. Играл песком, как маленький. «Речка, — говорил он, — речушка... Звенит!» Все трое стояли около, слыша в тишине, как спятивший сыплет шуршащий песок туда-обратно.

— Отойдет, — сказал Ярыга.

И Кутырь тоже сказал:

— Перепил лишнего. Отойдет.

Но он не отошел; когда они сели поесть, он поднялся и на ногах, казалось, стоял с трудом, за кустом стоял, а когда хватились, Тимка уже был на середине реки: плыл на ту сторону и тонул. Холодные водовороты, что столько лет не пускали к тому берегу ни людей, ни даже их лодки, уже прихватили Тимку. «Речка, — кричал он, захлебываясь, — речушка-а-а!» Ярыга бросился в воду, но, как ни быстро он плыл, не успел: Тимка пошел на дно. Даже и тела Ярыга не нашел: он поискал, но едва приблизился к холодным водоворотам, уверенность покинула его. Свело спину, и Ярыга повернул обратно. Он плыл медленно, долго. Вглядываясь, Пекалов и Кутырь никак не понимали, отчего у него такое синее перекошенное лицо. И только когда Ярыга был шагах в десяти, потом в пяти, на мелководье, они увидели, что он не может встать, — он только силился, он выполз кое-как на отмель, дергался, а встать не мог. Пекалов и Кутырь подхватили его, выволокли, положили на сухом песке. Ярыга долго лежал, а потом встал и осторожно направился к сундуку, он не пил: заводя руку за спину, он втирал себе водку в позвоночный столб. Кутырь и Пекалов подошли, положили его на живот и, сменяя друг друга, растерли ему докрасна спину.

А едва отдышавшись, Ярыга ушел.

Пекалов цеплялся за него: «Да погоди! Да кто же так поступает!» — Пекалов не мог поверить, что так просто все кончилось. Пекалов бежал за ним, просил и молил, а как только он стал хватать за руки, Ярыга его отбросил. Ярыга коротко взмахнул и двинул его меж глаз. Когда глаза стали видеть, Ярыги уж не было.

С Пекаловым остался лишь Кутырь, постаревший вялый вор, который уже не мог, не умел воровать, потому что от пьянства и побоев у него тряслись руки. Этот никуда не уйдет. Был вечер. Пекалов плакал, побитый. Кутырь утешал его, протянул вперед трясую руку:

— Глянь-ка.

— Чего?

— Мы теперь вон где — видишь? — И Кутырь указал впереди некую точку на уральской воде, до которой они под землей уже добрались: точка была далекая, неуловимая, волна там шла за волной.

Они били землю теперь по очереди — уже и не расширяли, оберегая силы. Подкоп сузился: нора и нора. Сначала бил Пекалов, а Кутырь оттаскивал, потом они сменялись. В одном месте сверху вдруг закапало, но они не обратили внимания: привыкли.

Было шумно: посреди дороги трое слепцов колотили мальчишку-поводыря, который подвел их под монастырь.

— Ой! — кричал мальчишка. — Ой, я же не нарочно!

Пыль стояла, как от проехавшей тройки. Когда слепцы на дороге топчутся и размахивают руками, не знаешь, как пройти мимо. Пекалов, оборванный и грязный, их обошел и втиснулся в трактир.

— Я в закутке посижу, с краешку, — сразу же сказал Пекалов половому, чтобы тот не прогнал.

И тот не прогнал. Народу было мало. Пекалову жадно хотелось горячего, однако на щи с мясом Пекалов не посягнул (придерживал остатки денег); он пил чай стакан за стаканом — оборванец с ввалившимися щеками. Он ни о чем не думал, его трясло и знобило.

— Дожди пойдут, — сказал ему половой, подавая от самовара очередной стакан и навязывая хоть какой-то разговор о погоде. Пекалов кивнул: «Да. Дожди...» — а про себя испугался: с сыростью не усилятся ли грунтовые воды, не случится ли чего с рекой?

Когда Пекалов вышел из трактира, слепцы все еще колотили мальчишку: лупили его и крутили ему уши, а он орал. Все-таки вырвавшись, малец отскочил в сторону.

— Сами теперь живите, бельмастые!.. — орал он злобно с расстояния, отбегая все дальше. Гневливые слепцы тоже кричали и даже клялись богом, что никогда не простят поводырю его злую дурь.

«Эй, отцы!» — Пекалов окликнул, и поскольку слепые так явно были голодны и неприкаянны, Пекалов пообещал им пропитание и даже немного водки; а работа как работа, рыть под землей. Слепцы прислушались.

— Богово ли дело? — спросил старший, ему было уж много за сорок.

Пекалов ответил, что дело богово. И не воровство. И не иная мерзость. Он только не стал говорить, что подкоп роется под рекой, — ему показалось, что бог внушил ему умолчать в горькую минуту, когда он остался лишь с Кутырем. Зачем им знать, что над ними река: пусть копают без страха... Слепцов было трое, и, едва сговорившись, Пекалов заторопил:

— Пошли, голуби, пошли скоренько!

— Да куда ж ты спешишь?

— А дождь начнется! — суетился Пекалов, боясь, что маленький поводырь вернется к ним и, раскаявшись, все испортит.

Со слепцами вместе, незрячими и потому бесстрашными, Пекалов рыл еще три недели. Через каждые десять прорытых под рекой шагов слепые бросали работу, становились на колени и яро молились:

— Господи, помилуй нас!

И еще через десять шагов:

— Помилуй нас!

И еще:

— Господи, помилуй!..

Они прошли осыпающийся щебень, они осилили звонкий и пугающий слой гальки, затем — глина, затем вновь щебень, и наконец они докопались до огромного валуна, за которым и стали кусты нехоженого заболоченного берега. Вышли наверх. В старой уральской легенде это особенно удивляло: слепые лучше и надежнее других завершают дело.

В варианте история подкопа под Урал заканчивалась тем, что отец и процветающий брат хватали Пекалова и, дабы не ронял имя, упрятывали его навсегда в какую-то хибарку с надзирающей старухой — вид ссылки. Если не вид лечения. Там он и окончил дни. Иногда выходил и вглядывался (во время грозы — ветер доносил влагу), всматривался: далеко ли Урал? Был он совсем одиноким.

В самом же конце долгой этой истории происходило как бы освящение купчика Пекалова и даже вознесение его на небо, бог уж знает за что — за настырность, что ли. (Как сказали бы сейчас, «за волю к победе».) Ибо не открыл он на той стороне реки никакого источника, не заложил церкви. Да и сам по себе был Пекалов вполне живым и грешным, и лишь в финале

легенды обнаруживается литература, делающая попытку, каких много: слепить *образ святого,* вдруг, мол приживется.

Слепцы — люди, живущие в *утрате своей,* так пояснялось. В те времена слепцы брали мальчишку обычно из сирот, брали совсем малого, кормили его и поили, за что он и водил их по белу свету. Слепцы не были из добрых, конечно же, они помыкали мальчишкой, отчего у мальчишки день ото дня за душой накапливалось, даже неосознанно. К тому же мальчишка рос: он начинал чувствовать мир, озорничал и нет-нет проявлял мстительность, единственную, уникальную в своем роде, когда после перехода, после долгого пути слепцам надо было справить нужду. «Мальчик, — просили они его, — а ну-ка, милый ты наш, найди-ка нам укромное место», — а он подводил их под окна и стены монастыря, необязательно даже женского. Место у монастыря было такое, что подвоха не почуять, воистину тихое и укромное, не улица и не базар, и совсем нетрудно вообразить сцену, как слепые рассаживаются, а затем и кощунство под окнами и крики, и как выскакивают на них с дубьем. Мальчишка же, разумеется, поглядывал, затаившись поодаль и корчась от смеха, с тем чтобы после избиения слепых зрячими предстать перед слепыми вновь и оправдываться, что его привлекло, мол, тихое место, что это случайность и что он сам, *видит бог,* сидел с ними рядом.

На том месте Урала теперь мост, и до недавнего совсем времени стояла там часовня, при входе в которую на левой стороне белел полустершийся рисунок вознесения (Пекалова с нимбом вокруг головы возносили на небо два ангела). В тени часовни часто сидели с корзинами старухи, ехавшие с рынка. Время шло. Однажды весной часовня рассыпалась, рисунка нет, и ничто не напоминает там о безумном копателе, который людям был памятен и, что там ни говори, вошел в легенду.

2

Один из отцов акупунктуры, китайский врач в седьмом, кажется, веке, поднялся талантом своим до исключительных высот врачевания, однако в легенду не вошел. Он вошел в известность и в силу — но не в легенду.

Он не остановился: он, как сказали бы сейчас, стал делать карьеру до упора и достиг наконец полного признания современниками своего дара, он лечил не воинов, а уже полководцев — и вскоре он лечил самого императора. Великий и, может быть, величайший придворный медик со всяческими почестями, он уже вошел в историю, но не в легенду.

Легенда возникла лишь после следующей, и последней, попытки его самовыражения, попытки именно бессмысленной. Десятки раз излечивал лекарь и самого императора, и членов его семьи, но вот однажды, когда император, уже стареющий, пожаловался на головную боль и когда обычные, ходовые средства не помогли, лекарь предложил императору вскрыть голову. Вероятно, лекарь умертвил бы его тем самым, но, в сущности, он хотел сделать то, что сейчас называется лоботомией. Возможно, истовый врач уже и не излечить хотел, а в жажде познания хотел посмотреть глазами, как там и что: что за неведомая боль и почему не унимается?.. Император, старый, но еще здравомыслящий, отказался; в конце концов, рассудил он, можно жить годы и с головной болью, череп же не кошелек, открыв который тут же закроешь. Лекарь настаивал. И тогда император отказал ему категорически и накричал, как может отказать и накричать китайский император. Лекарь ночью прокрался в покои и попытался вскрыть голову сонному; он был казнен на следующий же день, обвиненный в покушении на жизнь.

Чтобы перекричать век, а также век другой, и третий, и пятый, легенде нет нужды напрягать глотку. Легенда кричит красотой и будто бы бессмысленностью и ясным сознанием того, что здравомыслящие будут похоронены и забыты.

Тоска же человека о том, что его забудут, что его съедят черви и что от него самого и его дел не останется и следа (речь о человеке в прошлом), и вопли че-

ловека (в настоящем), что он утратил корни и связь с предками, — не есть ли это одно и то же? Не есть ли это растянутая во времени надчеловеческая духовная боль?

Легенда внушала: купчик Пекалов, пошловатый и забулдыжный, взялся сдуру за некое дело, дело притом сорвалось — и он остался кем был, пошловатым и забулдыжным. Но в длительности упорства есть, оказывается, свое таинство и свои возможности. И если в другой и в третий раз он берется за дело вновь, от человеческого его упорства уже веет чем-то иным. И вот его уж называют одержимым или безумным, пока еще ценя другие слова. И если, оборванный, голодный, он доведет свое до конца и погибнет трагически, как не начать примеривать для него слово «подвижник», хотя бы и осторожно.

Если же окружающие люди оценить его дело не могут, если подчеркнута неясность поиска как некоего *божьего* дела, которое и сам он не осознает, то тем более по старым понятиям он и сам становится человеком призванным, как бы божьим, — а тут уже шаг до слова «святой» или до употребления этого слова (на всякий случай) в более скромной форме: в форме вознесения ангелами на небо — вознесем, мол, а там со временем разберемся, святой ли. Что и сделала легенда.

— Вот и встретились... — уныло сказал мой давний друг детства, лысеющий уже человек.

Я кивнул: встретились.

Мы долго сговаривались, где встретиться после стольких лет, крутили слова так и этак, и вдруг сразу и легко оба согласились — и встретились не у меня дома и не у него дома, а за столиком, вкруг которого бегал недовольный официант. «Не у меня и не у него» имело свой смысл: оба не хотели видеть, как и что, мы оба не хотели видеть, *как жизнь и как дела* (так то, стало быть, твоя жена, а это дети, а это твоя квартира), мы не хотели видеть нынешние предметы, нынешний обиход и вообще нынешнее время. Друг детства не пьет — он завязал и пьет только нарзан, так как его больной желудок даже лучшей и очищенной водки не приемлет. Я тоже не пью и тоже пью только нарзан, и тоже есть причины. Он не пьет и кофе, у него давле-

ние. И я тоже не пью кофе. Он не ест острого. Я ем, но отказ этот также не за горами. Теперь всё близко.

Мы оба не жалуемся, хотя, в сущности, для нас, помнящих, ничего более тоскливого, чем такая встреча, придумать нельзя. Мы суть продукт. Мы утолили инстинкты молодости, обеспечили *первые потребности,* а также продолжение рода: дети уж есть, а там и внуки. Сознание, в свою очередь, развилось до той относительно высокой степени, когда жизнь видится с высоты птичьего полета и когда, пусть абстрактно, уже можно смириться с тем, что смертны все и мы тоже. Так и было: мы оба не жаловались, но при встрече возникло ощущение, что нам холодно, зябко и что неплохо бы зарыться вглубь (в глубь *слоистого пирога времени* — его выражение), где много солнца и где с каждым слоем жарче и жарче, потому что ближе детство.

Возникла и тема, достойная воображения пьющих нарзан. Предки наши были из разных и из различных мест, и вот мы сравнивали, сверяли, с некоторой даже живостью выявляя присутствующую в каждом говоруне способность гадать: в чем польза объединения людей и в чем минусы?

Ворчливый официант уже и не ворчал, уже и головы не поворачивал в нашу сторону, в то время как мы, расслабившиеся, не отрывали глаз от подымающихся вялых пузырьков нарзана. Мы заказали еще две бутылки с этими пузырьками: пить так пить. Тогда друг детства и произнес слово, прозвучавшее для меня как бы впервые:

— Утрата...

— Что? — Мне показалось, что я недослышал.

3

И характерно, как ответил Пекалов, обманывая слепцов. «Какое же это богово дело, ежели смысла в нем нет?» — здраво вопрошали слепцы, которым Пекалов велел рыть и не сказал ничего, ни даже про реку над головой. Пекалов ответил им сразу. Пекалов ответил, вроде бы успокаивая слепцов и хитря, а в сущности, работая на легенду и на ее сочинителей: а разве, мол, в боговом деле есть смысл?.. Смысл всегда и именно в человечьем деле, бог же для того нам и вну-

шает, что вроде бы смысла нет, а делать хочется и делать надо. В пределах образцовой наивности легенда тем сильнее напоминала: если в деле уже есть логика и ясность — зачем же тогда внушать свыше?

Когда Пекалов привел всю троицу в свой подкоп («Сюда, убогие, сюда!»), они в темноте спотыкались о лопаты и бились головой, плечами о низкий свод, но темноты вокруг по слепости не осознавали: лишь слышали потрескиванье свечей. И вскоре они пообвыклись: сначала отгребали, а потом уже и долбили землю, подменяя Пекалова и Кутыря. Особенно покладистым и милым, как уточнила легенда, оказался третий слепец, самый молодой. Тихий, он и работая распевал молитвенные песни. «Господи, поми-и-илуй мя-а-а», — вполголоса тянул он.

А когда Кутырь, выпив и смачивая оставшейся в стакане водкой пораненную трясущуюся руку, спросил: «Что, убогие, примете помаленьку?» — слепцы отказались. Ели в меру, водка их не манила. Тут и выяснилось, что как рабочие они необыкновенно выгодны: дешевы. Возникла наконец истинно сменная работа, так как слепые, оставшиеся без поводыря, не отходили ни на шаг: возле зева подкопа в кустах они соорудили прочный шалаш, там же спали и Кутырь с Пекаловым; разброда, скликанья на работу не было и в помине, и как было не сказать, что слепцов в гибельную минуту послали небеса.

Однако выяснилась и забота: слепцы сбивались с направления. От незнания, что над ними река и опасность, слепые копали, забирая невольно все выше и выше, а на все уговоры держаться принятого пути отвечали, что они и сами знают, как копать, ибо теперь их ведет богородица. Почему именно богородица ведет их, ни Пекалов, ни Кутырь не понимали. Пекалов уговаривал, просил, ублажал, но слепые работали уже как бы сами по себе и нет-нет, в работе ожесточаясь, вдруг забирали, скажем, влево или круто вверх. Крепежные же столбы давным-давно не ставились. Как-то Пекалов и Кутырь, только что заступившие после отдыха, заняли свои места и тут же обмерли от страха: слепец с пеньем молитвы вкалывал и вкалывал и вдруг с такой силой лупанул киркой вверх, что оттуда мигом вырвалась вода. Вода обрушилась настолько мощно, что человеку от такой воды было не уйти никак, все равно достанет. И Пекалов не побежал. Кутырь побе-

жал, но и ему разве успеть осилить двести пятьдесят с лишним шагов подкопа. Вода уж была по колено. Слепец недоуменно крикнул-спросил: «Что это?!» — сам же, не прекращая, продолжал бить киркой. Вода залила сапоги и подымалась выше. Пекалов, в сущности, тоже был слеп: обе свечки стояли на земле и оказались вмиг залиты.

Слепец, о реке не знавший, крикнул Пекалову: «Покурим — грунтовая вода должна скоро уйти!» — после чего попросил высечь ему искру и закурить. Он крикнул Пекалову еще раз. Очнувшись, Пекалов машинально стал шарить по карманам и только тут заметил, что карманы не залиты, сухи и что вода выше не пошла (или же вода подымалась медленно, а это также значило: спасены). Пекалов закурил сам и дал свернутую цигарку слепому. Вода стояла. Потом вода стала спадать, уходя и всасываясь куда-то вглубь, — слепой же ворчал: вот, мол, Пекалов как пуглив да и цигарку плохо скрутил, он бы, слепой, сам скрутил лучше. Покурив, слепой взялся за кирку. Появился Кутырь: он также сообразил, что вода грунтовая, и теперь, торопливый, бил ломом под крупные камни, увеличивая сток. Он бил и искал дыру — и нашел: вода с утробным шумом, урча, всосалась куда-то в глубину, после чего под ногами была лишь раскисшая грязь. Пекалов, переволновавшийся, пошел выпить водки. Он вылез из подкопа, вышел на траву и упал, он хотел тут полежать — было мягкое солнце. Неподалеку спали отдыхавшие слепцы, старый и молодой.

С первыми осенними дождями заявился мальчишка-поводырь: он набегался, вполне утолил свою резвость, а теперь, когда лето кончилось, искал надежного прокорма. Но слепцы не хотели идти в далекий путь, не кончив божьего дела.

— Пойдем, дядьки, — звал их малец и уже клялся, что поведет их лучшими и самыми мягкими дорогами.

Пекалов, выставивший голову из шалаша, слушал разговор настороживших. Но попугать слепых рекой и обвалом маленький поводырь не догадался: малец был слишком занят своей судьбой, не смекнул, — и успокоившийся Пекалов вновь спрятался в шалаш, так как вовсю хлестал дождь, почти ливень.

Старый и молодой слепцы, стоя с шалашом рядом, не поддались и на жалость.

— Ступай. Прокормишься богом! — прикрикнул старый, суровея и никак не прощая ему той околомонастырской издевки.

— Дяденьки, я ж винюсь, — мальчишка захныкал, и, может быть, непритворно.

Дождь лил, но старый слепец стоял не шелохнувшись, по его лысине дождевые ручьи сплескивались на спину и на плечи. Рядом стоял молодой слепец, светловолосый, с длинными, как у девушки, мокрыми прядями.

— Ступай.

Мальчишка ушел, а они оба стояли недвижные, пока могли слышать через дождь его шаги в кустах.

Слепцы работали, как заведенный механизм, но когда вновь пошел щебень и крупные камни, они занервничали: словно бы сговорившиеся, они все чаще молились и пытались копать вверх. Они стали неуправляемы, и Пекалов то грозил их прогнать, то просил ласково и униженно. Кутырь же, опасливый, чуть что, вырывал у них кирку и орал: «Куда ж ты вверх лупишь, дура слепая!» — после чего они едва не дрались. Земля стала пугающе сыпучей. Это же была не глина, которая несла на себе нестрашную грунтовую воду. И именно этим днем старый слепец *увидел* в подкопе богоматерь как никогда близко, он вскрикнул — он вопил, что увидел, прозрел ее, *милую,* как раз в том самом направлении: если рыть выше. Он ясно, четко ее увидел и тыкал пальцем вверх: там.

— Как ты мог ее видеть? Да ты хоть на иконе-то ее видел? — кричал в злобе трясорукий Кутырь, на что старый слепой спокойно ответил:

— Видел. Много раз видел. Я ослеп в девять лет.

Они уже наскакивали друг на друга, когда Пекалова осенило. Пекалов пошел к выходу, он спешил, но не бежал — он шел самыми ровными шагами, и только когда у начала подкопа ровных его шагов оказалось четыреста, он повернул и кинулся в глубь подкопа вновь. Теперь он бежал, он бежал сколько было сил, а едва добежав, крикнул: «Верно, копай вверх!..» — и дух у него захватило.

Отдышавшийся, он не стал объяснять, но весь задрожал, засуетился.

— Давай, милые, давай! — Пекалов хватал то лом, то лопату, взвинчивая слепых, и без того уже взвинченных. «Я вижу ее, вижу!» — кричал старый слепец, остервенело вгрызаясь в землю, а рядом и Кутырь, уже догадавшийся, бил ломом вверх и вверх — они мешали друг другу. Они били как спятившие. Вскоре Пекалов услышал скрежет: старый и молодой слепцы — оба кирками — били по большому недвижному камню. Сыпались искры. Отбросив кирки, слепцы взялись за ломы, и тогда искры посыпались еще сильнее, но слепые не видели искр.

— Вижу! — кричал старый слепец. — Вижу ее!

Бить по цельному камню было бессмысленно, и Пекалов хватал их за руки.

— Остановитесь! Это ж камень... Слепые, что ли?! — злобно орал он, уже и не слыша своих слов. Но те слышали.

— Сам слепой! — гневно кричал старый слепец.

— Да помоги же! — Пекалов крикнул Кутырю, и только вдвоем, пустив в ход кулаки, они отогнали убогих.

Камень оказался огромным, и подкапывать надо было с умом: камень, когда подкопают, должен был выпасть сам, но выпасть несильно, тогда и вода реки, если река еще над ними, не поглотит их всех мгновенно— валун сыграет роль затычки, пусть даже неплотно подогнанной. Прогнав слепых, Пекалов и Кутырь посовещались; они осматривали камень внимательно и сколько можно спокойно, но угла так и не нашли — камень закруглялся. «Валун», — решил Пекалов, и Кутырь кивнул, а по подкопу слышались осторожные шуршащие шаги: возбужденные слепцы вновь подбирались ближе, хотели работать.

Камень был похож на огромное яйцо, лежавшее на боку. И если камень такой огромный, что с места не сдвинуть, то остается именно подкопать, и пусть съедет вниз, сползет своей тяжестью, своим весом. «А если реку вскроем?», «А что делать иначе?» — шептались Пекалов и Кутырь, обсуждая, а убогие стояли сзади них, не уходили, тоже шептались. Слепцы были слишком возбуждены, к тому же затаили мысль, что их сознательно не допускают к святыне. Слепцы считали, что их обкрадывают.



Так что едва Пекалов и Кутырь расширили подкоп, слепцы тут же втиснулись, чтобы отгребать. Отгребая, тощие и полуголодные, они грянули петь псалмы. Копали разом. Овальность камня полностью наконец обнаружилась: земля под камнем пошла мягкая, даже как бы нежная. Согнувшийся Пекалов выгребал и отбрасывал землю руками, по-собачьи. «Идет!.. Идет!» — кричал ему Кутырь, заметив, что камень подрагивает, а Пекалов все выгребал, и камень нависал над ними, округляясь и оголяясь все больше. Послышался скрежет; копатели замерли. Усиливаясь, скрежет вырос в зловещий звук, земля как бы ахнула, и огромный валун с шумом обрушился на них. Слепцы кинулись вперед; свеча погасла.

Пекалов успел увидеть, что слепец, суетившийся меж ним и Кутырем, раздавлен всмятку. Еще он понял, что их не затопило, что воды нет. Но света там не было, была тьма, хотя и пахнуло вдруг оттуда воздухом остро, пряно, прибрежно. И тут оживший валун вновь содрогнулся, сместился и по локоть отдавил Пекалову руку, отчего он сразу потерял сознание.

Кутырь отскочил. В свете гасшей свечи он тоже успел увидеть раздавленного, растекающегося слепца и там же — корчащегося Пекалова. Но свечу задуло, и Кутырь, уткнувшийся в мрак, не мог понять, почему темно и почему такая непроглядность, если есть выход и если пахнуло уже воздухом. Кутыря охватил страх. Во тьме Кутырь все же кинулся к придавленным.

— Силы небесные и силы земные... — бормотал он, стуча, клацая в страхе зубами.

Кое-как высвободив, он поволок Пекалова по подкопу назад, придерживая его расплющенную руку. Он спешил. В темноте он спотыкался, ронял Пекалова, подымал и волок вновь.

— Силы небесные и силы земные... — причитал, всхлипывая, старый вор.

Лишь выйдя и вытащив Пекалова из подкопа, Кутырь понял, почему там они не увидели света: была ночь.

Рванувшиеся вперед слепые, как и положено слепым, отсутствия света не испугались. Более того: не слыша погибшего, они решили, что третий их товарищ уж там, впереди, и устремились к выходу. Они вылезли быстро. На той стороне реки, в кустах и в провалах болот, они громко кликали и звали богоматерь, кото-

рая теперь их почему-то оставила, не слышала. С этого берега ночью их тоже никто не увидел и не услышал: поселок спал. Они метались, проваливаясь в болоте по пояс, и уже не звали богоматерь.

— Люди! — звали они. — Люди!.. — А потом, уже почуяв беду и гибель, звали своего поводыря, кричали, что они ему все простят. — Мальчик! Мальчи-и-ик!.. — ласково, по-женски звали и кликали они.

К утру их уже не стало. Мечущиеся по болоту и сплошной топи, хватаясь за ветки кустов, они мало-помалу отдалились друг от друга и утонули, найдя мукам конец.

Знахарь отнял Пекалову руку чуть ниже локтя; культя подсохла, но обмотку еще держали. Пекалов очнулся в домишке, в хибарке близ церкви, где из призрения уже жил спившийся мастер по малахиту, человек когда-то известный и не бедный. Ухаживала там и прибирала богомольная старуха. Пекалов был, по-видимому, не в себе, потому что, очнувшийся, стал рассказывать старухе, какой мягкой была потерянная его рука (он говорил и смотрел на культю), и как ловко держала рука свечу, и как хорошо он помнит, что меж указательным и безымянным пальцами у него была малая родинка — где же она?.. Старуха, не ответив ему, где родинка, сурово прикрикнула:

— А ну молчи!

И добавила:

— Станешь еще *заплетаться* — прогоню, и живи милостыней.

Старуха принесла куриный навар на ночь, Пекалов выпил, а сам все думал теперь о подкопе — можно ли ходить там? А если земля рухнула и подкопа вовсе уж нет?.. Он взволновался. О подкопе и заикаться было нельзя. Он знал, что ни помнить, ни думать об этом не надо, что богомольная старуха в слове тверда и что, пожалуй, выгонит его, как собаку, но желание проверить подкоп усиливалось. Осторожность и страх привели лишь к тому, что возникло детское желание пойти туда *потихоньку:* пойти ночью, поглядеть и скоренько, незаметно вернуться. Он припрятал спички. Спохватившийся (он охнул), он попробовал зажигать свечу единственной рукой, чиркая спичкой о ремень, — получилось! Это было важно, теперь он мог ждать, когда стемнеет и когда

старуха уйдет. Он ждал; он все поглядывал на синие сумерки в окнах — так и уснул, и сон был, что он идет по подкопу.

Проснувшийся ночью от несильного и ровного стрекота дождя, он понял, что много проспал и что надо спешить, если он хочет незаметно вернуться. Он тихо вышел из дому. Покрывшись дерюжкой, он быстро шел под дождем, а едва лишь добрался до знакомого места, дерюжку отбросил и нырнул в подкоп. Место стало совсем знакомым, знакомее не бывает, и он счастливо засмеялся, как ребенок, нашедший свое.

Теперь не во сне — теперь он шел наяву, и как же здесь все переменилось: осенняя вода намыла в подкоп всякой дряни, пахло разлагающимися отбросами, а поверху помимо их же трудового дерьма плавал обильный сор. Пекалов шел по колено в воде. Удерживая свечу и боясь, что вода станет еще выше, он догадался переложить несколько спичек из кармана за ворот (однорукому, ему пришлось для этого задуть свечу и потом снова зажечь).

Но вода становилась ниже и ниже, а потом совсем сошла на нет, зато теперь он натыкался на завалы, падал, ронял свечу. Подкоп сделался узким. Они работали здесь, когда людей стало мало, копали, уже не заботясь о ширине, так что теперь свежие осыпи сузили проход до невозможности. Став на колени, он отгребал и очищал проход заново. Он часто ударялся о свод головой. Свеча погасла. Он лез на коленях и даже и полз, хватаясь рукой за выступы и подтягивая тело как червь. В конце пути он почувствовал застарелый запах мертвечины; судя по тому, сколько шагов он прошел и прополз, где-то тут истлевал слепец, раздавленный камнем. Это значило, что и сам валун рядом. Когда Пекалов ткнулся в валун плечом, послышался шорох, и Пекалова придавило сползшей с валуна сырой шапкой земли и глины. Он задергался, выбрался, как выбирается червь из осыпи, после чего и увидел серенький проблеск света.

Выйдя наружу, он прикрыл глаза ладонью: было как удар, он вылез прямо на восходящее солнце.

Едва он ступил на болото, его охватило почти детское, огромное счастье; солнце заливало и осоку, и кусты, и реку — он прыгал, скакал с кочки на кочку, забыв, что хотел таиться. «Э-э-э! О-о-о!.. А-а-а!» — кричащий, он протягивал руку к людям на той стороне, как

бы делясь с ними радостью. Первые поселковские люди, вышедшие поутру кто на базар, кто по раннему делу, не услышали его, но услышали птиц. Встревоженные появившимся человеком и его криками птицы взлетали, галдели, кружили за рекой — люди не могли их не заметить, тогда-то они заметили и крохотную фигурку человека, который бегал, скакал там по кочкам и кричал им, простирая руки. Поселковские люди все же узнали Пекалова; он кричал, махал, крутил культей, единственная его ладонь посверкивала на солнце.

Тогда-то поселковские люди, вглядевшись, увидели нимб. Они не знали, что за месяцы, когда рылся подкоп и пока покалеченный Пекалов лежал без сознания, он поседел; они только и видели белый свет над его головой, видели, что он, молодой Пекалов, бегает, и кричит им, и ликует.

Больше никто из поселковских его не видел. Некоторые женщины уверяли, что тогда же к молодому Пекалову, осененному нимбом, подлетели ангелы — два ангела, — подхватили его под руки и унесли на небо. А через сто лет, когда наладились дороги и когда на той стороне тоже вырос поселок, меж поселками появился связующий мост, сначала деревянный, а рядом, у въезда на мост, поставили часовню. На стене — изображение. И до самого недавнего времени картинку, пусть сильно поблекшую, можно было видеть и различить: ангелы возносят человека на небо. Ангелы изображены с руками и с крыльями. Тело возносимого ими и взлетающего человека завалено несколько набок, потому что ангелу, который придерживал и подхватывал однорукого слева, не так удобно, как ангелу справа.

4

Есть мнение, что состояние бреда исключительно, но не интимно, а даже и ценно как раз тем, что человеческое знание самого себя тут обнажается (высвобождается) чуть ли не до самых глубинных ходов генетической памяти: ты вмещаешь больше, чем вместил. Есть мнение, что в состоянии бреда, освобожденный, мол, от цензуры своего века, ты способен воспринимать и способен слышать прошлое, мало того — жить им.

Однако на поверку настоящее не отпускает человека так просто; настоящее — цепко. (А банальность рада подстеречь.) Так и было, что в тяжелейшем шоковом состоянии человек вовсе не жил прошлым; человек не воображал себя ни пращуром, ни ручьем, ни птицей в полыни — он воображал себя громоотводом! (Работа на образ — неинтересное в расстроенном сознании.) Он считал, что он самый что ни на есть современный громоотвод, и что он, разумеется, на крыше, и что вот он уже поблескивает над зданием, как поблескивает меч в высоко поднятой руке.

Он жил и жизненно, то есть подлинно, чувствовал, как сначала тучи проходили мимо, а потом густели с ним рядом, поджимаясь в воздухе одна к другой: тучи тяжелели. Накрапывало. Следовала первая короткая вспышка, но промах! (тут важно его ощущение: он и хотел молнии и боялся) — и еще вспышки, которые все ближе и ближе к зданию, на котором он. Он весь сжимался в ужасе и в сладкой истоме; маленькое тельце его трепетало.

Наконец следовал выжданный и точный удар. Его всего передергивало. Пропуская тончайшую боль через тело, он думал, что погибает, — и гибель была в радость. Следовал еще удар. И он еще раз пропускал вспышку и боль через тонкий свой позвоночник. Он был весь в испарине. И в то же время, жаждущий, звал и кликал молнию вновь на себя. «Еще!.. Ко мне!..» — он сзывал тучи и искренне жалел, если вокруг светлело и гроза шла на убыль: ему казалось, что он недополучил свое, недобрал в жизни.

В палате для послеоперационных шоковых он лежал от меня совсем близко, койка к койке. И если за больничными окнами собиралась гроза, он первый слышал воздух, напоенный электричеством; медицинская сестра Оля задергивала шторы, а он кричал:

— Ко мне! Ко мне!

Медсестра Оля, иногда милая, иногда вздорная, вполусмех отвечала:

— Ну вот еще, очень ты мне нужен.

А он, конечно, кричал не ей и не нам — кричал тучам и звал молнию, бедный. Он так ее звал! Психика восстановилась, и вскоре он вышел из шоковой палаты; он вышел раньше нас, он был ходячий. Он шастал по больнице, всюду заглядывал. Он выпрашивал у сестер и нещадно пил таблетки, за что и был прозван.

Ему было двадцать девять лет. У него жила на позвоночнике опухоль, которая продвигалась, но не в самом опасном направлении: его несколько раз оперировали.

Года два спустя позвонил мой сотоварищ по больнице, один из сотоварищей, и сказал, что *таблеточник-то в земле сырой,* — и во мне что-то тихо щелкнуло, как щелкает оно при утрате. Что ни утрачивай, оно исчезает по простой, по нехитрой схеме: было и прошло — пока вдруг не утратится необратимо, вплоть до непонимания. А непонимание при нас. Я поинтересовался, тяжелая ли была у *таблеточника* смерть.

— Пустяки: во сне.

Я только и помню, как он шлялся по больничным коридорам, выпрашивая крохотные белые таблетки, и как ему говорили, что же ты, мол, поедаешь их без счета, химия, мол, и неполезно, и нельзя же быть таким безвольным, перетерпел бы, а он с лучащимся лицом, с хитренькой и милой улыбочкой отвечал:

— А если боли адские?

Я тоже от него недалеко ушел, когда после травмы под морфием бредил и считал себя не тополем, не оврагом, не волчонком, не копателем Пекаловым и не рыжкой. Генетическая память молчала. Я считал себя ходовой частью самосвала, но чаще — Як-77, самолетом, у которого пробито крыло и который идет на посадку, но никак (ну никак!) не может сесть. Так и было: то громоотвод, то истребитель. (Претенциозная, бессмысленная работа на образ — вполне современная черта.)

Даже и в полосе выздоровления, когда страшное позади и когда уже можно было передвигаться, пусть на костылях, я вновь начал вдруг настаивать, что я Як-77, что я иду после воздушного боя на посадку и что у меня всего лишь пробито крыло: это, мол, теперь запросто, сяду, не волнуйтесь. Не помню, ел ли я в те дни, разговаривал ли с соседями по палате, но отчетливо помню, как хирург, сдернув с меня на перевязке очередной грязный бинт, заорал:

— Еще раз пойдешь на посадку — и я сдам тебя в психушку!

Психушкой как раз и называлась особая палата для шоковых.

Тогда-то из прошлого объявилась неброская легенда о Пекалове, тогда-то, восстав, она и взялась меня манить, преследовать. Я хотел в нее вжиться, я хотел туда, в тот мир, к тем простецким людям (генетика пыталась врачевать!), но тут же сбивался, не попадал и вновь воображал себя кружащим однообразно, воинственным Яком. Войти в известный с детства старинный рассказ я не умел: прошлое не давалось, мучило меня, но оставалось — прошлым. Прошлое как бы все время ожидало моего первого шага в правильном направлении, чтобы тут же и замолчать: прошлое было пугливо, было неуловимо, показывая тем самым, что возврата не будет и что оно, прошлое, замолчало во мне куда раньше, чем я это осознал, — и какое же устрашающее количество слов было мною нажито и наговорено без него!

— Оля!.. — кричал я, мучаясь, и было больно и казалось важным сообщить хотя бы и ей, задерганной медицинской сестре, что я понял некую суть: не бояться рассказать, не бояться сделать свою боль всеобъемлющей и свою утрату — всеобщей. Я тогда же понял, что я польщу себе и даже себя обману, если самоограничусь и не свалю, не сброшу *это* с себя на всех сейчас живущих (не сводя, конечно, к взаимным счетам с кем-то или с чем-то).

На миг прошлое вновь приблизилось, поманив, и я держал в руках лопату старого образца, рыл землю. Копанье напоминало или только хотело напоминать течение жизни, в которой за отсутствием моста или большого гулкого туннеля я шел иначе: я шел, пробиваясь туннельной тропкой, подкопом, сворачивая и вправо и влево, я шел какими-то слишком уж витиеватыми, зигзагообразными ходами, в то время как надо было лишь переждать. Не умел и не хотел ждать, пусть даже и собственного опыта, и неудивительно, что очень скоро я уже не знал направления, сбился (в темноте и при одной-то свечке) — а река текла; река была надо мной, я слышал ее шум и шума не боялся, но я уже не знал, куда она течет, где русло, и где против русла, и где поперек; я так наизвивался, что в темноте оставалось одно: копать; копать куда придется, и пусть с лишним трудом и потерями, а все же выйти на тот нехоженый берег. Но это уже было, кажется, невозможно.

— Оля!.. — звал я, лежа на больничной койке в бреду после травмы.

А Пекалов продолжал копать. И было ощущение, что он все еще копает, людям не видный, и что оттого-то, может быть, и вознесли его, что вознесенье ничего не меняло: он остался на своем же месте, с лопатой. Тут дело взгляда: молодые, как известно, слишком доверяют воображению, а старики слишком боятся смерти, но если ты не молод и не стар и если, как водится, обладаешь чувством меры и в излишние преувеличения все равно не впадешь — зачем тебе какой-то Пекалов?.. И все же я (уже усилием) пытался представить его, представить, как напрягаются его мышцы и как он отбрасывает землю назад и вгрызается в щебень, когда его охватывает раж.

Я не хотел, как не хочу и сейчас, чтобы от него и от его упорства осталась обнаженная людская мысль, слабая в высказанности, емкая, но без запахов, без нависшего темного свода, без скрежета лопаты и без падающих капель воды, — разве мне это нужно *без?* Я хотел увидеть его — живого Пекалова — и лишь однажды через толщу времени увидел. Он стоял, опершись о лопату, согбенный от низкого свода подкопа, по колено в грязи: он был двурукий, а за ворот ему упали комья земли, и, копанье прервав, он скреб рукой по спине. Лицо усталое. В шаге стояла на щебне не свеча, а керосиновая лампа. Однако, как всякое видение, он был немногословен. Медлительный, он перестал почесывать спину и выбирать оттуда комья осыпи. И обнаруживая непонимание меня и моего присутствия (я был для него кем-то из пришельцев), сказал:

— Нет времени... Чего тебе от меня надо?

И повернулся ко мне спиной, продолжая копать дальше.

Больница отошла ко сну. Сестра с уколами на ночь глядя ходила из палаты в палату, я видел ее выныривающий и вновь исчезающий белый халат, — и наконец ушла совсем; ни души в длинном больничном коридоре. Ночь. Осень. За окнами — несильный дождь. Окна коридора отсвечивали, и я видел себя ковыляющего: параллельно, в отраженном коридоре, шел отраженный больной на костылях с моим лицом — облик был совсем непрочный, зыбкий, а если, пробиваясь через свое лицо, глядеть дальше, с высоты четвертого этажа видно дорожку асфальта, мокрую, блестящую от

дождя. Но меня озаботило там совсем иное. Напротив больницы стоял жилой дом, и там, тоже на четвертом, среди множества потухших выделялось освещенное окно, где, припав, прилипнув к стеклу, стояла девочка (я ее вдруг заметил) лет десяти и отчаянно махала рукой. Лицо у нее было испуганное.

Я проковылял по коридору этак метров пятнадцать, боковым зрением наблюдая за ее фигуркой в окне. А когда я, переставляя костыли, на миг приостановился, она еще сильнее замахала рукой, так что и сомнений не было: девочка махала мне.

Там происходило что-то неладное, и девочка подавала знаки, взывая о помощи. Быть может, она заперта? Колотить и бить в дверь она почему-то не может (или боится? может, там кто-то пригрозивший?) — не может и выпрыгнуть, разбив стекло окна, этаж-то четвертый. И возможно, кроме меня, шагающего по больничному коридору, никто, ни одна душа ее не видит и помочь не может, иначе зачем бы, взывая, стала она махать человеку на костылях. Она была худенькая и маленькая — жалкая. Но как помочь, если я даже крикнуть ей не мог, окна нашего коридора никогда не открывались. И ноги мои дрожали: уже устал. Я еле ступал. Только-только прошли дни после двух операций. Я сел, почти рухнул в старинное кресло на колесах — дряхлое, давно заржавевшее в ходу, кресло день и ночь стояло недвижно в коридоре больницы и использовалось для отдыха такими, как я, *костылюшками,* уставшими в середине столь длинного коридора.

Все-таки нужно было встать и идти, хотя на костылях спускаться на первый этаж совсем непросто. (Ее немые отчаянные знаки, ее прилипшее к стеклу лицо торопили меня.)

Спустившись, я затаился. На одну сторону был основной больничный выход, где слышался голос гардеробщицы, переговаривающейся с врачом, — тут мне следовало быть незаметнее. К счастью, была глухая дверь на другую сторону и в ней лаз; я огляделся — никого. Я поставил костыли близко возле забитой наглухо двери и сунулся туда. Удалось не сразу. Гипс, сковавший мою поясницу, позволял пролезть в лаз, только если сначала ляжешь на пол. Я лег. Пролез. С этой стороны, уже слыша запах и стрекот дождя, я лег снова и рукой через лаз вытянул — по одному —

костыли к себе. Поднявшийся, я заковылял, заторопился. Пересекая под дождем пространство меж больничным корпусом и домом, я в спешке нет-нет и махал девочке — иду, мол! И когда я выскочил за полуповаленную больничную ограду, она тоже замахала, радостно, но с каким-то ужасом в лице, словно бы я на своих костылях уже сильно запаздывал и едва ли мог успеть прийти на помощь. Я спешил, я уже задыхался.

Окна я посчитал — но все равно с квартирой можно было ошибиться. Войдя в подъезд, я стал подыматься, но и этажи были несколько неопределенны, с лестницей не в два, как обычно, а в три марша. Получалось полэтажа. Потом полтора этажа. Два с половиной. И я не знал, находится ли их четвертый этаж выше или ниже уровня четвертого этажа больницы. Я не знал, в какую дверь мне начать стучать, звонить, а быть может, ломиться.

Стучать костылем в каждую дверь подряд мне пришло в голову сразу же, но ведь в ночном общем шуме, когда проснувшиеся люди начнут бегать и орать, можно не найти, не расслышать маленькую девочку. Ошибиться было легко. Тем более что на четвертом (на третьем с половиной) этаже коридор вдруг повел сильно вправо и вниз — обнаружилась планировка старинного дома, где было много всяких и вразброс расположенных квартир. Я проковылял вглубь. Там были еще три квартиры, но едва я подумал, что квартиры эти последние, тупик вдруг расширился и на углу объявился встречный коридор, который шел от меня уже сильно влево — и вниз. А за поворотом виднелся новый коридорный отросток, уже и без окна в торце, каким-то образом переходящий в полуподвал. В такую коммунальщину я еще не попадал. Всюду были квартиры, и квартиры, и какие-то трубы, и запахи полуподвала. Я явно сбился, запутался, и стучать в двери здесь было бы, конечно, ошибкой. Я выдохся. Ноги подгибались, а натертости от костылей отдавали под мышками сильной резкой болью. *Костылюшка много не набегает* — так говорили. Я остановился. В сумраке коридоров (были уже лишь отдельные проблески света) запахло сильно землей, я видел, что коридор все углубляется. Своды сбоку уже были земляные. И сверху была земля. Местами — глина. Я вновь остановился: увидел каплю, сползшую с потолка и павшую под ноги. И тут я услышал, что вверху, надо мной, шум: там шумела река. Река не-

громко и мерно шумела. Своды над головой, и земля, и чья-то свеча возле моих ног — все внезапно дрогнуло, переходя на другую ритмику, поплыло...

Пусть бред, пусть втискивалось прошлое, но больничный-то коридор был в реальности — я глянул в окно: был виден фонарь с матовым плоским абажуром, в котором скапливалась понемногу дождевая вода. Была ночь, был мерный осенний дождь, был дом напротив и одно освещенное окно. И девочка, приложившая руки к стеклу и вглядывающаяся. И личико, искаженное болью. Это-то было въявь.

И тогда я заковылял в явь. В больничном коридоре ни души — и я двинулся, переставляя костыли и шурша по линолеуму кожаными домашними тапками. И насколько же путь теперь был медленнее и труднее. В реальности приходилось к тому же быть осмотрительнее. (Знание больницы было знанием ее порядков и черного хода.) Предварительно я зашел в свою палату, угловую, самую далекую от лифтов. Под больничный халат я пододел (учел дождь) имевшийся у меня свитерок, а больничные штаны сменил на тренировочные с белой полоской. И двинулся к двери, сунув на всякий случай в карман десятку из бывших у меня денег. Один из моих сопалатников спал; другой лежал, глядя в потолок, никак не реагируя ни на мой приход, ни на мою возню с переодеваньем. Рубаха на груди у него была развалена, раскрыта, как при удушье. Я вышел из палаты, и вот — костылюшка много не набегает — я спускался по неосвещенной лестнице вниз марш за маршем. И спустился.

Именно главный-то вход в больницу был закрыт, там было пусто, темно, а вот нужный мне черный ход был открыт, там горел свет, несильная голая лампа, и сидел, дежурил мужичок в ватнике — курил. Он лениво зевнул, когда я проковылял мимо. Когда я уже пересек свет и полосу табачного дыма, он проворчал вслед что-то вроде: «Только ты уж недолго...» Я шагал, ставя костыли на мокрый асфальт, на мокрую траву. Слабые мои ноги дрожали. Во рту пересохло. Дождь был теплый. Я миновал полуповаленную ограду, чувствуя, как после больничного духа в лицо бьет густой запах мокрых деревьев. Дом — рукой подать. Я видел: девочка в окне немо что-то говорила — шевелила губами. Подъезды (в реальности) были с этой стороны, и где мне войти, я без труда высчитал по отстоянию окон от угла

дома. Задрав голову, я еще раз скорректировался по ее лицу в окне — и вошел. Дыхание участилось, я подымался вверх. Я постукивал костылями. Дом был самый обычный, с нормальным отсчетом этажей, с нормальными лестничными клетками, с нормальным числом — четыре — квартир на клетке, эта вот нормальность, будничность, прозаичность дома, а на этаже одна из квартир открыта. Дверь открыта. И когда я вошел, я увидел, что квартира не жилая, тянулись трубы. Входной коридор вел не в комнаты, а куда-то в сторону. А пройдя немного, я глянул вверх — потолок был обшит досками: земля. Я остановился. И увидел, что вновь спуск. И тут же услышал над головой тот самый шум: шумела река...

Примерно за год времени на моих глазах в палате сменилось два десятка больных, одним из них был старик, по национальности турок. После травмы он находился в шоково-бесцензурном состоянии: он также не видел себя ни ящеркой, ни барханом, ни дервишем, ни муллой. У него был вполне современный и довольно распространенный сдвиг: он считал, что все часы испортились и что их надо уничтожить, ибо они показывают неверное время. Он молчал и если говорил, то об испортившемся часовом механизме, о шестеренках, пружинках. К нему часто приходила дочь — сорокалетняя женщина, маникюрша.

Помню, что не очень скоро, но я нашел с ним род общения — я рисовал ему на бумажках циферблаты со стрелками, а он эти клочки бумаги с удовольствием забирал и с еще большим удовольствием рвал на мелкие части: уничтожал часы, если не время. Медсестра Оля, а также нянька были мне благодарны, так как, изорвав десяток бумажонок с расположенными вкруговую цифрами, он приходил в отличное расположение духа и обедал без капризов и без выбрасывания посуды за окно. Мы с ним поладили, наши кровати были напротив — он рвал, а я вновь рисовал циферблаты; в этом процессе я тоже получал свою часть удовольствия, ибо в самом низу рисунка крохотными и незаметными для врачей буковками подписывался: «Як-77».

5

(В психушке не было ни одного Александра Македонского, ни Наполеона, ни им подобных.)

Есть притча об Александре Македонском — будто бы разбил он какой-то красивый предмет, кажется амфору. Он бросил на пол прекрасную хрупкую вещь только потому, что не смог взять ее с собой в долгий поход: в походных условиях рано или поздно амфора разбилась бы, а ведь он-то уже ее полюбил бы и свыкся. Македонский опередил свою жалость: не захотел любить — не захотел терять. Он не был исключителен, юный завоеватель, так как в известном смысле все люди похожи на него: мы именно так живем, отбрасывая, а то и разбивая прошлое, — легкие, мы ходим в свои походы, едим, пьем, пока не хватимся и не завопим: утрата, ах, утрата!

Удивительно даже, что в числе прочих легенд о Македонском сохранилась также и эта, в ней нет решительно ничего особенного, более того: люди только так и живут. И можно себе представить, сколько ваз и не ваз расколотил Македонский. Его, как известно, обучал Аристотель, и, надо полагать, философ здорово плевался из-за драчуна и престижного ученика, которого приходилось терпеть.

Разумеется, не через все, что любишь, душа говорит и дышит — это одна сторона медали. Но есть и другая: если люди век за веком бросали полюбившееся, боясь, что слишком привяжутся, если они колотили свои вазы и амфоры, то неужели же это удел?

Ведь не в том труд, что дорога *назад* неэстетична. С этим можно бы и смириться. Жизнь нацелена, и обратные дороги заплеваны не только потому, что по пути в настоящее человек ел, пил, бросал консервные банки и прочая и прочая.

Но и антимакедонец Толстой спрашивал, почему мы не понимаем прошлого или почему так плохо его понимаем. Он взывал, он говорил об утрате, а ему отвечали, притом и вполне современно: да, мол, памятники прошлого надо беречь (вот ведь красим церкви, вот книжку старинную переиздали); он говорил о понимании, а они говорили о музее. Он говорил о человеке, а они — о том, хороша ли над человеком могильная плита. Он

говорил, а они не слышали. В конце концов это могло и надоесть.

«Прошлое должно вспархивать само собой, как птица», — красиво ответил один человек в застолье, не зная о столь же, впрочем, красивой истории с разбитой вазой.

Он сказал «вспархивать», не решаясь сказать, что птица — взлетает. Но смысл был ясен.

Мне тогда вспомнился седенький, беленький старичок, который в давнее-давнее время мелкими шажками бродил во дворе вдоль натянутых бельевых веревок. Двор был как двор. Стояло лето. Старичок уж давно не работал. Шастающий, молча он подходил и подмаргивал, как бы желая что-то потихоньку тебе показать; руку он интригующе держал в кармане. И точно: он вынимал из кармана необыкновенную птичку. То есть вынимал он самого обычного воробья, но этот воробей трепыхал крыльями, а не взлетал. Старичок держал его на ладони, и мы, мальчишки, удивлялись, смотрели и осматривали, но крылья не были переломаны, и лапки не связаны, и вообще все было в норме. Воробей очень живо чирикал. Почему воробей не летел, не знал никто, не знал и старичок, который подобрал на земле его таким.

Шумное и пьяное бушует застолье, где мне четырнадцать лет и где рядом со мной сидит, тряся рюмкой, старик бухгалтер — настырный, с замашками поселковского философа, он затеял посреди общего гама разговор о самовыражении и об оценке в потомстве.

Никто его не слушает, но он все время говорит: когда некий, мол, *обезьян* встал с четверенек на ноги первым, его хвостатые сотоварищи ужимками и визгом намекали ему на его тщету; встать стоило немало трудов, встать было для тела и мышц сложно, больно, а они еще и издевались: «Чудак! Неужели ты думаешь, что тебя вспомнит потомство?..» — и ведь верно: не вспомнили. В том и вся штука, что не оценили смелого и умного *обезьяна*. Забыли его. Ей-богу, забыли! Он, старый поселковский бухгалтер, прожил много лет и много на своем веку поездил. Он слышал разговоры в самолете, в поезде, в автомобиле, в трамвае, он слы-

шал разговоры на пароме, в телеге, а также верхом, когда едешь с человеком седло о седло. И ни разу во всех тех разговорах он, старик бухгалтер, не слышал, чтобы кто-то добрым словом вспомнил того, кто первым поднялся с четверенек. Потомки не помнят. Забывают...

На столе домашняя колбаса, для которой сами варили и сами прокручивали мясо, сами перчили, сами пробовали и сами утрамбовали фарш в кишки. С колбасой близко стоит в графине водка, а когда графин наклоняют, видно лицо тетки Дарьи — она бьется рюмкой о рюмку с Виктором Сергеевичем. Двоюродные, по некоему общеродственному замыслу они посажены вместе. Они должны помириться, и Виктор Сергеевич, нащупывая к миру подходы, все повторяет: а чего ж, мол, пьешь плохо, соседка?.. — на что она отвечает, что пьет она вовсе не плохо и что у нее в *груди уже прыгает*.

Но он все корит:

— В груди не то. Надо, чтоб в глазах прыгало.

А далее дядя Павел со светлым красивым лицом. Далее его жена — Анна Васильевна. А там и дядя Кеша — без левой руки, восемь ранений, три медали, покалеченный, когда сидел у орудия, забивая гвоздь в сапоге. На днях у него умерла жена. Дядя Кеша сидит тихий, однорукий, выпивший уже все десять рюмок, а больше ему нельзя, — он не слышал про того обезьяна, он не слышал про примирение двоюродных, он ничего не слышал. Он смаргивает слезу среди шума застолья и все что-то шепчет себе самому.

«Песню-у! Песню хотим!..» — орут там и здесь.

За дядей Кешей, за дядей Павлом и наискосок от Анны Васильевны сидит дядя Сережа, человек особенный. Он и детей-то своих поколачивал как-то особо, а жену изводил даже и страстно, не без таланта, отчего она дважды пыталась повеситься. «Песню-у-у!» — орет он сейчас. Всегда в движении, энергичный и шумный зачинатель многих дел, дядя Сережа эти дела бросал на полдороге. Из исключительной своей суетности он как-то влез в крупную, по масштабам поселка, спекуляцию, а затем передумал — помчался в милицию каяться, чем и посадил соседа своего и сотоварища на два года. Сам уцелел. Когда были под следствием, он похаживал к жене соседа и клянчил деньги: «Не то расскажу всю правду — и его посадят», — вымогая, он брал у нее червонец за червонцем, а на суде выложил

все, что спрашивали и что не спрашивали. Держался он на суде гордо: «Я, товарищи, одумался. Совесть вовремя заговорила. Что-что, а совесть еще не усохла»; соседу дали пять лет, которые потом кое-как скостили до двух, а он отделался штрафом, который чуть ли не весь возместил из соседских же денег. Еще до суда, вымогая, он спал с женой соседа. Велеречивый, напористый, хваткий, он вновь и вновь говорил ей: «Не то всю правду на суде выложу», — денег же у жены соседа было немного, а значит, плати валютой. Когда соседа упекли на два года, он приучил его жену к постели выпивкой. Позднее, сидя в единственной поселковой пивнушке, что рядом с баней, он рассказывал мужикам о некотором ее бабьем любопытстве. «Нравлюсь я ей, — пояснял. — Но я-то от *таких* ухожу. Попробовал — и порядок».

В застолье шумный, дядя Сережа орет, требуя любимую песню, а через пять лет он будет умирать от рака, и тогда долгое родственное застолье (и это хмельное философствование старика бухгалтера насчет обезьяна) аукнется в нем странным образом. Дядя Сережа, умирающий, позовет жену. Позовет и детей. И тоже спросит:

— Неужели я не останусь в твоей памяти, Нина?

И умрет. И — не останется в памяти. Потому что Нина забудет его зло, и его дерганье, и перекосы. И будет вспоминать и печалиться как бы совсем по другому человеку, хотя и с той же фамилией, с тем же именем, с тем же отчеством. Вспоминая, тетка Нина будет вздыхать: «Да-а. Был у меня муж, умер уже. Хороший был. Ласковый...»

А вот и раскат: то особенное и пугающее нарастание звуков, когда легкие захватывают воздух чрезмерно, чтобы как по ступеням возносить к небу свой звуковой напор: и — *бес-пре-рыв-но — гром — гремел...* На верхах поющие выкладываются, отдавая уже и последнее. Запас воздуха на исходе. Глаза ищут точку, чтобы опереться, после чего возникает предельное напряжение: *гре-ме-е-е-э-э-эл...* — и вот звуки мощно выносятся за предел, а на лицах появляется разрешающая (исчерпывающая миг) улыбка, удовлетворенье, радость: можем, ай да мы, вот они мы. Женская втора взлетает теперь, как бы забегая вперед, и справа и слева, но не обгоняя. Огромные поля и пространства сливаются в точку. Это мы. И пусть нас забудут. Пусть

совсем нас забудут. Это мы, пока мы живые. *Неужели забудут?..* Песня сходит на нет. И звучит последнее, значительное, как сами пространства:

И пала, грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина-а-а...

На день четвертый спад: все они валяются в лежку, вялые, похмельные, лежат там и здесь вповал... Встанут, хлебнут, похрустят полумертвым огурцом, скрипнут зубами, покурят — и заново в лежку. А какие ж прекрасные были три дня! Как садились за стол, как кричали, как родственно-неродственно целовались и как пели.

6

Если *копать* еще — мне одиннадцать лет: время голодное, а лето суетное, и матери в связи с обстоятельствами надо было куда-либо меня приткнуть, но куда?

Помыкавшись, мать отправила *уравновешенного* мальчика в пансионат слепых, где заведовал и тихо правил полуслепой и дальний наш родич. Конечно, я был там незаконно. И целое лето объедал слепых. Там же томилась одна бедная девочка и тоже, вероятно, их объедала: нас только и было двое детей, вялых, с ссохшимися желудками, и, может быть, мы вмешивались в их котел не так уж ощутимо. Тем более что меж нами — меж нею и мной — почти мгновенно возникла детская любовь, отчего мы почти не ели.

Слепые (их собрали со всего района, а возможно, области) находились именно на той стороне реки, хотя и несколько ниже того места, где Пекалов вышел с подкопом. Река осталась рекой, и два слепца, выбравшиеся когда-то через подкоп первыми и попавшие в топи, погибли где-то здесь, неподалеку; и, во всяком случае, за *долгую* ночь они вполне могли добраться, сместиться по берегу как раз сюда, погибая и клича на помощь.

День девочка и я проводили у реки, плавая, гуляя в лесу, а даже и ссорясь, потому что Сашенька, так ее звали, не утаила, что в прошлом году у нее уже была любовь: ее одноклассник Толя. Одиннадцатилетний мальчишка, я лишь благородно вздыхал: «Понимаю:



у вас это серьезно...» — но вскоре я очень переменился; я уже не был столь благороден и, едва выяснилось, что мы с Сашенькой тоже любим друг друга и что у нас тоже серьезно, стал ревновать к ее прошлому, недостойно выпытывая подробности или же вспыльчиво говоря: «Ну и катись к нему!..»

За все лето полуслепой зав два или три раза зазывал меня к себе и по-родственному спрашивал, как, мол, живется, на что я смущенно мялся и мычал — живется, мол, хорошо.

— А как спишь?

— Сплю хорошо.

— А как с едой?

— Хорошо...

Я боялся, что о нашей любви он что-то пронюхал. Сашенька приходила в отведенную для меня старую, протекавшую палату на отшибе у слепцов, приходила с опаской, и мы целовались именно вечером, в темноте, и ровно один раз в день, полагая, что целоваться больше — это уже вести себя как взрослые. Мы сидели в палатке, и в десяти шагах от нас Урал плескал волной. Я тогда уже покуривал и потому непременно задергивал полог, но дым валил, и Сашенька некоторое время прогуливалась возле палатки, чтобы не засекли. А как только я выбрасывал окурок, мы садились вместе бок о бок и долго молчали — Урал шумел, и мы тихо, по-сиротски слушали удары волн. Или же их мерный шлеп. Видели мы и ночную лунную дорожку в раздернутом пологе палатки.

Слепые, конечно, поразили нас; к примеру, я шел к Сашеньке днем, чтобы позвать ее на реку (или же она шла к моей палатке: она размещалась с поварихой), — я шел по берегу, а меня вдруг окликали: «Николай?..»— я шел дальше, не был я Николаем (а Сашенька говорила, что, когда ее окликают, она обмирает), и некоторое время слепой вновь чутко вслушивался. Осознавший ошибку — по шагам, — он вновь окликал: «А-а... Сережка! Чего я не узнал тебя сразу?» — а я не был и Сережкой, молчал, шел своим путем, а если это была Сашенька, она вновь обмирала и с сердцебиением быстро-быстро шла берегом дальше. Слепой стоял и смотрел вслед.

Их было десятка полтора — и для двоих детей было непросто не вступать с ними в контакт, о чем зав предупредил нас с самого начала. Он сказал, что слепые

привязчивы и что слишком радуются всякому новому человеку, а потому их надо обходить стороной. Возможно, зав побаивался, что, и впрямь привязчивые, они станут интересоваться и, расспрашивая, от нас же узнают в конце концов, что живем мы за их счет и из их котла. Короче: был уговор обходить. А они так тоскливо бродили по отмели или же сидели, все подбрасывая и ловя гальку, и, когда я шел мимо, не только слышали меня, но и чуяли по дыханию. Они чуяли, что курящий: «Николай... Иди же ближе!» Курцов среди них было трое, их знали, и меня окликали одними и теми же именами. Сашенька же была еще худее, чем я, и поступь ее была так легка, что слепцы окликали не всегда, а только смотрели, ведя незрячими глазами вслед и принимая ее за птицу.

Когда Урал в непогоду шумел, они вдруг собирались на берегу и стояли живым, колышимым рядом на самой кромке мокрого песка. К ногам их подкатывались волны. Вперив белесые глаза, слепцы глядели на ту сторону реки (примолкшие, они как бы тоже ждали спасения), они часами вот так стояли, вытянув шеи и вглядываясь *туда,* а река гнала на них волну за волной. Что-то их там манило.

Ели мы врозь, и потому не видел и не помню, как они едят, как передают тарелки. Но зато мы видели, и не один раз, как они входят в реку, когда Урал тихий и ласковый, когда всюду развал голубого неба с солнечным шаром посредине, и жара, и самое время войти в воду. Они входили всегда в одном месте — вероятно, где было меньше камней и выверенное песчаное дно. У берега Урал мелел, так что идти слепым приходилось довольно долго: неторопливые, они шли след в след растянувшейся цепочкой, а там, где уже синела глубина, они помогали Кирюше. Толстяк слепец, возможно водяночник, жирный и подрагивающий от страха, был зримой противоположностью всем им, поджарым и стройным. Там, где глубже, они останавливались, смыкаясь и даже теснясь, после чего помогали толстяку слепцу войти, он же хныкал, поскальзывался, боялся упасть; толкая и того и этого вздутым животом, он переходил к очередному в цепочке, а растопыренной ладонью уже тянулся к следующему. Так передав его из рук в руки до известной глубины, они наказывали: «Кирюша, тут плавай. Дальше не ходи!» — был ли он слаб умом или же плохо плавал, трудно сказать. Урал зна-

менит тонущими, а в тот год тонули чуть ли не один за другим. Кирюша боялся. Шумный, он плескался как кит, ни на шаг не смещаясь с указанного ему пятачка.

Заплывшие далеко слепцы разбивались кто с кем, вероятно, общения ради, а может быть, чтобы знать и советоваться о возвращении на берег. Они часто вертели головой, как бы стараясь лучше и точнее сориентировать в луче мокрое лицо. Впрочем, они хорошо знали, где берег, и, возможно, просто подставляли солнцу лицо и глаза. Либо двое-трое мужчин, либо мужчина и женщина — так они рассредоточивались, так и плавали. Женщин среди них было всего две, слепенькие и довольно миловидные, молодые. Купались они всегда нагие, и мужчины и женщины.

Сначала они долго возвращались по мелководью, брели, а у самого берега приостанавливались. Вернувшиеся разрозненно, они не ожидали остальных — двое, нагие, они останавливались на миг, чтобы сделать с мелководья *первый шаг на землю.* Мелкая волна еще щекотала ту ногу, что в воде, а ступившая на землю уже живо подрагивала, примериваясь к прочной тверди. Ступив, они вновь вспоминали, что они слепы, и что галька может быть острой, и что всякий куст встретит в штыки. Он уже стоял на земле насторожившийся, и теперь *она* тоже делала первый шаг. Свершилось. Они стояли на берегу, оглаживая друг друга от воды, смуглые и смеющиеся, и вдруг смех смолкал, и на короткое время они вновь вперяли бельма в реку — в сторону того, тревожащего их берега.

7

Личные беды личны: тонки и смутны по восприятию, и правильнее оставить их про себя. Но как быть, если не все понимается ограниченным, односторонним своим опытом?

Когда я увидел копателя сквозь время, он стоял, опершись на лопату, и ответил мне, что он спешит и что ему пора копать. Он стоял в подкопе. Было тускло от лампы. И помню: он сказал, что торопится. Но может быть, он тоже *видел*? И, возможно, ему тоже было тяжко в своем подкопе и он так же хотел понять меня, как я его. Может быть, он провидел меня

через толщу дней и лет, и вот он стоял, опершийся на лопату, и смотрел, как в палате на больничной койке *в бреду лежит разбившийся человек, лежит лицом вверх* и без возможности повернуться. Возможно, в тот миг мы желали друг от друга одного и того же, он — надеясь на мое, я — на его прозрение и силу, оба бессильные, что и было определяющим в иновременном нашем соприкосновении. Он копал — я лежал в бреду. От неожиданности мы оба насторожились. Мы не успели обрадоваться. Каждый, замкнувшись, все еще оставался в своем, что и было главным в этой краткой встрече. Встретились... Души молчали, не сознаваясь ни во взаимном страхе, ни в опасении заразы чужих чувств, протиснувшихся впрямую через толщу веков.

— Тороплюсь я. Надо копать... Чего тебе от меня надо?

И он замолчал, но ведь, ничего не требуя и ни на что не надеясь, я хотел лишь знака или полслова, лишь этого я и хотел, и ведь не только себя ради. И вовсе не таилось во мне тщательно запрятанное желание вмешиваться в чужие жизни.

Я ждал, пока этот неконтакт хоть чем-то окажется или во что-то перейдет: как ни молчи, в движение пришла и замкнулась на себе связка направленных усилий. Я верил этому, больной, и не только потому, что за свою физическую немощь, а также за свой тупик мы вымещаем всюду, где нам дается. Пусть плохо, а даже и постыдно уходить от своей действительности, но ведь психика сама в метаморфозе освобождает себя, если ей непереносимо.

И не было самовыраженье местью за некие разочарования. Пекалов овладел не землей, но пядью: он был слишком купчик для героя, слишком мелок и сбивчив для фанатика, слишком неукротим для тотального неудачника: он был всячески мал сравнительно с ними, однако же он был равен им всем своим упорным копаньем: он подтвердил природу человечьей тайны, что приоткрывается лишь в те минуты, когда человек не бережет себя.

...А здравый смысл принижал: какая, мол, тайна? вздор! очень, мол, возможно, что нет и ничего не было там, кроме все той же косматой обезьяны; кроме кри-

волапой и косматой, что слезла с дерева и пошла на своих двоих лишь потому, что тем самым явилась возможность легче, проворнее набивать брюхо. Очень возможно, что твой Пекалов—твоя же блажь и что подсознательно всякий не прочь стать тем мудрецом, для которого живо и трепетно лишь минувшее, а тогда и наши дни становятся только тем, что пройдет.

8

Человек — а ему уже лет за сорок, и имя его не важно — остановился посреди поля, затем шагнул в сторону (сменил ракурс) — и смотрит.

Он отыскивает некое совпадение, которое его волнует, потому что сотни лет назад в точности так стояли и смотрели они, те, кто выбирал это место. Тут даже и ручаться можно, что они видели то самое, что и он, — именно *они,* так как место для деревни, конечно, в одиночку не выбирают. Человек — а ему уже лет за сорок, и имя его не важно — подошел со стороны дороги, и, надо думать, *они* подходили оттуда же, хотя дороги тогда не было.

Увидели они эти невысокие две горы: одну сточенную временем, а одну с более или менее острым гребнем; а также увидели две сливающиеся речушки, нет, можно и уточнить — они увидели только Марченовку, тогда она была без названия, но они ее увидели и сказали: смотрите, мол, речушка вся в купах деревьев. «Не сохнет ли?» — «Какое там сохнет. Зеленая!» И они двинулись ближе вот по этой тропе (тропы не было — они пошли напрямую) и, лишь приблизившись, разглядели вторую, совсем малую речушку — Берлюзяк, она впадала в Марченовку, скрытая деревьями и той горой, что с вытянутым гребнем. Подойдя ближе, они пили, конечно, воду на пробу и поковырялись в корнях, чтобы приглядеться к возрасту, а также к живучести деревьев, которая (живучесть) была за счет воды. Они подошли именно отсюда, никак не со стороны гор; увидев же вторую речушку, они не могли не обрадоваться — переглянулись наверняка: две! — две речушки, и уж, значит, одна не сохнет, что могло для выбора стать решающим. Ширина как Марченовки, так и Берлюзяка тричетыре метра, но воды немало, хватит — и тогда, возбужденные отчасти уже принятым решением, они стали

присматриваться по-хозяйски, а может быть, и азарт возник: «Я здесь поставлю дом». — «А тогда я здесь стану»; теперь-то, задним числом, он знал и с определенной точностью мог сказать, кто из них и где стал. Их было немного. Он знал все их фамилии, превратившиеся в таковые из имен и кличек. Он сам носил одну из них. То и было удивительно, что вымершую деревеньку давно снесли, но снос и вымор не удалили, а приблизили его к ним, и как первое сближение, как частность был факт, что на пространстве без изб он видит сейчас то самое, что видели они, первые. Вникающий, он мог знать и что и как они выбрали, задним числом и поздним взглядом окидывая рисунок земли без изб, без плетней, без огородов и без насаженных деревьев. Стоявшие вдоль дороги (главной и единственной улицы) деревья уже упали, попадали, а остались лишь те, что и были — у речушек. Такая вот и была земля: такая вот *безызбная* красота. Такой она им и глянулась. Одна плоская гора, одна с гребешком и спуски, по которым после протянули к воде огороды.

Он увидел, так сказать, землю *до* человека. Ведь горожанин, и не скорбеть по бывшей деревне он приехал, а именно побыть здесь в неопределенном для него состоянии, без дела и без цели, если не счесть целью желание увидеть это самое *до*. Не было деревеньки в те далекие времена, и сейчас уже тоже можно сказать, что ее — не было. И меж одним *не было* и другим уместилась вся деревенькина жизнь, в силу чего уместились и исчерпались люди, исчерпались жизни, судьбы, страсти, рождения и смерти действовавших тут лиц; исчерпалась и декорация этого неприметного, но красивого и долгого театра: изба. Деревенька имела свое рождение, свой рост, возможно, и свой взлет — теперь же, умершая, она имеет свое вечное небытие и сейчас в известном старинном смысле слова пришедший сюда человек находится в загробной ее жизни. Родившийся и живущий в городе, имеющий детей (родившихся и живущих в городе) и, стало быть, помимо деревенькиной жизни, уже имеющий как бы следующую и иную свою длительность, однако же сюда явившийся, — ну разве он здесь живой и разве он здесь не загробник?

Слово его не удивило, но позабавило: загробник!.. Радостно и отчасти беспечно улыбаясь, он открывает

портфель и выуживает бутылку. У него с собой прекрасная пробка-открыватель, которая не только откупоривает бутылку, но, учитывая пьющего, предусмотрено также, чтобы после нескольких глотков бутылку вновь заткнуть и чтобы бутыль не расплескалась, а даже и совершенно безопасно валялась початая, скажем, в портфеле до очередной нужной минуты. Суть: можно не пить все разом, не напиваться, но ясно видеть, прямо ходить, то бишь жить жизнью, поддерживая при всем том ровное кейф-опьянение; ему, в частности, важно поддерживать в себе восторг и некое обострение чувств. Приложившийся, он спускается к речушке, куда наметил спуститься глазами и куда уже спустились в свой час и в свой век они, предки.

Идущий за ними следом, он бросил бутылку в портфель и вот спускается к речушке — он спустится, а там и покурит, после чего опьянение-кейф как раз достигнет всплеска, а он в легкой эйфории подпития на воздухе даже замурлыкает какое-нибудь вырвавшееся из детства двустишие, если же глотнул мало и опьянение начнет оседать, осыпаться, он тут же и немедля добавит. Не выходя, так сказать, из радости, но и не входя в пьянь, ибо ему — возвращаться.

Он прошел под ивами, высматривая у воды плоский камень (их оказалось два, белых и плоских, составивших один), где его прабабка, и прапрабабка, и прапра... полоскали белье, женская доля, вереница сцепленных женских ликов, рожавших, и рожавших, и вновь рожавших. (С известной натяжкой можно сказать, что все они последовательно рожали его, пришедшего сюда.) Покуривший, он запивает водой из Марченовки, зачерпнул ладонями и пьет, а затем он подымется выше и непременно попьет из Берлюзяка: вода одна, а все же. Тем самым он удлинит свое очарование местом, для чего, в сущности, сюда и прибыл, он отметится и там и тут — он загробник, которого на день-два отпустили на землю, и он растягивает эти дни, что ж удивительного.

Растягивающий также и минуту, он сидит на плоском камне, выкуривая уже вторую и скосив глаза на нешумливую воду. И когда с ним рядом скрипит над водой дерево—нн-н-ны-ы... нн-ны (очеловеченная подробность: стонет старая ива), — он начинает ждать в душе отзвук. Он хочет отклика. (Ны-ны-н-ны...) Стон разрастается,

заполняет его уши, но боли нет и жданного умиления тоже нет. И более того, проскальзывает мысль, что вовсе не по прошлому дерево стонет, оно стонет — зазывая! Когда *они* спустились сюда посмотреть, не пересыхает ли вода, праива этой ивы точно так же скрипела и стонала, еще и прибавив, пожалуй, в надрыве, едва увидела их. Природа зазывает, как зазывает женское начало вообще, — ей хочется совместности с человеком, к нему, к человеку, даже и тянет. А когда человек приходит, совместная жизнь начинается не совсем такая, а пожалуй, и совсем не такая, какая рисовалась иве в момент притяжения: стычки и ссоры, обиды, а также разрушение и иссякание женского начала природы вплоть до бесплодия. В жизни как в жизни. Однако же и отягченная полуплачевным знанием, вновь стонет неразумная ива, зазывая своей милотой, заманивая человека, чтобы попробовать еще; может, и в последний зазывает, чтобы выкорчевал, вспахал, выел, разрушил, вот только не понимает, бедная, что сейчас к ней пришел в определенном смысле даже и не человек, *загробник*.

Два первых года в брошенной деревне, а точнее над деревней, кричат птицы. Год и еще год кричат они по весне (и тоже со стонами и жалобами) над бывшей пашней и над бывшими огородами, где после вспашки должны быть черви, их пища: птицы прилетели привычно, просто, по-домашнему, а еды и прокорма нет. Птицы кричат, долго кричат. А потом они смолкают и перебираются к жилью, нет-нет и взлетая, вспархивая с места на место, где уже обнаружились мураши, пауки, тараканы — вся суетливая мелкота выползает из щелей в первую же брошенную весну, как только солнце пригреет. Выползшие, они ищут человечье тепло. Целый год жили в вымершей деревне сопровождающие человека насекомые, самая мелкая его свита, но теперь птицы их уничтожают. Во второй год и во вторую весну птицы прилетают и вновь кричат над пашней и огородами, но недолго. Припомнив, они перелетают к останкам домов, и хлевов, и погребов, и сараюшек, рассаживаются и устраиваются, и только теперь, не обнаружив даже и насекомых, ими же пожранных прошлой весной или же вымороженных за зиму, птицы поднимают необыкновенный страдальческий крик. Они чувствуют, что больше здесь не живут и жить не будут и что прилетать сюда более нужды нет. Они кричат в последний раз. Они дол-

го кричат. Они кричат над брошенным жильем, и кто слышал, подтвердит, как болезненны крики по второй их весне.

Он перешел по камням Марченовку, взошел на гору и пересек ее у самого гребня, чтобы там встать и глянуть еще раз — теперь сверху. Оттуда он увидел на плоской горе заметный, размашистый (размахнувшийся) на склоне четырехугольник, почти прямоугольник — кладбище. Там была мята, был терновник. Кресты отсюда не различались. Год от года темно-зеленый прямоугольник, оставшийся без ухода, терял свою правильность и форму; сначала мята, а с ней и терновый куст шаг за шагом расползлись вширь, зато как уступка внутри прямоугольника наметилась белесая лысина. Еще через несколько лет лысина сильно увеличится, углы сгладятся, а края расползутся еще дальше. Тогда прямоугольник кладбища, уже сильно искаженный, передвигающийся как целое путем семян и отпрысков, превратится в неправильное кольцо, а уж затем лысина изнутри, лысина светлой полыни и белого степного ковыля, разорвет это кольцо вовсе. Останутся только отдельные зеленые лоскуты мяты, останутся разрозненные терновые кусты — форма исчезнет, расползется, и уже ничто не будет говорить, что тут лежат или лежали люди.

Кладбище он решил оставить напоследок. Вдоль Берлюзяка, где еще сохранились остатки козьей тропы, он вышел к тому месту, где когда-то речку пересекала дорога; она и сейчас пересекала, она не заросла. Плоская гора с темно-зеленым прямоугольником кладбища теперь виднелась на фоне неба, что сразу напомнило, как несли туда, на кладбище, старика Короля, — шествие долгое, мужчины несли гроб, за ними россыпью брели старухи, поодаль шла детвора, и он, мальчик, на этом вот месте стоял разинув рот, а отпевать приезжал поп из Ново-Покровки, где церковь. Связанное с горой воспоминание сделалось чрезмерным, а потому даже и с радостью захлестнулось другой картиной, картинкой. На том месте, где дорога пересекает речушку, до воды несколько не дойдя, был вытоптанный пятачок, этакий флюс, дорога расширялась, быть может, для разъезда встречных, а он и брат шли рядом. «Эй!..» — раздался крик сзади, они оглянулись и посторонились. Телега, запряженная парой, шла резво под гору — возница взмахнул кнутом,

еще и набирая скорость, чтобы после речки взлететь как на крыльях. «Эй!» Он и брат посторонились именно тут, сошли на этот пятачок, расширение дороги (повторяя, он сделал шаг, и еще полшага, и еще, пока не стал, точно совпав с прошлым); телега прогрохотала, после чего поднялось облако пыли, клубящейся белой пыли, а он и брат, щуря глаза, стояли в этом облаке. Солнце пекло. Лошади и телега уж были на той стороне речушки, уже там скрипели колеса и цокали копыта, а они все стояли, и белая пыль стояла рядом, не рассасываясь. Ему было шесть лет, а брату пять. Может быть, пять и четыре. Два мальчика все еще стояли, и белая пыль стояла не оседая. Уже сорок лет стоит здесь эта пыль и стоят эти два щурящихся мальчика.

Он жил здесь дошкольником, а после не был здесь даже наездами. Он жил лето-второе, после чего мальчика увезли, и можно считать, что на много лет он забыл, не помнил и что приехал лишь тогда, когда приезжать — некуда. Так сложилось. Но, пожалуй, эта сторона приезда (оборотная) ему и нравилась: он навещал теперь свое детство в *чистом виде.* Он мог теперь достроить и населить эту пустоту (при полностью сохранившейся географии) тем именно, что здесь было, никаких новшеств — а ведь новшества, проживи деревня еще, вполне могли быть. Новшества пришлось бы соотносить, сравнивать, что непросто. На завалинке, если бы деревня существовала, мог бы сидеть дед, чужой, чей-то скоро состарившийся, одетый в выношенный, но городской и вполне современный свитер от внука (и свитер пришлось бы со старика мысленно сдирать, протискиваясь в то, в свое время: чтобы без наслоений). В какой-то деревне он даже и бабку видел, сидевшую с семечками на завалинке в юбке и в старых джинсах.

Продвигаясь, он поднялся по дороге к дому — правильнее к остаткам дома, но для него сейчас это дом в том смысле, что из дома и посейчас сохранились проложенные маршруты:

можно выйти по дороге направо,

можно выйти по дороге налево,

можно сойти с заднего крыльца и через огород — в каждом маршруте есть (или отыщется) своя сладость: по дороге направо — это, конечно, флюс, пядь с вечным облаком пыли и с двумя мальчиками, а если огородом

вглубь, то там живет выродившаяся и одичавшая, но все еще *та* смородина, можно сорвать несколько ягод и пожевать, отыскивая во вкусе — вкус. Включая и смородину, все — его собственность, ничья больше. Дети играют в игры взрослых, а взрослый в игры детей. Даже и больше: он не играет, он всерьез; он не вспоминает, он *живет,* хотя и не своей уже жизнью.

Загробник, слетевшая сюда душа, в представлении веровавших, вероятно, вот так же способен лететь над землей и говорить, напоминая себя словами, — здесь-де мое тело пошло в школу; здесь я жил; здесь аз, грешный, впервые совокупился с женщиной, а здесь большая и замечательная больница, в которой тело мое умирало. Он, приехавший, еще и счастливее в чем-то обычного прилетевшего загробника, так как место не занято: нет новостроек, и видит он все как есть, и не мешают ныне живущие и все куда-то спешащие люди.

У прадедова дома он присаживается на — как это сказать? — на остаточный фундамент, так как дом снесен. Дома снесены, но каменные их фундаменты частично, сантиметров на тридцать-сорок (удобно ли сидеть, милый?), торчат из земли. Если бы не запустение, было бы похоже на начало, а не на конец. На общий верхний взгляд, здесь все двадцать пять — двадцать восемь домов как бы только начали строить: деревенька небольшая, и все двадцать пять фундаментов частично заложены, сделаны, а деревянные срубы вроде как не привезли, может быть, еще и не срубили и потому не поставили на каменные эти кладки. Он поискал в небе птицу — птицы нет, ни единой, небо светлое, и с высоты птичьего полета (оттолкнувшись от парящей точки) все двадцать пять фундаментов домов сейчас как план, как *вид сверху:* можно видеть дом, и внутри дома печь (тоже высотой в сорок сантиметров), и возле хаты хлев, и поодаль погреб — все в наличии. Когда понадобился стройматериал, разобрав, догнивающую деревеньку срезали донизу, до оставшейся высоты в тридцать-сорок сантиметров, но если убрали и унесли верхнюю часть, то в двухмерном измерении деревенька еще существует. Утрачены птицы, нет высоты, и небо бездонное: полное торжество плоскости.

Он прошел мимо погреба — тот давно обвалился, а был глубок, продукты хранились и зимой и летом, *погребение.* Теперь же яма осыпалась, и, если ночью (ему надо в ночь уехать) он в нее упадет, беды не

будет. Он вновь садится на остатки прадедовых стен, теперь уже не чтобы сопричаститься, касаясь, а чтобы поесть. Глотнув из бутылки, он вынимает из портфеля еду. Он жует и сидит вполоборота таким образом, чтобы глядеть вдоль по улице, по единственной улице, что шла, белая и пыльная, вытягивая в нитку дома. На той стороне была кузня и два длинных амбара из совсем уж хорошего камня: там не осталось ни сорока, ни десяти сантиметров, камень увезли, даже из земли вынули, оставив неглубокие рвы, уже и заросшие бурьяном. Бурьян всюду. Местами бурьян в человеческий рост, с ним конкурирует только вечный покой да еще полынь, выскочившая там и тут рослыми метелками.

На кладке, камень которой прогрет и тепл, он сидит, ест крутые яйца, а также большие мясистые местные помидоры, присаливая из спичечного коробка и запивая горьким. Он насыщается, ноги после ходьбы отдыхают, а мысли приобретают оттенок сытый и, может быть, масштабно-сытый, как и положено, впрочем, загробнику, мысли которого уже и изначально неостры. Ему все равно. И ему легко понятно, что *они,* трое или четверо, кто намечал в давний свой век построить, зачать здесь деревеньку, — они были *уходящими;* чтобы прийти сюда, они откуда-то ушли, так что в их время кто-то тоже скорбел по насиженному месту и на них же ворчал: куда, мол, претесь — сидели бы где сидели (и вечно, мол, что-то выдумывают!). Всегда ворчали и всегда уходили, противопоставления нет, даже и глупости по пути всегда делали. И почему бы, примиряясь (и примиряя), не помыслить, что природа отдыхает от человека, что сейчас она, земля, только и вздохнула, когда дома снесли: в других местах пашут и роют колодцы, а даже и вбивают сваи, взрывают, вгрызаются в глину, в щебень, зато уж здесь полынь, да бурьян, да забвенье... пусть хоть здесь земля отдохнет.

Он медленно идет вдоль деревни: здесь Короли... здесь Грушковы... там Ярыгины... там Трубниковы... — все родня; свернув с дороги и напрямую шагнув через другую сорокасантиметровую стену, он оказался как бы в гостях прадядьки (тоже прадед — двоюродный дед матери), загробник может и в гости ходить — проходи, проходи, там ноги вытри, — сейчас он в горнице. Перегородки внутри дома ставились, конечно, деревянные и

следа не сохранили. Но он угадывает ход из горницы и *правильно* идет в ту дверь, в детскую. Он может повидать троюродного брата Сережу и увидеть еще раз, как умирает мальчик шести лет. Сережу тоже привезли сюда на лето, чтобы отдышался, отпился деревенским молоком, но молоко запоздало, и от воспаляющихся легких через месяц он умер. Вот на этой кровати. Кровать стоит не в воображении — въявь. Городскую эту кровать с панцирной сеткой мать и отец Сережи привезли с Сережей вместе, считая, что мальчику неудобно на лавке и маловато воздуха на печи. Сейчас, когда деревянное сгнило, кровать осталась единственной кроватью в деревне. Тут она и стоит, где стояла, погружаясь с каждым годом все больше в землю, в которой давно, уж сорок лет, лежит ее мальчик. Панцирная сетка уже только на ладонь над землей, скоро она совсем уйдет в землю: утопает. Он потрогал ладонью; поржавев и заветрившись, железо сходило со спинки кровати, даже и кольцами, как шкура змеи. Через два-три года останутся торчать только спинка, сетка утонет, засыплется прахом, и меж спинками кровати будет земля.

Зимой Берлюзяк промерзает до дна, а снег заносит и сорокасантиметровые остатки фундаментов, и огороды с сохранившимися еще межами, и остатки колодцев и погребов, и кроватку с панцирной сеткой. Возникает предел воплощенности: снега так много, что нет и мысли о былом присутствии — человека здесь и не было, какой отдых земле, какое счастье. Поле и несколько деревьев. Когда ивы, белые, станут в снегу, вьюга будет спускаться на них лавой, мчать по огородам вниз, знать не зная, что здесь огороды, слетая с плоской горы на простор и свирепея в полной своей воле. До самой весны.

Летом на той стороне речки он и Сережа видели — вон там — цыганку, бог знает как сюда попавшую. Цыганка не подошла к деревне. Она к людям не хотела, или же она хотела быть близко от жилья и от людей лишь на случай беды. Она подошла к речушке, села там и начала рожать. Едва отдышавшийся (даже и летом тепло одетый) Сережа пояснил: «Сейчас младенец будет», после чего они все, человек пять детворы, терпеливо ждали, не уходя и смотря в оба. Цыганка рукой на них не махнула, не прикрикнула. Она подошла к речушке и спокойненько села, постелив под собой чистую тряпку. Юбка закрывала все, вплоть до ступней ног,

никакой постыдности или наготы. Лицо ее было красное, но не багровое. Особых мук не было. Она, кажется, ни разу не вскрикнула. Наконец на тряпку выпал, даже и со стуком вывалился с силой выброшенный комочек плоти. Ребенок, будто бы и он не хотел голосом выдать мамочку, не пискнул, такая выучка. Цыганка, повозившись, села на траву. Она вынула папироску из торбочки и закурила. Покурив, занялась ребенком: он теперь попискивал. Она запеленала его в тряпку. Встала. И пошла. Тут только она глянула на детвору, что поодаль, и, он хорошо это помнит, подмигнула им с некоторой даже веселостью: мол, бывает в жизни. Нет, она еще выпила воды после курения, попила из речки, после чего ушла с ребенком в сторону железной дороги, откуда и пришла, так и не захотев подойти к ближайшей избе. Торопилась к поезду... Подумав о поезде, приезжий человек — лет ему за сорок, а имя не важно — немедленно взглянул на небо: так и есть, пока он отсюда доберется до города и до гостиницы, будет темно (на кладбище не побывал; значит — завтра).

Допив бутылку, он выбрасывает ее в бурьян, а другую ставит в прохладе, в углу разрушенной прадедовой стены, чтобы приехать и выпить ее здесь завтра (не отвозить же ее в гостиницу). Завтра последний день, и он прикидывает, кого бы надо еще навестить в этом небольшом и родном городке. Кого навестить и как успеть, вместив в одни сутки ту или иную встречу с еще одной поездкой сюда, с посещением кладбища (есть некая уже связанность с оставленной здесь на завтра бутылкой)... Нет, всех не объять: кого-то он навестит, а кого-то *обидит;* в конце концов, как и у всякого приезжего, у него нет времени и есть право не застать дома. Он чертыхался, отметив, что и на сто метров не ушел, а в голове уже суета и подсчет. Он вдруг видит, что стоит на дороге, на заросшей травой дороге.

Ладно, говорит он себе, смиряясь, кого успею, того и навещу. В сорок человеку уже надоедает возиться с собой и там и тут себя подправлять, оттого-то однажды человек говорит себе и своей совести (и кому-то еще в стороне, третьему): ладно, мол, какой есть. Таким и проживу.

Валентина шьет в ателье (мужа у нее убило серьгой строительного крана, сын — в армии, дочь — в восьмом уже классе). В гостиницу к нему Валентина прий-

ти постеснялась, так как портниху ателье слишком многие в городишке знают в лицо.

— А хочешь, на развалины твоей деревни я тоже поеду?

— М-м.

— С удовольствием поеду. И день там проведем?.. Верно?.. Все-таки друзья детства!

Друзьями детства они не были — правда, что жили близко, но даже и в школу ходили в разные классы, и потому в его детстве ничего она не значила: была девочка Валя, вот и все. Теперь же эта сорокалетняя с лишним тетка, крепкая, красивая, возникшая в самом начале процесса родственных посещений, никак не хотела с ним расставаться. Они всюду были вдвоем. Он и сам, если б не ехать на деревенские останки, прилепился бы к ней намертво: он и она говорили друг другу много и с чувством особым, неподдельным, ибо никого других *из детства* здесь уже не осталось. В квартире у Валентины они хорошо, но мало посидели: пришла дочь-восьмиклассница и их чувства спугнула. Вставая из-за стола, он как бы по инерции предложил — если, мол, хочешь, заглянем ко мне в гостиницу. Заглянем, а там, мол, продолжим воспоминания. «Нет. Мне в гостиницу нельзя — ты что?!» — и Валентина хмыкала, раскрасневшаяся: ладно, мол, чего-нибудь придумаем. И придумала: поехать с ним вместе.

И уже тогда его начал сосать изнутри червячок.

До поезда два с половиной часа (в бывшую деревню, как и вчера, надо ехать местным поездом). Купив билеты, он и Валентина убивают эти два с половиной, сидя у реки. Жарко. Томительно. Веткой на песке он рисует какие-то линии, каракули, а червячок изнутри сосет его все сильнее: и как это он, дурной, согласился поехать вместе? Не юному, ему уже совершенно ясно, зачем они туда едут, и много раз в своей жизни случаю и совпадениям благодарный, на этот раз он злится. К тому же жара. Раздражение нарастает: да что ж это такое? что за бесконечный командировочный сюжет с женщиной и что за удивительное постоянство концовок? (Уж будто и нельзя без *этого.*) Спору нет, Валентина симпатична, мила, а также встреча с детством, и воспоминания, и все такое, тут уж ничего не скажешь. Но ведь на то есть гостиница, есть штопор, и бутылка с вином, и *горячее в номер,* городу, так сказать,

городское, а зачем туда-то Валентину везти? Нет-нет, только не *там.*

Он сидит на обломках кирпичей и обдумывает, как избавиться от подруги детства. Каракули на песке, которые он чертит, делаются все более ветвистыми и изощренными. Он обдумывает: время есть.

Валентина рядом. Она смотрит на течение Урала, на машины, движущиеся по мосту.

— Ты рад, что мы едем вместе?

— Да. (Говорит он живой, в то время как он загробник продолжает обдумывать.)

— А ты знаешь, что здесь возле моста был подземный ход — под рекой проходил?

— Знаю. (Он чертит.)

— Какой-то сумасшедший прорыл. Тебе тоже в детстве рассказывали?

— Да.

Солнце припекает. Щурясь, он переводит взгляд, и перед глазами крупным планом оказываются ее сильные колени, прикрытые ситцевым платьем: ноги крупные, атласная кожа в полевом загаре — Валентина крепко сбита, в соку, и он сглатывает ком своего скорого отступничества и отказа. Отводит глаза. Он уже твердо решил отвертеться от Валентины (от поездки с ней) и теперь ищет слова и повод, пусть даже не без легкой ссоры, которую после он как-нибудь загладит письмом издалека, красивой открыткой.

— Здесь еще и часовня стояла, — с охотой подхватывает теперь он нет-нет и провисающий разговор (ссора должна возникнуть сама собой). — Там этот псих купчик был изображен взлетающим на небо. Ангелы его подхватывали под руки и уносили — помнишь?

— Все уже порушилось.

— А место помнишь, где часовня стояла?

— Как не помнить — мы на ней сидим.

— Да ну! — Он чуть ли не вскочил. Встал.

(И тут только слово, вокруг которого в мыслях он так долго топтался, из-за которого и ехать не хотел с Валентиной *туда,* нашлось: кощунство. И червячок точил.) Он отходит в сторону, чтобы оглянуться. Так и есть: обломки старым способом жженного кирпича валяются небольшой неузнаваемой горкой. Почти сровнялись с землей. На них уже удобно сидеть. И бурьян, конечно.

— М-да, — он высказывает глубокую мысль. — Время — это время.

— Она рухнула в ледоход. Весна подогрела...

— Я не знал.

— Говорят, от грохота. Когда лед трескался, здесь, у моста, как стрельнет, она и распалась. Мой сосед вон там стоял, на автобусной остановке, и сам видел: она распалась по кирпичику.

Теперь на этих кирпичиках сидит Валентина, обхватившая руками круглые крепкие коленки.

Валентина встает и вдруг бежит к нему, чтобы (от радости, что ли?) броситься ему на шею. Вдруг кинулась. Он даже и напрягает ноги, чтобы принять по-мужски ее разбег и вес; но с несколько неожиданным криком: «Коля! Коля!.. — мимо и в шаге от него она проскакивает, бросаясь к мужчине, только что сошедшему с моста. Тут же и выясняется, что это некто Коля Кукин, друг Валентины, вдовец, человек хороший и близко живущий.

— А пойдем, люди! А пойдем погуляем, люди! — зовет их Коля Кукин, добродушно и сильно встряхивая огромной авоськой, в которой гремит все, что положено, и бутылки тоже.

Коля как бы зовет к себе их всех, но ведь не всех; и тут бы ему, человеку приезжему, и оставить ее с Колей вдвоем, а самому поехать на останки деревни. Но выясняется, что Валентина против. Валентина непременно хочет, чтобы они гуляли все втроем, но если у нее с Колей Кукиным не просто так, зачем же еще и он? Зачем третий? Прихоть или она деликатничает?.. Он вновь и решительно отказывается идти к Кукину в гости, но Валентина как вцепилась: к чертям руины, ты вчера уж был там — ну и хватит! пошли, пошли погуляем к Коле!.. И ведь сдали билеты — и ведь пошли.

Двое мужчин немногим за сорок и женщина тех же лет, они сели за стол и пьют степенно, без суеты, — у вдовца Коли свои полдома, свои угодья и своя тишина, и Коля все подливает и подливает: ну, мол, кто кого. Полагаясь на выпивку, Коля больше помалкивает. Он хочет честно перепить: пусть москвичок свинтится и пусть Валя сама из двух выберет. Москвичок становится говорлив, он и Валя уже который раз перебирают былое. Юрка уехал, Ваня давно уехал, а Геля? Такая отличница, такая избалованная, вышла замуж в совхоз и там коров доит — кто бы мог подумать! (Помнишь, как мать с отцом ее одевали!..) Разговор беспорядочен, но все

более доверителен, и приходит момент, когда ступени опьянения даются легко, когда застолье длится, выпивки впереди гора и москвичок (а помнишь, Гелькин отец помидоры сажал?) уже с облегчением чувствует, что ехать никуда не надо и что они будут вот так сидеть и пить год за годом, пока дом Коли Кукина не рухнет и не рассыплется, как та часовенка.

Но тут против логики он подымается со стула и говорит:

— Надо позвонить в Москву — смотаюсь в гостиницу.

Его отговаривают: «Ты же не хотел звонить», — «Ну да. Но ведь все равно... Я смотаюсь в гостиницу и сейчас же приду». — «Ты точно придешь?» — это уже спрашивает Коля Кукин, по-мужски спрашивает, и он отвечает: «Приду...» — по-мужски же при этом Коле мигнув и быстрым своим шагом как бы поторопив судьбу. Идти ему под гору — он очень легко идет. (Когда на эту горку они взбирались, Коля Кукин шел впереди, они сзади, и платье Валентины плескалось по ветру, как знамя). Он вдруг радуется, что не оставил у них, не забыл портфель. Он идет к станции, где успевает взять билет и садится в тот самый местный поезд, кажется припоздавший; он успевает еще и сообразить, что у Коли он набрался и что никак нельзя проспать маленькую ту станцию, от которой ему идти пешком. Хмельной, он засыпает и просит сидящего напротив мальчишку толкнуть его ногой на станции такой-то.

С поезда он идет сильно спеша — скоро начнет темнеть, и ладно, если он не все посмотрит, но хорош же он будет в темноте на кладбище, где не отличишь креста от креста. Ему не по душе, что он так спешит и гонит, но успокаивает вдруг пришедшая широкая мысль, что в крайнем случае он здесь же и заночует: лето!.. Он выбрал шагами поле, за полем правее пересек сухой лог с чахлыми деревцами: путь неблизкий. Еще он пересекает небольшое поле рослой травы, но вот уже и пригорок, с которого видно, что направо гора с гребешком, а налево — пологая с кладбищем. Успел. Засветло. Отмахавший столько-то километров, он стоит весь мокрый, и, поскольку вид уже вид, он может позволить себе быть неспешным, идти ровно, а вид — вбирать.

Он идет левее и пересекает Марченовку, после чего

взбирается на пологую гору с распадающимся уже и теряющим форму темно-зеленым прямоугольником: вот оно. Или лучше и правильнее: вот *они.* Потому что они, кто выбирал место для деревеньки, тоже лежат здесь, хотя их-то крестов уже много-много лет нет и в помине. Крестов вообще мало. Это можно ощутить: есть тишина деревни, и есть тишина вымершей деревни, и есть — тишина кладбища вымершей деревни.

Час или полтора света у него в запасе — негусто, и потому он смотрит то, что можно увидеть, и читает, что можно читать. Видит он штук пять крестов, наклоненных так, что вот-вот упадут, и остальные штук пятнадцать, которые уже упали — кто на восток головой, кто на запад. Фамилии те же: Трубниковы... Ярыгины... Грушковы... их бы и не разобрать, если не знать; но он знает и читает легко, видит, где фамилии недостает трех букв, где пяти, а где и вовсе вместо слова остался один-единственный слог. Дерево изъедено; сплошная труха от дождей, ветра и червя. Особенно не повезло Королям — они были в середине кладбища, где терновник уже напрочь вытеснен лысиной ковыля и степной полыни, где кресты распались и легли под ветром как изъеденные палки: одна большая и две малых рядом. Запустение у них полнейшее. Толщина изъеденных, распавшихся крестов щемяще мала, жалка, и только кой-где болтающаяся на полке жестяная табличка с двумя-тремя сохранившимися буквами говорит знающему, что здесь лежат *Короли.*

Граница меж Королями и Грушковыми условная — опять же только знающий знает. Впрочем, оградок и отделенности здесь никогда не было, все лежат вместе, если же и есть какая-то отобранность фамильной тесноты, то лишь по той, и естественной, причине, что муж хотел лежать поближе к жене, а сама она ближе к детям, а маленького Сережу, привезенного из города и здесь умершего, совестно было приткнуть с краю, почему и положили меж дедом и его старухой... Обломив терновник, приезжий человек меланхолично грыз его тонкую веточку. Остаточный хмель действовал, но не сбивал: приезжий брел, пересекая лысину ковыля и затем возвращаясь вновь к темной зелени, он брел и так, и этак, и наугад, и по давней памяти, однако же не заходя на одно-единственное место — в верхний левый угол кладбища. Умудряясь удерживать в голове сложную вязь своих случайных шагов, угол он обходил. Там его прямые пред-

ки. Туда он подойдет позже; и если стемнеет, он и в темноте увидит, что надо увидеть.

Пока же он смотрит их *всех* — и как же далеко уходит и тянется цепь имен, и как недалеко конкретная память: редкий человек сможет указать могилу своего прадеда, даже и деда не всякий укажет. У горных народов каменные склепы указывают иногда столь далекого предка, что разводи руками, горцы могут похвастать — равнинники никогда; и стало быть, ему, равниннику, еще и очень повезло, если он знает и имеет хоть это средоточие, пусть безымянное, — для него *это* мертво и не живет, но еще длится, чтобы в детях уже утратиться.

Он переходит наконец к своим, в верхний угол кладбищенского тернового прямоугольника, где кресты тоже, конечно, вповалку и где самое раннее из спаренных чисел (он поискал его) случайно оказывается датой отмены крепостного права: 1861 — ..; кто это был и когда умер — стерто и неизвестно, известно, когда родился. И то немало. Из прямых родичей находится и такой, кто имеет только последнюю свою дату, дату смерти:

...—1942

— впрочем, он сумел сохранить имя: Глеб. А логика все чего-то хотела, все чего-то искала—и нашла. Был здесь совсем уж удивительный павший крест, не крест, а то, что осталось: три чурочки, которые, тлея, так и лежали рядом. Ни имени. Ни дат. На жестяном листочке сохранилось нестертым только длящееся тире, выглядело так:

...—...

— и больше ничего; сама вечность.

Солнце садится; напоследок ало, даже и страстно красный луч шарит по горе с гребешком. Кладбище залито розовостью, и приезжий понимает, что сейчас станет темно, — здесь темнеет стремительно, в минуту. Он спохватывается. Вскакивает на ноги (и испуг и упрек: ему ведь долгонько идти к поезду), вскакивает, но тут же и садится, цепляясь за мысль: когда еще он увидит закат здесь и ночь здесь — да никогда!.. Кстати вспоминается, что есть же бутылка вчерашняя, которую он уже прихватил в развалинах и которая скрасит ему ночлег: не замерзнет. Откупорив бутылку, он делает два-три обжигающих глотка. Закуривает. И когда он докуривает, на самых последних затяжках, солнца уже — нет.

Он еще выпивает, а вот и удар хмеля сотрясает его изнутри: волна прокатывается до самых пальцев ног, отражается и мчит вверх, вот она снова здесь — у серд-

ца. Темно. Ночь. Звезды зажглись — именно это, ночь и звезды, *они* тоже видели. Тут уж нет сомнений, это не менялось. И он может смело сказать, что вот сейчас в ночной темноте он по ощущению полностью *с ними* совпадает: все же нашел. Он полулежит: земля теплая. И тут новый удар сотрясает его: хмель пересилил, хотя и контролируем. Он переждал, но за ударом последовал новый удар, — вслушиваясь в себя, как бы чего не выкинуть (и здесь с оглядкой), приезжий человек перетирает в руках пахучий кустик полыни. Потом вдруг встает и кричит в ночь: «Э-э-эй!» — безадресно кричит, а когда в мертвой тишине голос его стихает, он валится на землю, вжав лицо в мяту, обернувшись то ли к земле, то ли к кладбищу, то ли еще к кому, пока мысль, не осиленная хмелем, не подсказывает ему, что и тут ему не удалось избежать некоего повторения, что все это обыденность и заигрывание с вечностью. И не ворваться в туннель. Но тогда-то, понявший, он еще сильнее и пронзительнее вглядывается куда-то в ночь, в темноту, в пространство, и глаза у него саднит от вдруг выкатывающихся слез: как же, мол, надо погрузить в суету и стиснуть нас, бедных, если приехавший сорокалетний с лишним мужик устраивает на останках такое, еще хорошо, что у него нашлось и есть это, а как, если у человека и этого нет? Где сейчас те, другие, *где* они вжимают лицо в мяту?

На небо выкатился Орион — и все недвижно; и стало просторно торжественное небо, в котором нет, кажется, места ни людям, ни их поступкам. Но приезжему не легче: очищения нет. Он сидит вдруг трезвый, ясный. Он долго сидит. Смолкший, он думает о том, что приезжать да и приходить сюда было не нужно. Отзвука нет.

Не забыв портфель, он начинает спускаться вниз, в темноте он идет довольно быстро. Прохлада дает ему знать, куда идти: от речушки доносится сырость. Вот и звуки. Бежит речушка по камням. Тыщу лет бежит. Но длительность времени уже не занимает приезжего человека. Он протискивается меж ивами, переходит на ту сторону и видит в звездной тьме — удивительно! — отчетливо видит во тьме старую дорогу. Он сильно прибавляет ходу, потому что еще можно успеть к поезду.

1987

ОДИН И ОДНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Инженер Константин Даев совершенно случайно оказался в гаме и толчее большого вечера; происходило вроде бы нечто общественное — он не знал что. Веселились в огромном и размалеванном подвале жилого дома. Стоял ряд столиков. Но было не вполне ясно, почему веселый и разношерстный народец столь самозабвенно танцует среди скульптур и скульптурных групп (там и тут над танцующими парами возвышалась грандиозная голая женщина из гипса, то с корзиной цветов, то с веслом). Впрочем, люди — это люди, танцуют везде.

Молодая женщина внятно ответила ему:

— Нет.

Но ни слово, ни кислое выражение ее красивого лица его не смутили. Константину Даеву было уже тридцать пять лет, и он крепко стоял на земле. Суть изначальных отношений нехитра: надо только не уходить в сторону. Грубоватый и хорошо зарабатывающий старший инженер Даев не спешил. Да, он груб, но не пошл. Сейчас он ждал свою минуту и, предвкушая, уже отдыхал душой, тем более что увидел приближающуюся к молодой женщине ее подругу: не так красива, но тоже мила.

— Подруги? — спросил он, вбирая ее чуть потеплевшие глаза.

— Да...

— Но если подруги и меж собой ладите, неужели не выпьете шампанского? Вот так внезапно и с совершенно незнакомым молодым человеком? — лукаво, как ему казалось, спросил Даев. (При этом он хохотнул, и они вновь ответили: нет, не выпьем, но ответили уже проще и не столь категорично. Следовало, стало быть, еще выждать.)

Он пошел потолкаться среди народа. На столиках вино — это понятно, но нет ли где винной раздачи? Нет ли где-то укромного винного погребка, откуда и про-

истекает живительный ручей? — он миновал полуподвальную комнату, завешанную рисунками и белогипсовыми масками, затем другую комнату, уже без рисунков, затем третью, и четвертую, и пятую — подвал есть подвал, и комнаты могли тянуться бесконечно, но вот Даев приметил приземистый, широченный холодильник и рядом переминавшегося с ноги на ногу парня. Над ними (над холодильником и над парнем) возвышалась опять же скульптурная группа. Три гипсовые нагие женщины — богини? — стояли обнявшись, и каждая правой, свободной от объятия рукой выразительно показывала вниз: как на источник. Если дармовое вино вообще имелось, то оно где-то здесь. «Дай-ка пару бутылок!» — сказал парню Константин Даев, не отрывая глаз от богинь. Парень поколебался. Он окинул взглядом Даева без тени доброжелательности, придирчиво, если не сурово, но затем дал — лениво открыл холодильник и дал именно две бутылки.

Взяв вино, Даев возвращался к красавице — упускать ее надолго из виду не следовало. Женщины уже потанцевали и теперь просто стояли среди танцующих. Разливался вальс. Даев стоял рядом, зажимая две бутылки под мышками. Мелькнула мысль, что не загляни он случайно в этот шумный подвал, он шел бы по городу в самый снегопад, когда снег на крышах и на карнизах, снег на шапках прохожих. Башни из бетона, фонари, махонькие старинные церкви — всё в снегу.

— Ну что, милые женщины, хорошо жить, когда тепло? — Константин Даев улыбнулся. И словно бы прочитавшие его мысли про снег и про холод, они тоже наконец улыбнулись.

Он спросил их имена — они сказали.

Геннадий Павлович Голощеков также пришел незваным и почти случайно, однако он знал, куда пришел. Он неторопливо возвращался с работы, когда по правой стороне улицы на заснеженной стене дома разглядел несколько странное объявление, размалеванный плакат, оповещавший, что скульптор Н. (тот ли самый?) здесь, в подвале этого дома, «празднует премию и приглашает весь белый свет» — так вот было написано, броско и с вызовом, что напомнило вдруг Геннадию Павловичу времена молодости. (В те времена скульптор Н. был просто студентом Колькой, который громко шмыгал но-

сом, воевал с преподавателями, а всем окружающим и вообще «всему белому свету» норовил сказать *нет!* — с Геннадием Павловичем они друзьями не были, однако общались. И однажды попали вместе в какую-то боевитую историю.) Сердце так откровенно зачастило, что Геннадий Павлович понял, что взволнован, досчитал до полста и только затем — уже неспешно шагая по заснеженной улице — решил, что можно будет, пожалуй, полюбопытствовать. Он, пожалуй, придет: он скромно придет, когда вечер будет в разгаре, дома же он предварительно поест, выпьет чаю и отдохнет часполтора, и *можно даже не спешить.* Так попал он на необычную вечеринку, где хотелось взглянуть на людей своей молодости и где, увы, ничего ожидаемого он не увидел.

Народ оказался смешанный и заметно грубоватый, не их народ, Геннадий Павлович уже жалел, что пришел. Как он услышал из разговоров вокруг, Н. получил не только какие-то крупные деньги, но и наконец-то премию или даже сразу две премии, отчего и был в эйфории уже несколько кряду дней. Было шумно. Захмелевший, вероятно, еще с утра, Н. сидел от происходящего как бы в сторонке, в еле освещенном углу и всем подряд победоносно оттуда улыбался. Говорить он, кажется, не мог. Происходящим торжеством заправлял сегодня его брат, однако брат был значительно моложе скульптора, и потому публика, которую он зазвал и собрал, вполне соответствовала: мальчишки; двадцать пять — тридцать лет; слишком шумно играла их музыка, слишком танцевали; впрочем, был теплый приятный полумрак, и горели фонарики там и тут над застольем.

К пьяненькому и счастливому Н. Геннадий Павлович подойти не решался — тот мог не узнать, не вспомнить. Пожалуй бы, он вспомнил, но, конечно, удивился бы, и даже бы шумно удивился, и даже бы, возможно, вскричал, сколько, мол, прошло лет и зим и где же Геннадий Павлович, то бишь Генка Голощеков, был все эти годы? Как где — *здесь же и был!..* Именно от неизбежности вопросов Геннадий Павлович в последнюю минуту заколебался, идти ли сюда, и пришел заранее уж смущенный, притом придерживая за горлышко купленную бутылку вина, *чтоб не с пустыми руками,* хотя спиртное здесь, разумеется, лилось рекой. «Меня, собственно, не Н. волнует. Скульптор как

скульптор. Кажется, он стал в искусстве обычным приспособленцем. Но он добр, это видно по лицу, это чувствуется, а я... я просто хочу посмотреть людей. Давно не видел», — объяснял Геннадий Павлович самому себе, все еще волнуясь и нет-нет поправляя на горле душивший галстук.

Мастерская была огромна: большое отапливаемое помещение располагалось под восемью жилыми квартирами первого этажа. Люди званые и по большей части незваные (то есть те, кого званые поприведи с собой), как ни много их было, разместились легко и свободно — комнаты отделялись лишь наполовину означенными переборками, так что, переходя из одного квартирного отсека в другой, в живописном пространстве подвала вполне можно было заблудиться. В лучших отсеках швы и трубы водоснабжения искусно декорировались, в прочих — колена труб были на виду, перед глазами меж двух рисунков (набросков) вдруг возникал кусок первозданного подвала, нагие бетонные плиты и крюки арматуры. Был и таз, в который мерно падали капли.

Геннадий Павлович, сросшийся с утонченным своим одиночеством, был теперь оглушен шумом людей и беспрестанным общим их движением: застолья по пять, восемь, десять человек были как бы разбросаны, рассредоточены и в то же время на глазах перемещались, перетекали одно в другое и были слишком живы в пространстве мертвенных бюстов и гипсовых выставленных скульптур. Возле скульптур, рассматривая их, Геннадий Павлович и простаивал. Как-никак в гостях. И как-никак искусство. И не просто же пить и есть зван всякий — не просто же так гипсовые торсы, возвышающиеся, сколько позволял подвал, подсвечивались снизу яркими лампами.

Конечно, приспособленность к вкусам публики была заметна как в групповых, так и в одиноких выставленных женских фигурах. Но напоминать о горячих спорах юности по истечении стольких лет не нужно, нельзя (можно лишь аккуратно). Предоставленный самому себе, Геннадий Павлович шел от скульптуры к скульптуре и, увы, не приближался, а как бы все больше отдалялся, отчуждался от Н. Та минута ушла. Подойти же во всякую минуту и броситься этак в объятия, шумно поздравить Геннадий Павлович не умел. А спустя время и брат скульптора, с которым Геннадий Павлович,

ища подхода, обменялся двумя-тремя словами и который хотел подвести к Н., оказался слишком занят людьми и распорядительской суетой. К тому же он (брат Н.) куда-то исчез. Так что вечер воспоминаний не удался, а отношения с человеком, еще не возникнув, свелись к нулю, наслаждайся, друг милый, шумным людским роем, повторял себе Геннадий Павлович, а люди вокруг и впрямь были шумны, пестры, веселы и сравнительно с Геннадием Павловичем потрясающе молоды. Полумрак, несильное освещение отчасти скрадывали возраст, но Геннадий Павлович и в полумраке хорошо знал про свои пятьдесят с лишним лет, потому-то втиснуться в застолье и даже просто спросить, заговорить о чем-либо ему было трудно среди этих шумливых тридцатипятилетних, *практичных, хватких, они нам испортили песню,* они орали, кричали друг другу «эй, ты!», ссорились и бродили, покидая свое застолье, или, напротив, кричали и сбивались вдруг в группу. Теперь там и здесь хрипел магнитофон: слушали бардов.

Чтобы ублажить гостей уже сверх всякой меры, Н., счастливый от свалившихся на него премий и денег, пригласил, как оказалось, на торжество своих натурщиц, хотя, возможно, решилось это проще и шло не столько от загула и щедрости Н., сколько от желания самих натурщиц: хотелось погулять. Так или иначе пятнадцать не то десять милых и очаровательных, с артистической меланхолией в лице (и невероятно сбитых, крепких в нижней половине тела) молодых женщин развлекались сами и заодно развлекали других возле выставки работ, то есть в самой нарядной и прибранной части пространства мастерской. Они охотно танцевали: смеясь, вдвоем-втроем пили шампанское, а то вдруг и сами подходили к гостям, так что можно было видеть с кем-либо танцующей эту статную молодую женщину и вдруг угадать, узнать неподалеку на небольшом постаменте ее голову, ее замечательное тело, застывшее в гипсе. Нагие тела были вполне скромно и изящно сработаны, можно было без стеснения восхищаться, разглядывать и даже шумно угадывать — кто есть кто.

Одна из них пригласила Геннадия Павловича, возможно, приметив его некоторую неприкаянность и повышенный интерес к скульптурным группам. Во время танца она же объяснила ему, почему люди, танцуя, поглядывают на ту или иную скульптуру. Он искренне удивился:

— А где вы?

Он так долго молчал, что слова у него вырвались; к тому же Геннадий Павлович смутился: не спросил ли он слишком поспешно или нечутко — но нет. Она очень спокойно ответила и еще более спокойно и, кажется, не без удовольствия показала глазами:

— Вон там...

Танцуя, они приблизились. И тут она извинилась, засмеявшись, и сказала, что ошиблась, — да, да, скульптуры переставили. Вероятно, вчера. И почти тут же сказала уже точно, определенно:

— Вот я... Руки подняла к голове — видите?

— Ах! — сказал с восхищением Геннадий Павлович, на что она опять удовлетворенно засмеялась. Вечер тем временем набирал обороты; всюду наново слаживались компании, люди танцевали, шумели, сталкивались в своих интересах и затем вновь сосредоточивались вокруг столиков и бутылок. После столь замечательного танца с молодой женщиной Геннадий Павлович вновь был один. Он уже остыл. Он почувствовал, что утомился, устал: толпа придавила. «Что ни говори, возраст за пятьдесят, — думал он. — Редко выхожу на люди, холостячество, конечно, тоже наложило печать, *что наше, то наше*».

Мельком он еще раз увидел пьяненького, счастливого премиями Н. и подумал, как развела судьба: он не завидовал Н., но, впрочем, и не жалел его, так сильно полинявшего. Каждому свое. В известной мере Геннадий Павлович был вполне горд долей, какую имел; и если вокруг него не было сейчас торжества и шумных на торжестве людей, то это так же входило в долю. Вокруг Н. не было ведь истинно дружеской компании, весь мир был ему компания, когда скульптор целовался с подходящими к нему справа, слева и не узнаваемыми им людьми; целовался, а слова сказать не мог. Теперь Н. и вовсе сидел один (был неподвижен, был и сам в огромной своей мастерской, как застывший в гипсе). С полузакрытыми глазами, он, по сути, уже давно отключился от происходящего веселья. Давно сидел в одиночестве. Кругом яростно плясали. Н. что-то, впрочем, шептал... разобрать было нельзя, но, подойдя ближе, можно было считать с его тихо шлепающих губ повторяемое шуршащее одно-единственное слово:

— Счастье... Счастье... Счастье... Счастье...

Скользя взглядом по возбужденным чужим лицам, Геннадий Павлович нет-нет и невольно отыскивал глазами натурщицу, которая так великодушно пригласила его потанцевать, а затем, мило попрощавшись, ушла к подруге. Она и сейчас стояла с подругой, с очень красивой натурщицей, а от той уже не отходил ни на шаг и все словно что-то доказывал крепкий, напористый мужчина лет тридцати пяти. Угадать его было несложно: таких мужчин Геннадий Павлович привычно сторонился, не любил их, хотя и не мог отказать им в столь замечательных современных качествах, как неослабевающий напор и натиск. И называли его эти молодые женщины вполне под стать—Константином. Они стояли недалеко. Когда Геннадий Павлович сделал шаг (шажок) в их сторону, но, в сущности, остался на месте, а затем вроде как вновь шагнул к ним и вновь не сдвинулся, натурщица, с которой он танцевал, улыбнулась. В конце концов толчки танцующих пар и шастающих туда-сюда молодых людей, да, да, шумные людские потоки как бы общей своей волей и силой притолкали, прибили Геннадия Павловича к ней, и он, конечно, тоже ей улыбнулся: мол, это опять я; тогда она дружески кивнула, а Константин, перехвативший их взгляды и изо всех сил добивавшийся внимания ее красивой подруги, закричал крепким своим голосом:

— Ну вот, наконец-то нас четверо!

Ему, хищному, было сейчас важно как-то скрепить группу, придать ей устойчивость, тем самым ограничивая возможности других мужчин, таких же (возможно) хищных, как он сам. Геннадия Павловича, едва глянув, он счел человеком подходящим: старомодным, но представительным и интеллигентным, разговор поддержать умеющим, что было сейчас более или менее главным. Вчетвером, и правда, они как-то обособились.

Натурщицы шушукались о своем, смеялись, а Константин, придвинувшись к Геннадию Павловичу, вел мужской разговор: нас двое и их двое — кажется, все ясно? но какие красавицы, а? и ведь молодые—сейчас же позвоню своему приятелю, нет ли на сегодня свободного жилья!.. Он так пылал, так рвался в бой, что Геннадий Павлович колебался *да* и колебался *нет* — и так получилось, что, пересилив холостяцкую привычку никого в дом не пускать, Геннадий Павлович сказал о пустующей своей квартире. (От неожиданности всего этого шума, танцев и от нечаянности знакомства Геннадий

Павлович как бы проговорился.) На что Константин Даев — да зови меня просто Костей! — уже через две секунды повторял, хлопая его по плечу:

— Квартира?! Да ты же клад! да ты же бесценный на нынешний вечер человек! да ты просто брильянт неграненый!..

Пятидесятилетнему с лишним человеку он (разумеется, шутейно) говорил «ты», хлопал по плечу, пошло его поощрял, хамил, впрочем, все это предполагалось в подобном типе мужчины, так что Геннадий Павлович даже и знал их, *следующих за нами.* И грубый Даев, и простецки милые молодые натурщицы, и этот вечер, и шумная музыка вели сами собой Геннадия Павловича к некоему узнаванию, к знанию, которое он уже преотлично знал. Быть может, шумный людской рой хотел показать (подсказать?) ему что-то новое? Но не было и не могло быть нового в Даеве, как не было и в нем, в Геннадии Павловиче, никакой новизны для этих нынешних, для мужчин и для женщин. Он видел — а они не скрывали. Толпа разбудила, но осталась толпой. (Что касается милой натурщицы, Геннадий Павлович даже и не протягивал ей свою опознавательную полурыбку: чужие.) Так что ни замысла, ни более или менее направленного его желания тут не было — случайность, просто случай. И, едва пригласив в свою квартиру, Геннадий Павлович уже вперед жалел о потерянном времени, к тому же прикидывал и не без некоторой паники соображал — чисто ли у него в доме на их женский взгляд, опрятно ли, и (что наше, то наше) совсем уж по-холостяцки жался и в душе слегка скрипел, не исчезнут ли, мол, некоторые книги после их посещения; люди как люди.

Очень смешно и грубовато (зазывно) этот человек повторял молодым натурщицам:

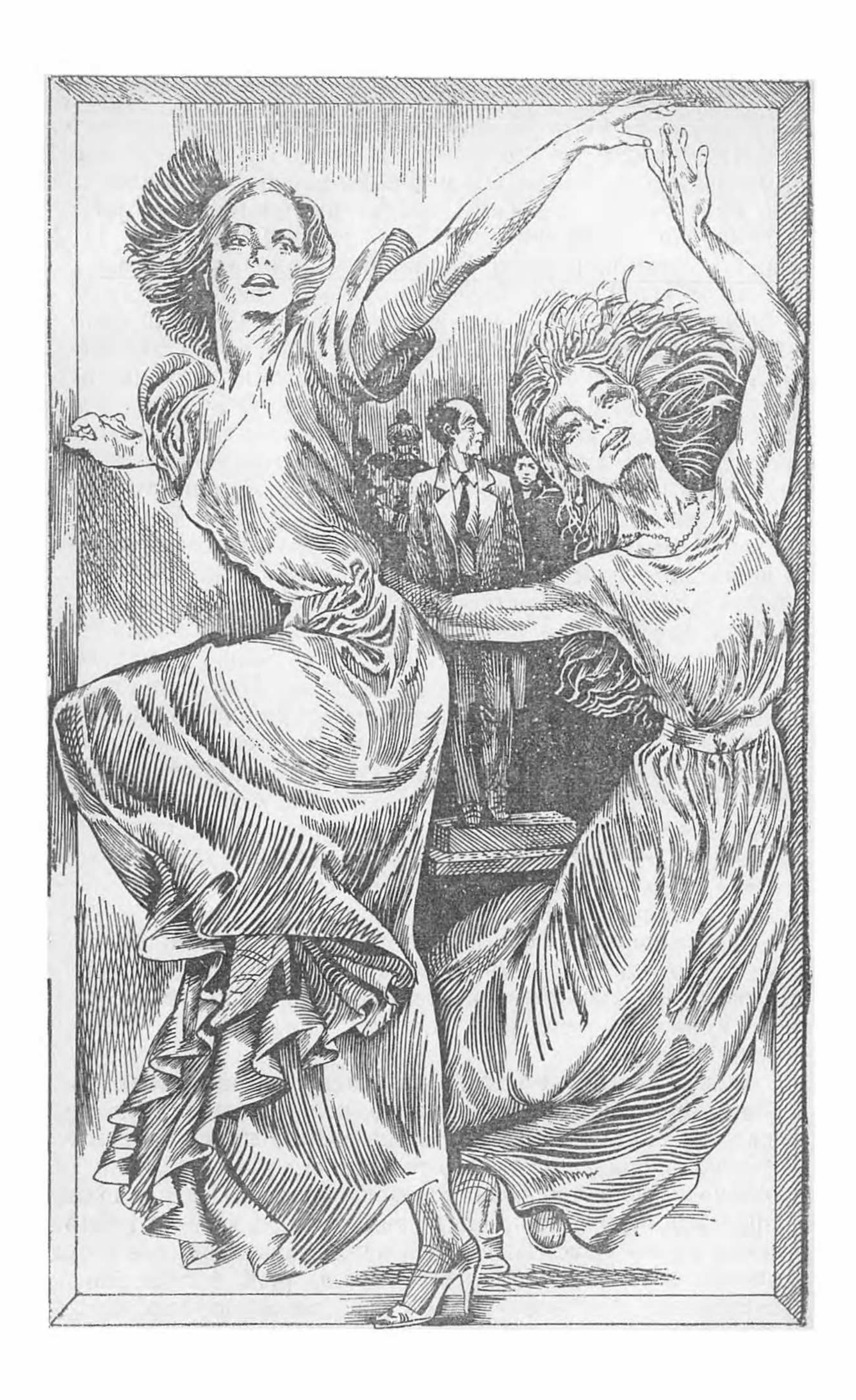
— Зовите меня просто — *Кин-стин-тин...*

Он как бы воочию создал собой и своей энергией черту (границу) и отстранял за эту черту всех других, познакомившихся прежде него и теперь также пробовавших подойти или хотя бы пробиться к красивой облюбованной им женщине. (Он стремительно оглядывался и хрипло вдруг шептал, придвинувшись совсем близко: «Мужик, уйди. Мужик, прости, но тут все забито!» — он и доверительно шептал, и в то же время с чувством

своей правой хамской силы хрипел прямо ему в лицо, пока «мужик» не отходил в сторону.) На выходе, в толчее Даев также не позволил никому к ним прибиться, ни им самим раствориться в какой-либо большей компании, нас четверо, мы сами вполне компания и, заметьте, плотная компания — нет уж, лишних не надо! Не обижай, мужик, нашего Геннадия Павловича! четверо, только четверо! — отбивался он от наседавших. Быстрый и на улице, Даев уверенно взял, перехватил такси, усадил всех в машину, и они поехали к Геннадию Павловичу. Тем бы все и кончилось. Однако молодые женщины были и просты и не так уж просты, у них, как выяснилось, были свои планы (и своя жизнь). Завидев большую красную букву метрополитена, они вдруг разом отрезвели, ожили после столь бурного натиска и закричали таксисту в уши с двух сторон: стой! стой! — не ожидавший, тот затормозил, и они вмиг выскочили, выскользнули из цепких объятий Даева, так как машина стала как вкопанная и как раз у метро.

Мужчины вышли тоже; машина уехала; шел несильный снег. Даев, разумеется, и у метро вновь принялся их уламывать, и даже грустный Геннадий Павлович, смущенно следивший за всей этой современной операцией обольщения, тоже отчасти вдруг возбудился и тоже сказал несколько слов «своей» натурщице, приглашая в гости. Он приглашал, касался ее плеча — она не была красавицей, но была очень-очень мила. «Нет, нет. Невозможно», — улыбались они. Даев зазывал, уговаривал, шептал и даже что-то откровенно сулил, но женщины, кутаясь в шубки, отказались уже определенно и наотрез. Они были натурщицы, у них были (или могли быть) утренние планы на завтра, да, да, на завтра, и, возможно, они берегли себя и свои тела не менее, чем пианисты, скажем, берегут пальцы и певцы горло.

Даев в разговоре затягивал теперь время, чтобы, увлекшиеся, они не попали в метро, но и этим их было не провести. Та, что красивая, чутко спохватилась и посмотрела на часики, после чего женщины ушли, нырнули в зев метро, а еще через минуту метрополитен закрыл свои двери. Так что гости Геннадия Павловича сами собой отпали, вечер опустел. Но в воздухе остаточно все еще клубилось обаяние этого Даева, который в последние минуты весь искрился и отпускал (вероятно, характерные для нынешних дней) гротескные сексуально-дву-



смысленные шутки, столь наперченные, что обе молодые женщины хохотали неудержимо, а менее красивая, что как бы предназначалась Геннадию Павловичу, даже и сгибалась от смеха, хватаясь за живот. Казалось, они забыли все на свете. Казалось, сама мужская природа в полушаге от метро звала их и зазывала. И та, что красивая, возможно, совсем случайно глянула на свои крошечные часики, минутой-полторы глянь она позже, и на метро бы им домой к себе уже не добраться, а так как жили они обе достаточно далеко, денег на такси у них могло не быть. Или поскупились бы. Минута-полторы — и они бы, конечно, пошли скоротать ночь у Геннадия Павловича дома... — объяснял Даев.

Но Геннадий Павлович, которому в последние минуты почему-то делалось все больше жаль молодых и красивых женщин, был теперь, пожалуй, даже доволен. Падал неслышный снег; у входа в метро сидела сытая кошка, на кошку тоже падал этот мягкий снег, а за стеклами станции маячила поздняя уборщица в оранжевой фуфайке и с шваброй в руках. Было ощущение тихо опускающейся ночи.

У Геннадия Павловича дома Константин Даев выпил рюмку водки и, уходя, все еще негодовал; можно было подумать, что милые молоденькие натурщицы своей сдержанностью наплевали ему в самую душу.

— Да полно тебе, — успокаивал Геннадий Павлович, когда они после рюмки водки перешли на «ты». — Да полно!.. В конце концов у них есть право на выбор: они интересные женщины, они обе совсем молодые — чем же они виноваты?!

Даев перебил: мол, женщины как женщины, мне, мол, *она* нравится: а на права интересных женщин или на права женщин неинтересных, как и на все прочие словеса, я плевать хочу!..

И ушел.

И уже на следующий день вечером Даев привез свою красавицу в дом к Геннадию Павловичу, сумев-таки и отыскать ее после работы, и каким-то образом встретиться, и уговорить. Дело было решенное, понятное. Для Геннадия Павловича, однако, оно оказалось непредвиденным и явно неожиданным, так как Даев, что называется, нагрянул часов в десять вечера: он вошел с красавицей в прихожую и, отряхивая с ее шубки снег, мигнул Геннадию Павловичу именно как о деле понятном, хотя они вовсе ни о чем не уславливались, после чего про-

шел с своей милой прямиком в дальнюю комнату. Геннадий Павлович так и остался стоять меж прихожей и кухней, пребывая в растерянности. Затем он отправился все же на кухню, поставил на огонь чайник и что-то приискал к позднему ужину, а те двое, не выходя, продолжали быть в его дальней комнате; дверь они закрыли... Геннадий Павлович неторопливо пил чай. Через какое-то, совсем немалое время Даев вышел: он был в халате Геннадия Павловича, он прошагал к нему на кухню, где и сказал:

— Не суетись.

— Но к столу что-то положено, хотя бы сыр, масло, чай.

Даев махнул рукой:

— Кому нужен твой чай!.. Ты, главное, не волнуйся, женщин у нас будет сколько хочешь — понял?

И вкусно закурил сигарету.

Они ушли часа в три ночи — в первом часу они ненадолго выбрались из комнаты на кухню, выпили водки, выпили и по чашечке чаю, красивая натурщица смущенно улыбалась Геннадию Павловичу, говорила очень мало и скромно; теперь было видно, что она совсем молодая. А Даев то посмеивался, то изображал друга, недавнего, но искреннего друга Геннадия Павловича, который озабочен тем, что у Геннадия Павловича есть квартира и есть много книг, но нет женщины, нет личной жизни. Он делался значителен, серьезен. (Это было забавно.) Он вдруг расспрашивал о жизни. Или же громко и даже требовательно спрашивал у своей красивой подружки, как там та, вторая натурщица, с которой танцевал Геннадий Павлович, где, мол, она и как — и что у нее за характер? А едва красавица стала объяснять, что та жива-здорова, что завтра она работает, а послезавтра выходная, как Даев вновь перебил: «Ничего, ничего — мы ему подыщем настоящую женщину. Не робей, не робей, *дедуня!..*»

Когда они уходили, этот хамоватый Даев еще и потрепал Геннадия Павловича по плечу:

— Я же вижу дедуня, что ты мхом порос... Не беда, что-нибудь придумаем!

Они уехали.

А Геннадий Павлович, засыпая, думал так и думал этак: мысль, истончаясь, становилась уже сном и во сне снова мыслью. Грубый Даев даже в минутные приятели не годился, однако вот выставить его Геннадий Павло-

вич почему-то не спешил, и, может быть, ему, Геннадию Павловичу, уже доставляло известное удовольствие убедиться, что во внешнем мире перемен нет и что Даев, случайно выхваченный из потока улицы, по-прежнему банален и ничтожен, как сама улица. Даев случаен, но и не случаен. И быть может, — это уж во сне, за границей сна и совсем уж на краешке сознания подползла та притихшая мысль, что Даев с его деловитостью и суетностью поможет и впрямь найти некую милую женщину, почему же нет? — всё вместе складывалось в ощущение, в котором засыпающий Геннадий Павлович чувствовал себя щедрым, гостеприимным и объяснял кому-то и как бы даже разводил во сне руками, говоря:

— Да пусть. Пусть приходят...

Они пришли и на другой день. И на третий. И только на четвертый день красивая натурщица Даеву уже словно бы надоела: возможно, она, и правда, капризничала, подчеркнуто хотела ухаживания, но возможно, что и заранее отношения не предполагались более, чем на три дня, если они вообще как-то предполагались; так или иначе, на четвертый день Даев был уже недоволен, цеплялся к словам и устроил ей сцену за десятиминутное опоздание. Геннадий Павлович только-только хотел удивиться их скорому началу романа, как уж роман кончился, и теперь надо было уже удивляться его скорому концу.

Что там ни говори, их приходы и их встречи Геннадия Павловича заботили; уходя среди ночи, эти двое ночь разбивали, он вставал зевая, пил с ними вновь горячего чаю, закрывал за ними дверь — и засыпал наново. Но сны были хорошие. Да и реальность, казалось, допускала более или менее интересные перемены — Даев груб, но не лишен ума, и можно его обтесать, привив любовь если не к книгам, то к разговорам о книгах. Почему же нет? Квартира, общение и даже род дружбы, когда после работы двое мужчин встречаются потолковать и обсудить вместе день-деньской. Пересказы книг — это своего рода магия, превращающая приятеля в ученика: они пьют чаек, покуривают, умничают, после чего Костя Даев, наслушавшийся рассказов о жизни одиноких философов, говорит: а не поразвлечься ли, мол, нам немного? — и, пристроив телефон на коленях, звонит бесчисленным своим подругам.

(Но тут уж Геннадий Павлович не попустительствует и устраивает строгий отбор: пусть Костя Даев звонит, но пусть Костя Даев знает, что в дом приглашаются достойные женщины, и отношения с ними должны быть интеллигентны. Здесь вовсе не квартира для свиданий. Женщины, со своей стороны, с удовольствием облагораживают и отношения, и быт, если не отнимать у них этой ясной роли. Такие, как Даев, пусть знают.) Со временем одна из женщин, возможно, влюбится в Геннадия Павловича: возраст — это возраст, конечно, но зато Геннадий Павлович из тех, кто не подведет. «Так приятно опереться на кого-то в жизни!» — скажет однажды женщина и, возможно, привяжется к нему. И вот уж встречи их почти необходимость, она в нем, и он в ней — они открывают один в другом некую тайну, и вот чудак Костя Даев немного даже ревнует: неужели, мол, любовь?..

Грубоватый друг, он хлопает Геннадия Павловича по плечу и говорит сурово:

— Геннадий Павлович, помни: женщина — только женщина, а дружба — это дружба...

На этом вот изысканном сравнении огромности дружбы и огромности любви, на необходимости, быть может, сделать из этих чувств выбор Геннадий Павлович Голощеков, человек одинокий, ни дружбы, ни любви не имеющий, сладко засыпал. Человек умный, он знал и эфемерность и даже пародийность этих картинок. Но такова жизнь. Он успевал и посмеяться над собой, и даже отметить, что сейчас он именно грезит, играет в раскрашенные картинки, однако расслаблялся еще более и картинки себе позволял, потому что приятно же заснуть сладко.

Красивая молодая женщина надоедала Даеву все заметнее. Даев раздражался, и не прошло недели, как он, по мнению Геннадия Павловича, уже ужасно с ней разговаривал. И в отношении к самому Геннадию Павловичу, у которого в доме они с красавицей, попросту говоря, спали, он все более оказывался хамом. Даев в тот вечер ждал какого-то звонка и курил одну за одной. Когда Геннадий Павлович, прикупив продукты к выходным дням и поставив варить мясо, между прочим сказал, что мясо попалось хорошее, мяса много и что пригласить на воскресенье каких-нибудь гостей и впрямь будет не стыдно, Даев вдруг грубо спросил:

— Чего это ты разволновался?

И фыркнул:

— Может, воскресенья никакого не будет — не суетись!

И действительно, в субботу все кончилось.

Они исчезли. И больше не появлялись.

Какое-то время Геннадий Павлович в инерции одиночества все еще продолжал размышлять о несостоявшихся разговорах с Даевым, а также о том, возможны ли своеобразные отношения, где он передал бы мысли, накопленные за многие годы, и увлек высоким знанием, ну хотя бы отчасти, этого ужасного прагматика. Тут была возможность подумать общо. (Разумеется, в параллель Геннадий Павлович ясно понимал, что некий современный проходимец, животное, которому негде было затеять похотливый романчик, использовал его жилье, ел, пил и исчез вместе с женщиной, притом что женщину эту, красивую и молоденькую, он тут же и бросил, *куда* бегут эти даевы, куда они так спешат и так торопятся? — задавался он вопросами). Затем размышления сошли мало-помалу на нет. Итог был взаимен. Разумеется, Даев считал, что он надул пятидесятилетнего лопуха, попользовался его жильем и в нужный миг исчез, но он не все знал и, в частности, оказался не в силах постичь заурядным своим умом, что, и исчезнув, он все равно вполне *обнаружился,* каждому свое, Геннадий Павлович не только его увидел — и ведь на первой же глубине отношений уже нет меж людьми вопроса и нет проблемы, кто кого надул, не в обмане же речь, и неужели столь простенькую вещь эти даевы так и не умеют, так и не успевают узнать?

Одинокие и размеренные дни вновь сомкнулись вокруг Геннадия Павловича, как смыкается вода. Жизнь идет. Геннадий Павлович привычно ходит на службу, а вечерами перед сном как всегда много читает. Он один, он сам по себе.

Нинель Николаевна шла с работы, когда у светофора, заканчивая переход улицы, нос к носу столкнулась с рыжеволосым мужчиной, который оказался ее бывшим однокурсником по институту. Разговорились—и бывший однокурсник (им уже за сорок!) пригласил ее заглянуть на полчаса, что ли, к нему домой: он живет рядом. Жена его также оказалась приветливой женщиной, была

гостье рада и как раз наварила айвового варенья — показывала выставленные, чтобы остыть, банку за банкой, а рыжеволосый однокурсник в тон ей прихвастывал: «Смотри, Нина, как потемнело варенье! хороший признак: в айве окисляющегося железа больше, чем в яблоке!» — пили чай, болтали, свежесваренная айва была и точно вкусна, и так у них в доме было хорошо, уютно, что когда три дня спустя в скверном настроении, после стычки с начальником, она шла по этой же улице, ноги сами собой привели Нинель Николаевну в их дом.

Начотдела ее распекал (он это умеет), но она только бледнела, менялась в лице. Было душно, жарко. Да, Нинель Николаевна достойно промолчала и достойно же вернулась на свое место. Она спокойно убрала в стол бумаги и калькулятор, спокойно взяла сумочку, спокойно ушла, и лишь на улице ее стали душить слезы. И голова кружилась, Нинель Николаевна старалась себя отвлечь и думать о хорошей погоде, сейчас же в отпуск, в отпуск — лето всегда лето, и можно же, в конце концов, отпроситься пораньше!.. Она увидела (слева, за светофором) тот самый дом, где была три дня назад. Она, кажется, не раздумывала. А едва войдя, все-таки заплакала, уткнувшись в плечо рыжеволосого мужчины, бывшего своего однокурсника: он уложил ее на тахту, дал капель валерьянки, открыл окно, впуская больше воздуха. Он даже и разговор медлительный завел, а затем, помогая ей расстегнуть ворот блузки, когда она, и впрямь, стала было успокаиваться, набросился на нее нетерпеливо и алчно, как может наброситься торопящийся сорокалетний с лишним мужчина на женщину своего возраста. Они были одни в квартире, жены, разумеется, не было. Нинель Николаевна, слава богу, ударила его по лицу, еще ударила и, кажется, закричала, и даже когда она уже уходила, красная полоса так и горела на его физиономии. Боже мой! что же за люди такие?! Она сдержанна и строга. Она ведь чистюля. Неужели в ее поведении появилось с возрастом что-то такое, что дает возможность мужчине пытаться и даже надеяться на легкий успех? Или мнимая доступность проглянула в ее общем упрощенно-конторском облике? — блузка, юбка, туфли, прическа. Витрина отражала: по асфальту одновременно с Нинелью Николаевной шла женщина с ее лицом. И тут ее кольнуло: да почему же она думает про покрой юбки, про цвета одежды, почему именно эти ее мысли — первые?

В последний день Даев уже вовсю ему хамил, беспрерывно пил и каждые пять минут заводил речь о некоем своем замечательном приятеле с Алтая Олжусе, *друге истинном, а не на время,* вероятно, стараясь таким разговором лишний раз щелкануть одинокого Геннадия Павловича с его книгами и умничаньем. Дружба — свята. В дружбе суть и соль. А мол, умникам жизнь не дается и никогда не дастся, в этом ее, жизни, великая справедливость. Но еще свирепее Даев одергивал и ставил на место красивую натурщицу, с которой он к этому дню совсем не считался.

— Что вы, *жалкие,* понимаете!.. Он с поезда, его надо по-людски встретить и по-людски устроить на ночлег! — говорил он об алтайском приятеле.

— Зима, — поддакивал Геннадий Павлович.

Красавица обиженно молчала.

Квартира сделалась сильно прокурена; на столе стояли неубранные тарелки, хлеб и ссохшийся сыр. Стояли и бутылки, над которыми почти зримо витали алкогольные пары. Свою красивую молодую женщину, а также Геннадия Павловича гуляющий Даев чуть ли не силой заставлял пить, закусывать, снова пить, и потому ситуация в психологическом плане существенно не менялась: Геннадий Павлович в приятной расслабленности был сам по себе, а Даев и его молодая женщина продолжали выяснять свои отношения. (Геннадий Павлович обычно не пил или пил совсем мало, но тут, зная, что не сегодня-завтра все это кончится, он себе как-то позволил и впервые за много лет пребывал в бездумном и довольно приятном гармоничном состоянии. Да, да, он совсем не думал! Голова с непривычки побаливала, но легкая боль казалась делом пустячным и, в сущности, совсем небольшой платой.)

— Не могу, — говорила молодая женщина.

Но Даев повелевал:

— Ладно, ладно, по одной еще стопке — и помчимся! говорю же, по стопке — и помчимся на волю! пей!..

И наливал Геннадию Павловичу:

— Пей!

И чокался с ними, на них не глядя.

Геннадий Павлович опрокидывал стопку, а затем, отчасти удивляясь самому себе, соглашался — да, да, это разумно, *это очень разумно,* выпить и куда-то пойти, поехать. Воздух — это прекрасно. Зима — это чудесно. Но эти двое (молодые!) все только спорили, и у Геннадия

Павловича возникало желание пойти, может быть, одному, просто пойти одному погулять — подышать снегом.

Вдруг—и все трое они оказались уже в такси, притом что такси мчало и красивая молодая женщина очень торопила водителя. Да, да, надо ей помочь добраться! надо поскорее! — говорил Геннадий Павлович сочувственно, так как она не просто куда-то торопилась, но опаздывала и по этой причине, вероятно, все время всхлипывала. Геннадий Павлович слушал ее, сопереживал, но вдруг переставал что-либо слышать, только смотрел на проносящиеся мимо дома — мозг был приятно затуманен. Он помнит, что за окном машины летел косой снег, что рядом сидела молодая женщина, всхлипывала и просила водителя — я, мол, тороплюсь, скорее...

— Успеется, — отвечал ей Даев. (Он сидел впереди, с водителем.)

— Меня ждут, меня очень ждут.

— Я тебя тоже вчера ждал.

Такси не то чтобы не спешило — нет, таксист поспешал, однако он часто останавливался, так как Даев то на одной, то на другой улице внезапно выходил, чтобы, как он говорил, вернуть небольшой денежный должок. Вновь они остановились. И вновь он шел отдать давний денежный долг — именно сегодня у Константина Даева были деньги и был, так сказать, день чести: день оплаты. «Рассчитываюсь со всеми в один день. Иначе когда я еще соберусь — верно?!» — и Константин Даев левой рукой хлопал по плечу таксиста, что таксисту совсем не нравилось. Но таксисту тоже было уже заплачено много и вперед, и он только криво улыбался, когда его хлопали.

Молодая женщина сидела, вжавшись в сиденье; всхлипывая, она говорила Даеву какие-то малопонятные слова, а то вдруг жаловалась Геннадию Павловичу, который от выпитого вина был совсем притихший, или таксисту, который и вовсе молчал. Впрочем, Геннадий Павлович ее утешал, нет-нет и повторяя, что *все будет хорошо*. А Даев продолжал возвращать свои долги или втискивался с разбега в заснеженную телефонную будку на углу, узнавая, намного ли опаздывает скорый из Читы с его алтайским другом Олжусом, — затем такси мчало по улицам; затем вновь стояли. Молодая женщина порывалась уйти — один раз она даже выскочила из машины и, оглядываясь вверх и вниз по улице, замаха-

ла рукой, однако другого такси так сразу не нашлось, к тому же она забыла сумочку, а когда вернулась и быстро взяла лежавшую на сиденье возле Геннадия Павловича черную сумочку, уже успел появиться из подъезда дома Даев. Он вновь усадил красивую натурщицу в машину.

Он упрекал:

— Торопишься?.. А знаешь ли, сколько я ждал тебя вчера — сколько я на тебя вчера времени потратил!

— Но поверь же, Костя, я не могу, не имею права так много опаздывать: мне это тяжело!..

— Мне тоже не всегда легко.

Придавленный хмелем и укачанный однообразием движения, Геннадий Павлович задремал. (Мелькали огни, проносились встречные машины — за окном тот же косой снежок.)

Когда он проснулся, такси мчало по каким-то совсем новым улицам, а красивая молодая женщина по-прежнему просила Даева наконец поторопиться — да пойми же, Костя, вечер, муж уже пришел от мамы, он нервничает...

— Немного подождет, — отвечал Даев, закуривая.

Их утомительному взаимному расспросу, казалось, не будет конца.

— А почему не подошла к телефону?

— Меня в отделе не было. Я выходила в магазин.

— Но я же позвонил и расспросил, я же не болван: с работы вас никого ни на одну минуту не отпускали.

— А я отпросилась!.. Я говорю правду, правду!

— Правду говорят только старики и старухи.

Она заплакала.

Геннадий Павлович вдруг переполнился к ней состраданием; проснувшийся, он стал было вмешиваться в их разговор и что-то советовать, но Даев к ним вполоборота, с переднего сиденья двинул его неприметно кулаком в бок, притом двинул сильно, так что Геннадий Павлович ойкнул и смолк. Он только гладил молодую женщину по голове, утешая: мол, не плачь, не надо... Он мало понимал их — что Даев, что его подруга, то крикливая, то плачущая, казались ему совсем чуждыми людьми, лишенными в своих отношениях некоей изначальной доброты. Они словно бы давно сбились с пути; помочь в этом им было, вероятно, невозможно, поздно, а оттенки конкретной их ссоры были,

конечно, слишком личны, почти не улавливались и проносились стремительно, как вода на перекате быстрой реки.

— Я должна, Костя, вернуться скорее — мой муж очень нервничает...

— Я вчера тоже нервничал.

Таксист молчал.

Геннадию Павловичу было нехорошо, и он уже корил себя тем, что ведь все или почти все знал наперед и ведь уже сколько лет не хотел, сторонился, берегся, а все же угодил в этот чужой и жесткий мир отношений.

Когда подъезжали к дому, молодая женщина попросила: я здесь выйду, не надо подъезжать ближе.

Даев, однако, сказал:

— Вон к тому подъезду.

— Не надо, — она взмолилась. — Он же из окна смотрит: ждет. Ты человек или не человек? Ведь спрашивать сейчас станет — тебе меня не жалко?.. Ведь он ждет и глядит в окно.

— К подъезду езжай, — велел Даев.

— Я пойду пешком! Остановите. Я сама... Прошу...

Даев рявкнул таксисту:

— Прямо к подъезду — иначе все деньги назад!

Таксист подъехал к подъезду.

Молодая женщина вышла из машины и бочком-бочком, словно бы гнущаяся, как побитая, засеменила домой. На снегу она поскальзывалась.

Геннадию Павловичу стало невыносимо тягостно, затем ему стало грустно, а затем его мало-помалу укачало, и он опять задремал. В конце концов, Геннадий Павлович знал, с кем общается и с кем он вступил, хотя бы и на время, в человеческий контакт, так что если Даев очень скоро стал звать Геннадия Павловича полуиздевательски дедушкой, дедуней, то ведь и Геннадий Павлович считал и звал его за глаза — хамом. Отношения оценочны. (Что касается прекраснодушного желания Геннадия Павловича искренно с ним поделиться, отдать, передать и возникшего заодно ощущения, что стал-де томить накопленный багаж знаний, то и томление интеллектуальным багажом и желание передать, поделиться, как ни благородны они по перводвижению, в сущности, отдают старением и возрастным распадом. Природа педагогики довольно понятна. Мы живем жизнь, а жизнь *живет нас.)* «Все книги да книги, — го-

ворил, усмехаясь, хорошо зарабатывающий инженер Константин Даев, если только меж двумя рюмками у него находилось время взять с полки книгу, полистать ее и усмехнуться. — Тебе, дедуня, следует непрерывно о женщинах думать!.. Тебе уж внуков пора иметь, а ты все еще не умеешь знакомиться с женщиной в ресторане — ну, ничего, ничего, я займусь пробелами твоего высшего образования!»

И смеялся:

— Я таких тебе милочек поприведу...—и обаятельно, хитро улыбался, отлично зная, что он здесь всего на пять-шесть дней и что никаких милочек он сюда не приведет, *то-то дедуня расстроится;* с какой стати он, Константин Даев, потащится еще раз в эту пыльную книжную нору, так уж случилось с красивой натурщицей, но ведь надо ж было где-то приткнуться, и притом сразу, иначе навсегда упустишь, таких, как она, надо брать сразу и без отлагательств, *хотя бы на крыле самолета.* Да ведь и эти мысли Даева, прагматичные и пошлые, Геннадий Павлович читал легко!

А, кажется, опять тормозим, куда-то приехали...

Полудремавший Геннадий Павлович очнулся среди вспыхнувшего света и цветных огней Казанского вокзала; в толчее машин на привокзальной площади было шумно, людно, суетно, но вот в их такси втиснулся толстый, в эффектном малахае Олжус — и вновь они покатили по городу, закупив предварительно в магазине много пива.

Сначала машина долго и без всякого смысла кружила по Садовому, колесила кольцо, так как Даев и алтаец Олжус предавались воспоминаниям: оба радостно вспоминали некие былые денечки и говорили о дружбе. Пили из горлышка. Олжус замечательно открывал пиво зубами, открывал со скоростью невероятной, он как бы откусывал пробки, для себя — раз, для Даева — два, после чего оба хохотали, глухо чокались бутылками, а глоток за глотком пиво прикончив, дружно выбрасывали пустые бутылки за окно машины.

Геннадий Павлович интеллигентно осведомился:

— Простите — мне кажется, вы испортите себе зубы?

— У меня стальные.

Геннадий Павлович подумал было, что говорится о зубах в переносном смысле, как, скажем, говорится о железном здоровье, но в эту самую минуту алтаец на-

двинулся, приблизил лицо и, дыхнув пивным духом, обнажил сплошную сталь:

— Красиво?

Свернув с Садового, машина устремлялась теперь по улицам то к одной, то к другой группе домов: Константин Даев вновь заезжал к своим многочисленным знакомым, но на этот раз заезжал он к знакомым исключительно женского пола и с новой заботой — поселить, устроить. Поднимаясь вместе с Олжусом в ту или иную квартиру, Даев показывал его и аттестовал как прекрасного будущего жильца, называл сумму, однако раз за разом неизменно получал отказ. Что делать: жизнь подчас непонятна. Никто из его знакомиц поселить на время его лучшего, близкого, ближайшего друга не желал, притом что некоторые удивлялись, даже и оскорблялись: с чего это он, Костя Даев, решил, что она, Валя (Ира, Женя, Лариса, Вера...), пускает жильцов? Были свои отношения, были свои и взаимные надежды, но о жильцах она, Валя, и думать не думала. Да никогда! Да ни за что на свете!.. Но ведь на улице пурга и ведь как уютно было бы сейчас на кухоньке, где приглушенный свет лампы и милое женское воркование за чаем! Но ведь она уже сказала — нет. Слово за слово, и некоторые из них — Лариса, Вера — начинали чуть не в голос кричать о том, что пурга и снегопад бывают каждую зиму и что пурга не конец света, но тогда уже Даев обижался за своего лучшего, близкого, ближайшего друга и, в свою очередь, кричал на них. Костя Даев уходил и пушечно хлопал дверью. Он, мол, отныне сюда — ни ногой! Раздраженный неудачами, Даев винил погоду, пургу и, кажется, полнолуние, и женщин, а затем помалу стал сердиться на своего друга в страшном малахае: чего это ты, друг мой, не нравишься им, может, ты смотришь нескромно?!

Перед (пятым или шестым) визитом в дом Даев, уже сильно недоумевая, велел Геннадию Павловичу также вылезти из машины и на минуту подняться с ними на этаж для представительности и интеллигентного общего вида — они так и вошли втроем, постояли в прихожей и поуговаривали, но и тут Олжус получил отказ. (В пальто и в шапках они стояли в дверях и мялись. «Да посмотри лучше: хороший же мужик. Почему ты не хочешь пустить его дня на три?» — спрашивал Даев женщину лет тридцати пяти — сорока. Алтаец улыбался.)

Вновь они мчали по Садовому; заехав в тот самый магазинчик, прикупили пива, и спустя время Даев кричал водителю, хрипел ему прямо в ухо: «Жмись к обочине!..» — и вновь опорожненные бутылки летели куда-то в снег, иногда со слышным звоном. И Константин Даев размышлял вслух, мол, перебрал уже всех, но где-то здесь была знакомая (и милая) женщина — ах да, как я забыл, на Кутузовском!.. И орал водителю, хрипел — на Кутузовский проспект! давай-давай!.. а когда подъезжали и поднимались, стуча ногами, к знакомой (и милой) женщине на этаж, Константин Даев предварительно минуту-две успокаивался: менял стиль. Константин Даев объяснял сложившуюся ситуацию уже не с налета, а сначала тишел на пороге, мял шапку, стараясь говорить вежливо и глядеть не зло: Валечка, да как же так.. милая, гм-м, ну, прямо неожиданность, ну, чем же плох тебе мой товарищ! Морозно же на улице, а выручить его — это все равно что выручить меня!..

Возвращаясь к такси, он теперь каждый раз как бы перекладывал неудачу на Олжуса.

— Чего улыбаешься?.. На пороге чужого дома закрывай свою пасть хотя бы немного. Твои зубы хороши для пивных бутылок, но не для моих женщин,—выговаривал Даев старому приятелю.

— Клянусь, хорошие зубы, — уверял алтаец.

Они опять в который раз оказались на Садовом; укачивало, и Геннадий Павлович уснул.

Он проснулся оттого, что машина стала, — Даев высаживал Олжуса прямо посреди улицы, посреди суровой зимы. Он пожал алтайскому приятелю руку. Он дал ему какой-то сомнительный адрес общежития и сколько-то денег. Мол, не скучай...

Олжус молча стоял возле машины.

— Прощай... Что поделаешь, если ты невезучий! Мне пора! Смени зубы! — кричал Даев в раскрытую дверцу машины, после чего, обрубая окончательно, хрястко захлопнул дверцу.

И велел таксисту ехать дальше.

Геннадий Павлович оглянулся — человек в малахае, уменьшаясь, делаясь издали похожим на темный кокон, стоял с чемоданом посреди огромного заснеженного города; было видно, как отделяет его опустевшее Садовое кольцо и как по всей своей шири кольцо прочерчивается быстрой легкой поземкой. Обтекаемый снегом и ветром, Олжус не шевельнулся, так и остался стоять — без

ночлега, с небольшим, вероятно, количеством денег.

— Жаль его — мороз нешутейный, — робко заметил Геннадий Павлович Даеву.

— Не люблю невезучих.

— Но он не замерзнет?

— Вот еще! Он в снегу спать может...

Помолчали. Даев насвистывал.

Он подвез Геннадия Павловича более или менее близко к его дому и высадил — это был финал, точка в их человеческом общении, потому что ни с красивой натурщицей, ни тем более один Константин Даев уже не собирался навещать Геннадия Павловича. Обостренным чутьем, свойственным всем долго живущим в одиночестве, Геннадий Павлович сразу же почувствовал. Жизнь как жизнь. Дверца такси была приоткрыта.

— Всего хорошего, Константин. Будет время — милости прошу, заезжай...

Тот, из машины, засмеялся:

— Прощай, дедуня... А ведь так и не привел я тебе ни одной подружки — не успел!.. Жаль!

И махнул рукой.

Геннадий Павлович пришел домой; он долго стоял под горячим душем, и в голове заметно прояснилось, к тому же после душа он с удовольствием выпил кряду две чашки крепкого чая. Спать не хотелось. Геннадий Павлович взялся было за книгу — на столе, на полу и даже на подоконнике, кругом было насорено, накурено, грязно, и тогда Геннадий Павлович из предосторожности надел на переплет книги целлофановый чехол, завтра он все уберет и выметет, вымоет и проветрит, слава богу, финал... Но не читалось. Геннадий Павлович дважды отрывал глаза от строчек и откладывал книгу, как вдруг понял причину внутреннего непокоя: его беспокоил тот, брошенный с чемоданом на Садовом кольце и мерзнущий. Алтайский Олжус стоял перед глазами, ежился от холода и ветра.

Была полночь.

Геннадий Павлович поморщился, он колебался — ему вовсе не хотелось вновь такой вот бытовой грязи, сигаретного пепла повсюду и пустых бутылок, вдруг выкатывающихся из-под диван-кровати. (Даев входил, и они, пустые, как-то сами при звуке его шагов выкатывались.) И до такой степени хотелось поскорее, завтра же, навести в доме порядок и вернуться к своему спокойному одиночеству, что Геннадий Павлович вздохнул, заходил

по комнате: ведь несомненно, что этот Олжус вновь заплюет ему жилье...

— Человек мерзнет, а я обдумываю, — сказал он вдруг с укором самому себе. И, словно бы подстегнутый упреком, шагнул к окну, глянул на заснеженный градусник: ого!

Мерзнущий человек в малахае уже, конечно, куда-то ушел или уехал в такси, но надо же знать это точно, иначе, пожалуй, ночью только и будешь о нем думать. Вот ведь неожиданность. Геннадий Павлович почувствовал, что не сможет ни уснуть, ни еще раз спокойно выпить чаю, пока не поедет и сам не убедится, что тот, с чемоданом, не замерз.

Однако, колеблясь, он какое-то время заново доказывал самому себе необходимость и даже обязательность предстоящего ночного поиска, после чего наконец оделся и вышел. К ночи ветер прибавил. Сыпал снег. Геннадий Павлович, к счастью, поймал такси довольно быстро. И поехал.

Олжус стоял на том самом месте. И чемодан стоял рядом. В ночной полутьме, в снегу они как бы окаменели — и человек, и чемодан.

Когда подъехали ближе, Геннадий Павлович, открыв дверцу, окликнул и предложил поехать домой — не стоять же здесь ночью, а дома, мол, можно хотя бы выпить чаю и согреться, можно заночевать. Снег мешал говорить. Геннадий Павлович вышел; ежась на ветру, он еще раз пригласил, позвал и наконец пропустил человека в малахае в глубь машины. Сам сел рядом, сказал: ну вот и слава богу, едем ко мне... Машина тронулась. Еле двигая каменными замерзшими скулами, Олжус произнес:

— Нет.

Геннадий Павлович опешил:

— Почему?

— Я хочу к твоей знакомой. К женщине. У тебя есть знакомые?

Геннадий Павлович, несколько смутившись, объяснил, что знакомых, тем более таких знакомых, у него нет. Существовали давние, мол, знакомые женщины, но они уж точно меня забыли, как и я их забыл, я старый холостяк, я ведь не Костя Даев. Олжус молчал. Машина все еще ехала по Садовому, а Геннадий Павлович даже заулыбался при мысли, что он решится привести этого человека со стальными зубами к какой-нибудь стародав-

ней приятельнице, которая и самого-то Геннадия Павловича может не пустить в дом, не сразу узнать. Машинально он полез в грудной карман, вынул записную книжку, оправдываясь, вертел в руках: вот, мол, пустая, без телефонов, — там только и есть записи очередных дел к отчету.

— Дай — сам найду, — сказал Олжус.

— Там ничего нет... — Геннадию Павловичу стало как-то конфузно за свою почти чистенькую книжицу, когда человек в малахае выдернул ее из рук Геннадия Павловича и теперь, не доверяя, сам вглядывался в чистые ее страницы при зыбком свете фонарей, что мелькали за стеклами такси.

Вдруг буркнул:

— А пиво?.. Почему мы едем без пива — давай повернем, поедем в тот магазин.

— В какой?

— В тот, где пиво.

— Это недалеко. Но ведь он закрыт. Уже ночь — магазин наверняка закрыт, — уверял Геннадий Павлович.

Но Олжус настаивал, что там было замечательное пиво и что они поедут именно туда, — деньги есть, значит, пиво будет. А если нет пива в магазине, они поедут в ресторан, нет в ресторане — в аэропорт. Припомнив ту улицу и тот поворот к замечательному магазину, Олжус выкрикнул название улицы таксисту, он рявкнул, почти как Костя Даев, и таксист тотчас повернул, поехал, даже поспешил — и теперь с каждой минутой таксист все больше слушал Олжуса, как и тот таксист, предыдущий, слушал Константина Даева. У магазина они встали — Геннадий Павлович приоткрыл дверцу машины, показывая и поясняя, ну, разумеется, мол, закрыто в ночной час. Он повторил, что и в ресторанах сейчас пива нет и что дома у него, к сожалению, только чай, но ведь чай с мороза — это чудесно. Он пояснял, как он заваривает чай, когда Олжус, убедившись, что окна темны и что магазин с пивом закрыт, негромко и даже как-то нараспев, мешая родные слова с русскими, выбранил такой мороз и такой магазин. Спокойно и почти буднично он вытолкнул Геннадия Павловича из машины в приоткрытую им же дверцу, столкнув с сиденья прямо на снег. Захлопнув дверцу, сказал шоферу: поехали, мол, дальше, — и они укатили, в то время как Геннадий Павлович выбирался из сугроба и искал шапку.

Геннадий Павлович поднялся; он отряхивал снег,

Лет тридцать — тридцать пять назад он был — *Геннадий Голощеков;* поначалу он лишь прекрасно учился и был из тех блестящих студентов, кто ходил на вечера поэзии и, до хрипоты споря о физиках и лириках, спорил о вечном. Была пора поэзии и поэтов, пора больших разговоров, и душа Геннадия Павловича, душа молодая и еще не умевшая, казалось бы, открыться, открылась тем не менее в тех разговорах вполне да и вполне выразилась.

Традиционно пьянило слово «справедливость», но еще более Геннадия Голощекова пьянило само общение людей, новизна общения, а также вдруг открывшиеся с ней вместе горизонты и возможности искусства. Он был такой не один — их было много! Искусство, стихи, живопись, театр сделались вдруг частью пылкой их жизни, хотя искусство, стихи, живопись они и не сами творили: сопричастность была огромна. Стоял зеленый шум. (Казалось, жизни не было — жизнь начиналась. Даже любовь — святое юных — была окрашена общечеловеческой сопричастностью. Расставались не вдруг, а в процессе необратимых взаимных оскорблений, а подчас, увы, лишь оттого, что *он* пылал верой в современную поэзию, а *она,* бедная, не понимала периодов развития Пикассо. Или, напротив, — именно она сама и навсегда оставляла своего дружка, оставляла с негодованием, вдруг обнаружив, что бедный малый в душе своей конформист.

Претерпела и дружба.)

Возможно, по прихоти природы Геннадий Голощеков понимал тогда и поэзию, и живопись, и открывшееся общение людей больше, чем понимали другие, отчего и стала молодость *сезоном его души;* никогда после Геннадий Павлович уж не был таким. Говорят же — свой час. И если о сезонах и о яблоках, он был сродни раннему *белому наливу,* яркому и солнечному плоду, который так скоро отходит, уступая место всем последующим яблокам вплоть до осени. Отошел — но ведь был. Так что в те дни слушали — Геннадия Голощекова, приглашали — Геннадия Голощекова, звали — Геннадия Голощекова. Жадно, хоть и бессистемно, читавший ночами, днем Геннадий Голощеков мог выразить неожиданно много, мог сказать ярко и свежо, сказать талантливо, притом совсем необязательно сказать то, что так жадно читал. Он удостаивался личных и очень лестных приглашений поэтов, скульпторов, живописцев — бывал у

них дома, засиживался у них за полночь за кофе и за вином, всего лишь студент и говорун. Не раз и не два открывал он вечер поэзии в Политехническом, хоть не был ни критиком, ни даже молодым литератором, пописывающим втайне стихи. Тут не было затаенного комплекса или недовыразившегося дарования — он именно жил, горел.

После вуза, работая научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником в весьма солидном учреждении, он и там лет семь-восемь, да, да, семь или восемь лет, не менее, держался на волне своего яркого импульсивного дара, но говорил уже в русле своей работы (и в духе времени) не об искусстве, а о вопросах экономических или правовых, защищая прогрессивные методы, защищая человека, людей, массу и воюя с замами и с директорской свитой. Он сделался видным экономистом. Статистика, планирование как таковое, системы управления, АСУ — вновь он читал ночами, вновь обобщал. Вокруг него не затихали страсти и споры. Голощекова любили — Голощекова ненавидели. Был пик. Одно за одним выдвигал он экономические новшества, улучшающие процесс работы либо быт сотрудников. Он выступал много, говорил красно и более солидными людьми (отчасти из ревности) был даже прозван *Хворостенковым*. А время шло: истый реформатор, говорун, деятель, он постепенно пришел к тому, что выдвигал планы до небес и поражал воображение, однако уже определившееся прозвище да и само отношение сотрудников к его речам свидетельствовали, что подступала иная пора.

Он не мог не почувствовать, что его золотое время уходит; ища реальности, он все более ссылался для обоснования на примеры истории или на конкретные, еще свежие выступления Хрущева, но слушали Геннадия Голощекова все меньше и спорили все меньше, а затем уже и не спорили: планы его и прожекты скоренько и почти единогласно отводили.

Он тогда сам заметил некий присущий ему изъян: планы его превращались вдруг в фантазии, едва их начинали всерьез обсуждать. (А пока он говорил, блистая глазами и гоня вокруг себя возвышенную волну вдохновения, планы были так реальны, так заманчивы!) Однако, и заметив свой изъян, Геннадий Павлович Хворостенков продолжал выступать, предлагать, вмешиваться, так что однажды на каком-то из своих планов крепко споткнулся,

ляпнулся — предложил он что-то совсем уж не то и не так, они проголосовали; ему бы спохватиться, но он настаивал. Его вывели и из объединенного профкома, и из технаучсовета, где он гремел и блистал, молодой, энергичный. Вывели без скандала. С ним поговорил некий умудренный старичок эксперт и предложил от имени всех: не только выйти из технаучсовета, но, может быть, вообще перейти работать куда-нибудь еще. В другой НИИ. Пусть он, Голощеков, поразмыслит. Ему дадут добротную характеристику. Человек он, несомненно, талантливый, яркий, к тому же кандидат наук, он найдет себя и во всяком другом месте, в любом, в то время как здесь, если он останется, будут долго ему помнить и поминать, как он ляпнулся (будут, пожалуй, и посмеиваться), — ни им всем, ни ему, талантливому, это не нужно, верно?

Он обиделся и уволился немедленно.

Мягко стелили, спать было жестко. В их памяти он таким и остался: говорливый, белолицый, встряхивающий чубом, всегда улыбающийся и полный идей, как полон коробок спичками. Именно что Хворостенков и именно что прогорел. Он ведь признал, что в последнее время предлагал неумно и что его как бы заносило все круче. Так что, когда итожили, порешили сурово: болтун, мол, и прогнали за дело. Тогда сделались модны такие разговоры. Хотя, возможно, не все думали так. Во всяком случае, двенадцать или четырнадцать человек, молодых сотрудников и сотрудниц, кто вдруг получил квартиру в новом доме (ведь рядовые, недавние, совсем зеленые, им бы еще ждать и ждать), никак не должны были бы вспоминать о нем плохо, грешно им, что называется, и не к чести. Именно он, Хворостенков, в пик говорливого своего взлета сказал, точнее, выкрикнул: «Квартиры—рядовым сотрудникам»—фраза из банальных, звучавшая сто раз, но в его жарком словесном потоке обновленная, несла фраза свежий заряд, так звонко и чуть ли не торжественно он ее повторял, притом так неотвязно, настырно страстно, что им и вправду *дали*. Дали — потеснив в первой половине списка начальство, а во второй — всяких знакомцев, к строящемуся дому присосавшихся и, как водится, уже доказавших бумагами свою причастность и даже необходимость; дом вот-вот сдавался. Не сильно их потеснили, однако же на двенадцать, на четырнадцать квартир. (В числе получивших был один мой старший приятель, друг той

поры, от кого я узнал о Геннадии Голощекове побольше и попространнее. А впервые о Голощекове я услышал еще в вузе, где обучался позже него и где даже восемь—десять лет спустя жил миф и оставались в ходу его яркие, колкие словечки: следы необыкновенного говоруна в стирающейся памяти поколений.)

Обида оказалась глубокой: перейдя в новый НИИ, Геннадий Павлович замкнулся, стал молчалив. Он стыдился теперь своей говорливости и дутых идей, которые, как ему казалось, лопнули мыльным пузырем, лишь забрызгав людям глаза. Товарищам, а также девушкам, что были в него влюблены, а их была целая группка, он не сказал, куда перешел работать; спрятал следы.

Он хотел забыть. Он побаивался, что в новом НИИ как-нибудь узнают о былой его активности, прослышат, а там уговорят, а там выберут, скажем, в профком или в бюро, а там пригласят выступить — и пошло, поехало. Он боялся, что молва опередила и что его уже знают. Но никто не знал. Его никуда не выбрали, не пригласили. Он жил в слишком большом городе, в огромном городе, и он как бы растворился, исчез, ушел навсегда, перебравшись, если по географии, всего-то на три километра к северу. (И вот уже с облегчением он почувствовал, что вокруг незнакомые!) В контактах по работе Геннадий Павлович теперь следил за собой, подавлял желание говорить, стараясь отвечать кратко, а по возможности обойтись словами: *да* или *нет,* или *я постараюсь,* или *это едва ли получится,* — особенно же сдерживая откровенности, как свои, так и встречные, то есть откровенности тех, кто искал его приятельства и, пусть невольно, хотел о новом сотруднике знать побольше. Но в душу, к счастью, никто не лез. И можно было жить спокойно. Тем более что здесь, в НИИ, как раз догорал свой Хворостенков, кажется, с фамилией Петянин или Петюнин; финалы схожи — Петянин был узнаваем, он был столь же фантастичен, прекрасен в идеях, а на взгляд извне столь же смешон и нелеп, так что Геннадий Павлович как бы лишний раз увидел себя со стороны и лишний раз подумал, не дошла ли молва, какое счастье, что не дошла.

В параллель сошли на нет его контакты с людьми искусства, *с именами.* Он иногда общался с ними в вечерние часы, по-домашнему, отчего приобрел тогда неболь-

шое, но своеобразное влияние одинокого интеллектуала и философа, к которому приходят на поздний чай. Был род клуба. Геннадий Павлович уже тогда собирал книги по философии, так что был гостеприимный холостяцкий дом, квартира, где можно вечером посидеть, умно поболтать, полистать редкое издание: «Есть такой Голощеков, не бывал у него?.. Ум, эрудиция и какой интеллект! Человек, который почти все читает в подлиннике! — эта слава также сходила на нет, тем более что когда Геннадия Павловича наряду с другими умниками и высокого ранга специалистами зазывали крупно поговорить на всякого рода *круглые столы и открытые вечера,* приглашали повторно, приглашали письмом или устно выступить там-то и там-то, он уж никуда не ходил. «Я уже не боец», — любил повторять он с улыбкой. Он отказывался и отшучивался, при том что, быть может, совсем не шутя боялся и здесь своего очередного хворостенковского полета к небесам и прогорания.

Люди искусства, с именами и без, хаживавшие к нему на чай, как-то сами собой перестали бывать. Он не очень жалел: он был уже закален и знал, что такое, когда от тебя отвернулись. А затем прошло лет пять, и оказалось, что потускнел не один он. Оказалось, что сверстники и приятели, немногим пережив блестящий, звездный его период, также потускнели или прогорели, после чего также отодвинулись в сторону (иные в обратном порядке — сначала были отодвинуты или отодвинулись в сторону, а уж затем потускнели, поблекли) — так или иначе, они сошли. Они растворились в пространстве и во времени, а думали, что растворились в людях. Потускнев, каждый из них словно бы спешил остаться один. Как и он.

В вузе Геннадия Голощекова обожала группа студенток младшего курса, *стайка,* как говорил он. Он их, в общем, не различал. Он лишь находился в поле этой постоянной любви-обожания, этого поклонения, явно выраженной их симпатии, которая (он тогда не осознавал) значила много. Когда пришли зрелые годы, стайки, увы, не было — вокруг иные, незнакомые люди, и в медленно потянувшемся ином времени сойтись с женщиной надолго Геннадий Павлович, как оказалось, не очень-то умел. Семейная жизнь не складывалась. Его постигло несколько бытовых разочарований, даже неудач. Однажды он вдруг вообще засомневался в своей способности жениться, то бишь жить с женщиной постоянно, долго,

и тогда же он впервые подумал, что, вероятно, ему предстоит ровная одинокая жизнь, что нет друзей и нет любимой женщины, но что есть длящаяся жизнь духа и есть какая-никакая служба в НИИ, небольшая квартира, оставшаяся после рано умерших родителей, книги.

Когда сколько-то еще лет спустя я пришел к нему по некоему книгообменному интересу, Геннадий Голощеков был в полном одиночестве. Я помнил вузовские легенды: я удивился.

В детстве своем я прежде всего помню снег: много снега.

В дни, когда умирал мой брат, я был совсем мальчик, и его смерть, страдание как таковое еще не могли тогда ни сопричастить, ни войти в меня глубоко: страдание было рядом, но было — не мое. Брат умирал в своей кроватке. Мама плакала. Стояла зима. Я испытывал лишь тупое беспокойство, пришибленность в чувствах и смутный испуг, перемежающийся даже и любопытством. И кто-то из старших ребят барака сказал, видя, что я ничего в горе понять, почувствовать не могу, только вздрагиваю и только губами трясу, когда произносят имя, — кто-то из них, из старших, сжалился и сказал, рядясь во взрослого, а может быть, и правда желая облегчить и передавая ранний опыт взрослых: *выпей...* — когда водка нашлась и принесли стакан, я, поразмыслив, с некоторою даже важностью согласился, после чего выпил вдруг и разом сразившее меня количество спиртного. Я оказался кувыркающимся в снегу: помню, что снег был глубокий. И что холод я ощущал проникающими в меня тонкими приятными иглами.

Мне стало вдруг совсем тепло и весело, когда я кувыркался в глубоком снегу. Я прыгал в сугроб, переворачивался и обеими руками взметал вверх, над собой облако искристого белого цвета. Шапки на мне не было. Две девочки, проходившие мимо, смеялись. Я вставал, я падал, а упавший, непременно переворачивался и подбрасывал ладонями снег кверху, тер снегом лицо, снежинки слизывал и ел их, ел, ел, и было так светло в глазах и оранжево от приставших к ресницам маленьких солнц. Если же упасть и лежать лицом вверх, небо в другой стороне было совсем синее, высокое.

ГЛАВА ВТОРАЯ

К тому времени, когда Геннадий Павлович Голощеков сделался молчаливым, уже не по принуждению, а естественно молчаливым, жизнь определилась. Он не общался, он редко сходился с женщинами, но, и сойдясь, не откровенничал — он бесконечно много и уединенно читал. Чтение в конце концов поглотило его, примирило, он сделался счастлив, живя жизнью книг, и, как всякий, кто подолгу о прошлом думал, в итоге пришел к тому, что на пылкое свое прошлое оглядывался уже с улыбкой, а подчас с большим и искренним удивлением, как на жизнь другого человека, господи, чего там только не было! (И ведь именно что прогорело. А какое, казалось, пламя. Какой стоял треск.)

Правда, в памяти, хотя и тускнея от лет, жила та стайка девушек. Из них, в него влюбленных, Геннадий Павлович никого тогда не выбрал, не сблизился, даже не отличил именем, ибо парил в облаках и был, кажется, влюблен во всех них сразу. С улыбкой рассказывал он, как ему нравилось, что они приходят заранее, за десять минут, и что садятся в первых рядах, слушая каждое хворостенковское его слово, и как, обласканный взглядами, Геннадий Голощеков тех лет любил, вероятно, свою славу, а не этих девушек; может быть, он любил саму их влюбленность в него, любил высоту их чувства и, кажется, думал, что это длится вечно.

И лишь позже, когда сдуло пену, он вспомнил, что они смеялись и что они огорчались, что у них были не какие-то, а одинаковые нарядные туфельки и что, если шли вместе, девушки ступали очень ровно, как бы и на ходу подравниваясь. Они отлично знали свое девичье обаяние, но, скромные, не могли же они выявлять, потому и шли рядом, вровень, чуть-чуть потупив глаза, и стало быть, вместо ряда прекрасных молодых глаз выявляя для начала лишь ряд туфелек; в пушкинском смелом веке сказали бы — ножек. Одна, с черными тревожными глазами, держалась обычно немного сзади, как бы соглашаясь, что с ее глазами никак нельзя даже на полшага вперед, и даже вровень, шаг в шаг, когда такие глаза, тоже нельзя нескромно. Страх как соблазн. Быть может, именно она разыскивала Хворостенкова, когда он, замолкший, прикусивший язык, перешел в другой НИИ. (Но нет: ее, с черными глазами, он также нисколько не выделял, это уже поздняя не-

вольная подтасовка, это уж память сейчас старается — он же никак их не разделял. Он знал их *вместе.*) Их было пять или шесть.

Так что на скучных своих лекциях (как и на вечерах знаменитых поэтов) пять или шесть красивых девичьих лиц держались вместе — красота смыкалась в строй. Казалось, они в стайке лучше защищены. Надеяться на свою и отдельную судьбу, но до известной поры быть вместе — так было проще. Они были слишком юны, каждая из них могла ночью думать и сколько угодно вздыхать о Геннадии Голощекове применительно к себе одной, но днем каждая рыбка спешила в стайку, в общую толщь воды, в спасение и укрытие общностью.

Возможно, он сумел бы и заметить, и увлечься, и оторвать от стайки, сумей сама она (любая из них) хоть как-то отделиться. Но в перерывах он общался не с ней, а с ними, он подходил не к ним, а к ровному строю красоты, красота же обезоруживала, и никого из них в отдельности он не видел. Да, была темно-русая, с подрагивающими черными глазами. (По ней было заметно, волнуется ли вся стайка за него, остроумен ли он сегодня — нервничает ли?) Истинно одухотворенное лицо было все же у другой — у беленькой, внешне спокойной и, кажется, чуть склонной к нервическому облизыванию губ.

«Но не гарем же мне нужен!» — упрекал он себя уже тогда за неумение выбрать. Строгий и целомудренный юноша, он объяснял себе, что, по-видимому, он еще не созрел, мол, все впереди — пока же он, мол, любит их всех, да, да, любит и не желает выбирать, не станет он выбирать, не хочет!.. Мысли возвратились к предстоящей полемике. Сидя на авансцене, за красным столом с графином воды и перевернутыми чистыми стаканами, Геннадий Голощеков ждал первой же возможности высказаться, иначе с минуты на минуту мог вновь выступить серьезный (и достаточно обаятельный) соперник из комитета, отчаянный полемист, которого побивать было каждый раз непросто. Но не искоса поглядывать за противником, а одолеть — творить на порыве преодоления. Чувством, которому и сам удивлялся, Геннадий Голощеков почти физически ощущал, как возникает (он знал, что она есть) та высокая духовная струна, на звук которой слушающие люди откликаются и вдруг отвеча-

ют; вздрагивают. После чего сам собой проносится живой ветер по рядам партера, ветер-вздох, ответный и единящий людские души с твоей куда лучше, крепче боя ладош, рукоплесканий и всяческих одобрительных криков из дальнего ряда.

(Но и крики бывали к месту. Голощеков запнулся, случилась пауза, и тогда дружески и негромко молодой парень выкрикнул:

— Гена, Гена, мы здесь!

Так трогательно и неожиданно вышло. Засмеялись. И сразу вокруг загудели: гуу-ууу... гу-ууу... пронеслось по рядам, давай, давай, Гена, говори дальше, Гена, — *мы все здесь.)*

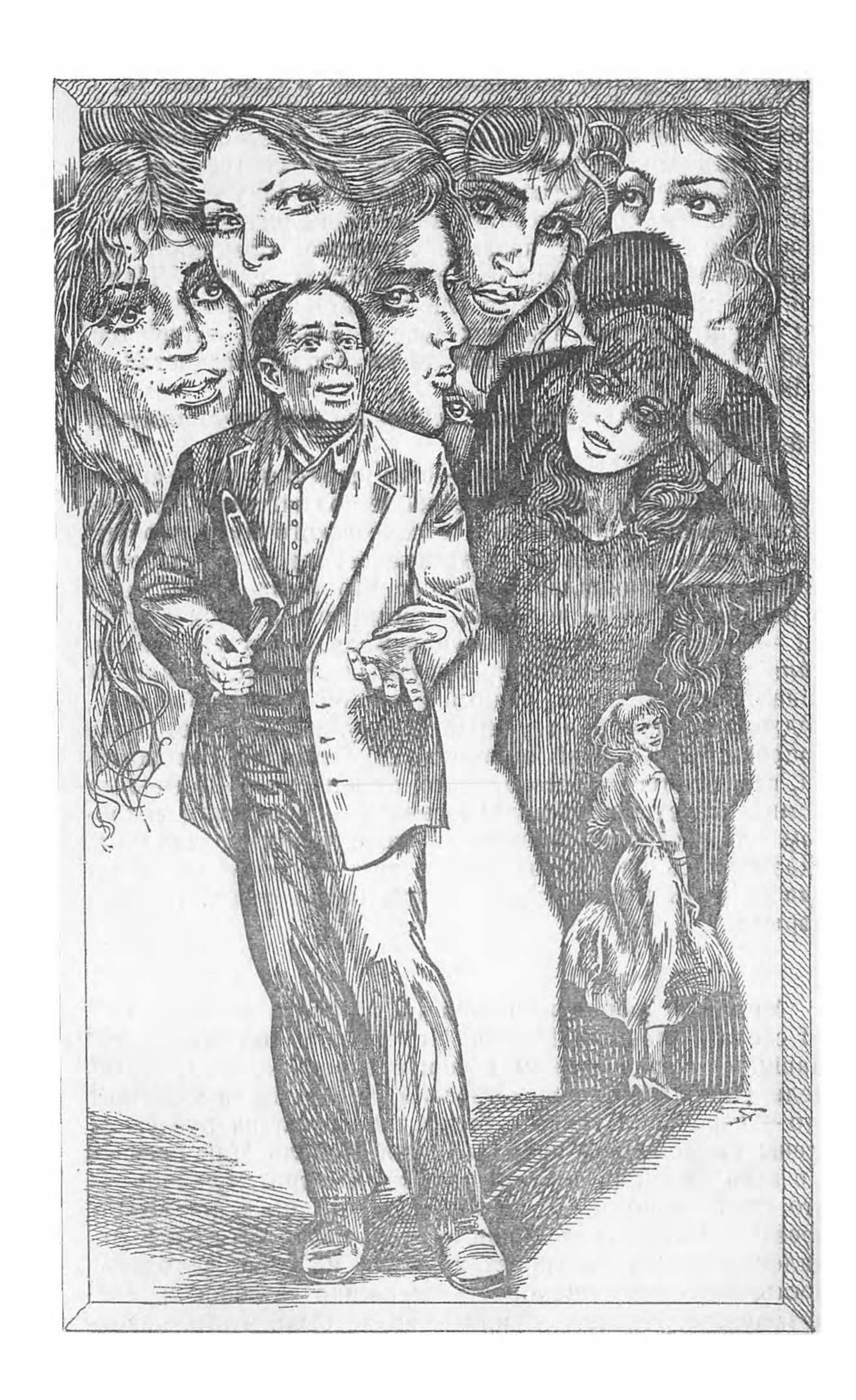
Даже и туфельки их были одинаковы, словно бы и туфельки не хотели отличаться, обнаруживаться, — стайка располагалась всегда в первом или во втором ряду, справа, так что, выступавший, скользнув глазами, он первым делом видел эти светлые туфельки, светлые же стройные ножки, а затем их лица, а уж затем, отметив, что стайка в покое, оглядывал аудиторию, иногда, впрочем, совсем небольшую.

После вуза он распределился работать в одну из научно-исследовательских организаций, а спустя три года влюбленная в него стайка девушек, не вся, но большей частью, распределилась туда же, вслед за ним — «след в след», притом что столь нацеленное их трудоустройство ничем иным не объяснялось. (Одна из них, с тонким породистым лицом, уже вышла к тому времени замуж и родила мальчика. Но все равно она обожала Гену Голощекова и, совмещая с обожанием семейную жизнь, также приходила и также ловила каждое его острое словцо, когда он гремел, стоя теперь за зелено-бархатистым столом технаучсовета. Стесняясь своего замужества, она садилась теперь не в первый и не во второй, а в третий ряд. Если же провожали до метро, она шла только первые пятьдесят шагов, затем сворачивала, уходила к семье, к сынишке, нет-нет и оглядываясь на Гену, а также на подруг, провожающих его, а также на группу молодых и немолодых людей технаучсовета, окружавших Геннадия Голощекова, который с ними вместе скрывался за поворотом и все говорил, говорил...)

Распределившиеся вслед за Голощековым, девушки все к этому времени прибавили в женственности и рас-

цвели. Секс не был тогда столь загодя определяющ, и Геннадий Павлович не помнит, была ли, скажем, у кого-то из них замечательная, привлекающая издалека грудь, но, конечно, тайна и в те дни умела оставаться тайной и вдруг обернуться бытовым очарованием; он помнит, к примеру, тот момент, когда платья стали им тесны, и вся стайка, как воробьи, загомонила о магазинах. Платье в те годы девушка так уж сразу купить не могла: ждала, выбирала, колебалась, а старое платье на ней уже ничего не ждало, только теснило. Еще помнит Геннадий Павлович третью из них, с торчащими, туго заплетенными белыми косицами, потом ее же — с длинными волосами волшебного цвета, рассыпанными по плечам, а потом вдруг с короткой стрижкой, делающей ее похожей сзади на светловолосого паренька. Но это, кажется, и все, что он помнит. Имен не помнит. Разговоров не помнит. Да, да, стоило одной из них выделиться, обнаружиться, тронуть его за рукав чуть более властно, он бы, вероятно, не устоял, предпочел, а общая их любовь рухнула бы незамедлительно — и потому-то каждая, казалось, не желала рисковать. Если обнаружит себя одна, то, занервничав, выявит себя другая, затем и третья, отчего скромная их гармония рухнет, сменившись индивидуальной разностью выделяющихся и броских причесок, платьев, резких слов, выпячиваний, обидных женских прозвищ и прочих откровений эгоистической войны; они же невольно (и неосознанно) предпочитали мир. И совсем не сразу в НИИ та, третья, вновь распустила волосы *по белым плечам,* и Геннадию Голощекову, видному экономисту, трибуну, деятелю, ее пряди, длинные и белеющие, как молочные, казались излишне вольными, смелыми. Старики там неожиданно оказались более тонкими ценителями. Старики просто сходили с ума.

Когда же он стал смешон, нелеп со своими ослепляющими идеями и когда попросили его уйти по-доброму и доброго имени ради, Геннадий Голощеков перешел на новое место совсем неслышно, тихо. Стыдившийся краха, он спрятался, зарылся в один из неброских новых НИИ, не подавая о себе ни знака, так что никто из прежних его не известил, не нашел; молодые женщины также не нашли, он решительно не желал их видеть и сказал им, что перебирается из Москвы в Питер. Их он стыдился особенно. Только лет десять спустя они стали вновь мало-помалу возникать в памяти. (Он вдруг



вспомнил и долго, неотвязно держал в себе, как та, с черными глазами, шла за ним следом по коридору общежития, хотела что-то сказать — однако, смущенная, догнать никак не решалась. И каблуки ее туфелек стучали: так-так... так-так-так...) Теперь, к году год, их забывающиеся лица все более обволакивались этаким светоносным чувством: поздней любовью. Возникали обрывки давних разговоров. Отдельные их слова. (Напоминало цитирование — но где книга?) К сорока годам он вспоминал тех девушек уже с сильной, ясной тоской. И лишь за пятьдесят тоска отпустила: осталась память.

Черноглазая подбегала, лишь на какую-то секунду опережая других.

— Поясните, Геннадий, — она спрашивала о свободе в стихах Ахматовой. (О свободе поэзии и как эта свобода связана с прорывами человеческого духа вообще: отобранные заранее слова теснились; жаль, от волнения она всегда запиналась.) Оттого что была с ним одна и первая, глаза ее делались огромными, а черные зрачки — испуганными. Но секунда мала, и вот уже возникали рядом подошедшие подруги из стайки, возникала тональность красоты, единый и общий фронт обожания, подходили, напирали усатые сослуживцы, и вот уже вопрос-другой-третий сыпались на Геннадия Голощекова, всеведущего и всезнающего, от живописи Шагала до комплекса строящихся пятиэтажек, — с каждым вопросом его обступали плотнее, и та, с черными глазами, оказывалась уже во втором, в третьем ряду, оттесненная и, быть может, сама испугавшаяся своего первого порыва.

Милая и добрая женщина (жена этого наглеца, этого скота!) угощала Нинель Николаевну коржиками домашними и еще свежим айвовым вареньем, а он — Нинель Николаевна почувствовала, теперь-то она помнит это — переводил глаза с болезненно отекших рук своей жены на довольно изящные руки Нинель Николаевны. Но ведь мужчина смотрит так, как смотрит мужчина, — это естественно, и что же иное должна она в том чувствовать?.. Она, кажется, ищет теперь свою, хотя бы и отдаленную вину; не проступила ли на лице ее одинокость, известная ущербность, женщина за сорок и, мол, незамужем. Но нет; извините, но не было этого, никог-

да не было, и не может проступить на лице человека то, чего нет.

Когда она пришла после столкновения с начальством и расплакалась, он ведь обронил, утешая. «Жаль, Нинель, *жены нет* и не скоро будет. Она бы лучше, чем я, тебе посочувствовала», — и был тут искренний вздох, да, да, даже вздох его был на своем месте и в нужную минуту, который, впрочем, теперь задним числом можно осмыслить...

Геннадий Павлович Голощеков, мужчина за пятьдесят, с изрядной уже сединой и с грустными глазами, поднял с заснеженного асфальта свою шапку, надел. Было холодно. И надо было добираться домой. Как-никак ночь (повторяемость бытия). Геннадий Павлович шагал по направлению к дому с малой надеждой на случайное ночное такси, но шагал не спеша, отдыхая, по-ночному уже расслабившийся, и (в тон себе) думал — как спокойно, как врачующе спокойно лежит над городом ночь. Как потухли дома, потемнели улицы. Как это, вероятно, необходимо столь шумному и большому городу. Чудо сна! На этой вот мысли о всех уснувших (и о врачующей их ночи) его едва не сбило снегоочистительной машиной, вдруг выбравшейся из переулка.

— Ч-черт! — вскрикнул он. Ушиб был возле бедра, но и в колене болело. А высунувшийся в окошко водитель (с мужественными, героическими складками лица) матюкался — улочка была безлюдная, бессвидетельная, и водитель вполне мог отвести душу. К счастью, обледенелый переход имел наклон от колеса во внешнюю сторону, иначе бы не уцелеть, думал Геннадий Павлович, а на крики водителя не реагировал никак: он и без него хорошо знал, что сам виноват. Однажды может случиться беда, философски рассудил он; он отряхивал снег.

Снегоочистительные машины — сигналя теперь Геннадию Павловичу на повороте — одна за одной тяжело выбирались из переулка на проезжую часть улицы. Отряхиваясь, Геннадий Павлович вдруг обратил внимание, что от пальто сильно несет пивом: вероятно, облил сидевший рядом Олжус или, быть может, часом раньше Даев, это ведь не имело значения — кто. На пальто были застывшие, чуть желтые льдышки смерзшегося пива, и Геннадий Павлович, приостановившийся, отдирал ног-

тями желтоватые комки. Пальто было совсем неплохое, теплое. С возрастом Геннадий Павлович сделался по-холостяцки бережлив и, быть может, немного скуповат. Жизнь научит! — сказал он самому себе вслух и усмехнулся. И зашагал дальше по направлению к дому. Он шагал по ночной улице. Сделалось грустно, но не оттого, что нет такси, и даже не оттого, что едва не задавили, а оттого, что в его глазах он сам, Геннадий Павлович Голощеков, все еще стоит присогнувшись там, за переходом улицы, стоит и, вглядываясь в свете фонаря, старательно, озабоченно отдирает от ворса пальто замерзшие льдышки, отдирает заботливо и усердно, как и положено их отдирать старому холостяку..

На службе, где Геннадий Павлович руководил отделом, постепенно и с возрастом подступила пора, когда на должности начальника отдела его стали теснить. «На меня охотятся», — шутит Геннадий Павлович, хотя, по сути, ему уже не до шуток. Но он шутит. Или винит раннее свое старение, мол, такова жизнь: если ты слабеешь, другие становятся сильнее.

Он — дома, он занят собственной апатией и некими общими размышлениями о человеке и о человечестве, а там, на службе, высокое начальство в очередной раз кривит рот на его отдел и на недозавершенную работу (и на его, пусть даже узаконенный, больничный лист). Что оттого, что он читает на пяти языках, — лучше б он поменьше болел! На службе некто Птышков, разумеется, молодой и энергичный, бегает, шустрит, заседает, ладно, пусть не бегает и не шустрит, *не принижай врага своего, пусть* он спокойно и солидно заседает с высоким начальством и в который раз намекает, ладно, не намекает, а прямо же и открыто он говорит, что отдел Голощекова вял, глух, что народ там работает вполсилы, а темы их вообще устарели, так что отдел пора если не упразднить, то хотя бы сократить. (И передать половину людей если не ему, Птышкову, то всякому другому, кто активен и деловит.)

Они там говорят, обсуждают, высказывают за и против, а Геннадий Павлович — дома.

Лучше всего представить, что в эту минуту он и впрямь вяло лежит на диване, почитывает книгу в подлиннике, на древнегреческом.

Штрих к портрету. На улице, где царствует Даев, Геннадий Павлович мягок, интеллигентен, малоприспособлен, однако выйдя, так сказать, из уличной новеллы и вернувшись в свою квартиру и в свой обычный уединенный миропорядок, Геннадий Павлович по-прежнему мягок, интеллигентен и добр, это верно, но плюс — он вальяжен несколько и несколько высокомерен. Едва я пришел (особенно в первую минуту), Геннадий Павлович начинает рассуждать иронично, если не насмешливо. Он немного поучает, поругивает. Не спеша, именно что вальяжный и в добротной барской куртке, проходит Геннадий Павлович мимо стеллажей своих русских и иноязычных книг — идет поставить для гостя чайник, голос же его, неторопливо удаляющийся на кухню, продолжает поучать.

Обычно он поругивает меня за практичность (хотя я не практичен), за явную приспособленность к жизни (хотя я приспособлен весьма средне) и за отсутствие желания изучать глубоко мир книг и мыслей (и тут он неправ: желание есть — другое дело, что мало удается). Этот слой культуры поучения скорее всего мифологичен. Но поскольку Геннадий Павлович ведет речь не обо мне лично, а обо мне вообще, то я и не возражаю. Условность — это почти условленность.

Он рассказывает, что он, разумеется, знал, что контакт с Даевым, как и *вообще с вами,* надолго невозможен. Хотелось всего лишь глотнуть грубого и грязного воздуха улицы. Один глоток. И, разумеется, он понимал, что вместе с Даевым в квартиру, в его дом на несколько дней ворвется жизнь сегодняшней толпы, — ну и ничего не будет удивительного, если тот, та, те наследят, натопчут ногами, намусорят и наплюют в душу, этого следовало ожидать.

Затем вальяжность спадает; Геннадий Павлович просто и по-человечески говорит о своей одинокости: в сущности, жалуется. («Хочу до смерти общества, хочу общения с каким-нибудь старомодным университетским профессором, — говорит он невесело. — Хочу знакомства с профессорской дочкой...») Это — апатия. Вдруг ослабевший, Геннадий Павлович день за днем полеживает на диван-кровати, бездеятельный и даже мало читающий. Воскресенье. Он небрит. И — судя по щетине — был небрит вчера.

Он поясняет:

— И чтобы там был свой мир и чтобы вокруг папы-профессора, моего ровесника этак за пятьдесят лет, суетились и мельтешили какие-то молодые люди. А я бы поигрывал с профессором в шахматы. И острил, ты же знаешь, я умею изредка быть злоязычным... Молодые и немолодые люди ходили бы вокруг нас, говорили друг другу всякие умные, тонкие слова, отточенные обдумыванием или вдохновенной импровизацией. И чтобы я — среди них. И бесконечность коридоров и комнат старой квартиры. И чтобы дочка профессора, молоденькая, умненькая и веселая, относилась ко мне с симпатией, да, да, просто с некоторой симпатией относилась ко мне, стареющему и не добившемуся ни чинов, ни высот. А? интересно? Он погружается в этакую ни к чему не обязывающую задумчивость:

— ...Мне, Игорь, был бы сейчас хорош любой центр средоточия — просто некий уважаемый человек, пожилой, порядочный и с людьми вокруг, и чтобы я туда приходил просто так; как приходят свои люди; когда хочется. И, разумеется, не надо никакой дочки.

Он вздыхает:

— И чтобы вкусно готовила толстуха мамаша — чтобы женщины там и мужчины беседовали или вдруг садились в кресла, закуривали и с достоинством, не спеша говорили умные слова или хоть похожие на умные слова и мысли-перевертыши. Всякие там парадоксы, по-русски чуточку длинноватые и ненавязчивые, как в пьесах Чехова...

Помечтав, Геннадий Павлович несколько смущается и прячется за грубоватой интонацией практического будто бы вопроса:

— Ну и что, есть ли среди твоих знакомых такой профессор и его дочка, к которым ты мог бы меня свести?

— Нет.

— То-то.

Я смеюсь:

— Если бы мы с вами, Геннадий Павлович, туда вдруг попали, дочка выбрала бы и предпочла кого-то из молодых острословов — как раз из тех, кто закуривает, *садясь в кресло и не спеша.*

— Знаю: я стар.

— Вы не стары, Геннадий Павлович, вы холодны.

— Вот пусть бы и поделилась теплом — это так человечно!

Нечаянно и проговариваюсь—мол, как бы ему и в домашнем тепле, как бы и у самого старомодного профессора ему не стало одиноко.

— Что ты! Что ты! — Он даже вскрикивает. Он боится этой мысли: мысли, что он уже везде лишний, одинокий, отживший свое.

Спохватившийся, я замолкаю. Я знаю, что Геннадию Павловичу не нужна ни чья-то семья, ни чья-то дочка. Он скромен. Ему бы только сидеть, смотреть на людей. В ту, вероятно, минуту его поманила — и, возможно, осознанно — роль доктора в чеховской пьесе или повести. Роль старого, немножко неопрятного человека, умника в прошлом и добряка в настоящем. Все ходят веселые, живые, а ты сидишь в кресле (зримое отсутствие), и печально умничаешь, и даже вроде бы не живешь, а только изредка куришь. Тем более если в памяти своей ты кого-то любишь. Давняя (и неразделенная?) любовь превращает твои будни в длящуюся положительную эмоцию, тебя же самого делает чище, проще; даже кресло старинное, в котором сидишь, та любовь делает теплее, и мягче, и понятнее, вплоть до понятности некоего предназначения.

Разумеется, сидя в кресле, он хочет в неспешную паузу подавать остроумные, чуточку брюзжащие реплики окружающим людям — но кто этого, Игорь, не хочет в иные свои минуты? Мне ведь и не осталось ничего иного, кроме как брюзжать... ах да, это сказал не я, а сказали мне. Сказал человек, кстати, Игорь, *чем-то очень похожий на тебя.*

Это характерно. Я моложе Геннадия Павловича на десять с лишним лет, я, как он выражается, *из следующих,* и потому люди вокруг него живущие, хамящие, подсиживающие, делающие дела и так или иначе загоняющие и уже загнавшие его в паутину одиночества, — это все люди, похожие на меня. Когда-то личностный акцент обижал. (Я не понимал. Но я понял.) Когда-то я даже сердился, терпел, но степень (и суть) обобщения до меня однажды наконец дошла, я понял, и с того дня яд уже не попадал в кровь — мы общались *просто, как в театре.* И уже без усилий я стал прощать Геннадию Павловичу попытку найти виновных где-то рядом, как стал прощать попытку жаловаться, попытку жить, полеживая по субботам и воскресеньям на диван-кровати в отглаженных брюках, в накрахмаленной белой рубашке, словно все еще ждет он какого-то важного звонка или дела.

Подчас глубина (нынешняя) Геннадия Павловича и особенная прелесть его интеллекта как раз в том, что воспринимать мир личностно он не способен, в частности, не способен замечать, что его слова — зеркало, что личная его одинокость вылезает теперь наружу тем более, чем более он теоретичен и чем более в переменах, в бедах, как и в самой своей одинокости, он винит кого-то *вообще,* винит *похожих на меня.* (То есть, по-видимому, всех тех, кто моложе его на десять, на пятнадцать, на двадцать, на двадцать пять лет, мужчин и женщин, что пришли вслед и вытеснили биологически его из жизни, сделав его умение пламенно говорить — смешным, а умение глубоко мыслить — ненужным.)

Я стараюсь с ним согласиться, а то и успокоить его. В конце концов, прихожу я к Геннадию Павловичу крайне редко — раз в полгода, раз в год. Я ведь тоже умею смотреть на него не личностно.

Он мне — никто.

Вероятно, для его апатии обязательна прежде всего эта картинка, когда в субботние бездельные часы Геннадий Павлович, интеллигентный и умный человек, полулежит на диване в наглаженных брюках и в белой сорочке; закинув голову, он смотрит то в потолок, то на полотно на стене, изображающее рериховскую Индию размышлений, красно-синие горы, белые их пики, притом что размышления самого Геннадия Павловича скользят вовне и к горам отношения не имеют. Он (как и многие в свой час) пробовал когда-то проникнуть в их красно-синий мир, но не нашел там обещанного покоя и, увы, вообще ничего, кроме пресноты, скуки.

С полотна он переводит взгляд на календарь. Сегодня и завтра на службу не идти, дальше — понедельник, когда он вызовет врача, если апатия совсем одолеет, или зачтет его сам себе за библиотечный день, хотя начальство зачету радо не слишком. Он лежит, он едва встает, чтобы выпить чаю; он почти не ест. В понедельник, когда он будет полеживать на диване, в его отделе — в двух смежных, как длинная кишка, комнатах, — из полутора десятка его сотрудников те, кто постарше, будут покуривать, кто помоложе — посмеиваться на его счет, мол, *Дублон* наш опять дома уединился, *попивает, как же иначе,* а злодей Птышков будет вбегать к высокому начальству и там фыркать:

— О каком научном контакте с их отделом может идти речь, если Голощеков опять на бюллетене...

В один из таких понедельников, едва я вошел, Геннадий Павлович стал жаловаться, что апатия — его бич, беда и что, ей-богу, его скоро выгонят с работы и правильно сделают. Потерян некий итогово-отчетный лист, так как Геннадий Павлович взял часть материалов для авральной работы домой, а здесь его настигла апатия. Впрочем, отчитаться он успел и сумел. А вот бумагу потерял. И никак не найти.

С работы названивали, с самого утра разъяренные голоса кричали на него в трубку, он же был болен, был вял, и это было болезнью, а не было только вялостью. И когда они кричали, даже грозили, он совершенно искренно отвечал:

— Не могу найти... Да, я лежу... Да, болен.

И вот — звонок в дверь. Пришел человек, мужчина, и Геннадий Павлович как-то сразу испугался, потерял лицо, оттого только, что человек, едва войдя, прошагал в комнату и, оглядевшись, этак небрежно сел в кресло. Заговорил человек грубо, жестко. Спрос — дело нехитрое, тем более нетрудно вести себя по-хамски, если тот, к кому пришел, разбит длительной апатией, заторможен и настолько далек сейчас от дел, что уж заранее чувствует себя виноватым и получающим зарплату зря.

Хамоватый мужчина ругал, а закончил просто:

— Вы поищите, поищите. Вы ведь потеряли.

— Где же я поищу?

— Да хоть в этой горе...

Хам еще и пнул ногой гору книг, каких-то бумаг и коробок из-под обуви, тоже почему-то оказавшихся посреди комнаты и украшавших общий вид (вид не столько сорный, сколько громоздкий). Он пнул ногой, затем перешагнул и прошел сам на кухню, налил себе стопку водки, выпил — затем, вернувшись и отстранив, почти оттолкнув вяло склонившегося над бумагами Геннадия Павловича, подступил к телефону.

Он позвонил, видимо, вышестоящему, а может быть, начальнику первого отдела.

— Нет, он не пьян, — сказал он, — но тут такой бардак, черт голову сломит. Завал книг. Что значит, в каком он состоянии? Я же не психиатр. Шут его знает,— скользнул он глазами по согнувшейся над бумагами фигуре Геннадия Павловича, — обычный он, но только пришибленный, дохлый...

Докладывая, он одновременно водил кистью руки — указывал Геннадию Павловичу:

— Вы все-таки ищите, ищите...

И вот мы — я и Геннадий Павлович, два взрослых человека — лазали и искали: ползали на коленках по завалу книг и бумаг, у *холостяка, разумеется, горы книг — хоть что-то в жизни,* как сказал тот хам по телефону своему начальству, он докладывал, но он еще и рассуждал: холостяк, мол, без книг — это просто развалина или пьянь. Ползая, я время от времени извлекал бумагу — не эта ли?.. Как всякий ценитель, Геннадий Павлович, прикупая книги, с удовольствием перебирал их все вместе, раскладывал, рассматривал, читал, но так случилось, что апатия в этот раз застигла его не только посреди отчета, но и посреди перебирания книг. Так что в комнате была и гора книг, и гора отчетных бумаг.

— Не эта ли?.. — спрашивал я. И опять: — Не эта?

Тот тип, хам, в отдельные минуты все же смотрел на меня как на возможного собутыльника Геннадия Павловича, предполагая, что пили вчера и что сегодня мы бы тоже хоть понемногу выпили, но вот он пришел от начальства, и потому мы тихо умираем, но похмелиться в его присутствии не смеем. Он жестко улыбался; сидя в кресле, он покуривал и стряхивал пепел на пол: в сарае, мол, как в сарае.

Он мне очень не нравился, но, боясь Геннадию Павловичу навредить, я, гость раз в полгода, не вмешивался и тем более не шел на ссору.

Тот тип ушел.

Я спросил:

— Это и был Птышков?

— Нет.

— А кто?

— Один из них. Его человек...

Работа в НИИ не доставляла Геннадию Павловичу с его умом никаких сложностей; были похвалы, было немало поощрений, однако он и в лучшие дни не притворялся и отношения не скрывал: он считал работу свою делом незначительным. Но пришел возраст с признаками раннего старения, и Геннадий Павлович уже не устраивал ни тех, кто когда-то его хвалил, ни тех, кто сейчас был в его подчинении.

(Работа, в сущности, его уже мучит.)

Пауза.

Тот человек ушел, и вот Геннадий Павлович, хотя и вялый, хотя и после определенного служебного унижения, но делается вновь по возможности вальяжен, рассудителен. Я (ему не мешая) молчу. В эту возвратную минуту особенно видно, как потускнело былое великолепие духа. Его слова малоинтересны. Он повторяется. А одиночество и даже потеря бумаги вдруг ставятся опять в вину мне. Нет, не персонально мне, а мне вообще, мне как человеку вполне семейному, вполне работающему, вполне поладившему с жизнью, и всякие тут другие вполне, вполне, вполне, которых на деле у меня, быть может, и нет, но и оспорить которые я не могу, иначе он будет думать, что к тому же я отнимаю у него и последнее — право быть обиженным. Когда душа жалуется, дух живет. Разумеется, Геннадий Павлович достаточно умен, и, разумеется, обвиняет он, изысканно и в меру обобщенно, *его окружающих*. Но ведь этих окружающих нет: никого нет. Есть только я, раз в полгода к нему приходящий, более или менее случайный человек и случайный приятель — просто сосед по человечеству, как выразился он однажды.

(Но удивительно вот что. Я и правда уже привык чувствовать себя в его судьбе отчасти виновным; и чувствую это, едва переступаю порог.)

Помнится, речь его была ярка и колка именно за счет необщепризнанных суждений.

— Я настораживаюсь, когда беру в руки всякую книгу.

Так сказал он о необходимости веры вместе с необходимостью неверия когда-то в пору своего блистания.

Только что был тот хамоватый тип, и мы оба ползали, ища важную потерянную бумагу, но вот, непосредственно за той, следует иная минута: мы вовсе не ползаем, а сидим в креслах неподалеку от той самой неприбранной горы книг и бумаг, толкуем, рассуждаем, сидим в довольстве собой и не без значительности; Геннадий Павлович читает Сартра, бегло мне переводя. Мы не те люди, что оправдывались. Мы — другие. И гора книг — другая гора, и бумаги вокруг нас другие, так что если сейчас мы ту бумагу случайно найдем, наткнем-

ся, то, пожалуй, и не вспомним, зачем она, в руки не возьмем — мол, бумажонка.

Сурово и одновременно доброжелательно Геннадий Павлович объясняет мне, хоть я и не просил, почему мне не следует, *не должно* писать повестей-портретов.

— Портрет ничего не может выразить, даже и того, что он портрет.

Еще:

— Портрет, как всякий жанр, — заблуждение. Игра с собой. Но и хуже — игра с читателем.

Еще:

— Портрет и сюжет — два глупых всеобщих мифа, за которые пишущие люди держатся, как римляне за греков.

Затем Геннадий Павлович наконец успокаивается, стихает. Он не перебарщивает. Чуткий.

Я встаю. Пора.

— И отчего эти апатии? — спрашивает уже с искренним возмущением Геннадий Павлович, прощаясь со мной.

Он вздыхает:

— Совсем замучили. По две-три недели не могу книги прочесть, не могу даже пальцем пошевелить...

Мне хочется, как это бывает в завершающемся разговоре, также пожаловаться, сказать, что я, мол, тоже не примерен и тоже по две-три недели в течение года ухожу в *бега*. Да, да, тоскую, как бродяга, и не могу жить в семье, ухожу. Да, две-три недели каждые полгода. Да, дергаюсь. Да, бывает и чаще... Но я не скажу ему — не стану соединять одно и другое, хотя, может быть, эти наши отхождения от нормы (его апатии и мои побеги) как раз соединимы. Я промолчу, так как, по мнению Геннадия Павловича, ничего подобного со мной быть не может. Тут что-то — что не в словах. По выданной мне роли у меня уже налажен контакт с людьми и с жизнью вообще, и, стало быть, я не могу здесь пожаловаться. Ни у него. Ни у нее. Меня не поймут. Он подумает, пожалуй, что ирония.

У Нинели Николаевны на работе тоже непросто: возможно, она слишком требовательна к людям, но уж такая она. Она молчит. Но молчание ее всегда чревато. Она, к примеру, терпеть не может каких бы то ни было делишек, тем паче продаж и перепродаж, а как раз се-

годня сослуживица принесла на работу туфли, которые оказались ей велики. Или, напротив, — тесны; она в уголке, возле шкафов жалуется на свои натертости, а заодно показывает и туфли — ее обступают, и кто-то, сослуживец, соглашается купить для своей, что ли, жены и передает уже деньги, как вдруг, сначала ими не примеченная, резко вмешивается Нинель Николаевна. Оказывается, она не пошла на обед. Она возмущена, и даже не мещанским их дельцем, а мещанской их суетливостью вокруг, улыбками их, радостью — и ведь мужчина, мужчина купил, какое падение!.. Бацнув дверью, Нинель Николаевна уходит наконец обедать. Туфли скоренько продаются. Но на лицах сослуживцев удовольствия нет. Обряд испорчен. И, разумеется, недовольны (мягко говоря) Нинелью Николаевной особенно женщины, так как пять минут покрутиться возле туфель в обеденный перерыв на службе — милейшее ж дело, радость! Чего она к нам вяжется?.. Но ведь еще и после работы Нинель Николаевна, выйдя из проходной, пристраивается и шагает чуть сзади той самой сослуживицы на пути к автобусу.

И негромко ей говорит:

— Ну, как *дела?*

Мол, туфли, блузки, удается ли и дальше спекулировать вам, милая, — хорошую ли дают цену?

И, обгоняя, шепчет:

— Продолжайте, продолжайте — желаю успеха!

Но печальное происходит через месяц-другой, когда Нинель Николаевна вдруг понимает (*вдруг* через два месяца — для нее характерно), что женщина вовсе не перепродавала, а по необходимости и за нормальную цену принесла продать, сбыть купленные для себя туфли и что именно тесны были туфли, малы, куда ж деться. Понять — это ведь еще и простить. С прощением вместе всколыхнулась совестливость, Нинель Николаевна теперь уже и сама додумывает (и надумывает) подробности: сослуживице, мол, деньги были остро необходимы, бытовая драма, и муж, мол, попивает, и ребенок, мол, болен. И далее и все более и более привносит в тот случай Нинель Николаевна жалостливой психологии, так что в одинокости своей уже страдает, страдает подлинно и больно. В отделе давно забыты те туфли, мелочная стычка возле шкафов забыта, уже были другие, как бы сезонные стычки меж сотрудниками, и эти, другие, тоже забыты, все потонуло в текучести, в жизни, в череде слу-

жебных мелочей, а Нинель Николаевна мучается. Теперь она понимает, как глубоко она была неправа: обидела человека.

Она хотела бы загладить вину, но как? И рассказать (передоверить) некому — и вот, с накопившимися повинными словами и угрызениями, Нинель Николаевна покупает однажды билеты в театр, после чего зовет ту женщину, искренне и дрогнувшим голосом зовет ее пойти вместе в театр, на неплохой спектакль, но та наотрез отказывается. Той и правда некогда: дети. Да она и вообще не хочет!.. И, вспомнив вдруг первопричину, та женщина вызывающе улыбается:

— А знаете, мне интересно, что вы сделаете теперь с лишним вашим билетом, дорогая Нинель Николаевна?! — смеется она, намекая с известной долей наглости, что Нинель Николаевна одинока, что пойти ей не с кем и что — о ужас! — не придется ли теперь и ей продать один из билетов с рук, как были проданы те тесные туфли.

Нинель Николаевна и точно продала билет у входа в театр, твердя себе, что пусть же наконец случившееся станет уроком; довод в пользу; вся в поту и боясь на окружавших ее оглянуться, она заставила себя продать лишний билет какой-то подскочившей девице, продала, вошла в театр, но и спектакль не радовал, ибо внутренние ее мучения еще не улеглись, длились.

В отделе, если по возрасту, Нинель Николаевна самая старшая, сорока-с-лишним-летняя женщина, со следами кой-какой былой красоты, строгая, строго одетая, которую они все терпеть не могут.

При виде курильщика, хотя бы и в коридоре, Нинель Николаевна издает крик, клик лебедя; мол, человек совершенен, и как же можно окружающих тебя людей травить; курить — подло, гадко; курить — все равно что открыть газ на ночь в жилой квартире!.. Она не жалует разговорчивых сотрудников, ей не по душе слишком суетные и деловые, но особенно же курильщиков преследует она, как фурия, как сама неумолимость, отчего уж давно гуляет по коридорам и по отделам НИИ нестареющая шутка, что курить вредно не потому, что можно умереть от рака, а потому, что можно умереть от свирепой Нинели. Облик (да и образ) худой и крикливой полустарухи уже как бы маячит впереди ее жизненного пу-

ти, ожидает ее, чтобы лет через пять — восемь совпасть с ней уже навсегда.

Есть у них К., молодой карьерист, недавно появившийся в отделе и всех раздражающий; однажды решили, что в запланированную уже командировку с К. заодно под видом необходимости отправят и Нинель Николаевну, именно чтобы досадить ему; и чтобы она, в свою очередь, какое-то время тоже не мозолила всем глаза, давала курить. Вопрос был решенный. Они заранее тешились хорошо вызревшей, сладкой мыслью о предстоящем общении их с глазу на глаз в течение двадцати дней, они предвкушали, они ждали, они похохатывали загодя, а затем кто-то из них вдруг сказал, что ему молодого К., этого жуткого карьериста, жалко.

— Нет, мужики, — сказал он. — Как и вы, я этого К. не перевариваю и готов пожелать ему всех зол, но то, что мы задумали, *это уж слишком.*

— Да, — вздохнули и другие, поразмыслив. — Это слишком, да, да, *это* бесчеловечно.

Общими усилиями и с общей мукой они все вместе терпят и как-то выносят крикливую фурию, но каково будет вынести ее в одиночку, нет, нет, мужики, есть же предел!..

Когда появилась молодая и красивая женщина Валя, решено было отдать ей место какой-нибудь стареющей сослуживицы — и, конечно, совпало с желанием избавиться от Нинели. Пошли разговоры: а не перейти ли вам, уважаемая Нинель Николаевна, в другой отдел? А что-то наша Нинель Николаевна плохонька в последнее время — она не справляется с объемом работ, как вы считаете?.. Нинели Николаевне пришлось воевать и, в частности, на волне своего возмущения и гнева пришлось пойти к начальству, там она защитила себя, она именно сумела себя защитить (не более того), но тогда в отделе стали считать, что она сделала некрасивый, подлый шаг — написала донос.

Первое время Нинель Николаевну (отстоявшую свое место и ставку) их разговоры не задевали; она еще победоноснее делала поутру гимнастику, подкрашивалась, прятала, как могла, морщины. Держалась независимо и гордо. Но опять увы, *Нина — это Нина.* Именно когда

страсти улеглись, когда сослуживцы поуспокоились и даже смирились, она спустя месяц-два вдруг стала припоминать и мучиться прошедшей склокой. Ведь как-никак она жаловалась. Ведь это ей (!) кажется, что звонила она начальству в гневе и ярости и что обратилась с жалобой, а что если она обратилась — с доносом? Ведь как смотреть — так и видеть; и разве не предала она даже возможностью этих грязных предположений свою высокую и прекрасную юность? И кому же она пожаловалась — *начальству?*.. Несколько еще дней Нинель Николаевна мучила себя, упрекала, стыдила, казнила юностью, а потом открыла ночью газовые краны, домучив в одиночестве себя до того, что, мол, хватит жить. К счастью, обошлось. Два дня рвоты, две недели тяжелейшей депрессии. Она болела и, разумеется, на службе никто ничего лишнего не узнал. (Она слишком горда, чтоб бить на жалость. Они могли б подумать, что она открыла краны из-за них — мол, угрызения совести. А угрызения были не из-за них — из-за себя.) Она просто болела, вот и все.

В те дни ее пересадили (она не спорила) за стол, что в самой глубине комнаты — как бы в нише, и еще больше стали заваливать работой.

Они уж не пытаются от нее освободиться — побаиваются и только по-прежнему над ней посмеиваются. Она их презирает и по-прежнему спуску им не дает. Строгости с дисциплиной дали и им и ей взаимные дополнительные возможности.

После того как она наглоталась газа, ее лицо несколько дней дергал тик, а сама она впала в полное безучастие.

В такси мы ехали тогда к врачу, с которым была договоренность. Дни напролет до этого Нинель Николаевна молчала. Мы ехали, потом стали у светофора, и Нинель Николаевна вдруг тихо проговорила:

— Вспомнила тот дом.

Мы стояли, пережидая поток машин, а она повторила тихо:

— Вон тот...

И показала рукой дом напротив перекрестка. Обычный московский старый дом. Она не помнила, чем или как он был связан с ее жизнью, не помнила ни событий там, ни людей. Но сам дом помнила. И, когда машина

поехала дальше, она, повернув голову, долго за ним следила. Лицо было освещено; было заметно, как тик дергает левую щеку.

В каком-то смысле *она несгибаемая;* ее не согнуть; она сидит загруженная однообразной и, вероятно, бесконечной обработкой смет, скучной, в сущности, работой, которую тем не менее она рьяно делает. Этим пользуются, — как заведенная пересчитывает она смету за сметой, а они знай подбрасывают. Быть может, они, немужественные, попросту ждут, что однажды она устанет (откажется, уйдет в другой отдел, кто знает?..). Приносимая ей гора бумаг растет. Иногда скопившиеся на ее столе папки с грохотом падают.

Вечер. Час пик. Нинель Николаевна идет с работы домой, вместе с ней с работы движется весь огромный поток женщин из московских контор и организаций, статистических, экономических, строительных, госстроевских, госплановских и прочая, прочая: она одна из тех женщин с высшим техническим образованием, что заполняют всю жизнь простые и непростые бумаги, переделывают, переписывают, вычисляют, составляют сметы, отчеты, регистрируют, собирают и затем пересчитывают все наново. По сути, день кончился. Дня нет. Проделанная работа кому-то, разумеется, нужна и важна и даже присматриваема сверху начальством, однако смысл, некий главный смысл проделанной работы от Нинели Николаевны далек, и потому сейчас, по возвращении домой, в голове не остается и следа — только усталость.

Дома Нинель Николаевна сразу же окунается в свое одиночество: лицо обдает запахом пустой квартиры, бытом, тишиной, несделанными делами. Переодевшись, она машинально принимается за уборку: убирает, чистит. Пройдет там, пройдет здесь. Вдруг, вытирая пыль, с тряпкой в руках застывает и смотрит куда-то вбок — как бы не понимая, а что, собственно, она делает, зачем?.. Главный смысл дела, то бишь смысл чистоты в безлюдной квартире, и тут на миг ускользает от нее. И тогда, наскоро закончив уборку, она садится молча в угол, где есть дело, давно найденное и своей вечной новизной ее радующее: Нинель Николаевна вяжет. Она вяжет то спицами, то крючком, модным и с современными возможностями; в параллель одним глазом она смотрит включенный телевизор. Минута проходит. Другая. Тре-

тья. Руки уже вошли в работу и в ритм — мысли Нинели Николаевны становятся далеки, туманны, не вполне контролируемы и начинают мало-помалу кружить, как кружат смутные образы.

Да, она фантазирует.

И поскольку эти досужие выдумки одиноких вечеров занимают определенную часть ее мышления, у выдумок есть право потребовать свою долю и в живой жизни, есть право и возможность ожить и вдруг войти, вклиниться в разговор:

— ...Появился у нас симпатичный человек. В соседнем отделе, — говорит мне Нинель Николаевна (несколько неожиданно).

— Поздравляю.

— Да, да, наконец-то!.. Знаешь — незаурядный человек, умница, и, разумеется, отношение к женщине, а какой утонченный театрал!

И добавляет:

— Оно и понятно — человек *нашего выводка.* (Упрек мне; но опять же упрек не мне лично, а мне вообще, точь-в-точь как у Геннадия Павловича, когда я к нему прихожу.)

Через год или через полгода (в следующий, скажем, мой приход) Нинель Николаевна отчасти забывает, что говорила прежде, — мечты и фантазии ее производства очень легки и достаточно взвихрены, чтобы за год-полтора, что мы не виделись, вполне рассеяться. Фантазии к тому же неопределенны, неназываемы точно, и можно предположить, меняются меж собой именами, позициями, но не сутью. Так что полгода спустя фантомы могут и рассеяться, и даже вновь объявиться в своем изначальном виде — в виде чуткого ожидания:

— Ах, если бы у нас на работе, хотя бы в соседнем отделе, появился умный человек, театрал, ценитель прекрасного!

И добавляет:

— Но ведь для этого он должен быть человеком нашего выводка.

Она старше меня на чуть: нет проблемы поколений, но есть проблема старения и — кто знает — урок ухода.

Они, мол, остались достойны себя. Они такие. Даже и потесненные, сошедшие на нет, зажатые в одинокие углы, они остались, уходя, самими собой, в них не бы-

ло и нет усредненности и прагматизма — в них было и есть лицо. (И опять-таки это упрек людям *вообще* — людям, из несметного числа которых ее послушать приходит один-единственный человек, я, так что и здесь упрек адресуется ближайшему соседу по человечеству.)

Время берет свое.

Когда я к ней прихожу, Нина уже очень неспешно встает со своего теплого места в углу дивана, что напротив телевизора, и так же неспешно открывает мне дверь. Каждый год приносит лишние полсекунды промедления; и, приходи я с секундомером, ее повзросление, прибавление лет можно было бы вычислить точно. Я, предупреждает она, сегодня вялая... Это значит: она сварит кофе, выложит что-то на стол, но суетиться вокруг стола не станет. Я для нее не гость даже, потому что гостей у нее уже давно не бывает. Она пропускает меня в дверь, возвращается на диван, берет спицы и продолжает вязать. И давным давно нет уж у нас восклицаний: наконец пришел! Ого, кто пришел!.. — ничего похожего нет, хотя прихожу я крайне редко, и она вполне могла бы обрадоваться. Сев в угол дивана, берет спицы, я *вялая*, и тогда я сам иду на кухню, где ставлю кофейник на огонь. Я ей — никто: притом что и по делу, скажем, я ей не нужен. (Тем более не по делу.) Зачем же я прихожу? Этого я не знаю. Так повелось.

Быть может, вся причина в когда-то усвоенном мной чувстве восхищения их юностью, как и в чувстве тихого тоскливого страха за их теперешнюю несудьбу, за их одиночество, а иногда — в страхе за их жизнь, хотя не исключено и то, что оба они более или менее меня переживут. (Он старше меня на десять с чем-то, она и вовсе года на три-четыре, что, как известно, слишком малая фора, чтобы наверняка знать, кто кого похоронит.)

— Как видишь, одна — что поделаешь!

Нинель Николаевна теперь иногда жалуется, чего прежде не бывало.

Она сидит, вяжет — худощавая, но с фигурой; со следами красоты и определенно с неплохой фигурой, но, конечно, без той полноты, без того лишнего жирка, который в глазах подвыпившего и, скажем, простоватого мужчины сделал бы ее привлекательной вдвойне и в известную минуту неотразимой. Так и есть: ее фигура, еще более ее красивое лицо внушают мысль, что она строга, интеллигентна и что ее надо полюбить, тогда только у нее, мол, с тобой да и у тебя с ней в таком возрасте,

возможно, что-то получится. А какие глупые, грубые вокруг мужчины! Куда перевелась их чуткость, их смущенность в отношениях? Что стало с миром? С любовью? Нина замолкает, вяжет. Могла бы продолжить перечень, но зачем. И вновь видно, что слишком худощава, со следами красоты и что ее непременно надо полюбить, а уж тогда искать общения и близости.

Было время, когда подступали сорок лет и когда она вдруг сильно занервничала, но и тогда она не поглощала торты, не пила пиво со сметаной, от которых, как ее уверяли, заметно поправляются. Она и тогда держалась на внутреннем порохе. Правда, она продолжала неуклонно ездить на юг, где само море или сами горы помогают чувственной жизни, но ее поездки на юг — почти привычка. Там иное. (Привязанность Нинели Николаевны к летним отпускам на юге крепится вовсе не на последней надежде.)

Лишь иногда она жалуется, что упустила свое время. Спрашивает:

— Я очень худая?

— Нет.

— Ты скажи на прямой мужской взгляд. А не на прописной.

Смотрит она пристально, ждет, что я скажу.

Говорит:

— В юности такая фигура вполне сошла бы. А вот сейчас такие стройные и тощие не в чести — поезд ушел, так?

Или:

— Помнишь, ты рассказывал о рыбалке своей?

— Ну.

— Ты сказал, что погода была плохая, отвратительная. Совсем не клевало... Всего-то и клюнуло два-три раза, но ты, мол, оба раза от такой погоды был сонный и не подсек...

— И что?

Мы разговариваем с перерывом примерно в полгода, но разговоры наши вполне можно подклеивать один к другому и другой к третьему, отчего они без усилия сложатся в некий непрерывающийся диалог, с некоторыми разве что повторами. (В этой легко склеивающейся, общей записи было бы ощущение, что я прихожу к ней каждый день. Удивительно.)

Но характерно, что в каждом нашем разговоре, в каждой сценке, где Нинель Николаевна жалуется, она жаловаться вовсе не хочет и потому, оказывая чувству сопротивление, в середине своих слов (а уж в конце их обязательно) она хотя бы на миг распрямится и скажет:

— Что-то я жалуюсь, а?.. Наверняка это ты заразил меня нытьем.

Мужчины сердцем ленивы либо грубы; на истинный, честный порыв ее душа откликнулась бы тут же, душа есть душа, и она, Нинель Николаевна, говорит о себе вполне ответственно, уже не считаясь с собой, но считаясь с своей жизнью; с какой стороны ни тронь, душа была переполненной и набухшей в те годы, но душу не хотели, того хотели, этого хотели и еще этого — чего угодно хотели, но не души... идиоты!

И под занавес непременная оговорка:

— Не ты ли, Игорь, как приходишь, заражаешь меня нытьем, а? Или это погода такая?

Фантазия о появлении у них на работе мужчины их выводка, умницы и театрала, как бы соревнуется с другой ее фантазией. (В будущем эта другая фантазия оттеснит первую, одержит верх. Отчасти образ, отчасти ее личная выдумка — мужчина — офицер русской армии периода кавказских войн, стройный и благородный душой, умный, образованный, к тому же чутко относящийся к женщине. Что-то срединное между поручиком Одоевским и подпоручиком Оболенским, — на миг *он* уже здесь, в нашем разговоре, точнее, он в ее сознании, в зеленовато-радужном мире ее глаз, куда спроецировался мир внешний, — там есть воздух и есть объем, Кавказ или Крым, и там движется по узкой летней тропе этот образованный офицер, эполеты его блестят уже издали и издали же следует легкий и отточенно вежливый наклон головы, поклон. Волевым усилием Нинель Николаевна отодвигает, прячет видение — оно для лета!)

И вновь оговорка: дабы не истолковал я ее высокие помыслы как бытовую тоску по мужчине, она ищет свой гнев (как ищут под рукой оружие), находит слова — и, не смущаясь непоследовательностью, что, в сущности, очень последовательно, — нападает:

— Несмотря на все ваши успехи и вашу практичность, изнутри вы неверящие; и лишенные светлого начала — нытики!

Запись полгода спустя:

— Вы — жалкие прагматики, вы хуже, вы даже много хуже, чем прагматики, вы — специалисты!..

И еще:

— А посмотри, как вы гнетесь, как прилипаете к жизни, как подползаете друг к другу: в своем НИИ слышу ежедневно, как вы разговариваете с хоть мало-мальски влиятельными людьми, да вы же, говоря с человеком, оглядываетесь, и *на всякий случай* вас переполняет тихая дрожь, вы как слепцы, что боятся наткнуться на забор...

Нина — мягче, добрее, женственнее. Но иногда ее ум именно таков — мужской лаконичный ум, с жестким стержнем одиноких раздумий. «Человек устает и вознаграждает себя за нереализованную юность, как умеет, но чаще всего — выдумками. У меня, Игорь, тоже *свои* выдумки. Что поделаешь!» — сказала она как-то смеясь, но смех не скрыл сути. И отнюдь не импровизация: мысль! То, что пресловутый человек их выводка или тем паче стройный двадцативосьмилетний офицер былых времен не столько ее выдумка, сколько самонаграда, — это сильно. Мол, не просто же так фантазирует, и вовсе не просто и не как попало дополняет человек блестками своей фантазии самого себя, *он* дополняет, как наполняет, с чувством соответствия, где и качество выдумки — степень награды.

Вечер поздний, Нинель Николаевна в теплом углу дивана — вязание не только как выход из домашнего одиночества: вязание как образ жизни. Нинель Николаевна продолжает вязать и тогда, когда телевизор договаривает последние слова, бельмо его вот-вот мигнет и уже окончательно подернется холодной синькой.

И посуда перемыта. И впереди ночь.

Нинель Николаевна встает, смотрит из-за шторы в там и там гаснущие окна. В иных окнах свет подолгу, и можно терпеливо в них вглядываться, призывая посильно воображение. Только вечером, у окна, на какой-то короткий промельк времени она позволяет себе подумать о мужчине. В конце концов это все, что мне осталось, говорит она о себе с улыбкой (и относится к этому, как к человеческой слабости).

Возможно, что совсем недалеко, да хоть в том, угловом доме, живет человек их выводка, с той же тоской,

с той же порядочностью в крови, чуть заждавшейся и чуть закисшей от времени. Сколько окон!.. Тьма. Тьма. Свет. Тьма. Тьма. Тьма. Свет... Жизнь уже вышла на последнюю прямую. (Времени для маневра нет.) Она бы, конечно, рискнула — она бы рискнула в любом случае и в любой, пожалуй, подходящей ситуации, потому что скоро и жизнь, и ее женский риск будут обесценены старением, лишены смысла, разве что смешны.

Или, может, завести животное?

Она наливает оставшегося на дне кофе: с чашкой кофе в руках, с половинкой конфеты она недвижно стоит у окна. Глаза — там.

Можно подумать, что я пропагандирую браки одиноких.

Геннадий Павлович один, в квартире его наконец убрано, правда, чуть пыльно. Но пыль — обычность. На книгах, на книжных полках, на стеклах книжных полок — легкий манящий слой, так что движение пальца оставляет след. Читает Геннадий Павлович по-прежнему много, запойно, беспорядочно, двигаясь одному ему известными путями и возбуждая себя все больше и больше откровениями (и авторскими недомолвками) разных веков. Век — как автор.

Сверение своей жизни с некоей длящейся жизнью духа не самый плохой путь саморазвития, и когда-то путь вознес Геннадия Павловича в его интеллектуализме очень высоко, да и теперь, при раннем старении и апатиях, это не самые плохие дни. Конечно, у нынешней его мысли нет острия. Мысль — кружит. Он копает и копает идею *роя,* идею, которая из ведомой (поначалу) стала для него ведущей — идею необходимо совместного бытия людей. (В которой, возможно, изнанка боязни подступающего одиночества.)

Геннадий Павлович завел себе кота; прожив до года и едва-едва достигнув боевой зрелости, кот сбежал, после чего Геннадий Павлович взял себе другого, совсем малого котенка, но и тот, войдя в сок, предпочел обширные подвалы соседнего дома, где скоро погиб после трудов санэпидемстанции. Геннадий Павлович лишь

разводил руками, печалился; он их всех звал Вовами. А у меня кот Вова, говорил он.

Наконец у него появился черный с белым галстушком Вова, который, убегая, исчезал на месяц-два-три, однако спустя время появлялся; кот был зрелый, сильный, хитрый и держал, что называется, при себе и то и это: и квартиру Геннадия Павловича, где появлялся лишь на несколько дней, и подвалы, где он мог пропадать подолгу и резвиться. Кот не сжигал мосты окончательно.

Геннадий Павлович слышит за дверью мяуканье и впускает.

— Ну что, проголодался? — спрашивает он кота и кормит его. Насытившись, кот забирается на радиатор отопления и немедленно, растянувшийся, распластавшийся там, засыпает. Ни ласки, ни общения он не хочет. (Какой прок от гулены!)

Геннадий Павлович глядит в окно — сквозь клены и березки, высаженные возле дома, ему видится, что кто-то идет, а это ветер треплет ветки и листья, отчего листья приходят в круговое движение.

Кружащая игра света напоминает ему косые лучи в студенческой аудитории, которые (все более искоса) смещались, скользя с лица на лицо. Вечерней размягченностью духа Геннадий Павлович вызывает в памяти ту давнюю группку, стайку очаровательных юных женщин, что так трепетно слушали Хворостенкова, говоруна, мечтателя, чуть ли не трибуна, что садились во втором, в третьем ряду аудитории, следя влюбленными глазами, в то время как за ними следил смеющийся солнечный луч.

Уже ночь или почти ночь, а он так и не разделся, не погасил свет — лежит, глядит в потолок. Сон придет, сморит, тогда можно и раздеться.

Но по следу памяти, как-то само собой, Геннадия Павловича вдруг прихватывает ненадолго полуночное возбуждение, минут на восемь — десять, после чего иссякает, но за тянущиеся сладкие эти десять минут душа алчет, мысли куда-то летят, торопятся. Он вдруг забывается. Не вполне отдавая себе отчет, путая что-то с чем-то и страстно желая услышать хоть звук человеческого голоса, он подскакивает к телефону, хватает записную книжку, на девять десятых белую, пустую, давно забы-

тую, — на белом поле листика глаза натыкаются на некий номер, и, боясь передумать, боясь смутиться и на полпути передумать, Геннадий Павлович торопливо звонит. И говорит женщине, лица которой сейчас даже не представляет:

— Извините. Извините, пожалуйста, за поздний звонок... Хотел вас спросить...

Женский голос грубоват:

— Ну!

— Ради бога простите... Просто хотел узнать ваше мнение о...

Тут Геннадий Павлович сбивается; и тогда (лица покрасневшего никто не видит) как с места в карьер он бросается не в свою, но в чью-то отрывистую и развязную манеру, которая сейчас (как выручалочка) ему поможет, поправит, улучшит: привет, привет, Верочка Петровна, ты, кажется, совсем меня забыла—нехорошо!—кричит в трубку он как бы с укором, бася, нажимая на слова и одновременно робея и изрядно боясь женщины, которую он видел, кажется, всего однажды. Он вдруг находит слова. Не знающий, что ей сказать, он все же знает: и каким тоном говорят в подобных случаях напористые мужчины, и как укоряют, как даже и сами зачем-то упрекают, выговаривают женщине вне всякой логики. (И ведь как-никак он уже говорит с человеком, общается!)

— О господи, да это вы, Градусов!—наконец вспоминает она. И только теперь по хрипотце в голосе Геннадий Павлович тоже сразу и ясно вспоминает ее, тот пошловатый вечер и то, как шутник Даев зачем-то в кафе представил ей малопьющего Геннадия Павловича как Градусова, *юмор у них такой...* Как живете? что теперь пьете? Ее голос — как бы спокойная проба на радость. Но Геннадий Павлович (узнавший и узнанный) сразу сникает; ему тоскливо, и он не пытается оживить всплывшее случайное знакомство—не тщится хоть как-то наладить. Сникает и она. Оказывается, он звонит просто так, без повода. Выяснившая к тому же, что звонит он от себя лично, а с своеобразно обаятельным Даевым уже не знается, женщина теряет к нему и косвенный интерес. Она уже обрывает фразы: мол, ночь. Затем круто сворачивает, а в самом конце разговора, уже осознав всю эту ночную нелепость, еще и сердится; *да вы же пожилой человек, солидный, вам не стыдно?* — женщина входит во вкус обиды, что это вы звоните на ночь глядя и говори-

те с женщиной в таком развязном тоне: привет, мол, крошка!

— Я так не сказал — я сказал, привет, Верочка Петровна...

— Но тон был игривый: привет, мол, крошка... Такого я не терплю!

— Да разве же я сказал — крошка?

Слова теперь скачут как попало, то нелепые, то какие-то зыбкие, шаткие слова. Наконец, выкрикнув что-то злое, она отключается, после чего и Геннадий Павлович, обессилевший от неожиданного и напряженного оправдания перед женщиной, чуть ли не с радостью бросает трубку: пообщался с людьми.

Возбуждение улеглось, Геннадий Павлович вяло валится в постель и в ночной расслабленности уже не помнит, что он говорил, что ему говорили.

Энергичная в той же поре юности, когда о поэзии были разговоры за полночь, если в общежитиях, и до утра, если у походных костров, Нинель Николаевна не оставалась, как многие, лишь задействованной в том мощном энергетическом поле; она создавала или, скажем, источала (поле — в поле) свою энергию: она хотела, чтоб люди двигались. Как-то, когда студенты вошли в аудиторию, на учебной доске огромными буквами было написано мелом: ВЫБИРАЙСЯ К ХОЛМАМ И ДОЛИНАМ — СТРАНСТВУЙ! — что было чуть искаженной цитатой, была и подпись: УИТМЕН... но никто тогда не сомневался, что речь не о холмах и что это еще один выпад, острием своим направленный против всякого академизма и застоя, в частности против доцента Кокина, зазывавшего в те дни студенческий люд на скучную научную конференцию; как никто не сомневался и в том, что огромные слова мелом написала *наша Нина-Нинель,* как ее, боевитую, тогда звали. Доцент Кокин, начав лекцию, нажал кнопку: учебная доска-лента пришла в движение, цитата и подпись УИТМЕН поползли вверх, исчезая за краем,—и ушли из поля зрения. Но не из памяти.

Казалось, ей просто необходимо сорвать скучную беседу, лекцию или банальные танцульки, уйти в лес, на реку, в поход на байдарках и именно там, двигаясь, говорить обо всем на свете. Нина-Нинель — серебристый скачущий шарик ртути. Образ дополнялся ее страстной приверженностью к поэзии, к современному тогда теат-



ру, к спорам до хрипа и страсти, до унижения спокойных и в особенности полуспокойных, но втайне, конечно, конформиствующих противников.

Затем, работая в НИИ, Нинель и там боролась с служебным однообразием (театры, поездки, походы с субботы на воскресенье) и уже там терпеть не могла те возникающие молодые семьи, что вдруг застывали в вязкой, черной смоле быта. И ведь толковали свое уныние как судьбу! Они должны были двигаться: она упрекала их в застое, в личном крохотном счастье, в мирных домашних ужинах, взамен которым она предлагала движение — и весь мир.

Женщины застревали в семьях, в детях, в какой-нибудь долгой, никак не определяющейся любви, мужчины — в ученых советах, в диссертациях, в написании научных статей, одной больше, одной меньше, но особенно же те и другие (что мужчины, что женщины!) застревали в зависимых отношениях к начальству, когда дело касалось их продвижения или нового, возникшего в их сознании блага — жилья. Бывало, каялись. Но, виноватясь, тем очевиднее они продолжали впадать в долгую зависимость, впадать мрачно и с ощущением тяжести, либо весело и с иронической усмешкой над самим собой. Застревали в полученных или вот-вот получаемых квартирах, однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных — увязнув, какое-то время честно дергались, нервничали, рвались, пока наконец не обнаруживали, что, продолжая еще бегать, оказались на некоей довольно длинной веревке. Но длинная и сравнительно свободная сменялась скоро на менее длинную, затем на короткую, коротенькую, так что теперь они могли, как домашние сторожевые псы, бегать лишь вокруг своей конуры с все более жесткой на шее (и с все более гремящей!) веревкой, которая при чуть более пристальном рассмотрении оказывалась обычной нетяжелой цепью.

Чувствуя редеющие ряды, Нина впадала в гнев, в сарказм — она выучилась тогда точным и злым словам. Став талантливой в своем негодовании, она быстро теряла друзей. Когда она незапланированно вдруг выступала на собраниях, ее острого языка боялись, особенно же боялись те, кто еще вчера ее поддерживал, те, кого она звала двигаться и двигаться, петь песни, жечь у речки костры. Время шло. Споры о спектаклях, бурные, долгие, превращались раз от разу в обычные походы в театр, легко контролируемые, а подчас и оплачиваемые

профкомом, — Нина-Нинель не терпела, не выносила скучающие в соседних рядах семейные рожи, урвавшие время «для искусства». Высмеивала их. А время шло.

Именно что боясь ее колкого взгляда и жалящего языка, все эти люди, бывшие с ней, но постепенно ушедшие и все более, по ее мнению, застывавшие в темной смоле густеющего быта, в вязкой, топкой подначальственной деятельности, — эти люди, мужчины и женщины, сойдясь однажды в жилищной комиссии, вдруг переглянулись; было лето, в помещении — жара, и точно известно, что собравшиеся сетовали на духоту и вдруг меж собой переглянулись (в этот миг в тишине только вентилятор шумел) и, проголосовав, — дали ей квартиру. Быть может, они просто и вполне прозаически не хотели отныне надоевших ее попреков, но, быть может, подумали более тонко — сама, мол, теперь застрянь, увязни, оцепеней, притихни. (Мол, придет же кто-то к тебе поздним вечером. Кто-нибудь да осядет в теплом твоем жилье. Дом есть дом...) Но она отказалась. Дважды горделивая Нинель отказывалась от квартиры в пользу грустных матерей-одиночек, однако в третий раз те люди, что собирались в летнюю жару, улучив момент, когда матерей-одиночек (а также ушедших из семьи крикливых гениев—мужской вариант!) на близко обозримом расстоянии не было, проголосовали вновь, дали Нине-Нинели квартиру — и на руки ордер. И чтоб не успела в чью-то пользу раздумать, быстренько-быстренько помогли с перепропиской, а даже и с переездом. Уже деятели, уже состоявшиеся уважаемые люди, лысые и с ранними брюшками, они быстро, шустро, бегом-бегом таскали ее нехитрую мебель, так что казалось, что слова не зря и что вспомнили они наконец, вняли и стали *двигаться,* пусть даже последний раз в жизни.

Ряды редели, но ведь милые сверстники, выводок тех лет кое-где оставался, и Нина чувствовала, что страсти еще кипят, люди говорят, люди не выдохлись; ей бы поискать для утоления духа (для обретения) небольшой, как бы семейный клуб на дому, полусалон, пестрый и говорливый или, напротив, тихий, сдержанный и ее достойный, — она же сменила место работы. Она перешла в другой НИИ. Хотелось новизны; и, быть может, хотелось забыть, как ее укротили, как ловко, умно заткнули ей рот двухкомнатной квартирой (сделали ее себе должной). Увидев на новой своей работе много молодых лю-

дей, она было обрадовалась, но ждал холодный душ: молодые люди были лишь внешне молодыми, и уже не Нина, а Нинель Николаевна вдруг увидела рядом всех этих *следующих* — прагматиков и приспособленцев. Она была потрясена. Что мужчины, что женщины. К тому же были они многолики — с множеством лиц. («Я ни звука о времени, ни полслова о поступках, событиях, фактах ваших, но я хотя бы о том, что вы люди, что вы перестали двигаться!» «Но мы же движемся на работу и с работы, уважаемая Нинель Николаевна!..» И точно. Время уходило. А на работу и с работы они двигались прекрасно.) Уже и в помыслах не держа извиняться или там смущенно переглядываться, все они, что мужчины, что женщины, в открытую и со страстью занимались, как ей казалось, устройством дел, делишек, личной суетой. Воззови она здесь поспорить о спектакле или выбраться к *холмам и долинам,* они в лучшем случае подняли бы ее на смех.

— Боже мой! — вырвалось у Нинели Николаевны: на миг ей показалось, что это конец света.

Не смирившаяся, она еще и еще искала, но везде и всюду были эти новые, эти следующие, а прежние люди, ее сверстники, выводок времени, как там ни назови, странным образом все куда-то подевались. Они вдруг поумирали, хотя еще не были старыми, поразъехались, хотя умели сидеть на месте, а иные, что еще больнее, линяли: сильно и разом постарев, они отчасти уже подмазывались к этим, к новым. Была пустота. Должно быть, в каких-то НИИ все-таки работали, в каких-то квартирах жили, и, стало быть, их можно было найти — Нинель Николаевна не из тех, кто теряет надежду. Но тем сильнее (в пустоте поиска) возникала ностальгия по былому времени, больше и больше оформляясь в ожидание некоей особенной (и неожиданной!) встречи с человеком своего выводка.

Заодно и вне прямой логики, но, вероятно, в некоторой связи с несложившейся личной жизнью Нинель Николаевна в те ностальгические минуты стала любить не только свое, но и более давнее прошлое, особенно же времена Пушкина и Чаадаева, эпоху блестящих, сверхобразованных конногвардейцев.

Осевшая наконец в одном из НИИ, Нинель Николаевна вела замкнутый образ жизни; презирая следующих всех без разбора за мелочность, суету, банальность и

за живучесть — да, да, за живучесть и приспосабливаемость! — она много, интенсивно, честно работала, сведя всякое с ними иное общение к нулю и лишь изредка взрываясь, если откуда-то тянуло никотиновым духом; былой походнице, курение ей было ненавистно и непереносимо не только отравлением воздуха, но и маской, маскарадом, когда они, жалкие, манипулируя сигаретой и заставляя двигаться руки, губы, мимикой придавали весомость банальным мыслям, значительность своему суетному, но не двигающемуся бытию.

Когда они решили, что самосохранения ради она донесла на них начальству, подозрение перевернуло ей душу именно потому, что они, хотя и негодовали, смотрели на жалобу-донос житейски нормально; и не без некоторого даже одобрения и пошленького восторга судили: Нинель-то оказалась умна. Мол, сумела отстоять свое теплое местечко — мол, изощрилась, ловкая, и нашла ход!.. Им не пришло в голову, что ей больно как раз оттого, что, хотя бы и на миг единый, они оказались в роли праведников, а она — доносчицей. Тогда же без колебаний она обвинила не их, а себя, и жить стало настолько непереносимо, что в тот же день, как пошли о ней разговоры, точнее, в ту же ночь у себя дома, Нинель Николаевна открыла газовые краны и за полночи надышалась так, что едва не погибла.

Нинель Николаевна рассказывала мне будто бы свой сон, где она, нагая — для снов это обычно — движется по какому-то лабиринту комнат и квартир, коммунальных или отдельных, но между собой как-то соединенных, сблокированных, и ищет там людей; не спеши с этим убогим, однозначным Фрейдом! — говорила она, хоть я и не спешил. Именно людей она ходит там и ищет, *не мужчин, а людей, отметь себе.* В квартирах и комнатах пестро: то обычный, родной наш интерьер с собраниями сочинений и с нестильной, но вполне практичной мебелью, то модерн в меру, то вдруг помещение, совсем уж смело оформленное под некие серебристые отсеки. Оттуда она вступала в жилье художника с поэзией беспорядка, вход в следующее помещение закрыт кисеей, а в следующее задернут постреливающей бамбуковой занавесью, после чего вдруг белизна так называемой арабской спальни, да не спеши ты с подсознательным! — отмахивалась она, хоть и с этим я не спешил, молчал, — затем на ее пути и вовсе комната фото-

любителя или вдруг комната с чучелами птиц, но в каждой квартире, независимо от ее вида и колорита, всюду накрыты столы, *придите и поешьте, мальчики,* да, да, столы накрыты и кого-то ждут, и еда, мясо, рыба, закуски, заливные, горы апельсинов, яблок, но нигде людей — людей нет, и Нинель Николаевна, нагая, все ходит и ходит, движется, выходит из одной комнаты и входит в другую, а людей нет. Столы ломятся, а еда нетронута. Книги пылятся на стеллажах. Висят картины, гравюры. Всюду даже подметено. На полу ковровые дорожки. И, конечно, повсюду телефонные аппараты, старомодные, современные, модерновые, трубка одного настенного телефона снята, и слышатся гудки: пи-пи-пи-пи. В одной из комнат журнальный низенький столик с кофейником, с тремя маленькими чашками. Кофе источает над чашкой белесое облачко пара. Людей нет.

— Уверяю тебя—я ищу выводок своего времени. Людей выводка,— говорила она, истолковывая сон и смеясь.

Я кивал; я не говорил ей, что в очередном своем нагом сне ей было бы лучше поискать — это будет вернее! — пушкинско-одоевских кавалергардов (с дуэльным пистолетом в руках и с томиком Вольтера в изголовье). Я не говорил ей, и не потому, что сдерживал иронию или сдерживал себя.

Несомненно (для меня), перекликался ее сновиденческий проход по квартирам и комнатам с вполне реальным хождением Геннадия Павловича по многокомнатному подвалу скульптора Н., отмечавшего получение премии: там было много зарисовок и скульптур, изображавших нагих женщин, и Геннадий Павлович переходил от одной из них к другой, рассматривая.

И если мою жену Аню более всего поражало, что Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не поженились, когда мы их познакомили (и ведь оба одиноки, Игорь, и ведь такие чудесные люди!) — меня удивляло, что они друг друга *не узнали.* Они не узнали, кто есть кто. Проплыли мимо. Как те две рыбы, что по-над дном так и не коснулись, проплывая рядом. Или же коснулись чутко, еле слышно, но приняли одна другую за куст водорослей, а соприкосновение алых и схожих родовых плавников — за колыхнувшийся ворс жестких донных растений.

И, если упрощать, мог быть рассказ-детектив, где два умных наших разведчика в поисках друг друга бродят день за днем по чужой территории.

Или, скажем, шпион и шпион-связной — оба они в долгом, хитросплетенном сюжете уже и не день за днем, а год за годом ездят по чужим городам в поисках условленной встречи. Тягость предчувствий необязательна. Минуя провалы (утонченные западни контрразведки), они вновь и вновь переезжают, отбиваются, стреляют, продираясь сквозь ночь, жесткие ночлеги, скверное питание, а также — что подчас опаснее — через мирную манящую жизнь с ее чаем и добрым разговором поутру. Но вот наконец финал, когда он и его *связной* все-таки встречаются и протягивают друг другу парольные две половинки одной и той же серебряной стерлядки, а те не сходятся. Две половинки одной и той же опознавательной вещицы почему-то на изломе не сходятся — не совпадают, и, стало быть, контакта нет. Оба (от неожиданности тем более) отталкиваются, втайне пугаются друг друга — враг врага? — и на всякий случай спешно расходятся. Каждый вновь и, быть может, навсегда прячет свою полурыбку в потаенный карман, где от времени она, вероятно, и стерлась, так как в кармане иногда были ключи, и металлические деньги, и брелок из никеля. Линия излома у них не сошлась. Почему? — а вот просто так не сошлась она, не совпала. А вот так.

Можно, конечно, представить, как век ее выводка кончился, и время опустело, и как остались лишь узнаваемые интерьеры. Из квартиры в квартиру и из комнаты в комнату — паласы и ковровые дорожки на полу. Люстры под старину. Торшеры. Ковры узбекские. Ковры бухарские. Сервизы. Гжель. Календари на стенах (с временами года и с морскими заливами на восходе солнца). Акварели с разнотравьем и копнами сена. Диваны. Уютные или неуютные, но красивые кресла. Потолки в комнатах низкие. Потолки высокие. Мерцающий кафель в ванных комнатах. В одной ванной комнате вода течет тонкой струйкой, не вполне закрыли и ушли.

Из всех загробных сюжетов самый пронзительный — сюжет неузнавания *там*.

Душа умершей наконец рядом с тобой — но она ли?

Сложить свои рыбки, но ведь могут они не сойтись, хотя ни злые обстоятельства, ни люди теперь не мешают, хотя вокруг теперь все условия: белые кучерявые облака, райские кущи! И музыка: поют ангелы. Быть может, и вовсе утерял, утратил, и вот теперь (в раю!) она ждет, а он только то и делает, что роется в карманах, ищет свою полустерлядку, как ищут скомкавшийся автобусный билет. Год ищет. Век ищет. Два века ищет. *Там* времени много. Он стоит *там* среди белых облаков и ищет, уже уставший, обмякший, и только руки все снуют из кармана в карман. Из брюк в пиджак. В грудные карманы. В нагрудные, во внутренние. Но найти он не может. Неузнавание. *Она векам принадлежала. Апостол небесных ворот*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Аня сказала: если твоему Голощекову несильно за пятьдесят и если, мол, он и правда такой неплохой человек, как ты нахваливаешь, давай познакомим его с моей подругой Ольгой. Я ответил машинально — давай. (Существуют, вероятно, некие ступеньки, вехи биологической зрелости, по которым, или, вернее, через которые шагает всякая семья, в частности через попытку кого-то на ком-то женить.)

Аня и я — порознь — сговорились со своими протеже, на день и час, а затем приготовили достаточно выпивки и не самой заурядной еды, а также продумали, как водится, дополнительные оттенки, вроде желания посмотреть цветные слайды, ежели беседа не пойдет. Затем ждали. Затем вдруг оба заволновались, во всяком случае, заволновалась Аня, потому что стол был уже накрыт, а ее Ольга, как выяснилось, к нам не придет. Почему?.. А потому, Аня еще и еще уговаривала по телефону: они шептались, что-то выясняли, просили друг у друга прощения, ссорились, поплакали вместе, и все равно та отказалась. Сработала застенчивость одинокой женщины, известное неумение себя пересилить. (Дело житейское и понятное, но в ту первую минуту я назвал это непорядочностью и даже кричал, вспыливший, что в конце концов какое счастье, что своему, можно сказать, чтимому старшему товарищу я не подсунул это убожество, которое сходит с рельсов только оттого, что

рядом с ней посадят поужинать человека в брюках.) Но вот сколько-то покричав и понервничав, отойдя на расстояние от никак не помогшего нам телефона, мы с женой сели за приготовленный красивый стол и молча посмотрели друг на друга: что делать?

Ведь Геннадий Павлович, которого долгими и изысканными словесными приготовлениями я насилу выманил на эту встречу из дома, судя по времени, шел уже к метро, чтобы ехать к нам. «Хороший же человек — что мы теперь ему скажем?» — повторял я Ане, повторял самому себе и мало-помалу пришел к мысли о замене.

Я подумал о Нине почти сразу, но колебался — во-первых, Нинель Николаевна не очень контактна, а при случае сурова, жестка и может высмеять нас, и нашу затею, и заодно неповинного Геннадия Павловича; во-вторых, она совсем на чуть постарше меня, может обидеться (хотел подтасовать жизнь); я никогда никуда ее не звал и даже не представлял, как и какими словами стану ее, горделивую, уговаривать. Правда, и Геннадия Павловича я никогда никуда не звал, а ведь он согласился, что придало мне вдруг смелости.

И тогда я позвонил. Я пригласил. Я сказал, что с нами поужинает некий мой старший приятель, весьма интеллигентный человек. И она только переспросила его имя. И согласилась.

И пришла.

Разговор был самый общий, неловкости не возникло, а после ужина мы чуть ли не как старые, добрые друзья отправились вместе в другую комнату смотреть слайды; взрослые люди, и почему бы нам не восхищаться живописью Испании XVII и XVIII веков. Мы все, вероятно, очень старались. За кофе Геннадий Павлович говорил замечательно, но я уже почувствовал, что он несколько трусит: вечер кончался. Однако и тут, не оставляя их сразу за порогом дома с глазу на глаз, Аня и я пошли проводить до самого «Парка культуры» — погода стояла чудесная. Когда вполне надышавшиеся воздухом, мы вчетвером вошли в метро, выяснилось, что Геннадию Павловичу в одну сторону, а Нине в другую. «До свидания. Спасибо за вечер», — Нинель Николаевна, строгая и одновременно суховато благодарная, пошла к своему поезду, а Аня, чья интуиция сработала скорее моей, стала шептать упустившему момент Геннадию Павловичу — проводите, мол, проводите Нину, как

же иначе! «Быть может, ей вовсе этого не хочется»,— выдавил из себя Геннадий Павлович, робея, что ли (или не желая), играть столь уже обязывающую и понятную роль, в то время как Аня ему на ухо жарко шептала: «Хочется, хочется, ей хочется!» — и вдруг подтолкнула его в спину, несильно, но достаточно подтолкнула, нарушив равновесие его неопределенного покоя. И он пошел. Нинель Николаевна вошла в эту минуту в вагон метропоезда. Но вагон еще не закрыл двери. И можно было бы вбежать, если поторопиться. Геннадий Павлович, однако, шел медленно: он, кажется, собрался изобразить что он-де хотел, он-де, может быть, очень хотел, но чуть-чуть не успел. Он шел достаточно медленно, но и двери вагона не закрывались. С метропоездом случилась какая-то заминка, и Геннадий Павлович приближался. Нет, нет, двери не закрылись перед самым его носом— он вошел в вагон, и вот тут они сразу шумно закрылись, именно в ту секунду, словно его и ждали, к тому же отрезав, исключив всякий путь назад. «Не судьба ли?» — шепнула мне Аня, вдруг прижавшись.

Иронизируя над несколько вялым кавалером, Нинель Николаевна, когда подошли к дому, процитировала ему стихи *о провожающем,* а Геннадий Павлович, знаток, возразил или же искаженный ею стих поправил. Так что зацепка возникла сама собой, Нинель Николаевна настаивала: у нее, мол, нет ни горы книг, ни замечательных собраний сочинений, но какие-то томики есть, среди них автор, о котором спор. Чтобы выяснить, Геннадий Павлович поднялся к ней на этаж и засиделся там до утра (в прямом смысле слова — сел и сидел в кресле до солнца). Какая-то строчка Евтушенко или Окуджавы, пришедшая опять же по поводу, вдруг словно бы уколола, ужалила, и вмиг они заговорили о событиях и людях их молодости, их бурного студенческого бытия, а вечерний, главный их сюжет — сюжет знакомства мужчины и женщины, так или иначе клонящий к близости и к постели, стал ненужен. Огромной волной их отшвырнуло в юность. Нинель особенно хорошо читала Вознесенского, Геннадий Павлович предпочитал прославленную гражданскую лирику Евтушенко, оба, впрочем, знали и то, и то, а с взаимной подсказки и поддержки, как вдруг выяснилось, они знали не просто много стихов — бесконечно много. В стихах удержались те дни— их дни, отдельные из которых уже срослись столько же со стихами, сколько и с человеческими судьбами, перей-

дя в особое сверкающее качество — в качество легенды; текла река времени.

Какое там знакомство и какая постель, когда они чуть ли не оказались в родстве — они именно что забыли, с чем шли сюда, забыли, что мужчина и женщина и что не новички же в вечерних делах. Как старики впадают в детство, они впали в юность, и, совсем как юные, точнее, как юные люди своего времени, они не поторопились в первую ночь с объятиями, но взахлеб говорили и говорили, пока за окнами не стала заря.

И самое *чуть* что-то не сошлось.

Они оба примолкли: оба как бы приостановились на некоей черте, ожидая уже не раскрытия души, но сверхдоверия или иного, неявного знака приобщенности к тем дням, однако *чуть* так и продолжало оставаться меж ними. Они вдруг не захотели делиться личным дальше. Они промедлили.

А следом уже вторглась реальность: Геннадий Павлович поднялся с кресла, выпил холодной воды, после чего как-то сразу оказалось, что они оба—проболтавшие ночь напролет взрослые люди, что это смешно, несолидно. Они тут же и обменялись колкостями по какой-то пустячной причине, не всерьез, а именно из пустяка, а, в сущности, оттого, что при свете раннего утра оказались лицом к лицу двое чужих. Мужчина и женщина — немолодые и от бессонной ночи пожухшие.

Нинель Николаевна провожала, едва сдерживая недовольство. Сникшие, они на лестничной клетке все же спохватились, вежливо и отчасти церемонно повторяли— до свидания, познакомиться было интересно! до свидания! — но чужой голос уже царапал слух, раздражал; оба торопились замкнуться на себя, уйти он — она остаться.

К тому же они испугались быть смешными. И каждый — опасливо — постарался приуменьшить, принизить само свидание, занизив впечатление друг от друга: во всяком случае, когда с утра я позвонил, чтобы узнать, как добрались званые гости домой, каждый из них рассказал как попроще. (Смущение души.) Тогда я сути не понял. Геннадий Павлович рассказал, что после ночного бдения у Нины он явился на работу с совершенно разламывающейся головой. «Мне никогда не было так плохо, — он ворчал (посмеивался над собой и над вчерашним свиданием длиной в ночь), — в обеденный перерыв, Игорь, я впервые в жизни уснул сидя. Сонный, я

упал. И когда сослуживцы меня подняли, я все еще был в легком обмороке». Ворчал он на невыносимую скуку той ночи и на утомительную женщину, которая все цеплялась к словам, а чаю не предложила, ни даже водки; ворчал, ни словом, однако, не обмолвившись об их обоюдном многочасовом прорыве в прекрасную юность. Характерно, что в первом, свежем пересказе Нинель Николаевна тоже промолчала о помянутых стихах и людях прошлого, со своей стороны также оставшись не слишком довольной Геннадием Павловичем, который, «кажется, очень много о себе понимает», который «вошел в дом и — представь себе! — не снял даже плащ, так и просидел до утра в плаще в кресле. Я ему предлагала кофе, предлагала к столу пересесть — он только важничал. Очень странный!..»

Тем не менее они вновь увиделись — уже по собственной инициативе. Как бы вспомнив, что они взрослые люди, и несколько устыдившись того юношеского говорливого вспыха (быть может, втайне желая растопить, расплавить то самое *чуть),* на этот раз они встретились вполне солидно, вдвоем поужинали, привычно поговорили о работе, поделились соображениями о женско-мужском одиночестве, и, как я понял после, оба рискнули: в тот вечер дошло до близости.

Кажется, они встретились еще однажды или дважды.

А затем разошлись, и на этот раз окончательно. Не было никакой драмы. Ни ссоры. Случилось самое простое и самое худшее: они так и не узнали друг друга.

Уверенные, что их роман кое-как развивается, мы с Аней ставили себе это в заслугу. Иногда среди ночи мы тихими голосами обсуждали то, как мы их друг другу преподнесли, как ловко и умно обставили первую встречу и вообще как удачно они подходят: оба порядочны и с этакой благородной непрактической начинкой; оба симпатичны, одиноки; он чуток, а она как раз жаждет чуткости — в их случае важнее, мол, совпадение, а не пресловутый диссонанс. Крепя их мыслью, мы заодно же, как водится, крепили свою семью. Особенно радела за них Аня; она, кажется, полагала, что такие разговоры являются прекрасной семейной терапией, мало-помалу исцеляющей меня от иногда случающихся побегов из дому.

— Давай, Игорь, куда-нибудь выберемся вместе с ними — на природу! или в театр?!

Аня настаивала:

— А то пригласи их к нам еще — им побыть в семье полезно. И на природе им вместе побыть полезно.

Самая молодая из нас, она нас учила.

Нинель Николаевна объяснила просто: он ей неинтересен.

Геннадий Павлович сказал о ней примерно в тех же словах, но кое-что добавил, передав содержание их ссоры, что случилась вечером у Геннадия Павловича дома. Геннадий Павлович готовил закуску и чай — а говорили они с Нинелью Николаевной вновь о былой юности. (Разве он не рассказывал?.. Первый раз они говорили о былом еще в ту ночь, когда он провожал ее домой и сидел до утра в ее кресле, теперь был второй раз — неудачный. В этот вечер все слова казались неудачными. Вероятно — признак, знак расхождения, когда каждый, отторгаясь, уже сам по себе.) Да, о юности. Из юности им обоим вспомнился именно случай с Чичиусовым, был такой говорун, что даже Геннадия Голощекова перехлестывал, — ты его, Игорь, уже не застал: ты не помнишь. О Чичиусове в студенческой среде тогда много спорили, он больше других хотел и призывал выступить против одной подлянки, горячо, жарко говорил, сам рвался в бой, а когда подлянка все-таки случилась и дошло до дела, сказался больным. «Но, может быть, он и правда заболел? — почему-то вдруг предположил Геннадий Павлович. — Болеют же люди!» — после чего Нинель Николаевна яростно, совсем как в былые дни, напала — сначала на полузабытого Чичиусова, затем на Геннадия Павловича. Вот и все.

Геннадий Павлович пояснил мне, что курьез в том, что в те времена, когда о поступке или, правильнее, о непоступке Чичиусова много и яростно спорили, он, Геннадий Голощеков, был из самых к нему суровых, из непримиримых. И осуждал его. Так что была определенная исчерпанность ситуации в том, что Геннадий Павлович не от всепрощающего влияния времени, а именно нечаянно, нечаянно и даже улыбнувшись сказал вдруг о возможной болезни Чичиусова, после чего Нинель Николаевна набросилась гневно, страстно, никак не желая и сейчас верить в болезнь и тем самым прощать или щадить тру-

са. Вот и все. Геннадий Павлович стал объясняться, оправдываться, и за разговором как-то не сразу пошел он на кухню за чайником — чайник, и правда, сильно выкипел, но, ей-богу, половина емкости еще была, и заварить чай в заварочнике этим кипятком было можно. Но леди сказала — нет. Гневная леди вдруг возгордилась. Когда Геннадий Павлович принес чайник с кухни и попросил: завари, мол, Нина, пожалуйста, она ответила, что заваривать чай каплей воды не станет, пусть чайник будет полным и что это за забывчивость, что за склероз в пятьдесят с лишним лет. Так и сказала, хотя почему, собственно, чай, заваренный из половины чайника, хуже или горше, чем заваренный из полного. Да, да, вероятно, она метила в ту забывчивость и в ту память, прощающую подлецов. Она еще раз холодно повторила, что в пятьдесят, мол, с лишним лет еще рановато забывать на огне чайник.

После чего они и разошлись. Нет, нет, он поставил, разумеется, заново на огонь чайник, они перекусили и пили молча чай. И тихо, корректно расстались. (Когда я сообщил Ане, что наши крестники разошлись, она заплакала. Затем Аню залихорадило:

— Езжай к ней, езжай к ней немедленно — в первые дни помирить нетрудно, пока еще не остыло.

Я поехал.

Возможно, Ане казалось, что избавить их от одиночества теперь уже наш долг, обязанность и как бы нравственная гарантия, что нам тоже в свой час кто-то поможет.)

Я спросил Нинель Николаевну, поехав к ней в тот же день, — неужели все дело и вся ссора в том, что Геннадий Павлович, мой старший приятель и чтимый человек, пожалел отступника Чичиусова? — а Нинель Николаевна поправила меня: *Чимиусова...* Да, они говорили о разном, но вдруг речь зашла о нем — о Чимиусове, о его крайне непорядочной, трусливой выходке на том давнем памятном обсуждении. Не стану я тебе, Игорь, объяснять, что и как тогда обсуждалось (если сам не помнишь — значит, и дело покажется далеким, никакие объяснения не прозвучат). Да, двадцать пять лет назад, даже больше, а что? разве за истечением лет подлость перестает быть подлостью?.. И потому, когда твой милейший и весьма интеллектуальный Геннадий Павлович стал его, Чимиусова, пусть даже косвенно оправдывать, я ему прямо процитировала выражение нашей молодос-

ти, что интеллект и конформизм — *две вещи несовместные, Сальери!*.. Вот, собственно, и все.

— Как все?

Она пожала плечами — разве этого мало?

— Но ведь Геннадий Павлович не Чимиусов. Он как раз противоположность ему. Кстати сказать, вы с Геннадием Павловичем учились в разных вузах и в разное время — откуда вы оба этого мифологического человека знали?

— В наше время, Игорь, люди общались.

— Но вы даже его фамилию плохо помните. Геннадий Павлович явно произносил — *Чичиусов...*

На что Нинель Николаевна совершенно спокойно заметила, что ни буква, ни даже вся фамилия не имеют определяющего значения: это повод. В сущности, это лишь маленькая зарубка, отметка, чуткая и небольшая отметина, однако достаточно означившая, что их юность была разной. Это причина и не причина. (А если учесть, что в тот их вечер Геннадий Павлович именно что случайно и беседы ради предположил, а не болен ли был и впрямь проклятый Чичиусов-Чимиусов, то он и она тем заметнее казались похожими на не узнавших друг друга. Скол не пришелся на скол.) Да, сказала Нинель Николаевна, я ведь, Игорь, не спорю — он вполне порядочный, вполне интеллигентный человек. Он очень мило вел себя, когда я вспылила. Он очень сдержанно, корректно отправился на кухню, заварил чай: очень был заботлив. Мы выпили с ним чай. Мы помолчали. И расстались.

Мог быть рассказ о том, как некая семья—я и Аня?— затеяли сводить некую пару. Стараясь изо всех сил, они эту женщину и этого мужчину сводят, уговаривают, зазывают вместе в гости, вывозят на природу и, наконец, налаживают их совместную жизнь, зато своя семейная жизнь от израсходованных, что ли, сил и нервов начинает с той самой поры мало-помалу катиться под уклон и в конце концов рушится.

И теперь уже эти двое — то я, то Аня — приходят раз в полгода во вновь возникшую крепкую семью просто посидеть, поговорить; порознь, конечно, приходят. Скажем, я прихожу иногда вечером к Геннадию Павловичу и Нинели Николаевне, и они наливают мне стопку водки, кофе, дают советы. Погреться у чужого огонька, разве плохо?

Мы не уговорили их выехать на природу, но уговорили поехать с нами вместе на ВДНХ поесть шашлыков, и тотчас Аня придумала себе какую-то особую за их одинокие судьбы ответственность, занервничала, заволновалась, что передалось и мне; наконец двинулись — и, помню, нам обоим все казалось, что машина едет по проспекту слишком медленно, не едет — ползет. «Шашлыка хочу! И вина хочу поскорее!» — восклицала Аня. И я, должно быть, ненатурально ей вторил: «Ах, шашлычка бы! ах, горяченького!»

А те двое молчали. И таксист молчал.

По правой стороне выставки в тот час в одном из павильонов томились и мычали в голос коровы — они были раздуты молоком. (Ждали своих телят либо дойки.) Мы подошли ближе. Их почему-то не спешили доить. Но в одну клеть теленок уже проник, сосал, зрители вокруг шумно его поощряли, и Аня с ними вместе тоже восторженно вскрикивала, что не видела сосущего вымя теленка ровно сто лет... Я, как мне казалось, был в разговоре более тонок. Впереди стояли кони, лошади — их гривы издали сливались, и для Нинели Николаевны, любительницы юга и моря, я вслух сравнивал полосицу грив с полосой морского прибоя, когда отдельные белые гривы, редкие среди множества вороных, вкрапливали свой белый цвет и как бы образовывали накат вспененной волны. Не хватало звука. Это верно — не хватало лишь шума волны и (под волной) скрежета гравия, но их, возможно, мог заменить шорох многих сотен шагов, так как люди рядом с нами, а также впереди, сзади, сбоку шли и шаркали по асфальту, — так говорил я, лепил образ, очень стараясь, а Нинель Николаевна вежливо кивала: да, да, пожалуй, похоже, Геннадий Павлович и вовсе молчал. Им было скучно с нами.

Но мы старались, мы очень *для и ради* них старались.

— Ну, а быки? — говорил я. — Каковы красавцы!

— Идемте же к шашлыкам, — тянула вперед Аня, нервничая и считая, что я становлюсь однообразен.

— Погоди, а быки?..

Я уже эстетствовал: я обращал внимание, что быки со своим гиперсексуальным величием даже не смотрят на железного быка, который на постаменте. Скульптура проигрывала! Железный был, конечно, поярче игрой своих металлических мышц, побогаче своей товарной нарисованностью, однако живые быки были живые. (С раскорякой ног. С тупым чудовищным взглядом, в котором

уже не существовало похоти, а только могучее несдерживаемое желание, как желание лететь и крушить у пары железных ядер, когда ядра в стволе и запал поднесен.)

— Идемте к шашлыкам. Есть хочу! — тянула, торопила нас Аня, вероятно, опасаясь, что Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, сдержанные и суховатые, почувствуют себя чужими в этой шаркающей по асфальту толпе.

Мы перешли к южным павильонам.

Все четверо невольно прибавили ходу и подошли, наконец, к шашлыкам на свежем воздухе. Запах дурманил. Мы глотали слюну. Фрукты не продавались сегодня, однако мясо на прокопченных гнущихся шампурах было замечательное, нежное, пахучее, чуть обработанное уксусом и луком (и вино оказалось рядом, в розлив, притом двух хороших сортов). А когда мы вчетвером разместились за столиком под витриной, точнее, в самой глубине огромной витрины, среди там и тут свешивающихся за стеклом ярких, красно-желтых плодов, изобилие уже настолько нас окружило, что казалось, мы в стареньком и давным-давно обещанном нам раю.

Кстати же в репродукторе прогремело:

— Атом для мира! — И грянула музыка Шостаковича.

Толпа ликовала, ела, пила, вскрикивала. Дети были с цветными шарами.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не произнесли, кажется, ни слова, подавленные огромной людской массой и этой для них, домоседов, невиданной обжираловкой на воздухе. Всюду люди—и всюду жующие рты. Мы именно жрали шашлыки, мы их повторили, а затем запили вином, а затем опять жрали. Бумажные тарелки из-под шашлыков бросали уже не в урну, она была переполнена, а в бак, но и бак, что в двадцати шагах, был весь набит этими бумажными тарелками, а вокруг снова и снова горело мясо, стелился духовитый дым, шумно хватали и несли шашлыки, пили, ели, деньги никто не считал, и возбуждение уже охватило — было это заразительно, зрелищно, не без размаха, хотя Нинель Николаевна, вероятно, уже подумала (отметила про себя), что в иную мечту есть вход и что это и есть ликование людей со скромными духовными запросами.

Неподалеку забили фонтаны, так что ветерок сносил на нас микроскопический моросящий дождец — женщи-

ны, преувеличенно вскрикивая, со смехом поправляли прически, пугались. Игра микропузырьков влаги на солнце была ярка, радужна, и, быть может, она-то и подсказала ассоциативно о шампанском, когда среди этой оседающей, тихой влажности Аня вдруг разыгралась и стала неуемной:

— Хочу шампанского!..

Мы уже были сыты и пьяны, но в ней пробудился бес, что бывало чрезвычайно редко: кажется, ей хотелось побеситься как раз на глазах сдержанной пары. (Кажется, она всерьез хотела, чтобы им, сдержанным, понравилась семейная жизнь, которая-де вовсе не скучна и не пресна. И вообще, как видится это сейчас, встреча вчетвером нет-нет и всколыхивалась со стороны Ани такой вот наглядной педагогикой.) Помню ее лицо. И в ее руке — огромный цветной детский шар. Аня не понимала, что для наших гостей ее действия наивны, чужды простоватой эстетикой. В том-то и минута, что когда в Аню вселялся бес, она делалась неудержимой.

— Хочу шампанского! — вновь требовала она.

А когда я еще раз добыл шампанского, она требовала, чтобы я открыл по-гусарски, иначе она и пить его не станет.

— Хочу шампанского и чтобы ты открыл его, как гусар! Хочу по-гусарски! — требовала Аня и была той девицей, была неумолимой, капризной, непреклонной. И даже топала ногой. И закусывала губку.

— Мамаша, вы, однако, разыгрались!

— Хочу!

— Мама-а-аша, — пробовал я урезонить, подсмеиваясь. — Прошу вас, уймитесь...

— Хочу, как гусар. Хочу, как гусар!.. Открой вино, как гусар!

Я уже взывал к логике. Я терпеливо ей говорил, где, мол, я возьму палаш, — мол, я рад постараться, я что угодно и где угодно, хоть по-драгунски; мне уж за сорок, и мне все сгодится, но где же я возьму в нынешнее время и в нынешнюю минуту палаш, на что она кричала — где хочешь!

Я отправился в шашлычную, вошел, но не обычным путем, а с заднего хода и попросил у них на недолгое время нож потяжелее, чтобы будто бы разрубить мясо. Нож, разумеется, не давали, говорили, мол, сами тебе разрубим, если уж так надо, затем нож все-таки принесли, однако легковатый, негодящийся, после чего с кри-

ками возмущения меня вытолкали — правда, направили на задний двор в какой-то алюминиево-полосатый сарайчик, вросший в землю, как погреб, где я опять просил «тяжелый нож». В сарайчике тоже упорствовали. Не хотели, жались, нож-де такой—штука редкая и ценная, за деньги, мол, такой не достанешь, а в загулявшей толпе, от одного к другому, красавец нож мог кануть, как брошенный в реку, — но им-то, шашлычникам, без ножа каково?.. Но все-таки выдали, вложили мне в руки, как короткий меч, и даже ни часы в залог не взяли, ни документа, *часы стоили дешевле ножа,* пробившийся обратным путем через толпу, я, наконец, появился у наших с этим темным тяжелым ножом и под требовательным взглядом Ани ссек серебристую башку с бутылки шампанского, как это делали торопящиеся гусары. Осколков, и правда, не случилось ни одного, и наблюдавшие зрелищем остались довольны, удар был целен, един— пенная струя, разом открытая в мир, ударила прямо в четыре наших стакана.

Возле игральных автоматов Аня вновь развеселилась—отчасти ее выручало то, что она как-никак моложе меня на десять лет, а наших гостей и более чем на десять.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна лишь присутствовали рядом с нами, они с улыбкой кивали, соглашались и, вероятно, уже изрядно мучились от стараний этой семейки сводить людей; при всем неинтересе друг к другу они иногда обменивались ироничными взглядами.

Когда расходились с шашлыков, и у него и у нее были вежливые лица гостей, которые жалеют о потраченном времени. Таков финал, Геннадий Павлович и Нинель Николаевна виделись тогда в последний раз.

Нинель Николаевна обожает лето; с годами привычка превратила сезонное обожание в страсть, в страсть сильную и уже не меняющуюся. Когда впереди вьется горная тропка и вокруг божественная легкая жара (и даже необязательно жара, а стойкое сухое тепло начала сентября, тропа под ногой тверда, и важно, очень важно присутствие южного солнца!), Нинель Николаевна ступает неторопливо, ступает, смежив глаза, ей хорошо,

и ей ничего не надо. Сорок с лишним лет, главные события ее женской жизни позади, но тем более ей хорошо: ей прекрасно! Тело через легкую одежду купается в солнце. Тело тихо-тихо живет. Жизнь представляется замедлившей ход и кажется вообще остановившейся (и тем острее длящейся через этот сладкий миг недвижности. Дление благодати). Ни сослуживцев, ни вообще *тех* людей с их склоками — как хорошо! И как понятно, что все лучшее для нее теперь собрано в лете, в южном солнце и в этом неспешном шаге по тропе в никуда. Она устала от той жизни, и, уж конечно, она готова биться насмерть, если пытаются не дать ей отпуск в августе—сентябре: она прямиком в таком случае идет браниться к начальнику в кабинет, после чего еще неделю ее бьет, колотит изнутри, разъедает, так как женщина она искренняя, прямая, ни льстить, ни упрашивать в разговоре не умеющая. Ей отвратительно сочетать брань в кабинете, в *который она все-таки пришла,* с отстаиванием своих зыбких прав — но что поделать?

Так что Нинель Николаевна вся как есть заключена в полноте этого летнего дня, когда день огромен, солнечен, с синим небом и когда неспешные шаги по тропе с прибитой пылью создают ощущение остановившегося времени. С другой стороны, полнота жизни—полнота краткости, и потому лето для Нинели Николаевны длится только один месяц, август или сентябрь, она отлично знает, что *только месяц* и что именно в силу его краткости она сейчас так расслаблена и растворена, она в нирване, в бесконечности многих и многих месяцев и лет — в вечности. Если же о внешнем, то по тропе для курортников движется и иногда что-то сама себе шепчет женщина, несколько уже подсушенная, подвяленная возрастом, да, да, иной раз она разговаривает. В городе она бы непременно устыдилась своего отчужденного шепота, характерного (да и заметного встречным людям) движения губ, но здесь — не стыдно. Разговоры с самой собой, как и тропа с пылью, и возле тропы древняя скамеечка для отдыха, и гора вдали, и небо, и из набежавших недолгих облаков стреляющий луч — кирпичики огромного и главного здания ее жизни: лета.

Притом что ей не нужны курортные мужчины, не нужны их слова или поспешные покупки кислого вина, их страстишки и домогательства—она, быть может, излишне требовательна и утонченна, но ведь южные романы так грубы. Ей довольно и мечты. (Ведь немолода. И что

же портить суетой единственный, лучший в году месяц.) Она идет по узкой тропе — и вот впереди, когда она смеживает, сощуривает на солнце глаза, появляется шагах в ста, как бы в мареве, мужчина в белой армейской фуражке, в форме офицера российской армии времен кавказских войн — он идет той тропой, что забирает влево и чуть выше, так что Нинель Николаевна и он проходят друг от друга в некотором отдалении. Его лицо уже различимо: оно не слишком красиво, но приятно и благородно; небольшие русые усы, выражение глаз усталое, но сдержанное и никогда не жалующееся (быть может, он перенес ранение). Шаг сильный, мужской. Он улыбнулся, и тогда Нинель Николаевна (ей чуточку жарко) снимает шляпу, ту, крымскую, широкополую, которую она носила лет десять назад, которая так шла ей и которую так стремительно однажды утащил ветер, а затем море. Офицер на секунду вежливо приостановился. Приветливо ему махнув, Нинель Николаевна, сдержанная, идет по тропе дальше.

Желание Ани выпить шампанского по-гусарски, что было, разумеется, более грубым и прямым заигрыванием с прошлым веком, весьма рассердило Нинель Николаевну и вызвало впоследствии ряд насмешек: какая профанация!.. и какое безвкусие!

Нинель Николаевна живет весь долгий год как часть года, так что год является добавлением к лету, а не наоборот. Как-то она сказала: «Я бы умерла, если бы весь год длился непрерывающийся август...» — и засмеялась, имея в виду, что счастье в таком случае стало бы запредельным и для одного человека непереносимым.

Летом она именно отдыхает, а не мелькает там и тут, как те, кто в отпускной месяц вырвался на свободу и кто задыхается от любви и спешки настолько, что сам не вполне понимает, где спешка и где любовь. О, да, да, у них тоже один месяц. А у Нинели Николаевны круглый год своя отдельная квартира (и своя отдельная жизнь, увы, тоже круглый год), во всяком случае, ей нет нужды спешить с романами и с романчиками, хватаясь за умных и неумных, за высоких и за маленьких, за худых и за толстых, как хватаются некоторые бедняжки с ищущими глазами. Им по горло надоел муж, надоели

углы своего жилья, семейная стряпня, стирка, хлопоты и заботы, от которых на юге надо отвлечься и забыться. Она их не осуждает. Но и не станет в ряд. Да, горделива. Она хотела бы, если уж отпуск, юг и горы, романа покрасивее, поумнее, позначительнее, но, ежели таких романов нет, других — не надо. Она тверда в своем, как тверд человек, которому спешить некуда, а мелочиться незачем. Вероятно, написано на лице. Но бывало — особенно прежде, — кто-то из курортных торопыг или красивеньких местных ухарей впопыхах все-таки набегал на нее, налетал, распушал перья и после цыплят-табака и возлияний, когда она наотрез уже отказывала и когда случайный этот, распушившийся знакомец в невольной, вдруг прорывающейся досаде шипел: «Зачем же ты на юг ездишь?» — ее ужасно коробило, о господи, что за люди, она только пожимала плечами, сдерживая гнев: но если он спрашивал еще, она решительно, резко отвечала: «Зачем? — я скажу вам, зачем я приехала: *отдыхать...»* — подобное выяснение возникало, разумеется, уже после третьей или даже четвертой попытки, когда интеллигентность его испарялась, а раздражение потраченных впустую дней и денег сдавливало горло досадой. Знакомец исчезал, мелькая уже где-то поодаль и не всегда здороваясь. А Нинель Николаевна немножно грустила — нет, не о людях нынешних, с ними все ясно, а, как ни странно, о неудавшемся романе.

О шашлыках на воздухе:

— Игорь, извини. Вполне понимаю, что вы с Аней хотели тогда нас обоих несколько развеять и развеселить — но все же как это было тоскливо, натужно, с претензией!

Я пожимаю плечами: бывает, мол.

Она продолжает:

— Аня, разумеется, молодая — с нее не спросишь. Но ведь у тебя временами есть вкус...

Молчу.

Нинель Николаевна разводит руками:

— Ну, что делать, Игорь, ну, прости меня — я такая.

Когда-то давно, когда мы с Аней и с дочкой переезжали в нынешнюю нашу квартиру, я заметил, да и Аня заметила, что на стене в одной из комнат нового жилья —

трещина. Неопасная с точки зрения крепости дома, трещина все же была, бросалась в глаза, и Аня мне сказала: «Смотри!» — а я засмеялся: «Заклеим обоями!» — и действительно, после ремонта ее не стало видно. Но там, под обоями, невидная и запрятанная, она стала расширяться, ветвиться, и одной из своих боковых ветвей, небольшой трещинкой, прошла незримо меж Аней и мной. И начались мои уходы из дома.

Да, редко. (Сейчас еще реже.)

В бегах я хожу по всякого рода сомнительным, подчас молодежным компаниям, в которых я и лишний, и чужой. Но подолгу я у них не задерживаюсь, ни у кого, почти ни у кого — день-другой, и я должен идти, *бежать дальше,* я именно в бегах и, как только место пребывания начинает пахнуть оседлостью, томлюсь.

Возраст, увы, не двадцать лет. Возвращаюсь я всегда больным, разбитым, позволившим себе много спиртного или ночных бдений — иногда просто побитым или обобранным, иногда намерзшимся и всегда уставшим так, что готов упасть, рухнуть. Здоровья нет. Раньше я каялся. Теперь, набегавшийся, я не каюсь — и лишь хочу поскорее тепла, уюта, погружения в семейную жизнь, которую, как вдруг оказывается, я очень ценю и люблю.

Иногда при возвращении Аня встречала меня ссорой, даже не пускала в дверь, мол, убирайся! — и неопределенное время я киснул на лестничной клетке или бродил вкруг дома перед повторной попыткой позвонить в родную дверь. Иногда же — это не зависело ни от длительности моего отсутствия, ни от пришедшего или непришедшего гонорара за повесть и ни от чего вообще, просто от ее настроения — она пускала меня в дверь сразу, просто и на удивление спокойно. «Ну что — пришел?» «Пришел», — я проходил в свою комнату, шаг от шага прямя спину и расправляясь в плечах, а Аня, прерываясь в домашних хлопотах, говорила Маше: «Погоди — отца покормлю», — и все шло своим чередом и целый долгий период я жил стабильно, иногда до года.

И, разумеется, нам было не провести Нинель Николаевну с ее чутьем на искренность — нам было не провести ее ни семейным приемом со слайдами испанской живописи после кофе, ни поездкой на шашлыки, ни шампанским, распитым по-гусарски. Она чувствовала опыт семьи, но за опытом некий затаенный изъян. «Шашлы-

ки ваши в тот день отдавали самодовольством средненьких, да и желанием предстать в лучшем виде, но еще более отдавали знаешь чем? — не обидишься? — потугами на счастье, которое есть, *но которого нет...»* — сказала Нинель Николаевна позже, много позже, когда случайно зашла о том речь.

Помню, как в детстве сосед пришел забрать небольшой денежный долг, а мамы не было. К тому же я знал, что денег сейчас в доме нет. Мне было лет восемь. Мы сидели молча, двое в комнате, сосед нервничал — ждал. Потом он сказал: «Да что ж за чертова муха — совсем замучила!..» — он выразился куда крепче, чем *замучила,* и тут я увидел эту единственную в комнате муху. Я смутился, густо покраснел, словно жил чистюлей. Я скрутил газету и стал муху гонять. Потом сосед тоже взял газету, и вдвоем, после некоторой сутолоки, мы ее убили.

И вновь сосед долго сидел нога на ногу, ждал. Мама не приходила, и я знал, что она не придет. Окна синели от сумерек. Сосед покряхтел и наконец ушел.

Он вернулся — позвал меня пить чай с сахарином. У него над столом туда и сюда носились мухи. Потрепав меня по чубчику, сосед доверительно мне объяснил:

— Понимаешь, в чем штука — когда мух десять, они совсем не злят.

Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, окончательно разойдясь, а даже и забыв уже друг о друге, живут своей отдельной жизнью. Они все более отъединяются от людей, стареют, порастают мхом. И, когда порознь я все же иногда их вижу — раз в полгода—мне уже непонятно, где тот поход, и тот шлейф шашлычного дыма над закопченными шампурами, и та чудесная погода, и солнце, бьющее в бумажные тарелочки, и вино, и мычащие коровы, и вздыбливающиеся кони с черными (редко — белыми) гривами.

Нинель Николаевна и Геннадий Павлович уже разделились в моем сознании. Он — там, а она — там. Два чрезвычайно отдаленных островка. Кругом них вода.

Много воды. Если смотреть издали, они похожи, но издали всякие два островка похожи. Похожесть сама по себе еще не соединяет, как и не разъединяет. Но вдруг словно бы мощная арка, мощный мост над водой связывает на миг их обоих в моих глазах — мост залит светом и весь виден. И наиболее крепкой, несущей аркой моста является их обоюдная преданность своему времени и непрощение тем, кто их вытеснил, кто пришел в жизнь следом.

За потерю той бумаги и слишком выразительный душевный покой Геннадия Павловича едва не лишили должности завотделом, количество его сотрудников сократилось до десяти, *следующая ступенька вниз* — его едва не понизили до заведования сектором, должности у них совсем ничтожной, что означало бы к тому же подчинение Птышкову. Драмы нет — обычный естественный отбор; будни с правотой сильного и с неправотой слабеющего.

Не видел, но по описанию Геннадия Павловича вполне себе представляю, — молодо сверкнув глазами, Птышков оглянулся (на этого расслабленного Голощекова) и говорит негромко, но предрекающе: «Ладно, ладно... Я дождусь своего часа».

А Геннадий Павлович продолжает читать книги и пребывать в своих нестареющих мыслях: ничего не произошло. (Ничто не происходит.) Задумавшегося, его опять едва не сбило машиной на перекрестке, но ведь и это никак нельзя счесть новым. Нет, нет, он не боится смерти, но не хочет столь глупой смерти — всего же более он не хочет быть калекой, кто будет за мной ухаживать, ты, что ли, Игорь?

Да, да, Игорь, именно в чтении я восстанавливаю связь с моей юностью — каким образом? а очень просто — словами, *слова, слова, слова,* Игорь, не фразы, а как раз отдельные слова вдруг вызывают в памяти прихотливостью своей и своим консерватизмом обаяние былых дней. Слова в этом смысле не стареют — они ведь и в молодости моей были уже стары, что для них несколько лишних десятилетий! Слова, как ничто, удерживают прошлое с нами. Пишущий человек, а простой вещи не заметил. Пойми же наконец: *слова — только для связи времен...* если хочешь, только для связи (людей) разных времен.

— Да разве не вы заставили меня замолчать?!

Да, был говорун и был смешон, быть может, но был полон живых мыслей. Да: после окрика он избавился от своего недостатка, но не избавился ли он заодно и от своих достоинств? куст был из одного корня, а?.. Так бывает, так *бывает, Игорь,* когда заткнули один фонтан, то, вопреки здравому смыслу и законам гидравлики, второй фонтан не забил сильнее, а тоже мало-помалу иссяк.

Да, да, не надо было вам меня останавливать, надо было дать мне остаться тем, что я есть, пусть прожектером: ведь я только начинал и со временем бы выяснилось, что начало как начало и что вторых и третьих начал не бывает — начало бывает одно, Игорь. А всего несколькими годами позднее — в тридцать с лишним лет! — стали впервые появляться эти апатии, эти мои периодические приступы пустоты. Опустошало и притом каким-то образом совсем не мучило. Казалось, обычное расслабление, я ведь тогда учил языки, читал ночами. Но год от года объяснять самому себе становилось сложнее. И наконец однажды я понял, что это вовсе не жажда отдыха и не переутомление — это был уже бич, беда, болезнь. Вялость обрушивалась на меня вдруг, даже и посреди отдыха, посреди отпуска, — и руки опускались, ни душе, ни уму ничего не хотелось, а было мне только сорок лет. Я тогда испугался. Я даже сходил к врачам. Врачи, как водится, успокоили. И, как водится, не помогли. Они опять же говорили о переутомлении, да кто же в наше время без нужды знает пять языков, батенька! да и зачем?! Время шло; сменяя друг друга, одни врачи уходили на повышение, другие на пенсию — врачи уходили, апатия приходила вновь.

Нет, Игорь, неужели я стану обвинять тебя лично — это глупо! И ты, и вы все не желали мне зла, но оттеснили. И вы, и те, кто шел за вами, — вы просто жили свою жизнь, но жизнь-то ваша все более перекрывала мне кислород. Начальство начальством и окрик окриком, а жизнь жизнью. Ты пойми: ни один начальник не прикрикнет на излишне выделяющегося человека, пока не увидит, что вокруг есть те, кто этого излишне выделяющегося также осуждает. Начальство именно *опира-*

ется, пусть мысленно и пусть без предварительного сговора, но именно опирается на тех, кто прост, практичен, начинен здравым смыслом и умеренным чувством прогресса, а также послушен. Вы были всюду, вы жили свою жизнь, и вы этой самой *своей жизнью* нас вытеснили — и не столь уж важно, одернули при этом меня или нет, окрикнули или не окрикнули грозно.

Если апатия особенно жестока, он и не разговаривает. Он лежит утром (одетый), лежит в середине дня. Книги отложены, он не читает.

Он как-то сказал, что в таком состоянии он предпочитает сдаться, его, мол, уже не пугает ощущение краха и как следствие — усталая покорность текущего времени; психика? — ну, пусть: куда легче уступить, куда легче и разумнее попросту не сопротивляться, сдаться, отдать, пусть случится в сознании самое страшное, ведь и в сумасшествии есть, вероятно, свое милосердие, и пусть это страшное милосердие однажды его одолеет, победит; ведь несомненно, что, как только он поддастся до конца, в ту же минуту самое ужасное и самое мучающее в его сознании кончится.

Он — в сильнейшей подавленности; и ему безразлично, что к нему пришел его единственный (и крайне редкий) гость; он, правда, открыл мне дверь, но вот уже около часа я сижу за столом, листаю редкие или интересные мне книги, пью чашку чая, курю сигарету, а он полулежит на диване, молчит, витая где-то далеко, и на глазах его, если присмотреться, этакие слезки. Он шумно вздыхает, слезки, две штуки, от вздоха слетают — он их и не заметил, просто слезятся глаза, такое бывает, он вполне и вполне спокоен; он смотрит не отрываясь на красно-синюю высокого качества рериховскую копию, что на стене. И глаза его — сухие.

Я зашел к нему по дороге; уже поздно — и мне пора домой. (И ведь он все равно молчит.) Книги я полистал, покурил.

— Может быть, прогуляемся, воздухом подышим? — предлагаю я. — Проводите меня до метро — вот вам и прогулка.

Он коротко мотает головой: нет.

Я ухожу. Раз в полгода я его проведываю, но, в сущности, его жизнь меня мало волнует. И я не знаю, для какой такой амбарной книги или для какого гроссбуха

с грехами нашими и хорошими делами я ставлю эти птички — мол, опять зашел и проведал. Просто так проведал. Ведь человек.

Роен ты или не роен? — вот в чем вопрос, вот в чем для вас вся истина; вы, Игорь, сильны ройностью. Иметь деловых и помогающих друзей, жену с детьми, иметь ненавязчивую родню, иметь во всякой сфере умного своего человека — вот в чем постижение жизни, ее смысл, *пришли иные времена, пришли иные племена.* Ни ум, ни познания — ничто не имеет самостоятельного смысла, если ты не роен, не растворен в шумном и большом рое. Более того: и ум, и познания, и силы увядают, гаснут, становятся нестимулированными и в конце концов ненужными. И я, Геннадий Голощеков, глядя на себя, вполне могу признать, ты слышишь, Игорь, я признал, я вполне признал определенную вашу правоту.

В сущности, все и вся у вас говорит одно: особенного не ищи, ни о чем особенном не думай, войди в рой, прилепись и будешь спасен. Рой сам найдет тебе и дело и оправдание дела, не твоя забота — хотя, пожалуй, ты (к тому же!) будешь думать, что дело нашел себе сам. Будешь счастлив... и ведь какая вроде бы малость: не покидать родню, людей, близких, деловых и помогающих друзей, трудиться, жениться, иметь детей... так просто! и так бесконечно много! И что бы там ни было, как бы ты ни заблуждался — ты роен, и уже потому ты прощен и спасен, ты будешь жить, будешь беспрерывно общаться с роем, с общностью людей через своих приятелей, через товарищей по работе, через жену, через своего ребенка, — и через эти, казалось бы, миллиметровые соломинки, через капилляры ты уже связан с городом, с космосом общей жизни: *из тебя* — и обратно! — *в тебя* будут идти соки роя, ты в общей лимфатической системе, в общем кровопотоке людей, как мало... и как много!

А у него, у Геннадия Павловича Голощекова, этих капилляров нет — и рой ему, неприлепившемуся, не прощает.

(Иногда в Геннадии Павловиче оживает прежний Хворостенков. Домашний, мягкий, готовый тут же уступить или даже признать свою неправоту, а все же Хворостенков. Я понимаю, что ему это необходимо хотя бы внешне, пусть даже нынешние его психоизгибы несравнимы с тем каскадом блистательных идей, с тем уди-

вительно легким, пластичным проникновением в страну вечных и новых истин, которыми он покорял многих — и меня тоже — в былые дни.)

Затем (голос негромок, тих) он шутит, улыбаясь и давая себе отступного в самоиронии. Он предлагает, *вполне в твоем ключе,* Игорь, написать рассказец: о том, как некий человек постигал идею роя, великую и единственную идею мира. Человек, мол, читал. Человек бесконечно много читал. Все более и более углублялся он в тянущуюся к нам из глубины веков мысль о ройности, но при этом все более и более отдалялся он от людей, забывая о друзьях, теряя родных и близких, так как постижение идеи требовало великого напряжения души, звало к уединенности, а также портило ему характер. От него ушла жена, и в освободившейся ее комнате разместился очередной контейнер философских книг. С взрослеющими детьми он тоже не ладил: не общался с ними, не звонил. Он жил один. Тем временем стукнуло шестьдесят, его проводили на пенсию, так что однажды и сослуживцев вокруг него не стало. Он выходил на прогулку лишь ночью. Он не общался даже с соседями. Зато он все больше и больше постигал идею роя. К минуте, когда он, проникшийся, был в душе своей предельно роен и уже доподлинно знал, что только в рое окончательная правда человека, он в жизни остался один-одинешенек. Аки перст.

В отглаженных брюках, в белой накрахмаленной сорочке Геннадий Павлович пребывал дома и в субботу, и в воскресенье, а также вечерами после работы во все другие дни: сидел дома как бы собравшийся идти, хотя идти он никуда не собирался. Но это ощущение присутствовало — ощущение, *что его позовут* и что он сразу же пойдет, лишь представится случай. И нет апатии. И пиджак хорошего покроя висит в шкафу, близко, только открыть створку. И возникни что-либо, явись у кого-то нужда в Геннадии Павловиче или просто встреться ему человек юности, позови, кликни — он готов. Возможно, уже давит литература, возник образ, однако же и на самом деле я не раз и не два заставал Геннадия Павловича вполне одетым к выходу, в отутюженных брюках и в накрахмаленной праздничной, приготовленной к немедленному выходу сорочке, хотя Геннадий Павлович никуда не шел: валялся с книгой на диване. С некоторой ус-

ловностью можно считать, что он таков всегда. Готов — в каждый вечер. И в каждый выходной или свободный день. В конце концов пусть будет немного литературы: образ.

Если суббота или воскресенье, он бывает небрит (иногда) и седина серебрит щеки. Но ведь побриться — три минуты.

Комедия: *вельможа, который надеется, что его призовут,* или *Сперанский в опале,* — сам же и шутит над своей готовностью Геннадий Павлович, рассказывая, как, и правда, однажды раздался заливистый звонок в дверь, и человек пришел, человек возник на пороге Геннадия Павловича и его призвал, позвал... на свадьбу. Сверстник и давний сослуживец Борис Никитович Брагин в те дни женился: было необходимо собрать людей. (Комедия как комедия.) Многочисленные приятели Брагина на его свадьбу не шли, так как решительно не желали ссориться с его прежней женой. Они выжидали. Но Брагин все же собрал и созвал: человек восемь — десять. И именно далеких и почти забытых собрал — собрал *хоть кого-то ради нее.*

Брагин еле отыскал Геннадия Павловича, довольно долго наводя справки и теряя время, а время уже поджимало.

Поздоровавшись, Брагин сказал ему прямо с порога:

— Идем. Женюсь я...

Зато Геннадий Павлович был именно готов, отутюжен. (Даже побрит.)

— Да ты же женат!

— Идем, идем, Геннадий, — побыстрей. Женюсь на молоденькой.

Та из стайки, светловолосая, с косицами, приехала из самой глубинки; очень сдержанна, скромна, а на руках ее, на тонкой шейке и на щеках томный жар провинциальных улочек маленького города. (В средней полосе России, с старинным названием и с медленной небольшой рекой.) Хоть бы одно имя он запомнил! (Галя? Валя?..) Она была бледненькая в тот день, день зачета или экзамена, они столкнулись лицом к лицу на лестнице, и он ее спросил:

— Как вы себя чувствуете? Что это с вами?

— Но мы же, Игорь, не только много болтали в наше хворостенковское время, помогли сокрушить культ —



тоже мы. Пусть это общо, слишком претенциозно (согласен!) и слишком многозначительно, но позволь это сказать... Мы много болтали, но кое-что тоже делали. Или напомнить?

Идея растворения индивида в людях, идея людской общности, или, как он для краткости и выразительности говорил, идея роя, поддерживалась в наших разговорах аналогом жизни пчел. Рой — это целое. Это одно живое существо. И когда пчела почему-то отделена, рой невольно свои жизненные соки и силы придерживает: держит их при себе, в себе, для себя, оставляя одиночку на полном почти нуле, что и понятно и правильно. Пчела гибнет. Рой вечен. Или почти вечен.

И, мягко улыбаясь, Геннадий Павлович разводит руками: видишь, мол, не сержусь, и не сетую, и говорю, мол, о собственной гибели вполне спокойно.

— Еще чаю налить? — спрашивает он меня.

Я киваю — еще, мол, одну чашку и хватит. (Я уже сколько-то чашек выпил. Пора домой.)

И тогда Геннадий Павлович торопится высказать:

— Пойми: пчела гибнет без жизненных соков общения. Если следовать образу, я давным-давно должен погибнуть.

И еще:

— Может быть, Игорь, я уже мертв — но ведь я живу.

И еще:

— Живу я (может быть!) лишь потому, что рой пока еще хранит для меня какую-то толику своих соков, рой еще не поставил на мне крест: мало ли!.. а вдруг я усыновлю кого-то, а вдруг сопьюсь и из похмельных ночных страхов женюсь на одинокой вдове: прилеплюсь. Быть может, я еще сгожусь рою — понимаешь? Или вдруг какой убогий прикипит ко мне сердцем: слабый, дебильный и мало кому интересный, он будет ко мне приходить, рассказывать, какая на улице погода, как он любит голубей, и я его, убогого, не оттолкну. Рой не перекрывает свой кислород окончательно, дает соки и отцеживает мне по капле — на всякий запасный случай!..

И еще (теперь с иронией):

— Не печалься обо мне, Игорь, — как видишь, у меня немало вариантов выжить и осуществиться. Из како-

го-то удивительного милосердия вы меня не лишили всего: кое-что оставили.

Он не меняется, он только истончается в словах и оттенках (мне можно уходить; еще одну чашку чая я уже выпил).

Нинель Николаевна куда прямее и энергичнее, как в своем запале, так и в своем презрении:

— Вы как татары! — кричит она мне. — Как татаро-монголы!

Их выводок забили нашествием, да, да, Игорь, нашествием практичности и цинизма. Их время мгновенно ушло, оно было слишком прекрасно. Поэтому *последующих* она даже на поколения не разделяет, проблемы поколений или там проблемы отцов для Нины нет, на десять, на двадцать или на тридцать лет моложе, какая разница — все они равно тупые, многочисленные, убившие тогда и убивающие посейчас их светлое время. Татары.

От одиночества Нинель Николаевна ездит иногда в недалекие туристские поездки. Она побывала и во Владимире, где Дмитровский собор, Успенский запали в ее сознание и встали там, как догорающие высокие свечи, уже который век освещающие стиль *до нашествия* — стиль белокаменного великолепия, стиль полета и света.

— Мы готовились жить, восхищаясь друг другом и ликуя: жить прекрасно, светло, честно! — Нинель Николаевна выкрикивает слова не потому, что с ней спорят, *давным-давно не спорю, только киваю,* а просто от саморазгона, а более от бойцовского темперамента, который на всяком перепаде бурлит ручьем и не может, не умеет так изящно и мягко гнуть серебряную струю течения, как умеет Геннадий Павлович, разворачиваясь попеременно то иронией, то жалостью и к тем, и к этим — ко всем людям.

До пятидесяти еще есть несколько лет, и Нинель Николаевна очень следит за собой — она подтянута, ухожена, строго и со вкусом одета. Она придает большое значение своим походам к массажистке, ухаживает за лицом и охотится за специальными, славящимися кремами.

И, конечно, тоже стычки:

— Ваш практицизм превратил жизнь в систему знакомств и дорогих подарков. Во вторник я сидела у мас-

сажистки три часа, а дамочки шли и шли мимо меня без очереди, даже не с черного хода, а прямо и открыто... Да, да! Внесли в жизнь делячество — как? А очень просто. Вы внесли его сначала осторожненько, Игорь, вы просто жили, как жили всегда, и у вас хорошо, а потом совсем хорошо, а потом и отлично пошли дела.

На приеме у зубного врача тоже ходили туда-сюда знакомцы. «Я записывалась на шесть тридцать, а уже девятый час!» — выкрикнула Нинель Николаевна. Она постаралась успокоиться, но неожиданно накалилась еще больше и так накричала на врача и на его медсестру, что зубная боль вдруг прошла, и Нинель Николаевна отправилась домой, хоть и знала, что завтра боль погонит ее сюда же, в этот же коридор, к этому же врачу. Так тебе и надо, так и надо! — говорила она, мстя себе самой и за побег, и за то, что не могла быть, как все эти люди. (Раньше горечь Нинели Николаевны была более едкой; казалось, Нина обладает прямым знанием человеческого неблагородства, особенно же знанием неблагородства мужчин, угадыванием их наперед, — теперь ее обвинения по большей части слишком общи, в личное она острием не попадает.)

Нинель Николаевна: «Ты, Игорь, в скрытой форме такой же прагматик, как и все ваши. Ты — внимательный, не лишенный тонкости человек, но что это меняет по сути?.. Ты — их человек; ты можешь себе позволить быть внимательным и тонким...»

Голос ее твердеет:

— Тебе и твоей жене не удалось добыть благ — а значит, вы средненькие из ваших. Такие же, как все, но только с меньшей энергией и удачей. Вы — третий или там пятый эшелон...

И добавляет смеясь:

— Но эти эшелоны движутся в том же направлении, Игорь.

Геннадий Павлович и Нинель Николаевна не знают, что к каждому из них я изредка захожу, — им это неинтересно; давно разойдясь, они ни разу не спросили друг о друге. Они, может быть, и не помнят уже.

Не узнавшие.

Нина говорит:

— Что-то ты не похож *на своих* — и как это ты с бытом не сладил?

И утешает:

— Ты еще вывернешься... Купишь машину и дачу, хорошо устроишься. Все придет, Игорь, — ты не волнуйся, не волнуйся...

Или даже сердится на мои слова:

— Да что ты прибедняешься!

Когда подхожу к ее дому и подымаю глаза — вижу ее три окна, одно кухонное и два комнатных. Из них всегда горят комнатные. Удивительно ощущение, что сейчас подымешься, войдешь в квартиру, и она там одна. Всегда одна. Бытовые окружающие предметы стали для нее, вероятно, почти живыми (не живыми, но и не вполне мертвыми), так что Нинель Николаевна — хотя бы и молча, глазами — с ними общается. Не случайно же одинокие люди наделяют мебель душой, сначала как бы шутейно приветствуя: «Здравствуй, мое зеркало... Здорово, стол!» — а углы и особенно темные ниши своего жилья невольно населяют чертиками и всякой иной нежитью. (Ночные страхи и видения начинаются с неосознанного желания населить углы хоть кем-то или хоть чем-то.)

И когда, редкий гость, я прихожу, едва только ноги мои переступили порог и стучат в прихожей, Нинель Николаевна, сама того не зная, рвет связи с углами и нишами, с душой зеркала, с рослостью шкафа и с иной придуманной нелюдью — она рвет с одиночеством, но ведь, сделав резкий шаг, остановиться трудно. И потому по инерции ее заносит еще несколько вперед. И вот она — среди людей (миновав общение вдвоем). Из одиночества она как бы сразу попадает в собрание. Она становится рассуждающей широко и социально, становится обостренно чуткой и воинствующей и потому-то, как сама совесть, обрушивается подчас на меня и мою обычную жизнь.

Это понятно.

Нелюбовь к чужим не дает ни уму, ни сердцу. У Нинели Николаевны есть соседи, отгороженные стенами, и есть сослуживцы, всякие там мелкие или малоприятные типы на работе. У нее есть люди в жэке, люди на почте, люди в гастрономе, с которыми она невольно день ото дня видится, но не любить их ей неинтересно, так

что нелюбовь ко мне, быть может, особая честь. Возможно, нелюбовь не хочет быть рассыпанной по людям (и распыленной) по той же причине, по какой и любить мы тоже не хотим всех подряд, а выбираем кого-то конкретно. С другой стороны, всякое чувство опосредовалось, приржавело — и нелюбовь тоже не хочет вести к прямому противостоянию, предпочитая пелену тонко выбираемых слов сегодня, завтра, через полгода, через год, то снисходя, то вновь жесточея. Скопившееся мучит.

В невольном (отчасти) желании найти виновного Геннадий Павлович похож на Нинель Николаевну, но в словах он помягче.

Геннадий Павлович открыл дверь; в прихожей он добродушно ворчит, этак улыбаясь и слова растягивая:

— А-аа... Вот и гость пожаловал.

Я здороваюсь.

— Ну, ну. Молодец, что заглянул. Книжки полистать хочешь?.. И водочки стопку, конечно.

— Можно и водочки.

— Да уж!.. И водочку, и книги — и как это *ваши люди* все успевают?

Нинель Николаевна непременно нападает, наскакивает на того, кто с ней добр, притом что перемежающиеся нападки и жалобы — не просто женский жанр, но состояние духа. Она хочет быть понимаемой глубже. В идеале Нина хочет пострадать не от одиночества, а от обстоятельств извне, но и обстоятельства должны быть круто замешены и ее, Нины, достойны.

Ей не хочется человека. Ей хочется образа.

Но каждый раз, выкрикнув свои обвинения, Нинель Николаевна, человек чуткий к чужим бедам и втайне мягкий, испытывала раскаяние. Ей очень хотелось сказать — мол, тебе и твоей Ане я желаю только счастья, и не слушай, мол, Игорь, меня в моем одиночестве. Но она этого не говорила. Скрывала. Вместо слов возникал тик на лице, еле приметный.

И лишь иногда она подходила, чтобы проводить у самых дверей; она смешно крутила мне пуговицу на пальто и говорила:

— Ты, пожалуйста... ты не принимай близко к сердцу.

А левое веко у нее тихо-тихо дергалось. Она не смотрела в глаза.

И Геннадий Павлович, высказавшийся и тоже вдруг смущенный, гмыкал:

— Ты, Игорь, пойми, гм-м, и, разумеется, не принимай, гм-м, лично — мне ведь некому больше сказать.

Во внешний мир они, в сущности, выглядывали редко, но и тотчас же внешний мир их как-то очень ловко отталкивал, выталкивал из себя, выбрасывал на манер Даева и его Олжуса или на манер бывшего сокурсника, которого встретила и к которому пришла домой Нина..

Нинель Николаевна сидит у телевизора, звук которого выключен; она лишь случайно поднимает глаза на мелькающее изображение — что там? река, переправа?— и вновь Нинель Николаевна опустила глаза: вяжет. Она вяжет изящными движениями рук, руки у нее, и правда, красивы, тонки, и она как бы демонстрирует их подмигивающему бельму экрана.

Почему с ними (с ней или с ним) должно что-то стрястись? Ну да — одинокие. Но ведь люди как люди... Таких тысячи.

У нее — газ, у него — машины и перекрестки.

Но, может быть, я боюсь за них потому, что редко у них бываю и от незнания выдумываю. Может быть, я выдумщик, и потому не только Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, но также все прочие мои знакомые и приятели, и моя семья, жена, дочь, все люди и города и деревни и весь мир вокруг — это хрупкая, моя и не моя, выдумка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Не жениться ли мне на продавщице? на официантке?» — рассуждал иногда Геннадий Павлович. Он плохо контактирует с пришедшими на смену, с заполонившими все вокруг трезвыми и практичными людьми, но, быть может, его, пожилого (и непредприимчивого) интеллектуала, как раз и способна понять простая женщина, понять и сойтись с ним, как сходятся и подчас пресловутые крайности. Как думаешь?.. Ведь простая женщина по сути своей — народ, в старом и добром толковании этого слова; народ лишен крайних взглядов, народ не

умеет и не хочет разделять на предыдущих и последующих, он всевелик и всеобъятен, не так ли?.. Народ понимает все и всех или не понимает никого, чем и велик! — не без высокопарности рассуждал Геннадий Павлович.

Но, с другой стороны, он тут же пугался. Он провидел жизнь с некоей Зиной, которая была, скажем, официанткой в кафе и которая выдумывала бы и рассказывала своим подружкам в белых кокошниках, как вчера вечером *они с Геночкой ссорились, а затем еле помирились*. Зина с фантазией, что поделать! А подружкам в кокошниках ее рассказы нравились. И поскольку отношения с Геннадием Павловичем были ровные и самые понятные, Зина сильно бы их усложняла, выдумывая какие-то сцены, ссоры, будто бы пьяные похождения Геннадия Павловича, особенно же как он, сильно перебравший, явился домой и как она его укладывала спать, жалела и обстирывала. Зина не видела бы в своих рассказах ничего дурного, она вовсе не оговаривала Геннадия Павловича и не добивалась от подруг жалости или сострадальческой доли — она полагала просто, что такова жизнь, *интеллигент ведь, подрался в жэке с монтером, а мне опять — разнимай,* опять же вино, блевотину его ножом соскабливаю с пальто, легко ли, говорила бы, всхлипывая, Зина по телефону, в то время как рядом Геннадий Павлович, ничего нынче, кроме боржоми, не пивший, мирно посапывал на уютном диване, в полудреме придавив щекой «Римскую эпиграмму» в подлиннике.

Он подобрал этот осколок своих былых мыслей — рой — и теперь за него держался. В сущности, он терял себя; он завершался как личность, вероятно считая, что рой — вершина его размышлений. (А это был итог.)

Нинели Николаевне перед началом своего выступления Андрей Вознесенский рассказывал о городе Марбурге и о студенческом общежитии там имени Ломоносова, расположенном на самой горе, у средневекового замка.

А выступление впервые не удалось. Потускнели: аудитория одного из лучших наших вузов притихла. Пылкие парни и девчонки не шумели о свободе искусства, не бурлили, не братались, не восклицали, *не слышали:* они

как бы пропускали слова поэта мимо себя. (Пятый курс, они вскоре разбрелись по различным НИИ, занялись наукой, как невыносимо медлительно и как мгновенно они разъехались, вдруг заскучав и исчерпав свое время.) Поэт в тот вечер не мог понять, думал, что, может быть, он сегодня не в форме, не заболевает ли в простудное время, — и Нинель тогда ужасно мучилась, стыдилась смотреть ему в глаза, так как она-то знала, что стихи прекрасны и что читает поэт замечательно, но что в студентах, если не в самом студенчестве, уже зияет, уже означается пустота. Грянули вполсилы аплодисменты. Нинель едва не расплакалась. (После чтения, провожая, она расплакалась; поэт не понимал и только повторял смущенно:

— Спасибо... Спасибо...)

Мы пили у нее дома кофе, Нинель Николаевна была весела и мечтала о человеке своего выводка:

— ...А я тебе говорю, Игорь, он появится — и мы непременно с ним встретимся, узнаем друг друга. Мы узнаем друг друга уже издали — сразу! Хотя бы и на улице, случайно, встреча в толпе тоже может быть определенным нашим знаком. Улыбаешься?.. Ну-ну!

А я улыбался тем, не совпавшим полурыбкам.

И вот Нинель Николаевна говорит мне вполне серьезно, что некий человек уже устраивается к ним в НИИ на работу, это *он, Игорь, это — он!* случайно она столкнулась с ним в отделе кадров, они разговорились, а затем вышли на улицу и два часа кряду разговаривали душа в душу, как вдруг потерялись — право нелепо!.. Они потерялись в толпе, где новый универсам, а рядом с ним обувной, и люди там идут, как волны двух сливающихся рек, — нелепый людской водоворот растащил их в разные стороны. Он ей сказал: «У выхода?» — она сказала: «Да, да!» — и зачем ей надо было в обувной, у нее есть обувь, отличная обувь, ну просто женщина как женщина, вот и зашла... и потерялись. Он устраивается к ним работать, так что, разумеется, они опять увидятся, но жаль вечер — такой удивительный, чувственный и *все нарастающий* вечер. Да, Игорь, это он, мой мужчина, мой человек — он был остроумен, и совсем ненавязчив, и деликатен, нет, нет, не одуванчик, чувствовалось влечение мужское, сильное, что ж отрицать! С ума сойти... Всего-то три строки прочел он из стихов нашего време-

ни, но по уместности и по тональности их, по удивительной точности прочтения сразу же стало ясно: наш. Мы были друг для друга: мужчина немолодой и немолодая женщина. Вчерашний вкус? Но повторяю: было острое чувство, было даже прямое желание, хоть все было заткано, как пряжей, его духовной тонкостью: он был таким, каким ждался.

Разумеется, разумеется. Но каков вечер! И ведь всего-то два часа мы бродили, у меня не успели ноги устать. Голос проникновенный — он говорил такие проницательные вещи о жизни и смерти, что и у Достоевского я не находила. Он знает людей. Он чувствует... А какие у него руки, нет, он не курил, но он два раза вынимал платок — красивые, нежные руки...

Спустя же полгода, когда я вновь прихожу посидеть у нее час-другой, Нинель Николаевна с некоторым волнением рассказывает, что к ним, кажется, собирается устраиваться на работу человек их выводка. Кажется, умный, интересный: видела, мол, его мельком в отделе кадров.

Еще через полгода, забыв, что говорила и что не говорила, Нинель Николаевна сообщает, что встретила все-таки мужчину, да, того самого, с которым они потерялись возле универсама. Представь себе, встретились на работе. У входа!..

Знакомство возобновлено, но ведь жаль упущенное время.

— Ах, если бы чуть раньше. Мы бы и отпуск провели вместе.

— Есть же следующий отпуск, — подыгрываю я.

— Разумеется. Но целое лето потеряно... В моем возрасте, милый Игорь, для женщины каждое лето на счету...

Он — знаток театра, театрал и тонкий ценитель, видишь ли, Игорь, в нашем выводке все театралы, воспитанные и на академизме, и на первом взлете *того* «Современника», нас не удивишь. Но он — нечто особенное. Он препарирует театр как проявление вековечного лицедейства, он изящен, убедителен; рассказывает он совсем негромко, чуть склонив голову, у него ежик, седые красивые волосы...

Нинель Николаевна возмущается:

— Всю жизнь прожить — и только сейчас найти человека!

И выговаривает себе же:

— Видно, не умела в свой час разглядеть... Видно, гордыня заела, а, Игорь?

Я киваю. И думаю вскользь о проявлении вечного или, как она выразилась, вековечного лицедейства: и ведь сумела, и ведь создала образ!.. Таким он, вероятно, и останется в моей памяти, этот высокий господин с седым ежиком и обаянием негромкого голоса; и, разумеется, с утонченным пониманием театра. У господина прекрасная речь, отличные манеры, и, в сущности, у него единственный недостаток — несуществование. Он выдуман, хоть и отменно хорош собой.

Я не забыл, как тогда, на ночь глядя Нинель Николаевна открыла газовые краны и попыталась выразить отношение своей юности к своей теперешней жизни; но ведь выдумки тем и хороши, что отвлекают, и, может быть, игра в отношения с театралом и сам театрал — не просто игра, греза, но и замена газового крана. Тогда хорошо. Она это вынесет. Надолго ли сны и долог ли век заменителей? (Бывает и долог.) Когда, утомленная цифирными бумагами и суетными сослуживцами, Нинель Николаевна приходит после работы домой, она наскоро стряпает, ужинает и только затем садится вязать возле мелькающего, иногда беззвучного телевизора. Расслабление. Покой. Именно в минуты вязания она погружается в себя настолько, что без труда и без медитативных усилий, благодаря ли яркому импульсивному озарению или, напротив, медлительным, постепенным и неудержимым приближением к образу в ней возникает *он,* живой человек, с седым ежиком, с чертами лица и с голосом, — ей видится то, что не видно.

Она рассказывает, что этому человеку (она никак не дает ему имя — или всякая обычность в приложении к нему становится невыносимо заземляющей и плоской?) — рассказывает, что ему всего-то семь-восемь минут нужно, чтобы высмеять лучшую современную пьесу, в точности указав ингредиенты ее духовного коктейля, собранные у драматургов прошлого, от елизаветинцев до Чехова... «Но не настаиваю, впрочем, на своем мнении», — мягко говорит он, суждения его точны, но не злы. Он никогда не скажет: мол, кустари. Лицо закрыто, грустно. И веки смеживаются. И седина ежика чуть подается вперед, голова опущена, как бы все-таки смирясь и уйдя в тень под напором наступающего практичного, коктейльного времени.

Нина говорит:

— Какой ум. Какая душа. И какой такт. А ведь он всего-то старше тебя на десять лет, Игорь...

То есть этот ее идеал с ежиком, этот седой, знающий в театре мужчина — уже трудоустроен, в жизни определен, и у него биография; и с учетом возраста он, скажем, учился в вузе не вместе с Нинелью Николаевной, а шестью годами раньше.

...У нас все замечательно, люблю его, ревную: кажется, все женщины в него влюблены! Заботит меня лишь мое собственное нетерпение: слишком хочется совместной жизни, совместного дома, совместных за ужином вечерних минут — но я, как ты догадываешься, об этом ему ни слова, ни намека.

Я подыгрываю:

— Да, да... Не торопи его. Будешь настаивать — можешь испугать.

— Знаю. Знаю. Сама себя сдерживаю.

— Постарайся понравиться его родным.

— Уже, Игорь!.. Я познакомилась у них с его матерью—такая древняя-древняя (и совсем не изъезженная жизнью) московская старушка. Я ей понравилась. Можешь считать, что она меня любит. С ней просто. Знаешь, когда они пьют чай, это целое чаепитие — этакий солидный, несколько старомодный московский уклад, даже стол на львиных лапах: массивный круглый стол посреди комнаты, и чай только-только заварен, на столе пироги — и с грибами, и с вязигой, и с рыбой, скатерть старинная, красивая, а старушка, мама его, вдруг шепчет мне: Ниночка, милая, как бы я рада была, если бы сын мой наконец женился, ведь одинокий! И заплакала, бедная... и вся трясется сухонькими плечиками, сухонькой грудкой. А он спокойно, мягко поставил чашку с чаем на блюдце и говорит ей негромко: перестань, мама; у нас гости, мама: пожалуйста, перестань, мама... А та кивает. И плачет. Есть у него еще сестра — помоложе его, ко мне она в меру внимательна и в меру равнодушна.

. . . .

Да, да, я не пытаюсь ничего ускорить: я не спешу. Он привыкает ко мне все больше, что верно, а только вдруг вместе с привычкой пойдет на убыль само чувство?

. . . .

Да, он чуток — а я счастлива общением... Ты обделен, ты не понимаешь такого общения, Игорь. Мы знаем так много ласковых слов. Мы не стесняемся нежности. Для вас сюсюканье, а для нас — ласка. Вы намного грубее, жестче, и тебе не понять.

Через полгода, через год:

— А если бы со мной рядом работал человек нашей юности?! Умный, душевно тонкий! Я иногда думаю: вот иду я мимо отдела кадров, а там стоит человек, устраивается к нам на работу...

Забыв, что еще год назад он был живой и с седым ежиком на голове, забыв о его старенькой матери и холодно вежливой сестре, она говорит о нем лишь предположительно.

А я слушаю. И не перебиваю.

Если же за кофе, когда она пожалуется на одинокость, я, как бы невольно и как бы что-то припомнив, пробую осторожно сместить ее в область ее же фантазий, пробую мягко подсказать — и говорю: мол, не такая уж одинокая, был же у тебя раньше тот седой и деликатный поклонник, тот театрал, — она отвечает:

— А если я его выдумала?

— Тоже неплохо, — говорю ей я, потому что что же тут скажешь.

После того отравления газом прошел целый месяц, и другой месяц, и третий, и наконец она почувствовала да и врачи сказали ей, что все в порядке и что теперь нет и следа. Да, она здорова. Да, полностью. Это счастье.

Нинель Николаевна радостно шла домой; все в ней ликовало, она чуть ли не пританцовывала на асфальте. Строго и с достоинством одетая женщина, она только и делала, что гасила саму собой возникавшую улыбку. Она шла пешком — она не могла находиться в транспорте, так ее распирало свежей силой... Были сосны. Сосны прибольничного окружения и меж сосен асфальтовая тропа. А перед глазами — начинающий клониться за крыши домов вечерний красный диск солнца. Сосны кружились, тропа пружинила под ногами как живая.

О выдуманном седоволосом мужчине без имени мог быть рассказ, где некая Нинель Николаевна мужчину

выдумала, а затем до такой степени начинила образ живой жизнью, а отношения с ним — подробностями, что уже не знала, как ей быть и жить дальше. И тогда она придумала концовку о разрыве. О том, как они разошлись. Она несколько дней плакала после разрыва, даже болела; и был приступ стенокардии, так что ее гостю, случайно пришедшему к ней вечером, пришлось похлопотать. Гость испугался за нее всерьез, потому что выдумка выдумкой, а сердце сердцем. Он накапал ей валерьянки; он измерил давление. Наконец она уснула. Отправившийся домой гость — в данном случае это я, Игорь Петрович, — сначала обыденно шел улицей, дышал осенью, а затем вдруг заметил в толпе или, лучше сказать, наткнулся среди толпы на того мужчину, утонченного и седоволосого, с ежиком серебристых волос, да, да, вдруг заметил его среди людей на одном из переходов метро. Нинель Николаевна так старательно и так много о нем рассказывала, что он возник из ничего: в толпе, в толчее людей оказался на миг прогал пустоты, незаполненный промежуток, и тут же в этом прогале возник человек из сгустившегося воздуха: он материализовался. И зашагал. Он был в хорошем пальто. Строен. На голове седой, коротко стриженный ежик. Я шел за ним, пораженный, и когда он вышел из метро и, приостановившись, закурил — я тоже закурил и в остолбенении смотрел ему вслед. Он был тот самый человек, он не был копией. Он был — он сам. У него тоже не было имени.

Конечно, подступала зима, и были долгие, одинокие зимние вечера, которые в начале зимы довольно томительны, так что Нинель Николаевна не могла не встречаться с пожилым и седоволосым, и умным, и утонченным человеком, а когда через четыре-пять месяцев я пришел к ней вновь, мы выпили ее некрепкий кофе и вышли подышать, всюду заметно зеленело, — стояли лужи, стояла весна, и весной этот пожилой и седоволосый, и умный, и утонченный стал мифом. Он стал ей необязателен. Но в следующую зиму — опять появился. Быть может, приходи я пить кофе не раз в полгода, а раз в год, притом попадая исключительно по зимам, умный и утонченный человек все еще жил бы, существовал, и они бы по-прежнему дружили. И год от году я бы уверился. И был бы за Нинель Николаевну совершенно спокоен,

так как в моем представлении она бы перестала быть одинокой. Почти что семья — столь долгая и длящаяся дружба, да еще с таким человеком!

Ну да: я могу предположить, что в часы апатии Геннадий Павлович погружен в свою золотую пору — там он выступает, гремит, словом, воюет со сверхначальниками, отстаивая справедливость и вступаясь за людей обиженных, социально маленьких — что еще? — вспоминает стайку тех милых молодых женщин, что окружали его, следя влюбленными глазами, и среди них черноглазую (или, скажем, золотоволосую, что всегда боялась своего же порыва, своей любви). Но когда я вхожу, Геннадий Павлович ласкающие мысли отгоняет, а может быть, как всякий стыдящийся тайного порока, даже и судорожно их, ласкающие, от себя отстраняет или сам отстраняется от них — как проще? — и сразу же, виноватясь, говорит о том, о чем напоминает вид и облик пришедшего человека: о рое.

Я тем временем устраиваюсь в кресло посреди горы книг, так и недоразобранных (впрочем, возможно, что гора книг — новая гора, прикупленная им уже после той апатии, но до этой). Здесь же на столе — тарелка, чашка; и пыль, так что можно пальцем написать смешную, хотя и банальную, фразу о необитаемом острове. *Застигнут среди апатии.* Да, если он заболевает, он вот так и лежит — среди разора, книг и грязной посуды. Среди тарелок с старой окаменевшей яичницей. Любимое блюдо холостяков-интеллектуалов.

— ...Но самое простое — это, конечно, жениться.

Я слушаю и, как всегда, более или менее чутко с ним соглашаюсь.

— Жениться. И как-то реализоваться—иначе рой отнимет у меня последние соки, и я мертвец.

Киваю.

— Вот если бы мне только избавиться от этих апатий.

Киваю.

Оторвав глаза от рериховской копии и помолчав минуту-две, Геннадий Павлович вновь говорит:

— Ах, если бы вернуть хоть частицу молодости. Представь: я, очень любивший посмеяться да и умевший посмеяться *над всем этим,* теперь иногда вдруг сам подумываю об эликсирах... Смешно?

— Смешно.

— О женьшенях. О допингах. И даже о всякой уже

совсем нелепой чертовщине — ты никогда среди ночи не думал о черной магии?

Геннадий Павлович расслаблен.

— Стар я, Игорь. Ох, как я стар духом...

У него наворачиваются на глаза слезы. Я молчу; и уже отчасти жалею, что к нему зашел.

— Геннадий Павлович. Телевизор так и не работает? — спрашиваю я, нажимая и отжимая кнопки.

Спрашиваю:

— Как на работе — как ваш отдел? Его у вас не отняли?

— Пока нет...

Геннадий Павлович улыбается. На его высоком лбу возникают, впрочем, морщинки.

Геннадий Павлович никогда не ездит в отпуск.

Он пояснил, что такое — уехать в отпуск: сначала человек провожает самого себя куда-то далеко, а затем самого себя уже там развлекает или трогательно бережет от заболеваний. Он водит самого себя на утреннюю гимнастику и на ванны. После обеда он торопит самого себя к удовольствиям, упустить удовольствия он также не хочет.

Человек не только не становится цельным, но именно там, в отпуске, явно раздваивается, то опекая, то развлекая самого себя, как чужого, хотя и знакомого человека.

«Выглядишь плохо, — говорит Нинель Николаевна. — Или ты маскируешься под усталого? Ваши люди очень любят выглядеть усталыми — почему, а? и еще *добрыми* — это у вас прямо-таки любимое слово, *добрые*, прямо как тотальная маскировка: мимикрируете, сознайся?» — говорит она, как всегда, жестко, но глаза ее мягкие, размягченные, добрые, так как Нина прячет сейчас волнение и радость, обыкновенную радость, что к ней пришел человек в гости, хотя какой я гость. От волнения ей немножно зябко. И она продолжает говорить колкости:

— Нет, нет, Игорь, ты должен следить за здоровьем — мне думается, что ты много интригуешь с начальством? — сетует она, словам вроде бы не придавая колкого (укалывающего) их значения. И направляется на кухню, чтобы поставить на огонь кофе, предварительно отложив свое вязанье в сторону.

Жаль, что она вяжет: облик в литературе любит полноту, а даже и пережим в своей полноте, так что Нинель Николаевна, приходя с работы — приходит *из мира.* Из мира, который ее не понимает, который ее оттеснил, если не вытеснил, и потому-то она, придя с работы и переодевшись, прежде всего садится за фортепьяно и в бурных пассажах изливает душу. Облегченье какое! Мог быть весьма утонченный рассказ о том, как уже на ее лестничной клетке, где на стене желто-бурое пятно, похожее на карту пятого континента, и чуть прежде, чем надавить кнопку звонка, я по звукам из-за двери, по рисунку взрывной или, напротив, томящей музыки—Шуман или Шопен—уже с порога или даже до порога выявлял ее настроение. Я знал бы, к кому прихожу. И был бы, войдя, более точен и чуток с первых же приветственных фраз. Фортепьяно помогло бы ей также и на ночь глядя, в те тихие полчаса ночи, когда одиночество кладет на плечи свои тяжелые лапы и когда Нинель Николаевна подходит к окну (не удерживая себя, вглядывается в чужие окна, как в чужие жизни). Правильная последовательность—как покой. Оценив ночные владения одинокой женщины, Нинель Николаевна отворачивается от окон и вновь медленно приоткрывает крышку фортепьяно, садится и вновь длительно, как вечно, льется *жалобка,* печальная жалоба одиночки в мир, пока не возникнет хоть чей-то отклик; пока не послышится, увы, суровый ответ *из мира,* то бишь постукиванье в стену соседей, требующих ночной тишины.

Но она не играет на фортепьяно — и фортепьяно у нее вовсе нет. Она вяжет на спицах. И, в сущности, это так человечно. То свитер. То шапочку. То кофту на холода.

— Плохо ты выглядишь — почему? — Нинель Николаевна повторяет вопрос, сварив кофе и уже с кухни вернувшись. — Я думаю, Игорь, это не просто усталость, не просто ваша суета распродажи и устраиванье делишек: вы слишком себя приспособили! И с годами у *вас* будут *ваши* трудности... знаешь: к старости душа мало-помалу пробуждается. Вы будете думать, что вас душит плохо повязанный галстук, а это — душа, ха-ха-ха-ха...

В результате некоего обмена у Нинели Николаевны объявился новый сосед; нет-нет и они, как водится, оказывались вместе в лифте, а иногда у почтовых ящиков—

а однажды он позвонил в дверь и спросил у Нинели Николаевны, который час, так как часы его стали. В нем не было ничего предумышленного или особенного; он был вежлив, пригож и в меру с той самой сединой.

В течение двух или трех недель Нинель Николаевна видела, что он задумчив и что не очень-то счастлив, — он и правда был вполне одинок, к тому же сильно удручен недавним разводом и алиментами. Ему было пятьдесят с небольшим. Он казался слишком в себя, в свою судьбу углубленным. И, конечно, попытка разгадать тайну его замученного лица и жестов руки, меланхолично поправлявшей рассыпающиеся, всегда тщательно промытые его волосы, привела к тому, что Нина тихо влюбилась. Любовь была припрятанной, сладкой. Тем сильнее было разочарование. По сути, его вина, вина мужчины была лишь в том, что он и не подозревал о ее чувстве. Нина же продолжала считать, что он несчастен и откровенно одинок, пока не увидела его однажды весьма резво подходящим к дому вполуобнимку с какой-то женщиной, — конечно, это был подлый и сильный удар. Нинель Николаевна слегла на четыре дня, заболела — но, и болея, одинокая женщина пыталась его оправдать, передумывала событие так и этак, мучилась, упрекала, вновь оправдывала, а поутру, когда мученья ее допекли и молчанье стало невыносимым, она сама и впервые спросила его возле почтовых ящиков, где обычно его подстерегала, чтобы поздороваться. Она спросила с привычной строгостью в голосе, но и с готовностью выслушать, понять, и может быть, простить: «К вам, кажется, приходила в гости ваша сестра недавно — дня три назад?» — ответ был ужасен, а его улыбка, похотливая и откровенная, еще ужаснее: «Нет. Не сестра», — и больше Нинель Николаевна уже не спускалась поутру или вечером спешно к почтовым ящикам, сочтя соседа низким, низменным типом. Обычно Нина сбегала вниз в синем элегантном брючном костюме, под который надевался белый свитерок — цвета́ блондинок.

К счастью, Нинель Николаевна себя вовремя понять умела; при некоторой склонности к мелодраме в ней хватало кремния. Она не играет на фортепьяно: она вяжет. Нинель Николаевна тогда же себе сказала — да, да, выбросила из головы, никаких любвей на лестничной

клетке, я *выбросила,* хватит, стыдно же, — сказала себе, однако психологические ходы, как известно, извилисты, тонки, а тайны души лишь затемняются от покаянных зареканий никогда не смотреть, никогда не думать, никогда не говорить. Так что и после того, как дала зарок, несколько ночей Нина любила: она обнаружила целый клубок, сплетение дорогих сердцу притаившихся до поры мыслей и маленьких фантазий; теперь приходилось отрывать, хоронить каждую в отдельности.

Возможно, что из привычной твердости духа Нинель Николаевна вытоптала, выжгла в себе лишнее. Такова прерывность. Она уже не мучилась в тот закатный час, когда шла со службы и думала — вот сейчас приду домой и что?

Но тогда-то, совсем неожиданно, ей захотелось чего-то определенного — простецки понятного, живого. (Нинель Николаевна не хотела звонить по каким-то стародавним, забытым телефонам, тем более что, едва подумала, пробежала прошлое мыслью и в памяти стали появляться какие-то мужские лица, обрывки слов и обрывки отношений, она лишний раз обнаружила, что там все давно омертвело.)

Не хотелось ни в концертное заспанное время (не хотелось музыки), ни даже в театр, где в наилучшем варианте будешь толковать с кем-то в перерыве о старении актеров, — нет, нет, она поймала себя на том, что ей хочется именно грубоватого и случайного знакомства, она решила вдруг походить по ресторанам, походить одна, поискать случая, увлечения, может быть, и *пожить жизнью,* что всегда казалось ей нехорошо, пошло.

Нехорошо, пошло было это и в действительности. Из интересных людей никто в ресторане к ней не подсел, не подошел. Никто не встретился и на входе, со светской улыбкой помогая ей, скажем, раздеться, остро́ шутя и доверительно заговаривая о неинтеллигентности здесь окружающих.

Среди множества веселых полупьяненьких приставал Нинель Николаевна была как лишняя. За столиком, где она села, было тише тихого. Или она так уж держалась, с отгороженностью и с горделивостью на лице? или возраст?.. Мужчины интересные и мужчины уродливые, а также просто безликие лысые толстяки шутили, заговаривали и пили с молоденькими, которых было здесь сколько угодно. Или искали в возрасте, но тугих, сбитых, сочных женщин и чтоб была явно попроще, попо-

нятнее — пусть даже из легко и совсем понятных. Они все *желали иметь желание.* Хотя бы грубое. А Нинель Николаевна была как чужая, никто за ней не приударил, никто не поволочился, никто не лез с неловкими двусмысленностями — ни из шаставших, ни даже из сидевших рядом, из деливших с ней стол. И вопреки логике человека, пришедшего сюда скромно поужинать, Нинель Николаевна вдруг делалась недовольной поданным блюдом, дерзила официантам, перед мороженым заказывала бокал шампанского и вдруг что-нибудь фирменное, сверхдорогое, что долго затем ждала, вся на нерве, и оставляла после, не съев половины.

Для этих походов пришлось к тому же купить две-три нарядные тряпки, так что вскоре Нинели Николаевне предстояло довольно туго затянуть поясок. А также одолжить до зарплаты у одной из сотрудниц, с которой не было никаких отношений, кроме того, что иногда одалживались. Заодно ей предстояло вновь пристыдить себя, на этот раз за рестораны — и покончить с поисками; вернувшись домой как-то вечером, Нинель Николаевна повернулась в прихожей к зеркалу и увидела там стройную женщину с лицом почти старушки. Нинель Николаевна трезво, прямо посмотрела на нее и сказала:

— А?

Она как бы воскликнула:

— А?.. Неужели все?

И расплакалась. Слезы были спокойные, похожие на пришедшее наконец умиротворение, хотя умиротворения не было. Нинель Николаевна отошла от зеркала, но перед глазами все еще стояло подкрашенное для выхода на люди лицо почти старушки.

Еще несколько дней она томилась, выметая из памяти всяческий сор и паутину ресторанных своих походов, затем дышать стало легче и стало думаться о подступающем отпуске. Юг! Юг!.. сердце у нее тут же молодо и сладко млело, когда она провидела огромные звезды на черном небе и дыхание южной ночи, из тех теплых, насыщенных ароматами ночей, спать в которых человек, кажется, не сможет, не сумеет. Ощущение юга сохранилось в ней — слава богу!.. И надо было уже сейчас спохватиться и обдумать, да, да, спохватиться, потому что деньги она в эти дни тратила и тратила, а пора было их считать. На юге, как всегда, она снимет отдельную комнату со своим входом, будет есть виноград и не отказывать себе иногда в рыночных фруктах: она ведь всякое

лето за страсть к югу и привычную жизнь там платила здесь, в городе, крохоборством и какое-то время ежедневной экономией. Теперь это напугало вдвойне. Но она поедет, она непременно поедет — она готова подголадывать, готова позвать оценщиков мебели и остаться в голых стенах, но поехать на юг. Она, возможно, могла бы отказать в поездке самой себе, но она не могла отказать тому лучшему, что в ней было. Юг!..

...давила дурная погода и мучило настроение, как вдруг ворвалось красивое, всегда звучное для нее слово:
— Отпуск.

Она вышла из вагона с изящным чемоданом и дорожной сумкой; на перроне с первых же шагов повеяло тем миром, который она любила. Пятигорск сразу же и хорошо лег на сердце.

С утра Машук был как отмытый дождем, зеленый, сверкающий, — вдали и несколько отнесенно синел Бештау. Среди прочих людей, приехавших из шумной столицы, Нинель Николаевна с улыбкой, но в то же время строго оглядывала свои владения. Горы были на месте. Тропинки тоже. Люди прогуливались, улыбались, пили внизу нарзан. (Была тут необъяснимая, чудесная отдельность.) Попался и почти обязательный в каждый ее приезд странноватый человек первого дня. На этот раз им был совсем молодой человек: он сидел неподалеку на скамейке, пил портвейн и оправдывался. Устремив глаза на вершину, он говорил Нинели Николаевне, что пьет вино исключительно для того, чтобы исторгнуть из себя слезы, — он переполнен чувством любви к Лермонтову, ехал, ехал и ехал сюда (к нему) две тысячи километров, но вот приехал, прибыл и онемел в чувствах; от растерянности, а может быть, от усталости в долгой дороге он никак не может заплакать, хотя слезы в душе давным-давно.

Нинель Николаевна и сама посмотрела на Машук: гора сейчас была в золотой дымке. Время замерло.

Лишь однажды Нинель Николаевна была в санатории, и санаторский вариант отдыха ей крайне не понравился: было шумно, суетно, а оказавшаяся рядом подру-

га по комнате вешалась мужчинам на шею, то торопя, то вновь считая свои драгоценные отпускные дни. Это не только коробило Нинель Николаевну, но лишало ее тихих вечерних часов в своей комнате. Приходили-уходили, были шумливы. Нинель Николаевна погрустнела. Курортники беспрестанно ее там и тут удивляли. Некоторые в силу многолетней привычки к семейному обиходу просто не могли жить не спарившись, а спарившись — он и она — уже на следующий день вели совместную жизнь и даже с общим бюджетом. И вот подруга по комнате уже покрикивала на своего дружка, если он часто выпивал или являлся «домой» слишком поздно ночью. Люди вовсе не отдыхали — люди жили. И притом посвящали в закулисности. Было смешно и по-человечески печально, но суховато-сдержанную Нинель Николаевну окружавшие ее временные суррогаты семьи (те или иные) лишь раздражали суетой, а порой она просто недоумевала — что же для женщины тут нового? ведь в точности как дома — и зачем юг, если и здесь все копируется один к одному?

С той давней поры Нинель Николаевна снимала на юге комнату, предпочитая переплатить; хозяйка была грубовата, но чистоплотна. Что касается общения, то вступить в какой бы то ни было контакт становилось труднее, сложнее. Но спасали долгие прогулки, спасало здоровое физическое утомление и неспешная жизнь. Спалось ей чудесно. Натаптывая забытые людьми тропинки, она лишь изредка и на короткое время попадала в известные группки солидных дам и мужчин, толкующих о здоровье. Чаще была одна. В полнейшем штиле личной жизни она говорила себе, что ведь хорошо отдохнула, приняла ванны и совершала почти ежедневно большие прогулки: на водах как на водах. А ведь поутру так приятно солнце!..

Геннадий Павлович сказал:

— Хожу как ватный... Вчера чуть не сбило машиной.

Сказал он со смехом и сказал не в первый раз, так что я, знавший о подобных его случаях, покачал головой — мол, как же так! Но что-то во мне тогда словно щелкнуло: скользнула мысль, что вот так, мол, и нарастает болезнь его одиночества, нарастает от одного перекрестка до следующего перекрестка. Болезнь нараста-

ет сама собой: без драмы, без криков, без каких-то и с кем-то счетов.

Тогда же Геннадий Павлович прибавил:

— Смотри!.. Придется тебе меня кремировать — больше ведь некому.

И вновь он засмеялся: то-то, мол, хлопоты!

И Нинель Николаевна после отравления газом попала в ту же болевую точку, и *как это на кухне остался вывернутым газовый кран, ума не приложу,* Игорь, а я тогда сидел на полу на корточках и сгребал с пола, с паркета, с коврика, а ее вновь и вновь рвало. В одну из замедлившихся секунд, когда спазм отпустил и когда лицо ее расслабилось и появилось на лице подобие виноватой улыбки, Нинель Николаевна сказала:

— Да, Игорь... еще немножко, и тебе бы пришлось сильно озаботиться.

Она тоже имела в виду самые последние хлопоты, а я проворчал:

— Я в эти дни мог быть в отъезде.

— Игорь, милый Игорь, ты не мог быть в отъезде — ты бы обязательно был где-то в городе, близко, и тебя обязательно бы нашли!

И она засмеялась.

Да, у них культ своей юности... И что?

Когда я был помоложе, у меня был явный дефицит судеб и людей: дефицит близкого их знания. Людей, так или иначе соприкасавшихся со мной, было мало, так что слежение за типом, за поразившим меня характером отсюда и шло — от незнания. Записывание на отдельных листках, собирание характерных черт в отдельный ящичек, в отдельную коробку, а то и магнитофон, чтобы анализировать, чтобы уловить в оттенках его речи пресловутые полутона его совести, — все это молодо, возрастно, нелепо, но ведь было. Зато теперь, как и всякого человека, кому уже за сорок, люди меня обступили, людей много. Картина обратная: я не хочу узнавать.

Когда вокруг переизбыток судеб, встречи не в радость: люди заботят, забирают время, тяготят или даже мучат. Родные, близкие, знакомые, просто друзья — их слишком много, но еще больше горестного о них знания. С возрастом я уже не в силах в себя вместить их ран-

ние инфаркты, гибель их родителей, болезни, неудачи на работе, неожиданный крах личности, случаи (прискорбные) с их взрослеющими детьми, отчего во мне скапливается день ото дня темная, густая, липкая горечь — удел всякого знания в определенном возрасте. Я уже не хочу знать. Во всяком случае, я хотел бы знать меньше, узнавать реже, чтобы успеть хотя бы пережить узнанное искренно и не спешно, не на бегу. Я не омертвел от бед. Но я от них оглох. Я плохо слышу. С каждым годом мне все более трудно общаться: трудно жить. Да, непринадлежность себе. Если о литературном труде, то и тут горестное знание ни к чему, так как не успеваю я ни воплотить, ни даже более или менее глубоко осмыслить. Высвечиваясь в событии, жизнь человека проносится вдруг вся, с подробностями, с портретом, с психологией, с трудностью или с благостью смертного часа, однако проносится она столь ошеломляюще быстро, что опять же я не испытываю ничего, кроме самого ощущения пронесшейся чьей-то жизни. (Только и успеваю подумать: мог быть рассказ.)

И тем более узнавать близко посторонних (то есть просто людей, не родных, не близких, не друзей и т. д.) — перебор, и всякий человек уже к сорока годам подобный психологический перебор чувствует. Все не вместишь. И потому (невольно) я стараюсь приходить к ней и к нему как можно реже. Даже забываю о них. Иной раз я, кажется, надеюсь, что однажды совсем о них забуду и не навещу, не приду.

Их разговоры о возможной смерти, о кремации, которой они оба не без некоторого удовольствия меня пугают, вызывают во мне неотчетливую отрицательную эмоцию. А как иначе?..

Слова Геннадия Павловича:

— Ты, Игорь, жил себе и жил — и вдруг оказалось, что в огромном городе еще некий один человек, *помимо родных и близких,* навесил на тебя свои похороны.

Тема, помнится, вошла (или, может быть, вползла) через вполне шутейную дверцу: Геннадий Павлович обстоятельно и едва ли много преувеличивая рассказал, как однажды ему переехало колесом легковой машины ботинок и травмировало ноготь ноги. А спустя время на бойком перекрестке, когда там не было, казалось, ни одной машины, его ударило по щиколотке подпрыгнув-

шим колесом появившегося вдруг «Запорожца». А затем — и тут он тоже виноват, так как слишком задумался, — ударило под коленкой, это с год назад, а вот совсем недавно на обычной маленькой улочке, *я же тебе рассказывал,* машина сбила, ударив фарой в пах и в бедро.

— Ты заметил, что уровень опасности все повышается, — пошутил он.

А Нинель Николаевна как-то тоже сначала в шутку, внося из кухни сваренный кофе:

— Ты знаешь, Игорь, у меня что-то опять пахнет газом.

Лето — на это образцовое время года у нее есть для общения офицер прошлого века, двадцативосьмилетний, русоволосый, с темными усами, несколько молчаливый, но, конечно, знающий поэзию и правила чести.

Удивительна легкость, с какой она *со своей полурыбкой* пытается втиснуться в век дворянских мазурок и полузапрещенных дуэлей, хотя почему, если ее не узнали здесь, почему должны были бы, по правде говоря, узнать ее в том, в девятнадцатом?.. Может быть, и там он прошел бы мимо и не узнал ее, как ни обмахивайся она своей шляпой, широкополой и крымской.

(Не умеете любить вы, говорит она.

Или:

— О боже мой — перевелся мужчина!..

Так думает или так хочет думать, и лучше не затевать с ней отвлекающего разговора. Лето — и пусть любит офицера старой русской армии времен кавказских войн. В белой фуражке с околышем он и правда хорош.)

Отчасти она сумела внушить. Сумела меня напугать — и она, и он — оба сумели; я действительно боюсь за их жизнь и *ни минуты не хочу думать об их кремации.* Я бы проиронизировал, если бы, увы, не видел, что они в самом деле уходят.

Если речь заходила об их юности, понятно, что я пересказывал иногда Нинели Николаевне слова Геннадия Павловича, вовсе на него не ссылаясь и подчас не пом-

ня даже, чьи слова; а ему, в свою очередь, пересказывал опять же невольно слова и выражения Нинели. Тем самым слова оборачивались. Они возникали как бы из ничего, перепрыгнув промежуток в полгода и больше. Слова кружили в нас, и мы вели долгий и общий разговор втроем, сами того не замечая.

...Нет ни души, и я одинока, Игорь, учти это! Есть забытые родные в Заволжье, с которыми я не поддерживаю отношений, но сообщать ли им? не вызовет ли известие о моей смерти их шумного и ненужного нашествия, отчасти из желания посетить, посмотреть столицу? При том что ты будешь должен потратить уйму времени на их устройство и неизбежные разговоры о том, что я была замечательный человек, прожила, мол, свою жизнь скромно и достойно, работала до последнего дня и так далее. Жаль, ордена нет. Быть может, тебе придется еще и свидетельствовать, встрять в какой-то раздел имущества—делить нечего, но кто их (водяные знаки родства) наперед знает? Они могут думать, что как-никак москвичка и что-то за жизнь нажила! — подобными, подчас смешливыми разговорами (о якобы вот-вот предстоящем) ей удалось-таки меня испугать и вползти (через страх) в мою подкорку.

И через полгода, кажется, нет, через год после отравления газом случилось так, что я пришел к Нине и дома ее не застал: я закурил, я ждал, а сверху как раз спускалась медлительная старушка с ведром мусора. И я вдруг стал с ней любезен. И легко заговорил. Я улыбался, когда улыбалась старушка, и охал в ответ ее охам, мол, давит погода, а дождей нет и нет... Мы разговорились, и я уже звал ее по имени-отчеству, когда, выйдя из лифта, появилась наконец с сумочкой через плечо строго одетая, стройная сорока с лишним лет женщина — Нинель. «Вот ты с кем!» — улыбнулась она, и не мог я не сделать в мыслях обратного движения: не мог не подумать, что в прошлый раз она не столько газом меня напугала, не болезнью, а именно шутливыми словами о хлопотах, о грузе последних тягот на моих плечах, отчего я полусознательно и завел вдруг контакт с соседствующей старушкой, которая — да, да, да — *при случае поможет,* ну, там прибрать, обмыть, подсказать что и как.

Абсурд, но это было так. Я (уже в прихожей),

рассказал Нине, и она тут же принялась хохотать:

— Боже, какой ты заботливый!.. какой практичный!

Она смеялась, да и сам я уже смеялся. (Тем не менее в том состоянии отвратительной минутной паники я не мог, не умел отделаться от ощущения, что при случае я действительно окажусь как без рук. И в растерянности. Ведь к ней на последние проводы не явится ни одна душа. Какие там родственники! — да они просто не ответят на телеграмму мою или в лучшем случае, полагая, что я — обеспокоившийся ее сожитель, пришлют в ответной телеграмме пышное соболезнование, полное опечаток.)

Мы пьем кофе, и Нинель Николаевна грустно говорит мне уже о другом:

— Боже мой, на работе *ваши* совсем остервенели — ну и выводок, они рвутся к должностям и так спорят, так не любят друг друга. Не знаю, чем это кончится, Игорь...

Перекличка с юностью случилась в, казалось бы, замшелые тихие дни.

Он наткнулся посреди улицы на бывшего однокурсника, тот сразу узнал и вскрикнул:

— Гена! Гена!.. — Бывший однокурсник, по имени Ваня Авилов, покупал ковер (вещь недешевую, которую он уже выбрал, отложил в сторону, но ему самую чуть не хватило денег).

Если ехать за деньгами домой — ковер уплывет, по тем временам ковры уплывали быстро. И тут-то Ване Авилову, человеку, как правило, неудачливому, прямо посреди улицы встретился после стольких лет Геннадий Павлович, Генка Голощеков, и тут же Генка вынул из кармана недостававшие полсотни рублей (тоже ведь нашлись, могло с собой не быть!) и выручил, после чего бывший однокурсник Ваня Авилов купил ковер, а Геннадий Павлович помог скатать, сложить и всунуть его в такси.

Как и обещал, деньги Ваня Авилов вернул почтой сразу же, и его коротенькая дружеская приписка на почтовом листке вдруг всколыхнула сердце Геннадия Павловича: ковер — сущая мелочь, чепуха, бытовщина, но ведь важно, что выручил, помог, о, как бы помог он и в более мелкой мелочи, как это важно — помогать!..

У него так приятно дрожали руки, когда он сворачивал Авилову ковер, и частило сердце, когда смотрел поехавшему такси вслед; рисунок ковра, ориенталистский его узор еще несколько — несколько! — дней удерживался в глазах, как отпечатавшийся на глазной сетчатке.

Даже в те времена, когда он был деятелем определенного масштаба, если не ранга, он не чурался обычной и человеческой (и совсем не масштабной) заботы. Более того, он мелкую заботу любил. (Что говорило уже тогда об избыточной юности. И отчасти о скором падении.) Найти для больного товарища необходимого ему знаменитого врача (было!), добиться для молодоженов квартиры (было!) или вдруг просто собраться вместе и повоевать с консервативным начальством (было, было, было!) — в тот вечер, засыпая, Геннадий Павлович на несколько минут стал прежним героическим Хворостенковым. Особенно приятно было входить одному к какому-нибудь сверхначальнику в большой, сверкающий кабинет и гордо отвечать: «Нет...» — и вновь: «Нет...» — и когда начальство, наконец осознав, распахивало ему объятия, важно было в объятия не лезть и в замы не лезть, а даже и посторониться, уйдя несколько в тень.

Вспоминалась и стайка: череда милых лиц, размытых временем, но прекрасных. «Я сбегаю в библиотеку — сейчас же! За журналами, хотите, сбегаю?» — волновалась одна из них, не в силах выразить свое к нему чувство и все же полно выражая его и дрожью голоса и понятной необязательностью вопроса.

Кумиры как кумиры. Твардовский и Хрущев остались в том времени навсегда. (Он ведь не спорит: пусть они шли своими непростыми путями, пусть на пределе сил сопротивлялись времени, пытаясь срастись с валом наступающих лет, пусть так или не так — он им не судья; но последовавшее прочтение их судеб его мало интересует. Он ценит их — *тех.*) Да, стойкие образы прошлого. Да, да, он не желает, хотя бы даже отчасти, говорить о них, боясь или даже пугаясь, что тех, кто слишком много поминает сейчас их имена, очень скоро придется тоже в той или иной модификации зачислить в напирающую и практичную нынешнюю толпу. Он *их* оставил в том времени. Он их любил.

Прошел ровно год, когда Ваня Авилов позвонил и попросил пристроить его, отягченного бедой и гонимого, на работу: он не скрывал, что выпивает, Геннадий Павлович посокрушался, попенял, но ведь беда, и в беде тот самый Ваня Авилов, постаревший, но шумный, яркий, с цыганщиной в лице и в то же время скромный, честный, которому, конечно же, надо помочь.

Помочь не удалось.

Едва Геннадий Павлович ввел его в свой отдел, высокое начальство пресекло оформление на работу, притом что, осердившись, они даже не вызвали, не сочли нужным с Геннадием Павловичем переговорить. (Большой начальственный кабинет обошелся без былых страстей.) Через кого-то — через средненького, неумного чиновника они сверху передали суть: того уволить, а этому выговорить, нет, нет, не приказом, устно.

(Авилова уволили, Голощекову выговор.) Но если ты не можешь помочь человеку, тем более человеку своей юности, что ты можешь? Зачем живешь? Полсотни, данные в долг, погрузка в такси, счастливый взгляд вслед и несколько ночей с ожившими грезами — все стало мелким, лишь подчеркнувшим ничтожность нынешних дней. Геннадий Павлович возвращался домой, и в этот же вечер на улице его в очередной раз сбила машина. Сбила, еще сколько-то протащила по асфальту за прихватившуюся одежду, так что гибель под колесами была вполне возможна. Когда человека потрясают возвратные отголоски молодости, машин на перекрестках становится вдруг много.

Позвонили; через чужих людей званный, я пришел, когда Геннадий Павлович был уже при смерти, он хрипел, вокруг в полумраке предметы означались неясно; реанимационная с отсеками и с невысокими перегородками меж больными походила на последнее общежитие. Меня пустили на минуту, когда он уже не открывал глаз и только цеплялся ногтями, пальцами левой руки за простыню и вдруг рвал белую ткань с судорожной высвобождающейся силой. Он повторял, бормотал какое-то последнее слово, похожее по звукам на *видиняет*, непонятное ни врачу, ни мне, и, когда врачи спросили, я сказать им ничего не мог: я толковал слово так и этак, но без успеха.

(Так и было бы. С работы бы, конечно, позвонили и спросили: не нужна ли помощь? — и хотя у меня яви-

лось бы немалое искушение взвалить похороны на их трудовые коллективные плечи, однако при мысли, сколько чертыханий вызывал у них Дублон при жизни, я пожалел бы их, пожалел покойника и от помощи отказался.)

Я вернулся в опустевшую квартиру Геннадия Павловича. Поставив урну с прахом на пол, единственный, хоть и бесправный наследник, я молча посидел, затем порылся в буфете и нашел хлеб (чтобы не черствел, он держал хлеб в полотенце). В пустом холодильнике холостяка нашлась еще луковица и немного сыру, под купленную бутылку водки мне ничего больше и не нужно, можно помянуть. За окном темнело: я не думал ни о смысле его жизни, ни о первоначальном замысле. Юноши и молодые люди ищут смысл личной жизни, в то время как мы, немолодые, осмысляем жизнь более или менее безличностно — потому-то юнцы нервничают, а мы уже нет. Наша задача попроще. *Видиняет?*

Я сообщил Нинели Николаевне не из каких-то там побуждений и не из какой-то мысли, но я вдруг, просто так, для самого себя неожиданно позвонил и сказал ей: сбило машиной; погиб; тот Голощеков, помнишь? — и Нинель Николаевна сразу и быстро ответила: приду...

Но пришла в крематорий она, вероятно, уже жалея о том, что так поспешно откликнулась и согласилась: ощущения предстояли не из лучших. Процедура кремации оказалась томящей. Людей с его работы, сослуживцев было немного, но все же они принесли цветы, они были и сгруппировались, стояли вкруг гроба, который через какое-то время опустится вниз, чтобы там, внизу, войти в огонь и сгореть.

Сослуживцы говорили тихо — слова их кратки, прочувствованны. Они прощались: последние минуты, когда рой отпускает своего. Нинель Николаевна слышала плохо. Голова кружилась, было ощущение слабости, неуверенности. Как сквозь сон она слушала исполнявшийся в записи хорал Баха... и искоса выглядывала меня, единственного здесь человека, кого она знает. Однако меня не было, это ее насторожило. Но речи вдруг смолкли — и вот общее шевеление перед прощанием, люди двинулись, Нинель Николаевна бледнеет; она, как и другие, проходит вперед к гробу — приближается и вдруг видит, похолодев, совсем чужое лицо старого человека с усами,



и его подушечку с двумя орденами. Она сдержалась, чтобы не отшатнуться, она просто отошла от гроба, а затем тихо-тихо выбралась на улицу; и только тут в полной растерянности кинулась к автомату, чтобы звонить мне.

Меня дома нет. Тогда, поразмыслив, она вновь входит в вестибюль крематория и обращается наконец к служителю, который немедля и очень четко отвечает ей, что да, товарища Голощекова Г. П. кремировали около часа назад, да, как раз перед этим орденоносцем, также окончившим позавчера свой жизненный путь. Нинель Николаевна, чего с ней никогда не бывало, перепутала час.

(И было бы это по той же причине, почему они *не узнали* друг друга при жизни. Что-то им на земле мешало. В былые времена сказали бы — судьба.) Она звонит на этот раз по телефону Геннадия Павловича, чтобы застать меня там и как-то объяснить свое опоздание и вообще объясниться, но трубку там не берут. Хотя я там. Я сижу там один. (Урна с прахом на полу.) Сделавший что положено, усталый, я сижу и поминаю; пью; за окном темнеет, я закусываю сыром и луком, опрокидываю еще и еще стопку, после чего, утомившийся за такой долгий день, засыпаю там же на его диван-кровати, в пустых его стенах. *Видиняет.*

На кремации я был один. В пустом зале гроб был опрятен, не бросок. Сначала я слушал Баха, затем в молчаливом просветлении зазвучал Шопен, и это значило конец. Тихо ступая, ко мне приблизилась служительница и, хотя кроме меня ни души вокруг не было, спросила полушепотом, как отчество покойного—имя и фамилия у нее записаны полностью, а вот отчества нет. Затем она отошла к изголовью, постояла там и прежде, чем дать знак на сожжение, негромко и с тактом объявила:

— Геннадий Павлович Голощеков окончил свой жизненный путь.

Я ушел.

Входили уже другие, следующие, внося гроб пожилого усатого мужчины; помимо родных, были люди с его работы, которые говорили добрые слова и клали на гроб цветы. Организация организовала. Рой хоронил своего. Усатый пожилой мужчина будет сейчас сожжен, но рой

не покинул его жену, его детей, его жилье, и, после того как скажут здесь теплые, трогательные речи, поедут поминать к нему домой. Плачет жена, растроганы близкие, и даже те, кто тронут горем не слишком и уже предвкушает вкус первой прозрачной стопки и соленого рыжика на поминках, даже они сейчас просветленны и тихи...

(Вероятно, только на другой день мы бы наконец созвонились.) После чего Нинель Николаевна, выкроив час-полтора времени, приезжает в дом Геннадия Павловича, я там — и вот мы говорим. Я смотрю, листаю книги, оставшиеся *после* хозяина и *без* хозяина. И она смотрит книги, что еще делать. Приверженность к добротному характерна. Мы с Нинелью тоже чувствуем себя немножко роем. И тоже как бы поминки.

Я говорю ей:

— Возьми себе что-нибудь на память. Из книг...

Она пожимает плечами. Что касается прочего добра, я напишу далекой его родне, если такая существует,— не захотят ли приехать? — пусть заберут хоть что-то, хотя бы часть вещей за полезность их. И пусть в вещах, в житейских предметах он останется, хотя и пустое все это, а все же память и все же не пустое.

Последнее — это только в свой день заделать урну в отведенном месте в стенке колумбария, в который его определят: там, где небольшая плита, скромная надпись. И больше его нет.

Ни следа.

Быть может, еще одно: позвонит однажды вечером какой-нибудь старый холостяк — бывает же, что след памяти тянется, — узнавший с большим запозданием, этот старый холостяк, быть может, позвонит мне, и скажет, и захочет встретиться, чтобы помянуть, — ну да, просто посидим, выпьем водочки и поговорим о Гене, давай, а?

Иногда в минуту слабости и в предвидении меня охватывает ясное эгоистическое желание каким-нибудь образом перестать общаться или даже рассориться загодя с Геннадием Павловичем, да и с Нинелью Николаевной. Загодя же отвести от себя переживания и заботы, и чтобы, как водится, мало-помалу исчезли из моей головы, из моих мыслей они оба, он и она. Не надо ника-

ких выяснений, а просто не приходить к ним год — третий—пятый. Расходятся же люди навсегда. Расходятся и забывают друг о друге. Нет, мол, таких. Не знаю таких. Не помню.

Геннадий Павлович сказал, что, приходя с работы и не видя никого, даже своего беглого кота Вовы, он теперь иногда сам с собой шутливо разговаривает:

— Что же мы на сегодня придумаем? А не пожарить ли нам, дорогой друг, картошки?

Сам себя спрашивает:

— На постном маслице?

— Да.

— И огурчик соленый?

— Ну, разумеется!.. — Так, разговаривая, Геннадий Павлович переодевается, моет руки, чистит картошку и ставит сковородку на огонь.

В моих волнениях по поводу возможной их смерти — его смерти или ее—ими же мне внушенных, нет тем не менее ничего фатального или слишком пугающего, *вы все очень практичны,* сказала бы Нинель, — смерть не представляется мне ни самым тяжким испытанием, ни самым последним. Очень практичных куда больше пугают болезни, я даже отдаленно боюсь помыслить о том, что Геннадий Павлович, скажем, или Нина попадут в больницу с чем-то тяжким — это будет моя погибель. И не только потому, что кто-то должен их навещать. (Больницы как периодика отношений.) Моя Аня на правах жены, на правах сотоварища уже давно и сурово мне предрекает. Аня полагает, что я хожу к ним раз в полгода из любопытства к их одиночеству и что бог меня, подглядывающего, за это накажет сначала привязанностью к ним, затем своего рода любовью, а затем и некоей нравственной веревкой, если не цепью. Отрабатывать, мол, после придется долго, трудно.

Но нет во мне любопытства.

И, в общем, я редко о них думаю. И если вдруг раздается звонок телефона, даже и ночной звонок, когда, возникая из тьмы, из неведомой и никому не подвластной темной жизни, чужой голос говорит: «Вы Игорь Петрович? Для вас есть огорчительное известие...» — даже в таких случаях, вмиг напрягшийся и в сдержанной па-

нике пробегающий мыслью квартиры и комнаты разных городов и пригородов, я не думаю ни о Нинели Николаевне, ни о Геннадии Павловиче.

После неудачного устройства на работу пьянчужки Вани Авилова Геннадий Павлович получил выговор, вслед же оказалось, что это и есть переполнившая чашу капля. Г. П. Голощекова понизили до заведования сектором с двумя всего лишь сотрудниками.

Впрочем, ему недолго до пенсии.

Подчиненные, что перешли в другие отделы, с Геннадием Павловичем уже не здороваются (в курилках или в столовой они смеются и говорят о нем как о начальнике, который хотел усилить разваливающийся отдел за счет нескольких людей, приглашенных поутру прямо из вытрезвителя.) А мне Зайцев, привыкший бездельничать и ощутивший на новом месте тяжкую необходимость сидеть над бумагами от и до, завидует им в коридорах:

— Вам-то малина...

Оставшиеся двое, оба молодые, по-прежнему зовут Геннадия Павловича Дублоном, от слова дуб, что ли, или же за особую утонченную интеллигентность, отчего он казался и кажется им до сей поры немножно инопланетянином. Они оба на час раньше уходят с работы, выдумывая вздорные причины и отлично понимая, что высокому начальству Дублон не пожалуется и что вообще он там не в чести.

Птышков руководит вновь созданным отделом.

У Геннадия Павловича давление. Мы гуляем, и иногда, если вдруг в разговоре он взволнуется, вдруг кровь из носа. Ненадолго. После чего давление несколько нормализуется.

Выбрав снег почище, он некоторое время прижимает снег к носу. Всякий раз кровоток случается неожиданно, Геннадий Павлович, однако, успевает прихватить рукой именно чистый белый снег, вынув, вычерпнув горсть из-под наста. «Жаль платка — я ведь сам платки покупаю», — говорит Геннадий Павлович вполне серьезно. Впрочем, главное, как он объясняет, не экономия платков, а, разумеется, терапия, так как снег холоден, от соприкосновения кровь останавливается быстрее.

Он прижимает снег к лицу. Мы продолжаем гулять.

— Я не стою твоих разговоров, твоих душеспасительных посещений, — говорит Нина, горделиво передернув плечиком. — Не приходи. Я ничего не сумела в жизни, я совсем маленький человек, но мне не по душе ничья жалость...

— Да, да, — настаивает она вдруг, — я подумала, что умру. Я хочу, чтобы никто не пришел, никто. Соседи как-нибудь сдадут меня в крематорий, а там сожгут, и все...

— Да, да, не приходи...

На лестничной клетке над ее дверью — ремонтное пятно, похожее на континент Австралии.

Соседка — замужняя женщина, грубоватая и обычно молчаливая; но вдруг она обратила внимание, что Нинель Николаевна несколько смущается, если речь заходит об отношениях полов. Приметив, соседка поворачивает теперь всякий случайный разговор, откровенничает: я, говорит, люблю это дело именно под классическую музыку, саму музыку я, говорит, плохо понимаю, но *под музыку* понимаю это дело хорошо. Она, разумеется, поддразнивает, дразнит одинокую Нинель Николаевну, которая слишком горделиво проходит мимо нее на лестничной клетке и у лифтов. Приостановив, она шепотком сообщает Нине, что, как только, мол, из моей квартиры тебе через стенку слышится музыка серьезная, знай, что дело делается хорошо. «Зачем мне это знать? Зачем вы мне это говорите?!» — возмущается Нинель Николаевна. «А просто так», — разводит руками та и смеется.

Классической музыки у соседки одна-единственная пластинка. Бетховен, Третья симфония, и невыносимо слушать ее, всю уже стершуюся, в трещинах и в чудовищных сбоях, когда буксует и когда игла прыгает назад, и вновь назад, и бесконечно назад, отчего кажется, что оркестранты обезумели и струнным ннкак не преодолеть восьмого такта.

— Я сойду с ума, — говорит Нинель Николаевна.

И бог внимает ее мольбам — соседка вдруг остается одна, прогнав мужа за пьянство.

Муж нет-нет и приходит, просит простить. Он пьяненький, жалкий. Он молит жену через запертую дверь,

но его не пускают. Как-то Нинель Николаевна, обеспокоенная, выглядывает на шум — муж соседки у своих дверей; празднично одетый, он объясняет неизвестно кому сквозь пьяные слезы:

— Сынишке... Велосипедик принес...

Велосипедик, и правда, стоит у стенки, никому не нужный и тоже жалкий. «Убирайся, пьянь, вместе со своим подарком, иначе в милицию позвоню. Клянусь, я позвоню!» — кричит соседка через дверь, не отпирая. Муж уходит. Он возвращается в семью вновь (победа!) на целых два или три месяца, за стенкою какое-то время опять звучит Третья, Героическая, а затем соседка все-таки сдает его на принудительное лечение, а затем и вовсе отправляет муженька куда-то совсем далеко. Его нет. За стеной тишина размеренной жизни.

На Гоголевском бульваре Геннадий Павлович, несколько утомившись, присел на скамью, а сзади скамьи, под кустом, оказался человек: упавший пьяный. Обычно здесь пьяных не бывало. Не желая приставаний или глупого разговора, Геннадий Павлович хотел тут же подняться, уйти, но присмотрелся — пьяный лежал совсем спокойно, тихо.

И только негромко сказал: «— Дай покурить.»

Давать ему сейчас сигарету было бесполезно: он полулежал на земле, вытянув руку в направлении Геннадия Павловича, и, конечно, не сумел бы ни прикурить, ни даже удержать в руке сигарету. Но рука, ладонь его и набрякшие пальцы были все протянуты:

— Дай покурить, браток...

Глаза его сами собой закрывались. И закрылись — он отключился в пьяном забытье. Геннадий Павлович молча на него смотрел. Два разных человека, разделенных возрастом, образованием, чужестью жизни и к тому же барьером алкоголя, они оба с некоторой точки зрения были едины, были вместе, хотя один на скамейке сидел вполне равнодушно, зная, что никакой просьбы к нему, в сущности, нет, а другой полулежал на земле с протянутой, просящей рукой, не в состоянии ни принять, ни удержать того, что просил. Геннадий Павлович оглянулся на голые кусты и вдруг вспомнил, что пришла весна. Снега не было. Стояли первые после снега лужи.

Чуть что — ускользание в юность, жизнь в юности, мысль о юности, счет от юности и так далее. Во всеобщем времени было их личное время.

И с каждым годом их (обоих) погруженность в юность становилась мне все понятнее, если не считать удивительного чуда: отсутствия детства.

Казалось, у него и у нее детства не было.

...Апатия? — апатия не случайна. Я никогда не умел читать регулярно: я запойник. Я читаю и утром, и ночью, и если бы апатии не прерывали чтения, меня бы однажды разорвало давление сосудов. Апатии охраняют от паралича: дают отдых. Мое интеллектуальное состояние в такие дни спускается резко ниже нулевой отметки, но затем, в активный период, я быстро и вновь наращиваю гору. Да, как Сизиф. Многие в такой череде, в повторности видят бессмыслицу, я вижу смысл.

Но в другую минуту Геннадий Павлович просто и по-человечески жаловался:

— И отчего эти апатии, а?

Во время отпуска Геннадий Павлович еще более, чем обычно, следил за собой: весь отглаженный, в прекрасной белой сорочке и непременно при галстуке он (всегда дома) полулежал с книгой, и стороннему глазу более чем обычно казалось, что он втайне ждет, что его позовут: позвонят, пригласят прийти к известному публицисту, к экономисту или, скажем, к референту министра, к той или иной ожившей вдруг знаменитости былых времен просто пообщаться; а может быть, ведь пора пришла, вновь где-то вместе выступить. По субботам и воскресеньям он привычно не брился. И коль скоро возникала серебристая щетина, казалось, что Геннадию Павловичу, выглаженному, ухоженному и вполне одетому, если его позовут и призовут, только и дел будет побриться; пять минут.

К концу отпуска он читал запоем и практически уже не вставал с дивана. Он выходил на улицу лишь перед самым сном, спохватившийся, что день кончился: он бродил по засыпающему городу около часа, неторопливый, хорошо одетый и даже изящный, если сделать скидку на возраст. Перед ночной прогулкой он позволял себе одну-две стопки водки для настроения. Гуляя по темным улицам, он иногда напевал.

Геннадий Павлович повернулся на живот, но и так

не лежалось — да что такое?! — и прошло минут десять, пятнадцать забытья, пока он вдруг не вспомнил, что отпуск уже завтра кончается и что надо выходить на работу. Как быстро!.. При мысли о сослуживцах он поморщился. А следом, как водится, накатила бытовщина. С утра надо будет успеть в гастроном и в овощной, это безобразие, когда нет в доме картошки. Телевизор не починил: не позвонил в ателье... и ведь надо зуб удалять: рвать корень. Всем этим давно надо было заняться: ах, ты, господи, как навалилось! Тяжело уже жизнь жить! Не на службу ходить, не в сложную мысль вникнуть и даже не проблемы всечеловеческие решать, а просто жить свою жизнь тяжело стало.

Нинель Николаевна в эту пору тоже возвращалась из отпуска. Она ехала в поезде; купе, нижняя полка и хорошая книга — что, казалось бы, еще надо, когда, отдохнув, возвращаешься домой?.. А на верхних полках, затевая роман, весело переговаривались двое — только что познакомившаяся юная пара. Для них возвращение с юга — еще юг! Своей скорой влюбляемостью и как бы щебечущей, легкой чувственностью они поминутно поднимали общее настроение. Он был в джинсах. Она в брючках и в темных очках. Лица у обоих были красивые, загорелые.

Лето кончено: еще одно прекрасное лето. (О, святая дробность года!) Нинель Николаевна была довольна, но, быть может, она была чуть грустна, оттого что в этот раз, словно бы тонко вторя ее сокровенным летним мыслям, четвертым в купе оказался офицер, вполне реальный. Это был подполковник. Седой, приятный, хотя и несколько грубоватый лицом, он поглаживал русые усы и улыбался Нинели Николаевне, бросая взгляды в сторону игривой парочки на верхних полках:

— Молодежь...

Что, мол, с них взять, резвятся!.. Подполковник был исключительно деликатен, сдержан. Как у всех людей *их юности,* у него были молодые, свежие глаза, и Нинели Николаевне сделалось грустно, когда она узнала, что едет он по службе в Н. и что попутчик он недолгий. Нет, нет, Нинель Николаевна была сверхдовольна отпуском и была достаточно умна, чтобы не надеяться на шанс в скорой дороге. Но вечером подполковник очень ненавязчиво пригласил ее поужинать и даже поухажи-

вал. Они без спешки посидели в ресторане, подполковник был задумчив, курил. Они поговорили о наших дорогах, поговорили о природе, которую портит неутомимый человек, а через два или три часа подполковник навсегда сошел с поезда, канув в ночь на какой-то небольшой станции. Он только еще раз переспросил зачем-то ее имя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Ты бы не вынес такого,—говорит мне как-то Геннадий Павлович. Он говорит, что страдает и тоскует по рою. Он говорит, что хочет слиться с людской массой, он устал: он, наконец, хочет настолько слиться и раствориться, чтобы совсем лишиться индивидуальности. Он хочет, чтобы не стало его «я»... Он говорит это тихо. В словах нет упрека, просто жалоба.

Не подымая головы, горделивая Нинель Николаевна сидит в своей затененной нише и считает бесконечные колонки цифр. Она, увы, умеет втянуться в дело до самозабвения, однако окружающие видят в ней стареющую мымру, запрещающую курить, вздорную, надменно-крикливую и все более неконтактную, от которой они так страстно желают избавиться. Вытерпеть, пока она уйдет на пенсию, кажется им иногда невыносимым, и тогда некоторые из них, бывалые, вслух сожалеют, что в облюбованном ею Пятигорске уже двести лет как нет перестрелок и шальных пуль.

(И он, и она — оба в конфронтации с сослуживцами, но деться некуда, так как они оба чрезвычайно ценят в работе само присутствие, то есть непременность ежедневного общественного бытия. И всякий человек, который ушел с работы и промышлял на еду и питье чем-то сторонним, левым, был бы для них человеком с изъяном, наверняка даже человеком плохим. Для них не существовало своей жизни вне жизни общей, что было закваской все той же их молодости.

Вероятно, лишь по стилю казались они в юности зачинщиками, заводилами и людьми с взрывчатым, опасным характером; по сути, в них погибли общественные реформаторы, беспрестанно готовые предлагать *вместо плохого хорошее, вместо хорошего лучшее.*)

И однажды вечером после работы, прибирая в квартире, Нинель Николаевна машинально сгребла накопленное и, приняв за мусор, вынесла — сначала в ведро, после в мусоропровод, какая досада!—и не жалко и в то же время жалко до слез.

Случившееся она принимает внешне спокойно и отнюдь не сводит к подведению итогов. И все же несколько дней Нинель Николаевна смотрит печально, говорит печально, живет печально. Это, мол, знак *с той стороны*, знак через юность — золотую пору ее жизни, где кипение справедливой мысли, где первые чистые влюбленности. Разумеется, какая-то часть нас самих хранится в предметах; давно не смотрела, не перебирала их, за что и наказана, я как бы юность свою выкинула в мусоропровод нечаянно — я даже заплакала. Хуже: я только подумала, что заплачу и что надо бы заплакать. Утром, конечно, сообразила и побежала вниз, где мусороприемник, но поздно.

Машина отъезжала с контейнерами — вероятно, они их нумеруют, но откуда мне знать, какой именно и как остановить машину, пусть даже движущуюся совсем медленно. (Я уже не говорю, как рыться на виду у людей в затхлом контейнере. Я же не молодая женщина.) Контейнеры громоздились в ряд, такие черные... связка писем, скажем... конверты тех лет с немыслимо устаревшими адресами. Была среди прочего и зачетная книжка, которую студенткой я утеряла. С какими криками, попреками и с каким грозным приказом, вывешенным на стенде, меня стыдили в учебной части за потерю, заодно сводя счеты, так как я была из самых вспыльчивых, из боевитых, из неспокойных, обожала всяческие бойкоты, коллективные жалобы, письма, собирание подписей, и вот надо же — потеряла свою собственную зачетку; случай подвел, подставил, и самая вспыльчивая и боевитая плакала, оправдывалась в учебной части, просила, писала заявления и объяснительные записки, и на прием к ректору тем не менее гордячка никак не шла. Наконец, пощадили — простили потерю, выдали дубликат. А спустя всего два месяца зачетная книжка нашлась, заложенная моей собственной рукой в экземпляр «Нового мира» и там забытая. Уже лишняя, зачетка после этого навсегда осталась мне. Год за годом была для чего-то со мной. Такая она была аккуратная, тихая, уже отшумевшая, наполовину с зачетами и оценками,

вся уже вне их криков в учебной части, вне моих слез, вне людей — сама по себе. Как память.

Девичья глупость: хранила зачем-то сушку, память о каком-то студенческом нашем походе, память о костре, о котелках, о наивном парне (имени парня не помню, ничего не помню—помню, что был поход и что было весело и счастливо). Сушка ссохлась до крепости камня—и ее тоже, вместе с письмами, с программками событийных спектаклей «Современника» и иных доморощенных боевых студий (их было тогда без числа, музыку мы не так любили, музыка для нас была тогда слишком тонка, камерна, но уж театр, театр!..) и заодно с бумажным сором ссыпала в ведро, снесла на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод.

Она сказала, что услышала, как тенькала и билась о жестяные стенки мусоропровода, пролетая этаж за этажом, ссохшаяся в камень сушка. (Столько лет недвижная, ссыхавшаяся в ящике стола и, если домыслить, скучавшая втайне по чьему-либо желудку, по сладкой перистальтике человечьих кишок, *встречная тяга,* сушка обрела наконец подвижность, обрела движение и за десятилетия долгого ожидания была теперь оскорбительно вознаграждена, двигаясь по гигантской, громадной, в десятки жестяных метров кишке мусоропровода. Такой вот образ. Дождалась.)

— Зачем, Нина, тебе юность в виде нелепой сушки— студенческие годы и так с тобой.

Это я льстил. Подыгрывал.

— Э, нет. Я бы иногда трогала руками. Прикасалась...

И несколько дней у нее ощущение утраты. Она смотрит печально, говорит печально, живет жизнь печально.

Иногда возникает мысль об умерших матери и отце, об их могилках в небольшом городе за Волгой, — не поехать ли, не навестить ли, хотя бы могилки?

Но страшно. Она боится ездить в ту сторону. У нее давно и прочно сложившееся мнение, что там грубияны и хамы, грязные поезда, в купе будут громко хохотать, толкать плечом, играть в карты и, уж конечно, пить и от широты души навязывать *полстакана́.* В вагонном проходе дым коромыслом — при ее-то патологической нелюбви к курильщикам.

Я объясняю ей, что до Волги она, во всяком случае, доберется спокойно и нормально. Уверяю:

— Твои сведения устарели.

Не верит. А на вокзалах — как там? там же и сесть негде, люди спят на полу, а куда деться? а пьют как — да и что им за Волгой еще делать, если не пить; уж, разумеется, соберутся и сядут за столы, если она приедет, — ведь тоже повод! Один выпил, отставил стакан и прямо тут же уронил голову в щи. Красивый черноволосый парень. Она помнит, она видела.

Нина чистюля. В ней торжествует сейчас тотальное неприятие грубости: неприятие и боязнь хамства.

Да и вообще никуда она не может поехать, не приведя как следует зубы в порядок.

Зубы — тоже пунктик. Есть некий зубной врач, к которому она когда-то пришла и от которого в силу инерции жизни (и инерции надежды) никак не может перейти к другому, к хорошему врачу. Она себя за это ненавидит, но не может. Смешно сказать, но она боится его (зубного врача) обидеть!

Презренье к деньгам — ее слабость. И хотя не секрет, что Нина копит на отпуск или на очередную женскую покупку, я блюду правила игры и лишний раз удивиться ее презрительному равнодушию к злату не забываю. Подчас она считает копейки. И правильнее будет сказать, что равнодушна она к большим деньгам, к теоретическим, которых ни у нее, ни у меня нет, почему без малейших затруднений мы и ведем вдруг разговоры, как волжские купцы, швыряющие тыщи. При том, что я *все-таки* чуть прижимистый и иногда жмотничаю, что также входит в наши отношения. Этим я помогаю ей жить. Нет-нет и жалуюсь, что потратился на такси и, мол, книги хорошие подорожали, что тоже для меня трата, о которой надо подумать и которую надо сосчитать. Я как бы проговариваюсь. Ее лицо при этом озаряется чудесной улыбкой. Нина (вновь) на известной высоте положения — мол, вот они, практичные, и вот она, их жизнь. Бывает, что начеку ее тонкий ум, и по моим промахам она догадывается, что я играю, во всяком случае настораживается, а все же (догадываясь или настораживаясь) ждет и хочет такой игры, ждет моей прижимистости, как ждут похвалы.

Я приношу ей хорошие конфеты, бразильский кофе, и Нинель Николаевна непременно лезет в сумочку, чтобы вытащить рубли, но я начинаю ей объяснять, что не

возьму и что иначе мне у нее неловко, она ведь меня потчует, а сама ко мне в гости не ходит — почему же я стану вводить ее в односторонний расход? Следует сцена препирательства, но я стою на своем жестко, и, наконец, Нинель Николаевна прячет мятые бумажки, в глазах ее искреннее презрение:

— Прагматики... И как вы не понимаете, что гость — это радость!

Ей хочется выглядеть женщиной вовсе не обездоленной, а, напротив, тонкой, и знающей в любви, и если не имеющей, то имевшей романы, достойные ее (не разменявшейся ни в тридцать, ни в сорок): усталость, но никак не исчерпанность. Тут она полагается на мою чуткость, позволяя себе немного (но и немало) пофантазировать, а подчас даже и учит меня любить женщину: любить тонко, уважительно, достойно их слабости и их женской необходимости скрывать желание. Если слушать со стороны, мы не совсем мы и наши разговоры не только наши. И уже привычно я делаю из себя добродушного мужика, потертого, повидавшего виды, но все еще плохо понимающего женщин, особенно же прямые движения их души. Подыгрывая, я повествую, если найдет стих, о том, как не успел даже расшнуровать ботинки или как впопыхах искал на ночь уютное ложе в помещении опустевшего детского сада и прочая, прочая, нехитрые россказни о кой-каких своих романах, отчасти, мол, вполне простительных и житейских, а отчасти, увы, пошловатых.

Нинель Николаевна то морщится, то, сочувствуя, меня укоряет:

— Боже мой, Игорь, как тебя жаль, с какими ты женщинами водился!

— Что делать...

— Но неужели никого из молодых и порядочных вокруг тебя нет? Мне думается, что вы, *вы все* очень торопитесь — и перестаньте же вы беспрестанно думать о спанье: спать, спать, спать, неужели это и есть человеческое общенье? это вас губит!..

На что я вздыхаю и развожу руками — мол, понимаю, но, и понимая, никак, мол, не могу выйти на красивые заповедные луга из своего полумедвежьего леса.

Аню с тех наших своднических, сватовских дней Нинель Николаевна уже несколько лет как не видела, и потому Ани в наших разговорах нет; и вообще ее как бы нет. Общения наши с Нинелью Николаевной редки, но вполне автономны.

И поскольку я к ней, к Нинели Николаевне, или просто к Нине, раз от разу прихожу и поскольку мы с ней мужчина и женщина, некоторая интимность неизбежно присутствует. (Не мешая, не портя ровности наших отношений.) Иногда оба как бы останавливаемся: чувствуем черту. В конце концов она одинока, и вдвоем час за часом сидим и коротаем долгий наш вечер: мужчина и женщина — и куда же деться. И, может быть, поэтому мы никогда за разговором не выпиваем вина, скажем, или водки, и никогда, даже и по забывчивости, я не принесу с собой. Тем более у нее в холодильнике никогда *вдруг* не оказывается нечаянной бутылки сухого вина.

Будучи постарше, она иногда дает понять, что без особого труда соблазнила бы меня в свое время или даже всерьез вскружила голову, но не хотела тогда и сейчас не хочет: это, мол, нам лишнее. И, разумеется, начни я склонять ее к легкому роману, склонять просто так или по случайному желанию, она бы тут же поставила меня на место. Отчитала бы. Пристыдила. Но, может быть, после долгих и мученических колебаний, после слез и бурного негодования она бы и уступила, о чем бы после жалела. О чем бы после оба, конечно, жалели, так как Нина не только же в выдержанной роли, она действительно возвышенна и горделива и опережающей порядочностью своей далеко вперед чувствует, что хорошо в отношениях и что плохо. Она прагматична тут; правда, в прагматизме ее нет расчета; вероятно, она попросту немеет от страха перед рискованным.

Я со своей стороны и именно в этом качестве устроен, пожалуй, более просто; попроще; но и я случайностью пуган и, если что, тем более не буду знать, что делать с ее одиночеством, которое, помимо прочего, будет спроецировано на меня и мою жизнь.

Так что оба знаем, что тут есть черта; в разговорах своих оба задолго ее чувствуем и, едва скользит, обходим стороной. Можно считать, что ничего и нет.

Иногда ловлю себя — вдруг случай, а вдруг изгиб судьбы; потому, быть может, и нейдут они оба — он и она — у меня из головы, что я, в сущности, уже примериваю на себя и заранее присматриваю модель одинокой жизни, дабы отметить, завязать узелок, понять или даже устранить эту мою потенциальную одинокость загодя. (Чтобы избежать?..) Будущее ведь неизвестно. Человек не готов. А психика его по части предощущений устроена достаточно хитро, если не потаенно. И суть не только в некоем сквозном замысле.

Одна из хитростей, если не потаенностей, состоит как раз в том, что незнаемое наше будущее подает тем не менее нам знаки и просвечивает из своего далека нам уже сейчас, в обычные и рядовые наши минуты. Будущее не много- или, пожалуй, не столь уж многовариантно, и потому, просачиваясь в мысли и в повседневность, оно не случайно фиксирует нам в повседневности тех или иных людей, оно для нас их обнаруживает; опережая время, оно их в нас *засвечивает*. Не мы провидим будущее; оно — нас.

Нам как бы подсказывают. Опять и опять по небу идут облака, которые через какое-то время—наши тучи. Мы их узнаем. Или не узнаем.

По ровному небу на нас набегает наше будущее.

Пусть бы так: пусть привлекающие и так или иначе занимающие нас люди на стороне — это и впрямь некое узнавание нашего будущего, голос самозащищающейся нашей психики и прочая метафизика.

(Геннадий Павлович, напротив, считает, что поступки настоящего более всего соотносятся с *прошлым*. Или даже со всей нашей прошлой жизнью. Он нередко проецирует свою жизнь на тот или иной нынешний факт.)

Геннадий Павлович иногда хочет подчеркнуть свое равнодушие к продвижению вверх по служебной да и по всякой иной лестнице признания; он и правда чист, безупречен. Но ведь собственной чистоты человеку бывает мало, недостаточно, и тогда остро хочется поймать меня, гостя, на тех или иных словах, схожих с мирской суетой, с тщеславием, — я это знаю и невольно, почти как с Ниной, нет-нет и занимаюсь перевоплощением, иначе разговор у нас в такую минуту не пойдет или пой-

дет трудно. Иначе мы просто не поймем, как нам в такую минуту держаться. Без выявленных мук моей (суетной) души нам не посидеть за столом; нам и чай не чай.

Так как с ним надо много тоньше, чем с Нинелью, я выстраиваю оборону: я демонстрирую определенную горячность, отбиваю и наношу уколы, иначе слышно подыгрывание (но и под спудом я молчу о том, что он в грехах своих побивает начальников в их больших кабинетах), я только отбиваюсь, притом горячусь, вроде как уличенный им, вроде как проговорившийся, после чего даже каюсь — да, мол, не без тщеславия живу жизнь, мол, и к славе ревную — и не без некоторого, мол, обеспечения вперед забочусь, увы, о днях будущих (но молчу, что он в своих грезах, по его же логике, лезет к начальству со словами, а значит — с мыслями). Всякий раз и аккуратно я останавливаю себя как раз на пороге перехода на *его* личность: я останавливаюсь, как перед воображаемой стеной, и с каждым разом делаю остановку эту все более умело, непринужденно. Я, вероятно, хочу, чтобы чувствовал он себя справедливым и правым в нашем вечном споре. И чтобы выглядел он в наши редкие встречи так, как он хочет. В конце концов мне это не трудно.

Да, оберегаю.

Мне видится некий иной собеседник (я — но не я), который, отбросив все обволакивающие словеса, прямо и холодно обвинит Геннадия Павловича, во-первых, в забывчивости того, что в юности он стремился в большое начальство, а во-вторых и в главных — в неудаче этого стремления. В неудаче жизни? В крахе? (Что тогда? — понятно, что ссора и что Геннадий Павлович Голощеков побелеет лицом, выйдет из себя: убаюканный и спелёнутый щадящими разговорами, он начнет кричать, пожалуй, истерично кричать, так как утонченная его психика может не выдержать грубых слов и прямого знания *или выдержит?..)* Интеллектуал, по неким веским причинам отдалившийся, обособившийся от людей, он вдруг ощутит холод, он вдруг озябнет среди лета, хотя бы на минуту увидев себя неудачником, более того, человеком, *которого посещают, навещают из жалости.* С той минуты он уже не станет верить и мне — он немедленно обнаружит и выметет все мое, как обнаруживают и выметают из углов тонкую, пусть даже изящную паутину. Хозяин дома, он поймает меня на неосторожном или чуть ироничном слове, затем,

пожалуй, и не останется ничего, кроме как в оскорбленности своей указать мне, столько лет жалевшему его, унижавшему этим, рукой на дверь, как это уж сделала было однажды Нина. Да, да, старомодно. Да, да, именно так — подите, мол, вон, милостивый государь мой, *почему государь? почему милостивый?..*

Но, быть может, все наоборот: именно он общается и поит меня чаем раз в полгода и не спеша разговаривает со мной *из жалости,* да, да, это не я, а он жалеет меня и тратит время.

Быть может, он думает, что меня (как одного из следующих, из тех, кто вытеснил) точит, покусывает совесть за его жизненную неудачу. И потому я прихожу.

И, мучимого совестью, он не гонит — жалеет меня.

Геннадий Павлович строен, высок, хотя остренькое брюшко уже чуть выступает вперед, свидетельствуя о возрасте и определенной любви к лежанью с книгой.

Волосы поредели, и лоб несколько обнажился, но Геннадий Павлович все еще глядит молодцом, и только когда он валяется в апатии на диван-кровати и не бреется два-три дня, серебро щетины его вдруг сильно старит. Но и тогда лицо удивляет моложавостью, а в отдельные, как бы вспыхивающие минуты сквозь старика проглядывает совсем юноша.

Он говорит вдруг о лотосе. О важности половой жизни в таком возрасте — о естественных препаратах, поддерживающих в мужчине силу: сейчас, мол, у него никого нет, ну а вдруг случится женщина... после столь долгой целомудренности вдруг спасуешь? это ж стыд, Игорь, а? как ты думаешь?

Иногда он почитывает о здоровье и о системах самоврачевания, но это — лишь чтение; те же книги.

Вдруг прокрутится сам собой (с безотчетной стремительностью) сюжет; к примеру, на той работе затеялась какая-то не то трусость, не то некий произвол, так что все молча сторонятся, соглашаются, смиряются, и только никогда не приспосабливающийся Геннадий Голощеков говорит: *нет*!.. не кричит, заметь, но спокойно и с достоинством говорит: *нет*... и вот уже ведут в каби-

нет некоего сверхначальника, куда я и вхожу с поднятой головой. Начальник массивен, величествен. На столе у него как повод лежат перехваченные злой памфлет или стишки (студенчество!..), и сейчас для начала он спросит: а знаю ли я автора (хотя бы распространителя?). И поверишь ли: эта юношеская моя приподнятость огромна, это волнение вовсе не пустое, идешь по краю, как идешь до конца, — воображение, но ведь не порок. Не порок, так что постыдности нет никакой; начальники, их свита, кабинеты, огромные приемные — думаю, Игорь, это не просто терапия перед сном, какая есть у всякого пожившего человека, не только терапия и не только память, но еще и некий отыгрыш, вереница подвигов, не случившихся и потому по-своему грандиозных. Подвиги Геракла — талантливый, даже гениальный отыгрыш (плод мучительной бессонницы), некоего древнегреческого пиита, росшего в семье с героическими традициями, но еще в ранней молодости непоправимо сломавшего себе ногу. Грустна ли ирония?

Входя в кабинет, он умышленно огрублял голос, даже ожесточался, не давая заранее себя запугать. Все же опасаясь, что геройский воздух выйдет из его легких раньше времени (а там и компромисс!) — опасаясь и не давая себе ходу обратно, он ронял, как бы нечаянно, пепел сигареты непременно на ковер, на добротный ковер под ногами в большом, огромном кабинете или же просто и грубо стряхивал пепел на стол, чуть мимо пепельницы, чтобы властительный начальник невольно привязался взглядом к его руке с сигаретой, чтобы даже и в разговоре не мог он, властительный, оторваться опасливым взглядом от следующего, от очередного столбика серого пепла, который рос и рос. Разговор двоих в кабинете стихиен и непредсказуем, однако же ты уловил, Игорь, одностороннюю внутреннюю робость, а *ведь она появилась теперь, в молодости я был смел естественно и думать не думал о таких пришпориваниях духа, как пепел на ковер. Старею...* Но засыпанье—жанр, и когда на другую ночь, на третью или на пятую длящаяся война со сверхначальниками от повторений несколько притупляется, ее на краткое время (как передышка!) очень хорошо и свежо сменяет совершенно мирная тишина, и среди мирной тишины простенькая официантка в кафе— в белом халатике. Да, да, стоит на раздаче. Сначала она именно что взрослая официантка, даже грубоватая, но по ходу знакомства и разговоров она сильно молодеет,

сбрасывает день ото дня опыт и возраст и становится юной, вдруг превращаясь в студентку, в одну из тех — из стайки.

Одна из них появилась тогда на лекции в темных очках, было время славы Збигнева Цыбульского, и почти сразу же, день в день — вторая. Вдвоем они уже неделю носили темные очки, как бы противостоя и твердо обособясь, так что шло колебание—за или против, двое против троих или тоже двоих, как вдруг эти двое победили. Теперь девушки разом появлялись в своих божественных темных очках, длилось это немалое время, может быть, с полгода, и целые полгода старушка гардеробщица, бабулька, истлевший, ссохшийся кузнечик в раздевалке, твердила им, что у них прекрасные молодые глаза, которых, увы, не разглядеть за темными стеклами.

Стоит отметить, что очки были не просто очки, в институте тогда именно шла борьба с темными очками — такое поветрие, и, скажем, носителей темных очков, как прежде носителей узких брюк, высмеивали в стенной печати и могли не допускать на празднества и даже на вечера танцев, равно на вечера поэзии — забавные дни. Но не дни забав. Так что целые полгода...

Та, что с узким и породистым лицом, вдруг бледнела — она бледнела внезапно, и темные стекла подчеркивались белым лицом, этой белизной мелко искрошенного мела; однажды Геннадий Голощеков даже спросил:

— Как вы себя чувствуете? Что это с вами?..

Потупившись, но с тихим вызовом она негромко ответила:

— Вам хочется, чтобы я объяснилась в любви?

— Нет, нет, — поспешно сказал он.

И тотчас заговорил, заспешил о том, что ведь год всего как она вышла замуж за однокурсника, ведь молодая семья, молодое хозяйство — это тяжело, трудно; конечно, испытание и сказывается, конечно, на ее здоровье. (Потому, мол, и бледна?!) Она тихонько и чуть укоризненно хмыкнула. А тут, на счастье, подошли и другие. Подошли — и спрашивали с него, скоро ли сведут счеты с профкомовцем Жилкиным, ведь уже известно, что негодяй, и ведь как зажрался... Они спрашивали, и он должен был определенно и сейчас же им ответить, ибо он был — Геннадий Голощеков.

В другой раз Геннадий Голощеков поспешил на общее собрание НИИ, где давался решительный бой старикам консерваторам и одновременно молодым конформистам по поводу распределения жирного директорского фонда, — Геннадий проходил в двух шагах от нее и спросил, как спросил бы любого встреченного в ту минуту сослуживца:

— Где?.. Где собрание?

Она же оказалась застигнутой врасплох: сам факт его явления был внезапен и так откровенно для нее значителен, что растерянность стала очевидна, тонкие красивые скулы бледно вспыхнули, и (уже без темных очков), как бы защищаясь, она часто заморгала и проговорила:

— Я ничего этого не знаю... — от волнения не сумев удержать вдруг вынырнувшее (остаточно провинциальное) словцо *этого,* Геннадий Голощеков извинился и спешно прошел дальше, а она вновь впала в весеннюю, характерную для молодых женщин несколько сонливую задумчивость. Она уже не подруг (запаздывающих на собрание) ждала. Она просто ждала. И если бы к ней в эту минуту подошла она сама нынешних взрослых лет, если бы такое было возможно, и к ней, сидящей тихо поодаль, подошла бы тяжелой поступью грузная женщина, пятидесяти полных лет, с авоськой, набитой продуктами из гастронома, с землистым лицом, со складками матроны на щеках и шее, возникла бы, как возникает *самое жизнь,* приблизилась и на ходу, качнувшись в ее сторону телом и равновесно качнув тяжелой авоськой, спросила: а скажите, мол, девушка, который час?— эта тоненькая, с породистым лицом, не расслышав вопроса в своей задумчивости и не узнав самое себя, вспыхнула бы и сказала, как могут почти все люди сказать о своем будущем:

— Я ничего *этого* не знаю...

Интенсивное чтение сокращает ночь вполовину, но тем сильнее и злее бессонница под утро — он готов бы и вовсе не выпускать книги из рук, но тут как тут головные боли, несильные, но неприятно настораживающие. (Кто-то однажды сказал ему о водке среди ночи, мол, сто или сто пятьдесят. Заснешь расчудесно. И точно: первые ночи под сто граммов шли неплохо, что спалось, что грезилось преотлично, но затем он вдруг по-

звонил мне почти в слезах — позвонил хрипящий, по-ночному сильно испугавшийся и попросил: если можешь, пожалуйста, приезжай, я, кажется, спиваюсь; страшно. Геннадий Павлович никогда мне не звонил, и я, конечно, приехал и просидел в кресле остаток ночи, пока не заработал утренний транспорт; и, разумеется, он не спивался, прибрать имевшуюся бутылку не представляло труда, но все же я как бы стерег, не давал пить...) На службе Геннадия Павловича беспрерывно клонит в сон, и его подчиненные, два молодых нахала, вслух насмешничают в курилке. Дублон-де уж давненько не знает, где подлежащее, где сказуемое, — да поглядите на него сами, *он как трава в поле, ух они, эти бывшие.*

Наконец апатия сходит на нет, и довольно длительное, к счастью, время Геннадий Павлович работает нормально, говорит нормально и спит нормально. Период подъема. Никаких грез.

Геннадий Павлович хотел бы все же остаться в чужих глазах (в моих, так как это единственные глаза, которые его изредка видят) человеком огромного интеллекта, каким, несомненно, он был когда-то. Но сейчас он своего рода вместилище интеллектуальных ценностей, кладезь, скопившийся сам собой, от природы большой и емкий, но застывший, пожелтевший, давно забытый людьми. Вода застоялась. (Говорят еще — перестояла вода.)

Он ведь и чувствует себя иногда кладезем, колодцем, мимо которого почему-то прошли и забыли, но под желтоватой ряской которого, под паутинистой серой пленкой вода, мол, и какая вода! — он хочет, чтобы и я чувствовал то, что чувствует в этот возбужденный миг он сам. (Ты, Игорь, просто не знаешь своей выгоды, ты чудовище, монстр. Жаль мне тебя.) Мог бы, мол, и почаще приходить, чем раз в полгода, — да, да, жаль, что у нас не частый, не длящийся контакт!.. В этом мы оба согласны. И оба, конечно, не вполне искренни. Оба, зная, мы делаем вид, что стечение обстоятельств, разность возрастов и судеб, а также повседневная жизнь с ее неодолимой самотечностью создают, увы, тянущийся меж нами барьер, дощатый забор, отчего и возникает невозможность. Невозможность ему — поделиться, мне — оценить и внять.

Иногда, впрочем, я прошу у него совета или дельной мысли, мы искренни в нашей расстановке чувств, и Геннадий Павлович, если я спрашиваю, всерьез напрягает память и ум, чтобы помочь: он подтаскивает из слежавшейся памяти и из былых своих размышлений какие-то сведения или связки мыслей, которые неизбежно оказываются не ко времени, но в этом-то перескоке через годы, в несовременности и таится подчас ценность: сверкнуло! И Геннадий Павлович сразу чувствует, что нашел, добыл их, крупицы былого золота. Лицо его светится как бы отраженным светом дорогого металла — мы оба веселы и, как дети, вдруг оба радуемся тому, что тянущийся еле-еле наш разговор на миг вспыхнул. Правда, костерок гаснет, но мы уж и тем небольшим вспыхом огня довольны.

Довольный и приосанившийся Геннадий Павлович грозит пальцем:

— Ты, однако, доишь меня!

И шутит.

— Надо бы брать с тебя проценты!

Он улыбается, и ведь счастлив раскидываться, бери, бери, Игорь, пока я живой, во мне еще много чего осталось. Серьезнея и нашему общению придавая значительность, он говорит, что то были только первые и скорые его мысли и что, если мне необходимо, он запустит проблему внутрь, в глубь себя, а когда я зайду к нему на днях, мы продуктивно потолкуем. Я обещаю: да, да, Геннадий Павлович. Хотя точно знаю, что скоро к нему не зайду. И он тоже знает.

Обоим на миг делается грустно. Но тут всегда можно поставить наново чайник. Или проститься. Мол, пора и домой.

В подобную минуту в поощрение Геннадий Павлович дает мне две-три книги, что и большая честь, и как раз исключение из правила *книги никому не давать,* так как он не знает вперед, какая из книг ему нужна будет хотя бы и завтра в сложном и неугадываемом процессе его духовного поиска; книги под рукой, иначе для чего они?

Выбрали какой-то не самый надежный род старения, *чудак, так обернулось, разве старость или старение выбирают?!* Но он действительно сильно сдал: в периоды апатии походка его становится неверной, притом рассеянный взгляд, он может попасть под машину, он может

упасть в шахту лифта, может машинально полезть внутрь телевизора и там, не обесточив, долго копаться, словом, страхи окружают, живут рядом. Геннадий Павлович думал, не повесить ли на стену портрет покойной матери, чтобы в часы апатии, ночью с ней иногда говорить: да, мол, мама, живу, достраиваю жизнь помаленьку. Да, мол, одинок... Заменитель — но чего? или кого?— мысль показалась ему кощунственной. И мать жаль.

Он говорит про своего кота Вову, да, третьего дня вдруг объявился — кот скрашивает жизнь, но негодяй так редко бывает дома. С другой стороны, какое счастье, что не надо ежечасно думать о его нуждах, пропитании или о его подвальных подругах, — месяцами не ходит в дом и не показывается, я даже не знаю толком, мой ли это кот?

Но уважаю. Когда я на службе, он не трется ни о дверь моей запертой квартиры, ни о ногу почтаря или соседа — прямым ходом направляется он в подвал спать или сторожить за углом на травке очередной сбор в мусорный контейнер, нет, нет, гордый и сильный кот, он никогда не станет сам рыться, боже упаси, он чист, опрятен, он сидит в стороне от бытовщины и пошлости полуоткрытого контейнера, но вот какой-то кот, из роющихся, нашел и вынес лакомое или просто съестное — Вова делает прыжок леопарда, удар, еще удар, отнял часть добычи, а то и всю, да, да, он такой, он не пропадет, он куда более живуч, чем его хозяин.

Геннадия Павловича многие знавшие его называют *несостоявшимся* или даже *нашумевшим, но не состоявшимся,* чего я, конечно, никогда вслух не произнесу. Я и правда не признаю столь жуткого слова. Оно — окончательно. Оно пусто. А меж тем назревает (иногда) некое сверхобъяснение, когда Геннадий Павлович уже сам и упрямо ведет туда мою речь и чуть ли не хочет, чтобы я сказал то, что говорят другие.

— Ну, говори и договаривай. Я от тебя правды жду! — вызывающе настаивает Геннадий Павлович в и без того разогревшемся объяснении, однако, умудренный в бесполезных попытках охарактеризовать человека (живого), я знаю, что в такую минуту правды нет, а правдивости не нужно: я молчу. Есть ошибки с свойством не повторяться.

Молчу, отчего Геннадий Павлович еще более смелеет и хорохорится:

— Тут нет и не может быть обиды — мы ведь философствуем. Тебе предлагается всего лишь назвать человека, как называют его за глаза. Говори! — настаивает он, но я не представляю себе, как я произнесу слово, по отношению к которому Геннадий Павлович уже давно живет, привыкнув, что я этого слова не знаю.

— Давай, давай, дотяни наконец до правды! — уже и выкрикивает он, весь в нетерпении и в страстном желании знать, слышал ли я про то слово, слышал ли хоть когда-то, слышал ли давно или услышал совсем недавно, — говори, мол, я жду, жизнь есть жизнь, и человека, мол, словами не убьешь. *А если убьешь?* Так или иначе глянцевое слово уже где-то застряло, оно там, на дне, тускнеет, обволакивается, а течение отодвигает его еще и еще, в южную сторону, и в конце концов вовсе прячет в песок, в ил. Я молчу, нет силы слукавить и заговорить о чем-то стороннем, так как жесткое назывное слово обладает своей волей и все еще хочет, пытается вывести меня на новый и непоправимый рубеж отношений с этим человеком. Я даже забываю, что можно бы закурить. (Маневр как маневр.) То есть я помню, что могу здесь курить, вот и пепельница, но, скажем, у Нинели Николаевны в точно таком же самообнажающемся разговоре, *говори правду, Игорь, что думаешь — говори!* — я курить не могу, Нинель Николаевна против, и следует, стало быть, на три минуты выйти, выскочить на лестничную клетку, летом — на балкон. Но именно от одинаковости, от повторяемости разговора, что с ней, что с ним, а также от повторяемости один к одному моего психологического состояния я не только заторможен, застопорен и нем, но и никак не могу сообразить, у кого из них я в гостях сейчас, хотя глазами, конечно, вижу, что я у Геннадия Павловича, что сижу за столом, вот спички и вот она, пепельница; с моими же окурками.

— Молчишь? — усмехается Геннадий Павлович, сводя мою немоту к некоему безликому препровождению времени. (Я же все ищу ту далекую точку нашего общения, где мы так неловко свернули и где разговор мог бы пойти иначе, себя ведь тоже до конца не знаешь и, сам того не ведая, можешь опять шаг за шагом, как в дурмане, приближаться к запретному слову, после чего — спохватившись — лихорадочно сворачивать от слова в сторону, издали его видя, зная, боясь и уже издали правя от него виноватящейся интонацией голоса, как правят веслом.)

О чем угодно. От запретности темы, как и от сочувствия столь просто ранимому человеку, возникает мысль о легко и убаюканно заканчивающейся его жизни: не мысль — лишь ощущение общечеловеческой тайны, которую и не надо разгадывать до конца.

Когда-то Геннадий Павлович общался недолгое время с группой холостяков. В возрасте тридцати пяти — сорока лет холостяки перезванивались, а изредка приходили друг к другу, посиживали в креслах, выпивали, а когда выпивали, говорили о женщинах, о ню в живописи и — дань моде — о цветомузыке, которая воздействует в известном плане на подкорку женского сознания. Теперь им было за пятьдесят. (Ближе к шестидесяти.)

Геннадия Павловича, которому уже тоже за пятьдесят, они давно забыли.

(Образ — когорта постаревших Жуанов; лишившиеся обаяния одинокие старички, тихо и порознь существующие в недрах огромного города, в замшелых, неубранных своих квартирах.) Лишь однажды они к нему пришли. Их было трое. И правда: тихие и постаревшие, они никуда не спешили; они скромно и молча сидели за чаем, когда один из них (несколько оживляясь и входя в тот образ) заговорил вдруг легким, скорым голосом о своих заботах:

— ...перед близостью с женщиной в нашем возрасте очень хорошо посмотреть фильм с убийством. Это, *мне думается,* подспудно возбуждает. Но не английский фильм. Английские убийства слишком интеллигентны и, *мне думается,* слишком пересушены, как нынешняя вобла.

Геннадий Павлович в свой черед пожаловался на апатию.

Разговор был исчерпан. Холостяки поднялись. И пошли. Прощаясь, тот из них, говорливый, старался, кажется, поднять в Голощекове былой боевой дух:

— Апатия? Что за выдумки, Гена?.. Мы с тобой, помнишь, пообедали в кафешке — ты съел шашлык, а потом вдруг попросил еще обычную котлету с картофельным пюре... разве в апатии так едят?

Но вдруг осекся и тихим голосом сам себе возразил:

— Ах да, это ж было много лет назад. Лет десять или больше?

— Пятнадцать, — уточнил Геннадий Павлович.

И тот сразу приуныл:

— Да, да, пятнадцать...

У нее есть ко мне вопрос, которого мы касаемся осторожно и особо, — это лишь в минуту доверия, и это как бы наш с Нинелью Николаевной интим. Мы понижаем голос, на щеках у Нины легкие пунцовые пятна, она взволнована и спрашивает негромко, опустив глаза: «Все-таки вспомни — дарил ли ты начальству цветы?..» — и пауза. Нина знает, что я не служу и что сейчас у меня нет начальников в прямом смысле, но ведь когда-то служил, и были же там завы и замы, и ведь можно порыться в памяти, не было ли там подносимых завам или их замам коньяков, цветов.

Подняв вопросительно на меня глаза, Нинель Николаевна тут же отводит взгляд в сторону: она не хочет давить, она понимает, что вспомнить мне сейчас непросто и что, может быть, вспомнить такое мне тяжело, больно. Со своей стороны я тоже понимаю, что от меня ждут самоощущения, когда тяжело и больно, — почти, мол, исповедь. (Ирония неуместна: для Нинели Николаевны это всерьез и значаще чуть ли не предельно.) Так что, помедлив, я пускаюсь в воспоминания, искренние и покаянные, притом длительные, так как ответить одним-двумя словами, — значит раздосадовать ее да и огорчить. В сущности, я не помню, дарил ли цветы. Начальнице, вероятно, дарил, но вот носил ли коньяки мужчине-начальнику? Вероятно, носил. Коллективно? вдвоем-втроем?.. или лично? — тут есть свои оттенки, и Нинель Николаевна настаивает, что оттенки существенны и оттенки никак нелишни, вспомни, вспомни, Игорь, — но Игорь и тут не вполне помнит.

— Носил, стало быть? — голос Нинели Николаевны, падая, стихает до шепота и уже шепотом идет по зыбкому наметившемуся следу, отчего исповедание на какой-то миг (как и всякое исповедание) становится похоже на спрос. В каком она, начальница, возрасте — носил ли я цветы женщине средних, жилистых лет или старой? Носил старухе?.. Нинель Николаевна начинает все мягче просить подробностей и в то же время мало-помалу все жестче припирать к стене, отчего я невольно брыкаюсь: мол, не могу я всего упомнить, Нина, плохо я помню — сама, мол, за меня придумала и сама же те-

перь настаиваешь на некоем конкретном толковании... Ниннель Николаевна чутка, она тут же слабеет голосом: она просит прощения за невольный нажим. И теперь лишь шепотом, совсем мягко — спрашивает:

— Ну, пожалуйста, Игорь, вспомни — вспомни, как *это* было?..

И поскольку ей в угоду я действительно пытаюсь вспомнить, и тщусь, и напрягаю душевный строй, наш разговор пластичностью словосочетаний все более напоминает (зеркально отражая обоих, высокая пародия) разговор мужчины и женщины в те известные минуты, тоже вкрадчивые и тихие, когда деликатный муж выспрашивает жену о прошлой ее жизни, о жизни до него. Выспрашивая, муж ненавязчив: чувствуется измеримость его усилий. Мера. Он и спугнуть открывшуюся тему боится, но ведь и жаждет, и чуть ли не просит подробностей, в то время как она, молоденькая, и действительно плохо что помнит сейчас, среди ночи, под нажимом вопросов, хотя бы и вкрадчиво-интимных.

— Ну, пожалуйста, Игорь, прошу тебя. Хотя бы один случай такой припомни: признайся...

Какие-то постыдные случаи я уже рассказывал Нинели Николаевне года два или три назад — я и правда вспомнил их тогда или же наскоро тогда же придумал, чтобы Нине было приятнее и теплее в тот долгий вечер (осенний, поздний). Однако сейчас я уж, конечно, забыл и потому рассказываю ей что-то новое, готовый, впрочем, учесть и свернуть в появившееся русло уже когда-то рассказанного случая. Рассказываю. Мой голос сам собой стихает, об интимном говорят редко, мы говорим, кажется, *раз в три года,* после чего тема опускается на самую глубокую глубину, как потаенная подводная лодка.

— Вот, кажется, и все...

Пауза.

— Уже поздно, Нина. Пора.

Настроившаяся на подробности, она, быть может, огорчена, но, деликатная, не настаивает — вечер и без того получился теплый, добрый. Я встаю. Иду в прихожую. Благодарю ее за кофе и разговор... Надеваю шубу, шапку. Я целую ее в щеку — я иногда это делаю; это мало что значит для нас обоих, но, может быть, что-то значит. Половину долгой дороги домой я буду думать о ее одиночестве. Затем мысли снесет в сторону, и я о ней забуду. На улице лютый февраль, ветер, и горстями,

с воем снег летит в лицо — колкое непрерывное массажирование лица становится чуть ли не сутью этих минут; ничего, кроме снега; и все же я еще помню, как коснулся ее щеки губами. Кутаюсь в воротник... Вдоль линии троллейбуса, вплоть до остановки, ветер летит и воет, как осатанелый.

Ветер бьет в спину. Жду... Рядом ждут троллейбуса еще две припозднившиеся ночные фигуры. Их тоже бьет в спину.

Нине сейчас не выйти — потому что некуда и незачем, да и дурная погода, чтобы просто гулять. И позвонить некому. Что остается? Ах, да: сесть у молчащего телевизора и вязать, вязать... вязать и в тот день, когда стукнет пятьдесят пять. Пенсия? Что еще? Цветы, которые так и не поднесла начальнику? Иронизировать, конечно, можно, но ведь *это остается*. «Никогда в жизни не принесла я начальнику бутылки коньяка или цветов», — в сущности, это уже некая несобственность, и можно повторять всякому встречному, поймет он или не поймет, о чем речь.

Жизнь не бесконечна, и когда однажды кольнет вдруг, что тебя все-таки согнуло и сокрушило и что итог твой не бог весть, можно встать, отложить спицы и, кстати распрямляя занемевшую спину, сказать ни себе и никому — просто сказать:

— А все-таки никогда в жизни не принесла я начальникам ни бутылки коньяка, ни цветов.

Тут и самоё смерть можно щелкануть по носу. На больничной койке, в глубокой старости и уже в полной неразличимости окружающего мира Нинель Николаевна сумеет, возможно, выскочить из помутневшей памяти и вдруг уйти, отстраниться, и помнить ту жизнь, ту прекрасную юность, и в несвоем — обрести свое время.

— Поверите ли — никогда в жизни не принесла я начальникам ни коньяка, ни цветов!

Нинель Николаевна покупает зеркала. Купила одно, овальное, и повесила в прихожей; затем нашла, что вид несколько мещанский, и в замену купила длинное, узкое, под старину, однако и то не выкинула, и это оставила. А заглянув в мебельный и случайно попав на привоз недорогого антиквариата, вновь купила *ампир, но такая дешевизна, куда было деться!* — по сути, Игорь, я уве-

личиваю пустоту своих комнат и, ха-ха-ха-ха, количество собственных отражений (*внося* в дом, она словно бы *выносила,* так как не уменьшала, а увеличивала, удваивала зеркалами жилую пустоту). Направляюсь вечером на кухню, иду спокойная, вдруг вздрагиваю — навстречу кто-то идет. А иногда в зеркале кто-то сбоку шагает. Я, видно, сошла на ненадолго с ума, но хватит, хватит — ты, Игорь, не хочешь ли взять хотя бы одно из них себе, надо же куда-то деть...

Иногда, в виде особого ко мне расположения, Нинель Николаевна меня вдруг приближает:

— В тебе, Игорь, все-таки что-то наше, настоящее. И ведь по возрасту ты почти наших лет — ну сколько там разницы?!

От похвалы можно и покраснеть, если знать о высоте подобной оценки.

Геннадий Павлович (в параллель и ничего не зная о наших с ней общениях) вчера сказал еще более прямо.

— Ты ведь близок к нам по времени, Игорь, — и, быть может, ты как раз из тех, кто замыкает наш строй, *последний,* а?

И тотчас охватило чувство родства, и мне так жарко сделалось, жарко.

В такое послеотпускное время и появилась у них в отделе красивая Валя, которой ради изгнали сначала одного работника, а теперь, как бы сговорившись, а может быть, и без «как бы», а именно сговорившись, решили отдать место и ставку Нинели Николаевны. Красотку и винить-то слишком было нельзя — молодая, хорошенькая, Валя была тиха, с полуопущенными глазами, с мягким, нежным голосом; она краснела при вольных шутках и, запинаясь, подбирала слова, если надо было обратиться с чем-то к сотруднику. Она всем нравилась. (Она и Нинели Николаевне нравилась.) Особенно же она нравилась моложавому начальнику отдела, который только-только сменил прежнего.

И вот в отделе все стали с повышенным интересом спрашивать друг у друга о Нинели Николаевне: а справляется ли она вполне с работой? а ведь в последнее время маловато она работает — сдала? или возраст? —

спрашивал у сотрудников зам, и моложавый нач-отдела тоже спрашивал, не ожидая, впрочем, никакого ответа, — просто спрашивал. Создавалось общее мнение: устроили ей вдруг обсуждение-отчет и вынесли на бумагу, что работала-де Нинель Николаевна последние полгода неудовлетворительно. (Она сидела на отчете как оплеванная: она не знала, с какой стати отчет и зачем ее вдруг вызвали, — шла с отчета домой, плакала по дороге, и фары встречных машин слепили ей глаза в сумерках.) Разговоры за ее спиной велись теперь активно, бурно, а едва Нинель Николаевна входила в отдел — смолкали.

А красивая Валя сидела, опустив свои голубые глаза, всегда готовая мило, скромно ответить. Она как бы понимала, что ничего говорить или спрашивать не надо и что все идет как идет — и только сидеть вот так и смущаться, как бы винясь за свою молодость и за непосильное для столь молодой женщины бремя красоты.

Она краснела, когда мужчины говорили ей что-либо игривое и когда, вступаясь за нее, женщины их отдела кричали, склонившись над работой и не подняв головы от цифр:

— Валя, не слушай его!.. Валя, Валя, не верь, он известный бабник и лгун!

Все смеялись, все были довольны — порозовевшая Валя сидела у окна, там, где столы образовывали второй ряд. Нинель Николаевна со своего места, переводя взгляд в направлении окон и неба, могла видеть Валю в профиль, ее склоненную к бумагам красивую головку.

Нинель Николаевна позвонила мне, чего никогда прежде не делала; поздоровавшись, сказала — они хамы, они, конечно, вправе устроить у себя в отделе хотя бы одну красивую женщину, тем более что она хороший, приятный человек, я же не спорю. Но пусть они это делают не за счет меня — и не потому, что некому за меня заступиться, а сама я уже старая, скоро пятьдесят, и мужчинам на меня, извини, Игорь, день за днем смотреть неинтересно.

«Приди хотя бы ты—и скажи несколько слов».—«Каких слов?»—«Все равно каких: просто посиди, поговори, чтобы видели рядом...» Идти в чужую организацию, на люди и обнаруживать там свое давнее знакомство с женщиной, которую они не любят и которую терпеть не

могут, не слишком-то приятно — но ведь и Нину как оставить одну? — так что я поскучнел, но пришел к ним на другой же день в обеденный перерыв. Хорошего я не ждал — хорошего и не получилось. Нина громко и манерно со мной разговаривала, ненатурально смеялась и вслух намекала, что я-де знаком с неким известным литератором-очеркистом, который не лыком шит и, если что, может выступить в газете. Я сидел рядом; молчал.

Тем стыднее было, что ее милые сотрудники как бы специально не пошли в тот день на обед — послушаем, мол! — сойдясь в группку у окна, жуя бутерброды, они переговаривались, шушукались о своем. Кончилось, разумеется, ничем. Более того — они меня отчитали, нагнав неожиданно в самом конце их коридора, когда я уже откланялся и ушел. Не положено ведь, чтобы к ним в учреждение приходили посторонние. Именно так. Нет, у них не секретное производство, и зря я пытаюсь их этим уколоть. Не секретное, однако посторонним быть не положено, о чем и табличка у входа. Табличку не прочел — это простительно. Но если я не хочу, чтобы в следующий раз выдворили с вахтером, а то и с милиционером, то не должен более к ним являться...

Я ждал ее у выхода, злой.

Мы пошли к ней, пили ее всегдашний кофе. У себя дома Нинель Николаевна вовсю честила меня, она даже покричала, что совершенно, мол, разочаровалась в моей пресловутой практичности, что я — ничто, ноль несчастный и что ей теперь уже никто не поможет. И уже второй раз в течение дня она вскрикнула, что постарела, да, да, как только женщина постарела, она уже плохой работник, в отделе застой, и вот уже темы всего НИИ по ее вине не финансируются, а отчет не сходится.

Она пошла к начальству, что тоже ничего не дало, более того, секретарю велели: эту ядовитую женщину, очевидно нервную, в приемную в другой раз не допускать, у директора много дел, она отнимает время!.. Нинель Николаевна, и верно, была неузнаваема, куда девались ее умение сказать сдержанно и умение выглядеть достойно, составлявшие лицо. Она сыпала словами, доказывала (гневно потрясая рукой), хлопала дверьми, грозила писать в газету, словом, делала всю ту суету, какую обычно делают стареющие люди от одиночества

и собственной неконтактности. Она кинулась в профком, но там ей и вовсе пригрозили, что за склоку поставят на вид, а путевок хороших, мол, в южные места больше не ждите. И отпуска летом — тоже. В ответ же на ее крики о газете и иные мифические угрозы ей объяснили, что затеваемый ею шум может лишь способствовать ее увольнению, а ведь она пока еще работает, работает и получает зарплату. И можно сказать, что сейчас, все более и более нервничая, она свое служебное место и свою ставку собственными руками передает в руки красивой Вале.

В отделе тем временем с Нинелью Николаевной никто не общался, а за спиной ее все определеннее крепло мнение, что она вот-вот уйдет. «Коллектив — это все. Ничего нет выше коллектива», — повторял моложавый начотдела, а красивая Валя только скромно, смущенно улыбалась. Дело шло к развязке.

Конечно, Нинель Николаевна — боец, и только поэтому, не сдавшаяся, она решилась на шаг, который с ее точки зрения был отвратителен и по сути, и по эстетике исполнения. Всю свою жизнь гордившаяся особой независимостью, презиравшая тех, кто, пусть даже в самообороне, просил у сильных, она теперь сама решила позвонить этому моложавому начальнику домой — *начальнику! домой!* — уже загодя измучив себя тем, что она станет просить у него разговора по душам, жалостливого и доверительного разговора, чуть ли не покаяния. При том что после него придется, вероятно, говорить столь же доверительно и покаянно с сослуживцами, что поедом ее ели, — боже мой!.. Было так: она сидела дома, вязала, в параллель шло это безразличное смотренье немого телевизора, иллюзия общения с кем-то, она вдруг поднимала и мучительно вперяла глаза, не отрывала их от экрана, решительно не понимая, что там. Наконец встала — пошла к телефону. Она звонила и звонила: непосредственного ее начальника дома не оказалось, тогда Нинель Николаевна машинально и в полуотчаянии звонила другому, старшему начальнику, были вечерние часы, она звонила им домой, то одному, то другому, хотя, конечно, знала, что впустую.

Считая себя в те минуты мелкой и жалкой, она, как всякий мелкий, жалкий отступник, хотела и в дополнение чего-то гадкого: впервые в жизни она купила пачку сигарет, выкурила три подряд и с тошнотой, с трясущимися руками, с кругами в глазах засела за телефон.

Телефонный звонок раздался, когда Геннадий Павлович мыл посуду: он едва расслышал за шумом струи. Он подумал, что ошибка и что набрали, вероятно, не тот номер, так что он даже воду отключать не стал, взял трубку. (И во время разговора слышал, как течет, шумит льющаяся вода.)

— Да, — сказал он.

И узнал голос Вани Авилова, приятеля давней юности, который приветствовал его и затем сразу, прямо стал рассказывать ему про себя, иногда попивающего, про семейную жизнь, которая дает сбои, про детей и про то, наконец, ради чего он звонит: нужно устроить его на работу.

— Ты же начальник, я слышал.

— С ума сошел — какой я начальник, я — начальничек!..

— Но ведь и это неплохо. — Быть может, Ваня Авилов не поверил вполне или решил, что Геннадий Павлович скромничает, но, скорее всего, Ване Авилову, мужчине также сильно за пятьдесят, было в те дни просто некуда деться, и не до выбора было ему, как и не до тонкостей, в телефонном спешном общении. Начальником Геннадий Павлович, и верно, был совсем небольшим, однако главное, чего не знал Авилов, состояло в том, что уже который год Геннадий Павлович еле удерживался даже на этом скромном, небольшом месте, но ведь как просящему, с впалыми щеками Авилову это объяснить?.. Уже на другой день Геннадий Павлович устраивал на работу к себе в отдел выпивоху, что при малом авторитете Геннадия Павловича было равносильно самоизгнанию (так сказали его сотрудники). Разница была лишь внешней. Нинель Николаевну выживали, изгоняли, он в это время как бы изгонял себя сам, — в запараллелившихся их судьбах вновь проглядывала несомненная общность.

Проснувшись... или нет?

Геннадий Павлович среди ночи не только не позвал, не закричал, но не поднял глаз, потому что в темноте даже мысль его оцепенела. Он лишился голоса. Он лишился всякой мысли, пусть бы обычной. Даже закричать или заплакать он в страхе не мог. Это было как сон во сне. Он не мог ни шевельнуться в постели, ни выговорить слова и как бы ждал, что кто-то освободит его от неизбывного кошмара.



И случилось так, что Нинель Николаевна звонила в тот час, точнее, в те самые полчаса, когда солидные мужчины в вечернем раздумье вбирают в себя политические и иные новости программы «Время» и когда к телефону подходят, как правило, женщины, жены; с ними Нинель Николаевна и общалась: как сказали после, она *взбаламутила море жен.*

Нет, Нинель Николаевна не говорила им:

— Как? Разве вы не знаете, что именно в таком (в вашем!) возрасте лишаются мужа?.. Сначала просто и невинно они играют, шутят с красивой девочкой Валей и радуются ее благоуханию, а потом вдруг женятся на ней, — а иногда даже успев убедиться, что красивая и благоухающая девочка Валя ждет ребенка, вы этого сюжета не знаете?

Нинель Николаевна такого не говорила и говорить не могла — даже и не умела. Она говорила совсем просто, от волнения только повторив, — изгоняют, мол, и отдают место молоденькой, а ведь я тоже хороший работник. Она не прибавила ни слова, ни полслова. Тем не менее мучилась, потому что себе лгать не умела и почти сразу же поняла, что, как ни скажи она — скажется скверно. «...Но я удержалась, Игорь, когда они стали расспрашивать. Я удержалась от лишнего и, уж конечно, от гадких этих намеков, я так испугалась вдруг, что защищала ее, — ты веришь?» — спрашивала меня взволнованно Нинель Николаевна. Я верил: я не сомневался, что, едва промямлив свои слова о том, что она неплохой работник, Нина тут же сообразила, к чему клонится, и засовестилась, и пошла на попятную. Но в том и поворот, что сказанного ею, даже и промямленного, даже и с уходом на попятную, женам было достаточно. Жены сами знали. И лучше и куда более Нинели Николаевны знали они жизнь и жизненные нити, знали своих мужей и, соответственно, потенциальную опасность, нависшую (быть может!) над семейным своим очагом. Так что это они сами, уходя в шепот или, напротив, наращивая голосовые мощности, друг другу говорили:

— Как? Разве вы не знаете, моя милая, что можете лишиться мужа? А вы не знаете, что у наших мужчин именно из невинных ситуаций в таком возрасте возникает... — и т. д.

Одна из жен, правда, напала и на Нинель Николаевну, заподозрив ее в анонимности, на что Нинель Ни-

колаевна, преодолев вдруг забившую гадкую дрожь, немедленно отчеканила: «Никакой анонимности. Я ведь себя назвала. — И, вновь назвав имя и фамилию, твердо пояснила: — Я всего лишь не хочу дать себя в обиду. Пусть я очень маленький человек, но и маленькие люди — люди», — слова были искренние, а Нинель Николаевна вдруг ослабела, и вновь ее охватила противная дрожь. Другой жене (которой ей велела позвонить первая) в боязни и в страхе быть шептуньей она сразу же назвала себя и предлагала еще зачем-то свой адрес и телефон, даже пригласила в гости вместе с начальствующим мужем, да, да, с мужем вместе не придут ли они вечером—как угодно и когда угодно!—пожалуйста!—она готова с ними поговорить начистоту и объясниться... Ее нервность, ее неуверенность и определили, может быть, их отношение в ее пользу, хотя никто, конечно, в гости не пришел и хотя ей, даже и назвавшей себя, все же досталось от женщин несколько обидных слов, которые она и проглотила вместе со слезами и с таблетками элениума.

Мало знающая жизнь служебных групп и группировок, Нинель Николаевна еще не догадывалась, на сколь плодоносную жилу случайно она напала. Вот кто кинулся к большому начальству — *жены,* — и там, где не преуспела Нинель Николаевна, преуспели они. С полуслова понимая друг друга, жены немедленно подняли вопрос о приказе, уже, оказывается, у секретаря подготовленном, даже напечатанном и гласящем о замене Нинели Николаевны красивой Валей — но почему, собственно, замена? И почему такая спешность, если все мы знаем, что она женщина одинокая и превосходный работник, и знаем также, что женщина порядочная... Две или три жены, уже прежде *встречаясь домами* и перезваниваясь, теперь и вовсе объединили усилия. Скоро и как бы очень кстати обнаружилось, что моложавый начальник отдела уезжал летом в долгий отпуск, так как был большим любителем рыбалки в прославленных плавнях Днепра, а красивая Валя в свой черед была большой любительницей варить уху в тех же, в днепровских плавнях— и уж точно, доподлинно, что в отпуск оба они уходили в июле, день в день. Возможно, было не совсем так. Но ветерок раздули. Даже живущая обособленной жизнью Нинель Николаевна почувствовала, как весь их отдел стало трепать и раскачивать вдруг усилившимся могучим ветром; их трепало день, и другой, и пятый, пока красивую Валю не сдуло и не унесло поднятой бурей в

какой-то совсем далекий отдел их учреждения и на какой-то совсем другой, затерянный этаж, — кажется, с выговором; так что теперь Нинель Николаевна лишь иногда видела поскучневшую красавицу возле общей кассы, когда получали зарплату по вторым и семнадцатым числам.

Победа далась дорого; если раньше хоть кто-то, подойдя к Нинели Николаевне, заводил речь о погоде, пошучивал или одалживался у нее иногда деньгами, то теперь в отделе с ней просто не разговаривали. Она еще более замкнулась, сидела молчаливая и прямая, с прямой спиной. Так же молча ее заваливали счетом, не сообщали и двух слов о смысле производимой ею работы, что вело подчас к многократному переделыванию заново. К ее нише, что в самой глубине комнаты, не приближались. Она и была в отделе — и не была.

Лишь понемногу возрождались ее вспышки — я, Игорь, корректна, я подчеркнуто корректна, но если что, я тут же тычу их носом. Ни одного человека-миротворца. Почему я должна быть с ними вежливой, если они меня мучают?.. нет уж: я прихожу, бросаю сумочку на свое место, сажусь за стол и сразу за работу...

...готова убить, если кто-то закурит, — едва он спичкой чиркнет. Эти молодые хамы отвратительны. Нет, нет, вовсе не в рабочей нашей комнате, еще чего не хватало, — если он здесь закурит, я его просто проткну вязальной спицей. Да, беру спицы повязать в обеденный перерыв. Курящих я именно в коридоре пресекаю — да, громко, да, резко, да, на весь этаж. Пусть бегут, скрываются в свой сортир и там, среди вони, себя травят...

...они меня ненавидят, и пусть...

Но главная беда Нинели Николаевны состояла не столько в возникшей изоляции и не столько в озленности, сколько в возврате переживаний спустя время—она ведь мучилась *после*. Вечер за вечером вязала она теперь дома и, чужая всем, мучилась от содеянного: она винила только себя. Припоминала свои слова все до единого, сказанные тогда по телефону, и — по крупинкам — бросала их на те или иные весы, ища, но не находя оправдания. Чувство вины еще обострилось, когда она вдруг перестала в дни зарплаты видеть молодую женщину у кассы: красивую Валю продолжало уносить ослабевшим, но еще дующим ветром и унесло теперь куда-то совсем далеко. (То ли сама она не ужилась в но-

вом отделе, то ли остаточная месть жен достала ее и там.) Вали — не стало.

Нинель Николаевна мучилась.

— Единственный раз в жизни я позволила себе слабость — и слабость немедленно обернулась подлостью... Мне ни в коем случае не надо было вести разговор с женой—но как, как, если она впрямую спрашивает: «Что вы хотите?» — «Хотела бы поговорить с вашим мужем». — «А в чем дело — разве это тайна?»—и как после этой ее интонации я могла повесить трубку или промолчать? А ведь могла: надо было только перетерпеть, и надо было непременно поговорить прежде с самой Валей. Поговорить и ее понять, может быть; даже сдружиться. А что?.. она была спокойна и скромна, она смущалась, она даже не курила, что по нынешним временам среди молодежи — редкость!..

Образ молоденькой девушки, хорошенькой, но скромной и тихой, которую приносят в жертву властные жены начальников, которая не имеет сил им ответить и, ославленная, теряет работу, — образ этот мучил Нинель Николаевну. Она пошла в отдел кадров, но там ничего не знали. Такая-то уволилась — и все. Затем и через горсправку Нинель Николаевна не нашла ни новой работы Вали, ни прописки, где та живет: ни следа. Ее словно бы поглотил огромный город, эти башни, дома с миллионами и миллионами окон, которые прячут свои тайны и которые не просто же так манят к себе одинокого человека по вечерам.

Нинель Николаевна на время лишилась сна. Она тягостно вздыхала:

— Валечка, Валя...

Ваня Авилов с своей пьяной бедой был человек трудный, был из тех, кого устроить на работу только через отдел кадров непросто. Но ведь если бы просто, разве бы зазвонил телефон, когда Геннадий Павлович мыл посуду, когда он оставил литься струю воды, и подошел, и с екнувшим сердцем переспросил: «Ваня?.. Авилов?» Образ из прошлого, взывая о помощи, означился отчетливо и ясно. И на другой же день Геннадий Павлович взялся за устройство. Святых, напоминающих о юности дел не так уж много, и как же можно было не поспешить.

Нет, Ваня Авилов, 55 лет, служащий, женат, двое детей, не пришел в первый же день на работу выпивши,

хотя, может быть, именно не выпивший пришел он туда резок и агрессивен в разговоре, но, впрочем, и это уже не имело значения, так как вышестоящее начальство попросту и независимо ни от чего навело соответствующие ситуации справки. (А даже и справок не наводя, но не желая, чтобы разбухали кадры за счет непонятных и не своих людей, не подписало приказ.) Ваню Авилова, 55 лет, служащего, сразу же утратившего свой агрессивный дух и настрой, вышибли через два дня. Правильнее сказать — его не взяли.

Геннадий Павлович заметно нервничал и ходил по коридорам НИИ бледный, белый лицом — он догадывался, что будет трудно и что Ваню Авилова придется поддерживать, отстаивать, но он никак не думал, что все кончится так скоро, так просто.

Плюс выговор. (Много повоевавший с ними в юности да и сейчас столько раз засыпавший под сладкие мнимые бои со сверхначальниками, Геннадий Павлович оказался так жалко бессилен. Его не пригласили поговорить. Даже не вызвали, вовсе обойдясь без его мнения. Они даже не захотели, чтобы он отступился, скажем, от своего Авилова... совсем просто и обидно у него на столе появилась эта белая в пол-листа бумажка. Бумажонка, даже и с опечатками. Даже не выгнать. Совсем просто — *не утвердить.*)

Заодно и именно что походя Геннадию Павловичу выговорили через непосредственного его начальника; в сущности, даже и прикрикнули не сами, а посредством кого-то. А когда люди от Голощекова стали сбегать к оживившемуся и потирающему лапки злодею Птышкову, сбегать им не мешали (по сути, сбегающих поощрили), оставив Голощекову в его отделе двух наглых мальчишек двадцати пяти лет от роду. «Да ладно... Я уж вижу, что ты мало тут значишь. Я не в обиде»,—сказал ему Ваня Авилов и ушел, когда Геннадий Павлович, запинающийся, с прыгающими губами, стал было объяснять.

Он ушел искать другое место.

А Геннадий Павлович, с комом в груди, остался.

Чтобы помочь, надо что-то собой значить. И, быть может, этого *что-то* добиваться в течение жизни? — мысль истончалась и истончалась, а острие ее обернулось, разумеется, грубостью практической правды. (Мысль не доходила до большей, чем сама, глубины.) Неужели же помощь, бескорыстие, искренний отклик

души удаются как раз тем, кто только и может обеспечить эту помощь своим чином, весом? И что же: Геннадий Голощеков должен был не философов читать и не размышлять о человечестве в упоении собственным интеллектом, а добиваться для себя высокого места, должности, значения и уже в связи с этим местом, должностью и значением — власти?.. Но какова банальность! Он наслаждался познанием, а необходимо было одновременно с этим лезть по лестнице вверх — неужели так?.. Перед Геннадием Павловичем восстало нечто нехорошее, нелюбимое издавна, встала некая пелена, за пеленой — нечто пугающее. (Он шел после работы домой.) Он шел как в клочках тумана.

Весьма грубые и как бы оставленные для него Ваней Авиловым мысли *о значении:* о мужской значимости, о влиянии — какие все простенькие, казалось, мысли! Как мало в простоте той определяло само по себе чувство и само по себе желание: скажем, желание помочь, не зря же Геннадий Голощеков в свою пору не только блистал — значил! Это знается с молодости (новизны нет), но ведь именно с молодости, с момента, когда его окрикнули и как бы уличили, он не хотел этого знать и не хотел значить, пожалуй, настолько же, насколько всю дальнейшую жизнь хотел и ждал подобного случая, чтобы помочь, рискнуть, пожертвовать хоть чем-то и добиться. И случай пришел, пусть невеликий, пусть мелковатый, но тот самый случай, типический, и не в том суть, что, будь сейчас Голощеков начальником рангом повыше, он бы сумел помочь бедняге Авилову. Поступок — вовсе не плоское дополнение самого себя. Суть даже не в том, что начальники Авилову помогать не хотят; *а неначальники* хотят, но не могут, — суть в том, что...

Перед его глазами вставала на улице белая клочкастая стена тумана, отчего Геннадий Павлович вдруг тряс головой, туман этот стряхивая и улучшая видимость, но она, улица, была и дальше словно бы в легких, невесомых клочках хлопка. Падало как бы с неба. И как ни медленно Геннадий Павлович шагал, он все натыкался на нее, на улицу в тумане.

Он мудрел в этот миг (проживал заново и быстро свою жизнь) — он в считанные минуты мудрел, перемножая свой интеллект на практическую любовь к всевозможным авиловым, свою — на практику иной жизни (на иную, непрожитую, *тоже возможную жизнь);* если

бы Геннадий Павлович продолжал идти с работы, с той же ошеломляющей скоростью мудрея, то на подходе к дому, к вытертой скамейке, где качели для детей и где обычно сидят слесари, он подошел бы уже глубоким стариком, мудрым до последнего предела, перемноженно мудрым, проницательным, дряхлым и в то же время чудовищно и гениально далеким от людей, как мессия, как Будда нового века. Но природа начеку. Природа не позволяет человеку от некоего случайного опыта мудреть с такой скоростью дольше, чем минута-две, она не дает дойти спокойным шагом до дома, до скамейки, где детские качели, иначе возросшая мудрость человека, одного в отрыве от прочих, станет слишком всеобъемлющей. Что-то понял, и хватит. Довольно и одной-двух таких минут. И чтобы не шел он так до дома, скорость его шага стала сбиваться сама собой; нога ступила неверно, отчего Геннадий Павлович, как-то вдруг занервничав, сделал шаг в сторону. Затем сделал и вовсе неверный шаг. И его сбило машиной.

Он поднялся с земли. В тот новый момент, когда он падал и затем поднимался с земли, а затем просто шел, потирая левое колено и левое плечо, внутренний скорый процесс его мудрения уже выровнялся в обычный, в средний, и уже шагал к своему дому не супермыслитель, не Будда, которого в таком его всеобъемлющем виде природа, быть может, собиралась сразу же и прикончить под колесами (за ненадобностью? за отрыв от прочих людей? за неконтакт с роем?), а шел, то колено, то плечо потирая, просто человек, просто Геннадий Павлович Голощеков, что-то важное понявший, что-то дополнительно усвоивший в жизни — но не более того.

(Преждевременная его гибель под колесами, с реанимацией, с нерасслышанными в бреду словами, с непонятным *видиняет* и прочая, была не исключена, но, во всяком случае, пока отодвинута.) Геннадий Павлович шел, прихрамывая, а вновь объявившаяся (обычной глубины) его мысль по инерции все еще гневалась: за столько, мол, лет жизни не смог преуспеть и продвинуться хотя бы для того, чтобы помогать неудачникам. Не хотел — это бы понятно! В нехотении тоже набор защитных свойств. Но столько лет прожить, прослужить, просидеть, сгорбившись за рабочим столом, прокорпеть, прополучать зарплату

столько лет и не уметь помочь человеку? Стиснутое жалкостью в морщины, банальное, просящее лицо Авилова отчетливо вспомнилось: постаревшее его лицо возникло и прыгало теперь перед глазами Геннадия Павловича, отчего земля вновь заколыхалась, асфальт сделался бугристым — и Геннадий Павлович спотыкался на ровном месте; но и спотыкание было уже обычным и вне перекрестка.

В сущности же, удар машиной дал ему пережить стресс проще и понятней, *теперь это был лишь стресс,* после чего Геннадий Павлович Голощеков пришел в себя, он потирал колено, шел быстро в сторону от случившегося и негромко охал, прихрамывая. От перекрестка он добрался к старинному кирпичному дому, что на той стороне, и почти рухнул на оказавшуюся там скамейку, стиснув на миг зубы от боли.

И со скамейки махнул водителю рукой: езжай, мол, дальше, ничего страшного. И тот, тоже махнув, тотчас уехал.

А Геннадий Павлович продолжал сидеть на скамье, потирая теперь больше плечо, чем колено, и вместе с вошедшей, вдруг появившейся сильной болью в плече в него входила жизнь, входил мир живых, и в поле зрения попадали люди, прохожие и просто любопытные с того перекрестка, которые понимали, что Геннадий Павлович Голощеков еще не завершил свой жизненный путь (и, нагнав и обступив его, шумно теперь советовали что-то или предлагали помощь).

Он подумал только, что надо быть благодарным жизни, что хоть как-то свела его с Ваней Авиловым и хотя бы неисполнившимся желанием помочь напомнила о юности.

Смерть прошла в шаге и от Нинели Николаевны, которую мучила судьба изгнанной и исчезнувшей Вали, — ведь девушка была скромна, порядочна и менее всего виновата в том, что у нее ангельский облик; мужчины хотели тешиться, жены их хотели защищать свои права, но кто подумал о ней, о Вале? Красота — дар, но пойми, Игорь, если люди так алчут, красота—несчастье. Все знают, что талант, скажем, музыкальный, надо беречь—почему же не беречь красивую молодую женщину, по сути своей беззащитную в этом мире ничего не пропускающих моложавых начальников; горько знать о

них, но еще горше знать, что первой ее под удар поставила я...

День за днем Нинель Николаевна жила в мучающем ее сюжете, когда добавилось необходимое совпадение, сцепление. Случайно, за дверью, прежде чем войти в отдел, Нина расслышала голоса и обрывок разговора, из которого следовало, что в случае с Валей они сочли ее доносчицей. Сказано было между прочим — совсем без гнева, да, мол, донесла вовремя. Слово порхнуло как бы вскользь. Но слово осталось как возможность: возможность прожить столько лет, не прощая людям их подлостей, их делишек, а в конце жизни вдруг и незаметно, почти нечаянно самой совершить подлость? — это ее потрясло. Упрощенность, линейность их мышления не отменяли поступка. Ведь, несомненно, это была она, звонила по телефону она, говорила женам она (со времен юности считавшая, как считали все, что хуже и гаже доносительства ничего нет. В их дни самый умный, самый интеллигентный, самый красивый молодой человек тут же делался дрянью и обращался в ничтожество, если становилось известным, что нашептывает или даже в явной форме обращается к власть имущим, с тем чтобы на кого-то обрушились с немилостью). Узнав, кем ее сочли, и не захотев додумывать, кем была она в том поступке (телефонном звонке) на самом деле, с отвращением к собственной личности, запятнавшей юность, Нинель Николаевна тем же вечером у себя дома открыла газовые краны.

К счастью, испугалась. (Была ночь.)

Уже чуть светало, когда я приехал по ее звонку. Она сидит в кресле, и ее рвет. Ее вдруг сгибало пополам. Порция за порцией поступали из желудка каждые полчаса, и на полу каждые полчаса оказывалась лужа. Встать она не могла. Сначала я как-то сгребал газетами и, в газету же заворачивая, выбрасывал. Затем, когда объем работы стал пугающе ясен, я просто принес ведро из кухни—сидел с ней рядом; время от времени я сгребал ладонями с пола, плюхал в ведро; и ожидал следующего позыва и выброса. Бедная, лицо у нее сделалось жуткое. Казалось, кожа знакомого мне лица натянута на проволочный каркас, гнущийся то так, то этак. Определенного выражения не было: были громадные глаза, как у немо жалующегося животного. Я спрашивал: не вызвать ли врача?

— Не надо, — говорила она со стоном. — Не надо...

К утру она уснула. (Сидя в кресле.) Я тогда же позвонил к ним на работу и сказал, что больна.

Вызвал врача. Тот приехал, дал ей бюллетень. Нинель Николаевна уже могла говорить без стонов, так что сама пожаловалась врачу на недомогание и рвоту. Что-то, мол, съела... Чтобы легче лгать (не смущаться в причинах и в пределах придуманной болезни), Нина взглядом попросила меня выйти, сидеть на кухне и оттуда не выходить — хотя, конечно, и оттуда я слышал их разговор слово в слово.

Впрочем, женщина-врач так спешила, что мигом выписала ей больничный на три дня и ушла. Неискренний разговор с врачом оказался для не умеющей притворяться Нинели Николаевны трудным испытанием, так что она сразу лишилась сил и, повторяя только, просила своего всегдашнего напитка, *кофе, очень хочу кофе,* жалобно, как просят все обессилевшие. Выпив кофе, тотчас уснула.

Ей стало плохо и на следующую ночь. Обеспокоившись и вопреки ей, я вызвал «Скорую помощь» — равнодушные к смерти и к жизни, примчались здоровенные парни, сели рядком, меж собой посмеивались, ерничали, но дело сделали, откачали: они оставили несколько ампул для уколов впрок, после чего уехали. Предупредили, однако, что нужны постоянная сиделка и пригляд. Видавшие виды, они сами сообразили, что я ей никто, что тоже скоро уеду и что вообще тут пахнет бедой и застарелым одиночеством.

У меня были неотложные дела, в сиделки при женщине я к тому же и не годился—но тогда как быть, если перекладывать заботу с своих плеч на чужие всегда неловко? Не годилась и Аня, так как днями на работе, а вечером на ней дом, дочь. (Была еще на примете М., хорошо знакомая мне женщина-литератор, одинокая, с несколько необычным складом ума и несколько беспечным образом жизни, — тогда же мне подумалось, как думается иной раз в романах: мол, вдруг подружится она с больной, с жалкой сейчас Нинелью Николаевной, оценит ее искренность, ее порядочность, а затем их общения перейдут в род дружбы — мысль нехитра, однако ведь жизнь зачастую идет как раз по нехитрым мыслям.

Но М. сразу же сказала — не хочу.

— Почему?

Она ответила, что фрукты, пожалуй, привезет ей, и

соки привезет, и денег, если есть нужда, сколько-то даст, но сидеть с больной не станет. Не хочет. Не умеет. Уволь, не могу никак!..

Притом что я ни слова, разумеется, не сказал ей про газ.)

Оставив в стороне участливое и человеческое, я обратился к профессионалам: сговорился с едва знакомой мне медсестрой Ренатой *на пять дней.* Рената в те дни присматривала за мальчиком-дебилом, тем не менее она согласилась и переехала на квартиру к Нинели Николаевне вместе с ним, чтобы присматривать за обоими разом. Мальчик был тучен, но вполне пристоен, лишь без конца таскал хлеб, мазал маслом и ел, а Рената, пресекая незапланированную его еду, покрикивала:

— Да имей же совесть!..

Обычно она обнаруживала его на кухне, когда шла кипятить шприцы; и шкаф — где хлеб, и холодильник— где масло — мальчик открывал тихо, без единого звука.

Нинель Николаевна выздоравливала медленно. Зато ничто ее не раздражало, не волновало. Она могла часами сидеть у окна в задумчивости, совсем для себя не тягостной, и легко отвлекалась от своих (и несильных, и неопределенных) чувств, увидев за окном машину с прицепом или, скажем, собаку, переходящую пустую улицу. Она не жаловалась на длинные дни и, видимо, совсем не испытывала нетерпения или там бытовой скуки, утеряв чувство времени, Ей был поставлен какой-то сложный диагноз, связанный с нервным истощением, — на службу она не ходила.

Когда я навещал, она, отчасти пробужденная, начинала что-то делать по дому, хотя и вяло.

— Проводи меня до магазина, — говорила она, после чего мы выходили, и я помогал ей купить овощей, а также пакеты молока, которые она ставила на домашний творог. Было видно, что она еще больна. Мы шли по улице осторожно. Она шла неспешная и как бы вся хрупкая. А я рядом очень осторожно нес овощи и пакеты с молоком, как будто овощи и пакеты тоже были хрупкие.

Я навещал редко.

— Из меня уходит, ушла любовь, — говорила Нинель Николаевна и после сказанных слов держала долгую, значащую паузу.

Возможно, Нина не умела в своем нынешнем состоянии сказать более понятно, но, возможно, и не хотела договаривать до конца, как многие женщины, инстинктивно пугающиеся слишком точных слов, боящиеся, что найденные слова все опишут, все назовут, но упустят при этом саму тайну. (Лучше удержать свое при себе. И называть приблизительно, лишь неким общим чувственным знаком. В конце концов есть целые народы, что, не гонясь за суховатой точностью, общаются иероглифами.

И, может быть, в русле своей речи мы все неторопливо движемся к этому.)

Пришла мода на иррациональное, и бывшие чеканные говоруны, студенческие вожаки, деятели теперь тоже хотели тайны.

Дожи́ли. Дошли до лет.

— Но почему — любовь? Почему такая многозначительность?

— Уходит любовь — это значит уходит такое, казалось бы, неисторжимое... как бы тебе, Игорь, сказать. Уходит нечто общечеловеческое, что всех нас, людей, связывает.

— Но зачем же непременно говорить — *любовь*... Это претенциозно, Нина. Говори — *оно*. Говори — *нечто*...

Нинель Николаевна согласилась и сказала:

— Хорошо: *нечто* уходит от меня.

Получилось смешно. Я вдруг засмеялся. А она — заплакала.

Нинель Николаевна уже ходит на работу. Но еще не вполне здорова: скоро устает, утомляется.

Я приехал после лета.

— Ну, рассказывай... почем там, в Астрахани, их замечательные помидоры?

— Полтинник.

Она лежала, отвернувшись к стене. (После работы часа полтора-два она лежит.)

— Что-то дорого для Астрахани... А рыба?

— Не помню.

— А икра? рыбаки икру продают?

Я неопределенно пожал плечами.

— С женщиной, когда она приезжает издалека, по-

говорить можно — все знает, все видела, все запомнила, а что ты? да был ли ты там? — и она сделала пренебрежительный жест рукой.

Спустя время она сказала:

— Ты, Игорь, не исчезай совсем... Привыкла к тебе. Не знаю, что нас связывает — вроде бы и нечему связывать, а вот ведь!

Она запнулась.

— Скажи... А может быть, я когда-нибудь тебе нравилась? Ну, не сейчас, а лет пятнадцать назад, когда мы только познакомились — когда были помоложе. Может быть, ты был в меня влюблен немного? Как бы это было теперь красиво и романтично, а? хотелось меня? нет, ты скажи — в конце концов мы же свои люди и ссоры никакой не будет...

После паузы смахнула слезы:

— Вот, мол, женщина — да? так думаешь?.. Одной, мол, ногой еще там, еще из ямы не выкарабкалась, а уже про свое — да?.. Нет, нет, Игорь, я же просто болтаю.

«Но сказали, что именно у вас эта книга». — «Кто сказал — пусть вам и продаст». И тогда Геннадий Павлович (уже больше от усталости) взмолился: где она, где книга, где этот единственный экземпляр, появившийся сегодня в городе? — видно, много вложил он мольбы, так много, что и задерганный продавец на секунду дрогнул, нет, не лицом, лицо было вышколено и ничего не выдало, рукой дрогнул, кисть руки дернулась — миг — и вынул бы он книгу из-под прилавка, единственный искомый томик, но... но тут же он себя пересилил и сказал — книги нет, *может, у букиниста на Ломоносовском,* после чего Геннадий Павлович вышел и, вдруг ослабев, плюхнулся в заждавшееся такси: помчались на Ломоносовский проспект — бесполезно, бессмысленно: все еще Геннадий Павлович удерживал в глазах это движущееся лицо над прилавком, и миг неуверенности, и дрогнувшую его руку, левую, рука шевельнулась, пошла, пошла, пошла вперед кистью, но вернулась на стекло прилавка, сама себе отыграв секундную слабость, а движением возврата гася порыв.

Ожидавший подолгу у каждого книжного магазина, таксист чертыхнулся и вновь стал затевать ссору.

На Ломоносовском книги не было. Обследовав магазин, седьмой по счету, Геннадий Павлович уже сильно устал, иссяк, такая была гонка и так распалила охота, и ведь кроху бы мольбы добавь он еще у того прилавка, дрогнул бы продавец... Потратившийся на такси и впустую убивший вечер, Геннадий Павлович дома сразу свалился в постель, уснул; но, даже засыпая, все видел перед собой дрогнувшую ту руку, левую.

А дома книги, написанные тысячами лучших умов всех времен и народов, довольно равнодушно смотрели с высоты полок на уставшего человека. Книги не укоряли. Им, кажется, было все равно — одним томиком больше, одним меньше. Полнота мира не нуждалась в добавлении. И Геннадию Павловичу, засыпающему, сделалось тоскливо...

Среди ночи он дважды просыпался — а утром уже был совсем разболевшийся; подступала апатия.

(В бреду в больнице он все станет повторять, что какую-то книгу — одну! — он так и не нашел.)

Отчетливо помню ту ночь, когда ее рвало. В памяти — ее серое (то зеленое) лицо. И спазмы. И на слуху — горловые внезапные вскрики. И ведро, которое я то вносил с кухни, то выносил.

Одно время больная вела себя плохо. Медсестре Ренате Нинель Николаевна почему-то не доверяла, плакала, возводила напраслину — нет-нет и из ничего она подымала шум, говорила, что мало кипятились шприцы или что таблетки стары по времени, пожелтели.

— А я вам не верю. Я вам совершенно не верю! — говорила больная, глотая слезы.

Она измеряла температуру собственным градусником, а цифры давления каждый раз подвергала сомнению.

Рената сносила стоически и лишь иногда повышала голос, но и то не на Нинель Николаевну, а на мальчика-дебила, который опять, пока они обговаривали давление, успевал уединиться на кухне и, затаясь, ел хлеб с маслом:

— Ты перестанешь или нет?.. О, господи!

Нинель Николаевна капризничала, нервничала, а затем вдруг впала в безразличие.

Она лежала, отвернувшись к стене, молча, недвижно и даже не заметила, кажется, как медицинская сестра Рената ушла совсем, когда дни истекли. Нинель Николаевна осталась одна. Она пила иногда таблетки, иногда забывала, и тогда врач, заглядывавший через два дня на третий, ее ругал.

Однажды утром к Нинели Николаевне, навсегда забытой родными, из маленького далекого городка на Волге нагрянули вдруг двоюродные, или даже троюродные, племянник и племянница — молодые, вполне современные люди из провинции, о существовании которых Нинель Николаевна тоже напрочь забыла да, кажется, и не знала. Внешне это напоминало процесс вовлечения. Они рассказывали о Волге, о жизни там, об общих родственниках и особенно о забытом ею двоюродном брате, но она не знала имен, не помнила, не понимала. «Мы ваши племянник и племянница. Двоюродные», — так и сообщили они ей, безучастной после болезни и безвольной, и чуть ли не предлагали глянуть в их паспорта прямо с порога.

У них были временные дела: племянница сдавала экзамены в вуз, а племянник ее сопровождал, заодно же он делал в столице нужные покупки.

Именно племянник откликнулся активно — помогал притихшей Нинели Николаевне купить продукты, кормил ее, помогал по дому, даже и уговаривал съесть то или иное сготовленное им блюдо, однако перед отъездом, в самые последние дни пребывания, деловая часть его души пересилила, и он, мало-помалу втянувшийся, стал Нинель Николаевну обирать, пользуясь все той же безучастностью и равнодушием.

— Я и мясо на свои покупал, и масло, — говорил он, а она безразлично молчала, так что племянник как бы рассуждал сам с собой. — И сосиски покупал три раза. Деньги мне не нужны, но вот собрание сочинений Гончарова я у вас, Нинель Николаевна, возьму. Вам все равно — я же вижу, — книги вы не приобретаете, не любите, а какие красивые томики!.. Я вот эту графику тоже, пожалуй, возьму, гравюрка мне очень по душе — я люблю, Нинель Николаевна, когда живописец зиму изображает, деревья в снегу...

Иногда он затевал подсчет:

— Вот это покрывало я заберу.., Я вам, Нинель Ни-

колаевна, паркет поправил, краны починил и ручки дверные — знаете, во сколько бы они вам обошлись? краны — это пустяк, а вот дверные ручки, если добротные, идут из расчета как врезанье замка... Или, может быть, я неверно считаю и вы несогласны, вы тогда скажите. Верно или нет?

Нинель Николаевна кивала — верно.

Деловитый племянник, может быть, и не обирал, не обманывал ее в расчете; то есть, если переводить на деньги, он был прав, но ведь он забирал как-никак продуманное и приобретенное, *уже* внесенное в дом, из которого человеку чужому, как известно, вынести легче, чем внести.

— Я правильно считаю — но если арифметика меня подводит, вы мне скажите.

Нинель Николаевна кивала.

С ним однажды пришел его новоявленный приятель-москвич, и вот тут-то, один другому смущаться не давая, они вдвоем прибрали к рукам гравюры и томики. Квартирка поблекла и опустела. Особенно оголились стены. Но Нинель Николаевна не замечала.

Наконец племянник уехал.

А племянница оставалась: она продолжала сдавать экзамены. В отличие от брата, племянница была нежнейшее существо, говорила ласково, готовила, стирала, и Нинели Николаевне было с ней хорошо. Благодаря ей она ожила.

Она бы и мебель, и полквартиры отдала деловитому родственнику, лишь бы его сестра жила здесь подольше. Невольно (и сама собой) племянница воздействовала на нее молодостью, воздействовала мягкой и деликатной провинциальной речью. Она оживляла, оздоравливала вокруг сам воздух.

— Тетя Нина, — говорила она, — такие юбки сейчас не модны...

Или:

— Тетя Нина, с морщинами надо бороться...

А тетя Нина, замедленная и заторможенная, слушала этот милый молодой щебет, оттаивала и улыбалась, вбирая эту удивительную теплоту провинциальной девочки, девочки из родных мест, — подспудная встреча с собой на уже забытой отметке времени — в отрочестве. (На глубине отрочества и детства Нинель Николаевна теперь что-то слышала: там ощущались тихие внутренние толчки, неясные шумы, там что-то смещалось

или дышало, бережно ей напоминая... Что-то, чего не объяснить.)

Племянница недобрала двух баллов и, вся в слезах, хорошенькая и милая, вернулась к себе в заволжскую провинцию, а Нинель Николаевна, проводив ее к поезду, осталась одна.

Нина сделалась преувеличенно чистоплотной, словно бы всему белому свету в укор. Она оживала. Она в комнатах своих без конца чистила, что-то шила, мыла, стирала.

Она вновь прикупала вещи и вещицы в дом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как фильм.

Полночь. Над крышами домов луна. Тихо. Лунный свет разлит всюду — на узких улочках, на домах с темными спящими окнами, на деревьях. Близко находится ночное кафе, оттуда еще слышны редкие голоса — уже негромкий, усталый смех затихающего веселья; и тихо.

Но вот осторожные шаги. Из полумрака появляется, движется человек — это женщина. *(Крупный план*: молода, хрупка, красива.) Она придерживает в руках сумочку. Проходит мимо кафе, идет дальше... вот скамья; здесь же три тополя. Луна. Тополя чуть шелестят листвой. Женщина проходит раз и другой мимо скамьи, но на скамью не присаживается. Она как бы делает круги. Похоже, что она ждет.

Новый кадр. С противоположной стороны появляется мужчина. Он идет, пересекая улицу. Возле кафе, где расположилась уже затихающая пьяненькая компания, кто-то зазывает мужчину: «Вв-выпьем, эй!..» — но мужчина отстраняет его решительным движением и быстро проходит далее по темной улице, пересекает двор, подходит к забору и — перемахивает. И оказывается в том самом маленьком дворике. Вот скамейка. Три тополя.

Он видит ее — она видит его. Как и условлено, оба движутся к скамейке. Он. И она. Расстояние меж ними сокращается. Он тем временем опустил руку во внут-

ренний карман. Она на ходу приоткрыла сумочку. Лунный свет освещает скамейку. Он протягивает свою полурыбку—опознавательный предмет и как бы пароль. Она извлекла из сумочки и тоже протягивает свою светлосеребристую вещицу. Рука приближается к руке, и луна освещает сближающиеся две серебристые полурыбки... Увы! Половинки одной и той же рыбки не сходятся. Совпадают, но не вполне.

Оба глядят друг на друга. После секундной заминки они вновь пробуют соединить две половины одного и того же опознавательного предмета. Они пробуют так. Затем так. Но нет и нет — полурыбки в одно целое не соединяются, возможен подлог, и потому он и она опасливо смотрят друг на друга *(крупно:* глаза его — глаза ее), подозрение пересиливает все прочие чувства, и вот, уже не желая ни спросить, ни узнать, ни разобраться, оба вдруг встают со скамьи и быстро уходят в разные стороны. И исчезают в темноте ночи.

Луна. Пустая скамейка. Три тополя.

Когда после выговора сверху Птышков переманил людей и наконец приел, подобрал этот отдел, *давно валявшийся под ногами,* Голощекову оставили лишь двух юнцов, кроме того — переселили.

Теперь Геннадий Павлович в небольшой комнатке — он сидит, уткнувшись в бумаги, считает, пересоставляет, решает, как считал, пересоставлял и решал раньше, а два молодых человека, вверенных ему и напрочь его не уважающих, сидят за своими столами как раз за спиной, сзади Геннадия Павловича. (Их трое в комнатке — три стола, три стула.)

Вдруг я думаю (и ни на чем это не основано), что Птышков, создавший себе отдел, создаст еще и идею, а там и направление работы, выдвинется, сядет в кресло, а став влиятельным, просто так — смеха ради — выпроводит Геннадия Павловича на пенсию как можно скорее. Или даже изгонит, не дожидаясь его пенсии, чтобы не мозолил глаза человек, столь долго казавшийся ему заслоном на пути. Казавшийся ступенькой, на которую надо влезть. Камнем-валуном, который горный поток должен свалить, отвалить, отбросить в сторону, не все же его обтекать и не обходить же его стороной вечно.

Именно, мол, по некоей инерции преследования Птышков станет Геннадия Павловича изгонять и изгонит до конца. Не столько мистика, сколько неизбежность узнавания себя. (Человек-ступенька, которого надо перешагнуть, — образ в динамике.) Но и обратное возможно: самоутверждения ради Птышков-злодей не выпроводит его на пенсию и не выгонит преждевременно, именно сохранит, посадит в своем собственном отделе, притом неподалеку, как живое напоминание. Как трофей. Как знак, который всегда будет показывать, как надо вести себя в современном бою. (Когдатошний двойник, а также черный человек превратился в человека-ступеньку, который...) И тогда я буду бояться и думать (и тоже необоснованно), что Геннадий Павлович, вырвавшись однажды из тумана апатий, осознает неявное свое унижение (в качестве трофея) и возмутится. Он вдруг заговорит. Вдруг его посетит какая-то героическая идея, и он начнет много, как в молодости, говорить. (Как в молодости — но не в молодости.) Он будет говорить без умолку. И, увы, без оглядки. Он взбунтуется по любому пустяку, а там его понесет, и он будет говорить и говорить, пока не угодит, бедный, в психушку. Я совершенно точно знаю, что ничего похожего не будет. Что будет обычный и спокойный пенсионер Г. П. Голощеков, который вполне смирен и вполне обычен, который не даст и не позволит самому же себе разрушить свой собственный домашний покой, обставленный высокими духовными размышлениями и миром книг, — знаю и все же боюсь. Может быть, дело не в нем, а в чем-то еще. Почему я боюсь?

Мы не в состоянии утешить всех, кого хотели бы: мы просто не успеем в наши двадцать четыре часа в сутки. Мог быть рассказ о том, как человек прошлого века, точнее, *человек литературы прошлого века,* оказался в наших днях и, разумеется, откликался по чуткости своей на всякую болезнь всякого близкого или хорошо знакомого человека. Он был искренен в своем чувстве. Он выражался в нем. И свелось к тому, что он только ездил и ездил по больницам днем и ночью; он даже и ел, и спал сидя, так как времени он имел мало, а страждущих много. В сущности, он беспрерывно сидел на жестком стуле напротив того или иного больного. Затем опять ехал в больницу. И опять сидел напротив — слушая или утешая. И так прошла его жизнь.

Сохраняясь в главном и своем, Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, возможно, приспосабливались к жизни в мелочах, притирались; они менялись.

Вот, скажем, птицы — и среди них, для условности, некий дрозд-альфа, — распространяясь на восток, мало-помалу меняют оперенье, меняют чуть-чуть полет и повадки.

Распространялся тем временем дрозд и на запад: осваивая пространство за пространством и климат за климатом, он тоже чуть-чуть менялся — и тоже по-своему.

Но, когда, передвигаясь по материкам (одни в одну сторону, другие в противоположную) и архипелагам и по отдельным островам, этот вид птиц, эти дрозды-альфа опоясали земной шар, то в месте встречи, на той стороне Земли, они уже не узнавали друг друга: не вступали в контакт, не давали совместного потомства.

Хотя бы однажды Нина могла в свое время, во время их молодости, на какой-нибудь межвузовской конференции или на диспуте слышать, среди прочих, научного сотрудника Геннадия Павловича Хворостенкова.

К сорока с лишним годам внешний облик ее уже сложился окончательно: она худощава, чуть выше среднего роста, с красивыми стройными ногами. Сейчас молодые девушки такого типа стали нарасхват, в наши двадцать и двадцать пять они казались слишком длинными.

Возле дома — где ее общественная жилка не тронута, не пробуждена, — Нинель Николаевна любит подолгу смотреть на детей, любит погладить по головке девочку или мальчика из соседнего подъезда. Но сердце от волнения у нее начинает стучать, в голове стучит, в ушах: она боится привязаться. И *после* — рвать себе душу. Как любить, если в этом случае узнавание себя — лишь способ, путь мучений? Так что, погладив, она скоро отводит руку от белой или русой головки, пронзенная не пришедшей пока любовью и знакомым страхом.

(Когда моложавый начальник несправедливо накричал, Нинель Николаевна едва сдержалась, чтобы не дать ему пощечину. Но сдержалась. Она немалое число раз— пять — била подлецов в молодости.

Двоих она помнила, остальных уже не помнила — за что.)

Не сразу же на ту ночную встречу под тремя тополями пришел разведчик, измотавшийся и издерганный жизнью среди чужих. Так что в фильме мог быть эпизод более ранний: разведчик только-только пробирается к месту встречи.

Он идет по крышам. Ночь Луна. Сапоги на его ногах тяжелы, и по черепице надо ступать тише: не греметь. Крыша следующего дома оказывается выше той, по которой он пробирается. Тогда разведчик подтягивается на руках; он довольно долго висит, руки напряжены, лицо искажено от усилия. Взобравшись, он быстро пересекает освещенное, светлое пространство крыши, пригибаясь и как бы ожидая выстрела в спину, — ах, луна, что ж делаешь ты, луна!.. Следующая крыша — ниже этой, после некоторого колебания он прыгает туда. Шум падения. И где-то неподалеку смех, голоса пьяненьких, все еще гуляющих людей: он прислушивается. (На миг он вспоминает лица врагов. Крепкий усатый сержант. Рядом два солдата. «Куда же он делся, ребята, — неужели спрятался в колодец канализации?» — и пока глупцы, руководимые сержантом, побежали к колодцу, он уже был на крыше дома.)

Вновь черепичная крыша. Но за крестами телеантенн уже видны три тополя. Вот они: недалеко. Уже слышен шелест их листьев. Луна заливает пространство крыш. Он вынимает из кармана полурыбку, разглядывает ее. Полурыбка излучает серебристое сияние — это его спасение, оно уже близко.

Ей тоже нужно добраться к тем трем тополям.

Она в купе поезда. Ситуация достаточно нехороша: с ней в купе какие-то командировочные (коммивояжеры или просто подвыпившие попутчики), — перемигиваясь меж собой, пошучивая, они то зовут молодую женщину в ресторан, то вроде бы шутливо или нечаянно тискают. Стучат колеса. Поезд мотается на стрелках. За окном — деревни, полустанки. Молодая женщина не может ни закричать, ни позвать, так как в этот час по вагону могут проходить как раз те, кто ее ищет, — патруль. Но как быть?.. Пьяные попутчики тем временем

наглеют: принимают ее молчание за неумение себя защитить. Или даже за доступность. Та еще дамочка! небось сама не прочь — сейчас разберемся!.. Дверь купе заперта. Они хватают ее за плечи. «Прошу вас... Ради бога. Ради бога! — шепчет она, но ведь только шепчет, а не кричит; и они, пьяные, понимают, что она не кричит. Один берет у нее из рук сумочку, но сумочку с лежащей там полурыбкой, с надеждой своей и спасением, она отдать никак не может и тянет обратно, — пока же она борется за сумочку, другой, подгибая ей силой то одну, то другую ногу, ловко разул, снял ее туфли; третий, смущенно хихикая, расстегивает ей юбку. Она умоляет, шепчет, но выхода нет. Тогда, в тесноте купе, она выхватывает небольшой пистолет и отпрыгивает к зеркалу: те отшатываются — они ошеломлены. Воспользовавшись секундой их растерянности, она открывает дверь купе и выбегает в проход вагона. Там — никого... Руки ее дрожат. Голова кружится. Начинает мучить тошнота, подкатывая вдруг к горлу. Спазм. Еще спазм. Она выбрасывает пистолет в окно... Затем, сдерживая рыдания, в наспех поправленной юбке и с сумочкой в руках, в чулках, без туфель входит в купе проводницы. Садится там. Ее бьет дрожь. Проводница (пожилая женщина) первую долгую минуту смотрит на нее подозрительно. А затем придвигает ей стакан с чаем:

— Успокойся...

Геннадий Павлович как-то сказал, что жизнь человеческую не обязательно проецировать на высокородный миф об Одиссее-Улиссе, ее можно проецировать на что угодно, на любой сюжет. Проецирование — это соотнесение. И сущностное родство. (И одновременно — комментарий со стороны.)

Так что можно проецировать человеческие отношения, скажем, на киноленту со шпионами и разведчиками — почему же нет?

Он промолчал; он не сказал, что и в сущностном родстве подобное соответствие не бывает вровень; оно понижает. (Скажем, Геннадий Павлович в эпизоде с наглым и чуждым ему Даевым, а затем с не менее чуждым Олжусом — это что? — это ли тот момент, когда пробирающийся разведчик среди врагов и, скажем, бежит по крышам, отстреливаясь?)

На юге Нинель Николаевна ни с кем не знакомится, разве что заведет разговор с какой-нибудь старой дамой, видавшей виды. Но именно в эти дни без людей Нинель Николаевна и лучше одевается, и лучше выглядит, так как тут задействована душа, и к этой духовной связке, к югу и отпуску, собираются в одно все ее внутренние силы.

В последние годы она ездит больше в Пятигорск, потому что море, и пески, и волшебство пустых утренних пляжей, как ни любила она их, подчеркивают (для себя самой — не для людей) подступившее увядание тела; да и жара не полезна.

Пятигорск и Кисловодск — это было то самое. Потише. Потоньше. Поизящнее. Юг, но не одуряющий.

Сидя на скамейке и долго, в задумчивости глядя на отдаленный предгорьями двуглавый Эльбрус, Нинель Николаевна вдруг встрепенется. Словно бы ее окликнули по имени.

Уже десять или более лет Нинель Николаевна собирается зайти к некоей Верочке Рыжовой, — вышла за Рыжова еще студенткой, осталась же в памяти просто Верочкой, и приятно было бы зайти к ней, поговорить о молодости и почитать друг другу стихи, которые, казалось, и на смертной постели вспомнят. Но механизм разрушения как раз в череде спокойных и вполне мирных дней — самых мирных. Казалось, приди Нинель Николаевна неожиданно и разбуди ночью Верочку строкой стиха, Верочка, хотя и поседевшая, постаревшая, встрепенется и тут же продолжит:

а современник Галилея был Галилея не глупее, или это:

что она реет, стонет, дурит и сигареткой в тумане горит, — и подхватит, продолжит, чувственно подрагивая от слова к слову и приближаясь к той грани, за которой уже музыка.

А двуглавый Эльбрус недвижен и прекрасен. Он как луна. И можно смотреть не отрываясь.

(В нас, в одиноких женщинах, всегда можно разглядеть злое. Как бы ни улыбнулась и как бы ни растрогала тебя одинокая женщина, в ней почувствуется недоброта — и это не промельки затаенных обид. Вроде бы хороший она человек, вроде бы и улыбается, но в чертах лица проступает что-то подмененное — верно?..

Так вот, Игорь, я объясню: это вовсе не зло в нас — это отсутствие любви. Это любовь уходит из нас, а то, что в нас осталось, *оставшееся*, люди принимают за мелочность и озленность. Кажется, что дом темный, а ведь он не темный, это в доме нет света — верно?)

Геннадий Павлович вновь вспоминает когдатошнего своего знакомца, сейчас известного скульптора.

— Представляешь, — говорит, — он праздновал получение премии в огромной своей мастерской в подвале дома: пятьсот квадратных метров! И всюду скульптуры стоят... Ты танцуешь с милой молодой женщиной, но, оказывается, она модель, притом прекрасная. Можешь даже ее отыскать.

Он улыбается, повторяет:

— Представляешь—танцуешь с ней, а изваяние рядом.

Ведь если не жена, он может поискать просто дружбу с женщиной, которая его иногда навещает, а?.. В отглаженных брюках, в белой накрахмаленной сорочке и только что без галстука Геннадий Павлович Голощеков полеживает на диване и перебирает состарившиеся задумки, в которых он непременно выискивает сначала хорошую чистую столовую или кафе, но не ресторан, там в кафе стайка официанток, да, да, он разговорится, разглядит, заведет беседу с той, чистенькой и опрятной, что на раздаче блюд. Мысль о семье приходит подчас через известную холостяцкую лазейку. Он пожалуется ей на жизнь, он не станет корчить из себя ни вздыхателя с деньгами, ни развлекающегося пожилого мужчину, он ей, пожалуй, книгу подарит, вкус у нее, возможно, невысок, надо считаться, но современную и *про любовь* он все же сумеет ей подобрать. Да, да, о книгах для нее надо подумать— книги в последнее время он покупает и с оглядкой и слишком снобистски. *Книги для той, что в белом халатике, всегда чистенькая, стоит на раздаче блюд,* иронизируя, Геннадий Павлович тем самым шлифует свои планы-грезы, быть может, отрабатывает и уточняет подробности — живой пересказ как прикидка. В пересказе человек особенно чуток.

Она будет, возможно, немножко грубовата, станет смущаться и неловко держать руки, да, да, станет сму-

щаться и чувствовать себя в его квартире первое время неловко. Но Геннадий Павлович не будет спешить, ни торопить события: только приглашать ее, и приводить, и угощать сладким, раз, другой, третий, пока, засмеявшись, она однажды сама не станет к плите — дай-ка, мол, я!

Этот и психологический, и бытовой поворот к плите, от стола, где она гостья, к плите, где она хозяйка, а также то, как она усмехнется и скажет: дай-ка я сама! — казались ему необыкновенно правдивыми и, стало быть, вполне возможными в жизни. Когда же в действительности одну из молодых женщин случаем (она искала родню по устаревшему адресу — и каким-то образом дважды пришла и выпила у Геннадия Павловича чашку чая с конфетой; и оказалась официанткой?..) занесло в его холостяцкую квартиру, до поворота к плите дело не дошло. Оробев, он даже не пригласил ее в гости. Нет, нет, она ему уже не подходит — молодая.

След стайки так или не так, но тянулся, а вот Нинель Николаевна в его памяти не осталась.

Ни на один из путей, ведущих к явному самовыражению (к самоуничтожению, как в театральной драме), она не ступит. Не хлопнет дверью, уходя. Не скажет эффектного последнего слова. И не совершит поступка, который, хотя бы частично, вдруг объяснил ее *нынешнюю*. Она постареет. Она просто потухнет, потускнеет, без особых в ту или иную сторону дерганий;

кутаясь в свою интеллигентность и щепетильность...

и подчеркивая свою избирательность по отношению к людям...

Как-то у нее разбушевались два слесаря, долго возившиеся на кухне с краном, однако она так быстро и так четко поставила их на место. У нее резкий, повелительный голос. В голосе — гордость и металл.

— Я нагнала на них страху, — говорит Нинель Николаевна.

Но и сама чуточку дрожит. (Девочка из Поволжья.) Вспоминает те минуты — и чуточку дрожит, руками и телом.

— Но должна же была я нагнать на них страху.

...буду в отчаянии, почувствую, что я прожила жизнь и что меня предали, унизили, и потянет забиться в темный угол, в самый темный угол, тихо, тихонечко там взвыть; конечно, негромко, для самой же себя — не для людей.

Вчера Нинель Николаевна отпиралась:

— Я не пыталась отравиться, уверяю тебя. Да ты с ума сошел — я и не думала! Разве бы я тебе не призналась?! Нет, нет, Игорь, я просто забыла довернуть кран на ночь глядя.

Иногда думаю — сумела бы, скажем, *современная* жена оживить, встряхнуть его?

(Скажем, Аня и я?)

Мог быть рассказ о том, что они не из тех, кто умеет добывать блага, — Геннадий Павлович и его жена. О том, что они, кажется, могут только терпеливо ждать— ждать, что в результате тех или иных общественных новаций от общего огромного пирога какие-то крошки упадут и к ним; и таких, как они, миллионы. Судьба и несудьба. Они, мол, из тех, кого так или иначе ждет на своем пути поражение. Жизнь коротка. И если бы Геннадий Павлович оказался идеальным семьянином, оказался тем муравьем, что все тащит и тащит в дом, поражение было бы только заметнее.

Когда Нинель Николаевна всматривается в окна соседнего дома-башни, всего больше привлекают ее сюжеты семьи — празднество или ссора за столом; тощие мужчины и очень толстые женщины размахивают руками, курят, немо поют или немо, неслышно ссорятся, в то время как за стеной (в соседнем окне) их дочка, девочка лет тринадцати, трет глаза, но вновь и вновь перемогая сон, заглядывает в учебник, читает и пишет, пишет и читает, будто это и впрямь сделает ее будущую жизнь счастливой.

Деятельная? Зажигавшая других?.. Зажигавшая — да, но были в те давние самиздатовские времена студенты и более деятельные, чем она, деятельная Нинель.

Конечно, поступки помнятся больше, чем речи. Но ведь *оно* — было общее и не следует разделять. Как и многих, ее коснулось в те годы некое великое чувство, и она осталась этому чувству верна. Душа ссохлась за десятилетия, но, может, потому и ссохлась, что оставалась верной, не приспосабливалась, не пристраивалась. Кактус, замкнувший свои листы в безводьи, становящийся все тоньше. Худенькая. Да, она была из тех, кто был вокруг. Поступки?.. Ей только однажды дали хранить некую рукопись некоего гонимого писателя, завернутую в толстую папку, обернутую бумагой и еще дополнительно перевязанную крест-накрест какой-то синенькой тесемкой. Да. Только на неделю. Помоги, сказали. Сейчас *у нас* запутавшийся момент. «Разумеется», — она кивнула и хранила неделю, чуть более недели, в белом небольшом мешке, куда обычно бросала белье, скапливающееся до стирки. Да, под грудой белья. Чуть более недели. Она ни разу не посмотрела, не прочла, не захотела рисковать, ведь пришлось бы рукопись вынуть — они жили тогда втроем в комнате. Девочки ничего не знали. Вот и все.

Геннадий Павлович наслаждается природой по телевизору, когда на голубом экране, *если он исправен и работает,* показывают перелет птиц, и дорогу, и листья на ветру. Череда изб, церквушек и пейзажей. Сердце Геннадия Павловича бьется в такую минуту трепетными пульсирующими толчками, душа млеет. Сейчас он там — с теми птицами, с пылью той дороги, с листьями, на что они, телевизионщики, и рассчитывают, прекрасно зная, что Геннадий Павлович никуда и никогда не поедет и однажды помрет среди огромных зданий города, среди непрекращающейся суеты людей.

— Напрасно ты меня коришь. — В его голосе послышалась обида. (Ну, не хочет, не любит он никуда ездить!..)

Помолчав, он добавил:

— Я как раз из тех, кто в одиночестве не опустился, — ты же видишь, я опрятен, пристойно одет и как-никак слежу за собой.

В тот вечер, провожая меня к метро, он предложил сделать изрядный крюк и привел, конечно, умышленно

к одному из тех, с кем он общался в золотую пору юности. Это и точно была холостяцкая квартира, запущенная, захламленная, вонючая и к тому же сильно прокопченная, так как хозяин частенько обогревался огнем газовых горелок (радиаторы отопления у него не грели, а вызвать сантехника было все недосуг и лень, а заклеить к морозам окна — еще большая лень), копоть на потолке, копоть даже на стенах...

Он был тоже их выводка, ветеран шестидесятых, — там и тут много выступавший, бесконечно влюбленный в поэзию, в театр. Научный сотрудник, даже и автор нескольких интересных работ в прошлом, он с годами опустился (невосприимчивость к формам живого), пропахший, нестираный и чуть что агрессивный — а только так, мол, жить мне и нравится! а это, мол, лучше, чем делать шаги по службе! куда лучше, чем защищать диссертации! — заорал он, едва Геннадий Павлович завел обычный и вполне нейтральный разговор, притом заорал на меня, словно это я, только защитившийся, звал его на банкет.

Притом же и нездоров: судорожный кашель, воспаленные глаза — куда лучше так, лучше! лучше — кричал он, чем устраивать, мол, внуков в математические школы и дарить директрисам тюльпаны...

Мы скоренько ушли.

— Пьет он? — спросил я.

— Нет. Не думаю. Разве что потихоньку...

И Геннадий Павлович рассказал, что однажды этот человек вдруг стал выть в своей квартире. Соседи чуть с ума не сошли. Затем стихло. Соседи стучали к нему долго и напрасно, взломали дверь — в квартире пусто, но, обойдя комнаты, обнаружили затем, что он спит в ванне. Совершенно голый, он уснул в ванне, в которой не было ни капли воды.

Однажды Геннадий Павлович, подняв телефонную трубку, чтобы уточнить время, попал на разговор; неизвестные собеседники не спешили, и меж их фразами тишина за мембраной словно бы переливалась от одного к другому. «От одиночества надо уметь избавляться», — произнес голос. Другой голос, с некоторой иронией, спросил: «В театры ходить?» «Театры очень прибавили. Театры *вновь получшали»,* — разговаривали люди, которых он понимал. И конечно,

одинокие. От волнения Геннадий Павлович кашлянул.

— Что? — спросил первый голос.

Геннадий Павлович затаил дыхание.

— Нас никто не слышит?

— Нет.

Разговор потек вновь, становясь, чем далее, тем мечтательнее и наивнее: один голос советовал другому пойти в театр и познакомиться там с молодой провинциалкой (они как раз ходят в театры, как сойдет с поезда, уже смотрит афиши и топчется у касс), — познакомиться, а затем и переписка, заочная дружба, долгая, томящая, и, наконец, поездки к *ней* в провинцию, редкие, но насыщенные чувством. Да, да, именно впасть в затею, в эту дружбу и в эти письма, долгие, бездонные и чувственные, как сама провинция, заманивающая тебя и затягивающая. Да, увлечься...

— Наивные.

Геннадий Павлович (подумал?) неожиданно для самого себя сказал это в трубку. И испугался.

Но они не расслышали.

— Треск у тебя в аппарате...

— Да, шумит что-то.

Так что Геннадий Павлович даже и вклиниться не мог. Раздосадованный собственным порывом, он бросил трубку. И тут же пожалел. Ведь трогательно, больно, *близко*. Взяв трубку вновь, он крутил диск — он еще крутил диск телефона, он даже и попадал на разговоры, но разговоры совсем другие, других людей, и диск все тарахтел и тарахтел попусту, словно напоминая, что в одну и ту же воду нельзя ступить дважды.

Геннадий Павлович объясняет, что если спроецировать его жизнь на телефонный разговор, то юность — та часть разговора, когда он их слышал, *время, когда он слышал людей,* пусть даже они меж собой говорили наивно. Не всякий опыт вмещаем. А затем как-то так случилось, что он упустил из рук телефонную трубку; люди продолжали говорить, но он уже не мог их услышать, как ни пытался начать заново и как ни крутил диск. Может быть, они все еще говорят — те люди.

Но более всего Геннадий Павлович — и тоже словно бы шутливо — любит проецировать свою жизнь на тот



случай (по сути, случай-перекресток), когда однажды его выбросили из электрички молодые парни. То есть он вошел в электричку, сел, начал разглагольствовать и чем-то их задел — это, так сказать, его говорливая юность. Но внезапно все кончилось: поговорил — и вот уже оказался на снегу, в сугробе. Ничего не случилось. Электричка-жизнь отправилась себе дальше, люди ехали, и люди все еще едут, а он остался там, в снегу, вместе с так быстро кончившейся юностью.

Он любит подчеркнуть оттенок:

— Жизнь вдруг ушла без меня, *все было так быстро!*

Когда после окончания вуза какого-то студента не взяли в аспирантуру, что было следствием интриг и было явной несправедливостью, Геннадий Павлович также отказался от аспирантуры, которую ему тогда предложили. Он блестяще учился.

Он едва не распределился в Кострому.

(Панорама: море, береговая линия.) Утомленная, издерганная неудачами молодая разведчица наняла яхту: еще есть надежда на встречу вдали от чужих ушей и глаз. Легкий ветер. Яхта, управляемая матросом, пересекает залив. Красивая женщина, разведчица, предполагает, что *он* также догадается нанять яхту и выйдет в море, откуда будет хорошо виден удаляющийся пляж с гомонящими и загорающими чужими людьми, в то время как их яхты все более станут сближаться. Сначала они — она и он — лишь издали покажут друг другу свои полурыбки, и серебристые вещицы радостно сверкнут, как бы подмигивая с расстояния одна другой на солнце: это я! я!.. яхты сближаются, красивая разведчица в нужную минуту кричит матросу: «Давайте подойдем к той яхте!»—«Зачем?»—«Какая чудесная и неожиданная встреча, представьте — на той яхте мой родной брат!..»

Но все это грезы. Яхта одиноко идет вдоль берега.

Молодая женщина ждет полчаса, час. Ее красивое лицо опечалено. А вокруг солнце, играет море. Легкий ветерок, отблески, грубое лицо матроса, а вдали все тот же пляж с чужими людьми, которых ей надо опасаться.

— К берегу, — говорит она.

Только тут она сядет на поезд, который пересекает страну в восточном направлении. И в купе к ней пристанут пьяные попутчики, после чего она босая выбежит в проход вагона, а затем постучит в купе проводницы. И та поймет ее, как женщина женщину, и даст чаю, даст спокойно поспать и на нужной станции ее разбудит.

Затем произойдет встреча-неузнавание возле трех тополей. Скамья. Луна сияет. И на пустынной ночной улице так тревожно стучат приближающиеся шаги.

Вчера Геннадий Павлович стал вдруг оправдываться в том, что он не сажает деревья возле дома и не предлагает интересные книги подросткам, бездельничающим во дворе. Теория малых дел невыносима. Сами же малые дела, как и взывания к доброте, тускнеют, мол, в наши скорые дни; они сродни милостыне, сродни благотворительности, и от добрых этих дел невыносимо несет ведомственной фальшью, даже если дела не фальшивы.

(Он боялся, что я его упрекну... Но в чем?)

Когда рассказываешь как бы о давно прошедшем, то есть в прошедшем времени, известная крутизна рассказа придает ему ближе к концу привкус завершенности жизни. Выведенный из бесконечности бытия, человек замыкается на бесконечность литературы — он словно бы и не человек, и конец рассказывания как конец жизни.

Когда человек здесь — его нет там.

Уже после золотой юности был период, когда у Геннадия Павловича возник своего рода небольшой, очень камерный клуб на дому (в возрасте тридцати лет, но и свои тридцать Геннадий Павлович не любит: он, мол, тогда *топтался на месте*). К нему приходили сотоварищи по юности, переставшие слыть знаменитостями и ищущие, куда бы себя приткнуть, хотя бы и в позднюю дружбу, хотя бы и просто в говорливые ночные бдения, лишь бы не ощущать вновь обязательности кем-то стать. Смена времени как смена шага. От встреч у него на дому все больше и все явственнее веяло запашком

неудачников. Встречи казались бессобытийным фоном. Встречи укорачивались, тускнели. Затем прекратились. В юности, мол, он, Геннадий Павлович, опережал свое время, сейчас явно отставал, а значит, в тот камерный период он шел, уже не обгоняя, но еще и не отставая: шел со скоростью самого времени — а что может быть скучнее времени самого по себе?

Некоторые срывались в пьянство — этакие легкие поначалу, звонкие мостки меж юностью и старением. Эти мостки надо проходить скоро и ни в коем случае не оглядываясь, не видя бездны, что под ногами. Оглядываться можно, когда уже за сорок.

Геннадий Павлович дома вальяжен, в отглаженных брюках, рассуждает.

Если вслушаться и если вникать придирчиво, слова его от повторяемости как бы бесцветны, пусты.

Однако это не пустословие. Не просто говорливость, когда к нему раз в полгода зашел человек. Это тихий, но от тихости еще более отчаянный призыв к кому бы то ни было, зов, клик освободить его от неведомого заклятья, от ворожбы, приковавшей его после ослепительной юности к судьбе одиночки.

Как-то спросил, не начал ли Геннадий Павлович вести какие-либо записи, заметки.

Он ответил нет. (Оживут единицы, а сколькие в зиму замерзли.)

Воинственная Нинель Николаевна предложила както в случайном разговоре свой кинообраз—тоже, впрочем, уловимый. Время — средневековье. Ночь после битвы. Ночь лишь для пущей образности: ночь придает колорит холмам, полянам да и самому блужданью раненых по этим темным холмам и полянам; блужданье отставших и уцелевших; ищут своих. Едва намечается утро. Утро какого-нибудь 1128 года.

Зари еще нет. Опустевшее поле. Появляются два дружинника. Потом еще один. Потерявшиеся после поражения, они кое-как сошлись на холме. Развели костер. Но еще не успели к ним подойти другие, как они у первого же общего костра ссорятся... Они начинают выяс-

нять. Ты, мол, в сражении копье потерял. А ты вообще слишком прятал за щит свое красивое лицо. (О незабвенный Чичиусов-Чимиусов!) А ты, мол, робел. А ты знамя выронил. И так далее. Взаимные упреки переходят в брань. В довершение они кричат, что из-за тебя, мол, и проиграли. Плюют друг на друга. И в гневе расходятся. Этот — туда. Другой — туда. А третий — и вовсе куда-то. Ищут своих, ночь; зари еще нет.

Как хорош и как человечен и, возможно, как пошл был бы рассказ, где Геннадий Павлович приходил бы к нам в семью ужинать раз в неделю, скажем по воскресеньям или по субботам, когда и Аня может посидеть с нами за чаем допоздна.

Мы бы ужинали и говорили.

Однако у Геннадия Павловича нет ни малейшей тяги бывать в семье, в чьей бы то ни было.

Ему думается, что если он привяжется к какой-то семье, это уже пахнет финалом, концом, пахнет развязкой и судьбой приживальщика, и он не дает своему сердцу никуда приткнуться, прижиться, быть может, даже и зная, что сердце мягкое и что оно тут же войдет, вживется в приживальческую роль. Он пошутил однажды, что хочет как можно дольше остаться в предпоследнем акте своей драмы. Более того, сделать предпоследний акт последним.

А может быть, он ничего такого не хочет, и все это домыслы, а, в сущности, его жизнь — это его жизнь. Он сам по себе, без возможности что-либо менять. А мы с Аней сами по себе. И никто ничего не хочет, не может.

Мог быть такой вот *нерассказ.*

И такой вот *неразговор,* когда Нинель Николаевна замыкается в себе. Сидит рядом, но ее нет.

Я пробую понять, достучаться. Произношу слова, которые век за веком излучают все еще свет, даже надежду.

Спрашиваю:

— Обидно было?

— Да.

Голоса наши звучат ровно, на одной ноте.

Титры в конце фильма, где уже завершились судьбы тех, киношных разведчиков, которые так и не нашли, не узнали друг друга, а их полурыбки от времени напрочь стерлись и стали похожи на огрызки карандашей. (Посеребрение сошло — есть темный, тусклый предмет, обломок, который непонятно зачем удерживается еще в кармане.)

Разведчик и разведчица — порознь — постарели и живут, не смирившиеся и в то же время смирившиеся с окружением иных людей. Их не интересуют речи премьеров. Их уже не интересует политика. Они просто живут. Они стоят в очереди. Они покупают кефир, хлеб.

Сильно постаревшая Нинель Николаевна приезжает однажды летом в свой Пятигорск; вот она ходит по парку или вокруг Машука, вспоминая былые годы и смаргивая слезы в счет ушедшей, утекшей жизни. Солнце мягко. Прогулка прекрасна. День удался. Нинель Николаевна возвращается к нарзанному источнику, подставляет свой стакан, и в стакан сочится целебная вода — и это, допустим, капают некие слезы, *слезы неузнавания*... и как раз тут шаги. Кто-то приближается к источнику с другой стороны. (Геннадий Павлович, как известно, в отпуск никуда не ездит, но вдруг же и его однажды угораздит.) И вот они оба — старики, и я их вижу: поблекшие, седенькие, сильно сдавшие, подходят к нарзанной галерее в общей толпе, но с разных сторон. Подошли. Они в шаге друг от друга.

Им будет, скажем, тогда уже под семьдесят.

Далее психология: беспокоит что-то Нинель Николаевну, *что-то* неясно беспокоит ее, и, хотя ждать ей у источника нечего и некого, Нинель Николаевна почему-то ждет. Пьет медленно. Наконец уходит в задумчивости. Тут же (почти одновременно, но все-таки полуминутой спустя) у нарзанного источника стоит Геннадий Павлович (белоголовый, старый, щурящийся), который, конечно же, лечится без охоты и к источнику ходит редко, лишь иногда и, как он сам говорит, исключительно *из ройного чувства.* («То бишь из стадного?!» «Из ройного!» — настаивает на своем и даже сердится старенький Геннадий Павлович. Рой для него — на старости лет — слово уже совершенно возвышенное, почти святое; пчела мудра; архитектура сотовых перегородок безукоризненна.) Он приходит пить нарзан, только чтобы побыть, потолкаться с людьми или когда уж совсем скучно. Он сохранил ум. Ничуть не верящий в исцеление от своих

стариковских болезней, он, вероятно, приведен сюда соседом по санаторской комнате, напарником, тоже седеньким, беленьким старичком, однако полным энтузиазма и веры в лечение водами.

Геннадий Павлович постоял, выпил теплой отвратной водицы, поморщился и неожиданно тоже ощутил, что его *что-то* беспокоит и смущает — но что? — уж едва ли та старушонка, что только что отошла от источника, разумеется, не она, но ведь что-то же его беспокоит, томит, и он вновь подумал—что?—и еще раз поморщился, вспомнив вкус теплой воды. С тоской и с некоторым даже омерзением оглянулся Геннадий Павлович на своего сотоварища, на беленького старичка (который нарзан боготворил, но также ценил и целебный серный источник). Тот медленно, благоговейно подносил наполненный стакан ко рту. Старичок как старичок. И вновь Геннадий Павлович отметил свое смутное беспокойство, да что ж это в самом деле?

Оглядев незнакомые лица, тоскуя, он ушел.

Можно представить себе этакую сентиментальную неоднократность их встреч. Скажем, три или четыре раза, подходя случайно к источнику в один час, он и она едва не узнавали друг друга в лицо, и испытывали оба неясное смущение духа. Этакие качели в течение всего сезона: он подошел — но она уже ушла; она подошла — он ушел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прочитав на жэковском щите объявление, Нинель Николаевна стала было ходить в только что организовавшуюся группу здоровья, где познакомилась с местным йогом и его системой. Она хотела занять себя, может быть, увлечься, но приобщение не давалось, а причудливую гимнастику она делала слишком яростно, жестко, словно и тут мучилась укорами совести, так что кроткий йог беспрестанно советовал ей себя и свои порывы сдерживать. Скоро медитативная расслабленность ей прискучила, руки затосковали по спицам. Она перестала туда ходить. В сущности, моду не приобрели, моду позволили. Тем более что зал посещала в основном молодежь, и Нинель Николаевна с каждым разом ви-

дела отраженное в чужих, в холодных глазах, как ей казалось, увядающее свое тело. Кажется, что молодые глаза, пробегая по залу, стараются на тебя не наткнуться, увядание подчеркивалось, как-никак скоро пятьдесят, Игорь, сорок с лишним, и не говори, пожалуйста, что для женщины это самый расцвет.

У них на работе одна женщина, старший научный сотрудник, принесла однажды своего попугая — показать, порадовать. И правда, всем уставшим к концу дня сослуживцам замечательный попугай советовал:

— Дерррр-жи спину пр-рррямо!

Хозяйка же называла его ласково: «Ромаша, птичка моя!..» — что всех умиляло. Когда же она, старший научный сотрудник, к примеру, хохотала, смеялась, маленький ее попугай начинал волноваться: он подлетал совсем близко и заглядывал ей в рот, вероятно, не понимая и доискиваясь причины столь своеобразных звуков смеха, — он зависал в воздухе над ее смеюшимся ртом, бил крылышками и смотрел, смотрел. А дома, рассказывала старший научный сотрудник, попугайчик моется в обычной струе воды из-под крана, подставляя то крыло, то тельце, то голову, — а в обед, представьте, подлетев к столу, он вдруг садится на самый кончик вилки к хозяйке или к ее мужу и, легкий, крошечный, покачиваясь на вилке, говорит им:

— Р-ррромаша... птичка моя.

С ней, как, впрочем, и с другими женщинами и мужчинами отдела, Нинель Николаевна была в известных натянутых отношениях, а жаль — хотелось к ней подойти, поинтересоваться, как попугая можно достать, где и за какую цену. Впрочем, Игорь, я буду бояться, что птичка вылетит в фортку, они же гибнут на воле, это известно...

Казалось, исчез навсегда, однако по весне Геннадий Павлович, возвращаясь как-то с работы, вновь увидел своего кота, выскочившего из подвала дома, что напротив. (Глаза у Вовы изжелта-янтарные. Теперь это могучий красавец кот с броскими мужскими достоинствами.) Там, на солнечной стороне дома, на молодой весенней траве сидели кошки, выгибали спины коты. Вова полинял, но был крепок, глаза его горели неукротимо.

— Вова, — позвал Геннадий Павлович.

И черный кот с белым галстушком оглянулся — а-а, это ты, хозяин, нет, нет, нет, сейчас мне некогда: весна!..

В молодости Геннадий Павлович дал какому-то негодяю по физиономии, что также вошло в легенды тех лет,—он сделал это достойно, притом нимало не думая о возможных неприятных последствиях. Сейчас суть случившегося почти забылась, означая тем самым, конечно, не его забывчивость, а просто избыток таких или иных событий и поступков — известную наполненность той поры. Тем более в отношении интеллектуальных отступников он держался на высоте, и *ведь это было, было, я умел это, Игорь,* и почему же я так сник после, почему сник и поверил, что произносимые мной высокие слова — это только говорливость. А ведь слова — это *слова!* даже если их осмеивают и стараются принизить, это *слова!* — (весна действует) — Геннадий Павлович начинает восклицать, глаза его горят и делаются неукротимыми, как у Вовы. Но лишь на миг.

Есть в детстве плоский овражек, и в овражке — неторопливая речушка-ручей, с красноватыми, ржавыми валунами, полуспрятанными под водой. И телега, запряженная парой, которой правила женщина, так и не оглянувшаяся. Пересекая речку, женщина раз и другой хлестнула лошадей перед подъемом — лошади наподдали и дружно, не теряя скорости, а даже и наращивая, лихо вынесли на пригорок. Затем лошади и телега, и с ними женщина, державшая в левой вожжи, а в правой короткий кнут, скрылись из вида. А когда пыль рассеялась, я увидел, что в речушке лежит мужчина. Он и раньше там лежал, но я его не видел.

Побитый в драке, он почему-то ушел далеко, переходил речку, упал и ударился затылком о гладкие красноватые камни; он так и остался лежать в воде, раскинув ноги в хромовых, тонкой кожи сапогах. Когда я, городской мальчик семи лет, подошел ближе, он постанывал, просил пить. Он лежал затылком в воде, лицо было наружу, так что вода обтекала его лицо с двух сторон, несильно и негромко журча. Вероятно, через боль и смутное сознание он ток воды слышал и, лежа в речке, просил: «Пить... Пить... Пить...» — я (помню) подошел ближе.

Мое детство навязчиво, но ведь навязчиво и все другое. (Однажды вдруг посуровев, Нина ответила мне, что есть только юность и что ей согласиться с чьим-либо детством — значит себя уступить или приуменьшить.)

Не поступаясь детством, не предлагая его в обмен, я все же жалею, что у меня не было юности.

Был некто Л. среди однокурсников Геннадия Павловича; как и многие вокруг, Л. тоже был *опрокинут в юность,* однако в юность не боевую, не воинственную и не реформаторскую, а в юность как бы весьма старомодную и, в сущности, сводящуюся к любви. Настя или, может быть, Надя, пламенная, студенческая любовь Л., на третьем, что ли, курсе заболела, учиться не смогла и уехала, вернулась к себе в провинцию, где и умерла. А Л. остался. Этот Л. продолжал говорить о ней и, бесконечно рассуждающий о любви к умершей, о нетленной ее памяти, казался в те времена карикатурой. «Мы не всё понимали тогда, — рассказывал Геннадий Павлович. — Огромность смерти казалась особенно неуместной».

Дома Нинель Николаевна иногда подходит к шкафу и как бы рассеянно вынимает оттуда свой девичий портрет, фото, где ей семнадцать лет, в округленной, овальной рамке. Она может долго и без всяких таких размышлений или слов держать портретик в руках: с провинциальной фотографии на нее смотрят боевые, несколько вызывающие серо-голубые глаза, к которым подходят и хорошо скрепленные губы. Но боевитости наперекор лицо окаймлено неожиданно безмятежными и совсем светлыми детскими локонами. И ясно, что это лицо — личико совсем маленькой девочки, с гладкой кожей и детским цельным прочерком рта, с локонами, за которыми далее, как продолжение в охвате пространства, овальная и тоже светлая резная рамка под старину. Нинель Николаевна утверждает, что ничего особенного при созерцании фотографии она не испытывает: только смотрит. Тут есть чувственная пауза. (Нереализуемый переброс чувства из одного возраста в другой.) Но что-то она усваивает таким молчанием — саму себя? Иногда юное лицо ее пугает, потому что на этом вот, с

ладонь, пространстве фотографии ей слышатся вдруг, как она уверяет, стуки маленького, напористого сердчишка, но, в сущности, робкого: да, да, боевитого сердца, но за боевитостью которого уже и тогда не прослушивалось чего-то особенного, кроме обычной мольбы недолго, невечно длящейся человеческой жизни.

Над дверью квартиры Нинели Николаевны (чуть левее, если смотреть от лифта) есть этакое небольшое пятно, желтоватое и похожее по форме на карту Австралии: след давних ремонтных работ. Но оказалось, что такой же след есть этажом выше. И, выскочив однажды вечером из лифта на том этаже, я мельком увидел желтую, привычную мне Австралию, нажал звонок, стандартный и также привычный, и вот на пороге за открывшейся дверью стояли два старых незнакомых мне человека, старик и старушка, а Нинель Николаевны не было. Умерла. Во мне замерло, а затем екнуло с совершенно непредвиденной болезненной силой: я не был у Нины год или около. А старик и старушка на тихие мои расспросы, у *меня упал голос,* отвечали, что ничего о жилице, которая здесь жила до них, не знают, нет, никакой Нинели Николаевны не знают, полтора года как въехали. Они говорили, а я все еще был пристукнутый и непонимающий: разумеется, где год, там и полтора, кто и как считает — быть может, я у нее не был уже больше года?! Словом, я тупо стоял у порога и не пытался переступить, а они, старик и старушка, стояли по ту сторону порога и, в общем, тоже не приглашали войти, а только вежливо и даже чуть опасливо объясняли, что не знали и не знают они никакой жилицы. Минуты три или, может быть, пять минут Нина была для меня мертвой. И только после я перевел глаза на номер их квартиры, на тусклый кругляк с цифрами.

Конечно, я знаю, что Нинель Николаевна следит за собой и что она всегда худощава, стройна и что она как бы не стареющая в своей полустарости. Но существует некое второе зрение, не вполне данное мне, и, быть может, тем, вторым зрением видно, что она сдает, что тело ее худеет слишком.

— Что ты меня разглядываешь? — говорит Нина и легким движением руки как бы отряхивает с плеч прилипшие там несуществующие пылинки. И плечи становятся еще изящнее — и будто навсегда изящны! Она

улыбается. И я успокаиваю себя: ведь ничем не больна; и ведь в форме! — в сущности, она законсервирована, а такие живут и живут. Но что-то во мне опять пугающе екает, как в ту минуту, когда дверь открылась и на пороге, по ту его сторону, оказались старик и старушка, *вдвоем они, что ли, открывают свои засовы* — они там стояли, двое, и недоуменно глядели. А сзади выглядывал мальчишка, вероятно, внук.

(Откроют мне однажды дверь — спросят: а кто вы? и я узнаю, что Нинели Николаевны больше нет. Я переспрошу, уточню — и мне обстоятельно ответят. И тогда я уйду. Я не закурю сразу на лестничной клетке, под желтоватым пятном на стене, чтобы не уподобляться кинокретину; я не выпью так же сразу водки на ближайшем углу, у гастронома. Я просто буду идти, шагать — я выберусь на набережную Москвы-реки и буду долго-долго идти по набережной против течения, с тем чтобы вода уносила Нину куда-то мне за спину, все дальше и дальше.)

...будет похоже на свободу. Я не буду в полгода раз приходить к ней, ни вздрагивать иногда ночью в страхе за незакрытый газ, ни покупать ей кофе, ни даже думать о ней. Труд быть, и труд не быть. Не буду больше представителем туповатых и практичных людей нашего времени, которые вытеснили ее из жизни (которые не дали ей настоящего и не дали будущего, оставив лишь прошлое в виде прекрасной юности, которая все дальше и дальше убегает за спину, как вода, если идешь вверх против течения по набережной.) Перестану быть воплощением успешного контакта с жизнью. Перестану, подыгрывая ей, говорить иногда заведомо заземленно и перестану про деньги. Что еще? Не стану похваливать ее любимый театр «Современник» поры его расцвета (и так тяжело волочить его в контексте). И романы тех лет, возможно, упоминать не стану. И вообще — мир разомкнется и сомкнется как-то наново. Стану ли я беднее? или богаче?.. стану ли на сколько-то несчастнее, когда пойму, что Нины нет, когда прорвется подспудная напряженность многих лет и когда я, пожалуй, банально раз и другой вытру слезы, хотя совсем не исключено *при всех таких мыслях,* что Нинель Николаевна меня переживет, и переживет намного, как это часто делают женщины против мужчин.

Нинель Николаевна не увидит того придуманного ею человека, который каким-то образом пригласил бы ее поговорить с нынешними молодыми, мол, так уместно сейчас рассказать о пришедшем времени. Под каким соусом? Да под любым: идеалы наши и мы. Мы и наши идеалы. В молодости, в их общей молодости пятидесятых — шестидесятых годов она входила в самую активную студенческую группу, занимавшуюся до поры пропагандой наиболее талантливых спектаклей, книг, фильмов — ах, так? ну и чудесно! ну вот и расскажите нашим молодым — время пришло, пусть сравнят! Кстати, так легко давшееся чувство освобожденности! Знаете, ничто так не полезно, как сравнение, очень-очень вас прошу, Нинель Николаевна. Да, да, мы назначим удобный для вас день. Да, да, можем заехать на машине. На метро?.. Пусть на метро. Как хотите и когда хотите.

Не представляю себе рассказа, в котором мы оба доживаем до старости в обычном ее варианте, и много-много лет спустя (столько лет спустя, что и не дожить, не докарабкаться ни при каких чудесах медицины и самоограничениях) я прихожу сюда стариком, дверь мне открывает старушка Нина, — мы оба ахаем, и она, как в некие прощающие всё и всех времена, говорит: Игорь, мы никто и ничто, мы ничего не выразители, мы просто люди, мы обычные люди, и мы обычно доживаем свою жизнь, *старики в автобусах бывают сварливы и невыносимы,* но мы терпимы, мы, допустим, хорошие старики, садись к столу, продолжает Нина, мол, замечательно, что ты пришел, ты и я — мы же просто люди, и это так неожиданно хорошо, так чудесно. Как твои ноги, а как почки, спросит она, а я заговорю о ее, допустим, гастритном желудке и иногда ноющих суставах, *сейчас она этих разговоров не выносит,* на что она, улыбнувшись, заведет затем о погоде, *сейчас я этого не выношу,* да, да, потекут те самые, тихие и сумеречные разговоры, общение, когда все-таки детство пересилило и зрелую нашу жизнь, и героическую юность, и все прочее, пересилило и на витке совместилось со старостью, совпало, сомкнулось, сближая самых разных людей — и друг с другом, и с надвигающейся вечностью, хотя уже сейчас, кажется, готов я к расслабленному разговору двух стариков, *мне только научиться о погоде — в сущности не так много,* но вот она-то не готова.

Не могло быть и такого рассказа, что она вышла замуж и что однажды я позвонил в дверь, а там, за порогом, их двое: Нинель Николаевна, а за ней или с ней рядом маячит некто седоволосый, и видно, что он уж здесь законный и свой. И что приглашают войти, проводят в комнаты, и что седоволосый мужчина, знакомясь, без особой охоты жмет мне руку, подозревая, хотя бы и вяло, хотя бы и с ленцой, что на этой самой тахте я когда-то пробовал заночевать, *ох уж эти старые друзья,* а все же я прохожу, сажусь за стол, и втроем мы тонко заплетаем наш разговор, веселеем, и седоволосый мужчина сам помалу вплетается, нельзя же быть невежливым, и нехорошо быть букой, и мы говорим, слово за слово добрея и подливая друг другу кофе, а то и винца.

Юмор бы тоже не выручил; в том смысле, что седоволосый ее мужчина оказался бы вовсе не интеллектуалом и не утонченным театралом, а, скажем, седым озорным мужиком (с юморком под простоту), так что, даже отчасти ревнуя, простил бы мне предполагаемый здесь хоть однажды ночлег: мол, конечно, не сладко, а все-таки этот Игорь Петрович — мужик свой, нормальный и из нашего, кажется, района.

— ...Я для тех ее старых знакомых, кто из нашего района, скидку делаю, ха-ха-ха-ха-ха. Люблю свой район. И живу здесь совсем неподалеку — *отсюда, между прочим, видно мое окно,* а Нину я так и увидел впервые, когда курил: люблю покурить на балконе...

— Может, покурим? — скажу я, еще более роднясь и сближаясь.

— С удовольствием. Но только, ха-ха-ха-ха, на лестничной клетке — Нина не выносит дыма.

Не могло быть такого.

Он лежал в речушке лицом кверху, его ноги, в хромовых сапогах, были почти на сухом, а вот голова в воде — и было так, что вода, небольшая, но быстрая, обтекала, оббегала с обеих сторон его лицо. В россыпь лежали поросшие красным мхом камни, просвечивающие сквозь воду: он просил: «Пить... Пить... Пить...» — а речушка почти равнодушно журчала, бежала своим путем.

Она и сейчас там бежит.

Геннадия Павловича пригласил вдруг на свою свадьбу толстенький сослуживец из смежного отдела Брагин, который был совсем забыт, но который когда-то, расплывчато давно ездил с Геннадием Павловичем в командировку. Теперь Борис Никитович Брагин женился заново: он женился, что называется, по любви, притом на совсем молоденькой женщине.

Брагин был сед, был он ровесник Геннадия Павловича — да и другие человек восемь или девять, приглашенные на торжество, были пятидесятилетние с лишним мужчины; и кто-то из них, из приглашенных, шутейно сказал Геннадию Павловичу, что тот выглядит свежее других и тоже мог бы жениться хоть завтра. Затем более грубо, после нескольких стопок водки, он повторил, тыча вилкой, что Геннадий Павлович совсем неплохо сохранился и похож на человека, прожившего жизнь в консервной банке рядом с вон той горбушей. Понравилось. Посмеялись. Все они были давно уж отцы и деды, с трех-, пяти- или десятилетними внуками, однако же бодрые, шумные и весьма молодящиеся деды, соленые, когда о женщинах и о водке, грубоватые, когда о делах, о политике, о машинах и гаражах. Геннадий Павлович интеллигентно отшутился, даже и удачно, остро отшутился — опять все посмеялись. Но и смех их, и оживление, и рискованные рассказцы в полушепот так или иначе оттеснялись, сдерживались, становились скромнее от присутствия здесь молоденького и очаровательного существа с тонкой шейкой — жены Брагина.

Не только Геннадия Павловича, но и остальных старых барбосов задела за живое и взволновала совсем молоденькая женщина — то, как она смущалась, и как протягивала руку знакомясь, и как вновь и вновь обносила вином шумливых своих гостей. Образ не шел из головы: такая она сразу оказалась *жена,* такая юная и одновременно понятная в своей скромной женственности, в назначенности именно что для домашней, для семейной любви.

Геннадий Павлович был потрясен.

Он, конечно, ничем себя не выдал; он в меру пил, поздравил, чинно преподнес приготовленный подарок, однако уж прошло несколько дней, прошла неделя и другая, а он думал все о том же: да, да, это чудо, и как хорошо, что он чудо увидел, и, вероятно, это какой-то особый женский тип — и, конечно же, подобный тип женщины одинокому человеку и следовало бы искать и,

обретя цель, при неудачах не падать духом. (Брагин вовсе не единичен, у целого ряда сверстников идут сейчас полосой вторые, а то и третьи свадьбы; разводятся, оставляют семью, женятся на молоденьких и именно на рубеже или чуть за рубежом пятидесяти лет...) Всякая избирательность еще более подчеркивает самоизоляцию, но пусть, пусть! Как все одинокие мужчины, Геннадий Павлович был склонен к теоретизированию отношений, так что теперь он не сомневался, что в поиске не следует ничем руководствоваться, кроме главного, — да, да, надо именно *типа* держаться: искать и пробовать удачу среди похожих на нее, на ту, что он видел и узнал, искать среди женщин, кто вот так же мил, кто вот так же открыт и ясен и кто уже с молодости — жена.

Робеющий и стесняющийся своего столь активного замысла (замысел казался ему слишком практичным), Геннадий Павлович тем не менее уже посматривал невольно по сторонам; высматривал в метро, на скамейках весенних скверов и даже в коридорах своего суетливого НИИ. Был май или июнь, что, в общем, способствовало высматриванию. Но и волновало излишне, отчего Геннадий Павлович забегал мыслью сильно вперед: он уже думал о том, как не станет ни в чем ее ограничивать, он не тупица; он будет с ней всюду ездить, покажет юг и красивые старинные северные города — он же взрослый, поживший человек, за ним опыт.

Одновременно и она, молодая, будет его воспитывать, учить этому дисгармоничному чувству современности, заземленному вкусу, мимолетностям, пестрой эстетике песенных ансамблей — его даже подхлестнуло: ах, как замечательно все это будет, если будет!.. А дети? Если мысль о молодой жене была ему теперь словно бы кем-то подсказана, была свежа и определенна, мысль о будущем ребенке оставалась глуха, умозрительна. Но ведь все — в свой срок, и Геннадий Павлович пока попросту подавил этот наметившийся вздох неготовности, вздох неотцовства, бесследности на земле.

Милых, юных и добрых так скоро разбирают в жены, что, по сути дела, их в природе нет, их отыскивают и хватают быстрыми, почти неуловимыми движениями. На днях в прозаической очереди, в гастрономе, прости, Игорь, за сравнение, подошел я к цыплятам — куплю мол. Мой

глаз еще только скользнул по тележке с насыпанными, наваленными горой цыплятами, а опытная хозяйка, красномордая, плечистая, с торчащим пузом — уже хвать! хвать! хвать! — и трех цыплят выхватила; и с каждым ее хватаньем я только и успевал заметить, что надо было мне именно эту цыпку, или эту, или ту — молниеносный был выхват, притом выхват избирательный и как раз тех самых, лучших. Только-только посожалел, как еще одна втиснувшаяся хозяйка повторила вновь, уже дважды, свое — хвать! хвать!..— и вновь я, разумеется, увидел, что из остававшихся это были те самые, которых мне следовало поскорее брать... и наконец, еще подошла хозяйка и тоже хваткая, после чего я надолго остался стоять возле тележки, медленно ощупывая тушки, переворачивая их, притом недовольно ворча и неизвестно кому выговаривая, мол, разве это цыплята, и синие, и какие-то оттаявшие, и вообще вид не тот.

— ...У тебя, Игорь, нет ли знакомой? — я хочу сказать — молодой?.. Бывает же так, что молодая девушка и совсем одна.

— Такой нет.

— А у жены — вдруг у нее на работе есть подруги?

Я объяснил довольно прямо: мол, моя жена, Геннадий Павлович, не захочет знакомить вас с молоденькой. Щепетильна.

— Ну да. Ну да. Я понял... Это даже справедливо,— смутившийся Геннадий Павлович тут же и признал, закивал.

Да, да, он понимает, он хорошо понимает, что молоденьких, если уж так захотелось жениться, надо находить самому и добиваться самому. Мало ли, Игорь, что выйдет, — а после придется твоей Ане это переживать, нести крест ответственности. И ведь у молодой девушки есть мать и отец — как им в глаза смотреть? Нет, нет, я хорошо это понимаю. Это же не цыплят выбирать.

Он нашел: она работала в одном из корпусов смежной организации — в многоэтажной коробке из пластика, стекла и бетона. Деликатный Геннадий Павлович уже старался попадаться молодой женщине на глаза, дальше этого, однако, дело не шло. Он, правда, собирался пригласить ее в концерт музыки Новой венской

школы, у него уж были два хороших билета, но он колебался: не покажется ли старомодно? и не станет ли с самого начала это ошибкой? (Билеты так и пропали.) С опасениями и не сразу решился он наконец на разговор. Да, молодая женщина была удивлена. Да, смутилась. Но она оказалась спокойной, вдумчивой, и Геннадий Павлович решил, что волненья волненьями, но, кажется, ему все-таки посчастливилось. Он даже успел помечтать. Сердце у него билось, и он запинался, когда с ней говорил. Он удачно и очень тонко, как ему казалось, ее высмотрел — сумел подойти, познакомиться.

Они сидели на скамье в сквере, и Геннадий Павлович рассказывал о себе неплохо (над собой же, старым, подсмеивался, шутил, чувствовал ее интерес), она согласилась и на вторую столь же исповедально-разговорную встречу, но во второй встрече — здесь же, на скамейке, в длящемся свидании — Геннадий Павлович раскрылся излишне и рассказал ей вдруг о свадьбе, куда пригласили его не столько участником, сколько статистом застолья, рассказал о молоденькой жене, об очаровании ее, а также о возникшем тогда же желании жениться. Раскрыв себя слишком, Геннадий Павлович ее испугал — неизвестно чем, но испугал. Ее тогда же что-то встревожило, хотя слушала она его участливо и понимающе переспрашивала. Глаза ее погрустнели. В конце свидания она уже молчала, как-то замкнувшись и сжав губки. Они побродили по аллеям, где-то поужинали, и даже с вином, но все как-то молча. В третий раз она не пришла — адреса же ее или телефона он не знал.

Геннадий Павлович ожидал, вновь выглядывал ее возле корпуса смежников и до, и после работы, но неудачно: вероятно, она его избегала. Он как-то сумел войти внутрь их огромного корпуса, надеясь на случай, но и там не встретил. Прошла неделя. Он не обманывал себя тем, что она ушла в отпуск или заболела. Он уже понял. Но однажды он все-таки увидел ее среди идущих с работы, увидел вдалеке — он прибавил тут же шагу и нагнал. Молодая, она шла быстро, была на виду, от него в шагах в пятнадцати, не больше, но, когда он уже собирался с ней поравняться, вдруг свернула и вошла внутрь приземистого здания, оказавшегося бассейном ведомственной организации. Пришлось суетиться, спрашивать у входа, что и как, — впрочем, за плату бассейн был в эти часы доступен всем желающим. С ко-

лотящимся сердцем, неизвестно на что надеясь, Геннадий Павлович купил в будочке первые попавшиеся, ужасающего вида, красные плавки, шапочку микроцефала, полотенце и, обрядившийся, кинулся в воду, чтобы добраться наконец до сектора «Д», где плавали. В воде (белотелый, давно не загоравший и застыдившийся вдруг своего возраста) он отыскал ее среди плавающих — приблизиться все же не решался. Бассейн парил. Геннадий Павлович почти сразу увидел их, ее с каким-то парнем. Через клочки тумана он то отплывал в сторону, то вновь медленно приближался к ним, словно бы по системе зигзагообразного подплывания, но неожиданно оказался совсем рядом и увидел, на расстоянии чуть больше вытянутой руки, что это не они. Да, ошибка. Правильнее сказать — *не она.* (Теперь облака испарений видеть не мешали. Та, за кем торопясь он шел следом, была лишь похожа на нее, так что и шел, и плыл он за некоею похожей миловидной женщиной: шел за *типом?)* Он вдруг устал. А бассейн все парил, вода в просветах была спокойно голубой. Для полноты недоставало только гор вдалеке. Впав в покой, Геннадий Павлович покачивался на протянутых поплавках. Затем он вяло проплыл туда и обратно, ожидая конца времени, отведенного для плавания группы, с какой он вошел в воду. Да, на скамейке он ее тогда напугал: слишком скоро заговорил он о женитьбе, и молодая женщина, конечно, удивилась, а от удивления до настороженности и испуга один лишь шаг. (Не заговори он о главном и продолжай простенько вести интеллигентные разговоры, а даже и слегка ловеласничая, он мог, пожалуй, удержать ее. Она бы сама, быть может, мало-помалу подумывала о замужестве, боясь, как все молоденькие, увлечься и быть обманутой. Ошибся. Да, теперь только рефлексировать...)

Геннадий Павлович подолгу стоял в те дни в очередях, чтобы купить те или иные продукты, не слишком ему нужные. Покупал одно, другое, хотя есть не хотелось: он просто жался к людям. Сделав покупки, он становился в очередь заново и покупал хлеб, про который, как оказалось, забыл: он все еще пребывал в своей неудаче, в той заслоненности пеленой пара, что поднимался за облачком облачко над гладью синеватого бассейна.

После бега по улице и того плаванья цифры давления, как он и ожидал, прыгнули и держались высоко не-

сколько дней. Сердце побаливало не пугающе, но неприятно. Груз лет ощущался к вечеру так, что Геннадий Павлович, придя с работы, сразу валился в постель. Он бы, пожалуй, побюллетенил, но не хотел одиночества.

На работе, в комнате с двумя молодыми хамами, для которых он был Дублон, отживший свое, казалось все-таки лучше, чем дома: казалось теплее.

Вечерами он, как всегда, читал; курил одну за одной — он стал много курить.

Признак: его перестала интересовать улица — вдруг возникающая толпа людей, или ссора, или просто упавший человек. Не интересовали чьи-то разговоры, и Геннадий Павлович морщился, оттого что в автобусе, скажем, разговоры (особенно рассуждения) приходилось невольно слышать. Геннадий Павлович лишился и любопытства, простенького даже любопытства, так что ни на громко вещающего старикана, ни на группку молодежи с музыкой он равно не поднимает глаз, не смотрит из окна автобуса, что везет его на работу. А в метро Геннадий Павлович всегда читает — сидя ли, стоя ли, лишь бы читать.

Но, как оказалось, именно в эту пору следом за подавленностью нарастали новая вспышка сил и новое, может быть, последнее желание Геннадия Павловича угнаться за своей молодостью. (Подспудно прикапливала силы все та же мысль о рое, о том, что в ройности счастье и что одинокость Геннадия Павловича Голощекова — это своеобразная расплата за неполную реализацию себя в юности. Они, мол, Хворостенковы, в то давнее время так или иначе оробели, недовоплотили себя, и жизнь им в отместку постаралась обойти их стороной. Мысль о рое обернулась мыслью о биологической расплате за юность в дни старения. Нам надо было не только говорить, но и договорить свое! — а мы, когда нас одергивали, когда подводили под разнос, деликатно отходили в сторонку... и замолкали надолго. А как сейчас кстати было бы вернуть из времени силу нашей молодости, волю, напор, смелость и даже *удар кулака,* ах, Игорь, какие мы были тогда интеллигенты.)

«Один старикан предлагает замуж». «Да ну?» «Я так удивилась!..» И вот она рассказывала подружке, столь же юной, о том, как Геннадий Павлович сам же и напугал ее поспешностью своего желания и своего предло-

жения создать семью. «Смотри: вдруг он не в полном порядке? Обычно эти старички совсем не спешат жениться. С виду он как?» «Симпатичный». «Не нужен он тебе...» — отговаривала ее какая-нибудь подружка, милая крошка, когда они шли в кафе-мороженое кушать пломбирные шарики.

Он словно бы опален был тем образом и обликом — *типом*. Почему эти милые трогательные существа в текущей жизни незаметны и почему он, Геннадий Павлович, в повторяемости бытия видит их уже только в качестве жены? — да ведь тут обман, тут грандиозный обман, он теперь, пожалуй, всерьез станет думать, что милые эти существа где-то хорошо припрятаны и что их выкапывают из земли непосредственно перед свадьбой. Почему он не видит их в обычной жизни? где они?.. Он специально звонил Брагину тогда, после его свадьбы, и сначала о том о сем, а затем, отвердев в слове, спрашивал впрямую:

— А как вы впервые познакомились?.. А где?

Или:

— А что первое ты ей сказал? первые слова — какие? (Опереточные расспросы старого холостяка — да, да! А прибавь, что и зван на свадьбу был лишь потому, что одинок и что такой непременно придет, тогда как прежние многочисленные друзья-приятели от Брагина временно отвернулись. Друзья просто-напросто хотели переждать время и не хотели ссориться с прежней и оставленной женой Брагина, с постаревшей подругой, которая столько лет зазывала их на майские праздники, кормила, поила, делилась новостями и одалживала им и их женам деньги. Так что некого было звать — и не сидеть *же молодым* в ресторанном одиночестве!) «Смотри: вдруг твой дед не в полном порядке. Ни к чему он тебе...» — отговаривала и в конце концов отговорила ее какая-нибудь подружка, миловидная крошка, когда они шли в кафе кушать стылые пломбирные шарики, размазывая их ложечкой, и когда следом за ними тащились их юнцы с орущей магнитофонной коробкой через плечо.

В эти же дни Нинель Николаевна на улице столкнулась лицом к лицу с мужчиной, так что сначала оба они отпрянули и глянули даже гневно, а затем разом улыбнулись, узнав: «Ну, здравствуй!» — «Здравствуй, Нина! Вот не чаял!.. А ведь я живу в двух шагах

отсюда», — тогда-то и случилась та неожиданная встреча, когда давний знакомец (бывший ее однокурсник!), мужчина лет сорока пяти, несколько сдавший от времени, но веселый и вполне еще держащийся, зазвал ее, шедшую с работы, к себе домой. Квартира была обычна, скромна, и Нинель Николаевна просто, без натуги у них посидела. А полная, кажется, чуть отекшая женщина, жена однокурсника, за Нинелью Николаевной ухаживала и говорила: «В айве много железа, как и в яблоке, — поешьте, это полезно», — и так мило улыбалась, угощая.

А днями спустя, когда Нинель Николаевна шла по коридору, появившийся вдруг начальник (их моложавый начальник) остановил ее и упрекнул тем, что в рабочее время она не сидит на месте, он убежден, что сейчас, мол, она спешит по своим делам, если и вовсе не в магазин обуви. Это было несправедливо, обидно — это было даже смешно, но Нинель Николаевна не ответила. Снесла. Однако в конце рабочего дня неожиданно расплакалась.

Опыт говорил, что выговор — случайность, однако в боевитом сердце Нинели Николаевны уже поселилась известная в себе неуверенность. «Жаловаться высоким руководителям легко, и вы это умеете, а вот досидеть до положенного часа на работе вам трудно!» — в сердцах выговаривал ей начальник, возможно, вдруг вспомнивший на фоне тусклых трудолюбивых лиц своего отдела красавицу Валю, навсегда исчезнувшую.

Нинель Николаевна шла по улице и плакала.

Но шла она по той же улице; обиженная и в слезах, вспомнив о добром слове и о чае с айвовым вареньем, она захотела вновь зайти — да, да, хоть на минуту, на две! — и зашла! Она даже взбежала по лестнице, так торопилась рассказать и быть понятой... На этот раз бывший ее однокурсник был дома один, жена и взрослая дочь куда-то уехали, их допоздна не будет — тем не менее он как бы сразу понял ее обиду и оскорбленность; понял, откликнулся, и сказал слова, и дал ей таблетку от головной боли. Заплакав с новой, уже с радостной силой, Нинель Николаевна взахлеб рассказывала, и кто же поймет ее лучше, да, да, постарели лица, поредели волосы, но это же мы, это мы, и времени вопреки толика некончавшейся, непреходящей юности светилась в ее и в его глазах. Он дал ей таблетку от головной боли и принес воды, чтобы запить, уложил на

тахту, ухаживал, отчего она, человек одинокий и к ласке непривыкший, еще больше расплакалась; и почти тут же, под ее слезы, он оказался рядом и как-то стремнительно, умело и быстро добился ее близости, хоть она и успела его ударить. Вновь утешая, сбивчиво что-то говоря и дав ей еще минут пять полежать, поплакать, как ни в чем не бывало он принес ей еще одну таблетку от головной боли, еще воды. Нинель Николаевна встала, оттолкнула его руку и принесенную воду, быстро собралась. Она лишь на секунду оглянулась: глянула в его глаза, оттуда уже напрочь исчез тот горний свет и та толика юности, а взамен была лишь настороженная вороватость, беспокойство нечистых мыслей. Да улыбка. Она ушла молча. На улицу она вышла потрясенная, губы ее прыгали. Она вспомнила, что ведь пришла ему рассказать, пришла к нему с обидой на людей, куда меньшей, чем обида этих минут. Она шла по улице не видя. Осенний ветер сделался к вечеру порывист. Листья тащились, легко скребли по асфальту. Она шла по улице и ненавидела мужчин, всех, всех до единого; ей хотелось их заплевать, оскорблять их, бить, бить...

Геннадия Павловича теперь даже успокаивала и расслабляла обернувшаяся мысль о том, что кто-то женится по второму и по третьему разу, даст бог, и по четвертому, а ему, мол, не светит ни разу, и мстительный рой, воздавая, уже ничего не даст ему, не выделит, не отломит...

Бывший однокурсник, открывая ей дверь и проводя в комнату, сочувственно улыбался и с пониманием поддакивал, а в нужную минуту делал соответствующее гневное лицо — мол, начальники наши известные хамы! да разве не знаем мы, что они хамы и самодуры?! — и ей так хорошо, так тепло сделалось от обыкновенных сочувственных его слов, что она расплакалась, а после никак не кончающихся слез в глазах темнело, и голова кружилась — и как могла, могла ли она отказаться, когда он сказал: «Тебе сейчас надо полежать, Нинель... Обязательно полежи. Вот и ложись», — говорил ей бывший ее однокурсник, серьезный мужчина сорока пяти лет, солидный, с сильно поседевшими висками и с уже

малознакомым от времени лицом, в чертах которого, однако, угадывалась, узнавалась и чуть-чуть отсвечивала былым светом их юность. «Не хотелось мне у вас плакать...» «А поплачь. Поплачь, Нина... Жены нет, она бы, конечно, лучше тебе посочувствовала», — мягко улыбался он, и Нинель Николаевна согласилась, в точности так подумав о его жене — мол, добрая. Но теперь она думала о том, что неужели эта полная, чуточку отекшая, добрая женщина не дает ему счастья, а если дает, чего ему не хватает и откуда это вот грубое, мужское, скотское, что не умеет, не может (хуже — не хочет!) себя сдерживать, если подворачивается мало-мальская возможность, отчего на поверку они уже не люди.

Она ничем не спровоцировала, ни на полмизинца, ни помыслом, ни глазами. Одета строго, и в речи собранна, и ей нет нужды в себе копаться, чтобы найти что-то *такое* и, найдя, себя же (как это сейчас модно) отчасти обвинить. Запах сухого цветения? Возраст? — что ж, разве возраст женщины не становится ее защитой и порукой, вот разве что доверилась, плакала от обиды, но ведь и дети плачут — и пусть даже она прижалась к нему на миг и плакала, куда ж ей деться, ведь человек, ведь в глазах его была та частичка теплящейся их юности... и ведь знал, знал про ее одинокость!

Нинель Николаевна перебирала весь калейдоскоп его мелких движений — да, открыл окно, чтобы ей было больше воздуха, затем метнулся к телефону, не вызвать ли «скорую», — она, лежа на тахте, крикнула: «Не надо!..Не надо «скорую», — неужели простые, прямые слова могли как-то его подтолкнуть? Он тогда вновь пошел к окну, открыл, отвел еще больше уже отведенные створки окна, а вот шторы призакрыл, возможно, уже тут замысел был, ну хоть не замысел, но полузамысел уже скользнул в его мыслях... да, да он подходил к ней, и Нинель Николаевна заметила про шторы, но не поняла, а только подумала, что ж за походка у него стала нервная, пританцовывающая, или он боится ступать громко, но я же не сплю!.. Лежа, она совсем расслабилась, она вяло думала и не думала, а он уже шел к ней походкой определенной и знающей и выжидающей свою минуту, уже, может быть, приготовился — *знал,* и тогда это еще неблагороднее и подлее, чем если бы его вдруг, внезапно распалило соприкосновение с женским телом, когда он помогал ей расстегнуть блузку и рука наткнулась на ее грудь.

Увидев скамейку, она пошла к ней. Села. Мимо нее

шли люди (вечер как вечер), Нинель Николаевна сидела, стиснув на какой-то миг виски руками.

— Вам плохо? — спросила ее, приостановившись, молодая женщина.

Нинель Николаевна покачала головой, нет, нет, ей не плохо — вечер как вечер. Молодая женщина ушла.

Нинель Николаевна уже не плакала. И не думала. Скоро она поднялась со скамьи и пошла улицей по тротуару, затем по набережной Москвы-реки, по пути к дому, — на одной из остановок она сможет сесть в троллейбус, если захочет. Солнце садилось, но было не красное, а белое, осеннее. Люди шли к метро. И, конечно, по пути домой она увидела изгиб дороги и нависшую скалу, — внизу журчала быстрая горная река; в белом жарком зное навстречу Нинели Николаевне шел по тропе человек — молодой офицер прошлых войн, в эполетах; быть может, молодой человек не был красивым, но достойный, честный и с приятным легким металлом в голосе.

— Не плачьте, милая женщина, — сказал он. — Не надо плакать. Я вас прошу.

Она кивнула. Приблизившись, он предложил ей руку — он хотел ее проводить. Теперь они вместе спускались по тропе; шли не спеша. Шаг у него уверенный, крепкий. Она улыбнулась; вокруг нее не было теперь ни одного обидчика, ни подлеца: их всех как бы унесло, сдуло ветром. Солнце так приятно грело. Ветерок чуть шевелил траву.

Она сказала:

— Солнце садится.

— Нет-нет, Нина. Не волнуйтесь... Вечер не будет холодным.

За своим рабочим столом, задвинутая в глубине комнаты в нишу, Нинель Николаевна трудится над сметами молча и от всех отделенно: с ней даже можно не встречаться глазами. Но курцы и любители побалагурить помнят, что тишина обманчива и что их враг не дремлет. Когда Нина уйдет на пенсию, они, вероятно, неделю или две будут на радостях пить и со слезами на глазах поздравлять друг друга с ее уходом.

Только уборщица здоровается с ней приветливо, и Нинель Николаевна дарит ей шоколад на праздники и под Новый год.

И когда спустя время Геннадий Павлович увидел девушку на улице среди бела дня, он оказался настолько растерян, что лишился слов: как бы в насмешку, когда он уже покончил с беспокоящими мыслями, когда сник и смирился с тем, что *такие бывают уже только в загсе,* а на улице и в метро таких милых существ нет, как раз теперь он ее увидел — и именно возле станции метро стояла она, не торопилась, никого, в общем, не ждала и даже, кажется, скучала, рассеянно играя ремешком своей кожаной сумочки. И мало людей вокруг... Геннадий Павлович, обезоруженный ее существованием, был не в состоянии сделать шаг в ее сторону, не мог мягко и просто спросить, который час... хотя бы голос ее услышать. Ну, пусть ответит она грубовато, пусть ответит скучно или отвернется с умешкой — но разве можно бояться красоты? Минута давила на сердце. И тогда Геннадий Павлович отвернулся, ушел: он ушел, ничего не дожидаясь и не затевая. Сам все и закончил. (Ночью, засыпая, он некоторое время перебирал вяло и без всякой цели две-три остроты, подходящие для знакомства на улице, которые возникли только теперь и которые в былые времена могли, кажется, считаться удачными.)

Но на следующий день надвинулась зима, выпал первый снег, — и в это как раз утро, белое от снега, Геннадий Павлович увидел ее опять. Оказалось, что молодая женщина здесь не случайно и не одна: их было несколько. (Пять не то шесть лет назад закончившие вместе школу молодые женщины все еще не могли расстаться вполне и встречались теперь перед работой или после работы у станции метро: он увидел их и на другой день, и на третий.) Связанные легкими, беспечными дружескими отношениями, они, казалось, без конца смеялись. А Геннадий Павлович ненавязчиво ходил поодаль, курил, и ему было достаточно их просто видеть. Он вполне удовлетворялся знанием их ежедневного счастливого состояния (узнаванием счастья?). Он ничем себя не обнаруживал, так как мало ли кто и кого ждет у метро в часы пик. Он приходил теперь чуть раньше и, лишь дождавшись и посмотрев на них, как они собираются и как смеются, шел на работу.

От этих, в сущности, простеньких совпадений с ними по времени Геннадий Павлович мало-помалу сделался иным — он наблюдал, он любовался, а иногда, хотя и робко, загадывал, переменится ли и если переменится, то как, лицо той или этой, когда она будет не здесь, на

пятачке у метро, а будет сидеть за столом в звании молодой жены. На воображаемой картинке (черно-белая и словно бы рисованная тонким пером — гравюра) за свадебным столом с ней рядом сидел мужчина, достойный ее, красивый, яркий, но ведь иногда как запасной вариант (психологическое баловство, шутка!) с ней рядом можно было посадить кого-то, похожего на Геннадия Павловича. Можно было на миг сойти с ума и думать, что стайка на этой станции метро вьется именно вокруг него, хотя молодые женщины, как он прекрасно понимал, вились друг возле друга и своих дел — но тем более Геннадий Павлович был благодарен случаю. Ему было хорошо. Ему и работалось лучше! Г. П. Голощеков, начсектора, вдруг затеял переделать справочные таблицы в масштабе всего НИИ. Г. П. Голощеков не только вгонял в пот своих двух молодых подчиненных, но и просил у начотдела Птышкова кого-то себе для пользы *общего* дела. Шла зима.

Приглядываясь, Геннадий Павлович постепенно научился читать их лица, чем озабочены, чем взволнованы. Он прислушивался к новостям, которыми обменивались молодые женщины, наблюдал, как поглощают мороженое и как одна из них уже покуривает, при том что учит, такая нехорошая, дает пробовать другой; отчего та кашляет и все они смеются. Чаще всего — о фильмах; как раз американский обсуждали они, когда та, покуривающая, даже прикурила у Геннадия Павловича, а даже и *стрельнула в другой раз сигарету* — несомненно, лицо его было им уже привычно, знакомо. В те дни Геннадий Павлович очень энергично вставал ото сна. Принимал душ, брился, надевал ежедневно белоснежную сорочку и, насвистывая, а то и напевая вполголоса, шел на работу, думая вовсе не о работе, как и положено вдруг молодящемуся мужчине. Он уже особенно отметил себе ту, что хорошо и даже талантливо, вдохновенно рассказывала о фильмах: в шубке, в пушистой шапочке, с ямочками на порозовевших щеках, она удивительно счастливо смеялась. Пересказывая содержание, она столь бурно сопереживала, что, увлеченные, они тут же сговаривались идти вместе на расхваленный ею фильм, при том что она вскрикивала, что идет с ними, так как хотела бы смотреть еще и еще.

Пятнадцать — десять минут общения у метро — и вот молодые женщины разбегались, расходились по учреждениям, где предстояло день скучно или нескучно —

кто знает?! — работать. Пути расходились, юные женщины следовали в различных направлениях, размахивая сумочками и немного уже торопясь. Попривыкнувший к ним Геннадий Павлович вполне мог последовать за одной из них, по пути осторожно ее окликнуть, заговорить, а если на обратном пути (их снежные тропки на этом же пятачке у метро иногда вновь пересекались, чтобы теперь разойтись в направлении дома и ночлега), то есть если на пути с работы домой, то он мог, окликнув, и познакомиться с ней и как бы даже заботливо ее проводить.

Что он однажды и сделал. Он познакомился, он сумел не только сказать первое довольно робкое слово и заговорить с ней, но и разговориться, что оказалось в итоге для него несложным, а для нее достаточно приятным, так как было нескучно и провожающий — это все-таки провожающий, тем более что лицо его у метро ей уже примелькалось, было «своим». Геннадий Павлович не выбирал, а все же как-то нечаянно и само собой выбрал именно ту, что в шубке и в белой шапочке. Она так славно пересказывала фильмы, так славно улыбалась. Она — была! (Что все еще казалось невероятным.) Пожалуй, более других она подходила под тип милой, и доброй, и обаятельной, кстати сказать, не курила и от шуток заметно смущалась.

Познакомившись, он принялся ездить — провожать ее в Подмосковье, где она жила.

Кончилось плохо. Он съездил раза четыре, может быть, три — не больше. (Как раз в те дни он стал говорить о необходимости ответить за юность. Никто, мол, не оттеснил его, он сам дал себя оттеснить от жизни, от роя: да, да, поэтому сам и должен нести груз отстраненности. Он говорил вдруг громко, нажимно, так что образная его речь из высокой становилась высокопарной. Он говорил, что тени не теряют контура. Он говорил, что представляет себе лица, тысячи и тысячи лиц,— размытые временем, канувшие в никуда, в вечность, в Лету лица тех хворостенковых, которые не договорили свое. За них — не только за себя он теперь мучился.)

Возможно, он даже нравился той молоденькой женщине, что в шубке и в белой шапочке; ей нравились и отчасти льстили его солидность, внимательность и мягкая предупредительная речь, а также поседевшая и не

лишенная известной красоты крупная голова. Он хорошо одевался. Он помолодел. Однако произошел сбой.

Для бодрости и для относительного, вполне скромного суперменства Геннадий Павлович стал носить с собой, в кармане пальто, стеклянную фляжку с дагестанским коньяком, чтобы глотком-другим придать свежую силу и запал разговору. После проводов, ночью, когда Геннадий Павлович с этой фляжкой в кармане уже возвращался домой, какие-то парни, сговорившись, выбросили его из электрички на полном ходу. Он был излишне говорлив, и, быть может, он сам дерзил и насмешничал, полез к ним, но, быть может, и парни были из той известной породы молодых волков, что смелы, и держатся стаей, и особенно же привязываются к одиноким. Что-то там произошло. Он уже не помнил, не хотел помнить. Есть такие двери, заклинивающиеся в электропоездах, и есть такие бедовые, волчьей закваски парни, которым ночью в пустой электричке лучше ничего не доказывать, не грозить и которые без труда умеют найти в вагоне заклинивающуюся дверь или даже заклинить ее на недолгое, нужное им время. Заклинили. Ударили по голове — подтащили к тамбуру и выбросили. Втроем или вчетвером.

Он был сильно разбит. С множественными переломами он долго лежал в больнице. А когда Геннадий Павлович вышел из огороженного мира светлых больничных палат, прошло время, и он даже не попытался к ней съездить хотя бы однажды, к той молоденькой женщине в шубке и в белой шапочке; и на выходе из метро, на пятачке, он также по пути на работу больше не выглядывал ее в стайке юных женщин. Чувство окончилось, сошло на нет; после больницы он был тих и обычен, покорен самотечности жизни, которая как идет, так и идет. Он тотчас притих, как, возможно, притих и в молодые свои годы, когда на него вдруг прикрикнули.

Не случайно, при любви соотносить и сравнивать, Геннадий Павлович проецировал свою жизнь на тот ночной случай. Мол, выкинули, он уже был в снегу, а электричка ушла, помчалась дальше, и уже у них, у других, были дальше станция за станцией, была возбуждающая душу скорость, пейзажи и виды за окном. Он остался там, годы юности промелькнули так быстро.

Он долго полз по снегу, крича, теряя в отдельные минуты сознание, пока не наткнулся на старую бабку. Правильнее сказать, старая бабка на него наткнулась, подошла близко, охнула, означив ясную форму сострадания, после чего он, вдруг расслабившись, сказал себе: спи, — а охающая, причитающая бабка побежала к дороге; она подтащила сюда свои санки, в которых возила уголь, и с оханьем же положила человека на них, ноги его свисали — и так дотащила его, разбитого, до поселковой ближайшей больницы. Он был в полубессознательном состоянии. В больнице его сочли выпавшим из электрички по причине подпития; он, и правда, выпил в вагоне несколько глотков, а в грудном кармане пальто врачи приемного отделения обнаружили его фляжку. Он с ними не спорил. Он вообще не спорил и со всем происходящим смирился, как только пришел в себя.

Когда его выбросили из электрички, он едва не замерз: он рассказывал после, что долго лежал в снегу, и вокруг была ночь, был снег, и по ощущению холод и стужа просачивались в тело быстрыми тонкими струйками. Стужа была как вода, приостановилась где-то в области лопаток, обходила, обтекала спину, как препятствие, а затем сильно побежала справа и слева по незащищенным изнутри его костям, отчего он беспрерывно дрожал. Руки, когда он прикасался к своему телу, натыкались на посторонний твердый дрожащий предмет. С болью и стонами он первый раз повернулся тогда на бок. Прежде чем ползти, он все ощупывал поломанными руками свое дрожащее тело-предмет, словно убеждался: я или не я?

Уже стемнело, когда, ползущий, он увидел на белом снегу кота. Что-то в сознании Геннадия Павловича тогда сместилось: вроде бы в ту минуту был он не в Подмосковье, выброшенный из электрички, пронесшийся метров шесть по снегу лицом и руками вперед, а был — где жил. Он забыл, что он вдали от города, что лежит, замерзает в ночной зимней тьме.

— Вова!.. Вова! — позвал он, как бы в трех шагах от своего дома, а чужой кот глянул, оранжево-огнисто стрельнул глазами.

Кот исчез.

— Вова-а!

Тут его крик и настиг (Вова спас?) шедшую по дороге, параллельной железнодорожной насыпи, старуху, которая сначала боялась в темноте, как он ни звал, подойти ближе, но затем подошла и заойкала, заохала, запричитала и побежала к своим санкам на дороге, в которых возила уголь.

В больнице его чинили и латали.

Операционный стол, после чего тяжкая и болезненная терапия, снова стол и снова терапия — это тянулось долго, бесконечно долго, немыслимо долго. Понять это возвращение боли было нельзя, он и не понимал. Измученный, он повторял, как повторяют заговор себе ночью, чтобы забыться: *бывает со всеми, спи... Бывает со всеми, спи...* в какой-то книге, плохонький переплет, сиреневая, с давним пятном на обложке, — в ней были слова о неизбежности смерти, но что они там означали и что за книга?..

Он появился на работе. Но, конечно, слушок о его беде просочился уже прежде. Во всяком случае, в коридорах и в курилке двое молодых людей, что в подчинении Г. П. Голощекова, уже пошучивали:

— Наш-то, Дублон, из электрички вывалился — и даже сам не знает, как. Может быть, он ехал на крыше?

Это были вовсе не те два молодых нахала, так как те уже подросли, время шло, и однажды они в коридоре подошли к более перспективному начальнику, подошли, представились, переговорили, после чего и сбежали вскоре от Голощекова, а вместо них к нему определились закончившие вуз два других молодых человека. Они были веселы, красивы, совсем молоды. Двое этих с теми двумя, сбежавшими, успели, впрочем, какое-то время пообщаться, побывать вместе, так что новенькие мигом усвоили, кто таков их начальник по прозвищу Дублон и как себя с ним держать.

Вернувшийся из больницы и погруженный в свое Геннадий Павлович как-то не сразу заметил, что двое молодых людей сменились. Геннадий Павлович даже несколько удивился, как это они *оба* так сильно переменились внешне, и подумал, не случилось ли в ряду прочих потерь чего-то с его зрением, чего не обнаружили врачи в больнице.

Геннадий Павлович вновь выглядел теперь человеком солидным, сдержанным, вполне спокойным, и трудно было поверить, что всего год назад каким-то ожесточившимся парням захотелось или даже показалось обязательным выбросить его из электрички. Он утверждал, что все забыл. Он и правда постарался стереть в памяти происшедшее. Но иногда среди разговора о том о сем, о книгах, о погоде он вдруг странно вглядывался в меня и удивлял вкрадчиво-настороженной репликой или даже прямым неожиданным вопросом:

— А ты, Игорь, никого из тех парней не знал?.. из тех, что меня побили?

— Да бог с вами, Геннадий Павлович,— откуда?!

Тонуса ради, или, лучше сказать, боевитого настроения ради, или просто для красной, цветистой говорливости, *что в юности, Игорь, давалась сама собой,* ему нужны были в те дни два-три глотка спиртного; пить более двух глотков он не хотел да и, как известно, побаивался, а носить с собой початую бутылку было, конечно, неинтеллигентно. Он купил тогда плоскую 200-граммовую фляжку дагестанского коньяка, которую и приспособил: она была удобна руке, компактна и, ничуть не болтаясь при шаге, крепко, туго входила во внутренний карман его пальто. Геннадий Павлович был доволен. В подмосковных провожаниях молодой женщины, что в шубке и в белой шапочке, приходилось преодолевать изрядные расстояния, к тому же стояли морозцы, так что холод в выстуженных ночных вагонах на обратном пути как бы даже заставлял брать эту фляжку с собой. На фляжке была удобная и ловко навинчивающаяся пробка, которую можно было использовать как микростаканчик. Его и попросили: сказали, ладно, мы не слушаем твою заносчивую болтовню, дядя, ладно, ладно, мы прощаем, но дай-ка на две минуты твой стаканчик, чтобы нам тоже было удобнее выпить. И когда он сунул руку во внутренний карман пальто — его ударили.

Пересказывая подробности, Геннадий Павлович сначала мне лишь намекнул, а затем дал определенно понять — он, мол, еще и не сделал глотка, а они уже знали про существующую у него в кармане фляжку: мол, знали заранее и подстерегли минуту. Он предполагал, что, может быть, они уже в прошлый раз приметили, как он провожал молоденькую женщину и как, храб-

рясь, выпивал из фляжки, — и, может быть, им уже в прошлый раз захотелось проучить стареющего донжуана? Это реально. Но могло быть и другое — они не сами приметили, а кто-то им про фляжку проболтался, *кто-то* им *сказал, а?* (Когда, разбитый, он полз по снегу и кричал, фляжка ползла с ним вместе в кармане пальто, а после фляжка ехала с ним в бабкиных санках для угля, после лежала с ним в приемном отделении больницы, где была обнаружена и, наконец, от него отделена.)

Говорил Геннадий Павлович первое время с трудом, но не шамкая и не шепелявя, что было удивительно, так как после удара в лицо два зуба у него повыпали сами собой, еще два обреченно шатались.

Геннадий Павлович уже шел тогда на поправку, охотно ел и, не желая обременять меня слишком, лишь изредка просил прикупить какие-нибудь фрукты к больничной пище. Помню: он брал принесенные мандарины и бананы, перекладывал их, штука за штукой, в безмерную больничную тумбочку, что возле кровати, и вдруг, на какой-то миг подняв глаза и пристально глянув, спросил: а не я ли, пусть случайно, проговорился *тем парням* о фляжке?.. — «Что?» «Нет-нет. Ничего», — он спохватился, уже пожалел о том, что спросил. Вероятно, столь горькая мысль могла возникнуть в его сознании только в силу полного одиночества: в силу того, что он ни с кем, кроме меня, во время знакомства с молоденькой женщиной в шубке, да и вообще ни с кем кроме не общался.

Стараясь не дать ходу обиде, я сказал спокойно:

— Не знал я. Не мог я знать тех парней. О них и вообще о подмосковной молодой женщине я услышал от вас, Геннадий Павлович...

Он молчал.

— Я их в глаза никого не видел.

Он молчал.

Он так, вероятно, и остался если не с подозрением, то с тенью подозрения или хотя бы с тенью тени, но я не обижался, не оскорблялся, зная изломы его одинокой психики. Тем более что он был хотя и поправляющимся, но ведь больным. В сущности, не меня он подозревал и предъявлял счет не мне: он предъявлял счет окружающим *и людям вообще,* которые понимали его всегда неверно, неправильно. С самой юности.

Он вёдь давным-давно молчал: он только читал книги. В глубине души он, вероятно, надеялся, что повзрослевшего и переставшего так много говорить, переставшего быть Хворостенковым люди (не бросят ему теперь упрека) никогда не окрикнут и, более того, непременно его полюбят, — молчаливого, мол, и умного, почему бы им меня теперь не полюбить, однако жизнь, Игорь, потекла иными путями: люди удалялись, уходили все дальше. Конечно, надеяться было глупо! — но ведь надо было это прожить, чтобы это узнать.

Ты ведь *их человек,* хотя и стараешься меня понять. Вы не плохие и не хорошие, не обвиняю я, Игорь, вы просто люди — вы живете своей жизнью, вот и все. Таких, как я, вы не выживаете, нет, нет, много чести, вы нас просто отодвигаете в какой-то дальний ящик, ваше, мол, время давно кончилось, другие теперь времена, и доживайте, мол, жизнь тихонько. Доживайте, мол, жизнь своими воспоминаниями и упавшими вам кой-какими крошками с общего стола — если же цепляются, пытаются ухватиться, то и по рукам, по рукам, по рукам, знай, мол, свое место и поваляйся-ка, мол, какое-то время побитый в снегу. Все правильно. Все верно.

Представь себе: совсем молодые парни, они волокли меня по проходу пустого ночного вагона — волокли прямехонько к тамбуру. А я цеплялся руками за гладкие и светлые спинки скамей. Они ведь сидели неподалеку, я разглагольствовал, а они только стаканчик-пробку и попросили. И не помню, к какому слову пришлось. Я вообще думал, что так волокут только в кино (думал — ну, мол, статисты, и волокуг они тоже своего брата-актера, человека известного, волокут не больно и понарошку). Я помню глаза того, кто ударил и схватил за плечо первым. Я вообще удивительным образом хорошо запомнил их лица, решительные жесты и короткие крики, которыми они обменивались, согласовывая свои действия, *все было так быстро.*

1987

НАТЮРМОРТ С КНИГОЙ И ЗЕРКАЛОМ

Владимир Маканин до сих пор не издавал ни сборников «Избранного», ни — тем более — собрания сочинений. Книги его повестей и рассказов выходят сравнительно часто, он компонует их, сознательно или бессознательно давая сцепку новых текстов с текстом, который предложено перечитать. В сущности, для Маканина важно и неотбрасываемо почти все, сделанное им на протяжении двадцати лет работы. Есть понятие: «мир художника», «мир писателя». Мы им пользуемся, превратив термин. в комплимент и в штамп. Применительно к прозе Маканина термин восстанавливается в своем достоинстве, имеет смысл. Соседством произведений разных лет в самом деле выстраивается некоторый мир. В нем развивается еще и собственный общий сюжет, собственная общая фабула, лишь отчасти и глухо выражающая себя в перипетиях того или иного сюжета той или иной повести. Повести выходят, как в драме выходят новые персонажи, с чьим появлением что-то высвечивается или переламывается в ситуации. Общая внутренняя фабула творчества движется перед нами, занимая и тревожа.

Критиков более всего занимает рывок — качественный и сущностный, — который был сделан писателем в последние годы. Ведь еще так недавно ничего не стоило сочинять к его сборникам предуведомления по общему типу: «Читателю известны книги Владимира Маканина «Прямая линия» и «Безотцовщина». «Повесть о Старом поселке» — третья книга писателя. Герои новых повестей — молодые люди, приехавшие в столицу в поисках своего места в жизни. По-разному складываются их судьбы. Особенный интерес автора привлекает внутренний мир героев в обычных и необычных ситуациях. Психологизм, интерес к драматическим конфликтам характерен и для рассказов, вошедших в настоящий сборник». 1974 год. Что говорить, к сегодняшнему Маканину эту аннотацию не отнесешь. Да, рывок очевиден. Но очевидна и связь, «связь по фабуле», очевидны скрепляющие и движущие мотивы.

Это мотив острой и быстро сникающей жажды изменений — герои хотят уехать или хотя бы квартиру сменить, но дело слишком хлопотное и неперспективное: «Ничего ты, братец, лучше не найдешь» Это приглушенный, как раз совсем не острый мотив возможной беды, которая, впрочем, если и подступает, то не к тебе, не к самым близким: «Что-то у него там в больнице обнаружили»; но не у тебя, не у твоей сестры даже, всего лишь у пьющего мужа сестры. Тень угрозы растворяется в малообозримом будущем или в столь же туманном, теряющем четкость очертаний прошлом: в Старом поселке когда-то гас в больнице братик, что-то случилось с матерью. Возникает мотив неудачного возвращения: поселка, который хотелось повидать, нету уже, поселок умер, цело только поселковое кладбище.

Еще один мотив, для аннотации 1974 года несущественный, но важный, в общей фабуле творчества: мотив убыли сил.

Душевной прямой энергии на эту жизнь не хватает, и тут-то — подспорьем, заменой, соблазном — тебе предлагается причастность к некоему механизму, который как раз и позволяет «растолкать дела», приводит их ход в желанную и несколько таинственную стройность.

В «Повести о Старом поселке» есть сцена, когда женщина садится за телефон доставать билеты. «От ее легкого голоса трогаются с места люди-колесики, и — шестеренка за шестеренкой — приводится в движение весь невидимый, но хорошо отлаженный механизм, который конечно же достанет любые билеты».

Несколько погодя у героя повести начнутся неприятности, происхождение которых понятно, но противодействовать которым мудрено По звуку того же легкого голоса люди-колесики придут в движение, исполняя функцию карающую. Герой, введенный было в систему шестеренок, заартачился и не сработал — система скрипнула, но, будучи самонастраивающейся, с помехой справилась и помеху устранила.

Читатель, начавший следить за прозой Владимира Маканина, мог видеть, как этот мотив разовьется. Механизм утратит свой примитивный рационализм и возьмет на себя права рока. Бедный «человек свиты» из одноименной повести решительно никаких грехов против его всевластия за собой не знает, и он ли не повиновался легкому голосу, он ли не угадывал всех оттенков его. Немилость, однако, накрывает Митю Родионцева. Спрашивать, за что и почему, в таких случаях так же неизбежно, как и бессмысленно. Допустим, человека настигает рак, — за что и почему?

Как некий конспект тем, которые станут важны в его прозе восьмидесятых годов, писатель предложил еще в 1976 году «Рассказ о рассказе». Он отталкивается тут от бытового, анекдотического — кто не острил насчет звукопроницаемости наших блочных жилищ. Перебирает эскизы — что можно бы построить на мотиве усиливающейся звукопроницаемости. Среди эскизов есть такой: рассказчику слышится, как через три подъезда плачет ребенок. Бежишь туда. Тебя выставляют: никаких детей тут и не было. На лестничной площадке, за захлопнувшейся дверью, зрение возвращает то, что восприняло с безотчетностью и несомненно: под ногами у выпроваживающего хозяина игрушка — «что-то плюшевое с бантом».

Маканин может насмешничать над эскизом рассказа чувствительного и фантасмагорического, комкать этот эскиз у нас на глазах и отбрасывать, — мотив проницаемости и мотив зова еще отзовется в общей фабуле его работы.

Фабула эта движется резко, толчками. В 1987 году вышли разом три новые вещи Маканина — возможности размышления об его прозе расширились и обновились заметно.

Вряд ли единовременность чтения предполагалась; все же в отсветах, в бликах, которые эти произведения отбрасывают одно на другое, в их отталкиваниях и в их повторах уясняется нечто важное. Достаточно случайный ход журнального дела как бы применил принцип сюжетосложения, в каждой из трех повестей так или иначе используемый Маканиным: принцип наложения, совпадений, просвечиваний одного сюжета сквозь другой и сквозь третий. Глухая, волнующая энергия всякий раз рождается от того, как близко сдвинуты непересекающиеся и несоприкасающиеся плоскос-

ти повествования: между ними наэлектризованное поле, при перемещении в этом поле возникает ток.

На близкой сдвинутости несоприкасающегося (или соприкасающегося в точке незначащей и условной) строится «Отставший». Старик в ночном Подмосковье в дурно пахнущей будке близ почтового отделения светит себе спичкой, набирая номер сына: ему надо пожаловаться, потому что нестерпим повторяющийся сон, от которого старик вот опять проснулся, ловя ртом воздух. Снится, что будто будят, что выбегает впопыхах, а уже и последняя машина ушла с ревом, и шофер наддает и наддает, и он бежит, зная, что не догонит. Какое отношение этот сон и этот старик имеют к тому, как тянется за артелью на старом Урале, как кличет, жжет одинокие слабые костерки, мучается Леша-маленький, сонный, увечный, криво сросшимися руками чующий золото. Какое отношение и сон старика, и невнятный дар Леши-маленького имеют к тому, как лет тридцать назад московский студент любил однокурсницу, которая поехала с матерью в прилагерные уральские края на могилу отца (в терпеливом ожидании своей очереди на реабилитацию отец скончался) и со всей безоглядностью истинно головного чувства сошлась с бывшим зеком из уголовников. Скрепы вполне условны: старик — отец студента, это ему сын рассказывал когда-то уральскую легенду, из которой должна была выйти повесть для «Нового мира» (хотя, наверное, в тот «Новый мир» естественней было спешить с рукописью не про Лешу-маленького, а про себя, про Леру, про ее Василия, про то, как у могилы мужа потихоньку теряет разум приехавшая с Лерой мать).

Сын привык просыпаться от звонков отца ночью.

Когда поутру звонит дочь и голосом, в котором слезы и требовательность, просит выручить ее школьного приятеля, — можно добриться и, отдавшись на полчаса возникшей заботе, выручить-таки некстати погорячившегося в милиции парнишку. Но как же все-таки быть, когда человеку надо помочь в его снах и в его прошлом. «Помочь ему в его снах я не могу — это ясно. Но ведь могу слушать».

Изнурительный дар сочувствия входит в то, что называется природой художника, художественной отзывчивостью.

Последние повести Маканина полны этих кликаний, которые не доходят до тех, к кому обращены, и мучительно доходят до того, кто физически не может прийти на помощь. «Братцы!» — кричит отец, обжигая горло морозным воздухом, в незаправленной нижней рубахе торопясь за набирающей скорость полуторкой. «—Эй!.. Эй-эээй!» — зовет Леша опять оставившую его на ночлег артель. «Мама моя, мама моя, услышь ты меня хоть с неба», — плачет он, закрывая голову своими кривыми руками.

В «Утрате» зовут слепцы, вышедшие из подкопа под рекой в безвылазное болото на том берегу, — в кустах и провалах они громко кликали Богоматерь, которую видели под землею, но которая теперь почему-то их оставила, потом кричали — «люди! люди!» — потом звали ими же прогнанного давно поводыря, кричали, что они ему все простят — «мальчик! мальчи-и-ик!». К утру их уже не стало. Мечущиеся по болоту и сплошной топи, хватаясь за ветки кустов, они мало-помалу «отдалились друг от друга и утонули, найдя мукам конец».

Стонет старое дерево у брошенной деревни, стонет, зазывает человека («природа зазывает, как зазывает женское начало вообще, — ей хочется совместности с человеком»); над той же дерев-

ней год и другой кричат — над пустою — птицы: «птицы прилетели просто, по-домашнему, а еды и прокорму нет». И на второй год, когда нет уже и вымерзших за год мурашей, пауков, тараканов, «птицы поднимают необыкновенный страдальческий крик. Они чувствуют, что больше здесь не живут и жить не будут и что прилетать сюда больше нужды нет. Они кричат в последний раз. Они долго кричат. Они кричат над брошенным жильем, и кто слышал, подтвердит, как болезненны их крики по второй их весне». Это тоже из «Утраты».

В той же «Утрате» есть еще один пронзительный фрагмент, недавно вынырнувший из беспамятства: выкарабкивающийся после двух операций постоялец палаты для тяжелых из окна коридора видит девочку в окне жилого дома напротив. Девочка машет рукой, лицо испуганное. Путь вниз по лестнице, больничный черный ход, лаз в заборе, то, как трудно протиснуться в этот лаз с загипсованной поясницей, подъезд и странная разбивка этажей в нем, коридор в огромной коммуналке — все написано с той же неотступной телесностью вплоть до минуты, когда коридор начинает куда-то углубляться — «своды сбоку уже были земляные. И сверху была земля».

Одна за другою поплыли параллельные плоскости повествования. Из больничной палаты, спеша к испуганному ребенку в чужом окне напротив, человек на костылях оказывается в подземном ходе, рыть который в начале «Утраты» зазывал в трактире никчемушный промотавшийся купчик, хватая за рукав: «Ну, ребята, кто со мной — ведь под Урал подкоп рою!»

Фантастическая, дурацкая, беспросыпная затея Пекалова, подрядившего рвань и беглых рыть ход под рекой на тот берег, равно похожа на бред и на подвижничество отсутствием личной корысти и самоистребительным упорством. В рассказе достигается тот почти иллюзионный эффект полной узнаваемости, который составляет особенность прозы Маканина вообще и который дает особенно резко срабатывать полюбившимся ему в последнее время приемам нарушения иллюзии. И в «Отставшем», и в «Утрате» сцены наиболее мучительно сильные — скажем, сцена, когда сходят с ума обобравшие церковь грабители, по следу которых ошибкою, но неотступно, из ночи в ночь бежит и кличет Леша-маленький, или сцена, когда Леше увечат его без того увечные руки, пробуют, точно ли перебиты кости, на всякий случай еще тычут ножом, подрезают жилки и уходят, оставив кой-чего из еды, — не убили, греха на душу взять не захотели, — сцены эти сыграны дважды, равно всякий раз несомненно, но в разных вариантах, как их сохранили пересказы. Фраза, опрокидывающая безотносительность изображаемого, раздается без предупреждения: в конце длинной первой главки в «Утрате», когда действие вроде бы доходит до своего завершения («вышли наверх»), вдруг остановка и предложение переиграть: «В варианте история подкопа под Урал заканчивалась тем...»

Но и то, что отнюдь не принадлежит легенде, в «Отставшем», по господствующему здесь закону возвратов, тоже проходит перед глазами по второму разу — в ином приближении, с иной длительностью, с чуть смещенными деталями и чуть колеблясь. Дважды про то, как Анна Романовна выносит из другой комнаты не слишком большую фотографию в рамке, которой гость прежде не видел: «Это наш Иннокентий Сергеевич — мой муж и Лерин папа. Он уже умер». Дважды про то, что Гену знакомят с Лериным

Василием, возвращающимся из рейса (почти незаметно колебание деталей, совсем ведь незначащих: ну, не все ли равно, как оно было, — приехал, сказал про дружбу, что она дело святое, и затопал к умывальнику или к умывальнику как раз не пошел, а открыл мотор и стал копаться в нутре своей заезженной машины). Дважды про то, что пришел с рукописью в журнал и узнал, что Твардовского там уже нет. «Как нет?.. Но он же был». — «Вот именно».

Вряд ли возвраты-колебания связываются тут с мыслью о том, как вообще ненадежна память — своя и общая, как она смещает и способна уничтожить в дробящихся отражениях то, что было на самом деле. Скорей в возвратах нечто от той муки, которая гонит старого человека из Подмосковья в темную телефонную будку рассказывать, как же нынче приснился его повторяющийся сон.

Вернемся, однако, в ту точку, когда человек на костылях, позванный напуганной чем-то девочкой из блочного дома напротив, оказывается в подземном ходе из легенды.

Не минуя ни одной детали, ни того, как переоделся под безразличным взглядом соседа по койке, и ни того, что взял на всякий случай с собой десятку, ни того, как вахтер, куривший, у черного хода, буркнул — «Только ты уж ненадолго» — весь текст куска идет, совпадая ритмом с поступью «костылюшки», которому всякий следующий шаг надо еще шагнуть; так же подробно-просто взята внутренность дома: дом обычный — с нормальным отсчетом этажей, с нормальным числом квартир — четыре — на лестничной клетке. Дверь открыта. «Входной коридор вел не в комнаты, а куда-то в сторону. А пройдя немного, я глянул вверх — потолок был обшит досками: земля. Я остановился. И увидел, что вновь спуск. И тут же услышал над головой тот самый шум: шумела река».

Можно в самом деле сойти с ума от того, сколько раз с той же мукой, с какой стучит по лестницам костылюшка, встаешь и идешь, когда уже через силу и когда в общем-то можно предвидеть, что и в третий раз не поможешь девочке, позвавшей (да звала ли?) из своего окна на четвертом этаже в блочном доме.

Мы все горазды искать, по какому бы привычному ведомству пристроить новые впечатления, и не удивлюсь, если читатель уже сориентировался: Кафка и сюрреализм. Читателю вольно оставаться при его мнении, но я хочу напомнить, что внезапная проницаемость мембран, неизъяснимая возможность переходов, мир как система сообщающихся сосудов издавна тревожит Владимира Маканина — еще с той поры, когда его областью всецело и замкнуто считалась область социального портретирования в социальном интерьере.

«Второй Маканин» сохранил все, что нажил и осмыслил «Маканин первый», — сохранил прежде всего вкус к социальной материи, к фактуре. Но для него становится решающе важен перенос бытового казуса в иное измерение, в иной смысловой ранг. Писатель берет узнаваемое и распространенное, безупречно передает его в его узнаваемости, но компоновка открывает в предметах и казусах иносказательное, эмблематическое значение и выдает раздумье над человеческим существованием.

Мотив суеты и мотив тщеты, мотив предательства, мотивы смерти и воздаяния проходят в рассказываемых историях про

среднего служащего («Человек свиты») и про сантехника, угодившего за решетку из-за уличной драки («Антилидер»). Фактура житейского передается почти иллюзионистски. Так в старом натюрморте передается фактура пены над отставленной пивной кружкой, пепла, подергивающего уголья в жаровне, дымка недокуренной трубки. Восхищаясь, как все похоже — хоть пощупай, зритель может воспринимать или не воспринимать эмблематику быстротечности.

Владимир Маканин — писатель редкого дара и редкой темы. Пестрый сор его картин, их причудливо резкие сюжеты написаны как бы на бархатно-черном, бездонном фоне; за ними тайна и глубина. И в них есть ощущение общего тока жизни, взаимозависимости людей, которые, кажется, знать друг друга не знают и знать не хотят.

Чем больше овладевают писателем названные мотивы, мотивы суеты, тщеты, общности, смертности, воздаяния (а в «Утрате» он едва ли не сполна в их власти), чем пронзительнее эмблематичность, тем больше он противится ее обнажающейся силе. Пекалов продолжает копать. Вознесли или не вознесли ангелы его на небо, как то было представлено на стене в обвалившейся, подмытой ледоходом часовне, — он копает; отбрасывает землю, вгрызается в щебень, входит в раж. «Я не хотел, как не хочу и сейчас, чтобы от него и от его упорства осталась обнаженная людская мысль, слабая в высказанности, емкая, но без запахов, без нависшего темного свода, без скрежета лопаты и без падающих капель воды, — разве мне это нужно б е з?»

В сведении воедино сюжетов, не имеющих в жизни такой органики соседства, явно в совмещенных волей и умонастроением автора, — мысль рискует открыться с той обедняющей резкостью, с какой может проступить в натюрморте, где вещи предстанут не в своих естественных и функциональных связях, а вошедшими в иные соотношения друг с другом, превращаясь в криптограмму. Натюрморт, где скомпонованы кучи монет, шлем и кираса, опрокинутый кубок, цитра, циркуль и череп, читается как криптограмма тщеты земных целей с избыточной легкостью. Вот уж чего Маканин точно не хочет — легкого прочтения.

Он разведет не только на разные страницы, но и в разные повести слишком проливающие свет друг на друга картины-мысли. В «Утрате» исступленность, с какой осуществляют никчемушную, смертоубийствами сопутствуемую затею, заставляет полагать в ней смысл и «богово дело». В «Отставшем» люди заняты делом вроде бы изначально, явно осмысленным, но подрываемым исступленностью, с какой предаются ему. «Они строили и строили, потеряв уже, кажется, и цель, и соотнесенное значение строительства. Они готовы были все потерять, но не способность строить. Они только и держались за свои стройки — эта последовательность стала теперь и главной, и самой заметной чертой. Они удивляли стойкостью и даже жертвенностью, держась за свое последнее умение — строить. (Но почему же оно обернулось ощущением отставания? Но почему вообще что-то чем-то оборачивается?)»

В романе «Один и одна» все жизненные предметы остаются в свойственных им жизненных связях. Оговоримся, кстати, что как раз предметов как таковых, материальных вещей тут на редкость мало (в качестве вещественных примет — их просто нету); почти начисто сокращен, сведен к поясняющим деталям не только интерьер, но и пейзаж. Написан так, что становится видим и зна-

чим разве что подвал на первых страницах: огромная мастерская под восемью квартирами, пространство, разделенное едва намеченными переборками, в котором вполне можно заблудиться, размалеванное, поскольку в мастерской сейчас пирушка, но кое-где дающее видеть крюки арматуры, бетонные плиты, колена труб, с которых капает. Тут пляшет веселый разношерстный народец среди скульптур и скульптурных групп, немного смущая того, кто не танцует, своей излишней живостью среди подсвеченных гипсов (танцуют с натурщицами — одна из них показывает, где гипс, для которого была моделью, но ошибается). Впрочем, совершенно не обязательно, чтобы до романа «Один и одна» душа и глаз успели бы настроиться в подземных ходах «Утраты». «Утраты» достаточно далеко, чтобы можно было разглядывать на празднике по случаю полученной скульптором премии прежде всего лица, в схватывании социальной характерности которых Макании такой признанный мастер.

В романе «Один и одна» если и есть параллельность ведения сюжетов, но не таящая в себе электризующей силы. Рассказывается об одной жизни и о другой жизни, как они идут порознь и по сходным, довольно грустным законам; да еще есть коротенький конспект сюжета-сравнения, сюжета-метафоры; сквозь тысячи опасностей ищут друг друга два разведчика, потерявших связь со своими, и вот последняя возможность спасения — вот они встретились, вот подают друг другу свои опознавательные половинки серебряной рыбки. Но полурыбки не складываются: слишком долго пролежали в карманах, где ключи, монеты, черт знает что там еще в карманах; пооббились по краешку; не складываются.

И живет себе Геннадий Павлович в переполненной книгами квартирке, которую с такой жизнерадостной наглостью делает на короткое время местом своих свиданий с натурщицей некто инженер Даев и которой пьяно пренебрежет в качестве ночлега стальнозубый приятель Даева по имени Олжус, высадив приглашающего из такси в сугроб и укатив в ночь на поиски пива и прочего. И живет себе Нинель Николаевна у себя дома, куда во время ее болезни неожиданно приезжают незнакомые, но близкие родственники (у двери предложили взглянуть на их паспорта), наполняют на срок все вокруг жилым духом и умелостью хлопот; после того как они (с согласия хозяйки, разумеется) довольно много кой-чего из приглянувшегося увезли, Нинель Николаевна опустевшие комнаты понемногу опять заполняет. «Нинель Николаевна покупает зеркала. Купила одно, овальное, и повесила в прихожей; потом нашла, что вид несколько мещанский, и в замену купила длинное, узкое, под старину, однако и то не выкинула, и это оставила».

Зеркало в системе криптограмм означает равно и тщеславие, и гаданье о будущем, которому как бы подставлено его стекло; два зеркала друг против друга дают помещенному между ними — перспективу бесконечного повтора. Зеркало рядом с книгой есть также эмблема самопознания.

Самопознание, которое предлагается в романе «Один и одна», не тешит и не обнадеживает, но ведь не в том и цель самопознания.

Вот любопытная черта: та резкость, с которой Владимир Макании позволил себе сказать о делании, позволил себе вникать, почему и оно может обернуться нежданно-негаданно, смутя душу оборотной своей стороной, — та резкость, с которой Вла-

димир Маканин позволил себе размыслить о делании, возражений и споров не вызвала. Та же резкость, с какой он позволил себе сказать о неделании, о людях, дни которых или механичны, или пусты, текут в многообразном, но равно недвижном мечтательстве, неподалеку от телефона, как если бы именно по телефону должны были их куда-то наконец позвать, — та резкость, с которой Владимир Маканин позволил себе размыслить о неделании, встретила обиду страстную и отпор талантливый. То, что может быть бессмысленной и жизневредящей работа ли фантастического Пекалова, работа ли моющих золото артельщиков, работа ли отца рассказчика в «Отставшем», строителя на пенсии, — это соглашаются принять к обсуждению (во всяком случае — теперь). Человек же, который часами не в силах встать с дивана, рукой шевельнуть, едва ли не для всех нас обладает как бы защищающим излучением.

Вспомним хоть пьесу Чехова. Не тем ли, в сущности, дорог Николай Алексеевич Иванов горячей и вроде бы зовущей к деятельности, влюбленной в него Саше, что на ее шутку в слезах— бежимте в Америку — усмехается: мне вон с дивана до двери дойти лень, — а вы — в Америку. Он сам может искренне пожимать плечами — почему это женщинам так нравятся люди вроде него, нету на них Дарвина — ведь этак портят породу, передают с генетическим кодом почтение к неудаче, освящение неудачи, ее предпочтение делу крепкому и завершенному. И как кинулись защищать от Чехова его типаж, как за типаж оскорбились! Потом, когда приспела пора и желание защищать от нападавших Чехова, сошлись на том, что подлец-то доктор Львов, Николая же Алексеевича Иванова автор написал в высшей степени привлекательно.

С Геннадием Павловичем и с Владимиром Маканиным разыгралась в печати примерно та же история. Статья, равно направленная в защиту и автора и героя, называлась «Аутсайдеры». Однако роман «Один и одна» (и пьеса «Иванов») так же мало строится на том, чтобы выставить аутсайдерство на смех, как и на том, чтобы дать его апологию.

Не думается ли в какую-то минуту, что та работа, в которой не давал себе передыху, гнал и гнал себя старый строитель, никаких ни рассуждений, ни снов себе не позволял, словно бы выкачал энергию из кого-то, кто к ней никакого касательства не имел, так что в итоге бедный Геннадий Павлович изошел в словах и не знает, как быть с апатией. Такое предположение могло бы срифмоваться с мотивом, живущим в прозе Маканина. Мы уже говорили, как остро у него, как фантастично буквализуется в его фабулах ощущение общего тока и взаимосвязанности людей. Если кому-то дается — у кого-то отымается. Так, в «Ключареве и Алимушкине» два едва знакомых человека вдруг оказываются сообщающимися сосудами: пока с веселым бульканьем поднимается уровень в одном, содержимое другого неизъяснимо убывает. Автор предложил мотиву взаимосвязи, баланса сущего разработку, по видимости гротескную и алогичную. Сам же этот мотив по сути бесконечно серьезен, как серьезна вся сумрачная, богатая, язвительная, внимательная к чепухе дня и обращенная к вечным темам проза Владимира Маканина.

Отзывчивая проза.

Инна СОЛОВЬЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

МАКАНИН Владимир Семенович

ОТДУШИНА

Приложение к журналу «Дружба народов»
Оформление «Библиотеки» **Г. Метченко**
Редактор **Е. Абрамович**
Художественный редактор **И. Суслов**
Технический редактор **Н. Карнаушкина**
Корректор **Л. Григорьева**



ИБ № 1446

Сдано в набор 18.07.89. Подписано в печать 16.02.90. Переиздание. Формат 81×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 31,07. Тираж 260 000 экз. Заказ 57. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Таврида» Крымского обкома Компартии Украины. 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Печать и изготовление тиража в типографии издательства ЦК Компартии Узбекистана, ГСП, ул. Ленина, 41. Заказ № 3369

Маканин В. С.
М 15 Отдушина: Повести. Роман. — М.: Известия, 1990. — 560 с., ил.

Герои произведений В. Маканина, как правило, горожане, наши современники. В его повестях проблемы реальной жизни наших дней переплетаются с проблемами недалекого прошлого, воплощенного в образе Урала, где прошло детство автора. Автор дает нравственные оценки своим героям, исходя из памяти своего детства. Это особенно заметно в повестях «Утрата», «Отставший», «Отдушина». В сборник входит также роман «Один и одна».

М $\frac{4702010200—019}{074(02)—90}$ —57—90 подписное ББК 84Р7

